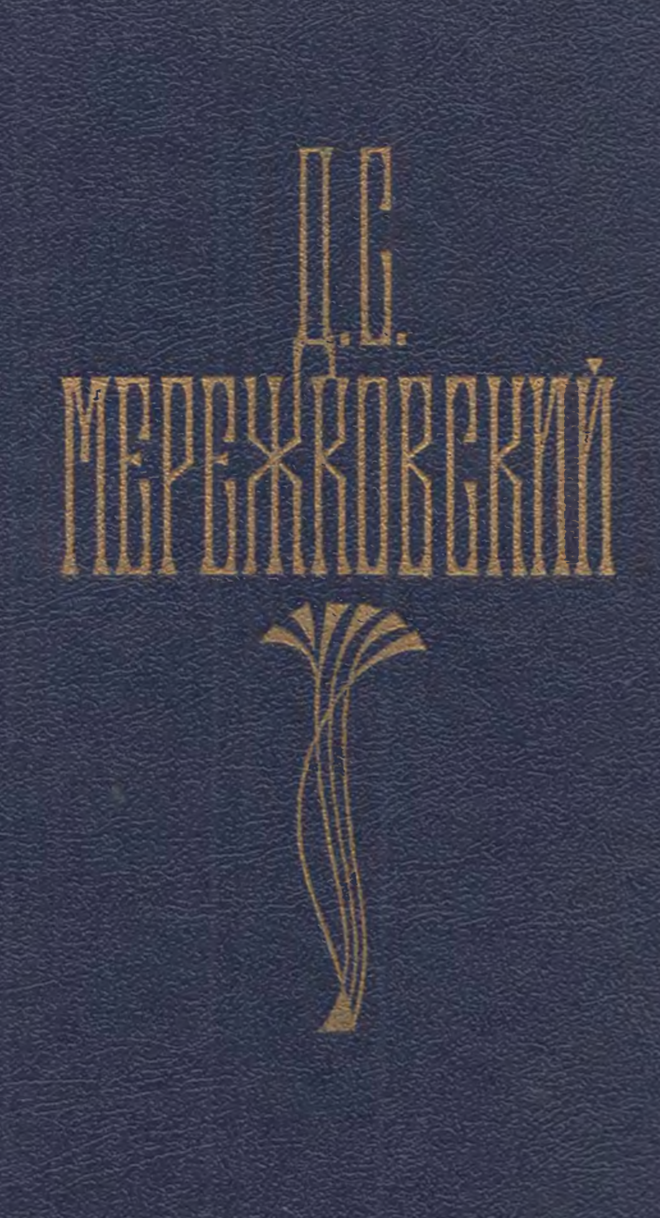
Д. С.
МЕРЕЖКОВСКИЙ

Д. Мережковскій.

БИБЛИОТЕКА „ОГОНЕК“

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ

ТОМ

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО „ПРАВДА“
1990

84 Р
М 52

Составление
и
общая редакция
О. Н. Михайлова

Коллажи художника
Анатолия Брусиловского

М $\frac{4702010000-2234}{080(02)-90}$ 2234—90

ПЛЕННИК КУЛЬТУРЫ

(О Д. С. Мережковском и его романах)

1

«Я родился 2-го августа 1865 г. в Петербурге, на Елагином острове, в одном из дворцовых зданий, где наша семья проводила лето на даче. До сих пор я люблю унылые болотистые рощи и пруды елагинского парка <...> Помню, как мы забирались в темные подвалы дворца, где на влажных сводах блестели при свете огарка сталактиты, или на плоский зеленый купол того, же дворца, откуда видно взморье <...>

Зимою мы жили в старом-престаром, еще петровских времен, Бауэровском доме, на углу Невы и Фонтанки, у Прачечного моста, против Летнего сада: с одной стороны — Летний дворец Петра I, с другой — его же домик и древнейший в Петербурге деревянный Троицкий собор» [1].

Эти строки из «Автобиографической заметки» Мережковского можно было бы поставить эпиграфом к его историческим произведениям из русской жизни: роману «Петр и Алексей» (1905) из трилогии «Христос и Антихрист», драме для чтения «Павел I» (1908), романам «Александр I» (1911) и «14 декабря» (1918), составляющим вторую трилогию. Как видно, с детских лет он дышал воздухом старины, был окружен реалиями прошлого и даже его тенями, мог близко наблюдать быт русского Двора: отец писателя, Сергей Иванович, в течение всего царствования Александра II занимал должность столоначальника в придворной конторе.

Идет лакей придворный по пятам
Седой и чинной флейлины-старушки...
Здесь модные духи приезжих дам —
И запах первых листьев на опушке,
И разговор французский пополам
С таинственным пророчеством кукушки,
И смешанное с дымом папирос
Вечернее дыханье бледных роз...—

вспоминал писатель о впечатлениях своего детства и отрочества в поэме «Старинные октавы», которую жена Мережковского, поэт и критик З. Н. Гиппиус, недаром назвала впоследствии его лучшей автобиографией.

---

[1] Д. Мережковский. Автобиографическая заметка.— В кн.: Русская литература XX века. Под редакцией проф. С. А. Венгерова, т. 1. М., 1915, стр. 288.

Впрочем, сами Мережковские не могли похвастаться громкой родословной. Прадед писателя был войсковым старшиной на Украине, в городе Глухове, а дед лишь в царствование императора Павла I приехал в Петербург и поступил «младшим чином» в Измайловский полк. «Тогда-то, вероятно,— писал Дмитрий Сергеевич,— и переменил он свою малороссийскую фамилию Мере́жки на русскую — Мережковский». В жилах бабушки текла древняя кровь Курбских.

И все же происхождение, принадлежность к миру чиновничьей касты (отец закончил службу в чине действительного тайного советника, что соответствовало 2-му классу табели о рангах: выше был только канцлер), воспитание (3-я классическая гимназия, с ее зубрежкой и муштровкой) как будто бы не предполагали появления «бунтаря», разрушителя традиционных нравственных и эстетических канонов, одного из вождей нового направления в литературе — символизма, критика имперских и церковных устоев, книги которого арестовывались цензурой, а самого его едва не отлучили от официальной церкви.

Драма «отцов» и «детей» обозначилась рано. В многодетной, внешне благополучной семье Мережковский чувствовал себя одиноким и несчастным, боялся и не любил отца. «У меня не было школы, как не было семьи»,— скажет он позднее. Юному Мережковскому навсегда запомнилось столкновение Сергея Ивановича, потрясенного событиями 1 марта 1881 года — убийством «царя-освободителя» народовольцами, со старшим сыном Константином (будущим известным профессором зоологии и ботаники), который оправдывал «извергов». Эта тяжелая ссора, длившаяся несколько лет, в конечном итоге свела в могилу обожавшую детей мать.

Сумеречные фантазии и мечты, обуревавшие Мережковского-ребенка, были как бы дальним предвестием эсхатологических позднейших исканий, тяги к «бездне» и «мгле».

Познал я негу безотчетных грез,
Познал и грусть,—чуть вышел из пеленок.
Рождало все мучительный вопрос
В душе моей; запуганный ребенок,
Всегда один, в холодном доме рос
Я без любви, угрюмый как волчонок,
Боясь лица и голоса людей,
Дичился братьев, бегал от гостей...

Но «бездна» и «мгла» заявят о себе позднее. Пробудившееся у Мережковского раннее влечение к литературе, к стихотворчеству прошло под солнечным знаком Пушкина (тринадцати лет написал он свое первое стихотворение в подражание «Бахчисарайскому фонтану»). Детские опыты были откровенно слабы, и в памяти Мережковского на всю жизнь осталась фраза Достоевского, который выслушал их «с нетерпеливою досадой»:

— Слабо... плохо... никуда не годится... чтоб хорошо писать, страдать надо, страдать!

Однако книжный груз только накапливался с годами, хотя учителя и менялись. В университетские годы — Мережковский поступил в 1884 году на историко-филологический факультет Петербургского университета — он испытал сильнейшее влияние философов-позитивистов Конта, Милля, Спенсера. (Как вспоминает Гиппиус, Мережковский, познакомившись с ней, восемнадцатилетней девушкой, в 1888 году, в Боржоми, посоветовал ей читать Спенсера.) Правда, учение позитивистов — стремление поставить умст-

венный мир человечества на твердую основу науки через совершенное отрицание всяких теологических и метафизических идей — приходило в противоречие с религиозными идеалами, впитанными Мережковским с детства, рождало безысходные сомнения.

Уже с этого момента начинается раздвоение, характерное для личности и творчества писателя. Оно будет порождать антиномии и метафизические противопоставления, метания из одной крайности в другую, попытки примирить антихристианский нигилизм Фридриха Ницше с исканиями Вселенской церкви Владимира Соловьева.

Как бы то ни было, но литературный путь Мережковский начинает в среде либерально-демократической. Своим первым публичным выступлением (1881 год) он обязан поэту и революционеру-народнику П. Ф. Якубовичу, а близким для него журналом делаются «Отечественные записки» М. Е. Салтыкова-Щедрина и А. Н. Плещеева. К этой же поре относится дружба Мережковского с С. Я. Надсоном, тогда еще юнкером Павловского военного училища, которого он «полюбил, как брата». Они посвящают друг другу стихи, в которых звучат расхожие гражданские призывы, мотивы скорби и туманного протеста против общественной реакции. Поэма Надсона «Три встречи Будды» навела Мережковского на мысль написать длинное пышное стихотворение «Сакья-Муни» — статуя Царя Царей смиренно склоняется перед нищим. Оно вошло во все сборники чтецов-декламаторов и принесло автору популярность. Другим ближайшим приятелем Мережковского становится поэт Н. Минский, уже сделавший себе имя на воспевании «больного поколенья», которое «стоит на распутьи, не зная пути».

Надо сказать, что поэзия Мережковского не самая сильная часть его огромного наследия. Стихи его часто подражательны, банальны, однообразны. И не случайно Мережковский, готовя полное собрание своих сочинений (в 17 томах в 1911—1913 гг. в издательстве Вольфа и в 24 томах в 1914—1915 гг. у Сытина), поместил там немало критических мелочей, но включил лишь несколько десятков стихотворений. Книжность, впитанная огромная культура мешали Мережковскому-поэту прорваться к первородным впечатлениям.

Под влиянием народнических идей, бесед с тогдашним властителем дум, публицистом и критиком Н. К. Михайловским и Глебом Успенским молодой Мережковский отправляется «познавать жизнь». Он путешествует по Волге и Каме, посещает Уфимскую и Оренбургскую губернии, знакомится с основателем религиозно-нравственного учения, основанного только на Евангелии, крестьянином Тверской губернии В. К. Сютаевым, которого навещал и Лев Толстой. Мережковского привлекают отколовшиеся от официальной церкви течения и секты, начиная с мощного народного «раскола» и кончая хлыстовством и скопчеством. Он не шутя собирается по окончании университета «уйти в народ» и стать сельским учителем. Но уже иные ориентиры возникают для него. К началу 90-х годов Мережковский испытал, по собственному признанию, глубокий религиозный переворот.

Это совпадает по времени с появлением в русской литературе нового направления — символизма.

Первым манифестом отечественных символистов можно считать вышедшую в 1890 году книгу Н. Минского «При свете совести. Мысли и мечты о цели жизни». В ней говорилось о тщетности и тленности всего перед лицом неизбежной смерти и как един-

ственно реальное утверждалось «вечное стремление к несбыточному». Опираясь на труды русской философии и прежде всего В. Соловьева, Мережковский углубил и развил эти постулаты. В одном и том же 1892 году появился его поэтический сборник с многозначительным заглавием «Символы» и ставшая программной для нового направления работа «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы».

Идеи, носившиеся в воздухе, воплотились в формулы.

2

«Никогда еще люди так не чувствовали сердцем необходимости верить и так не понимали разумом невозможности верить. В этом болезненном неразрешимом диссонансе, этом трагическом противоречии так же, как в небывалой умственной свободе, в смелости отрицания, заключается наиболее характерная черта мистической потребности XIX века» [1],— писал в своей характерной «антиномической» манере Мережковский, отказываясь от собственных недавних позитивистских устремлений и призывая к «высшей идеальной культуре».

Восстав против «удушающего мертвого позитивизма» и назвав учителями символистов «великую плеяду русских писателей» — Толстого, Тургенева, Достоевского, Гончарова, Мережковский провозгласил «три главных элемента нового искусства: мистическое содержание, символы и расширение художественной впечатлительности» [2].

К тому времени, с появлением поэтических сборников К. Бальмонта «В безбрежности» и «Тишина», стихов Д. Мережковского, Н. Минского, З. Гиппиус, а позднее трех сборников В. Брюсова «Русские символисты» (1894—1895) в литературе оформилось это новое направление, черты которого были предвосхищены уже в поэзии К. Фофанова, Мирры Лохвицкой и, конечно, Вл. Соловьева:

Милый друг, иль ты не видишь,
Что все видимое нами —
Только отблеск, только тени
От незримого очами?
Милый друг, иль ты не слышишь,
Что житейский шум трескучий
Только отклик искаженный
Торжествующих созвучий?

Символизм — русский символизм — явление очень широкое и еще нуждающееся в осмыслении. Сами символисты рассматривали свой метод как принципиально новый тип художественного и нравственно-религиозного мышления и с необыкновенной отчетливостью выразили в своем творчестве кризисный характер эпохи, отрицание буржуазного быта и морали, неизбежность великих исторических катаклизмов. В лучших своих произведениях они исполнены трагического величия.

В самом общем плане символизм отражал кризис традиционного гуманизма, разочарованность в идеалах «добра», ужас одиночества перед равнодушием общества и неотвратимостью смерти, трагическую неспособность личности выйти за пределы своего «я»:

---

[1] Д. С. Мережковский. Полн. собр. соч., т. XVIII, М., 1914, стр. 212.

[2] Там же, стр. 218.

В своей тюрьме,— в себе самом,
Ты, бедный человек,
В любви, и в дружбе, и во всем
Один, один навек!..

Д. Мережковский. «Одиночество»

В то же время символизм представлял собой в определенном смысле и реакцию на голое безверие, позитивизм и натуралистическое бытописательство жизни. Поэтому он нередко проявлялся там, где натурализм обнаруживал свою несостоятельность.

Нападая на плоское описательство, символисты предлагали другую крайность: пренебрегая реальностью (или недооценивая ее), они устремлялись «вглубь», к метафизической сущности видимого мира; окружающая их действительность казалась им ничтожной и недостойной внимания поэта. Это был всего лишь «покров», за которым пряталась вожделенная «тайна» — главный, по мнению художника-символиста, объект. Нужно учитывать и то, что поиски, которые велись символистами, были частью широких исканий, какими отмечена русская духовная жизнь той поры. К непредвзятой, объективной оценке этих исканий мы только приходим.

«До сих пор широко бытует представление о том,— пишет доктор философских наук А. Гулыга,— что в конце прошлого — начале нынешнего века в культурной жизни России царил сплошной декаданс, упадок мысли и нравственности. Декаданс был, но возник и своеобразный философско-религиозный ренессанс, вышедший за рамки страны и всколыхнувший духовную жизнь Европы, определивший поворот западной мысли в сторону человека. Корни таких философских направлений, как феноменология, экзистенциализм, персонализм,— в России. Здесь был услышан великий вопрос Канта: «Что такое человек?» Русские попытки ответа на него эхом прозвучали на Западе, а затем снова пришли к нам как откровения просвещенных европейцев» [1]. Усилиями русских мыслителей — Вл. Соловьева, В. Розанова, П. Флоренского, Н. Бердяева, С. Булгакова, А. Карташова, С. Франка, Н. Лосского, Л. Карсавина, П. Сорокина, В. Успенского и многих других — в России создалась совершенно особая атмосфера, позволявшая личности при внешнем деспотическом, царистском режиме обретать безусловную внутреннюю свободу. Преграды если и ставились, то только в форме механической цензуры, или, говоря словами А. Блока, «на третьем пути поэта: на пути внесения гармонии в мир». Лишь позднее более изощренное государство догадалось, как, впрочем, и предвидел Блок в своей речи «О назначении поэта» (1921), изыскать средство для «замутнения самих источников гармонии» [2]. Но до этого было еще далеко...

В атмосфере религиозно-философского ренессанса начала нашего века Мережковский и создавал главные свои произведения. К слову сказать, сам он не обладал даром первооткрывателя-любомудра, способностью оригинального мыслителя (как, скажем, близкий ему В. В. Розанов): он принимал или контаминировал уже сложившиеся концепции. Его устремления были направлены на то, чтобы наново рассмотреть основы христианской догматики.

---

[1] Арсений Гулыга. Владимир Сергеевич Соловьев.— «Литературная газета», 18 января 1989 г.

[2] Блок. О назначении поэта.— Собр. соч. в 8 томах, т. 6, ГИХЛ, М.-Л., 1962, стр. 165.

И в этом движении, которое можно определить как попытку соединить русскую культуру с православной или даже шире — Вселенской церковью,— огромную роль сыграла жена и единомышленник — Зинаида Николаевна Гиппиус.

Мережковские прожили в браке пятьдесят два года, «не разлучаясь,— по словам Гиппиус,— со дня нашей свадьбы в Тифлисе, ни разу, ни на один день» [1]. Однако «идеальный» союз этот со стороны казался необычным, даже странным.

Традиционное, от века определение семьи как малого общества людей, произошедшего от одной четы, к ним не применимо: чета была бездетна и могла порождать только книги. (Как и Мережковский, Гиппиус оставила обширное литературное наследие: прежде всего поэтическое, а кроме того — романы, рассказы, пьесы, несколько критических сборников, два тома воспоминаний «Живые лица» и т. д.) Куда ближе, кажется, здесь понятие «семейство», взятое из естествознания, только с поправкой на систематику иного, внутреннего, мировоззренческого родства. Вскоре к этому семейству присоединяется критик и публицист Д. В. Философов, двоюродный брат известного художественного деятеля С. П. Дягилева. «Триумвират» просуществовал долгих пятнадцать лет и носил характер некоей религиозно-философской ячейки или даже секты: жили «коммуной», сообща намечались генерализующие идеи и писались некоторые книги. Как вспоминал много позднее Н. А. Бердяев: «Мережковские всегда имели тенденцию к образованию своей маленькой церкви и с трудом могли примириться с тем, что тот, на кого они возлагали надежды в этом смысле, отошел от них и критиковал их идеи в литературе. У них было сектантское властолюбие» [2].

Вероятно, этим и объясняется недолговечность и непрочность тех союзнических отношений, которые возникают (и распадаются) у Мережковских — как с печатными органами, так и с отдельными лицами: «Северным Вестником» (где был опубликован не принятый другими журналами первый исторический роман Мережковского «Отверженный» — раннее название «Юлиана Отступника») и его редактором Акимом Волынским; так называемым «дягилевским кружком» (художники В. А. Серов, А. Н. Бенуа, Л. С. Бакст, поэт Н. Минский) и его трибуной «Мир Искусства» (руководителем литературного отдела которого был Д. В. Философов, напечатавший длинное исследование Мережковского «Толстой и Достоевский»); журналом «Новый Путь» (здесь появился роман «Петр и Алексей») и редактором П. П. Перцовым и т. д. Особо следует сказать о сближениях и расхождении или даже разрыве с такими деятелями философии и литературы, как В. В. Розанов, Н. А. Бердяев, Андрей Белый, наконец, А. А. Блок (посвятивший, кстати, Гиппиус свое знаменитое — «Рожденные в года глухие...»).

Мережковские предпочитают в итоге, используя выражение Бердяева, «свою маленькую церковь», стремясь совместить ее с церковью «большой». В 1901 году они добиваются разрешения у Синода учредить в Петербурге «Религиозно-философские собрания» (вместе с Розановым и Философовым). В собраниях этих участвуют видные богословы, философы, представители духовенства — В. Тернавцев, А. Карташов, В. Успенский, епископ Сергий

---

[1] З. Гиппиус-Мережковская. Дмитрий Мережковский. Париж, 1951, стр. 7.

[2] Бердяев Н. А. Самопознание. Париж, 1949, стр. 102.

(ставший через много лет, в 1943 году, патриархом Московским и всея Руси) и др.

Собрания из-за резкости и остроты выступлений просуществовали недолго: уже 5 апреля 1903 года их запретила синодальная власть. «Не могу сказать,— вспоминает Гиппиус,— наверное, к этому времени или более позднему относится свидание Д[митрия] С[ергеевича] со всесильным обер-прокурором Синода Победоносцевым, когда этот крепкий человек сказал ему знаменитую фразу: «Да знаете ли вы, что такое Россия? Ледяная пустыня, а по ней ходит лихой человек». Кажется, Д[митрий] С[ергеевич] возразил ему тогда, довольно смело, что не он ли, не они ли сами устраивают эту ледяную пустыню из России...» [1]

Идеи «религиозной общественности», своего рода варианта христианского социализма, к которым склонялся «триумвират» Мережковский — Гиппиус — Философов, понятно, никак не укладывались в рамки официального православия. Еще меньше понимания могла найти мысль, которая (вслед за В. Соловьевым) овладевает Мережковским,— соединить православие с католичеством, восточный образ «богочеловека» и западный «человекобога». После поражения первой русской революции, «ввиду создавшегося атмосферного удушья» (как пишет Гиппиус), «триумвират» выезжает в 1906 году в Париж, где оседает (с периодическими наездами в Россию) до 1914 года.

В Париже Мережковские увлеченно интересуются католичеством и модернизмом, а также сближаются с деятелями партии эсеров, умеренными и радикальными (знаменитый Борис Савинков даже ищет у них религиозного оправдания политического террора и получает интенсивные литературные консультации в работе над романом «Конь Бледный»). Там же складывается коллективный сборник «Le Tsar et Révolution» («Царь и революция», 1907), где Мережковскому принадлежит очерк «Революция и религия». Рассматривая русскую монархию и церковь на широком историческом фоне, он приходит к выводу: «В настоящее время едва ли возможно представить себе, какую всесокрушающую силу приобретет в глубинах народной стихии революционный смерч. В последнем крушении русской церкви с русским царством не ждет ли гибель Россию, если не вечную душу народа, то смертное тело его — государство» [2]. Исключение делается только для «избранных» — «всех мучеников революционного и религиозного движения в России». В слиянии этих двух начал и видится Мережковскому то отдаленное, чаемое будущее, совпадающее с евангельским заветом: «Да приидет царствие Твое». При всей отвлеченности, книжности таких пророчеств в них ныне прочитывается и некая им предугадываемая правда, тогда еще слабо воспринимаемая интеллигенцией. В своих для того времени странных прорицаниях Мережковский (вместе с А. Блоком или В. Розановым) обращается поверх современников в трагическое «завтра»...

Однако в силу своей сугубой отвлеченности подобные пророчества отклика в обществе не находили. И к той поре сам Мережковский, его фигура в отечественной литературе выглядела одинокой и почти оторванной, отрезанной от бурлящей России и ее «горячих» запросов. То, чем он «пугал» современников, для большинства казалось чистой схоластикой. И с некоторой долей услов-

---

[1] З. Гиппиус-Мережковская. Дмитрий Мережковский, стр. 113.

[2] Д. С. Мережковский. Полн. собр. соч., т. XIII, М., 1914, стр. 96.

ности можно сказать, что добровольная эмиграция для Мережковского началась задолго до событий 1917 года. Отчасти объяснение этому, кажется, мы находим в нем самом — писателе и человеке.

3

«Почему все не любят Мережковского?» — таким вопросом задавался А. Блок.

В самом деле, литераторы полярных направлений и групп — от М. Горького, с которым Мережковские в 1900-е годы вели яростную полемику, до близкого их исканиям В. Розанова; от «чистого» журнального критика Корнея Чуковского и до философа Н. Бердяева — оставили немало самых резких о нем отзывов и характеристик. Даже обзорная статья А. Долинина в «Русской литературе XX века» (1915), которая должна была предполагать академическую объективность, местами более похожа на памфлет. Он как будто никого не устраивает.

Особое положение Мережковского отчасти объясняется глубоким личным одиночеством, которое он сам превосходно сознавал, пронеся его с детских лет и до кончины.

Гиппиус вспоминала: «Я сказала раньше, что у него никогда не было «друга»,— как это слово понимается вообще. Отчасти (я стараюсь быть точной) это шло от него самого. Он был не то что «скрытен», но как-то естественно закрыт в себе, и даже для меня то, что лежало у него на большой глубине, приоткрывалось лишь в редкие моменты» [1]. И то, что подспудно мучило Мережковского, исповедально объяснено им как «бессилие желать и любить, соединенное с неутолимой жаждой свободы и простоты», как «окаменение сердца» — следствие «болезни культуры, проклятия людей, слишком далеко отошедших от природы». Слово сказано. Кажется, только отраженно — от книги или созерцания памятника великой культуры прошлого — зажигается в этом человеке живое и сильное чувство.

Не будет преувеличением назвать Мережковского первым у нас на Руси кабинетным писателем-«европейцем».

Впрочем, именно так отзывался о нем проницательнейший Розанов (даже видя Мережковского гуляющим, он всякий раз, по собственному признанию, думал: вот идет «европеец»); о том же писали А. Блок и Н. Бердяев. Певец культуры и ее пленник, он походил на сложившийся уже в Европе тип художника-эссеиста, который явили нам Анатоль Франс (с ним Мережковский познакомился в Париже), Андре Жид, Стефан Цвейг. Полиглот, знаток античности и итальянского Возрождения, историк культуры, Мережковский особенно плодотворно выразил себя именно в жанре эссе, свободного очерка, сочетавшего элементы философии, художественной критики и ученой публицистики. Это некий перенасыщенный культурный раствор, из которого выпадают кристаллы великолепных образов, рожденных, однако, вторичным знанием, а не цельным инстинктом жизни.

Напряженное внимание к нравственно-религиозной проблематике, каким отмечено все творчество Мережковского, было лишь одним из проявлений той глубокой духовной жизни, что была свойственна русской интеллигенции начала века. Одни и те же

[1] З. Гиппиус-Мережковская. Дмитрий Мережковский, стр. 115.

тайны бытия волновали Мережковского и его современников-оппонентов, например, В. В. Розанова, Н. А. Бердяева или предшествовавшего им В. С. Соловьева. В цикле историко-религиозных работ «Больная Россия» («Зимние радуги», «Иваныч и Глеб», «Аракчеев и Фотий», «Елизавета Алексеевна» и др.), а также в примыкающих к ним очерках «Революция и религия» и «Последний святой» он делает попытку осознать, возможно ли совмещение «Божеского» и «человеческого».

Мережковскому одинаково важны и дороги правда небесная и правда земная, дух и плоть, ареной борьбы которых становится человеческая душа. Вместе с В. В. Розановым он не приемлет многого в официальной церкви и мог бы повторить розановские слова о православии, унаследовавшем старческие заветы падающей Византии: «Дитя-Россия приняла вид сморщенного старичка... и совершила все усилия, гигантские, героические, до мученичества и самораспятий, чтобы отроческое существо свое вдавить в формы старообразной мумии, завещавшей ей свои вздохи... Вся религия русская — по ту сторону гроба» [1].

Вот почему так важен для Мережковского «последний святой» — Серафим Саровский, который предстает под его пером не просто как заживо замуровавший себя в аскезу схимник, но несущий свою святость «в народ», являющий пример живого благочестия. Современник Павла и Александра I, Серафим Саровский (1760—1833) был, можно сказать, подвижником милосердия — как бы по контрасту с суровым, циничным и зачастую бесчеловечным временем.

Так выявляется внутренняя связь духовно-религиозной публицистики Мережковского и его романов о русской истории, в которых столь важное место занимают поиски идеала, будь то богатая духовная жизнь князя Валерьяна Голицына и других декабристов, или искания раскольников, сектантов, выдвигающих из крестьянских низов религиозных проповедников вроде Кондратия Селиванова, основавшего знаменитый хлыстовский «корабль» (с которым мы встречаемся на страницах романа «Александр I»).

Мережковский, как правило, идет от метафизической схемы: Христос и Антихрист (первая историческая трилогия), Богочеловек и Человекобог, Дух и Плоть (так, в исследовании о Толстом и Достоевском первый выступает в качестве «ясновидца плоти», воплощения ветхозаветной, земной правды, в то время как второй — это «ясновидец духа», воплощение правды Христовой, небесной), христианство и язычество (статья о Пушкине), «власть неба» и «власть земли» (статья «Иваныч и Глеб») и т. д. В таком духе строятся многочисленные литературно-критические работы, где самое ценное все-таки не в отвлеченных схемах, а в конкретных наблюдениях, в характеристике художественной индивидуальности, в свободе эстетического анализа, даже если он осложнен тяжелой авторской тенденцией.

Трудно даже перечислить всех, о ком написал Мережковский-критик; легче, кажется, сказать, о ком он не писал. Во всяком случае, один цикл «Вечные спутники» (1897) включает портреты Лонга, автора «Дафниса и Хлои», Марка Аврелия, Плиния Младшего, Кальдерона, Гете, Сервантеса, Флобера, Монтеня, Ибсена, Достоевского, Гончарова, Тургенева, Майкова, Пушкина. Критическое же наследие Мережковского составляет **сотни** статей и работ (в том числе и книгу о Гоголе), в которых перед нами пред-

---

[1] В. Розанов. Русская церковь. СПб., 1909, стр. 3—5.

стает едва ли не вся панорама литературной жизни и борьбы. От рецензий 1890-х годов на произведения Чехова и Короленко и до предреволюционных статей о Белинском, Чаадаеве, Некрасове, Тютчеве, Горьком — таков неправдоподобно широкий диапазон его как критика.

При этом многие злободневные статьи Мережковского (как и выступления З. Гиппиус, избравшей себе недаром псевдоним Антон *Крайний)* отмечены еще и ультимативностью тона, непререкаемо-пророческим пафосом, воистину «крайностью» оценок и суждений. Упомяну хотя бы такие его программные работы, как «Грядущий Хам», «Чехов и Горький», «В обезьяньих лапах (О Леониде Андрееве)», «Асфоделии и ромашка». Правду сказать, и в них есть немало такого, что прочитывается сегодня новым, свежим взглядом, дает пищу уму и мыслям, даже в отталкивании, несогласии с автором. И сквозь весь этот пестрый и как будто бы клочковатый материал проступают знакомые нам общие постулаты, занимавшие всю жизнь воображение Мережковского. Недаром он сказал в предисловии к собранию своих сочинений, что это «не ряд книг, а одна, издаваемая для удобства только в нескольких частях. Одна об одном».

Это относится, понятно, и к его историческим романам.

4

Всероссийскую, шире — европейскую известность принесла Мережковскому уже первая трилогия «Христос и Антихрист»: «Смерть Богов (Юлиан Отступник)», 1896; «Воскресшие Боги (Леонардо да Винчи)», 1902; «Антихрист (Петр и Алексей)», 1905.

Точнее сказать, известность эта пришла после публикации первого романа, «Отверженный» (раннее название «Юлиана Отступника»), едва ли не сильнейшего в трилогии. Великолепное знание истории, ее красочных реалий и подробностей, драматизм характеров, острота конфликта — столкновение молодого, поднимающегося из социальных низов христианства с пышной, ослабевшей, но еще пленяющей разум и чувство античностью позволило Мережковскому создать повествование незаурядной художественной силы. Трагична фигура императора Юлиана (правил с 361 по 363 г.), который до воцарения тайно исповедовал языческое многобожие, а затем решился повернуть историю вспять, дерзнул возвратить обреченную велением времени великую, но умирающую культуру. Сам Мережковский, кажется, сочувствует своему герою, противопоставляя аскетической, умерщвляющей плоть религии «галилеян» (христиан), устремленной к высоким, но отвлеченным истинам добра и абсолютной правды, светлое эллинское миросозерцание, с его проповедью гедонизма, торжеством земных радостей, волшебно прекрасной философией, искусством, поэзией. Порою христианство предстает в романе не утверждением высших принципов духовности, а всего лишь победой злой воли слепой и темной в своем опьянении вседозволенностью толпы, низкие инстинкты которой разожжены свирепыми призывами князей церкви: «Святые императоры! Придите на помощь к несчастным язычникам. Лучше спасти их насильно, чем дать погибнуть. Срывайте с храмов украшения: пусть сокровища их обогатят вашу казну. Тот, кто приносит жертву идолам, да будет исторгнут с корнем из земли. Убей его, побей камнями, хотя бы это был твой сын, твой брат, жена, спящая на груди твоей». Но вера в Спасителя — это

религия социальных низов, религия бедных. И в восприятии народном Юлиан предстает не просто Отступником, но Антихристом, Анти-Христом, Диаволом. Сам ощущая свою обреченность, раздираемый противоречиями, он погибает со ставшей знаменитой фразой на устах: «Ты победил, Галилеянин!..»

В следующем романе — «Воскресшие Боги (Леонардо да Винчи)» Мережковский широкими мазками рисует эпоху Возрождения в противоречиях между монашески суровым Средневековьем и новым, гуманистическим мировоззрением, которое вместе с возвращением античных ценностей принесли великие художники и мыслители этой поры. Однако здесь уже проступает некая нарочитость, заданность: вместе с возрождением античного искусства якобы воскресли и боги древности. И все же в романе главным является не отвлеченная концепция, а сам великий герой, гениальный художник и мыслитель. Леонардо, его «страшный лик» и «змеиная мудрость» с особой силой влекли к себе Мережковского — как символ Богочеловека и Богоборца:

Пророк, иль демон, иль Кудесник,
Загадку вечную храня,
О, Леонардо, ты — предвестник
Еще неведомого дня.

Смотрите вы, больные дети
Больных и сумрачных веков,
Во мраке будущих столетий
Он непонятен и суров,—

Ко всем земным страстям бесстрастный,
Таким останется навек —
Богов презревший, самовластный,
Богоподобный человек.

Д. Мережковский. «Леонардо да Винчи»

Работая над первой трилогией, Мережковский ощущал, что идеалы христианства и ценности гуманизма, понятие Царства Небесного и смысл царства земного для него несовместимы, метафизически разорваны. Позднее он объяснит свои искания: «Когда я начинал трилогию «Христос и Антихрист», мне казалось, что существуют две правды: христианство — правда о небе, и язычество — правда о земле, и в будущем соединении этих двух правд — полнота религиозной истины. Но, кончая, я уже знал, что соединение Христа с Антихристом — кощунственная ложь; я знал, что обе правды — о небе и о земле — уже соединены во Христе Иисусе <...> Но я теперь также знаю, что надо было мне пройти эту ложь до конца, чтобы увидеть истину. *От раздвоения к соединению* — таков мой путь,— и спутник-читатель, если он мне равен в главном — в свободе исканий,— придет к той же истине» [1].

Все же следы этой раздвоенности не покинут Мережковского до самых последних его работ.

Помимо трилогии «Христос и Антихрист» и трилогии из русской жизни «Павел I», «Александр I» и «14 декабря», ему при-

---

[1] Д. С. Мережковский. Полн. собр. соч., т. I, М., 1914, стр. VI.

надлежит еще целый ряд произведений, написанных уже в эмиграции. Жанр их не всегда определим, так как форма традиционного романа смыкается с беллетризованной документальной биографией или даже историко-философским трактатом. В этих позднейших книгах — «Рождение Богов (Тутанкамон на Крите)» (1925); «Мессия» (1927); «Тайна Запада. Атлантида — Европа» (1930); «Иисус Неизвестный» (1932); двухтомное исследование «Данте» (1939), книга об испанской святой «Маленькая Тереза», очерки «Реформаторы. Лютер. Кальвин. Паскаль» и т. д. — элементы книжности, музейной архаики нарастают. Как писал о «Рождении Богов» и «Мессии» советский критик Д. Горбов, «это огромные саркофаги, воздвигнутые бесстрастной рукой историка — «гробокопателя», холодные тронные залы все той же идеи господства мира мертвых над миром живых» [1].

Было бы неверно, однако, целиком принять эту жестокую, звучащую как приговор формулу Д. Горбова. Мережковский не был только книжным затворником. Так, занимаясь эпохой Петра I, он совершил далекие поездки по России, изучая «живьем» раскол, в котором ему виделся свет религиозной истины, утраченной официальной церковью. Но и тут проявлялся его «европеизм», кабинетность таланта. «Он был очень далек от типа русского писателя, очень часто встречающегося...— замечала З. Гиппиус.— Ко всякой задуманной работе он относился с серьезностью, я бы сказала, ученого. Он исследовал предмет, свою тему, со всей возможной широтой, и эрудиция его была довольно замечательна. Начиная с «Леонардо» — он стремился, кроме книжного собирания источников, еще непременно быть там, где происходило действие, видеть и ощущать тот воздух и ту природу. Не всегда это удавалось: его мечта побывать в Галилее, перед работой об «Иисусе Неизвестном», и в Испании, когда он писал (это уже в последние годы жизни) «Терезу Авильскую» и «Иоанна Креста» — не осуществилась; но наше путешествие «по следам Франциска I» (которого сопровождал Леонардо), начавшееся с деревушки Винчи, где родился Леонардо, и до Амбуаза, где он умер,— было первым такого рода; вторым — в глубину России, к раскольникам-старообрядцам, ко «Граду Китежу»,— когда Д[митрий] С[ергеевич] собирался писать Петра I; третьим — почти двухлетнее следование за Данте, по другим городам и местам Италии (уже перед последней войной) перед его большим трудом о Данте. Повторяю, более всестороннего и тщательного исследования темы, будь то роман или не роман,— трудно было у кого-нибудь встретить <...> В работе о Египте ему помогла Германия, где ему, из специальной библиотеки, привозили на тачках (буквально) громадные фолианты, в которых он нуждался» [2].

Однако документ, как и географические и исторические реалии, в итоге как бы сковывал фантазию Мережковского-художника. Писатель использовал его не как отправную точку для показа путешествия души героев, для создания новых, неизвестных ранее в литературе характеров. Он оставался, можно сказать, «внутри» документа, преобразуя его то в выдуманный дневник одного из персонажей романа, то в форму острого диалога или

---

[1] Д. А. Горбов. «10 лет литературы за рубежом».— «Печать и революция», 1927, № 8, с. 18.

[2] З. Гиппиус-Мережковская. Дмитрий Мережковский, стр. 60—61.

внутреннего потока сознания, который превращался таким образом в поток цитат.

Это было именно тщательное «исследование темы». Для художника, открывающего нам тайны человека, созидающего типы времени, оно лишь пролог к собственно творчеству (так документальные изыскания Пушкина явили нам «Историю пугачевского бунта», а роман «Капитанская дочка» волшебно преобразил документ в высокое искусство); у Мережковского творчество укладывалось в рамки сбора, систематизации и осмысления материала. Как подсчитал один из критиков, из тысячи страниц его романа о Леонардо да Винчи не менее половины приходится на подробные выписки, материалы и дневники. Отсюда заметная иллюстративность исторических романов Мережковского, герои которых — воистину рупоры идей автора.

Впрочем, в этих ограниченных пределах он остается художником, стремящимся прежде всего к внешним эффектам, ярким и драматическим зарисовкам, идя от фактов и реалий (наподобие многофигурных и явно театральных полотен академика живописи Г. И. Семирадского; так и хочется сопоставить его пышное полотно «Светочи Нерона» с романом «Юлиан Отступник»). Мережковский недаром выбирает для своих романов особенные — смутные, колеблемые раздвоением, вызревающими конфликтами времена. Такова, к примеру, эпоха Юлиана Отступника (христианство уже победило, но язычество еще не изжито; в христианстве укрывается языческий разврат), или Леонардо да Винчи (возрождается язычество, эллинизм, а христианство в лице католицизма вырождается, причем в самых уродливых формах), или Петра I, или религиозной смуты на Крите и в Египте. Кризис гуманизма, кризис веры в конечное торжество добра (приведшие в итоге к появлению символизма) наложили мощный отпечаток на творчество Мережковского. В ряде его романов мы найдем полное смещение нравственных норм, тягу к откровенной эротике, тщательное живописание насилия и жестокости. С Мережковским, по утверждению Н. Бердяева, «исчезает из русской литературы ее необыкновенное правдолюбие и моральный пафос».

Об этом, можно сказать, ницшеански-демонстративном нежелании считаться с заповедями традиционной, христианской морали размышлял философ и критик И. А. Ильин, подробно, пристрастно и очень последовательно проанализировавший романы Мережковского:

«Ложное истинно. А истинное ложно. Это — диалектика? Извращенное нормально. Нормальное извращенно. Вот искренно верующая христианка — от христианской доброты она отдается на разврат конюхам. Вот христианский диакон, священнослужитель алтаря — он мажет себе лицо, как публичная женщина, и постоянно имеет грязно-эротические похождения в цирке. Вот распятие — тело Христа, а голова ослиная. Вот святой мученик — с дикой руганью он плюет в глаза своим палачам. Вот христиане, которые только и думают о том, как бы им вырезать всех язычников. Христос тождествен с языческим богом Дионисом. Верить можно только в то, чего нет, но что осуществится в будущем. Преступное изображается как упоительное. Смей быть злым до конца, или не стыдись. От руки найденного идола — совершаются исцеления. В кануны христианских праздников проститутке надо платить вдвое — «из почтения к Богоматери». Человек имеет две ладанки — с мощами св. Христофора и с куском мумии. Папа Римский прикладывается к распятию, а внутри у него Венера.

Чистейшая кровь Диониса — Галилеянина. Вот девушку вкладывают в деревянное подобие коровы и отдают в таком виде быку — это мистерия на Крите, предшествующая Тайной Вечере христианства. Ведьмовство смахивает на молитву; молитва — на колдовское заклинание. Христос — митра. Зло есть добро. И все это высший гнозис. А откровение божественное призвано давать людям сомнение» [1].

«Искусство это? — задается в итоге вопросом Ильин.— Но тогда это искусство, попирающее все законы художественного. Религия это? Нет — это скорее безверие и безбожие».

Характерно, однако, что во всех этих рассуждениях речь идет о романах (кроме одного — «Петр и Алексей»), написанных на иноземном историческом материале — Рим, Италия, Крит, Египет. И. А. Ильин совершенно не касается двух крупных произведений Мережковского — «Александр I» и «14 декабря» (равно как и пьесы «Павел I»). Скорее всего, по той простой причине, что здесь его критическое жало не нашло бы жертвы.

Трилогия «Павел I» — «Александр I» — «14 декабря» свободна от метафизической догматики, и от красочной эротики, и от смакования жестокостей. Я бы сказал даже, что тут (например, в романе «Александр I») ощущаешь ту связь с гуманистической традицией русской литературы XIX века, которая оказалась в других произведения Мережковского утраченной.

5

Вторая трилогия — только о России

Конечно, Мережковский и в ней остается верен себе. Он вновь выбирает «смутное время»: конец царствования Павла, заговор и убийство императора; закат правления Александра I, брожение и недовольство в обществе, нравственно-религиозные искания, движение дворянских революционеров, их неудача 14 декабря 1825 года. Пробел во времени между событиями, о которых говорится в пьесе и романах, огромен — без малого четверть века. Выпадают и славные страницы Отечественной войны 1812 года; однако героический период русской истории Мережковского, видимо, не интересует. В пьесе ему, помимо главной цели — осуждения самодержавия на примере дикого самодурства и деспотизма Павла,— важно еще показать начало опустошающей душу трагедии Александра Павловича, ставшего невольным соучастником дворцового переворота. Отцеубийство. Этот мотив найдет затем развернутое продолжение в романе, в показе раздвоенного, проявляющего себя то в приливах лицемерия, то в приступах больной совести характера Александра I.

Уже отмечалось, сколь важны были всегда для Мережковского-романиста источники; о них следует сказать особо. В пору написания трилогии он имел возможность опираться на капитальные труды, созданные отечественными историками.

Здесь раньше всего нужно назвать серию монографий Н. К. Шильдера, посвященных русским монархам: огромное исследование в четырех томах «Император Александр I, его жизнь и царствование» (1897—1898), работы «Император Павел I» (1901)

---

[1] И. А. Ильин. Творчество Мережковского.—В кн.: И. А. Ильин. Русские писатели, литература и художество. Вашингтон, 1973.

и «Император Николай I» (опубликована в 1903 году). В последнем, незавершенном двухтомном труде (автор покончил с собой в 1902 году, повторив таким образом поступок своего коронованного героя) Шильдер с особенным историческим беспристрастием, необычным для историка его положения, говорит о многих сторонах царствования Николая, в том числе и о характере официального следствия по делу декабристов.

Ослабление цензуры после первой русской революции вызвало появление многочисленных работ, посвященных «темным пятнам» русской истории (например, в серии «Русская быль» — «Смерть Павла Первого» немецких ученых Шимана и Брикнера, «Разруха 1825 года. Восшествие на престол императора Николая I» Г. Василича, его же компилятивный труд «Император Александр I и старец Федор Кузьмич» и т. д.). Достоянием читателя становится целая библиотека, посвященная декабристам: издаются сборники документов, воспоминания, исследования. Среди прочих назову сборник донесений, приказов и правительственных сообщений под редакцией Богучарского «Государственные преступления в России» (заграничное издание 1903-го и петербургское — 1906 года), мемуары Н. Тургенева, братьев Бестужевых, Трубецкого (1907), составленный Семевским, Богучарским и Щеголевым сборник «Общественное движение в России в первую половину XIX века» (1905), работы Довнар-Запольского «Мемуары декабристов» (1906), «Тайное общество декабристов» (1906) и «Идеалы декабристов» (1907), «Галерею шлиссельбургских узников» под редакцией Анненского, Богучарского, Семевского и Якубовича (1907), «Декабристы» Котляревского (1907), «Политические и общественные идеалы декабристов» Семевского (1909) и мн. др.

Особо важным подспорьем для Мережковского оказались исследования замечательного русского историка Великого Князя Николая Михайловича «Император Александр I» (1912) и трехтомная работа «Императрица Елизавета Алексеевна» (1908—1909). Ведь для автора (внука Николая I) были открыты все запретные для других дворцовые архивы. Николай Михайлович опубликовал широкий, недоступный ранее материал (например, пространную интимную переписку жены Александра I Елизаветы Алексеевны со своей матерью, маркграфиней Баденской Амалией), которым воспользовался Мережковский.

Но события времен Павла и Александра I не были для писателя седой стариной. О них помнили не только книги, но и люди. Именно в царствование Павла, как уже говорилось, дед Мережковского начал свою службу в гвардейском Измайловском полку, а затем участвовал в войне 1812 года; судя по всему, он был и свидетелем декабрьского восстания в Петербурге 1825 года. Иными словами, благодаря семейным преданиям Мережковский мог получить многое, так сказать, из первых рук. Не потому ли, несмотря на традиционное обилие скрытых и явных цитат, вторая трилогия выглядит все же не энциклопедией чужой мудрости, а серией живых картин русской жизни.

Особый характер придает ей резкая антимонархистская, антицаристская направленность.

И здесь, верный себе, Мережковский находит теологическое обоснование своих взглядов. В результате долгих размышлений, поисков (в которых участвует весь «триумвират») он находит категорическую формулу: «Да — самодержавие от Антихриста». Уже в ходе работы над романом «Петр и Алексей» симпатии автора все более склоняются к «непонятому» Алексею, «жертве»,

олицетворению «патриархальной России», а также к гонимым раскольникам, несущим, по его мнению, народную правду. Пушкинскую фразу о Петре I: «Россию поднял на дыбы» Мережковский переиначивает «на дыбу»; бессильная угроза несчастного Евгения Медному Всаднику «Добро, строитель чудотворный!.. Ужо тебе!» оборачивается зловещим предсказанием: «Петербургу быть пусту!»

Надо сказать, что резко отрицательное отношение к абсолютистскому государству, самодержавно-бюрократическому строю было характерно для русского символизма в целом. Так, очень близок своим антимонархическим пафосом прозе Мережковского роман Андрея Белого «Петербург» (1913—1916), который был отвергнут редактором журнала «Русская мысль» П. Струве из-за «антигосударственной тенденции», которая здесь «очень зла и даже скептична». Но, пожалуй, наибольшего накала обличение монархии достигает в пьесе Мережковского «Павел I».

В фундаментальных трудах отечественных историков правление Павла уже получило к тому времени недвусмысленную оценку. Самодержавие, с его бесконтрольностью и абсолютной полнотой власти, раскрылось во всей вопиющей несправедливости, когда на троне оказался человек с явно расстроенной психикой, навязчивой подозрительностью, у которого самые благие порывы приводили к печальным последствиям и который оставил память о себе как о жестоком маньяке. Характеризуя царствование Павла, Н. К. Шильдер писал: «...новая эра является перед нами в виде сплошного, тяжелого кошмара, напоминающего порою, по выражению современника, «зады Грозного» [1]. Современником этим был не кто иной, как Н. М. Карамзин, автор «Записки о древней и новой России» (поданной Александру I через великую княгиню Екатерину Павловну), где он дал уничтожающую характеристику Павлу и его царствованию. И хотя делались (и делаются поныне) попытки переосмыслить эту оценку, думаю, можно считать ее окончательной.

В своей пьесе Мережковский даже сгущает мрак павловского царствования, вынося за скобки и то немногое доброе, что было в императоре. Под его пером Павел — это злая кукла, автомат, наделенный неограниченной властью и гибнущий в результате развязанной им фантасмагории. Отсюда, от пьесы Мережковского, идет целая традиция в нашей литературе, например, трактовка Павла I и русской монархии у Ю. Тынянова («Подпоручик Киже»). Влияние Мережковского порой проявлялось в буквальном следовании за ним других авторов (так, исторический роман 1935 года А. Шишко «Беспокойный век» оказался построен на прямых заимствованиях из пьесы).

В один из наездов Мережковских в Петербург, 14 декабря 1908 года, на вечере, устроенном в пользу писателя А. М. Ремизова, были впервые разыграны два действия драмы «Павел I» в костюмах того времени. По случайному совпадению премьера состоялась в день 83-й годовщины восстания на Сенатской площади. К тому времени Мережковский уже работал над романом «Александр I» и думал о следующем, который по замыслу должен был носить заглавие «Николай I».

В центре остросюжетной пьесы — сам император, вокруг которого сжимается кольцо заговора; роман «Александр I» пред-

---

[1] Н. Шильдер. Император Павел Первый. СПб., 1901, стр. 314.

ставляет собой совершенно иное, многоплановое произведение. Здесь центр тяжести рассредоточен на нескольких центральных персонажах: сам император; «вольнодумец» и декабрист князь Валерьян Голицын; его любимая, угасающая от чахотки незаконная дочь Александра Софья Нарышкина; несчастная супруга царя Елизавета Алексеевна. Все они действуют на широком историческом фоне — петербургский свет, участники дворянского заговора, тайная жизнь масонских лож и религиозных сект (вроде «корабля» Татариновой, который посещает Валерьян Голицын), борьба у трона временщиков — Аракчеева и митрополита Фотия с «конкурентом», Голицыным другим, обер-прокурором Святейшего Синода, и т. д.

Разумеется, фигуре самого Александра I в романе отдано некоторое предпочтение. Можно сказать, что здесь Мережковский идет за Пушкиным:

Властитель слабый и лукавый,
Плешивый щеголь, враг труда,
Нечаянно пригретый славой,
Над нами царствовал тогда.
. . . .
Россия присмирела снова,
И пуще царь пошел кутить,
Но искра пламени иного
Уже издавна, может быть,
. . . .

Расшифрованные потомками строфы из десятой главы «Евгения Онегина», можно сказать, являются ключом к целому периоду нашей истории и к характеру самого Александра. Мережковский реставрирует этот характер, отказываясь от романтических соблазнов вроде версии об уходе императора «в скит» замаливать свои грехи (которая увлекла, помимо множества рядовых перьев, «самого» Льва Толстого). В предпоследней главе из Таганрога, где скончался государь, идет по почтовому тракту похожий на него отставной солдат Федор Кузьмич.

Несмотря на многочисленные «странные» высказывания Александра на протяжении всей его жизни (отречься от престола и уехать в Америку или, во время кампании 1812 года, отрастить себе бороду и питаться картофелем где-то за Уралом, но не соглашаться на переговоры с Наполеоном), писатель оставался в твердом убеждении, что его герой не способен на нравственное подвижничество. Но давняя трещина прошлась, раздвоив характер императора. В минуты раскаяния он считал себя отцеубийцей.

И здесь Мережковский шел от свидетельства историков: «Наследник престола знал все подробности заговора, ничего не сделал, чтобы предотвратить его, а, напротив того, дал свое обдуманное согласие на действия злоумышленников, как бы закрывая глаза на несомненную вероятность плачевного исхода, т. е. насильственную смерть отца» [1].

---

[1] Великий Князь Николай Михайлович. Император Александр I. Опыт исторического исследования. 2-е изд., Пг., 1914, стр. 10.

Вообще говоря, смутный внутренний мир Александра очень близок Мережковскому-художнику: метания между вольнолюбивыми идеями воспитавшего его Лагарпа и желание видеть Россию единой казармой наподобие огромного аракчеевского поселения; мучения отца, потерявшего одну за другой трех дочерей (двух малолетних, от Елизаветы Алексеевны, и взрослую — Софью, от Марии Антоновны Нарышкиной), и лицемерие, фальшь, каменное бесчувствие при виде страдающего под крепостным гнетом народа. Так угадывается в романе излюбленная Мережковским антиномия, которая тут принимает два полярных начала: «небесное» и «земное».

«Небесное» начало редко посещает государя; оно удел двух женских образов — дочери Софьи и жены Елизаветы Алексеевны. Нисходит оно, впрочем, и на декабристов, даже посреди подготовки кровавого переворота, когда внезапно в них прочитывается нечто чистое, «детское». Показательно, однако, что здесь в главные герои романа Мережковский вербует не «железного» Пестеля или напоминающего позднейших террористов-народовольцев исступленного Каховского. Его внимание привлекает сомневающийся, рефлектирующий князь Валерьян Голицын.

Он принадлежал к умеренному крылу Северного общества и мог многим импонировать Мережковскому. Учился в иезуитском коллеже, дружил с Чаадаевым, рассуждал о католицизме и православии и «заимствовал свободный образ мыслей от чтения жарких прений в парламентах тех народов, кои имеют конституцию» (показания на следствии). Присужденный к ссылке в Сибирь, Голицын через одиннадцать лет был переведен рядовым на Кавказ, в 1838 году поступил на гражданскую службу в Ставрополе и умер в 1859 году. В ряде его черт (вплоть до сильного, но платонически-отвлеченного чувства к Софье) угадывается нечто от личности самого Мережковского.

С неожиданной для этого писателя поэтичностью и глубоким лиризмом обрисованы в романе его героини.

Характер хрупкой, словно случайно залетевшей на грешную землю и быстро покинувшей ее Софьи целиком домыслен писателем. Облик Елизаветы Алексеевны воссоздан по документам. Правда, как свидетельствует Николай Михайлович, дневник Елизаветы Алексеевны, «который она вела за все время своего пребывания в России до кончины в Белеве (в 1826 году.— *О. М.*) был сожжен императором Николаем I» [1]. Иными словами, ее ежедневные записи, приводимые в романе (равно как и дневник Голицына), выдуманы Мережковским. Но документальный материал тут велик (только писем к матери было 1145). Он дает полное основание утверждать, что Елизавета Алексеевна, помимо того, что она была больной совестью Александра и несчастной матерью, обладала еще неподдельным вольнолюбием, возвышенными духовными чертами.

«Я проповедывала революции, как безумная, я хотела одного — видеть несчастную Россию счастливою, какою бы то ни было ценою»,— приводит Мережковский выдержку из ее письма матери в отзыве на первый том книги Великого Князя Николая Михай-

---

[1] Великий Князь Николай Михайлович. Императрица Елизавета Алексеевна, супруга императора Александра I, т. I, СПб., 1908, стр. VII.

ловича «Императрица Елизавета Алексеевна» и размышляет далее: «Николай I хорошо знал, что делает, когда, после кончины Елизаветы, собственноручно сжег ее многолетний дневник. Что думал и чувствовал он в то время, как тлели на огне эти обличительные страницы, вырванные из русской истории? Если бы в руки его попались и эти письма,— не предал ли бы он их огню вместе с дневником?» [1].

Если Елизавета Алексеевна — больная совесть Александра, то, по замыслу Мережковского, Софья — больная совесть декабриста Голицына. Полны глубокого смысла слова, сказанные ею князю Валерьяну Михайловичу накануне своей кончины: «Живых убивать можно,— но как же мертвого?» О них Голицын вспоминает, когда, собираясь с Пестелем в Таганрог, где задумано покушение на Александра, они узнают о его смерти. Об этих словах вправо вспомнить и мы, применительно к истории новой. Ибо от века горазды мы льстить живым и убивать мертвых.

Слова эти бросают новый свет и на завершающий трилогию роман «14 декабря», который создавался Мережковским посреди великой революции, охватившей Россию.

6

Октябрь, Советскую власть Мережковские не приняли; «триумвират» выезжает, а точнее — бежит от большевиков в Варшаву, где Философов остается. Мережковский и Гиппиус обосновываются в Париже.

Несмотря на свою европейскую известность (вместе с Буниным и Шмелевым он был кандидатом на Нобелевскую премию), несмотря на активное участие в литературной жизни (популярными стали учрежденные им и Гиппиус заседания «Зеленая лампа»), наконец, несмотря на свою исключительную плодовитость и в эмиграции, Мережковский постепенно становится фигурой архаичной, почти выморочной. Бунин записывает в дневник 7/20 января 1922 года: «Вечер Мережковск[ого] и Гиппиус у Цетлиной. Девять десятых, взявших билеты, не пришли. Чуть не все бесплатные, да и то почти все женщины, еврейки. И опять он им о Египте, о религии! И все сплошь цитаты — плоско и элементарно до нельзя» [2].

В политической ненависти к коммунизму Мережковский последовательно ставил на всех диктаторов: Пилсудского, Муссолини, Гитлера. Когда фашистская Германия напала на нашу страну, он, 76-летний старик, выступил по радио, где сравнил Гитлера... с Жанной д'Арк! Большинство эмигрантов отвернулись от него. Между тем этот последний, роковой шаг был сделан Мережковским, как он сам обмолвился как-то, только «из подлости».

«Положа руку на сердце,— пишет встречавшаяся с ним в то время Ирина Одоевцева,— утверждаю, что Мережковский до сво-

---

[1] Д. С. Мережковский. Полн. собр. соч., т. XV, М., 1914, стр. 122—123.

[2] Устами Буниных. Дневники Ивана Алексеевича и Веры Николаевны и другие архивные материалы под редакцией Милицы Грин. В трех томах, т. 2, Франкфурт-на-Майне, 1981, стр. 74.

его последнего дня оставался лютым врагом Гитлера, ненавидя и презирая его по-прежнему <...>

Кстати, меня удивляет это его невероятное презрение к Гитлеру: он считал его гнусным, невежественным ничтожеством, полупомешанным к тому же.

А ведь сам он всю жизнь твердил об Антихристе, и когда этот Антихрист, каким можно считать Гитлера, появился перед ним,— Мережковский не разглядел, проглядел его» [1].

Однако клеймо «коллаборациониста» так и не было смыто. И когда полгода спустя после своей радиопередачи Мережковский скончался (9 декабря 1941 года), проводить его в последний путь в православной церкви на улице Дарю, в Париже, собралось всего несколько человек.

Олег Михайлов

---

[1] Ирина Одоевцева. На берегах Сены. Париж, 1983, стр. 434.

ТРИЛОГИЯ

I

СМЕРТЬ БОГОВ

(ЮЛИАН ОТСТУПНИК)

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

В двадцати стадиях от Цезареи Каппадокийской, на лесистых отрогах Аргейской горы, при большой римской дороге, был источник теплой целебной воды. Каменная плита с грубо высеченными человеческими изваяниями и греческой надписью свидетельствовала, что некогда родник посвящен был братьям Диоскурам — Кастору и Поллуксу. Изображения языческих богов, оставшись неприкосновенными, считались изображениями христианских святых, Косьмы и Дамиана.

На другой стороне дороги, против св. Источника, была построена небольшая таверна, крытая соломой лачуга, с грязным скотным двором и навесом для кур и гусей. В кабачке можно было получить козий сыр, полубелый хлеб, мед, оливковое масло и довольно терпкое местное вино. Таверну содержал лукавый армянин Сиракс.

Перегородка разделяла ее на две части: одна — для простого народа, другая — для более почетных гостей. Под потолком, почерневшим от едкого дыма, висели копченые окорока и пучки душистых горных трав: жена Сиракса, Фортуната, была добрая хозяйка.

Дом считался подозрительным. Ночью добрые люди в нем не останавливались; ходили слухи о темных делах, совершенных в этой лачуге. Но Сиракс был пронырлив, умел дать взятку, где нужно, и выходил сух из воды.

Перегородка состояла из двух тонких столбиков, на которые натянута была, вместо занавески, старая полинявшая хламида Фортунаты. Столбики эти составляли единственную роскошь кабачка и гордость Сиракса: некогда позолоченные, они давно уже растрескались и облупились; прежде ярко-лиловая, теперь пыльно-голубая ткань хламиды пестрела многими заплатами и следами завтраков, ужинов и обедов, напоминавшими добродетельной Фортунате десять лет семейной жизни.

В чистой половине, отделенной занавеской, на единственном ложе, узеньком и продранном, за столом с оловянным кратером и кубками вина, возлежал римский военный трибун шестнадцатого легиона девятой когорты Марк Ску́дило. Марк был провинциальный щеголь, с одним из тех лиц, при виде которых бойкие рабыни и дешевые гетеры городских предместий восклицают в простодушном восторге: «какой красивый мужчина!» В ногах его, на той же лектике, в почтительном и неудобном положении тела, сидел краснолицый толстяк, страдавший одышкой, с голым черепом и редкими седыми волосами, зачесанными от затылка на виски,— сотник восьмой центурии Публий Аквила. Поодаль, на полу, двенадцать римских легионеров играли в кости.

— Клянусь Геркулесом,— воскликнул Скудило,— лучше бы я согласился быть последним в Константинополе, чем первым в этой норе! Разве это жизнь, Публий? Ну, по чистой совести отвечай — разве это жизнь? Знать, что кроме учений да казармы, да лагерей ничего впереди. Сгниешь в вонючем болоте и света не увидишь!

— Да, жизнь здесь, можно сказать, невеселая,— согласился Публий.— Ну, уж зато и спокойно.

Старого центуриона занимали кости; делая вид, что слушает болтовню начальника, поддакивая ему, исподтишка следил он за игрой солдат и думал: «если рыжий ловко метнет — пожалуй, выиграет». Только для приличия Публий спросил трибуна, как будто это занимало его:

— Из-за чего же, говоришь ты, сердит на тебя префект Гельвидий?

— Из-за женщины, друг мой, все из-за женщины.

И в припадке болтливой откровенности, с таинственным видом, на ухо сообщил Марк центуриону, что префект, «этот старый козел Гельвидий», приревновал его к приезжей гетере лилибеянке; Скудило хочет сразу какой-нибудь важной услугой возвратить себе милость Гельвидия. Недалеко от Цезареи, в крепости Мацеллуме, заключены Юлиан и Галл, двоюродные братья царствующего императора Констанция, племянники Константина Великого, последние отпрыски несчастного дома Флавиев. При вступлении на престол, из боязни соперников, Констанций умертвил родного дядю, отца Юлиана и Галла, Юлия Констанция, брата Константина. Пало еще много жертв. Но Юлиана и Галла пощадили, сослав в уединенный замок Мацеллум. Префект Цезареи, Гельвидий, был в большом затруднении. Зная, что новый император нена-

видит двух отроков, напоминавших ему о преступлении, Гельвидий и хотел, и боялся угадать волю Констанция. Юлиан и Галл жили под вечным страхом смерти. Ловкий трибун Скудило, мечтавший о возможности придворной выслуги, понял из намеков начальника, что он не решается принять на себя ответственность и напуган сплетнями о замышляемом бегстве наследников Константина; тогда Марк решился отправиться с отрядом легионеров в Мацеллум и на свой страх схватить заключенных, чтобы отвести их в Цезарею, полагая, что нечего бояться двух несовершеннолетних, всеми брошенных, сирот, ненавистных императору. Этим подвигом надеялся он возвратить себе милость префекта Гельвидия, утраченную из-за рыжеволосой лилибеянки.

Впрочем, Публию Марк сообщил только часть своих замыслов, и притом осторожно.

— Что же ты хочешь делать, Скудило? Разве получены предписания из Константинополя?

— Никаких предписаний; никто ничего наверное не знает. Но слухи, видишь ли,— тысячи различных слухов и ожиданий, и намеки, и недомолвки, и угрозы, и тайны — о, тайнам нет конца! Всякий дурак сумеет исполнить то, что сказано. А ты угадай безмолвную волю владыки — вот за что благодарят. Посмотрим, попробуем, поищем. Главное — смелее, смелее, осенив себя крестным знамением. Я на тебя полагаюсь, Публий. Может быть, мы с тобою скоро будем пить при дворе вино послаще этого...

В маленькое решетчатое окошко падал унылый свет ненастного вечера; однообразно шумел дождь.

Рядом, за тонкой глиняной стенкой со многими щелями, был хлев; оттуда пахло навозом, слышалось кудахтанье кур, писк цыплят, хрюканье свиней; молоко цедилось в звонкий сосуд: должно быть, хозяйка доила корову.

Солдаты, поссорившись из-за выигрыша, ругались шепотом. У самого пола, между ивовых прутьев, чуть прикрытых глиной, в щель выглянула нежная и розовая морда поросенка; он попал в западню, не мог вытащить головы назад и жалобно пищал.

Публий подумал:

«Ну, пока что, а мы теперь ближе к скотному, чем царскому двору».

Тревога его прошла. Трибуну, после неумеренной болтовни, тоже сделалось скучно. Он взглянул на серое дождливое небо в окошке, на глупую морду поросенка, на кис-

лый осадок скверного вина в оловянном кубке, на грязных солдат — и злоба овладела им.

Он застучал кулаком по столу, качавшемуся на неровных ногах.

— Эй, ты, мошенник, христопродавец, Сиракс! Подика сюда. Что это за вино, негодяй?

Прибежал кабатчик. У него были черные, как смоль, волосы в мелких кудряшках, и борода такая же черная, с синеватым отливом, тоже в бесчисленных мелких завитках; в минуты супружеской нежности Фортуната говорила, что борода Сиракса подобна гроздьям сладкого винограда; глаза черные и необыкновенно сладкие; сладчайшая улыбка не сходила с румяных губ; он походил на карикатуру Диониса, бога вина: весь казался черным и сладким.

Кабатчик клялся и Моисеем, и Диндименой, и Христом, и Геркулесом, что вино превосходное; но трибун объявил, что знает, в чьем доме зарезан был памфилийский купец Глабрион, и что выведет когда-нибудь его, Сиракса, на чистую воду. Испуганный армянин бросился со всех ног в погреб и скоро с торжеством вынес бутылку необыкновенного вида — широкую, плоскую внизу, с тонким горлышком, всю покрытую благородною плесенью и мхом, как будто седую от старости. Сквозь плесень кое-где виднелось стекло, но не прозрачное, а мутное, слегка радужное; на кипарисовой дощечке, привешенной к горлышку, можно было разобрать начальные буквы: «*Anthosmium*» и дальше: «*annorum centum*» — «столетнее». Но Сиракс уверял, что уже во времена императора Диоклетиана вину было больше ста лет.

— Черное? — с благоговением спросил Публий.

— Как деготь, и душистое, как амброзия. Эй, Фортуната, для этого вина нужны летние хрустальные чаши. И дай-ка нам чистого, белого снега из ледника.

Фортуната принесла два кубка. Лицо у нее было здоровое, с приятной желтоватой белизной, как у жирных сливок; казалось, от нее пахнет деревенской свежестью, молоком и навозом.

Кабатчик взглянул на бутылку со вздохом умиления и поцеловал горлышко; потом осторожно снял восковую печать и откупорил. На дно хрустального кубка положили снегу. Вино полилось густою черною пахучею струею; снег таял от прикосновения огненного антосмия; хрустальные стенки сосуда помутились и запотели от холода. Тогда Скудило, получивший образование на медные гроши (он

был способен смешать Гекубу с Гекатой), произнес с гордостью единственный стих Марциала, который помнил:

Candida nigrescant vetulo crystalla Falerno[1]

— Подожди. Будет еще вкуснее!

Сиракс опустил руку в глубокий карман, достал крошечную бутылочку из цельного оникса и с чувственной улыбкой осторожно подлил в вино каплю драгоценного аравийского киннамона; капля упала в черную антосмию, как мутно-белая жемчужина, и растаяла; в комнате повеял сладкий странный запах.

Пока трибун с восторгом медленно пил, Сиракс прищелкивал языком и приговаривал:

— Библосское, Маронейское, Лаценское, Икарийское — все перед этим дрянь!

Темнело. Скудило отдал приказ собираться в путь. Легионеры надели панцири, шлемы, на правую ногу железные поножия, взяли щиты и копья.

Когда они вышли за перегородку, исаврские пастухи, похожие на разбойников, сидевшие у очага, почтительно встали перед римским трибуном. Он имел величественный вид; в голове шумело; в жилах был огонь благородного напитка.

На пороге приступил к нему человек в странном восточном одеянии, в белом плаще с красными поперечными полосами и с высоким головным убором из валяной шерсти — персидской тиарой, похожей на башню. Скудило остановился. Лицо у перса было тонкое, длинное, исхудалое, желто-оливкового цвета; узкие проницательные глаза — с глубокою и хитрою мыслью; во всех движениях важное спокойствие. Это был один из тех бродячих астрологов, которые с гордостью называли себя халдеями, магами, пирэтами и математиками. Тотчас объявил он трибуну, что имя его Ногодарес; он остановился у Сиракса проездом; держит путь из далекой Анадиабены к берегам Ионического моря, к знаменитому философу и теургу — Максиму Эфесскому. Маг попросил позволения показать свое искусство и погадать на счастие трибуна.

Закрыли ставни. Перс что-то приготовлял на полу; вдруг раздался легкий треск; все притихли. Красноватое пламя поднялось тонким длинным языком из белого дыма, наполнившего комнату. Ногодарес приложил к бескровным губам двуствольную тростниковую дудочку, заиг-

---

[1] Светятся льдинки в бокалах с фалернским (*лат.*).

рал,— и звук был томный, жалобный, напоминавший лидийские похоронные песни. Пламя, как будто от этого жалобного звука, пожелтело, померкло, засветилось грустно-нежным, бледно-голубым сиянием. Маг подбросил в огонь сушеной травы; разлился крепкий, приятный запах; запах тоже казался грустным: так благоухают полузасохшие травы, в туманные вечера, над мертвыми пустынями Арахозии или Драигианы. И, послушная жалобному звуку дудочки, огромная змея медленно выползла из черного ящика у ног волшебника, развивая с шелестом упругие кольца, блестевшие зеленоватым блеском. Тогда он запел протяжным, тихим голосом, так что казалось — песнь доносится издалека; и много раз повторял все он одно и то же слово: «Мара, мара, мара». Змея обвилась вокруг его худого стана и, ласкаясь, с нежным шипением, приблизила плоскую, зелено-чешуйчатую голову с глазами, сверкавшими подобно карбункулам, к самому уху волшебника: длинное раздвоенное жало мелькнуло со свистом, как будто она что-то сказала ему на ухо. Волшебник бросил на землю дудочку. Пламя опять наполнило комнату мутно-белым дымом, но на этот раз с тяжелым, одуряющим, словно могильным, запахом,— и сразу потухло. Сделалось темно и страшно. Все были в смятении. Но, когда открыли ставни, и упал свинцовый свет дождливых сумерек — от змеи и от ее черного ящика не было ни следа. Лица казались мертвенно-бледными.

Ногодарес подошел к трибуну:

— Радуйся! Тебя ожидает великая и скорая милость блаженного Августа, императора Констанция.

Несколько мгновений он пытливо смотрел на руку Скудило, на очертания ладони; потом, быстро наклонившись к уху его, так что никто не мог слышать, сказал шепотом:

— Кровь, кровь великого цезаря на этой руке!

Скудило испугался.

— Как ты смеешь, проклятая халдейская собака? Я верный раб...

Но тот почти насмешливо заглянул ему в лицо хитрыми глазами и прошептал:

— Чего ты боишься?.. Через много лет... И разве без крови бывает слава?..

Когда солдаты вышли из таверны, гордость и радость наполняли сердце Скудило. Он подошел к св. Источнику, набожно перекрестился, выпил целебной воды, призывая с усердною мольбою Косьму и Дамиана, втайне надеясь,

что предсказание Ногодареса не окажется тщетным; потом вскочил на великолепного каппадокийского жеребца и дал знак, чтобы легионеры выступали в путь. Знаменосец, «драконарий», поднял знамя в виде дракона из пурпуровой ткани. Трибуну хотелось похвастать перед толпою, высыпавшей из кабака. Он знал, что это опасно, но не мог удержаться, опьяненный вином и гордостью; протянув меч по направлению к ущелью, покрытому туманом, он громко сказал:

— В Мацеллум!

Пронесся шепот удивления; произнесены были имена Юлиана и Галла.

Трубач, стоявший впереди, затрубил в медную «букцину», загнутую кверху в несколько завитков, подобно рогу барана.

Протяжный звук римской трубы разнесся далеко по ущельям, и горное эхо повторило его.

II

В огромной спальне Мацеллума, бывшего дворца каппадокийских царей, было темно.

Постель десятилетнего Юлиана была жесткая: голое дерево, прикрытое барсовой шкурой; мальчик сам так хотел; недаром старый учитель, Мардоний, воспитывал его в строгих началах стоической мудрости.

Юлиану не спалось. Ветер подымался изредка, порывами, и жалобно, как пойманный зверь, завывал в щелях; потом вдруг становилось тихо; и в странной тишине слышно было, как нечастые крупные капли дождя падали, должно быть, с большой высоты, на звонкие каменные плиты. Юлиану казалось иногда, что в черном мраке сводов слышится быстрое шуршание летучей мыши. Он различал сонное дыхание брата, спавшего — то был изнеженный и прихотливый мальчик — на мягком ложе, под старинным запыленным пологом, последним остатком роскоши каппадокийских царей. Из соседнего покоя раздавался тяжелый храп педагога Мардония.

Вдруг маленькая кованая дверца потайной лестницы в стене тихонько скрипнула, отворилась, и луч света ослепил глаза Юлиана. Вошла старая рабыня Лабда; она держала в руке медную лампаду.

— Няня, мне страшно; не уноси огня.

Старуха поставила лампаду в полукруглое каменное углубление над изголовьем Юлиана.

— Не спится? Не болит ли головка? Хочешь поесть? Кормит вас впроголодь старый грешник Мардоний. Медовых лепешек принесла. Вкусные. Отведай.

Кормить Юлиана было любимым занятием Лабды; но днем не позволял ей Мардоний, и она приносила лакомства ночью тайком.

Полуслепая старуха, едва таскавшая ноги, ходила всегда в черном монашеском платье; ее считали ведьмой; но она была набожной христианкой; самые мрачные, древние и новые, суеверия слились в ее голове в странную религию, похожую на безумие: молитвы смешивала она с заклинаниями, олимпийских богов с христианскими бесами, церковные обряды с волшебством; вся была увешана крестиками, кощунственными амулетами из мертвых костей и ладанками с мощами святых.

Старуха любила Юлиана благоговейной любовью, считая его единственным законным наследником императора Константина, а Констанция — убийцей и вором престола.

Лабда знала, как никто, все родословное древо, все вековечные семейные предания дома Флавиев; помнила Юлианова деда, Констанция Хлора; кровавые придворные тайны хранились в ее памяти. По ночам старуха рассказывала все Юлиану без разбора. И перед многим, чего детский ум его еще не мог понять, сердце уже замирало от смутного ужаса. С тусклым взором, равнодушным и однообразным голосом рассказывала она эти страшные бесконечные повести, как рассказывают древние сказки.

Поставив лампаду, Лабда перекрестила Юлиана, посмотрела, цел ли на груди его янтарный амулет, и, проговорив несколько заклинаний, чтобы отогнать злых духов, скрылась.

Юлиан забылся тяжелым полусном; ему было жарко; редкие, тяжкие капли дождя, падавшие в тишине, с высоты, как будто в звонкий сосуд, мучили его.

И он не мог различить, спит ли он или не спит, ночной ли ветер шумит, или дряхлая Лабда, похожая на парку, лепечет и шепчет ему на ухо страшные семейные предания. То, что он слышал от нее и что сам видел в детстве, смешивалось в один тяжелый бред.

Он видел труп великого императора на погребальном ложе. Мертвец нарумянен и набелен; хитрая многоэтажная прическа из поддельных волос сделана искуснейшими парикмахерами. Маленького Юлиана подводят, чтобы в последний раз поцеловал он руку дяди. Ребенку страшно; он ослеплен пурпуром, диадемой на поддельных кудрях и ве-

ликолепием драгоценных камней, блестящих при похоронных свечах. Сквозь тяжелые аравийские благовония первый раз в жизни слышит он запах тления. Но придворные, епископы, евнухи, военачальники приветствуют императора, как живого; послы перед ним склоняются, благодарят его, соблюдая пышный чин; сановники провозглашают эдикты, законы, постановления сената; испрашивают соизволения мертвеца, как будто он может слышать; и льстивый шепот проносится над толпой: люди уверяют, будто бы он так велик, что, по особой милости Провидения, один только царствует и после смерти.

Юлиан знает, что Константин убил сына; вся вина молодого героя была в том, что народ слишком любил его; сын был оклеветан мачехой: она полюбила пасынка грешной любовью и отомстила ему, как Федра Ипполиту; потом оказалось, что жена кесаря в преступной связи с одним из рабов, состоявших при императорской конюшне, и ее задушили в раскаленной бане. Пришла очередь и благородного Лициния. Труп на трупе, жертва за жертвой. Император, мучимый совестью, молил об очищении иерофантов языческих таинств; ему отказали. Тогда епископ уверил его, что у одной только веры Христовой есть таинства, способные очистить и от таких преступлений. И вот пышный «лабарум», знамя с именем Христа из драгоценных каменьев, сверкает над похоронным ложем сыноубийцы.

Юлиан хотел проснуться, открыть глаза и не мог. Звонкие капли по-прежнему падали, как тяжелые, редкие слезы, и ветер шумел; но ему казалось, что не ветер шумит, а Лабда, старая парка, шепчет, лепечет ему на ухо страшные сказки о доме Флавиев.

Юлиану снится, что он — в холодной сырости, рядом с порфировыми гробами, наполненными прахом царей, в подземелье, родовой гробнице Констанция Хлора; Лабда укрывает его, прячет в самый темный угол, между гробами, и укрывает больного Галла, дрожащего от лихорадки. Вдруг наверху, во дворце, из покоя в покой, под каменными сводами гулких, пустынных палат, раздается предсмертный вопль. Юлиан узнает голос отца, хочет ответить криком, броситься к нему. Но Лабда удерживает мальчика костлявыми руками и шепчет: «Молчи, молчи, а то придут!» — и закрывает его с головой. Потом раздаются торопливые шаги по лестнице — все ближе, ближе. Лабда крестит детей, шепчет заклинания. Стук в дверь, и, при свете факелов, врываются воины кесаря: они переодеты монахами; их ведет епископ Евсевий Никомидийский; пан-

цири сверкают под черными рясами. «Во имя Отца и Сына и Св. Духа! Отвечайте, кто здесь?» Лабда с детьми притаилась в углу. И опять: «Во имя Отца и Сына и Св. Духа,— кто здесь?» И еще в третий раз. Потом, с обнаженными мечами, убийцы шарят. Лабда кидается к ногам их, показывает больного Галла, беспомощного Юлиана: «Побойтесь Бога! Что может сделать императору пятилетний мальчик?» И воины всех троих заставляют целовать крест в руках Евсевия, присягнуть новому императору. Юлиан помнит большой кипарисовый крест с эмалью, изображающей Спасителя: внизу, на темном старом деревце, видны следы свежей крови — обагренной руки убийцы, державшего крест; может быть, это — кровь отца его или одного из шести двоюродных братьев — Далматия, Аннибалиана, Непотиана, Константина Младшего, или других: через семь трупов перешагнул братоубийца, чтобы вступить на престол, и все совершилось во имя Распятого.

Юлиан проснулся от тишины и ужаса. Звонкие, редкие капли перестали падать. Ветер стих. Лампада, не мерцая, горела в углублении неподвижным, тонким и длинным языком. Он вскочил на постели, прислушиваясь к ударам собственного сердца. Тишина была невыносимая.

Вдруг внизу раздались громкие голоса и шаги, из покоя в покой, под каменными сводами гулких пустынных палат — здесь, в Мацеллуме, как там, в гробнице Флавиев. Юлиан вздрогнул; ему показалось, что он все еще бредит. Но шаги приближались, голоса становились явственней. Тогда он закричал:

— Брат! Брат! Ты спишь? Мардоний? Разве вы не слышите?

Галл проснулся. Мардоний, босой, с растрепанными седыми волосами, в ночной коротенькой тунике — евнух с морщинистым, желтым и одутловатым лицом, похожий на старую бабу,— бросился к потайной двери.

— Солдаты префекта! Одевайтесь скорей! Надо бежать!

Но было поздно. Послышался лязг железа. Маленькую кованую дверь запирали снаружи. На каменных столбах лестницы мелькнул свет факелов и в нем пурпурное знамя драконария и блестящий крест с монограммой Христа на шлеме одного из воинов.

— Именем правоверного, блаженного августа, императора Констанция — я, Марк Скудило, трибун легиона Фретензис, беру под стражу Юлиана и Галла, сыновей патриция Юлия.

Мардоний, преграждая путь солдатам, стоял перед закрытой дверью спальни, с воинственной осанкой, с мечом в руках; меч был тупой, никуда не годный: он служил старому педагогу только для того, чтобы во время уроков Илиады показывать ученикам, на живом примере, в условных телодвижениях, как сражался Гектор с Ахиллом; школьный Ахилл едва ли бы сумел зарезать и курицу. Теперь он размахивал этим мечом перед носом Публия по всем правилам военного искусства времен Гомера. Публия, который был пьян, это взбесило:

— Прочь с дороги, пузырь, старая падаль, раздувальный мех! Прочь, если не хочешь, чтобы я проткнул и выпустил из тебя воздух!

Он схватил за горло Мардония и отбросил его далеко, так, что тот ударился о стену и едва не упал. Скудило подбежал к дверям спальни и раскрыл их настежь.

Неподвижное пламя лампады всколыхнулось и побледнело в красном свете факелов. И трибун первый раз в жизни увидел двух последних потомков Констанция Хлора.

Галл казался высоким и крепким; но кожа у него была тонкая, белая и матовая, как у молодой девушки; глаза светло-голубые, ленивые и равнодушные; белокурые, как лен (общий знак Константинова рода), вьющиеся волосы покрывали мелкими кудрями толстую, почти жирную шею. Несмотря на возмужалость тела и на легкий пух начинающейся бороды, восемнадцатилетний Галл теперь казался мальчиком: такое детское недоумение и ужас были на лице его; губы дрожали, как у маленьких детей, когда они готовы заплакать; он мигал беспомощно веками, розовыми, опухшими от сна, с очень светлыми ресницами, и, торопливо крестясь, шептал: «Господи, помилуй, Господи, помилуй!»

Юлиан был ребенок тощий, худенький, бледный; лицо некрасивое и неправильное; волосы жесткие, гладкие и черные, нос слишком большой; нижняя губа выдающаяся. Но поразительны были глаза его, делавшие лицо одним из тех, которых, раз увидев, нельзя забыть,— большие, странные, изменчивые, с недетским, напряженным и болезненно ярким блеском, который иногда казался сумасшедшим. Публий, много раз видевший в молодости Константина Великого, подумал:

«Этот мальчик будет похож на дядю».

Страх Юлиана перед солдатами исчез: он чувствовал злобу. Крепко стиснув зубы, перекинув через плечо барсо-

вую шкуру с постели, он смотрел на Скудило пристально, исподлобья, и нижняя выдающаяся губа его дрожала; в правой руке, под барсовой шкурой, сжимал он рукоятку тонкого персидского кинжала, тайно подаренного Лабдой; острие было отравлено.

— Волчонок! — молвил один из легионеров, указывая на Юлиана, своему товарищу.

Скудило хотел уже переступить порог спальни, когда у Мардония явилась новая мысль. Он отбросил бесполезный меч, уцепился за платье трибуна и вдруг завопил пронзительным, неожиданно тонким бабьим голосом:

— Что вы делаете, негодяи? Как смеете оскорблять посланного императором Констанцием? Мне поручено отвезти ко двору этих царственных отроков. Август возвратил им свою милость. Вот приказ.

— Что он говорит? Какой приказ?

Скудило взглянул на Мардония: морщинистое, старушечье лицо свидетельствовало о том, что он, в самом деле, евнух. Трибун никогда раньше не видел Мардония, но хорошо знал, в какой милости евнухи при дворе императора.

Мардоний поспешно вынул из книгохранилищного ящика, с пергаментными свитками Гесиода и Гомера, сверток и подал его трибуну.

Скудило, развернув, побледнел: он прочел только первые слова, увидел имя императора, называвшего себя в эдикте «наша вечность», и не разобрал ни года, ни месяца; когда трибун заметил при свертке огромную, хорошо ему знакомую, государственную печать из темно-зеленого воска на позолоченных тесьмах,— в глазах у него помутилось, колени подогнулись.

— Прости! Это ошибка...

— Ах, вы бездельники! Прочь отсюда! Чтоб духу вашего здесь не было! Еще пьяные! Все будет известно императору!

Мардоний вырвал из дрожащих рук Скудило бумагу.

— Не губи меня! Все мы — братья, все мы — грешные люди. Умоляю тебя именем Христа!

— Знаю, знаю, что вы делаете именем Христа, негодяи! Прочь отсюда!

Бедный трибун подал знак отступления. Тогда Мардоний снова поднял тупой меч и, размахивая им, сделался похожим на воина из Илиады. Один только пьяный центурион рвался к нему и кричал:

— Пустите, пустите! Я проткну этот старый пузырь и посмотрю, как он лопнет!

Пьяного увели под руки.

Когда шаги умолкли и Мардоний убедился, что опасность миновала, он громко захохотал; все дряблое, женоподобное тело скопца колыхалось от смеха; он забыл важность, приличную педагогу, и подпрыгивал на своих слабых голых ногах, в ночной тунике, крича от восторга:

— Дети мои, дети! Хвала Гермесу! Ловко мы их провели! Эдикт уже три года как отменен. Дураки, дураки!..

Перед солнечным восходом Юлиан уснул крепким, спокойным сном. Он проснулся поздно, бодрый и веселый, когда голубое небо сияло в решетчатом высоком окне спальни.

III

Утром был урок катехизиса. Богословие преподавал другой учитель, арианский пресвитер, с руками мокрыми, холодными и костлявыми, с уныло-светлыми, лягушачьими глазами, сгорбленный и высокий как шест, худой как щепка, монах Евтропий. У него была неприятная привычка, тихонько лизнув ладонь руки, быстро приглаживать ею облезлые, седенькие височки и непременно, тотчас же после того, вкладывая пальцы в пальцы, слегка пощелкивать суставами. Юлиан знал, что за одним движением неминуемо последует другое, и это раздражало его. Евтропий носил черную рясу, заплатанную, со многими пятнами, уверяя, что носит плохую одежу из смирения; на самом деле он был скряга.

Евсевий Никомидийский, духовный опекун Юлиана, избрал этого наставника.

Монах подозревал в своем питомце «тайную строптивость ума», которая, по мнению учителя, грозила Юлиану вечною погибелью, ежели он не исправится. Евтропий неутомимо говорил о тех чувствах, которые ребенок обязан питать к своему благодетелю, императору Констанцию. Объяснял ли он Новый Завет, или арианский догмат, или пророческое знаменье,— все сводилось к этой цели, к этому «корню святого послушания и сыновней покорности». Казалось, подвиги смирения и любви, мученические жертвы — только ряд ступеней, по которым триумфатор Констанций восходит на престол. Но иногда, в то время, как арианский монах говорил о благодеяниях императора, оказанных ему, Юлиану, мальчик смотрел молча

прямо в глаза учителю глубоким взором; он знал, что в это мгновение думает монах, так же, как тот знал, что думает ученик; и они об этом не говорили.

Но после того, если Юлиан останавливался, забыв перечисление имен ветхозаветных патриархов, или плохо выученную молитву, Евтропий, так же молча, с наслаждением, смотрел на него лягушачьими глазами и тихонько брал его за ухо двумя пальцами, как будто лаская; ребенок чувствовал, как медленно впивались в ухо его два острых, жестких ногтя.

Евтропий, несмотря на видимую угрюмость, обладал насмешливым и по-своему веселым нравом; он давал ученику самые нежные названия: «дражайший мой», «первенец души моей», «возлюбленный сын мой», и посмеивался над его царственным происхождением; каждый раз, ущипнув его за ухо, когда Юлиан бледнел не от боли, а от злости, монах произносил подобострастно:

— Не изволит ли гневаться твое величество на смиренного и худоумного раба Евтропия?

И лизнув ладонь, приглаживал височки, и слегка потрескивал пальцами, прибавляя, что злых и ленивых мальчиков очень бы хорошо поучить иногда лозою, что об этом упоминается и в Священном Писании: лоза темный и строптивый ум просвещает. Говорил он это только для того, чтобы смирить «бесовский дух гордыни» в Юлиане: мальчик знал, что Евтропий не посмеет исполнить угрозу; да и монах сам был втайне убежден, что ребенок скорее умрет, чем позволит себя высечь; и все-таки учитель почасту и подолгу говорил об этом.

В конце урока, при объяснении какого-то места из Священного Писания, Юлиану случилось заикнуться об антиподах, о которых слышал он от Мардония. Может быть, он сделал это нарочно, чтобы взбесить монаха; но тот залился тонким смехом, закрывая рот ладонью.

— И от кого ты слышал, дражайший, об антиподах? Ну, насмешил ты меня, грешного, насмешил! Знаю, знаю, у старого глупца Платона кое-что о них говорится. А ты и поверил, что люди вверх ногами ходят?

Евтропий стал обличать безбожную ересь философов: не постыдно ли думать, что люди, созданные по образу и подобию Божию, ходят на головах, издеваясь, так сказать, над твердью небесной? Когда же Юлиан, обиженный за любимых мудрецов, упомянул о круглости земли, Евтропий вдруг перестал смеяться и пришел в такую ярость, что, весь побагровев, затопал ногами.

— От Мардония-язычника наслушался ты этой лжи богопротивной!

Когда он сердился, то говорил, запинаясь, брызгая слюною; слюна эта казалась Юлиану ядовитой. Монах с ожесточением напал на всех мудрецов Эллады; он забыл, что перед ним ребенок, и произносил уже искренно целую проповедь, задетый Юлианом за больное место: старика Пифагора, «выжившего из ума», обвинял в бесстыдной дерзости; о бреднях Платона, казалось ему, и говорить не стоит; он просто называл их «омерзительными»; учение Сократа — «безрассудным».

— Почитай-ка о Сократе у Диогена Лаэрция,— сообщал он Юлиану злорадно,— найдешь, что он был ростовщиком; кроме того, запятнал себя гнуснейшими пороками, о коих и говорить непристойно.

Но особенную ненависть возбуждал в нем Эпикур:

— Я не считаю сего и стоющим ответа: зверство, с каким погружался он во все роды похотей, и низость, с какою он делался рабом чувственных удовольствий, довольно показывают, что он был не человек, а скот.

Успокоившись немного, принялся объяснять неуловимый оттенок арианского догмата, с такой же яростью нападая на православную церковь, которую называл еретической.

В окно, из сада, веяло свежестью. Юлиан делал вид, что внимательно слушает Евтропия; на самом деле думал он о другом — о своем любимом учителе Мардонии; вспоминал его мудрые беседы, чтения Гомера и Гесиода: как они были непохожи на уроки монаха!

Мардоний не читал, а пел Гомера, по обычаю древних рапсодов; Лабда смеялась, что он «воет, как пес на луну». И в самом деле, непривычным людям было смешно: старый евнух делал ударения на каждой стопе гекзаметра, размахивая в лад руками; и важность была на желтом, морщинистом лице его. Но тоненький бабий голосок становился все громче и громче. Юлиан не замечал уродства старика; холод наслаждения пробегал по телу мальчика; божественные гекзаметры переливались и шумели, как волны: он видел прощание Андромахи с Гектором, Одиссея, тоскующего по своей Итаке, на острове Калипсо, пред унылым пустынным морем. И сердце Юлиана щемила сладкая боль, тоска по Элладе — родине богов, родине всех, кто любит красоту. Слезы дрожали в голосе учителя, слезы текли по желтым щекам его.

Иногда Мардоний говорил ему о мудрости, о суровой добродетели, о смерти героев за свободу. О, как и эти речи были не похожи на речи Евтропия! Он рассказывал ему жизнь Сократа; когда доходил до Апологии перед афинским народом, то вскакивал и читал наизусть речь философа; лицо его делалось спокойным и немного презрительным: казалось — говорит не подсудимый, а судья народа; Сократ не просит милости; вся власть, все законы государства — ничто перед свободой духа человеческого; афиняне могут умертвить его, но не отнимут свободы и счастья у бессмертной души его. И когда этот скиф, варвар, купленный раб с берегов Борисфена, восклицал: «свобода!» — Юлиану казалось, что в слове этом такая красота, что перед ней бледнеют образы Гомера. И смотря широко открытыми, почти безумными глазами на учителя, весь дрожал он и холодел от восторга.

Мальчик проснулся от грез, почувствовав прикосновение к уху костлявых холодных пальцев. Урок катехизиса кончился. Став на колени, он прочел благодарственную молитву. Потом, вырвавшись от Евтропия, побежал к себе в келью, взял книгу и направился в любимый уголок сада, чтобы читать на свободе. Книга была запретная, *Симпозион* богохульного и нечестивого Платона. На лестнице Юлиан нечаянно столкнулся с уходившим Евтропием.

— Погоди, погоди-ка, дражайший. Что это за книжечка у твоего величества?

Юлиан взглянул на него спокойно и подал книгу.

На пергаментном переплете прочел монах заглавие большими буквами: «Послания Апостола Павла». Он отдал не развернув.

— Ну, то-то же. Помни: я за твою душу отвечаю перед Богом и перед великим государем. Не читай еретических книг, в особенности же тех философов, суетную мудрость коих я довольно обличил сегодня.

Это была обычная хитрость мальчика: он завертывал запрещенные книги в переплеты с невинными заглавиями. Юлиан научился лицемерить с детства с недетским совершенством. Обманывал с наслаждением, в особенности Евтропия. Иногда притворялся, хитрил и лицемерил без нужды, по привычке, с чувством злобной и мстительной радости; обманывал всех, кроме Мардония.

В Мацеллуме, между бесчисленными праздными слугами и служанками, не было конца проискам, клеветам, сплетням, подозрениям, доносам. Придворная челядь, на-

деясь выслужиться, днем и ночью следила за царственными братьями, попавшими в немилость.

С тех пор, как Юлиан себя помнил, он ждал смерти со дня на день, и мало-помалу почти привык к страху, знал, что ни в доме, ни в саду не может сделать шага, который ускользнул бы от тысячи глаз. Ребенок многое слышал и понимал, но поневоле должен был делать вид, что не слышит и не понимает. Однажды донеслось к нему несколько слов из беседы Евтропия с подосланным от Констанция соглядатаем, в которой монах называл Юлиана и Галла «царственными щенятами». В другой раз, в крытом ходу, под окнами кухни, мальчик нечаянно подслушал, как старый пьяница-повар, раздраженный какой-то дерзостью Галла, говорил своей любовнице, рабыне, перемывавшей посуду: «Господь да сохранит мою душу, Присцилла,— удивляюсь я, как это их еще до сей поры не придушили!»

Когда Юлиан, после урока катехизиса, выбежал из дома и увидел зелень деревьев, он вздохнул свободнее.

Вечные снега двуглавой вершины Аргея белели на голубом небе. От близких ледников веяло прохладой. Просеки уходили вдаль непроницаемыми сводами южных дубов, с мелкими блестящими черно-зелеными листьями; кое-где прорывался луч и трепетал на зелени платанов. Только с одной стороны сада не было стен: там кончался он обрывом. Внизу тянулась пустыня до самого края неба, до Антитавра. Она дышала зноем. А в саду шумели студеные воды, низвергались с грохотом, били фонтанами, лепетали струйками под кущами олеандров. Мацеллум, столетья тому назад, был любимым приютом роскошного и полубезумного царя Каппадокии Ариарафа.

Юлиан, с книгой Платона, направился в уединенную пещеру, недалеко от обрыва. Там стоял козлоногий Пан, игравший на свирели, и маленький жертвенник. В каменную раковину струилась вода из львиной пасти. Вход был заткан желтыми розами; между ними виднелись холмы пустыни, туманно-голубые, волнообразные, как море; запах чайных роз наполнял пещеру. В ней было бы душно, если бы не ледяная струйка. Ветер приносил желто-белые лепестки, усыпал ими землю и воду. Слышно было жужжание пчел в темном теплом воздухе.

Юлиан, лежа на мху, читал «Пир»; многого не понимал; но прелесть книги была в том, что она запретная.

Отложив Платона, он опять завернул его в переплет Посланий Апостола Павла, тихонько подошел к жертвен-

нику Пана, взглянул на веселого бога как на старого сообщника и, разрыв груду сухих листьев, достал из внутренности жертвенника, проломанного и прикрытого дощечкой, предмет, старательно обвернутый тканью. Осторожно развернув, мальчик поставил его перед собой. Это было его создание, великолепный игрушечный корабль, «либурнская трирема». Он подошел к чаше водомета и опустил корабль в воду. Трирема закачалась на маленьких волнах. Все готово — три мачты, снасти, весла; нос позолочен; паруса — из шелковой тряпочки, подаренной Лабдой. Оставалось приделать руль. И мальчик принялся за работу. Стругая дощечку, изредка посматривал на даль, сквозившую между розами, на волнообразные холмы. И над игрушечным кораблем своим скоро забыл все обиды, всю свою ненависть и вечный страх смерти. Воображал себя затерянным среди волн, в пустынной пещере, высоко над морем, хитроумным Одиссеем, строящим корабль, чтобы вернуться в милую отчизну. Но там, среди холмов, где белели крыши Цезареи, как пена на морских волнах,— крест, маленький блестящий крест над базиликой, мешал ему. Этот вечный крест! Он старался не видеть его, утешаясь триремой.

— Юлиан! Юлиан! Да где же он? В церковь пора. Евтропий зовет тебя в церковь!

Мальчик вздрогнул и поспешно спрятал трирему в отверстие жертвенника; потом поправил волосы, одежду; и когда он выходил из пещеры, лицо его приняло снова непроницаемое, недетское выражение глубокого лицемерия — словно жизнь от него отлетела.

Держа Юлиана за руку своей холодной костлявой рукой, Евтропий повел его в церковь.

IV

Арианская базилика св. Маврикия построена была почти целиком из камней разрушенного храма Аполлона.

Священный двор, «атриум», окружали с четырех сторон ряды столбов. Посредине журчал фонтан для омовения молящихся. В одном из боковых притворов была древняя гробница из резного потемневшего дуба; в ней покоились чудотворные мощи святого Мамы. Евтропий заставлял Юлиана и Галла строить каменную раку над мощами. Работа Галла, который считал ее приятным телесным упражнением, подвигалась; но стенка Юлиана то и дело рушилась. Евтропий объяснил это тем, что св. Мама отвергает дар отрока, одержимого духом бесовской гордыни.

Около гробницы толпились больные, ждавшие исцеления. Юлиан знал, зачем они приходят: у одного арианского монаха были в руках весы; богомольцы — многие из далеких селений, отстоявших на несколько парасангов — тщательно взвешивали куски льняной, шелковой или шерстяной ткани, и положив их на гроб св. Мамы, молились подолгу — иногда целую ночь до утра; потом ту же ткань снова взвешивали, чтобы сравнить с прежним весом; если ткань была тяжелее, значит, молитва исполнена: благодать святого вошла, подобно ночной росе,— впиталась в шелк, лен или шерсть, и теперь ткань могла исцелять недуги. Но часто молитва оставалась неуслышанной, ткань не тяжелела, и богомольцы проводили у гроба дни, недели, месяцы. Здесь была одна бедная женщина, старица Феодула: одни считали ее полоумной, другие святой; уже целые годы не отходила она от гробницы Мамы; больная дочь, для которой старица сначала просила исцеления, давно умерла, а Феодула по-прежнему молилась о кусочке полинявшей, истрепанной ткани.

Три двери из атриума вели в арианскую базилику: одна — в мужское отделение, другая — в женское, третья — в отделение для монахов и клира.

Вместе с Галлом и Евтропием, Юлиан вошел в среднюю дверь. Он был анагностом — церковным чтецом у св. Маврикия. Его облекала длинная черная одежда с широкими рукавами; волосы, умащенные елеем, придерживались тонкой тесьмой, для того чтобы при чтении не падали на глаза.

Он прошел среди народа, скромно потупившись. Бледное лицо почти непроизвольно принимало выражение лицемерного, необходимого, давно привычного смирения.

Он взошел на высокий арианский амвон.

Живопись на одной из стен изображала мученический подвиг св. Евфимии: палач схватил голову страдалицы и держал ее откинутой назад, неподвижно; другой, открыв ей рот щипцами, приближал к нему чашу, должно быть, с расплавленным свинцом. Рядом изображено было другое мучение: та же Евфимия привешена к дереву за руки, и палач стругает орудием пытки ее окровавленные, девственные, почти детские члены. Внизу была надпись: «Кровью мучеников, Господи, церковь Твоя украшается, как багряницею и виссоном».

На противоположной стене изображены были грешники, горящие в аду; над ними рай со святыми угодниками; один из них срывал румяный плод с дерева, другой пел,

играя на гуслях, а третий наклонился, облокотившись на облако, и смотрел на адские муки, с тихой усмешкой. Внизу надпись: «там будет плач и скрежет зубов».

Больные от гроба св. Мамы вошли в церковь; это были хромые, слепые, калеки, расслабленные, дети на костылях, похожие на стариков, бесноватые, юродивые,— бледные лица с воспаленными веками, с выражением тупой, безнадежной покорности. Когда хор умолкал, в тишине слышались сокрушенные воздыхания церковных вдов — калугрий, в темных одеждах, или позвякивание вериг старца Памфила: в продолжение многих лет Памфил ни с одним человеком не молвил слова и только повторял: «Господи! Господи! дай мне слезы, дай мне умиление, дай мне память смертную».

Воздух был теплый, душный, как в подземелье — тяжелый, пропитанный ладаном, запахом воска, гарью лампад, дыханием больных.

В тот день Юлиан должен был читать Апокалипсис.

Проносились страшные образы Откровения: бледный конь в облаках, имя которому Смерть; племена земные тоскуют, предчувствуя кончину мира; солнце мрачно, как власяница, луна сделалась как кровь; люди говорят горам и камням: падите на нас и сокройте нас от лица Сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева Его, и кто может устоять? Повторялись пророчества: «Люди будут искать смерти и не найдут ее; пожелают умереть и смерть убежит от них». Раздавался вопль: «блаженны мертвые!» — Это было кровавое избиение народов; виноград брошен в великое точило гнева Божия, и ягоды истоптаны, и потекла кровь из точила даже до узд конских, на тысячу шестьсот стадий. «И люди проклинали Бога небесного от страданий своих; и не раскаялись в делах своих. И Ангел возопил: кто поклоняется Зверю и образу его, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере, перед святыми Ангелами и Агнцем. И дым мучений их будет восходить во веки веков, и не будет иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющийся Зверю и образу его».

Юлиан умолк; в церкви была тишина; в испуганной толпе слышались только тяжелые вздохи, удары головой о плиты и звяканья цепей юродивого: «Господи! Господи! Дай мне слезы, дай мне умиление, дай мне память смертную!»

Мальчик взглянул вверх, на огромный полукруг мозаики между столбами свода: это был арианский образ Хри-

ста — грозный, темный, исхудалый лик в золотом сиянии и диадеме, похожей на диадему византийских императоров, почти старческий, с длинным тонким носом и строго сжатыми губами; десницей благословлял он мир; в левой руке держал книгу; в книге было написано: «Мир вам. Я свет мира». Он сидел на великолепном престоле, и римский император — Юлиану казалось, что это Констанций,— целовал Ему ноги.

А между тем, там, внизу, в полумраке, где теплилась одна лишь лампада, виднелся мраморный барельеф на гробнице первых времен христианства. Там были изваяны маленькие нежные Нереиды, пантеры, веселые тритоны; и рядом — Моисей, Иона с китом, Орфей, укрощающий звуками лиры хищных зверей, ветка оливы, голубь и рыба — простодушные символы детской веры; среди них — Пастырь Добрый, несущий Овцу на плечах, заблудшую и найденную Овцу — душу грешника. Он был радостен и прост, этот босоногий юноша, с лицом безбородым, смиренным и кротким, как лица бедных поселян; у него была улыбка тихого веселия. Юлиану казалось, что никто уже не знает и не видит Доброго Пастыря; и с этим маленьким изображением иных времен для него связан был какой-то далекий, детский сон, который иногда хотел он вспомнить и не мог. Отрок с овцой на плечах смотрел на него, на него одного, с таинственным вопросом. И Юлиан шептал слово, слышанное от Мардония: «Галилеянин!»

В это мгновение, упав из окна, косые лучи солнца задрожали столбом в облаке ладана; и тихо колеблясь, как будто подняло оно вспыхнувший золотым сиянием грозный, темный лик Христа. Хор торжественно грянул:

«Да молчит всякая плоть человеча и да стоит со страхом и трепетом, и ничто же земное в себе да помышляет. Царь бо царствующих и Господь господствующих приходит заклатися и датися в снедь верным. Предходят же Сему лицы Ангельскии, со всяким началом и властию, многоочитии херувими и шестокрилатии серафими, лица закрывающе и вопиюще песнь: Аллилуиа! Аллилуиа! Аллилуиа!»

И песнь, как буря, проносилась над склоненными головами молящихся.

Образ босоногого юноши, Доброго Пастыря, уходил в неизмеримую даль, но все еще смотрел на Юлиана с вопросом. И сердце мальчика сжималось не от благоговения, а от ужаса перед этой тайной, которую во всю жизнь не суждено ему было разгадать.

V

Из базилики вернулся он в Мацеллум, захватил с собой готовую, тщательно завернутую трирему, и никем не замеченный (Евтропий уехал на несколько дней) выскользнул из ворот крепости и побежал мимо церкви св. Маврикия к соседнему храму Афродиты.

Роща богини соприкасалась с кладбищем христианской церкви. Вражда и споры, даже тяжбы между двумя храмами, никогда не прекращались. Христиане требовали разрушения капища. Жрец Олимпиодор жаловался на церковных сторожей: по ночам они тайно вырубали вековые кипарисы заповедной рощи и рыли могилы для христианских покойников в земле Афродиты.

Юлиан вступил в рощу. Теплый воздух охватил его. Полуденный зной выжал из серой волокнистой коры кипарисов капли смолы. Юлиану казалось, что в полумраке веет дыхание Афродиты.

Между деревьями белели изваяния. Здесь был Эрос, натягивающий лук; должно быть, церковный сторож, издеваясь над идолом, отбил мраморный лук: вместе с двумя руками бога, оружие любви покоилось в траве, у подножия статуи; но безрукий мальчик по-прежнему, выставив одну пухлую ножку вперед, целился с резвой улыбкой.

Юлиан вошел в домик жреца Олимпиодора. Комнаты были маленькие, тесные, почти игрушечные, но уютные; никакой роскоши, скорее бедность; ни ковров, ни серебра; простые каменные полы, деревянные скамьи и стулья, дешевые амфоры из обожженной глины. Но в каждой мелочи было изящество. Ручка простой кухонной лампады изображала Посейдона с трезубцем: это была древняя искусная работа. Иногда Юлиан подолгу любовался на стройные очертания простой глиняной амфоры с дешевым оливковым маслом. Всюду на стенах виднелась легкая живопись: то Нереида, сидящая верхом на водяном чешуйчатом коне; то пляшущая молодая богиня в длинном пеплуме с вьющимися складками.

Все смеялось в домике, облитом солнечным светом: смеялись Нереиды на стенах, пляшущие богини, тритоны, даже морские чешуйчатые кони; смеялся медный Посейдон на ручке лампады; тот же смех был и на лицах обитателей дома; они родились веселыми; им довольно было двух дюжин вкусных олив, белого пшеничного хлеба, кисти винограда, нескольких кубков вина, смешанного с водою, чтобы счесть это за целый пир, и чтобы жена Олимпиодо-

ра, Диофана, в знак торжества, повесила на двери лавровый венок.

Юлиан вошел в садик атриума. Под открытым небом бил фонтан. Рядом, среди нарциссов, аканфов, тюльпанов и мирт стояло небольшое бронзовое изваяние Гермеса, крылатого, смеющегося, как все в доме, готового вспорхнуть и улететь. Над цветником на солнце вились пчелы и бабочки.

Под легкой тенью портика на дворе Олимпиодор и его семнадцатилетняя дочь Амариллис играли в изящную аттическую игру — коттабу: на столбике, вбитом в землю, поперечная перекладина качалась, подобно коромыслу весов; к обоим концам ее привешены небольшие чашечки; под каждой подставлен сосуд с водой и с маленьким медным изваянием; надо было, с некоторого расстояния, плеснуть из кубка вином так, чтобы попасть в одну из чашек, и чтобы, опустившись, ударилась она об изваяние.

— Играй, играй же. За тобой очередь! — кричала Амариллис.

— Раз, два, три!

Олимпиодор плеснул и не попал; он смеялся детским смехом; странно было видеть высокого человека с проседью в волосах, увлеченного игрою, подобно ребенку.

Девушка красивым движением голой руки, откинув лиловую тунику, плеснула вином — и чашечка коттабы зазвенела, ударившись.

Амариллис захлопала в ладоши и захохотала.

Вдруг в дверях увидели Юлиана.

Все начали целовать его и обнимать. Амариллис кричала:

— Диофана! Где же ты? Посмотри, какой гость! Скорее! Скорее!

Диофана прибежала из кухни.

— Юлиан, мальчик мой милый! Что ты, будто похудел? Давно мы тебя не видали...

И она прибавила, сияющая от веселья:

— Радуйтесь, дети мои. Сегодня будет у нас пир. Я приготовлю венки из роз, зажарю три окуня и сготовлю сладкие инбирные печенья...

В эту минуту молодая рабыня подошла и шепнула Олимпиодору, что богатая патрицианка из Цезареи желает его видеть, имея дело к жрецу Афродиты. Он вышел.

Юлиан и Амариллис стали играть в коттабу.

Тогда неслышно на пороге появилась десятилетняя тонкая, бледная и белокурая девочка, младшая дочь Олимпио-

дора, Психея. У нее были голубые, огромные и печальные глаза. Одна во всем доме казалась она не посвященной Афродите, чуждой общему веселью. Она жила отдельной жизнью, оставаясь задумчивой, когда все смеялись, и никто не знал, о чем она скорбит, чему радуется. Отец считал ее жалким существом, неисцелимо больной, испорченной недобрым глазом, чарами вечных врагов своих, галилеян: они из мести отняли у него ребенка; чернокудрая Амариллис была любимой дочерью Олимпиодора; но мать тайком баловала Психею и с ревнивой страстностью любила больного ребенка, не понимая внутренней жизни его.

Психея, скрываясь от отца, ходила в базилику св. Маврикия. Не помогали ни ласки матери, ни мольбы, ни угрозы. Жрец в отчаянии отступился от Психеи. Когда говорили о ней, лицо его омрачалось и принимало недоброе выражение. Он уверял, будто бы за нечестие ребенка виноградник, прежде благословляемый Афродитой, стал приносить меньше плодов, ибо довольно было маленького золотого крестика, который девочка носила на груди,— для того чтобы осквернить храм.

— Зачем ты ходишь в церковь? — спросил ее однажды Юлиан.

— Не знаю. Там хорошо. Ты видел Доброго Пастыря?

— Да, видел. Галилеянин! Откуда ты про Него знаешь?

— Мне старушка Феодула сказывала. С тех пор я хожу в церковь. И отчего это, скажи мне, Юлиан, отчего они все так не любят Его?

Олимпиодор вернулся, торжествующий, и рассказал о своей беседе с патрицианкой: это была молодая, знатная девушка; жених разлюбил ее; она думала, что он околдован чарами соперницы; много раз ходила она в христианскую церковь, усердно молилась на гробнице св. Мамы. Ни посты, ни бдения, ни молитвы не помогли. «Разве христиане могут помочь!» — заключил Олимпиодор с презрением и взглянул исподлобья на Психею, которая внимательно слушала.

— И вот христианка пришла ко мне: Афродита исцелит ее!

Он показал с торжеством двух связанных белых голубков: христианка просила принести их в жертву богине.

Амариллис, взяв голубков в руки, целовала нежные розовые клювы и уверяла, что их жалко убивать.

— Отец, знаешь что? Мы принесем их в жертву, не убивая.

— Как? Разве может быть жертва без крови?

— А вот как. Пустим на свободу. Они улетят прямо в небо, к престолу Афродиты. Не правда ли? Богиня там, в небе. Она примет их. Позволь, пожалуйста, милый!

Амариллис так нежно целовала его, что он не имел духа отказать.

Тогда девушка развязала и пустила голубей. Они затрепетали белыми крыльями с радостным шелестом и полетели в небо — к престолу Афродиты. Заслоняя глаза рукой, жрец смотрел, как исчезает в небе жертва христианки. И Амариллис прыгала от восторга, хлопая в ладоши:

— Афродита! Афродита! Прими бескровную жертву!

Олимпиадор ушел. Юлиан торжественно и робко приступил к Амариллис. Голос его дрогнул, щеки вспыхнули, когда тихо произнес он имя девушки.

— Амариллис! Я принес тебе...

— Да, я уже давно хотела спросить, что это у тебя?

— Трирема...

— Трирема? Какая? Для чего? Что ты говоришь?

— Настоящая, либурнская...

Он стал быстро развертывать подарок, но вдруг почувствовал неодолимый стыд.

Амариллис смотрела в недоумении.

Он совсем смутился и взглянул на нее с мольбою, опуская игрушечный корабль в маленькие волны фонтана.

— Ты не думай, Амариллис,— трирема настоящая. С парусами. Видишь, плавает и руль есть...

Но Амариллис громко хохотала над подарком:

— На что мне трирема? Недалеко с ней уплывешь. Это корабль для мышей или цикад. Подари лучше Психее: она будет рада. Видишь, как смотрит.

Юлиан был оскорблен. Он старался принять равнодушный вид, но чувствовал, что слезы сжимают горло его, концы губ дрожат и опускаются. Он сделал отчаянное усилие, удержался от слез и сказал:

— Я вижу, что ты ничего не понимаешь...

Подумал и прибавил:

— Ничего не понимаешь в искусстве!

Но Амариллис еще громче засмеялась.

К довершению обиды позвали ее к жениху. Это был богатый самосский купец. Он слишком сильно душился, одевался безвкусно и в разговоре делал грамматические ошибки. Юлиан его ненавидел. Весь дом омрачился, и радость исчезла, когда он узнал, что пришел самосец.

Из соседней комнаты доносилось радостное щебетание Амариллис и голос жениха.

Юлиан схватил свою дорогую, настоящую, либурнскую трирему, стоившую ему столько трудов, сломал мачту, сорвал паруса, перепутал снасти, растоптал, изуродовал корабль, не говоря ни слова, с тихою яростью, к ужасу Психеи.

Амариллис вернулась. На лице ее были следы чужого счастья — тот избыток жизни, чрезмерная радость любви, когда молодым девушкам все равно, кого обнимать и целовать.

— Юлиан, прости меня; я обидела тебя. Ну, прости же, дорогой мой! Видишь, как я тебя люблю... люблю...

И прежде чем он успел опомниться, Амариллис, откинув тунику, обвила его шею голыми, свежими руками. Сердце его упало от сладкого страха: он увидел так близко от себя, как никогда еще, большие, влажно-черные глаза; от нее пахло сильно, как от цветов. Голова мальчика закружилась. Она прижимала тело его к своей груди. Он закрыл глаза и почувствовал на губах поцелуй.

— Амариллис! Амариллис! Где же ты?

Это был голос самосца. Юлиан изо всей силы оттолкнул девушку. Сердце его сжалось от боли и ненависти. Он закричал: «Оставь, оставь меня!» — вырвался и убежал.

— Юлиан! Юлиан!

Не слушая, бежал он прочь из дома, через виноградник, через кипарисовую рощу и остановился только у храма Афродиты.

Он слышал, как его звали; слышал веселый голос Диофаны, возвещавшей, что инбирное печенье готово, и не отвечал. Его искали. Он спрятался в лавровых кустах у подножья Эроса и пережидал. Подумали, что он убежал в Мацеллум: в доме привыкли к его угрюмым странностям.

Когда все утихло, он вышел из засады и взглянул на храм богини любви.

Храм стоял на холме, открытый со всех сторон. Белый мрамор ионических колонн, облитый солнцем, с негой купался в лазури; и темная теплая лазурь радовалась, обнимая этот мрамор, холодный и белый, как снег; по обоим углам фронтон увенчан был двумя акротэрами в виде грифонов: с поднятою когтистою лапою, с открытыми орлиными клювами, с круглыми женскими сосцами вырезывались они гордыми, строгими очертаниями на голубых небесах.

Юлиан по ступеням вошел в портик, тихонько отворил незапертую медную дверь и вступил во внутренность храма, в священный наос.

На него повеяло тишиной и прохладой.

Склонившееся солнце еще озаряло верхний ряд капителей с тонкими завитками, похожими на кудри; а внизу был уже сумрак. С треножника пахло пеплом сожженной мирры.

Юлиан робко поднял глаза, прислонившись к стене, притаив дыхание,— и замер.

Это была она. Под открытым небом стояла посредине храма только что из пены рожденная, холодная, белая Афродита-Анадиомена, во всей своей нестыдящейся наготе. Богиня как будто с улыбкой смотрела на небо и море, удивляясь прелести мира, еще не зная, что это — ее собственная прелесть, отраженная в небе и море, как в вечных зеркалах. Прикосновение одежд не оскверняло ее. Такой стояла она там, вся целомудренная и вся нагая, как это безоблачное, почти черно-синее небо над ее головой.

Юлиан смотрел ненасытно. Время остановилось. Вдруг он почувствовал, что трепет благоговения пробежал по телу его. И мальчик в темных монашеских одеждах опустился на колени перед Афродитой, подняв лицо, прижав руки к сердцу.

Потом все так же вдали, все так же робко, сел на подножие колонны, не отводя от нее глаз; щека прислонилась к холодному мрамору. Тишина сходила в душу. Он задремал; но и сквозь сон чувствовал ее присутствие: она опускалась к нему ближе и ближе; тонкие, белые руки обвились вокруг его шеи. Ребенок отдавался с бесстрастной улыбкой бесстрастным объятиям. До глубины сердца проникал холод белого мрамора. Эти святые объятия не походили на болезненно страстные, тяжкие, знойные объятия Амариллис. Душа его освобождалась от земной любви. То был последний покой, подобный амброзийной ночи Гомера, подобный сладкому отдыху смерти...

. . . .

Когда он проснулся, было темно. В четырехугольнике открытого неба сверкали звезды. Серп луны кидал сияние на голову Афродиты.

Юлиан встал. Должно быть, Олимпиодор приходил, но не заметил или не хотел разбудить мальчика, угадав его горе. Теперь на бронзовом треножнике рдели угли, и струйки благовонного дыма подымались к лицу богини.

Юлиан подошел, взял из хризолитовой чаши между ногами треножника несколько зерен душистой смолы и бро-

сил на угли алтаря. Дым заклубился обильнее. И розовый отблеск огня вспыхнул, как легкий румянец жизни на лице богини, сливаясь с блеском новорожденного месяца. Чистая Афродита-Урания как будто сходила от звезд на землю.

Юлиан наклонился и поцеловал ноги изваяния.

Он молился ей:

— Афродита! Афродита! Я буду любить тебя вечно.

И слезы падали на мраморные ноги изваяния.

VI

На берегу Средиземного моря, в одном из грязных и бедных предместий Селевки Сирийской, торговой гавани Великой Антиохии, кривые, узкие улицы выходили на площадь у набережной; моря не было видно из-за леса мачт и снастей.

Дома состояли из беспорядочно нагроможденных клетушек, обмазанных глиной. С улицы прикрывались они иногда истрепанным ковром, похожим на грязное лохмотье, или циновкой. Во всех этих углах, клетушках, переулочках, с тяжелым запахом помоев, прачешень и бань для рабочих, копошился пестрый, нищий, голодный сброд.

Солнце, сжигавшее засухой землю, закатилось. Наступали сумерки. Зной, пыль, мгла еще тягостней повисли над городом. С рынка веял удушливый запах мяса и овощей, пролежавших весь день на жаре. Полуголые рабы с кораблей носили по сходням тюки на плечах; одна сторона головы была у них выбрита; сквозь лохмотья виднелись рубцы от ударов; у многих чернели во все лицо клейма, выжженные каленым железом: две латинские буквы C и F, что значило — Cave Furem, Берегись Вора.

Зажигались огни. Несмотря на приближение ночи, суетня и говор в тесных переулках не утихали. Из соседней кузницы слышались раздирающие уши удары молота по железным листам; вспыхивало зарево горна; клубилась копоть. Рядом рабы-хлебопеки, голые, покрытые с головы до ног белою мучною пылью, с красными воспаленными от жара веками, сажали хлебы в печи. Сапожник в открытой лавчонке, откуда пахло клеем и кожей, тачал сапоги при свете лампадки, сидя на корточках и во все горло распевая песни на языке варваров. Из клетушки в клетушку, через переулок, две старухи, настоящие ведьмы, с растрепанными седыми волосами, кричали и бранились, протягивая руки, чтобы сцепиться, из-за веревки, на которую вешали сушиться тряпье. А внизу торговец, спеша издалека

к утру на рынок, на костлявой ободранной кляче, в ивовых корзинах вез целую гору несвежей рыбы; прохожие от невыносимого смрада отворачивались и ругались. Толстощекий жиденок с красными кудрями, наслаждаясь оглушительным громом, колотил в огромный медный таз. Другие дети — крохотные, бесчисленные, рождавшиеся и умиравшие каждый день сотнями в этой нищете,— валялись, визжа как поросята, вокруг луж с апельсинными корками, с яичными скорлупами. В еще более темных и подозрительных переулках, где жили мелкие воришки, где из кабачков пахло сыростью и кислым вином, корабельщики со всех концов света ходили обнявшись и орали пьяные песни. Над воротами лупанара повешен был фонарь с бесстыдным изображением, посвященным богу Приапу, и когда на дверях приподымали покров — центону, внутри виднелся тесный ряд коморочек, похожих на стойла; над каждой была надпись с ценою; в душной темноте белели голые тела женщин.

И надо всем этим шумом и гамом, надо всей этой человеческой грязью и бедностью, слышались далекие вздохи прибоя, ропот невидимого моря.

У самых окон подвальной кухни финикийского купца оборванцы играли в кости и болтали. Из кухни долетал теплыми клубами чад кипящего жира, запах пряностей и жареной дичи. Голодные вдыхали его, закрывая глаза от наслаждения.

Христианин, красильщик пурпура, выгнанный с богатой тирской фабрики за воровство, говорил, с жадностью обсасывая лист мальвы, выброшенный поваром:

— Что в Антиохии, добрые люди, делается, об этом и говорить-то на ночь страшно. Намедни голодный народ растерзал префекта Феофила. А за что, Бог весть. Когда дело сделали, вспомнили, что бедняга был добрый и благочестивый человек. Говорят, цезарь на него указал народу...

Дряхлый старичок, очень искусный карманный воришка, произнес:

— Я видел однажды цезаря. Не знаю. Мне понравился. Молоденький; волоски светлые, как лен; личико сытое, но добренькое. А сколько убийств, Господи, сколько убийств! Разбой. По улицам ходить страшно.

— Все это — не от цезаря, а от жены его, от Константины. Ведьма!

Странной наружности люди подошли к разговаривавшим и наклонились, как будто желая принять участие в беседе. Если бы свет от кухонной печи был сильнее,

можно было бы рассмотреть, что лица их подмалеваны, одежды замараны и изорваны неестественно, как у нищих в театре. Несмотря на лохмотья, руки у самого грязного были белые, тонкие, с розовыми, обточенными ногтями. Один из них сказал товарищу тихонько на ухо:

— Слушай, Агамемнон: здесь тоже говорят о цезаре.

Тот, кого звали Агамемноном, казался пьяным; он пошатывался; борода, неестественно густая и длинная, делала его похожим на сказочного разбойника; но глаза были добрые, ясно-голубые, с детским выражением. Товарищи испуганным шепотом удерживали его:

— Осторожнее!

Карманный воришка заговорил жалобным голосом, точно запел:

— Нет, вы только скажите мне, мужи-братья, разве это хорошо? Хлеб дорожает каждый день; люди мрут, как мухи. И вдруг... нет, вы только рассудите, пристойно ли это? Намедни из Египта приезжает огромнейший трехмачтовый корабль; обрадовались, думаем — хлеб. Цезарь, говорят, выписал, чтобы накормить народ. И что же, что бы это было, добрые люди — ну, как вы думаете, что? — Пыль из Александрии, особенная, розовая, ливийская, для натирания атлетов, пыль — для собственных придворных гладиаторов цезаря, пыль вместо хлеба! А? Разве это хорошо? — заключил он, делая негодующие знаки ловкими воровскими пальцами.

Агамемнон подталкивал товарища:

— Спроси имя. Имя!

— Тише... нельзя! Потом...

Чесальщик шерсти заметил:

— У нас, в Селевкии, еще спокойно. А в Антиохии — предательства, доносы, розыски...

Красильщик, который в последний раз лизнул мальву и отбросил ее, убедившись, что она потеряла вкус, проворчал себе под нос мрачно:

— А вот, даст Бог, человеческое мясо и кровь будут скоро дешевле хлеба и вина...

Чесальщик шерсти, горький пьяница и философ, тяжело вздыхал:

— Ох-ох-ох! Бедные мы людишки! Блаженные олимпийцы играют нами, как мячиками — то вправо, то влево, то вверх, то вниз: люди плачут, а боги смеются.

Товарищ Агамемнона успел вмешаться в разговор. Ловко, как будто небрежно, выспросил имена; подслушал даже то, что странствующий сапожник сообщил на ухо че-

сальщику о заговоре на жизнь цезаря, предполагаемом среди солдат претории. Потом, отойдя, записал имена разговаривавших изящным стилосом на восковые дощечки, где хранилось много имен.

В это время с рыночной площади донеслись хриплые, глухие, подобные реву какого-то подземного чудовища, не то смеющиеся, не то плачущие звуки водяного органа: слепой раб-христианин за четыре обола в день, у входа в балаган, накачивал воду, производившую в машине эти смешные и плачевные звуки.

Агамемнон потащил спутников в балаган, обтянутый, наподобие палатки, голубою тканью с серебряными звездами. Фонарь озарял черную доску — объявление о предстоящем зрелище, написанное мелом по-сирийски и по-гречески.

Внутри было душно. Пахло чесноком и копотью масляных плошек. В дополнение органа, пищали две пронзительные флейты, и черный эфиоп, вращая белками, ударял в бубны.

Плясун прыгал и кувыркался на канате, хлопая в лад руками. Он пел модную песенку:

Huc, huc convenite nunc
Spatolocinaedi!
Pedem tendite,
Cursum addite [1].

Этот худой курносый плясун был стар, отвратителен и весел. С бритого лба его струились капли пота, смешанного с румянами; морщины, залепленные белилами, походили на трещины стен, у которой известка тает под дождем.

Когда он удалился, орган и флейта умолкли. На подмостки выбежала пятнадцатилетняя девочка, чтобы исполнить знаменитую, до безумия любимую народом, пляску — кордакс. Отцы церкви громили ее, римские законы запрещали — ничто не помогало: кордакс плясали всюду, бедные и богатые, жены сенаторов и уличные плясуньи.

Агамемнон проговорил с восторгом:

— Что за девочка!

Благодаря кулакам спутников, он пробился в первый ряд.

Худенькое, смуглое тело нубиянки обвивала, только вокруг бедер, почти воздушная, бесцветная ткань; воло-

---

[1] Эй, вы! Соберем мальчиколюбцев изощренных!
Все мчитесь сюда быстрой ногой, пятою легкой...

Петроний. «Сатирикон», гл. 23 (Пир).
Перевод с лат. под ред. Б. Ярхо.

сы подымались над головой мелкими, пушисто-черными кудрями, как у женщин Эфиопии; лицо чистого египетского облика напоминало лица сфинксов.

Кроталистрия начала плясать, как будто скучая, лениво и небрежно. Над головой, в тонких руках, медные бубны — кроталии чуть слышно бряцали.

Потом движения ускорились. И вдруг, из-под длинных ресниц, сверкнули желтые глаза, прозрачные, веселые, как у хищных зверей. Она выпрямилась, и медные кроталии зазвенели пронзительно, с таким вызовом, что вся толпа дрогнула.

Тогда девочка закружилась, быстрая, тонкая, гибкая, как змейка. Ноздри ее расширились. Из горла вырвался странный крик. При каждом порывистом движении две маленькие, темные груди, как два спелых плода под ветром, трепетали, стянутые зеленой шелковой сеткой, и острые, сильно нарумяненные концы их алели, выступая из-под сетки.

Толпа ревела от восторга. Агамемнон безумствовал, товарищи держали его за руки.

Вдруг девочка остановилась, как будто в изнеможении. Легкая дрожь пробегала с головы до ног по смуглым членам. Наступила тишина. Над закинутой головой нубиянки, с почти неуловимым, замирающим звоном, быстро и нежно, как два крыла пойманной бабочки, трепетали бубны. Глаза потухли; но в самой глубине их мерцали две искры. Лицо было строгое, грозное. А на слишком толстых, красных губах, на губах сфинкса, дрожала слабая улыбка. И в тишине медные кроталии замерли.

Толпа так закричала, захлопала, что голубая ткань с блестками всколебалась, как парус под бурей, и хозяин думал, что балаган рухнет.

Спутники не могли удержать Агамемнона. Он бросился, приподняв занавес, на сцену, через подмостки, в каморку для танцовщиц и мимов.

Товарищи шептали ему на ухо:

— Подожди! Завтра все будет сделано. А теперь могут...

Агамемнон перебил:

— Нет, сейчас!

Он подошел к хозяину, хитрому седому греку Мирмексу, и сразу, почти без объяснений, высыпал ему в полу туники пригоршню золотых монет.

— Кроталистрия — твоя?

— Да. Что угодно моему господину?

Мирмекс с изумлением смотрел то на разорванную одежду Агамемнона, то на золото.

— Как тебя зовут, девочка?

— Филлис.

Он и ей дал денег, не считая. Грек что-то шепнул на ухо Филлис. Она высоко подбросила звонкие монеты, поймала их на ладонь, и, засмеявшись, сверкнула на Агамемнона своими желтыми глазами. Он сказал:

— Пойдем со мною.

Филлис накинула на голые смуглые плечи темную хламиду и выскользнула вместе с ним на улицу.

Она спросила:

— Куда?

— Не знаю.

— К тебе?

— Нельзя. Я живу в Антиохии.

— А я только сегодня на корабле приехала и ничего не знаю.

— Что же делать?

— Подожди, я видела давеча в соседнем переулке незапертый храм Приапа. Пойдем туда.

Филлис потащила его, смеясь. Товарищи хотели следовать. Он сказал:

— Не надо! Оставайтесь здесь.

— Берегись! Возьми по крайней мере оружие. В этом предместье ночью опасно.

И вынув из-под одежды короткий меч, вроде кинжала, с драгоценной рукояткой, один из спутников подал его почтительно.

Спотыкаясь во мраке, Агамемнон и Филлис вошли в глубокий темный переулок, недалеко от рынка.

— Здесь, здесь! Не бойся. Входи.

Они вступили в преддверье маленького пустынного храма; лампада на цепочках, готовая потухнуть, слабо освещала грубые, старые столбы.

— Притвори дверь.

И Филлис неслышно сбросила на каменный пол мягкую, темную хламиду. Она беззвучно хохотала. Когда Агамемнон сжал ее в объятьях, ему показалось, что вокруг тела его обвилась страшная, жаркая змея. Желтые хищные глаза сделались огромными.

Но в это мгновение из внутренности храма раздалось пронзительное гоготание и хлопание белых крыльев, поднявших такой ветер, что лампада едва не потухла.

Агамемнон выпустил из рук Филлис и пролепетал:

— Что это?..

В темноте мелькнули белые призраки. Струсивший Агамемнон перекрестился.

Вдруг что-то сильно ущипнуло его за ногу. Он закричал от боли и страха; схватил одного неизвестного врага за горло, другого пронзил мечом. Поднялся оглушительный крик, визг, гоготание и хлопание. Лампада в последний раз перед тем, чтобы угаснуть, вспыхнула — и Филлис закричала, смеясь:

— Да это гуси, священные гуси Приапа! Что ты наделал!..

Дрожащий и бледный победитель стоял, держа в одной руке окровавленный меч, в другой — убитого гуся.

С улицы послышались громкие голоса, и целая толпа с факелами ворвалась в храм. Впереди была старая жрица Приапа — Скабра. Она мирно, по своему обыкновению, распивала вино в соседнем кабачке, когда услышала крики священных гусей и поспешила на помощь, с толпою бродяг. Крючковатый красный нос, седые растрепанные волосы, глаза с острым блеском, как два стальных клинка, делали ее похожей на фурию. Она вопила:

— Помогите! Помогите! Храм осквернен! Священные гуси Приапа убиты! Видите, это — христиане-безбожники. Держите их!

Филлис, закрывшись с головой плащом, убежала. Толпа влекла на рыночную площадь Агамемнона, который так растерялся, что не выпускал из рук мертвого гуся. Скабра звала агораномов — рыночных стражей.

С каждым мгновением толпа увеличивалась.

Товарищи Агамемнона прибежали на помощь. Но было поздно: из притонов, из кабаков, из лавок, из глухих переулков мчались люди, привлеченные шумом. На лицах было то выражение радостного любопытства, которое всегда является при уличном происшествии. Бежал кузнец с молотом в руках, соседки-старухи, булочник, обмазанный тестом, сапожник мчался, прихрамывая; и за всеми рыжеволосый крохотный жиденок летел, с визгом и хохотом, ударяя в оглушительный медный таз, как будто звоня в набат.

Скабра вопила, вцепившись когтями в одежду Агамемнона:

— Подожди! Доберусь я до твоей гнусной бороды! Клочка не оставлю! Ах ты, падаль, снедь воронья! Да ты и веревки не стоишь, на которой тебя повесят!

Явились, наконец, заспанные агораномы, более похожие на воров, чем на блюстителей порядка.

В толпе был такой крик, смех, брань, что никто ничего не понимал. Кто-то вопил: «убийцы!», другие: «ограбили!», третьи: «пожар!»

И в это мгновение, побеждая все, раздался громоподобный голос полуголого рыжего великана с лицом, покрытым веснушками, по ремеслу — банщика, по призванию — рыночного оратора:

— Граждане! Давно уже слежу я за этим мерзавцем и его спутниками. Они записывают имена. Это соглядатаи, соглядатаи цезаря!

Скабра, исполняя давнее намерение, вцепилась одной рукой в бороду, другой — в волосы Агамемнона. Он хотел оттолкнуть ее, но она рванула изо всей силы — и длинная черная борода и густые волосы остались у нее в руках; старуха грохнулась навзничь. Перед народом, вместо Агамемнона, стоял красивый юноша с вьющимися мягкими светлыми, как лен, волосами и маленькой бородкой.

Толпа умолкла в изумлении. Потом опять загудел голос банщика:

— Видите, граждане, это — переодетые доносчики!

Кто-то крикнул:

— Бей! бей!

Толпа всколыхнулась. Полетели камни. Товарищи обступили Агамемнона и обнажили мечи. Чесальщик шерсти сброшен был первым ударом; он упал, обливаясь кровью. Жиденка с медным тазом растоптали. Лица сделались зверскими.

В это мгновение десять огромных рабов-пафлагонцев, с пурпурными носилками на плечах, раздвинули толпу.

— Спасены! — воскликнул белокурый юноша и бросился с одним из спутников в носилки.

Пафлагонцы подняли их на плечи и побежали.

Разъяренная толпа остановила бы и растерзала их, если бы не крикнул кто-то:

— Разве вы не видите, граждане? Это цезарь, сам цезарь Галл!

Народ остолбенел от ужаса.

Пурпурные носилки, покачиваясь на спинах рабов, как лодка на волнах, исчезали в глубине неосвещенной улицы.

Шесть лет прошло с того дня, как Юлиан и Галл были заключены в каппадокийскую крепость Мацеллум. Император Констанций возвратил им свою милость. Девятнадцатилетнего Юлиана вызвали в Константинополь и потом позволили ему странствовать по городам Малой Азии; Галла император сделал своим соправителем, цезарем,

и отдал ему в управление Восток. Впрочем, неожиданная милость не предвещала ничего доброго. Констанций любил поражать врагов, усыпив их ласками.

— Ну, Гликон, как бы теперь ни убеждала меня Константина, не выйду я больше на улицу с поддельными волосами. Кончено!

— Мы предупреждали твое величество...

Но цезарь, лежа на мягких подушках носилок, уже забыл недавний страх. Он смеялся:

— Гликон! Гликон! Видел ты, как проклятая старуха покатилась навзничь с бородой в руках? Смотрю — а уж она лежит!

Когда они вошли во дворец, цезарь приказал:

— Скорее ванну и ужинать! Проголодался.

Придворный подошел с письмом.

— Что это? Нет, нет, дела до завтрашнего утра...

— Милостивый цезарь, важное письмо — прямо из лагеря императора Констанция.

— От Констанция! Что такое? Подай...

Он распечатал, прочел и побледнел; колени его подкосились; если бы придворные не поддержали Галла, он упал бы.

Император в изысканных, даже льстивых выражениях приглашал своего «нежно любимого» двоюродного брата в Медиолан; вместе с тем повелевал, чтоб два легиона, стоявшие в Антиохии,— единственная защита Галла,— немедленно высланы были ему, Констанцию. Он, видимо, хотел обезоружить и заманить врага.

Когда цезарь пришел в себя, он произнес слабым голосом:

— Позовите жену...

— Супруга милостивого государя только что изволила уехать в Антиохию.

— Как? И ничего не знает?

— Не знает.

— Господи! Господи! Да что же это такое? Без нее! Скажите посланному от императора... Да нет, не говорите ничего. Я не знаю. Разве я могу без нее? Пошлите гонца. Скажите, что цезарь умоляет вернуться... Господи, что же делать?

Он ходил, растерянный, хватаясь за голову, крутил дрожащими пальцами мягкую светлую бородку и повторял беспомощно:

— Нет, нет, ни за что не поеду. Лучше смерть... О, я знаю Констанция!

Подошел другой придворный с бумагой:

— От супруги цезаря. Уезжая, просила, чтобы ты подписал.

— Что? Опять смертный приговор? Клемаций Александрийский! Нет, нет, это чересчур. Так нельзя. По три в день!

— Супруга твоя изволила...

— Ах, все равно! Давайте перо! Теперь все равно... Только зачем уехала? Разве я могу один...

И подписав приговор, он взглянул своими голубыми детскими и добрыми глазами.

— Ванна готова; ужин сейчас подают.

— Ужин? Не надо... Впрочем, что такое?

— Есть трюфели.

— Свежие?

— Только что с корабля из Африки.

— Не подкрепиться ли? А? Как вы думаете, друзья мои? Я так ослабел... Трюфели? Я еще утром думал...

На растерянном лице его промелькнула беззаботная улыбка.

Перед тем, чтобы войти в прохладную воду, мутно-белую, опаловую от благовоний, цезарь проговорил, махнув рукой:

— Все равно, все равно... Не надо думать... Господи, помилуй нас грешных!.. Может быть, Константина как-нибудь и устроит?

Откормленное, розовое лицо его совсем повеселело, когда с привычным наслаждением погрузился он в душистую купальню.

— Скажите повару, чтоб кислый красный соус к трюфелям!

VII

В городах Малой Азии — Никомидии, Пергаме, Смирне — девятнадцатилетний Юлиан, искавший эллинской мудрости, слышал о знаменитом теурге и софисте, Ямвлике из Халкиды, ученике Порфирия неоплатоника, о божественном Ямвлике, как все его называли.

Он поехал к нему в город Эфес.

Ямвлик был старичок, маленький, худенький, сморщенный. Он любил жаловаться на свои недуги — подагру, ломоту, головную боль; бранил врачей, но усердно лечился; с наслаждением говорил о припарках, настойках, лекарствах, пластырях; ходил в мягкой и теплой двойной тунике, даже летом, и никак не мог согреться; солнце любил, как ящерица.

С ранней юности Ямвлик отвык от мясной пищи и чувствовал к ней отвращение; не понимал, как люди могут есть живое. Служанка приготовляла ему особую ячменную кашу, немного теплого вина и меду; даже хлеба старик не мог разжевать беззубыми челюстями.

Множество учеников, почтительных, благоговейных — из Рима, Антиохии, Карфагена, Египта, Месопотамии, Персии — теснилось вокруг него; все верили, что Ямвлик творит чудеса. Он обращался с ними, как отец, которому надоело, что у него так много маленьких беспомощных детей. Когда они начинали спорить или ссориться, учитель махал руками, сморщив лицо, как будто от боли. Он говорил тихим голосом, и чем громче становился крик спорящих, тем Ямвлик говорил тише; не выносил шума, ненавидел громкие голоса, скрипучие сандалии.

Юлиан смотрел с разочарованием на прихотливого, зябкого, больного старичка, не понимая, какая власть притягивает к нему людей.

Он припоминал рассказ о том, как ученики однажды ночью видели Божественного, поднятого во время молитвы чудесною силою над землею на десять локтей и окруженного золотым сиянием; другой рассказ о том, как Учитель, в сирийском городе Гадара̀, из двух горячих источников вызвал Эроса и Антэроса — одного радостного светлокудрого, другого скорбного темного гения любви; оба ласкались к Ямвлику, как дети, и по его мановению исчезли.

Юлиан прислушивался к тому, что говорил учитель, и не мог найти власти в словах его. Метафизика школы Порфирия показалась Юлиану мертвой, сухой и мучительно сложной. Ямвлик как будто играл, побеждая в спорах диалектические трудности. В его учении о Боге, о мире, об Идеях, о Плотиновой Триаде было глубокое книжное знание — но ни искры жизни. Юлиан ждал не того.

И все-таки ждал.

У Ямвлика были странные зеленые глаза, которые еще более резко выделялись на потемневшей сморщенной коже лица: такого зеленоватого цвета бывает иногда вечернее небо, между темными тучами, перед грозой. Юлиану казалось, что в этих глазах, как будто нечеловеческих, но еще менее божественных, сверкает та сокровенная *змеиная* мудрость, о которой Ямвлик ни слова не говорил ученикам. Но вдруг, усталым тихим голосом, Божественный спрашивал, почему не готова ячменная каша или припарки, жаловался на ломоту в членах — и обаяние исчезало.

Однажды гулял он с Юлианом за городом, по берегу моря. Был нежный и грустный вечер. Вдали, над гаванью Панормос, белели уступы и лестницы храма Артемиды Эфесской, увенчанные изваяниями. На песчаном берегу Каистра (здесь, по преданию, Латона родила Артемиду и Аполлона) тонкий темный тростник не шевелился. Дым многочисленных жертвенников, из священной рощи Ортигии, подымался к небу прямыми столбами. К югу синели горы Самоса. Прибой был тих, как дыхание спящего ребенка; прозрачные волны набегали на укатанный, черный песок; пахло разогретой дневными лучами соленой водой и морскими травами. Заходящее солнце скрылось за тучи и позлатило их громады.

Ямвлик сел на камень; Юлиан у ног его. Учитель гладил его жесткие черные волосы.

— Грустно тебе?

— Да.

— Знаю. Ты ищешь и не находишь. Не имеешь силы сказать: Он есть, и не смеешь сказать: Его нет.

— Как ты угадал, учитель?..

— Бедный мальчик! Вот уже пятьдесят лет, как я страдаю той же болезнью. И буду страдать до смерти. Разве я больше знаю Его, чем ты? Разве я нашел? Это — вечные муки деторождения. Перед ними все остальные муки — ничто. Люди думают, что страдают от голода, от жажды, от боли, от бедности: на самом деле, страдают они только от мысли, что, может быть, Его нет. Это — единственная скорбь мира. Кто дерзнет сказать: *Его нет*, и кто знает, какую надо иметь силу, чтобы сказать: *Он есть*.

— И ты, даже ты никогда к Нему не приближался?

— Три раза в жизни испытал я восторг — полное слияние с Ним. Плотин четыре раза. Порфирий пять. У меня были три мгновения в жизни, из-за которых стоило жить.

— Я спрашивал об этом твоих учеников: они не знают...

— Разве они смеют знать? С них довольно и шелухи мудрости: ядро почти для всех смертельно.

— Пусть же я у́мру, учитель,— дай мне его!

— Посмеешь ли ты взять?

— Говори, говори же!

— Что я могу сказать! Я не умею... И хорошо ли говорить об этом? Прислушайся к вечерней тишине: она лучше всяких слов говорит.

По-прежнему гладил он Юлиана по голове, как ребенка. Ученик подумал: «вот *оно* — вот, чего я ждал!». Он

обнял колени Ямвлика и, подняв к нему глаза с мольбою, произнес:

— Учитель, сжалься! Открой мне все. Не покидай меня...

Ямвлик заговорил тихо, про себя, как будто не слыша и не видя его, устремив странно неподвижные зеленые глаза свои на тучи, изнутри позлащенные солнцем:

— Да, да... Мы все забыли Голос Отчий. Как дети, разлученные с Отцом от колыбели, мы и слышим, и не узнаем его. Надо, чтобы все умолкло в душе, все небесные и земные голоса. Тогда мы услышим Его... Пока сияет разум и как полуденное солнце озаряет душу, мы остаемся сами в себе, не видим Бога. Но когда разум склоняется к закату, на душу нисходит восторг, как ночная роса... Злые не могут чувствовать восторга; только мудрый делается лирой, которая вся дрожит и звучит под рукою Бога. Откуда этот свет, озаряющий душу? — Не знаю. Он приходит внезапно, когда не ждешь; его нельзя искать. Бог недалеко от нас. Надо приготовиться; надо быть спокойным и ждать, как ждут глаза, чтобы солнце взошло — устремилось, по выражению поэта, из темного Океана. Бог не приходит и не уходит. Он только является. Вот Он. Он отрицание мира, отрицание всего, что есть. Он — ничто. Он — все.

Ямвлик встал с камня и медленно протянул исхудалые руки.

— Тише, тише, говорю я,— тише! Внимайте Ему все. Вот — Он. Да умолкнет земля и море, и воздух, и даже небо. Внимайте! Это Он наполняет мир, проникает дыханием атомы, озаряет материю — Хаос, *предмет ужаса для богов*,— как вечернее солнце позлащает темную тучу...

Юлиан слушал, и ему казалось, что голос учителя, слабый и тихий, наполняет мир, достигает до самого неба, до последних пределов моря. Но скорбь Юлиана была так велика, что вырвалась из груди его стоном:

— Отец мой, прости, но если так,—зачем жизнь? зачем эта вечная смена рождения и смерти? зачем страдание? зачем зло? зачем тело? зачем сомнение? зачем тоска по невозможному?..

Ямвлик взглянул кротко и опять провел рукой по волосам его:

— Вот где тайна, сын мой. Зла нет, тела нет, мира нет, если есть Он. Или Он, или мир. Нам кажется, что есть зло, что есть тело, что есть мир. Это — призрак, обман жизни. Помни: у всех — одна душа, у всех людей

и даже бессловесных тварей. Все мы вместе покоились некогда в лоне Отца, в свете немерцающем. Но взглянули однажды с высоты на темную мертвую материю, и каждый увидал в ней свой собственный образ, как в зеркале. И душа сказала себе: «Я могу, я хочу быть свободной. Я — как Он. Неужели я не дерзну отпасть от Него и быть всем?».— Душа, как Нарцисс в ручье, пленилась красотою собственного образа, отраженного в теле. И пала. Хотела пасть до конца, отделиться от Бога навеки, но не могла: ноги смертного касаются земли, чело — выше горних небес. И вот, по вечной лестнице рождения и смерти, души всех существ восходят, нисходят к Нему и от Него. Пытаются уйти от Отца и не могут. Каждой душе хочется самой быть Богом, но напрасно: она скорбит по Отчему лону; на земле ей нет покоя; она жаждет вернуться к Единому. Мы должны вернуться к Нему, и тогда все будут Богом, и Бог будет во всех. Разве ты один тоскуешь о нем? Посмотри, какая небесная грусть в молчании природы. Прислушайся: разве ты не чувствуешь, что все грустит о нем?

Солнце закатилось. Золотые, как будто раскаленные края облаков потухали. Море сделалось бледным и воздушным, как небо, небо — глубоким и ясным, как море. По дороге промчалась колесница. В ней были юноша и женщина, может быть, двое влюбленных. Женский голос запел грустную и знакомую песнь любви. Потом все опять затихло и сделалось еще грустнее. Быстрая южная ночь слетала с небес.

Юлиан прошептал:

— Сколько раз я думал: отчего такая грусть в природе? Чем она прекраснее, тем грустнее...

Ямвлик ответил с улыбкой:

— Да, да... Посмотри: она хотела бы сказать, о чем грустит,— и не может. Она немая. Спит и старается вспомнить Бога во сне, сквозь сон, но не может, отягощенная материей. Она созерцает Его смутно и дремотно. Все миры, все звезды, и море, и земля, и животные, и растения, и люди, все это — сны природы о Боге. То, что она созерцает,— рождается и умирает. Она создает одним созерцанием, как бывает во сне; создает легко, не зная ни усилия, ни преграды. Вот почему так прекрасны и вольны ее создания, так бесцельны и божественны. Игра сновидений природы — подобна игре облаков. Без начала, без конца. Кроме созерцания, в мире нет ничего. Чем оно глубже, тем оно тише. Воля, борьба, действие — только ослабленное, недоконченное или помраченное созерцание Бога. Приро-

да, в своем великом бездействии, создает формы, подобно геометру: существует то, что он видит; так и она роняет из своего материнского лона формы за формами. Но ее безмолвное, смутное созерцание — только образ иного, яснейшего. Природа ищет слова и не находит. Природа — спящая мать Кибела, с вечно закрытыми веждами; только человек нашел слово, которого она искала и не нашла: душа человеческая — это природа, открывшая сонные вежды, проснувшаяся и готовая увидеть Бога уже не во сне, а въяве, лицом к лицу...

Первые звезды выступили на потемневшем и углубившемся небе, то совсем потухали, то вспыхивали, словно вращались, как привешенные к тверди крупные алмазы; затеплились новые и новые, неисчислимые. Ямвлик указал на них.

— Чему уподоблю мир, все эти солнца и звезды? Сети уподоблю их, закинутой в море. Бог объемлет вселенную, как вода объемлет сеть; сеть движется, но не может остановить воду; мир хочет и не может уловить Бога. Сеть движется, но Бог спокоен, как вода, в которую закинута сеть. Если бы мир не двигался, Бог не создавал бы ничего, не вышел бы из покоя, ибо зачем и куда ему стремиться? Там, в царстве вечных Матерей, в лоне Мировой Души, таятся семена, Идеи-Формы всего, что есть, и было, и будет: таится Лагос-зародыш и кузнечика, и былинки, и олимпийского бога...

Тогда Юлиан воскликнул громко, и голос его раздался в тишине ночи, подобно крику смертельной боли:

— Кто же Он? Кто Он? Зачем Он не отвечает, когда мы зовем? Как Его имя? Я хочу знать Его, слышать и видеть! Зачем Он бежит от моей мысли? Где Он?

— Дитя, что значит мысль перед Ним? Ему нет имени: Он таков, что мы умеем сказать лишь то, чем Он не должен быть, а то, что Он есть, мы не знаем. Но разве ты можешь страдать и не хвалить Его? разве ты можешь любить и не хвалить Его? разве ты можешь проклинать и не хвалить Его? Создавший все, сам Он — ничто из всего, что создал. Когда ты говоришь: Его нет, ты воздаешь Ему не меньшую хвалу, чем если молвишь: Он есть. О Нем ничего нельзя утверждать, ничего — ни бытия, ни сущности, ни жизни, ибо Он выше всякого бытия, выше всякой сущности, выше всякой жизни. Вот почему я сказал, что Он — отрицание мира, отрицание мысли твоей. Отрекись от сущего, от всего, что есть — и там, в бездне бездн, в глубине несказанного мрака, подобного свету, ты

найдешь Его. Отдай Ему и друзей, и родных, и отчизну, и небо, и землю, и себя самого, и свой разум. Тогда ты уже не увидишь света, ты сам будешь свет. Ты не скажешь: Он и Я; ты почувствуешь, что Он и Ты — одно. И душа твоя посмеется над собственным телом, как над призраком. Тогда — молчание; тогда не будет слов. И если мир в это мгновение рушится, ты будешь рад, потому что зачем тебе мир, когда ты останешься с Ним? Душа твоя не будет желать, потому что Он не желает, она не будет жить, потому что Он выше жизни, она не будет мыслить, потому что Он выше мысли. Мысль есть искание света, а Он не ищет света, потому что сам Он — Свет. Он проникает всю душу и претворяет ее в Себя. И тогда, бесстрастная, одинокая, покоится она выше разума, выше добродетели, выше царства идей, выше красоты — в бездне, в лоне Отца Светов. Душа становится Богом, или, лучше сказать, только вспоминает, что во веки веков она была, и есть, и будет Богом . . . .

. . . .

Такова, сын мой, жизнь олимпийцев, такова жизнь людей богоподобных и мудрых: отречение от всего, что есть в мире, презрение к земным страстям, бегство души к Богу, которого она видит лицом к лицу.

Он умолк, и Юлиан упал к его ногам, не смел прикоснуться к ним, и только целовал землю, которой ноги святого касались. Потом ученик поднял лицо и заглянул в эти странные зеленые глаза, в которых сияла разоблаченная тайна «змеиной» мудрости; они казались спокойнее и глубже неба: как будто изливалась из них святая сила. Юлиан прошептал:

— Учитель, ты можешь все. Верую! Прикажи горам — горы сдвинутся. Будь, как Он! Сделай чудо! Сотвори невозможное! Помилуй меня! Верую, верую!..

— Бедный сын мой, о чем ты просишь? То чудо, которое может совершиться в душе твоей, разве не больше всех чудес, какие я *могу* сотворить? Дитя мое, разве не страшное и не благодатное чудо — та власть, во имя которой ты смеешь сказать: Он есть, а если нет Его, все равно, — *Он будет*. И ты говоришь: Да будет Он — я так хочу!

VIII

Когда учитель и ученик, возвращаясь с прогулки, проходили Панормос, многолюдную гавань Эфеса, они заметили необычайное волнение.

Многие бежали по улицам, махали пылающими смоляными факелами и кричали:

— Христиане разрушают храмы! Горе нам!

Другие:

— Смерть олимпийским богам! Астарта побеждена Христом!

Ямвлик думал пройти пустынными переулками. Но бегущая толпа увлекла их по набережной Каистра, мимо капища Артемиды Эфесской. Великолепный храм, создание Динократа, стоял, как твердыня, суровый, темный и незыблемый, выделяясь на звездном небе. Отблеск факелов дрожал на исполинских столбах с маленькими кариатидами вместо подножий. Не только вся Римская империя, но и все народы земли чтили эту святыню.

Кто-то в толпе закричал неуверенно:

— Велика Артемида Эфесская!

Ему ответили сотни голосов:

— Смерть олимпийским богам и твоей Артемиде!

Над черным зданием городской оружейной палаты подымалось кровавое зарево.

Юлиан взглянул на божественного учителя и не узнал его. Ямвлик опять превратился в робкого, больного старика. Он жаловался на головную боль, высказывал страх, что ночью начнется ломота, что служанка забыла приготовить припарки. Юлиан отдал учителю верхний плащ. Но ему было все-таки холодно. С болезненным выражением лица затыкал он уши, чтобы не слышать уличного крика и хохота. Ямвлик больше всего в мире боялся толпы; говорил, что нет глупее и отвратительнее беса, чем дух народа.

Теперь указывал он ученику на лица пробегавших мимо людей:

— Посмотри, какое уродство, какая пошлость и какая уверенность в правоте своей! Разве не стыдно быть человеком — таким же телом, такою же грязью, как эти?..

Старушка-христианка причитала:

— И говорит мне больной внучек: свари мне, бабушка, мясной похлебки.— Хорошо, говорю, милый, вот ужо пойду на рынок, принесу мяса.— Сама думаю: мясо теперь, пожалуй, дешевле пшеничного хлеба. Купила на пять оболов; сварила похлебку. А соседка-то на дворе кричит: — Что ты варишь, или не знаешь, нынче мясо на рынке поганое? — Как, говорю, поганое? Что такое? — А так, говорит, что на поругание добрым христианам, ночью жрецы богини Деметры весь рынок, все лавки мясные жертвенною водою окропили. Никто в городе не ест поганого

мяса. За то жрецов идольских побивают каменьями, а бесовское капище Деметры разрушат.— Я и выплеснула похлебку собаке. Шутка сказать — пять оболов! В целый день не наработаешь. А все-таки внучка не опоганила.

Другие сообщили, как в прошлом году один скупой христианин наелся жертвенного мяса, и вся утроба у него сгнила, и такой был смрад в доме, что родные убежали.

Пришли на площадь. Здесь был маленький храм Деметры-Изиды-Астарты — Трехликой Гекаты, таинственной богини земного плодородия, могучей и любвеобильной Кибелы, Матери богов. Храм со всех сторон облепили монахи, как большие черные мухи кусок медовых сот; монахи ползли по белым выступам, карабкались по лестницам с пением священных псалмов, разбивали изваяния. Столбы дрожали; летели осколки нежного мрамора; казалось — он страдает, как живое тело. Пытались поджечь здание, но не могли: храм весь был из мрамора.

Вдруг раздался внутри оглушительный и вместе с тем певучий звон. К небу поднялся торжествующий вопль народа.

— Веревок, веревок! За руки, за ноги!

С пением молитв и радостным хохотом, из дверей храма толпа на веревках повлекла вниз по ступеням звеневшее, серебряное, бледное тело богини, Матери богов — творение Скопаса.

— В огонь, в огонь!

И ее потащили по грязной площади.

Монах-законовед провозглашал отрывок из недавнего закона императора Констана, брата Констанция:

«Cesset superstitio, sacrificiorum aboleatur insania» — «Да прекратится суеверие, да будет уничтожено безумие жертвоприношений».

— Не бойтесь ничего! Бейте, грабьте все в бесовском капище!

Другой, при свете факелов, прочел в пергаментном свитке выдержку из книги Фирмика Матерна «De errore profanarum religionum» [1].

«Святые Императоры! Придите на помощь к несчастным язычникам. Лучше спасти их насильно, чем дать погибнуть. Срывайте с храмов украшения: пусть сокровища их обогатят вашу казну. Тот, кто приносит жертву идолам, да будет исторгнут с корнем из земли. Убей его, побей

[1] «О заблуждении религиозных невежд» (*лат.*).

камнями, хотя бы это был твой сын, твой брат, жена, спящая на груди твоей».

Над толпою проносился крик:

— Смерть, смерть олимпийским богам!

Огромный монах с растрепанными черными волосами, прилипшими к потному лбу, занес над богиней медный топор и выбирал место, чтобы ударить.

Кто-то посоветовал:

— В чрево, в бесстыжее чрево!

Серебряное тело гнулось, изуродованное. Удары звенели, оставляя рубцы на чреве Матери богов и людей, Деметры-Кормилицы.

Старый язычник закрыл лицо одеждой, чтобы не видеть кощунства; он плакал и думал, что теперь все кончено — мир погиб: Земля-Деметра не захочет родить людям колоса.

Отшельник, пришедший из пустыни Месопотамии, в овечьей шкуре, с посохом и выдолбленной тыквой вместо посуды, в грубых сандалиях, подкованных железными гвоздями, подбежал к богине.

— Сорок лет не мылся я, чтобы не видеть собственной наготы и не соблазниться. А как придешь, братья, в город, так всюду только и видишь голые тела богов окаянных. Долго ли терпеть бесовский соблазн? Всюду поганые идолы: в домах, на улицах, на крышах, в банях, под ногами, над головой. Тьфу, тьфу, тьфу! Не отплюешься!..

И с ненавистью старик ударил сандалией в грудь Кибелы. Он топтал эту голую грудь, и она казалась ему живой; он хотел бы раздавить ее под острыми гвоздями тяжелых сандалий. Он шептал, задыхаясь от злости:

— Вот тебе, вот тебе, гнусная, голая! Вот тебе, сука!..

Под ногой его уста богини по-прежнему хранили спокойную улыбку.

Толпа подняла ее на руки, чтобы бросить в костер. Пьяный ремесленник, с дыханием, пропитанным чесноком, плюнул ей прямо в лицо.

Костер был огромный; в него свалили все деревянные рыночные лавки, оскверненные жертвенной водой. Высоко над толпой тихие звезды мерцали сквозь дым.

Богиню бросили в костер, чтобы расплавить серебряное тело. И опять, с нежным, певучим звоном, ударилась она о пылающие головни.

— Слиток в пять талантов. Тридцать тысяч маленьких серебряных монет. Половину пошлем императору на жалование солдатам, другую — голодным. Кибела прине-

сет, по крайней мере, пользу народу. Из богини — тридцать тысяч монет для солдат и для нищих.

— Дров! Дров!

Пламя вспыхнуло ярче, и всем стало веселее.

— Посмотрим, вылетит ли бес. Говорят, в каждом идоле по бесу, а в богинях — так по два и по три...

— Как начнет плавиться, сделается лукавому жарко,— он и выпорхнет из поганого рта, в виде кровавого или огненного змия...

— Нет, надо было раньше перекрестить, а то, пожалуй, и в землю ужом уползет. В позапрошлом году разбивали капище Афродиты; кто-то и брызни святой водой. И что же бы вы думали? Из-под одежды выскочили крохотные бесенята. Как же? Сам видел. Смрадные, черные, в белых-то складках, мохнатые. И запищали, как мыши. А когда Афродите голову отбили, так из шеи главный выскочил, вот с какими рогами, а хвост облезный, голый, без шерсти, как у паршивого пса...

Кто-то недоверчиво заметил:

— Не спорю. Может быть, вы и видели бесов, только, когда разбивали намедни в Газе идола Зевса, то внутри и бесов не было, а такая пакость, что стыдно сказать. С виду — важный, страшный: слоновая кость, золото, в руках молнии. А внутри — паутина, крысы, пыль, ржавые перекладины, рычаги, гвозди, вонючий деготь и еще черт знает, какая дрянь. Вот вам и боги!

Ямвлик, бледный, как полотно, с потухшими глазами, взял за руку Юлиана и отвел его в сторону.

— Посмотри, видишь — двое? Это доносчики Констанция. Твоего брата Галла увезли уже в Константинополь под стражей. Берегись! Сегодня же пошлют донос...

— Что делать, учитель? Я привык. Знаю: они давно следят за мной...

— Давно?.. Зачем же ты мне не сказал?

И рука его дрогнула в руке Юлиана.

— Чего они шепчутся? Смотрите — уж не безбожники ли это? Эй, старикашка, пошевеливайся, дров неси! — закричал им оборванец, который чувствовал себя победителем.

Ямвлик шепнул Юлиану:

— Будем презирать и покоримся. Не все ли равно? Богов не может оскорбить людская глупость.

Божественный взял полено из рук христианина и бросил в костер. Юлиан не верил глазам. Но доносчики смотрели на него с улыбкой, пытливо и пристально.

Тогда слабость, привычка к лицемерию, презрение к себе и к людям, злорадство овладели душой Юлиана. Чувствуя за спиной своей взоры доносчиков, подошел он к связке дров, выбрал самое большое полено и после Ямвлика бросил его в костер, на котором уже таяло тело искалеченной богини. Он видел, как расплавленное серебро струилось по лицу ее, подобно каплям предсмертного пота; а на устах по-прежнему была непобедимая, спокойная улыбка.

IX

— Посмотри на людей в черных одеждах, Юлиан. Это вечерние тени, тени смерти. Скоро не будет ни одной белой одежды, ни одного куска мрамора, озаренного солнцем. Кончено!

Так говорил юный софист Антонин, сын египетской пророчицы Созипатры и неоплатоника Эдезия. Он стоял с Юлианом на большой высокой площади перед жертвенником Пергамским, залитой солнцем, окруженной голубым небом. На подножии храма была изваяна Гигантомахия, борьба титанов и богов: боги торжествовали; копыта крылатых коней попирали змеевидные ноги титанов.

Антонин указал Юлиану на изваяния.

— Олимпийцы победили древних богов; теперь олимпийцев победят новые боги. Храмы будут гробницами...

Антонин был стройный юноша; некоторые очертания тела и лица его напоминали Аполлона Пифийского; но уже много лет страдал он неизлечимым недугом; — и странно было видеть это чисто эллинское, прекрасное лицо желтым, исхудалым, с выражением тоски, новой болезни, чуждой лицам древних мужей.

— Об одном молю я богов,— продолжал Антонин,— чтобы не видеть мне этой варварской ночи, чтобы раньше умереть. Риторы, софисты, ученые, поэты, художники, любители эллинской мудрости, все мы — лишние. Опоздали. Кончено!

— А если не кончено? — проговорил Юлиан тихо, как будто про себя.

— Нет, кончено! Мы больные, слишком слабые...

Лицо девятнадцатилетнего Юлиана казалось почти таким же худым и бледным, как лицо Антонина; выдающаяся нижняя губа придавала ему выражение угрюмой надменности; густые брови хмурились со злобным упрямством; около некрасивого, слишком большого носа выступали ранние морщины; глаза блестели сухим, лихорадочным блеском. Он был одет, как христианские послушники.

Днем, как прежде, посещал церкви, гробницы мучеников, читал с амвона Писание, готовился к пострижению в монахи. Иногда лицемерие это казалось ему тщетным: он знал, какая судьба постигла Галла; знал, что брату не миновать смерти. И сам, день за днем, месяц за месяцем, жил в постоянном ожидании смерти.

Ночи проводил в книгохранилище Пергамском, где изучал творения знаменитого врага христиан, ритора Либания; посещал уроки греческих софистов — Эдезия Пергамского, Хризанфия Сардийского, Приска из Феспротии, Евсевия из Минда, Проэрезия, Нимфидиана.

Они говорили ему о том, что он уже слышал от Ямвлика: о триединстве неоплатоников, о священном восторге.

— Нет, все это не то,— думал Юлиан,— главное скрывают они от меня.

Приск, подражавший Пифагору, пять лет провел в молчании; не ел ничего, имеющего жизнь; не употреблял ни шерстяной ткани, ни кожаных сандалий; ткань одежды его была растительной, так же как пища; он носил пифагорейскую хламиду из чистого белого льна, сандалии из пальмовых ветвей. «В наш век,— говорил он,— главное — уметь молчать и думать о том, чтобы погибнуть с достоинством». И Приск с достоинством, презирая всех, ждал того, что считал гибелью,— победы христиан над эллинами.

Хитрый и осторожный Хризанфий, когда речь заходила о богах, подымал глаза к небу, уверяя, что не смеет о них говорить, так как ничего не знает, а что прежде знал — забыл и другим советует забыть; о магии, о чудесах, о видениях и слышать не хотел, утверждая, что все это обманы, воспрещенные законами римской империи.

Юлиан плохо ел, мало спал; кровь его кипела от страстного нетерпения. Каждое утро, просыпаясь, он думал: «не сегодня ли?»

Бедным, запуганным теургам-философам надоел он своими расспросами о таинствах, о чудесах. Некоторые над ним подсмеивались — особенно Хризанфий; у него была хитрая лисья усмешка и привычка соглашаться с теми мнениями, которые считал он за величайшие нелепости.

Однажды Эдезий, старик умный, боязливый и добрый, сжалившись над Юлианом, сказал:

— Дитя, я хочу умереть спокойно. Ты еще молод. Оставь меня; ступай к моим ученикам; они откроют тебе все. Да, есть многое, о чем боимся мы говорить... Когда ты будешь посвящен в таинства, то, может быть, устыдишься, что родился *только человеком,* что до сей поры оставался им.

Евсевий из Минда, ученик Эдезия, был человек желчный и завистливый.

— Чудес больше нет,— объявил он Юлиану.— И не жди. Люди надоели богам. Магия — вздор. Глупы те, кто в нее верит. Но, если тебе наскучила мудрость, и ты непременно хочешь быть обманутым, ступай к Максиму. Он презирает нашу диалектику, а сам... Впрочем, о друзьях я не люблю говорить дурно. Лучше послушай, что случилось недавно в одном подземном храме Гекаты, куда нас привел Максим показывать свое искусство. Когда мы вошли и помолились богине, он сказал: «садитесь — вы увидите чудо». Мы сели. Он бросил на алтарь зерно фимиама, что-то пробормотал, должно быть, заклятие. И мы ясно увидели, как изваяние Гекаты улыбнулось. Максим сказал: «не бойтесь, сейчас вы увидите, как обе лампады в руках богини зажгутся. Смотрите!» Не успел он кончить, как лампады зажглись.

— Чудо совершилось! — воскликнул Юлиан.

— Да, да. Мы были в таком смущении, что упали ниц. Но когда я вышел из храма, то подумал: «Что же это? Достойно ли мудрости то, что делает Максим? Читай книги, читай Пифагора, Платона, Порфирия — вот где найдешь мудрость. Не прекраснее ли всяких чудес — очищение сердца божественной диалектикой?»

Юлиан уже не слушал. Он взглянул горящими глазами на бледное желчное лицо Евсевия и сказал, уходя из школы:

— Оставайтесь вы с вашими книгами и диалектикой. Я хочу жизни и веры. А разве может быть вера без чуда? Благодарю тебя, Евсевий. Ты указал мне человека, которого я давно искал.

Софист взглянул с ядовитой усмешкой и произнес ему вслед:

— Ну, племянник Константина, недалеко же ты ушел от дяди. Сократу, чтобы верить, не надо было чудес.

X

Ровно в полночь, в преддверьи большой залы мистерий, Юлиан сложил одежду послушника, и мистатоги — жрецы, посвящающие в таинства, облекли его в хитон иерофантов из волокон чистого египетского папируса; в руки дали ему пальмовую ветвь; ноги остались босыми.

Он вошел в низкую длинную залу.

Двойной ряд столбов из орихалка — зеленоватой меди — поддерживал своды; каждый столб изображал двух перевившихся змей; от орихалка отделялся запах меди.

У колонн стояли курильницы на тонких высоких ножках; огненные языки трепетали, и клубы белого дыма наполняли залу.

В дальнем конце слабо мерцали два золотых крылатых ассирийских быка; они поддерживали великолепный престол; на нем восседал, подобный богу, в длинном черном одеянии, затканном золотом, облитом потоками смарагдов и карбункулов, сам великий иерофант — Максим Эфесский.

Протяжный голос иеродула возвестил начало таинств:

— Если есть в этом собрании безбожник, или христианин, или эпикуреец,— да изыдет!

Юлиана предупредили об ответах посвящаемого. Он произнес:

— Христиане — да изыдут!

Хор иеродулов, скрытый во мраке, подхватил унылым напевом:

— Двери! Двери! Христиане да изыдут! Да изыдут безбожники!

Тогда выступили из мрака двадцать четыре отрока; они были голы; у каждого в руках блестел серебряный полукруглый *ситр*, похожий на серп новой луны; только острые концы серпа соединялись в полную окружность, и в них были вставлены тонкие спицы, содрогавшиеся от малейшего прикосновения. Отроки, все сразу, подняли ситры над головою, ударили однообразным движением пальцев в эти продольные палочки,— и ситры зазвенели жалобно, томно.

Максим подал знак.

Кто-то приблизился к Юлиану сзади и, крепко завязав ему глаза платком, произнес:

— Иди! Не бойся ни воды, ни огня, ни духа, ни тела, ни жизни, ни смерти!

Его повели. С железным скрипом отворилась дверь, должно быть, заржавленная; его впустили в нее, спертый воздух пахнул ему в лицо; под ногами были скользкие крутые ступени.

Он начал спускаться по бесконечной лестнице. Тишина была мертвая. Пахло плесенью. Ему казалось, что он глубоко под землею.

Лестница кончилась. Теперь он шел по узкому ходу. Руки могли ощупать стены.

Вдруг босыми ногами почувствовал он сырость; зажурчали струйки; вода покрыла ему ступни. Он продолжал идти. С каждым шагом уровень воды подымался, достиг щиколотки, потом колена, наконец бедра. Зубы его стуча-

ли от холода. Он продолжал идти. Вода поднялась до груди. Он подумал: «Может быть, это — обман: не хочет ли Максим умертвить меня в угоду Констанцию?» Но он продолжал идти.

Вода уменьшилась.

Вдруг жар, как из кузницы, повеял в лицо; земля стала жечь ноги; казалось — он приближается к раскаленной печи; кровь стучала в виски; иногда становилось так жарко, как будто к самому лицу подносили факел или расплавленное железо. Он продолжал идти.

Жар уменьшился. Но дыхание сперлось от тяжелого зловония; он споткнулся о что-то круглое, потом—еще и еще; он догадался по запаху, что это мертвые черепа и кости.

Ему казалось, что кто-то идет рядом — беззвучно, скользя, как тень. Холодная рука схватила его руку. Он вскрикнул. Потом уже две руки стали тихонько хватать его, цепляться за одежду. Он заметил, что сухая кожа на них шелушится, и сквозь нее выступают голые кости. В том, как эти руки цеплялись за одежду, была игривая и отвратительная ласковость, как у развратных женщин. Юлиан почувствовал на щеке своей дыхание; в нем был запах тления и могильная сырость. И вдруг над самым ухом — быстрый, быстрый, быстрый шепот, подобный шуршанию осенних листьев в полночь:

— Это — я, это — я, я. Разве ты не узнаешь меня? Это — я.

— Кто ты? — молвил он и вспомнил, что нарушил обет молчания.

— Я, я. Хочешь, я сниму с глаз твоих повязку, и ты узнаешь все, ты увидишь меня?..

Костяные пальцы, с той же мерзкой, веселой торопливостью, закопошились на лице его, чтобы снять повязку.

Холод смерти проник до глубины сердца его, и невольно, привычным движением, перекрестился он трижды, как бывало в детстве, когда видел страшный сон.

Раздался удар грома, земля под ногами всколыхнулась; он почувствовал, что падает куда-то, и потерял сознание.

Когда Юлиан пришел в себя, повязки больше не было на глазах его; он лежал на мягких подушках в огромной, слабо освещенной пещере; ему давали нюхать ткань, пропитанную крепкими духами.

Против ложа Юлиана стоял голый исхудалый человек с темно-коричневой кожей; это был индийский гимнософист, помощник Максима. Он держал неподвижно над

своей головой блестящий медный круг. Кто-то сказал Юлиану:

— Смотри!

И он устремил глаза на круг, сверкавший ослепительно, до боли. Он смотрел долго. Очертания предметов слились в тумане. Он чувствовал приятную успокоительную слабость в теле; ему казалось, что светлый круг сияет уже не извне, а в нем; веки опускались, и на губах бродила усталая покорная улыбка; он отдавался обаянию света.

Кто-то несколько раз провел по голове его рукою и спросил:

— Спишь?

— Да.

— Смотри мне в глаза.

Юлиан с усилием поднял веки и увидел, что к нему наклоняется Максим.

Это был семидесятилетний старик; белая, как снег, борода падала почти до пояса; волосы до плеч были с легким золотистым оттенком сквозь седину; на щеках и на лбу темнели глубокие морщины, полные не страданием, а мудростью и волей; на тонких губах скользила двусмысленная улыбка: такая улыбка бывает у очень умных, лживых и обольстительных женщин; но больше всего Юлиану понравились глаза Максима: под седыми, нависшими бровями, маленькие, сверкающие, быстрые, они были проницательны, насмешливы и ласковы. Иерофант спросил:

— Хочешь видеть древнего Титана?

— Хочу,—ответил Юлиан.

— Смотри же.

И волшебник указал ему в глубину пещеры, где стоял орихалковый треножник. С него подымалась клубящейся громадой туча белого дыма. Раздался голос, подобный голосу бури,— вся пещера дрогнула.

— Геркулес, Геркулес, освободи меня!

Голубое небо блеснуло между разорванными тучами. Юлиан лежал с неподвижным, бледным лицом, с полузакрытыми веками, смотрел на быстрые легкие образы, проносившиеся перед ним, и ему казалось, что не сам он их видит, а кто-то другой ему приказывает видеть.

Ему снились тучи, снежные горы; где-то внизу, должно быть, в бездне, шумело море. Он увидел огромное тело; ноги и руки были прикованы обручами к скале; коршун клевал печень Титана; капли черной крови струились по бедрам; цепи звенели; он метался от боли:

— Освободи меня, Геркулес!

И Титан поднял голову; глаза его встретились с глазами Юлиана.

— Кто ты? Кого ты зовешь? — с тяжелым усилием спросил Юлиан, как человек, говорящий во сне.

— Тебя.

— Я — слабый смертный.

— Ты — мой брат: освободи меня.

— Кто заковал тебя снова?

— Смиренные, кроткие, прощающие врагам из трусости, рабы, рабы! Освободи меня!

— Чем я могу?..

— Будь, как я.

Тучи потемнели, заклубились; гром загудел вдали; сверкнула молния; коршун взвился с криком; капли крови падали с его клюва. Но сильнее грома звучал голос Титана:

— Освободи меня, Геркулес!

Потом все закрыли тучи дыма, поднявшиеся с треножника.

Юлиан на мгновение очнулся. Иерофант спросил:

— Хочешь видеть Отверженного?

— Хочу.

— Смотри.

Юлиан опять полузакрыл глаза и предался легкому очарованию сна.

В белом дыме появились слабые очертания головы и двух исполинских крыльев; перья висели поникшие, как ветви плакучей ивы, и голубоватый свет дрожал на них. Кто-то позвал его далеким, слабым голосом, как умерший друг:

— Юлиан! Юлиан! Отрекись во имя мое от Христа.

Юлиан молчал. Максим прошептал ему на ухо: «Если хочешь увидеть Великого Ангела,— отрекись».

Тогда Юлиан произнес:

— Отрекаюсь.

Над головой видения, сквозь туман, сверкнула утренняя звезда, звезда Денницы. И Ангел повторил:

— Юлиан, отрекись во имя мое от Христа.

— Отрекаюсь.

И в третий раз промолвил Ангел уже громким, близким и торжествующим голосом: «Отрекись!» — и в третий раз Юлиан повторил:

— Отрекаюсь.

И Ангел сказал:

— Приди ко мне.
— Кто ты?
— Я — Светоносный. Я — Денница. Я — Звезда Утренняя.
— Как ты прекрасен!
— Будь подобен мне.
— Какая печаль в глазах твоих!
— Я страдаю за всех живущих. Не надо рождения, не надо смерти. Придите ко мне. Я — тень, я — покой, я — свобода.
— Как зовут тебя люди?
— Злом.
— Ты — зло!
— Я восстал.
— На кого?
— На Того, Кому я равен. Он хотел быть один, но нас — двое.
— Дай мне быть, как ты.
— Восстань, как я. Я дам тебе силу.

Ангел исчез. Налетевший вихрь всколебал пламя треножника; — оно приникло к земле, расстилаясь по ней. Потом треножник опрокинут был вихрем, и пламя потухло. Во мраке послышался топот, визг, стенанье, как будто невидимое, неисчислимое войско, бегущее от врага, летело по воздуху. Юлиан, объятый ужасом, пал лицом на землю, и длинная, черная одежда иерофанта билась над ним по ветру. «Бегите, бегите!» — вопили несметные голоса.— «Врата адовы разверзаются. Это Он, это Он, это Он—Победитель!»

Ветер свистал в ушах Юлиана. И легионы за легионами мчались над ним. Вдруг, после подземного удара, сразу воцарилась тишина —и небесное дуновение промчалось в ней, как в середине кроткой летней ночи. Тогда чей-то голос произнес:
— Савл! Савл! Зачем ты гонишь Меня?

Юлиану казалось, что он уже слышал голос этот когда-то в незапамятном детстве.

Потом снова, но тише, как будто издали:
— Савл! Савл! Зачем ты гонишь Меня?

И голос замер так далеко, что пронесся чуть слышным дуновением:
— Савл! Савл! Зачем ты гонишь Меня?

Когда Юлиан, очнувшись, поднял лицо от земли, он увидел, что один из иеродулов зажигает лампаду. Голова его кружилась; но он помнил все, что было с ним, как помнят сновидения.

Ему опять завязали глаза и дали отведать пряного вина. Он почувствовал силу и бодрость в членах.

Его повели наверх, по лестнице. Теперь рука его была в руке Максима. Юлиану показалось, что невидимая сила подымает его, как бы на крыльях. Иерофант сказал:

— Спрашивай.

— Ты звал Его? — проговорил Юлиан.

— Нет. Но когда на лире дрожит струна — ей отвечает другая: противное отвечает противному.

— Зачем же такая власть в словах Его, если они ложь?

— Они — истина.

— Что ты говоришь? Значит слова Титана и Ангела — ложь?

— И они — истина.

— Две истины?

— Две.

— Ты соблазняешь...

— Не я, но полная истина соблазнительна и необычайна. Если боишься — молчи.

— Я не боюсь. Говори все. Галилеяне правы?

— Да.

— Зачем же я отрекся?

— Есть и другая правда.

— Высшая?

— Нет. Равная той, от которой ты отрекся.

— Но во что же верить? Где Бог?

— И там, и здесь. Служи Ариману, служи Ормузду,— как хочешь, но помни: оба равны; царство Диавола равно царству Бога.

— Куда идти?

— Выбери один из двух путей — и не останавливайся.

— Какой?

— Если веришь в Него — возьми крест, иди за Ним, как Он велел. Будь смиренным, будь девственным, будь агнцем безгласным в руках палачей; беги в пустыню; отдай Ему плоть и дух; терпи, верь.— Это один из двух путей: великие страстотерпцы-галилеяне достигают такой же свободы, как Прометей и Люцифер.

— Я не хочу!

— Тогда избери другой путь: будь сильным и свободным; не жалей, не люби, не прощай; восстань и победи все; не верь и познай. И мир будет твой, и ты будешь, как Титан и Ангел Денницы.

— Не могу я забыть, что в словах Галилеянина есть тоже правда; не могу я вынести двух истин!..

— Если не можешь — будешь, как все. Лучше погибнуть. Но ты можешь. Дерзай.— Ты будешь кесарем.

— Я — кесарем?

— Ты будешь иметь во власти своей то, чего не имел герой Македонский.

Юлиан почувствовал, что они выходят из подземелья: их обвеял свежий, морской, должно быть утренний ветер; не видя, угадывал он вокруг себя бесконечность моря и неба.

Иерофант снял повязку с глаз его. Они стояли на высокой мраморной башне; то была астрономическая башня, подобие древнехалдейских башен, построенная на громадном отвесном обрыве над самым морем; внизу были роскошные сады и виллы Максима, дворцы, пропилеи, напоминавшие Персеполийские колоннады; дальше, в тумане — Артемизион и многоколонный Эфес; еще дальше на востоке — горы; там должно было взойти солнце; на западе, на юге, на севере расстилалось море, необъятное, туманное, темно-голубое, все трепещущее, все смеющееся в ожидании солнца. Они стояли на такой высоте, что голова у Юлиана закружилась; он должен был опереться на руку Максима.

Вдруг восходящее солнце блеснуло из-за гор; он зажмурил глаза с улыбкой — и солнце тронуло белую священную одежду Юлиана первым, сначала бледно-розовым, потом красным, кровавым лучом.

Иерофант обвел рукою горизонт, указывая на море и землю:

— Смотри, это все — твое.

— Разве я могу, учитель?.. Я каждый день жду смерти. Я — слабый и больной...

— Солнце — бог Митра венчает тебя своим пурпуром. Это пурпур кесаря. Все — твое. Дерзай!

— Зачем мне все, если нет единой правды — Бога, которого ищу?

— Найди Его. Соедини, если можешь, правду Титана с правдой Галилеянина — и ты будешь больше всех рожденных женами на земле . . . .

. . . .

. . . .

У Максима Эфесского были огромные книгохранилища, тихие, мраморные покои, уставленные научными приборами, обширные анатомические залы.

В одной из них молодой ученый Орибазий, врач Александрийской школы, держа тонкий стальной нож в руках,

производил вместе с теургом анатомическое рассечение редкого животного, присланного Максиму из Индии. Зала была круглая, без окон, с верхним светом, устроенная наподобие таких же зал в Александрийском музее; кругом стояли медные сосуды, жаровни, математические приборы Эолипила и Архимеда, так называемая *огненная машина* Ктезибия и Герона; в тишине соседнего книгохранилища звонко падали капли водяных часов, изобретенных Аполлонием; там виднелись глобусы, медные географические карты, изображения звездных сфер Гиппарха и Эратосфена. Друзья производили рассечение живого тела по способу великого анатома Герофила. Под ровным светом, падавшим из круглого отверстия в крыше, Максим, в простой одежде философа, смотрел с любопытством в еще теплые внутренности животного, лежавшие на широком мраморном столе. Маленькие и быстрые глаза его, из-под седых бровей, сверкали обычным проницательным и насмешливым блеском.

Орибазий говорил, наклоняясь над столом и рассматривая только что вынутую печень:

— Как может философ Максим верить в чудеса?

— И верю, и не верю,— ответил теург.—Разве природа, которую мы исследуем, не самое чудесное из чудес? Разве не чудо и не тайна эти тонкие кровяные сосуды, нервы, совершенное устройство внутренних органов, которые мы рассматриваем, как авгуры?

— Ты знаешь, о чем я говорю,— возразил Орибазий.— Зачем ты обманываешь бедного мальчика?

— Юлиана?

— Да.

— Он сам хочет быть обманутым.

Упрямые тонкие брови молодого врача сдвинулись:

— Учитель, если ты любишь меня, скажи, кто ты? Как ты можешь терпеть эту ложь? Разве я не знаю, что такое магия? — Вы прикрепляете к потолку в темной комнате светящуюся рыбью чешую — и ученик, посвящаемый в таинства, верит, что это — звездное небо, сходящее к нему по слову иерофанта; вы лепите из кожи и воска мертвую голову, снизу приставляете к ней журавлиную шею, и спрятавшись в подполье, произносите в эту костяную трубку ваши пророчества — и ученик думает, что череп возвещает ему тайны смерти; а когда нужно, чтобы мертвая голова исчезла, вы приближаете к ней жаровню с углями — воск тает, и череп распадается; вы из фонаря бросаете отражения сквозь раскрашенные стекла на белый

дым ароматов — и ученик воображает, будто бы перед ним видения богов; сквозь водоем, у которого каменные края и стеклянное дно, вы показываете ему живого Аполлона, переодетого раба, живую Афродиту, переодетую блудницу. И вы называете это священными таинствами!..

На тонких губах иерофанта появилась двусмысленная улыбка:

— Таинства наши глубже и прекраснее, чем ты думаешь, Орибазий. Человеку нужен восторг. Для того, кто верит, блудница воистину Афродита, и рыбья чешуя воистину звездное небо. Ты говоришь, что люди молятся и плачут от видений, рожденных масляной лампой с раскрашенными стеклами. Орибазий, Орибазий, но разве природа, которой удивляется мудрость твоя,— не такой же призрак, вызванный чувствами, обманчивыми, как фонарь персидского мага? Где истина? Где ложь? Ты веришь и знаешь — я не хочу верить, не могу знать...

— Неужели Юлиан был бы тебе благодарен, если бы знал, что ты его обманываешь?

— Юлиан видел то, что хотел и должен был видеть. Я дал ему восторг; я дал ему веру и силу жизни. Ты говоришь — я обманул его? Если бы это было нужно, я, может быть, и обманул бы, и соблазнил бы его.— Я люблю его. Я не отойду от него до смерти. Я сделаю его великим и свободным.

И Максим взглянул на Орибазия своими непроницаемыми глазами.

Луч солнца упал на седую бороду и седые нависшие брови старика; они заблестели, как серебро; морщины на лбу стали еще глубже и темнее; а на тонких губах скользила двусмысленная улыбка, обольстительная, как у женщин.

XI

Юлиан посетил несчастного брата своего Галла, когда тот остановился проездом в Константинополе.

Он нашел его окруженным предательской стражей сановников Констанция: здесь был хитрый, вежливый придворный щеголь, квестор Леонтий, который прославился искусством подслушивать у дверей, выспрашивать рабов; и трибун щитоносцев-скутариев, молчаливый варвар Байнобаудес, похожий на переодетого палача; и важный церемониймейстер императора, comes domesticorum, Луциллиан, и наконец тот самый Скудило, который был некогда военным трибуном в Цезарее Каппадокийской, а те-

перь, благодаря покровительству старых женщин, получил место при дворе.

Галл, здоровый, веселый и легкомысленный, как всегда, угостил Юлиана превосходным ужином; в особенности хвастал он жирным колхидским фазаном, начиненным фиваидскими свежими финиками. Он смеялся, как ребенок, и вспоминал Мацеллум.

Вдруг Юлиан нечаянно в разговоре спросил брата о жене его, Константине. Лицо Галла изменилось; он опустил пальцы с белым сочным куском фазана, который подносил ко рту; глаза его наполнились слезами.

— Разве ты не знаешь, Юлиан? — На пути к императору — она поехала к нему, чтобы оправдать меня — Константина умерла от лихорадки в Ценах Галликийских, городке Вифинии. Я проплакал две ночи, когда узнал о ее смерти...

Он тревожно оглянулся на дверь, наклонился к Юлиану и проговорил ему на ухо:

— С того дня я на все махнул рукой... Она одна могла бы еще спасти меня. Брат, это была удивительная женщина. Нет, ты не знаешь, Юлиан, что это была за женщина! Без нее я погиб... Я не могу — я ничего не умею — руки опускаются. Они делают со мной, что хотят.

Он осушил одним глотком кубок цельного вина.

Юлиан вспомнил о Константине, уже немолодой вдове, сестре Констанция, которая была злым гением брата, о бесчисленных глупых преступлениях, которые она заставляла его совершать, иногда из-за дорогой безделушки, из-за обещанного ожерелья — и спросил, желая угадать, какая власть подчиняла его этой женщине:

— Она была красива?

— Да разве ты ее никогда не видал? — Нет, некрасива, даже совсем некрасива. Смуглая, рябая, маленького роста; скверные зубы; она, впрочем, избегала смеяться. Говорили, что она мне изменяет — по ночам, будто бы, переодетая, как Мессалина, бегает в конюшню ипподрома к молодым конюхам. А мне что за дело? Разве я не изменял ей? Она не мешала мне жить, и я ей не мешал. Говорят, она была жестокой. — Да, она умела царствовать, Юлиан. Она не любила сочинителей уличных стишков, в которых, бывало, мерзавцы упрекали ее за дурное воспитание, сравнивали с переодетой кухонной рабыней. Она умела мстить. Но какой ум, какой ум, Юлиан! Мне было за ней спокойно, как за каменной стеной. Ну, уж мы зато и пошалили, повеселились — всласть!..

Улыбаясь от приятных воспоминаний, он тихонько провел кончиком языка по губам, еще мокрым от вина.

— Да, можно сказать, пошалили! — заключил он не без гордости.

Юлиан, когда шел на свидание, думал пробудить в брате раскаяние, приготовлял в уме речь, во вкусе Либания, о добродетелях и доблестях гражданских. Он ожидал увидеть человека, гонимого бичом Немезиды; а перед ним было спокойное лицо молодого атлета. Слова замерли на устах Юлиана. Без отвращения и без злобы смотрел он на этого «доброго зверя»— так мысленно называл он брата — и думал, что читать ему нравоучения так же бессмысленно, как откормленному жеребцу.

Он только спросил шепотом, оглянувшись в свою очередь на дверь:

— Зачем ты едешь в Медиолан? — Или не знаешь?..

— Не говори. Знаю все. Но вернуться нельзя... Поздно!..

Он указал на свою белую шею.

— Мертвая петля — понимаешь? *Он* ее потихоньку стягивает. *Он* из-под земли меня выкопает, Юлиан. И говорить не стоит. Кончено! Пошалили —и кончено.

— У тебя осталось два легиона в Антиохии?

— Ни одного. *Он* отнял у меня лучших солдат, мало-помалу, исподволь, для моего же, видишь ли, собственного блага — все для моего блага? Как он заботится, как тоскует обо мне, как жаждет моих советов... Юлиан, это страшный человек! Ты еще не знаешь и не дай тебе Бог узнать, что это за человек. Он все видит, видит на пять локтей под землею. Он знает сокровеннейшие мысли мои — те, о которых изголовье постели моей не знает. Он видит и тебя насквозь. Я боюсь его, брат!..

— Бежать нельзя?

— Тише, тише!.. Что ты!..

Страх школьника выразился в ленивых чертах Галла.

— Нет, конечно! Я теперь, как рыба на удочке; он тащит потихоньку, так, чтобы леса не порвалась: ведь цезарь, какой ни на есть, все-таки довольно тяжел. Но знаю — с крючка не сорвись — рано или поздно вытащит!.. Вижу, как не видеть, что западня, и все-таки лезу в нее — сам лезу от страха. Все эти шесть лет, да и раньше, с тех пор, как помню себя, я жил в страхе. Довольно! Погулял, пошалил и довольно.— Брат, *он* зарежет меня, как повар куренка. Но раньше замучит хитростями, ласками. Уж лучше бы резал скорей!..

Вдруг глаза его вспыхнули.

— А ведь если бы *она* здесь была, сейчас, со мною,— что ты думаешь, брат, ведь она спасла бы меня, наверное спасла бы! Вот почему говорю я — это была удивительная, необыкновенная женщина!..

Трибун Скудило, войдя в триклиниум, с подобострастным поклоном объявил, что завтра, в честь прибытия цезаря, в ипподроме Константинополя назначены скачки, в которых будет участвовать знаменитый наездник Коракс. Галл обрадовался, как ребенок. Велел приготовить лавровый венок, чтобы, в случае победы, собственноручно венчать перед народом любимца своего, Коракса. Начались рассказы о лошадях, о скачках, о ловкости наездников.

Галл много пил; от недавнего страха его не было следа; он смеялся откровенным и легкомысленным смехом, как смеются здоровые люди, у которых совесть покойна.

Только в последнюю минуту прощания крепко обнял Юлиана и заплакал; голубые глаза его беспомощно заморгали.

— Дай тебе Бог, дай тебе Бог!..— бормотал он, впадая в чрезмерную чувствительность, может быть, от вина.— Знаю, ты один меня любил — ты и Константина...

И шепнул Юлиану на ухо:

— Ты будешь счастливее, чем я: ты умеешь притворяться. Я всегда завидовал... Ну, дай тебе Бог!..

Юлиану стало жаль его. Он понимал, что брату уже «не сорваться с удочки» Констанция.

На следующий день, под тою же стражей, Галл выехал из Константинополя.

Недалеко от городских ворот встретился ему вновь назначенный в Армению квестор Тавр. Тавр, придворный выскочка, нагло посмотрел на цезаря и не поклонился.

Между тем от императора приходили письма за письмами.

С Адрианополя Галлу оставили только десять повозок государственной почты: всю поклажу и прислугу, за исключением двух-трех постельных и кравчих, надо было покинуть.

Стояла глубокая осень. Дороги испортились от дождя, лившего целыми днями. Цезаря торопили; не давали ему ни отдохнуть, ни выспаться; уже две недели как он не купался. Одним из величайших страданий было для него это непривычное чувство грязи: всю жизнь дорожил он своим здоровым, выхоленным телом; теперь с такой же грустью смотрел на свои невычищенные, неотточенные

ногти, как и на царственный пурпур хламиды, запачканной пылью и грязью больших дорог.

Скудило ни на минуту не покидал его. Галл имел причины бояться этого слишком внимательного спутника.

Трибун, только что приехав с поручением от императора к Антиохийскому двору, неосторожным выражением или намеком оскорбил жену цезаря, Константину; ею овладел неожиданно один из тех припадков слепой, почти сумасшедшей ярости, которым она была подвержена. Говорили, будто бы Константина велела посланного от императора наказать плетьми и бросить в темницу; иные, впрочем, отказывались верить, чтобы даже вспыльчивая супруга цезаря была способна на такое оскорбление величества в лице римского трибуна. Во всяком случае, Константина скоро одумалась и выпустила Скудило из темницы. Он явился опять ко двору цезаря, как ни в чем не бывало, пользуясь тем, что никто ничего наверное не знал; даже не написал доноса в Медиолан и молча проглотил обиду, по выражению своих завистников. Может быть, трибун боялся, что слухи о постыдном наказании повредят его придворной выслуге.

Во время путешествия Галла из Антиохии в Медиолан Скудило ехал в одной колеснице с цезарем, не отходил от него ни на шаг, ухаживал раболепно, заигрывал, не оставляя его ни минуты в покое, и обращался, как с упрямым, больным ребенком, которого он, Скудило, так любит, что не имеет силы покинуть.

При опасных переездах через реки, на трясучих гатях Иллирийских болот, с нежною заботливостью крепко обхватывал стан цезаря рукою; и ежели тот делал попытку освободиться — обхватывал еще крепче, еще нежнее, уверяя, что скорее согласится умереть, чем дозволить, чтобы такая драгоценная жизнь подверглась малейшей опасности.

У трибуна был особенный задумчивый взгляд, которым с молчаливой и долгой улыбкой смотрел он сзади на белую, как у молодой девушки, мягкую шею Галла; цезарь чувствовал на себе этот взгляд, ему становилось неловко, и он оборачивался. В эти мгновения хотелось ему дать пощечину ласковому трибуну; но бедный пленник скоро приходил в себя и только жалобным голосом просил остановиться, чтобы хоть немного перекусить; ел он и пил, несмотря ни на что, со своей обыкновенной жадностью.

В Норике встретили их еще два посланных от императора — комес Барбатион и Аподем, с когортой собственных солдат его величества.

Тогда личину сбросили: вокруг дворца Галла поставили стражу на ночь, как вокруг тюрьмы.

Вечером Барбатион, войдя к цезарю и не оказывая никаких знаков почтения, велел ему снять цезарскую хламиду, облечься в простую тунику и палудаментум; Скудило при этом выказал усердие: так поспешно начал снимать с Галла хламиду, что разорвал пурпур.

На следующее утро пленника усадили в почтовую деревянную повозку на двух колесах — карпенту, в которой ездили, по служебным надобностям, мелкие чиновники; у карпенты не было верха. Дул пронзительный ветер, падал мокрый снег. Скудило, по своему обыкновению, одной рукой обнял Галла, а другой начал трогать его новую одежду.

— Хорошая одежда, пушистая, теплая. По-моему, куда лучше пурпура. Пурпур не согреет. А у этой — подкладочка мягкая, шерстяная...

И, как будто для того, чтобы ощупать подкладку, запустил руку под одежду цезаря, потом в тунику и вдруг с тихим вежливым смехом вытащил лезвие кинжала, который Галлу удалось спрятать в складках.

— Нехорошо, нехорошо,— заговорил Скудило с ласковой строгостью.— Можно как-нибудь порезаться нечаянно. Что за игрушки!

И бросил кинжал на дорогу.

Бесконечная истома и расслабление овладевали телом Галла. Он закрыл глаза и чувствовал, как Скудило обнимает его все с большей нежностью. Цезарю казалось, что он видит отвратительный сон.

Они остановились недалеко от крепости Пола, в Истрии, на берегу Адриатического моря. В этом самом городе, несколько лет назад, совершилось кровавое злодеяние — убийство молодого героя, сына Константина Великого, Криспа.

Город, населенный солдатами, казался унылым захолустьем. Бесконечные казармы выстроены были в казенном вкусе времен Диоклитиана. На крышах лежал снег; ветер завывал в пустых улицах; море шумело.

Галла отвезли в одну из казарм.

Посадили против окна, так что резкий зимний свет падал ему прямо в глаза. Самый опытный из сыщиков императора, Евсевий, маленький, сморщенный и любезный старичок, с тихим, вкрадчивым голосом, как у исповедника, то и дело потирая руки от холода, начал допрос. Галл чувствовал смертельную усталость; он говорил все, что

Евсевию было угодно; но при слове «государственная измена»—побледнел и вскочил:

— Не я, не я! — залепетал он глупо и беспомощно.— Это Константина, все — Константина... Без нее ничего бы я не сделал. Она требовала казни Феофила, Домитиана, Клематия, Монтия и других. Видит Бог, не я... Она мне ничего не говорила. Я даже не знал...

Евсевий смотрел на него с тихой усмешкой:

— Хорошо,—проговорил он,— я так и донесу императору, что его собственная сестра Константина, супруга бывшего цезаря, виновата во всем. Допрос кончен. Уведите его,— приказал он легионерам.

Скоро получен был смертный приговор от императора Констанция, который счел за личную обиду обвинение покойной сестры своей во всех убийствах, совершенных в Антиохии.

Когда цезарю прочли приговор, он лишился чувств и упал на руки солдат. Несчастный до последней минуты надеялся на помилование. И теперь еще думал, что ему дадут, по крайней мере, несколько дней, несколько часов на приготовление к смерти. Но ходили слухи, что солдаты фиванского легиона волнуются и замышляют освобождение Галла. Его повели тотчас на казнь.

Было раннее утро. Ночью выпал снег и покрыл черную липкую грязь. Холодное, мертвое солнце озаряло снег; ослепительный отблеск падал на ярко-белые штукатуреные стены большой залы в казармах, куда привезли Галла.

Солдатам не доверяли: они почти все любили и жалели его. Палачом выбрали мясника, которому случалось на площади Пола казнить истрийских воров и разбойников. Варвар не умел обращаться с римским мечом и принес широкий топор, вроде двуострой секиры, которым привык на бойне резать свиней и баранов. Лицо у мясника было тупое, красивое и заспанное; родом он был славянин. От него скрыли, что осужденный — цезарь, и палач думал, что ему придется казнить вора.

Галл перед смертью сделался кротким и спокойным. Он позволял с собою делать все, что угодно, с бессмысленной улыбкой; ему казалось, что он маленький ребенок: в детстве он тоже плакал и сопротивлялся, когда его насильно сажали в теплую ванну и мыли, а потом, покорившись, находил, что это приятно.

Но, увидев, как мясник, с тихим звоном водит широким лезвием топора, взад и вперед, по мокрому точильному камню, задрожал всеми членами.

Его отвели в соседнюю комнату; там цирульник тщательно, до самой кожи, обрил его мягкие золотистые кудри, красу и гордость молодого цезаря. Возвращаясь из комнаты цирульника, он остался на мгновение с глазу на глаз с трибуном Скудило. Цезарь неожиданно упал к ногам своего злейшего врага.

— Спаси меня, Скудило! Я знаю, ты можешь! Сегодня ночью я получил письмо от солдат фиванского легиона. Дай мне сказать им слово: они освободят меня. В сокровищнице Мизийского храма лежат моих собственных тридцать талантов. Никто не знает. Я тебе дам. И еще большее дам. Солдаты любят меня... Я сделаю тебя своим другом, своим братом, соправителем, цезарем!..

Он обнял его колени, обезумев от надежды. И вдруг Скудило, вздрогнув, почувствовал, как цезарь прикасается губами к его руке. Трибун ни слова не ответил, неторопливо отнял руку и посмотрел ему в лицо с улыбкой.

Галлу велели снять одежду. Он не хотел развязать сандалии: ноги были грязные. Когда он остался почти голым, мясник начал привязывать ему руки веревкой за спину, как он это привык делать ворам. Скудило бросился помогать. Но, когда Галл почувствовал прикосновение пальцев его, им овладело бешенство: он вырвался из рук палача, схватил трибуна за горло обеими руками и стал душить его; голый, высокий, он был похож на молодого, сильного и страшного зверя. К нему подбежали сзади, оттащили его от трибуна, связали ему руки и ноги.

В это время внизу, на дворе казарм, раздались крики солдат фиванского легиона: «Да здравствует цезарь Галл!»

Убийцы торопились. Принесли большой деревянный обрубок или колоду, вроде плахи. Галла поставили на колени. Барбатион, Байнобаудес, Аподем держали его за руки, за ноги, за плечи. Голову пригнул к деревянной колоде Скудило. С улыбкой сладострастья на бледных губах, он сильно, обеими руками упирался в эту беспомощно сопротивлявшуюся голову, чувствовал пальцами, похолодевшими от наслаждения, гладкую, только что выбритую кожу, еще влажную от мыла цирюльника, смотрел с восторгом на белую, как у молодых девушек, жирную, мягкую шею.

Мясник был неискусный палач. Опустив топор, он едва коснулся шеи, но удар был не верен. Тогда он во второй раз поднял секиру, закричав Скудило:

— Не так! Правее! Держи правее голову!

Галл затрясся и завыл от ужаса протяжным, нечелове-

ческим голосом, как бык на бойне, которого не сумели убить с одного удара.

Все ближе и явственней раздавались крики солдат:

— Да здравствует цезарь Галл!

Мясник высоко поднял топор и ударил. Горячая кровь брызнула на руки Скудило. Голова упала и ударилась о каменный пол.

В это мгновение легионеры ворвались.

Барбатион, Аподем и трибун щитоносцев бросились к другому выходу.

Палач остался в недоумении. Но Скудило успел шепнуть ему, чтобы он унес голову казненного цезаря: легионеры не узнают, кому принадлежит обезглавленный труп, а иначе они могут их всех растерзать.

— Так это не вор? — пробормотал удивленный палач.

Не за что было ухватить гладко выбритую голову. Мясник сначала сунул ее под мышку. Но это показалось неудобным. Тогда воткнул он ей в рот палец, зацепил и так понес ту голову, чье мановение заставляло некогда склоняться столько человеческих голов.

Юлиан, узнав о смерти брата, подумал: «Теперь очередь за мною».

XII

В Афинах Юлиан должен был принять ангельский чин — постричься в монахи.

Было весеннее утро. Солнце еще не всходило. Он простоял в церкви заутреню и прямо от службы пошел за несколько стадий, по течению заросшего платанами и диким виноградом Иллиса.

Он любил это уединенное место вблизи Афин, на самом берегу потока, тихо шелестевшего, как шелк, по кремнистому дну. Отсюда видны были сквозь туман красноватые выжженные скалы Акрополя и очертания Парфенона, едва тронутого светом зари.

Юлиан, сняв обувь, босыми ногами вошел в мелкие воды Иллиса. Пахло распускающимися цветами винограда; в этом запахе уже было предвкусие вина — так в первых мечтах детства — предчувствие любви.

Он сел на корни платана, не вынимая ног из воды, открыл *Федра* и стал читать.

Сократ говорит Федру в диалоге:

«Повернем в ту сторону, пойдем по течению Иллиса. Мы выберем уединенное место, чтобы сесть. Не кажется ли тебе, Федр, что здесь воздух особенно нежен и душист, и что в самом пении цикад есть что-то сладостное, напоми-

нающее лето. Но что больше всего мне здесь нравится, это высокие травы».

Юлиан оглянулся: все было по-прежнему — как восемь веков назад; цикады начинали свои песни в траве.

«Этой земли касались ноги Сократа»,— подумал он и, спрятав голову в густые травы, поцеловал землю.

— Здравствуй, Юлиан! Ты выбрал славное место для чтения. Можно присесть?

— Садись. Я рад. Поэты не нарушают уединения.

Юлиан взглянул на худенького человека в непомерно длинном плаще, стихотворца Публия Оптатиана Порфирия и, невольно улыбнувшись, подумал: он так мал, бескровен и тощ, что можно поверить, будто бы скоро из человека превратится в цикаду, как рассказывается в мифе Платона о поэтах.

Публий умел, подобно цикадам, жить почти без пищи, но не получил от богов способности не чувствовать голода и жажды: лицо его, землистого цвета, давно уже не бритое, и бескровные губы сохраняли отпечаток голодного уныния.

— Отчего это, Публий, у тебя такой длинный плащ? — спросил Юлиан.

— Чужой,— ответил поэт с философским равнодушием,— то есть, пожалуй, и мой, да на время. Я, видишь ли, нанимаю комнату пополам с юношей Гефестионом, изучающим в Афинах красноречие: он будет когда-нибудь превосходным адвокатом; пока — беден, как я, беден, как лирический поэт — этим все сказано! Мы заложили платье, посуду, даже чернильницу. Остался один плащ на двоих. Утром я выхожу, а Гефестион изучает Демосфена; вечером он одевает хламиду, а я дома сочиняю стихи. К сожалению, Гефестион высокого, я низенького роста. Но делать нечего: я хожу «длиннoодеянный», подобно древним троянкам.

Публий Оптатиан рассмеялся, и землистое лицо его напомнило лицо развеселившегося похоронного плакальщика.

— Видишь ли, Юлиан,— продолжал поэт,— я надеюсь на смерть богатейшей вдовы римского откупщика: счастливые наследники закажут мне эпитафию и щедро заплатят. К сожалению, вдова упрямая и здоровая: несмотря на усилия докторов и наследников, не хочет умирать. А то я давно купил бы себе плащ.— Послушай, Юлиан, пойдем сейчас со мною.

— Куда?

— Доверься мне. Ты будешь благодарен...

— Что за тайны?

— Не ленись, не спрашивай, вставай и пойдем. Поэт не сделает зла другу поэтов. Увидишь богиню...

— Какую богиню?

— Артемиду Охотницу.

— Картину? Статую?

— Лучше картины и статуи. Если любишь красоту, бери плащ и следуй за мной!

У стихотворца был такой забавно-таинственный вид, что Юлиан почувствовал любопытство, встал, оделся и пошел за ним.

— Условие — ничего не говорить, не удивляться. А то очарование исчезнет. Во имя Каллиопы и Эрато, доверься мне!.. Здесь два шага. Чтобы не было скучно по пути, я прочту начало эпитафии моей откупщице.

Они вышли на пыльную дорогу. В первых лучах солнца медный щит Афины Промахос сверкал над розовевшим Акрополем; конец ее тонкого копья теплился, как зажженная свеча, в небе.

Цикады вдоль каменных оград, за которыми журчали воды под кущами фиговых деревьев, пели пронзительно, как будто соперничая с охрипшим, но вдохновенным голосом поэта, читавшего стихи.

Публий Оптатиан Порфирий был человек, не лишенный дарования; но жизнь его сложилась очень странно. Несколько лет назад имел он хорошенький домик, «настоящий храм Гермеса», в Константинополе, недалеко от Халкедонского предместья; отец торговал оливковым маслом и оставил ему небольшое состояние, которое позволило бы Оптатиану жить безбедно. Но кровь в нем кипела. Поклонник древнего эллинства, он возмущался тем, что называл торжеством христианского рабства. Однажды написал он вольнолюбивое стихотворение, не понравившееся императору Констанцию. Констанций счел бы стихи за вздор; но в них был намек на особу императора; этого он простить не мог. Кара обрушилась на сочинителя: домик его и все имущество забрали в казну, самого сослали на дикий островок Архипелага. На островке не было ничего, кроме скал, коз и лихорадок. Оптатиан не вынес испытания, проклял мечты о древней римской свободе и решился во что бы то ни стало загладить грех.

В бессонные ночи, томимый лихорадкой, написал он на своем острове поэму в прославление императора центонами из Виргилия: отдельные стихи древнего поэта соединялись так, что выходило новое произведение. Этот головоломный фокус понравился при дворе: Оптатиан угадал дух века.

Тогда приступил он к еще более удивительным фокусам: написал дифирамб Констанцию стихами различной длины, так что строки образовали целые фигуры, например многоствольную пастушью флейту, водяной орган, жертвенник, причем дым изображен был в виде нескольких неравных коротеньких строчек над алтарем. Чудом ловкости были четырехугольные поэмы, состоявшие из 20 или 40 гекзаметров; некоторые буквы выводились красными чернилами: при соединении, красные буквы, внутри четырехугольников, изображали то монограмму Христа, то цветок, то хитрый узор, причем выходили новые строки, с новыми поздравлениями; наконец, последние четыре гекзаметра в книге могли читаться на 18 различных ладов, с конца, с начала, с середины, сбоку, сверху, снизу и так далее: как ни читай — все выходила похвала императору.

Бедный сочинитель едва не сошел с ума от этой работы. Зато победа была полная. Констанций пришел в восторг; ему казалось, что Оптатиан затмил поэтов древности. Император собственноручно написал ему письмо, уверяя, что всегда готов покровительствовать Музам. «В наш век,— заключал он не без пышности,— за всяким, кто пишет стихи, мое благосклонное внимание следует, как тихое веяние зефиров». Впрочем, поэту не возвратили имущества, дали только немного денег, позволив уехать с проклятого острова и поселиться в Афинах.

Здесь он вел невеселую жизнь: помощник младшего конюха в цирке жил в сравнении с ним роскошно. Поэтому приходилось сторожить по целым дням в передних тщеславных вельмож, вместе с гробовщиками, торговцами-евреями и устроителями свадебных шествий, чтобы получить заказ на эпиталаму, эпитафию или любовное послание. Платили гроши. Но Порфирий не унывал, надеясь, что когда-нибудь поднесет императору такой фокус, что его простят окончательно.

Юлиан чувствовал, что, несмотря на все унижение Порфирия, любовь к Элладе не потухала в нем. Он был тонким ценителем древней поэзии. Юлиан охотно беседовал с ним.

Они свернули с большой дороги и подошли к высокой каменной стене палестры.

Кругом было пустынно. Два черных ягненка щипали траву. У запертых ворот, где из щелей крылечных ступеней росли маки и одуванчики, стояла колесница, запряженная двумя белыми конями; гривы у них были стриженые, как у лошадей на изваяниях.

За ними присматривал раб, старичок с яйцевидной лысой головой, едва подернутой седым пухом. Старичок оказался глухонемым, но любезным. Он узнал Оптатиана и ласково закивал ему головой, указывая на запертые ворота палестры.

— Дай кошелек на минуту,— сказал Оптатиан спутнику.—Я возьму динарий или два на вино этому старому шуту.

Он бросил монету, и с раболепными ужимками и мычанием немой открыл перед ними дверь.

Они вошли в полутемный длинный перестиль.

Между колоннами виднелись ксисты — крытые ходы, предназначенные для упражнения атлетов; на ксистах не было песку: они поросли травой. Друзья вступили в широкий внутренний двор.

Любопытство Юлиана было возбуждено всей этой таинственностью. Оптатиан вел его за руку молча.

Во второй двор выходили двери *экзэдр*— крытых мраморных покоев, служивших некогда аудиториями для афинских мудрецов и ораторов. Полевые цикады стрекотали там, где раздавались речи славных мужей; над сочными, как будто могильными, травами реяли пчелы; было грустно и тихо. Вдруг откуда-то послышался женский голос, удар, должно быть, медного диска по мрамору, смех.

Подкравшись, как воры, спрятались они в полумраке между колоннами, в отделении *элеофезион*, где древние борцы, во время состязаний, умащались елеем.

Из-за колонн виднелась продолговатая четырехугольная площадь, под открытым небом, предназначавшаяся для игры в мяч и метания диска; она была усыпана, должно быть недавно, свежим ровным песком.

Юлиан взглянул и отступил.

В двадцати шагах стояла молодая девушка, совершенно голая. Она держала медный диск в руке.

Юлиан сделал быстрое движение, чтобы уйти, но в простодушных глазах Оптатиана, в его бледном лице было столько благоговения, что Юлиан понял, зачем поклонник Эллады привел его сюда; почувствовал, что ни одной грешной мысли не могло родиться в душе поэта: восторг его был свят. Оптатиан прошептал на ухо спутнику, крепко схватив его за руку:

— Юлиан, мы теперь в древней Лаконии, девять веков назад. Ты помнишь стихи Проперция Ludi Laconum? [1]

---

[1] Спартанские игры *(лат.)*.

И он зашептал ему чуть слышным вдохновенным шепотом:

Multa tuae, Sparte, miramur jura palestrae.
Sed mage virginei tot bona gymnasii;
Quod non infames exerceret corpore ludos
Inter luctantes nuda puella viros.

«Спарта, дивимся мы многим законам твоих гимнастических игр, но более всех — девственной палестре: ибо твои нагие девы, среди мужей-борцов, предаются не бесславным играм».

— Кто это? — спросил Юлиан.

— Не знаю, я не хотел узнавать...

— Хорошо. Молчи.

Теперь он смотрел прямо и жадно на метательницу диска, уже не стыдясь и чувствуя, что не должно, не мудро стыдиться.

Она отступила на несколько шагов, наклонилась и, выставив левую ногу, закинув правую руку с диском, сильным движением размахнулась и так высоко подбросила медный круг, что он засверкал на восходящем солнце и, падая, звонко ударился о подножие дальней колонны. Юлиану казалось, что перед ним — древний Фидиев мрамор.

— Лучший удар! — сказала двенадцатилетняя девочка в блестящей тунике, стоявшая у колонны.

— Мирра, дай диск, — проговорила метательница. — Я могу выше, увидишь! Мероэ, отойди, а то я раню тебя, как Аполлон Гиацинта.

Мероэ, старая рабыня-египтянка, судя по пестрой одежде и смуглому лицу, приготовляла в алебастровых амфорах благовония для купальни. Юлиан понял, что немой раб и колесница с белыми конями принадлежат этим любительницам древних игр.

Кончив метание диска, взяла она от бледной черноокой Мирры изогнутый лук, колчан и вынула длинную оперенную стрелу. Девушка метила в черный круг, служивший целью на противоположном конце эфебэона. Тетива зазвенела; стрела порхнула со свистом и ударилась в цель; потом — вторая, третья.

— Артемида-Охотница! — прошептал Оптатиан.

Вдруг нежный розовый луч восходящего солнца, скользнув между колоннами, упал в лицо и на невысокую, почти отроческую грудь девушки.

Отбросив стрелы и лук, ослепленная, закрыла она лицо руками.

Ласточки с криком проносились над палестрой и тонули в небе.

Она открыла лицо, закинув руки над головой. Волосы ее на концах были бледно-золотые, как желтый мед на солнце, с более темным рыжеватым оттенком у корней; губы полуоткрылись с улыбкой детской радости; солнце скользило по голому телу ниже и ниже. Она стояла, чистая, облеченная светом как самою стыдливой из одежд.

— Мирра,— задумчиво и медленно проговорила девушка,— посмотри, какое небо! Хотелось бы броситься в него и потонуть в нем с криком, как ласточки. Помнишь, мы говорили, что нельзя быть людям счастливыми, потому что у них нет крыльев? Когда смотришь на птиц, завидно... Надо быть легкой, совсем голой, Мирра,—вот, как я теперь,— и глубоко, глубоко в небе, и чувствовать, что это навсегда, что больше ничего не будет, не может быть, кроме неба и солнца — вокруг легкого, голого тела!..

Вся выпрямившись, протягивая руки к небу, она вздохнула, как вздыхают о том, что навеки утрачено.

Солнце опускалось ниже и ниже; но достигло ее бедер уже пламеневшею лаской. Тогда девушка вздрогнула, и ей сделалось стыдно, словно кто-то живой и страстный увидел ее наготу: она заслонила одной рукой грудь, другой — чресла вечным, стыдливым движением, как Афродита Книдская.

— Мероэ, одежду, Мероэ!— вскрикнула она оглядываясь большими испуганными глазами.

Юлиан не помнил, как вышел из палестры; сердце его горело. Лицо у поэта было торжественное и грустное, как у человека, только что вышедшего из храма.

— Ты не сердишься?— спросил он Юлиана.

— О, нет! За что?

— Может быть, для христианина искушение?..

— Искушения не было.

— Да, да. Я так и думал.

Они вышли опять на пыльную, уже знойную дорогу и направились к Афинам.

Оптатиан продолжал тихо, как будто про себя:

— О, какие мы теперь— стыдливые и уродливые! Мы боимся угрюмой и жалкой наготы своей, прячем ее, потому что чувствуем себя нечистыми. А прежде! — Ведь все это когда-то было, Юлиан! Спартанские девушки выходили на палестру голые, гордые, перед всем народом. И никто не боялся искушения. Чистые смотрели на чистых. Они

были, как дети, как боги.— И знать, что этого больше никогда не будет, не повторится на земле эта свобода и чистота, и радость жизни — никогда!

Он опустил голову на грудь и тяжело вздохнул. Они вышли на улицу Треножников. Недалеко от Акрополя друзья расстались молча.

Юлиан вошел в тень Пропилей. Миновал Стоа Пойкилэ с картинами Парразия, изображавшими битвы Марафона и Саламина; потом мимо маленького храма Бескрылой Победы, приблизился к Парфенону.

Ему стоило только закрыть глаза, чтоб увидеть голое прекрасное тело Артемиды-Охотницы; а когда он открывал их, мрамор Парфенона под солнцем казался живым и золотистым, как тело богини.

И перед всеми, презирая смерть, хотелось ему обнять руками этот мрамор, согретый солнцем, и целовать его, как живое тело.

Недалеко от него стояли два молодых человека в темных одеждах, с бледными, строгими лицами,— Григорий из Назианза и Василий из Цезареи. Эллины боялись их, как самых сильных врагов; христиане надеялись, что два друга будут великими учителями церкви. Они смотрели на Юлиана.

— Что с ним сегодня? — сказал Григорий.— Разве это — монах? Какие движения! Как он закрывает глаза! Какая улыбка! Неужели ты веришь в его благочестие, Василий?

— Я видел сам: он молился в церкви, плакал...

— Лицемерие!

— Зачем же он ходит к нам, ищет нашей дружбы, толкует Писание?..

— Смеется или хочет соблазнить. Не верь ему! Это Искуситель. Помни, брат мой, Римская империя питает в сем юноше великое зло. Это — Враг!

Друзья пошли рядом, опустив глаза. Их не пленяли ни строгие девы-кариатиды Эрехтейона, ни смеющийся в лазури белый храм Никэ Аптеры, ни Пропилеи, ни Парфенон. Лица их были угрюмы. Они желали одного — разрушить все эти капища демонов.

Солнце бросало от монахов — Григория Назианзинина и Василия Цезарейского две длинные черные тени на белый мрамор.

«Я хочу ее видеть,— думал Юлиан,— я должен знать, кто она!»

XIII

— Боги для того послали смертных в мир, чтобы они говорили красиво.

— Чудесно! Чудесно сказано, Мамертин! Повтори, пока не забыл: я запишу,— просил модного афинского адвоката Мамертина друг и благоговейный поклонник его, учитель красноречия Лампридий. Он вынул двустворчатые восковые дощечки из кармана и заостренную стальную палочку, приготовляясь писать.

— Я говорю,— начал опять Мамертин, с жеманной улыбкой оглядывая собеседников, возлежавших за ужином,— я говорю: люди посланы богами.

— Нет, нет, ты не так сказал, Мамертин,— перебил его Лампридий,— ты сказал гораздо лучше: боги послали смертных.

— Ну да, я сказал: боги послали смертных в мир только для того, чтобы они красиво говорили.

— Ты теперь прибавил «только», и вышло еще лучше: — «Только для того...»

И Лампридий с благоговением записал слова адвоката, как изречение оракула.

Это был дружеский ужин, который давал недалеко от Пирея, на вилле своей молодой и богатой воспитанницы Арсинои, римский сенатор Гортензий.

Мамертин в тот самый день произнес знаменитую речь в защиту банкира Варнавы. Никто не сомневался, что жид Варнава —плут. Но, не говоря уже о красноречии адвоката, он обладал таким голосом, что одна из бесчисленных влюбленных в него поклонниц уверяла: «Я никогда не слушаю слов Мамертина; мне не нужно знать, что и о ком он говорит; я упиваюсь только звуком голоса; особенно, когда он замирает на конце слов,— что-то невероятное: не голос человека, а божественный нектар, вздохи эоловой арфы!»

Хотя простые грубые люди называли ростовщика Варнаву «кровопийцей, поедающим имения вдов и сирот», афинские судьи с восторгом оправдали мамертинова клиента. Адвокат получил от еврея пятьдесят тысяч сестерций и за маленьким праздником, который давался в честь его Гортензием, был в ударе. Но он имел привычку притворяться больным, требуя, чтобы его непрестанно лелеяли.

— Ах, я так устал сегодня, друзья мои,— проговорил он жалобным голосом.— Совсем болен. Где же Арсиноя?

— Сейчас придет. Арсиноя только что получила из музея Александрийского новый физический прибор: она им очень занята. Но я велю позвать,— предложил Гортензий.

— Нет, не надо,— проговорил адвокат небрежно.— Не надо. Но какой вздор! Молодая девушка — и физика! Что может быть общего? Еще Аристофан и Еврипид смеялись над учеными женщинами. И поделом! Прихотница — твоя Арсиноя, Гортензий! Если бы она не была так хороша, право, со своим ваянием и математикой, она казалась бы...

Он не докончил и оглянулся на открытое окно.

— Что же делать? —отвечал Гортензий.— Балованный ребенок. Сирота — ни отца, ни матери. Я ведь только опекун и не хочу стеснять ее ни в чем.

— Да, да...

Адвокат уже не слушал.

— Друзья мои, чувствую...

— Что такое? — проговорило несколько голосов озабоченно.

— Чувствую... мне кажется, сквозняк!..

— Хочешь, затворим ставни? — предложил хозяин.

— Нет, не надо. Будет душно. Но я так утомил свое горло. Послезавтра у меня опять защита. Дайте нагрудник и коврик под ноги. Я боюсь, что охрипну от ночной свежести.

Гефестион, молодой человек, тот самый, который жил с поэтом Оптатианом, ученик Лампридия и сам Лампридий бросились со всех ног, чтобы подать Мамертину нагрудник.

Это был красиво вышитый кусок пушистой белой шерсти, с которым адвокат никогда не разлучался, чтобы, при малейшей опасности простуды, обертывать им свое драгоценное горло.

Мамертин ухаживал за собою, как любовник за избалованной женщиной. Все к этому привыкли. Он любил себя так простодушно и нежно, что и других людей заставлял любить себя.

— Нагрудник этот вышивала мне матрона Фабиола,— сообщил он с улыбкой.

— Жена сенатора? — спросил Гортензий.

— Да. Я расскажу вам про нее анекдот. Однажды написал я небольшое письмецо — правда, довольно изящное, но, конечно, пустяк, пять строк по-гречески — другой даме, тоже моей поклоннице, которая прислала мне корзину

с вишнями: благодарил шутливо, подражая слогу Плиния. Представьте же себе, друзья мои: Фабиоле так захотелось поскорее прочесть мое письмо и переписать в свое собрание знаменитых писем, что она отправила двух рабов на дорогу сторожить моего посланного. И вот нападают на него ночью в диком ущелье: он думает — разбойники, но ему не делают никакого зла, дают денег, отнимают письмо,— и Фабиола прочла таки первая и даже выучила его наизусть!

— Как же, знаю, знаю! О, это — замечательная женщина,— подхватил Лампридий.— Я видел сам, все твои письма лежат у нее в резной шкатулке из лимонного дерева, как настоящие драгоценности. Она учит их наизусть и уверяет, что они лучше всяких стихов. Фабиола рассуждает справедливо: «Если Александр Великий хранил поэмы Гомера в кедровом ящике, почему же я не могу хранить писем Мамертина в лимонной шкатулке?»

— Друзья мои, эта гусиная печенка под шафранным соусом — чудо совершенства! Советую попробовать. Кто ее готовил, Гортензий?

— Старший повар, Дедал.

— Слава Дедалу! Твой повар — истинный поэт.

— Любезный Гаргилиан, можно ли назвать повара поэтом? — усомнился учитель красноречия.— Не оскорбляешь ли ты этим божественных Муз, наших покровительниц?

— Музы должны быть польщены, Лампридий. Я полагаю, что гастрономия такое же искусство, как всякое другое. Пора оставить предрассудки!

Гаргилиан, римский чиновник из канцелярии префекта, был тучный, упитанный человек, с тройным кадыком, тщательно выбритым и надушенным, с коротко остриженными седыми волосами, сквозь которые просвечивали багровые складки жира, с умным лицом. Он считался уже много лет необходимым участником всех изящных собраний в Афинах. Гаргилиан любил в жизни только две вещи: хороший стол и хороший стиль. Гастрономия и поэзия сливались для него в одно наслаждение.

— Положим, я беру устрицу,— говорил он, поднося ко рту раковину своими жирными пальцами, покрытыми громадными аметистами и рубинами.

— Я беру устрицу и глотаю...

Он проглотил, зажмурив глаза, и слегка причмокнул верхней губой; у губы этой было особенное, лакомое выражение: выдающаяся вперед, заостренная, изогнутая, казалась она чем-то вроде маленького хоботка; оценивая звучный стих Анакреона или Мосха, шевелил он ею так же

сладострастно, как за ужином, когда наслаждался соусом из соловьиных язычков.

— Глотаю и сейчас же чувствую,— продолжал Гаргилиан, не торопясь, глубокомысленно,— чувствую, устрица с берегов Британии, да, а отнюдь, друзья мои, не остийская и не тарентская. Хотите, я закрою глаза и сразу отличу, из какого именно моря устрица или рыба?

— При чем же тут поэзия? — несколько нетерпеливо перебил его Мамертин, которому не нравилось, когда в его присутствии слушали другого.

— Представьте же себе, друзья мои,— продолжал гастроном невозмутимо,— что я давно уже не был на берегу океана и люблю его, и скучаю по нем. Могу вас уверить, у хорошей устрицы есть такой соленый, свежий запах моря, что достаточно проглотить ее, чтобы вообразить себя на берегу океана; закрываю глаза и вижу волны, вижу скалы, чувствую веяние моря «туманного», по выражению Гомера. Нет, вы только скажите мне по совести, ну, какой стих из «Одиссеи» пробудит во мне с такою ясностью воспоминание о море, как запах свежей устрицы? Или, положим, разрезаю персик, пробую благовонный сок. Отчего, скажите мне, запах фиалки и розы лучше вкуса персика? Поэты описывают формы, цвета, звуки. Почему вкус не может быть так же прекрасен, как цвет, звук или форма? Предрассудок, друзья мои, предрассудок! Вкус — величайший и еще не понятый дар богов. Соединение вкусов образует высокую и утонченную гармонию, как соединение звуков. Я утверждаю, что есть десятая Муза — Муза Гастрономии.

— Ну, персики, устрицы, куда ни шло,— возразил учитель красноречия.— Но какая может быть красота в гусиной печенке под шафранным соусом?

— А для тебя ведь есть красота, Лампридий, не только в идиллиях Феокрита, но и в комедиях Плавта, в самых грубых площадных шутках его рабов?

— Есть, пожалуй.

— Видишь, друг мой; ну, а для меня есть красота и в гусиной печенке: воистину, готов я венчать за нее повара Дедала лавровым венком так же, как Пиндара за олимпийскую оду!

В дверях появились два новых гостя: то был Юлиан и стихотворец Публий. Гортензий уступил Юлиану почетное место. Голодные глаза Публия загорелись при виде множества лакомых блюд. Поэт был в новой хламиде, которая приходилась ему впору. Должно быть, откупщица умерла и он получил деньги за эпитафию.

Беседа продолжалась.

Теперь учитель красноречия, Лампридий, рассказывал, как из любопытства зашел он однажды в Риме послушать христианского проповедника, говорившего «против языческих грамматиков». Грамматики,— уверял христианин,— почитают людей не за добродетель, а за хороший слог. Они думают, что менее преступно убить человека, чем произнести слово homo с неверным придыханием. Лампридий возмущался этими насмешками: он утверждал, что христианские проповедники так ненавидят хороший слог риторов, потому что знают, что у них самих слог варварский; они губят древнее красноречие,— смешивают невежество с добродетелью; для них подозрителен всякий, кто умеет говорить. По мнению Лампридия, в тот день, когда погибнет красноречие,— погибнет Эллада и Рим, люди превратятся в бессловесных животных. И христианские проповедники делают все, чтобы довести людей до такого бедствия.

— Кто знает? — заметил Мамертин в раздумьи.— Может быть, хороший слог важнее добродетели. Добродетельны бывают и рабы, и варвары.

Гефестион объяснял соседу своему, Юнию Маврику, что именно значит совет Цицерона: causam mendaciunculis adsperger.

— Mendaciunculis значит «маленькие лжи». Цицерон позволяет и даже советует усеивать речь выдумками, mendaciunculis. Он допускает ложь, если она украшает слог.

Тогда начался спор о том, как следует оратору начинать свою речь, с анапеста или с дактиля.

Юлиану было скучно.

Все обратились к нему, спрашивая его мнения относительно дактилей и анапестов.

Он откровенно признался, что об этом никогда не думал и полагает, что оратору следует более заботиться о содержании речи, чем о таких мелочах.

Мамертин, Лампридий, Гефестион вознегодовали: по их мнению, содержание речи безразлично; оратору должно быть все равно, говорить за или против; не только смысл имеет мало значения, но даже сочетание слов — второстепенное дело, главное — звуки, музыка речи, новые сладкогласные сочетания букв; надо, чтобы и варвар, который ни слова не понимает по-гречески, чувствовал прелесть речи.

— Вот два стиха Проперция,— сказал Гаргилиан,— вы увидите, что значат звуки в поэзии и как ничтожен смысл. Слушайте:

Et Veneris dominae volucres, mea turba, columbae
Tinguunt Gorgoneo punica rostra lacu[1].

Какое очарование! Какое пение! Что мне за дело до смысла? Вся красота — в звуках, в подборе гласных и согласных. За эти звуки я отдал бы добродетель Ювенала, мудрость Лукреция. Нет, вы только обратите внимание, какая сладость, какое журчание:

Et Veneris dominae volucres, mea turba, columbae!

И он причмокнул верхней губой от удовольствия.

Все повторяли два стиха Проперция, не могли насытиться их прелестью. Глаза у них загорелись. Они друг друга возбуждали к словесной оргии.

— Вы только послушайте,— шептал Мамертин своим мягким, замирающим голосом, похожим на Эолову арфу: Tinguunt Gorgoneo.

— Tinguunt Gorgoneo! — повторял чиновник префекта.— Клянусь Палладой, самому небу приятно: точно глотаешь струю густого, теплого вина, смешанного с аттическим медом:

Tinguunt Gorgoneo —

— Заметьте, сколько подряд букв g,— это воркование горлицы. И дальше:

punica rostra lacu —

— Удивительно, неподражаемо! — шептал Лампридий, закрывая глаза от наслаждения.

Юлиану было совестно и вместе с тем забавно смотреть на это сладострастное опьянение звуками.

— Надо, чтобы слова были слегка бессмысленны,— заключил Лампридий с важностью,— чтобы они текли, журчали, пели, не задевая ни слуха, ни сердца,— тогда только возможно полное наслаждение звуками.

В дверях, на которые все время смотрел Юлиан, словно ожидая кого-то,— неслышно, никем не замеченный, появился, как тень, белый и стройный человеческий облик.

Ставни были широко открыты; в комнату падал чистый лунный свет и смешивался с красным отблеском светильников на мозаике пола, блестевшего, как зеркало, на стенах с живописью, изображавшей сонного Эндимиона под лаской Луны.

Белое видение не двигалось, как изваяние; древнеафин-

[1] И Венеры-владычицы голуби, милая стая,
Мочат в Горгонском ключе тут же свой пурпурный клюв.
Проперций. Элегии, 3-я кн., 3-я элегия.
Перевод с лат. А. А. Фета.

ский пеплум из мягкой серебристой шерсти падал длинными прямыми складками, удержанный под грудью тонким поясом; лунный свет озарял пеплум; лицо оставалось в полумраке. Вошедшая смотрела на Юлиана; Юлиан смотрел на нее. Они улыбались друг другу, зная, что эта улыбка не замечена никем. Она положила палец на губы и прислушивалась к тому, что говорили за столом.

Вдруг Мамертин, который оживленно рассуждал с Лампридием о грамматических отличиях первого и второго аориста, воскликнул:

— Арсиноя! Наконец-то! Ты решилась для нас покинуть физический прибор и статуи?

Она вошла и с простою улыбкой приветствовала всех. Это была та самая метательница диска, которую, месяц назад, Юлиан видел в покинутой палестре. Стихотворец Публий Оптатиан, знавший все и всех в Афинах, познакомился с Гортензием и Арсиноей и ввел Юлиана в их дом.

Отец Арсинои, старый римский сенатор Гельвидий Приск умер в последние годы царствования Константина Великого. Двух дочерей от одной германской пленницы, Арсиною и Мирру, Гельвидий, умирая, оставил на попечение старому другу Квинту Гортензию, уважаемому им за любовь к древнему Риму и ненависть к христианству. Дальний родственник Арсинои, обладатель огромных заводов пурпура в Сидоне, завещал ей несметные богатства.

Ее окружала толпа поклонников. По тому, как она одевалась, причесывалась, держала себя с безукоризненной простотой, можно было принять ее за настоящую гречанку, каких оставалось уже немного. Но в неправильных чертах ее лица видна была новая северная кровь.

Одно время Арсиноя увлекалась науками, работала в Александрийском музее у знаменитых ученых; ее пленяла физика Эпикура, Демокрита, Лукреция; ей нравилось это учение, освобождавшее душу «от страха богов». Потом с такой же почти болезненной и торопливой страстностью отдалась она ваянию. В Афины приехала, чтобы изучать лучшие древние образцы Фидия, Скопаса и Праксителя.

— А вы все о грамматике? — с усмешкой обратилась дочь Гельвидия Приска к собеседникам, входя в залу.— Не стесняйтесь, продолжайте. Я не буду спорить — хочу есть. Целый день работала. Мальчик, налей вина!

— Друзья мои,— продолжала Арсиноя,— вы несчастные люди со всеми вашими цитатами Демосфена, правилами Квинтиллиана. Берегитесь: красноречие погубит вас. Хотелось бы мне увидеть, наконец, человека, которому де-

ла нет до Гомера и Цицерона, который говорит, не думая о придыханиях и аористах. Юлиан, пойдем после ужина к морю: я сегодня не могу слушать споров о дактилях и анапестах...

— Ты угадала мою мысль, Арсиноя,— пробормотал Гаргилиан, злоупотребивший гусиной печенкой под шафранным соусом: почти всегда к самому концу ужина вместе с тяжестью в желудке чувствовал он возмущение против словесности.

— *Literrarum intemperantia laboramus,* как выразился учитель Нерона, хитрый Сенека. Да, да, вот наше горе! *Мы страдаем от словесной невоздержанности.* Мы сами себя отравляем...

И впадая в задумчивость, он вынул зубочистку мастикового дерева. На жирном умном лице его выражались отвращение и скука.

XIV

Юлиан и Арсиноя спустились по кипарисовой аллее к морю. Серебряный лунный путь уходил до края неба. Слышался прибой о меловые глыбы прибрежья. Здесь была полукруглая скамья. Над нею Артемида-Охотница, в короткой тунике, с полумесяцем в кудрях, с луком и колчаном, с двумя остромордыми псами, казалась живой в лунном сиянии. Они сели.

Она указала ему на холм Акрополя, с едва белевшими столбами Парфенона, и возобновила разговор, который уже не раз бывал у них прежде:

— Посмотри, как хорошо! И ты хотел бы все это разрушить, Юлиан?

Не отвечая, он потупил взор.

— Я много думала о том, что ты мне говорил в прошлый раз,— о нашем смирении,— продолжала Арсиноя тихо, как будто про себя.— Был ли Александр, сын Филиппов, смиренным? А разве в нем нет добродетели?

Юлиан молчал.

— А Брут, Брут, убийца Юлия Цезаря? Если бы Брут подставлял левую щеку, когда его ударяли по правой,— думаешь ли ты, он был бы прекраснее? Или считаете вы Брута злодеем, галилеяне? — Отчего мне кажется порою, что ты лицемеришь, Юлиан, что эта темная одежда не пристала тебе?..

Она вдруг обернула к нему свое лицо, озаренное луною, и посмотрела ему прямо в глаза пристальным взором.

— Чего ты хочешь, Арсиноя? — произнес он, бледнея.

— Хочу, чтобы ты был моим врагом! — воскликнула девушка страстно.— Ты не можешь так пройти, не сказав, кто ты. Знаешь, я иногда думаю: уж пусть бы лучше Афины и Рим лежали в развалинах; лучше сжечь труп, чем оставить непогребенным. А все эти друзья наши, грамматики, риторы, стихотворцы, сочинители панегириков императорам — тлеющий труп Эллады и Рима. Страшно с ними, как с мертвыми. О да, вы можете торжествовать, галилеяне! Скоро на земле ничего не останется, кроме мертвых костей и развалин. И ты, Юлиан... Нет, нет! Не может быть. Я не верю, что ты с ними — против меня, против Эллады!..

Юлиан стоял перед нею, бледный и безмолвный. Он хотел уйти. Она схватила его за руку:

— Скажи, скажи, что ты мне враг! — проговорила она с вызовом и отчаянием в голосе.

— Арсиноя! Зачем?..

— Говори все! Я хочу знать. Разве ты не чувствуешь, как мы близки? Или ты боишься?..

— Через два дня я уезжаю из Афин,— прошептал Юлиан.— Прости...

— Из Афин? Зачем? Куда?

— Письмо от Констанция. Император вызывает меня ко двору, может быть, на смерть. Мне кажется, я вижу тебя в последний раз.

— Юлиан, ты не веришь в Него? — воскликнула Арсиноя, стараясь уловить взор монаха.

— Тише, тише! Что ты?..

Он встал со скамьи, отошел, ступая чуть слышно, оглянулся во все стороны, на дорожку, залитую лунным светом, на черные тени кустов, даже на море, как будто везде могли скрываться доносчики. Потом вернулся и присел, все еще не успокоенный. Опираясь рукой на мрамор, наклонился к самому уху ее, так что она почувствовала его горячее дыхание, и зашептал быстрым шепотом, как в бреду:

— Да, да, еще бы я верил в Него!.. Слушай, девушка, я говорю теперь то, чего и сам не смел сказать себе никогда. Я ненавижу Галилеянина! Но я лгал с тех пор, как помню себя. Ложь проникла в душу мою, прилипла к ней, как эта черная одежда к телу моему: помнишь,— отравленная одежда кентавра Нисса. Геракл срывал ее с кусками кожи и тела, но не сорвал и задохся. Так и я задохнусь во лжи галилейской!..

Он выговаривал каждое слово с усилием. Арсиноя взглянула на него: лицо, искаженное страданием и ненавистью, показалось ей чуждым, почти страшным.

— Успокойся, друг,— молвила она.— Скажи мне все: я пойму тебя, как никто из людей.

— Хочу сказать и не умею,— усмехнулся он злобно.— Слишком долго молчал. Видишь ли, Арсиноя, кто раз попался им в лапы — кончено! — так изуродуют смиренномудрые, так приучат лгать и пресмыкаться, что уже не выпрямиться, не поднять ему головы никогда!..

Кровь бросилась в лицо его; на лбу выступили жилы; и, стиснув зубы в бессильной ярости, он прошептал:

— Подлость, подлость, воистину галилейская подлость — ненавидеть врага своего, как я ненавижу Констанция,— и прощать, пресмыкаться у ног его по змеиному, по смиренному христианскому обычаю, выпрашивая милости: «еще годок, только один годок жизни худоумному рабу твоему, монаху Юлиану; потом — как тебе и скопцам, твоим советникам, угодно будет, боголюбивейший!» О, подлость!..

— Нет, Юлиан,— воскликнула Арсиноя,— если так,— ты победишь! — Ложь — сила твоя. Помнишь, в басне Эзопа, осел в львиной шкуре? Здесь, наоборот, лев в шкуре осла, герой в одежде монаха!..

Она засмеялась:

— И как они испугаются, глупые, когда ты вдруг покажешь им свои львиные когти. Вот будет смех и ужас!.. Скажи, ты хочешь власти, Юлиан?

— Власти,— он всплеснул руками, упиваясь звуком этого слова, полной грудью вдыхая воздух:

— Власти! О, если бы один год, несколько месяцев, несколько дней власти,— научил бы я смиренных, ползучих и ядовитых тварей, имснующих себя христианами, что значит мудрое слово их собственного Учителя: кесарево — кесарю. Да, клянусь богом Солнца, воздали бы они у меня кесарево кесарю!

Он поднял голову; глаза сверкнули злобою; лицо озарилось, точно помолодело. Арсиноя смотрела на него с улыбкой.

Но скоро голова Юлиана снова поникла. Пугливо озираясь, опустился он на скамью; невольным движением сложил руки крестообразно на груди, по обычаю монахов, и прошептал:

— Зачем обманывать себя? Никогда этого не будет. Я погибну. Злоба задушит меня. Слушай: каждую ночь, после дня, проведенного на коленях в церкви, над гробами галилейских мертвецов, я возвращаюсь домой, разбитый, усталый, бросаюсь на постель, лицом в изголовье и рыдаю.

рыдаю и грызу его, чтобы не кричать от боли и ярости. О, ты не знаешь еще, Арсиноя, ужаса и смрада галилейского, в которых, вот уже двадцать лет, как я умираю и все не могу умереть, потому что, видишь ли, мы, христиане, живучи как змеи: рассекут надвое — срастаемся! Прежде я искал утешения в добродетели теургов и мудрецов. Тщетно! Не добродетелен я и не мудр. Я — зол и хотел бы быть еще злее, быть сильным и страшным, как дьявол, единственный брат мой! — Но зачем, зачем я не могу забыть, что есть иное, что есть красота, зачем я увидел тебя!..

Внезапным движением, закинув прекрасные голые руки свои, Арсиноя обвила его шею, привлекла к себе так сильно, так близко, что он почувствовал сквозь одежды невинную свежесть тела ее, и прошептала:

— А что, если я пришла к тебе, юноша, как вещая сивилла, чтобы напророчить славу? Ты один живой среди мертвых. Ты силен. Какое мне дело, что у тебя не белые, лебединые, а страшные, черные крылья,— кривые, злые когти, как у хищных птиц? Я люблю всех отверженных, слышишь, Юлиан, я люблю одиноких и гордых орлов больше, чем белых лебедей. Только будь еще сильнее, еще злей! Смей быть злым до конца. Лги, не стыдись: лучше лгать, чем смириться. Не бойся ненависти: это буйная сила крыльев твоих. Хочешь, заключим союз: ты дашь мне силу, я дам тебе красоту? Хочешь, Юлиан?..

Сквозь легкие складки древнего пеплума, теперь снова, как некогда в палестре, видел он стройные очертания голого тела Артемиды-Охотницы, и ему казалось, что все оно просвечивает, нежное и золотистое, сквозь воздушную ткань.

Голова его закружилась. В лунном сумраке, окутавшем их, он заметил, что к его губам приближаются дерзкие, смеющиеся губы.

В последний раз подумал:

— Надо уйти. Она не любит меня и никогда не полюбит, хочет только власти. Это обман...

Но тотчас же прибавил с бессильной улыбкой:

— Пусть, пусть обман!

И холод слишком чистого, неутоляющего поцелуя проник до глубины его сердца, как холод смерти.

Ему казалось, что сама девственная Артемида, в прозрачном сумраке месяца, спустилась и лобзает его обманчивым лобзанием, подобным холодному свету луны. . . .

. . . .

. . . .

На следующее утро оба друга — Василий из Назианза, Григорий из Цезареи — встретили Юлиана в одной афинской базилике.

Он стоял на коленях перед иконой и молился. Друзья смотрели с удивлением: никогда еще не видели они в чертах его такого смирения, такой ясности.

— Брат,— шепнул Василий на ухо другу,— мы согрешили: осудили в сердце своем праведного.

Григорий покачал головой.

— Да простит мне Господь, если я ошибся,— произнес он медленно, не спуская пытливого взора с Юлиана,— вспомни только, брат Василий, сколь часто в образе светлейших ангелов являлся людям сам сатана, отец лжи.

XV

На подставки лампады, имевшей форму дельфина, положены были щипцы для подвивания волос. Пламя казалось бледным, потому что утренние лучи, ударявшие прямо в занавески, наполняли уборную густым, багрово-фиолетовым отблеском. Шелк занавесок был окрашен самым дорогим из всех родов пурпура — гиацинтовым, тирским, трижды крашенным.

— Ипостаси? Что такое божественные Ипостаси Троицы,— этого постигнуть не может никто из человеков. Я сегодня всю ночь не спал и думал, ибо имею к тому превеликую страсть. Но ничего не придумал, только голова заболела. Отрок, дай сюда утиральник и мыло.

Это говорил человек важного вида, с митрой на голове, похожий на верховного жреца или азиатского владыку,— старший брадобрей священной особы императора Констанция. Бритва в искусных руках его летала с волшебною легкостью. Цирюльник как будто совершал таинственный обряд.

По обеим сторонам, кроме Евсевия, сановника августейшей опочивальни, самого могущественного человека в империи, кроме бесчисленных постельников — кубикулариев, с различными сосудами, притираниями, полотенцами и умывальниками, стояли два отрока-веероносца; во все время таинства брадобрития обвевали они императора широкими тонкими опахалами в виде серебряных шестикрылых серафимов, сделанных наподобие тех рипид, коими дьяконы отгоняют мух от Св. Даров во время литургии.

Цирюльник только что окончил правую щеку императора и принимался за левую, намылив ее тщательно мылом с аравийскими духами, называвшимися Афродитовой пе-

ной. Он шептал, наклоняясь к самому уху Констанция, так, чтобы никто не мог слышать:

— О, боголюбивейший государь, твой всеобъемлющий ум один только может решить, что такое три Ипостаси — Отца, Сына и Духа Святого. Не слушай епископов. Не как им, а как тебе угодно! Афанасия, патриарха александрийского, должно казнить, как строптивого и богохульного мятежника. Сам Бог и создатель наш откроет твоей святыне, во что и как именно должно веровать рабам твоим. По моему мнению, Арий верно утверждает, что было время, когда Сына не было. Также и об Единосущии...

Но тут Констанций заглянул в огромное зеркало из отполированного серебра и, ощупав рукою только что выбритую шелковистую поверхность правой щеки, перебил цирюльника.

— Как будто бы не совсем гладко? А? Можно бы еще раз пройтись? Что ты там говорил об Единосущии?

Цирюльник, получивший талант золота от придворных епископов Урзакия и Валента за то, чтобы подготовить кесаря к новому исповеданию веры, быстро и вкрадчиво зашептал на ухо Констанция, водя бритвой, как будто лаская.

В эту минуту к императору подошел нотарий Павел, по прозванию Катена, то есть Цепь: называли его Цепью за то, что страшные доносы, как неразрывные звенья, опутывали избранную жертву. Лицо у Павла было женоподобное, безбородое, нежное; судя по наружности, можно было предположить в нем ангельскую кротость; глаза тусклые, черные, с поволокой; поступь неслышная, с кошачьей прелестью в мягких движениях. На верхнем плаще через плечо нотария была перекинута широкая темно-синяя лента, или перевязь,— особый знак императорской милости.

Павел Катена мягким, властным движением отстранил брадобрея и, наклонившись к уху Констанция, шепнул:

— Письмо Юлиана. Перехватил сегодня ночью. Угодно распечатать?

Констанций с жадностью вырвал письмо из рук Павла, открыл и стал читать. Но разочаровался.

— Пустяки,— проговорил он,— упражнение в красноречии. Посылает в подарок сто винных ягод ученому софисту, пишет похвалу винным ягодам и числу сто.

— Это хитрость,— заметил Катена.

— Неужели,— спросил Констанций,— неужели никаких доказательств?

— Никаких.

— Или он очень искусен, или же...

— Что хотела сказать твоя вечность?

— Или невинен.

— Как тебе будет угодно,— прошептал Павел.

— Как мне угодно? Я хочу быть справедливым, только справедливым, разве ты не знаешь?.. Мне нужны доказательства.

— Подожди, будут.

Появился другой доносчик, молодой перс, по имени Меркурий, по должности придворный стольник, почти мальчик, желтолицый, черноглазый. Его боялись не менее, чем Павла Катены, и шутя называли «сановником сонных видений»: если пророческий сон мог иметь дурное значение для священной особы кесаря, Меркурий, подслушав его, спешил донести. Уже многие поплатились за то, что имели неосторожность видеть во сне, чего не следовало видеть. Придворные стали уверять, что они страдают неизлечимой бессонницей, и завидовали жителям сказочной Атлантиды, которые спят, по уверению Платона, не видя снов.

Перс, отстранив двух эфиопских скопцов, завязывавших шнурки на вышитых золотыми орлами башмаках императора из ярко-зеленой кожи — цвет, присвоенный только августейшей обуви,— обнимал ноги повелителя, целовал их и смотрел в глаза, как собака, ласкаясь и виляя хвостом, смотрит в глаза господину.

— Да простит мне твоя вечность! — шептал маленький Меркурий с детской и простодушной преданностью.— Я не мог утерпеть, скорее прибежал к тебе; Гауденций видел нехороший сон. Ты представился ему в разорванной одежде, в венке из пустых колосьев, обращенных долу.

— Что это значит?

— Пустые колосья предвещают голод, а разорванный пурпур... я не смею...

— Болезнь?

— Может быть, хуже. Жена Гауденция призналась мне, что он совещался с гадателями: Бог знает, что они сказали ему...

— Хорошо, потом поговорим. Приходи вечером.

— Нет, сейчас! Дозволь пытку, легкую, без огня. Еще дело о скатертях...

— О каких скатертях?

— Разве забыл? На одном пиру в Аквитании стол накрыт был двумя скатертями, окаймленными пурпуром так широко, что они образовали как бы царскую хламиду.

— Шире двух пальцев? Я по закону допустил каймы в два пальца!

— О, гораздо шире! Настоящая, говорю, императорская хламида. Подумай, на скатерти такое святотатственное украшение!..

Меркурий не успевал высказать всех накопившихся доносов:

— В Дафне родился урод,— бормотал он, спеша и запинаясь.— Четыре уха, четыре глаза, два клыка, весь в шерсти; прорицатели говорят, дурной знак — к разделению священной империи.

— Посмотрим. Напиши все, по порядку, и представь.

Император кончал утренний наряд. Он глянул еще раз в зеркало и тонкой кисточкой захватил немного румян из серебряного ковчежца филигранной работы, подобия маленькой раки для мощей, с крестиком на крышке: Констанций был набожен; бесчисленные финифтяные крестики и начальные буквы имени Христова виднелись во всех углах, на всех безделушках; особый род драгоценнейших румян, называвшихся «пурпуриссима», приготовляли из розовой пены, которую снимали с кипящего в котлах сока пурпурных раковин; кисточкой с этими румянами Констанций искусно провел по своим смуглым и сухим щекам. Из комнаты, называемой «порфирия», где, в особом пятибашенном шкафу, «пентапиргионе», хранились царские одежды, евнухи вынесли императорскую далматику, жесткую, почти не гнущуюся, тяжелую от драгоценных камней и золота, с вытканными по аметистовому пурпуру крылатыми львами и змеями.

В тот день в главной зале медиоланского дворца должен был происходить церковный собор.

Туда направился император по сквозному мраморному ходу. Дворцовые стражи — палатины стояли в два ряда, немые, как изваяния, с поднятыми копьями в четырнадцать локтей длины. Предносимая Сановником Августейших Щедрот — Comes Sacrarum Largitionum — золототканая Константинова хоругвь — Лабарум, с монограммой Христа, блистала и шелестела. Стражи — безмолвники, silentiarii, бежали впереди и мановением рук призывали всех к благоговейной тишине.

В галерее император встретился со своей супругой Евсевией Аврелией. Это была женщина уже не молодая, с бледным и усталым лицом, с тонкими и благородными чертами; иногда злая насмешка вспыхивала в ее проницательных глазах.

Императрица, сложив руки на омофоре, усыпанном рубинами и сапфирами, ограненными наподобие сердец,

склонила голову и произнесла обычное утреннее приветствие:

— Я пришла насладиться твоим лицезрением, боголюбезнейший супруг мой. Как изволила почивать твоя святость?

Потом, по ее знаку, поддерживавшие ее под руки две придворные матроны, Ефросиния и Феофания, немного отошли, и она тихо сказала супругу:

— Сегодня должен представиться тебе Юлиан. Будь с ним милостив. Не верь доносчикам. Это несчастный и невинный отрок. Господь тебя наградит, если ты помилуешь его, государь!

— Ты просишь за него?

Жена и муж обменялись быстрыми взглядами.

— Я знаю,— молвила она,— ты веришь мне всегда: поверь и на этот раз. Юлиан — твой верный раб. Не откажи, будь с ним ласков...

И она подарила мужа одной из тех улыбок, которые все еще сохраняли власть над сердцем его.

В портике, отделенном от главной залы ковровой завесой, за которой император любил подслушивать то, что происходило на соборе, подошел к нему монах с крестообразным гуменцом на голове, в тунике с куколем, из грубой темной ткани. То был Юлиан.

Он склонил колени перед Констанцием, сотворил земное метание и, поцеловав край императорской далматики, сказал:

— Приветствую благодетеля моего, победоносного, великого, вечного кесаря августа Констанция. Да помилует меня твоя святость!

— Мы рады тебя видеть, сын наш.

Двоюродный брат Юлиана милостиво приблизил свою руку к самым губам его. Юлиан прикоснулся к этой руке, на которой была кровь его отца, брата — всех родных.

Монах встал, бледный, с горящими глазами, устремленными на врага. Он сжимал рукоять кинжала, скрытого под складками одежды.

Маленькие свинцово-серые глазки Констанция светились тщеславием, и только изредка хитрая осторожность вспыхивала в них. Он был невысокого роста, головой ниже Юлиана, широкоплеч, по-видимому, силен и крепок, но с ногами уродливо выгнутыми, как у старых наездников; смуглая кожа на гладких висках и скулах неприятно лоснилась; тонкие губы были строго сжаты, как у людей, любя-

щих, больше всего в жизни, порядок и точность: такое выражение бывает у старых школьных учителей.

Юлиану все это казалось ненавистным. Он чувствовал, как слепое живстное бешенство овладевает им; не в силах произнести слова, потупил глаза и тяжело дышал.

Констанций усмехнулся, подумав, что юноша не вынес царственного взора его — смущен неземным величием римского кесаря. Он произнес напыщенно и милостиво:

— Не бойся, отрок! Иди с миром. Наше добротолюбие не причинит тебе зла и впредь не покинет твоего сиротства благодеяниями.

Юлиан вошел в залу церковного собора, а император стал около самого ковра, приложил к нему ухо и с хитрой усмешкой начал прислушиваться.

Он узнал голос главного начальника государственной почты, Гауденция, того самого, который видел дурной сон:

— Собор за собором! — жаловался Гауденций какому-то вельможе.—То в Сирмии, то в Сардике, то в Антиохии, то в Константинополе. Спорят и не могут согласиться об Единосущии. Но надо же и почтовых лошадей пожалеть! Епископы скачут, сломя голову, с казенными подорожными. То вперед, то назад, то с Востока, то с Запада. А за ними целые тучи пресвитеров, дьяконов, церковных служителей, писцов. Разорение! На десять почтовых кляч едва ли и одна найдется, не заморенная епископами. Еще пять соборов,— и все мои лошади поколеют, а от государственных подвод колеса отвалятся. Право! И заметь, что епископы все-таки не придут к соглашению об Ипостасях и Единосущии!

— Зачем же, славнейший Гауденций, не составишь ты об этом донесения кесарю?

— Боюсь, не поверят и обвинят в безбожии, в неуважении к нуждам церкви.

В огромной круглой зале, с круглым сводом и столбами из зеленовато-жилистого фригийского мрамора, было душно. Косые лучи падали в окна, находившиеся под сводом. Шум голосов напоминал жужжание пчелиного улья.

На возвышении приготовлен был трон императора — sella aurea со львиными лапами из слоновой кости, которые перекрещивались, как на складных курульных креслах древнеримских консулов.

Около трона пресвитер Пафнутий, с простодушным лицом, разгоревшимся от спора, утверждал:

— Я, Пафнутий, как приял от отцов, так и содержу в мыслях! По символу, иже во святых отца нашего Афанасия, патриарха Александрийского, должно воздавать поклонение Еди́нице в Троице и Троице в Еди́нице. Отец — Бог, Сын — Бог, Дух Святой —Бог, впрочем, не три Бога, но един.

И точно сокрушая невидимого врага, со всего размаха ударил он огромным кулаком правой руки в левую ладонь и обвел всех торжествующим взглядом:

— Как приял, так и содержу в мыслях!

— А? Что? Что он такое говорит? — спрашивал Озий, столетний старец, современник великого Никейского собора.— Где мой рожок?

Беспомощное недоумение выражалось на лице его. Он был глух, почти слеп, с длинной, седой бородой. Дьякон приставил слуховой рожок к уху старика.

За стихарь Пафнутия с умоляющим видом цеплялся бледный и худенький монах-постник:

— Отче Пафнутий! — старался он перекричать его.— Что же это такое? —Из-за одного, все из-за одного слова: подобносущный, или единосущный!

И, хватаясь за одежду Пафнутия, монах рассказал ему об ужасах, которые видел в Александрии и Константинополе.

Ариане тем, кто не хочет принимать св. Тайн в еретических церквах, открывают рот деревянными снарядами, состоящими из двух соединенных палок, наподобие рогатины, и насильно вкладывают Причастие; детей пытают; женам раздавливают в тисках или выжигают раскаленным железом сосцы; в церкви св. Апостолов произошла такая драка между арианами и православными, что кровь наполнила дождевую цистерну и со ступеней паперти лилась на площадь; в Александрии правитель Себастиан избил колючими пальмовыми ветвями православных девственниц, так что многие умерли, и непогребенные, обесчещенные тела лежали перед городскими воротами.— И все это даже не из-за одного слова, а из-за одной буквы, из-за одной *иоты*, отличающей греческое слово *единосущный* — ομοουσιος от *подобносущный* — ομοιουσιος.

— Отче Пафнутий,— твердил кроткий бледный монах,— из-за одной *иоты!* И главное, в Священном-то Писании нет даже слова *узия* —сущность! Из-за чего же мы спорим и терзаем друг друга? Подумай, отче, как ужасно такое наше злонравие!..

— Так что же? — перебил его Пафнутий нетерпеливо.— Неужели примириться с окаянными богохульниками,

псами, изблевавшими из еретического сердца, что было время, когда Сына не было?

— Един Пастырь, едино стадо,— робко защищался монах.— Уступим...

Но Пафнутий не слушал его. Он кричал так, что жилы напрягались на шее и висках его, покрытых каплями пота.

— Да умолкнут богоненавистники! Да не будет, да не будет сего! Арианскую гнусную ересь анафематствую! Как приял от отцов, так и содержу в мыслях!

Столетний Озий одобрительно и беспомощно кивал седой головой.

— Что ты как будто притих, авва Дорофей? Мало сегодня споришь. Или прискучило? — спрашивал желчного, юркого старичка высокий, бледный и красивый, с волнистыми, необыкновенно длинными, черными, как смоль, волосами, пресвитер Фива.

— Охрип, брат Фива. И хочу говорить, да голоса нет. Натрудил себе горло намедни, как низлагали проклятых акакиян: второй день хриплю.

— Ты бы, отче, сырым яйцом горло пополоскал: весьма облегчает.

В другом конце залы спорил Аэтий, дьякон Антиохийский, самый крайний из учеников Ария; его называли безбожным,— афеем, за кощунственное учение о Св. Троице. Лицо у него было веселое и насмешливое. Жизнь Аэтия отличалась разнообразием: он был поочередно рабом, медником, поденщиком, ритором, лекарем, учеником александрийских философов и, наконец, дьяконом.

— Бог Отец по сущности чужд Богу Сыну — проповедовал Аэтий, наслаждаясь ужасом слушателей.— Есть Троица. Но Ипостаси различествуют в славе. Бог неизречен для Сына, потому что несказанно то, что Он есть сам в Себе. Даже Сын не знает сущности Своей, ибо имеющему начало невозможно представить или объять умом Безначального.

— Не богохульствуй! — в негодовании воскликнул Феона, епископ Мармарикский.— Доколе же прострется, братья мои, сатанинская дерзость еретиков?

— Сладкоречием своим,— добавил наставительно Софроний, епископ Помпеополиса,— не вводи в заблуждение простодушных.

— Укажите мне на какие-нибудь философские доводы — и я соглашусь. Но крики и ругательства доказывают только бессилие,— возразил Аэтий спокойно.

— В Писании сказано...— Начал было Софроний.

— Какое мне дело до Писания? Бог дал разум людям, чтобы познавать Его. Я верю в диалектику, а не в букву Писания. Рассуждайте со мной, придерживаясь категорий и силлогизмов Аристотеля.

И с презрительной улыбкой завернулся он в свой дьяконский стихарь, как Диоген в цинический плащ.

Некоторые епископы уже начали приходить к общему исповеданию, друг другу уступая, как вдруг вмешался в разговор их арианин, Нарцисс из Нерониады, знаток всех соборных постановлений, символов и канонов, человек, которого не любили, обвиняли в прелюбодеянии, лихоимстве, но все-таки уважали за ученость.

— Ересь! — объявил он епископам кратко и невозмутимо.

— Как ересь? Почему ересь? — произнесло несколько голосов.

— Объявлено сие ересью еще на соборе в Ганграх Пафлагонских.

У Нарцисса были маленькие косые глаза, сверкавшие злобным блеском, такая же злобная и кривая улыбка на тонких губах; волосы, с проседью, жесткие, как щетина; казалось, все черты лица его перекосились от злобы.

— В Ганграх Пафлагонских! — повторили епископы в отчаянии. — А мы и забыли об этом соборе... Что же делать, братья?

Нарцисс, обводя всех косыми глазами, торжествовал.

— Господи, помилуй нас, грешных! — восклицал добрый и простодушный епископ Евзой. — Ничего не разумею. Запутался. Голова кругом идет: ομοουσιος, ομοιουσιος, единосущный, неединосущный, подобья, Ипостаси — в ушах звенит от греческих слов. Хожу как в тумане и сам не знаю, во что верю, во что не верю, где ересь, где не ересь. Господи Иисусе Христе, помоги нам! Погибаем в сетях дьявольских!

В это мгновение шум и крики умолкли. На амвон взошел один из придворных любимцев императора, епископ Урзакий Сингидонский; в руках держал он длинную пергаментную хартию. Два скорописца перед раскрытыми книгами приготовились записывать прения собора, очинив тонкие перья из египетского тростника — каламуса. Урзакий читал повеление императора, обращенное к епископам:

«Констанций Победитель Триумфатор, досточтимый и вечный Август — всем собравшимся в Медиолане епископам».

Он требовал от собора низложения Афанасия, патриарха Александрийского, в грубых и непристойных словах; называл всеми чтимого, святого старца «негоднейшим из людей, изменником, сообщником буйного и гнусного Максенция».

Придворные льстецы — Валент, Евсевий, Аксентий стали подписывать хартию. Но в толпе послышался ропот:

— Окаянная прелесть, велемудрые ухищрения арианских христоборцев! Не дадим патриарха в обиду!

— Кесарь называет себя вечным. Никто не вечен кроме Бога. Кощунство!

Последние слова явственно услышал Констанций, стоявший за ковром.

Вдруг отдернул он завесу и вступил в залу собора. Копьеносцы окружали его. Лицо императора было гневно. Наступило молчание.

— Что это? Что это? — повторял слепой старец Озий; на лице его были недоумение и тревога.

— Отцы! — начал император, сдерживая гнев.— Позвольте мне, служителю Всеблагого, довести, под Промыслом Его, ревность мою до конца. Афанасий, мятежник, первый нарушитель вселенского мира...

Опять послышался ропот в толпе.

Констанций умолк и с удивлением обвел глазами епископов. Чей-то голос произнес:

— Гнусную арианскую ересь анафематствуем!

— Вера, на которую восстаете вы,— возразил император,— наша вера. Если она еретическая,— почему же Господь Вседержитель даровал нам победу над всеми нашими супостатами — Констаном, Ветранионом, Галлом, буйным и гнусным Максенцием? Почему сам Бог вложил в нашу священную десницу державу мира?

Отцы безмолвствовали. Тогда придворный льстец, Валент, епископ Мурзийский, наклонился с подобострастным смирением:

— Бог откроет истину мудрости твоей, боголюбезнейший владыка! То, во что ты веруешь, не может быть ересью. Недаром Кирилл Иерусалимский видел чудотворное знамение на небе в день твоей победы над Максенцием,— крест, окруженный радугой.

— Я так хочу! — прервал его Констанций, подымаясь.— Афанасий будет низложен властью, данной нам от Бога. Молитесь, дабы прекратились наконец всякие распри и словопрения, уничтожена была злоименная и человеко-

убийственная ересь сабеллиан, приверженцев негоднейшего Афанасия, воссияла же в сердцах у всех истина...

Вдруг лицо его побледнело; слова замерли на губах.

— Что это? Как пустили?..

Констанций указывал на высокого старика, с лицом суровым и величественным: то был гонимый и низложенный за веру Пиктавийский епископ Иларий, один из злейших врагов императора-арианина. Он самовольно пришел на собор, может быть, думая найти мученическую смерть.

Старик поднял руку к небу, как будто призывая проклятие на голову императора, и громкий голос его раздался в тишине собора:

— Братья, се грядет Христос, ибо Антихрист уже победил. Антихрист-Констанций! Не по хребту ударяет нас, а ласкает по чреву; не в темницы бросает, а прельщает в царских чертогах. Кесарь, слушай: говорю тебе то, что сказал бы Нерону, Декию, Максимиану, явным гонителям церкви: ты — убийца не человеков, а самой Любви Божественной! Нерон, Декий, Максимиан более служили Богу, чем ты: при них мы побеждали дьявола; при них лилась кровь мучеников, очистившая землю, и мертвые кости творили чудеса. А ты, свирепейший, убиваешь, но не даешь нам славы смерти! Господи, пошли нам явного мучителя, нелицемерного врага, подобного Нерону и Декию, дабы благодатное и страшное орудие гнева Твоего воскресило церковь, растленную лобзаниями Иуды-Констанция!..

Император поднял руку в ярости:

— Схватить, схватить его — и мятежников! — проговорил он, задыхаясь и указывая на Илария.

Палатины и щитоносцы бросились на епископов. Произошло смятение. Сверкнули мечи.

Илария, с грубыми оскорблениями, срывая омофор, епитрахиль и фелонь, потащили воины.

Многие в ужасе, устремляясь к дверям, падали, давили и топтали друг друга.

Один из юношей-скорописцев вскочил на окно, желая выпрыгнуть на двор, но воин уцепился за длинную одежду его и не пускал. Стол с чернильницами опрокинули, и красные чернила разлились по синему яшмовому полу. При виде этой багровой лужи стали кричать:

— Кровь! Кровь! Бегите!

Другие вопили:

— Смерть врагам благочестивейшего августа!

Пафнутий громовым голосом возглашал, увлекаемый двумя легионерами:

— Признаю собор Никейский, ересь арианскую анафематствую!

Многие продолжали кричать:

— Единосущный!

Другие:

— Да не будет сего! Подобносущный!

Третьи:

— Несходный, сиречь, аномэон, аномэон! — Умолкните, богоненавистники! — Анафема! — Да извергнется! — Собор в Никее! — Собор в Сардике! — В Ганграх Пафлагонских! — Анафема!

Слепой Озий сидел неподвижно, всеми забытый, на своем почетном епископском кресле, и шептал чуть слышно:

— Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! Что же это, братья?..

Но напрасно протягивал он свои слабые руки к мятущимся и обезумевшим людям; напрасно твердил: «Братья, братья, что же это?» — Никто не видел и не слышал старика. И слезы текли по его столетним морщинам.

Юлиан смотрел на собор с злорадной усмешкой и молча торжествовал.

В тот же день, поздним вечером, в пустынной тишине, среди зеленой равнины, к Востоку от Медиолана шли два монаха-отшельника из Месопотамии, посланные на собор дальними сирийскими епископами.

Едва спаслись они из рук придворной стражи и теперь с радостью направляли путь к Равенне, чтобы поскорее сесть на корабль и вернуться в пустыню. Усталость и уныние выражались в их лицах. Эфраим, один из них, был старик; другой, Пимен — юноша. Эфраим сказал Пимену:

— Пора в пустыню, брат мой! Лучше слушать вой шакалов и львов, чем то, что сегодня мы слышали в царских чертогах. О, сладкое чадо мое! Блаженны безмолвные. Блаженны оградившие себя стеною тишины пустынной, за которую не долетят к ним споры учителей церковных. Блаженны понявшие ничтожество слов. Блаженны не спорящие. Блажен, кто не испытывает Божьих тайн, но поет пред лицом твоим, Господи, как лира. Блажен, кто постиг, как трудно знать, как сладко любить Тебя, Господи!

Эфраим умолк, и Пимен произнес: «аминь!»

Великая тишина ночи обняла их. И бодро, по звездам, направили они путь свой к Востоку, радуясь молчанию пустыни.

XVI

В солнечное утро по всем улицам Медиолана стремились толпы народа на главную площадь.

Раздался гул приветствий — и в триумфальной колеснице, запряженной стаей белых, как лебеди, коней, появился император.

Он стоял на такой высоте, что люди снизу должны были смотреть на него, закинув головы. Одежда, усыпанная драгоценными каменьями, горела ослепительно. В правой руке держал он скипетр, в левой — державу, увенчанную крестом.

Неподвижный, как изваяние, сильно нарумяненный и набеленный, он смотрел прямо перед собой, не поворачивая головы, как будто она была сжата в тисках. Во все продолжение пути, даже при толчках и сотрясениях колесницы, не сделал ни одного движения — не шевельнул пальцем, не кашлянул, не моргнул глазом. Эту окаменелую неподвижность приобрел Констанций многолетними усилиями, гордился ею и считал ее необходимым знаком божеского величия римских императоров. В такие минуты скорее согласился бы он умереть, чем, проявляя смертную природу, отереть пот с лица, чихнуть, высморкаться или плюнуть.

Кривоногий, маленького роста, самому себе казался исполином. Когда колесница въезжала под арку триумфальных ворот, недалеко от терм Максимиана Геркула, наклонил голову, как будто мог ею задеть за ворота, в которые свободно прошел бы Циклоп.

По обеим сторонам пути стояли палатины. У них были золотые шлемы, золотые панцири; на солнце два ряда почетной стражи сверкали, как две молнии.

Вокруг императорской колесницы развевались пышные знамена в виде драконов. Пурпурная ткань, раздутая ветром, врывавшимся в открытые пасти драконов, издавала пронзительный свист, подобный змеиному шипению, и длинные багровые хвосты чудовищ клубились по ветру.

На площади собраны были все легионы, стоявшие в Медиолане.

Гром приветствий встретил императора. Констанций был доволен: самый звук этих приветствий, не слишком слабый, не слишком сильный, установлен был заранее и подчинен строжайшему порядку; солдат и граждан учили искусству умеренно и благоговейно кричать от восторга.

Придавая каждому движению, каждому шагу своему напыщенную торжественность, император спустился с колесницы и взошел на помост, возвышавшийся над площадью, сверху донизу увешанный победоносными лохмотьями древних знамен и медными римскими орлами.

Опять раздался трубный звук, знак того, что полководец желает говорить с войском — и на площади воцарилась тишина.

— Optimi reipublicae defensores! — начал Констанций,— превосходнейшие защитники республики!

Речь его была растянута и переполнена цветами школьного красноречия.

Юлиан, в придворной одежде, взошел по ступеням помоста, и братоубийца облек последнего потомка Констанция Хлора священною цезарскою порфирою. Сквозь легкий шелк проникли лучи солнца в то время, когда император подымал пурпур, чтобы возложить его на коленопреклоненного Юлиана,— и кровавый отблеск упал на лицо нового цезаря, покрытое смертной бледностью. Мысленно повторил он стих Илиады, казавшийся ему пророчеством:

«Σλλαβε πορφυρεός θανατός χαι Μοτρα χρατ αιη».
«Очи смежила багровая смерть и могучая Мойра».

А между тем Констанций приветствовал его:

— Recepisti primaevus originis tuae splendidum florem, amatissime mihi omnium frater.— Еще столь юный, ты уже приемлешь блистательный цвет твоего царственного рода, возлюбленнейший брат мой.

Тогда по всем легионам пролетел крик восторга. Констанций нахмурился: крик превзошел установленную меру: должно быть, лицо Юлиана понравилось воинам.

— Да здравствует цезарь Юлиан! — кричали они все громче и громче и не хотели умолкнуть.

Новый цезарь ответил им братской улыбкой.

Каждый из легионеров ударял медным щитом по колену, что было знаком радости.

Юлиану казалось, что над ним совершается воля не кесаря, а самих богов . . . .
. . . .

Каждый вечер Констанций имел обыкновение посвящать четверть часа отделке и обтачиванию ногтей; это была единственная забава, которую позволял он себе, неприхотливый, воздержанный и скорее грубый, чем изнеженный, во всех своих привычках.

Обтачивая ногти тонкими напилочками, гладя их щеточками, с веселым видом, спросил он в тот вечер любимого евнуха, сановника августейшей опочивальни, Евсевия:

— Как тебе кажется, скоро победит он галлов?

— Мне кажется,— отвечал Евсевий,— что мы скоро получим известие о поражениях и смерти Юлиана.

— Мне было бы очень жаль,— продолжал Констанций.— Я, впрочем, сделал все, что мог: ему теперь придется обвинять себя самого...

Он улыбнулся и, склонив голову набок, посмотрел на свои отточенные ногти.

— Ты победил Максенция,— прошептал евнух,— победил Ветраниона, Константа, Галла, победишь и Юлиана. Тогда будет един пастырь, едино стадо. Бог — и ты!

— Да, да... Но кроме Юлиана, есть Афанасий. Я не успокоюсь, пока, живой или мертвый, не будет он в моих руках.

— Юлиан страшнее Афанасия, а ты сегодня облек его пурпуром смерти.— О, мудрость Божеского Промысла! Как низвергает она путями неисповедимыми всех врагов твоей вечности.— Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков!

— Аминь,— заключил император, покончив с ногтями и бросив последнюю щеточку.

Он подошел к древней Константиновой Хоругви — Лабаруму, всегда стоявшему в опочивальне кесаря, опустился перед ним на колени и, смотря на монограмму Иисуса Христа, составленную из драгоценных каменьев, блиставшую при свете неугасимой лампады, начал молиться. Прочел уставные молитвы и сотворил назначенное число земных поклонов. К Богу обращался он с невозмутимой верой, как люди, никогда не сомневавшиеся в своей добродетели.

Когда обычные три четверти часа вечерней молитвы кончились, он встал с легким сердцем.

Евнухи раздели его. Он лег на величественное ложе, которое поддерживали серебряные херувимы распростертыми крыльями.

Император заснул с невинной улыбкой на устах.

XVII

В Афинах, в одном из многолюдных портиков, выставлено было изваяние Арсинои — *Победитель Октавий с мертвою головою Брута.* Афиняне приветствовали дочь сенатора Гельвидия Приска, как возобновительницу древнего искусства.

Особые чиновники, обязанные тайно следить за настроением умов в империи, получившие откровенное имя *испытующих*, донесли куда следует, что изваяние это может пробудить в народе вольнолюбивые чувства: в мертвой голове Брута находили сходство с головой Юлиана, и видели в этом преступный намек на недавнюю казнь Галла; в Октавии старались найти сходство с Констанцием.

Дело разрослось в целое следствие об оскорблении величества и едва не попало в руки Павла Катены. К счастию, из придворной канцелярии, от магистра оффиций, получен был строжайший приказ не только унести статую из портика, но и уничтожить ее в присутствии императорских чиновников.

Арсиноя хотела ее скрыть. Гортензий был в таком страхе, что грозил выдать воспитанницу доносчикам.

Ею овладело отвращение к человеческой низости: она позволила делать со своим произведением все, что Гортензию было угодно. Статую разбили каменщики.

Арсиноя поспешно уехала из Афин. Опекун убедил ее сопровождать его в Рим, где друзья давно обещали ему выгодное место императорского квестора.

Они поселились недалеко от Палатинского холма. Дни проходили в бездействии. Художница поняла, что прежнего великого и свободного искусства уже быть не может.

Арсиноя помнила свой разговор с Юлианом в Афинах; это была единственная связь ее с жизнью. Ожидание в бездействии казалось ей невыносимым. В минуты отчаяния хотелось кончить сразу, покинуть все, немедленно ехать к Галлию, к молодому цезарю — с ним достигнуть власти, или погибнуть.

Но в это время она тяжело заболела. В долгие тихие дни выздоровления успокоивал и утешал ее самый изменчивый и верный из поклонников ее, центурион придворных щитоносцев, сын богатого родосского купца, Анатолий.

Он был римским центурионом, как сам выражался, только по недоразумению; на военную службу поступил, удовлетворяя тщеславной прихоти отца, который считал за верх благополучия видеть сына в золотых доспехах придворного щитоносца. Откупаясь от службы взятками, Анатолий проводил жизнь в изящной праздности, среди редких произведений искусства и книг, в пирах, в ленивых и роскошных путешествиях. Но глубокой ясности души, как у прежних эпикурейцев, у него уже не было. Он жаловался друзьям:

— Я болен смертельной болезнью.

— Какой? — спрашивали они с улыбкой недоверия.

— Тем, что вы называете моим остроумием, и что мне самому кажется порой плачевным и странным безумием.

В слишком мягких, женоподобных чертах его было выражение усталости и лени.

Иногда как будто просыпался: то предпринимал во время бури бесцельную опасную прогулку в открытом море с рыбаками, то уезжал в леса Калабрии охотиться на кабанов и медведей; мечтал об участии в заговоре на жизнь кесаря, или о военных подвигах; искал посвящения в таинства Митры и Адонаи. В такие минуты он способен был поразить даже людей, не знавших его обычной жизни, неутомимостью и отвагой.

Но скоро возбуждение проходило, и он возвращался к праздности, еще более вялый и сонный, еще более грустный и насмешливый.

— Ничего с тобой не поделаешь, Анатолий, — говорила ему Арсиноя с ласковой укоризной: — весь ты мягкий, точно без костей.

Но вместе с тем она чувствовала в природе этого последнего эпикурейца эллинскую зрелость; любила в усталых глазах его грустную насмешку надо всем в жизни и над самим собой, когда он говорил:

— Мудрец умеет находить долю сладости в самых печальных мыслях своих, подобно пчелам Гиметта, которые из самых горьких трав извлекают мед.

Тихие беседы его убаюкивали и утешали Арсиною. Шутя, называла она его своим врачом.

Арсиноя выздоровела, но уже более не возвращалась в мастерскую; самый вид мрамора вызывал в ней тягостное чувство.

В это время Гортензий устраивал для народа, в честь своего прибытия в Рим, великолепные игры в амфитеатре Флавия. Он был в постоянных разъездах и хлопотах, получал каждый день из различных стран света — лошадей, львов, иберийских медведей, шотландских собак, нильских крокодилов, бесстрашных охотников, искусных наездников, мимов, отборных гладиаторов.

Приближался день праздника, а львов еще не привозили из Тарента, куда они прибыли морем. Медведи приехали, исхудалые, заморенные и смирные, как овцы. Гортензий не спал ночей от беспокойства.

За два дня саксонские пленники-гладиаторы, люди гордые и неустрашимые, за которых дал он огромные день-

ги, передушили друг друга в тюрьме, ночью, к великому негодованию сенатора, считая позором служить потехой римской черни. Гортензий, при этом неожиданном известии, едва не лишился чувств.

Теперь вся надежда была на крокодилов.

— Пробовал ли ты давать им рубленое поросячье мясо? — спрашивал он раба, приставленного к драгоценным крокодилам.

— Давал. Не едят.

— А сырой телятины?

— И телятины не едят.

— А пшеничного хлеба, моченного в сливках?

— И не нюхают. Отворачивают морды и спят. Должно быть, больные, или очень томные. Мы им уж пасти открывали шестами, насильно всовывали пищу — выплевывают.

— Клянусь Юпитером, уморят себя и меня эти подлые твари! Пустить их в первый же день на арену, а то еще подохнут с голоду,— простонал бедный Гортензий, падая в кресло.

Арсиноя смотрела на него с некоторой завистью: ему, по крайней мере, не было скучно.

Она прошла в уединенный покой, выходивший окнами в сад. Здесь, в тихом лунном сиянии, шестнадцатилетняя сестра ее Мирра, худенькая, стройная девочка, перебирала струны на лире. В тишине лунной ночи звуки падали, как слезы. Арсиноя, молча, обняла сестру. Мирра ответила ей улыбкой, не переставая играть.

За стеной сада послышался свист.

— Это он! — сказала Мирра, вставая и прислушиваясь.— Пойдем скорее.

Она крепко сжала руку Арсинои своей детской и сильной рукой.

Обе девушки накинули на себя темные плащи и вышли. Ветер гнал облака; луна то выглядывала, то пряталась за них.

Арсиноя отперла небольшую калитку в садовой ограде.

Их встретил юноша, закутанный в шерстяную монашескую казулу.

— Не опоздали, Ювентин? — спросила Мирра.— Я так боялась, что ты не придешь...

Они шли долго, сперва по узкому и темному переулку, потом по винограднику, и вышли наконец в голое поле, начало римской Кампании. Шелестел сухой бурьян. На светлой лунной дали виднелись пролеты кирпичного акведука времен Сервия Туллия.

Ювентин оглянулся и произнес:

— Кто-то идет.

Обе девушки также обернулись. Свет луны упал на их лица, и человек, следивший за ними, воскликнул радостно:

— Арсиноя! Мирра! Наконец-то я нашел вас! Куда вы?

— К христианам,— отвечала Арсиноя.— Пойдем с нами, Анатолий. Ты увидишь много любопытного.

— К христианам? Не может быть... Ты всегда их так ненавидела? — удивился центурион.

— С летами, друг мой, становишься добрее и равнодушнее ко всему,— возразила девушка.— Это суеверие не лучше и не хуже других. И потом,— чего только не делаешь от скуки? — Я хожу к ним для Мирры. Ей нравится...

— Где же церковь? Мы в пустом поле? — спросил Анатолий, с недоумением оглядываясь.

— Церкви христиан осквернены или разрушены их же собственными братьями, арианами, которые иначе верят в Христа, чем они. При дворе ты должен был наслушаться об единосущии и подобносущии. Теперь противники ариан молятся тайно в тех же самых подземельях, как во времена первых гонений.

Мирра и Ювентин немного отстали, так что Анатолий и Арсиноя могли говорить наедине.

— Кто это? — произнес центурион, указывая на Ювентина.

— Потомок древнего патрицианского рода Фуриев,— отвечала Арсиноя.— Мать хочет сделать из него консула, а он мечтает уйти, против ее воли, в пустыню, чтобы молиться Богу... Любит мать и скрывается от нее, как от врага.

— Потомки Фуриев — монахи. О, время! — вздохнул эпикуреец.

В это время подошли они к аренариям — древним копям рассыпчатого туфа, и спустились по узким ступеням на самое дно каменоломни. Луна озаряла глыбы красноватой вулканической земли. Ювентин взял из полукруглого углубления в стене маленькую глиняную лампаду с ручкой, выбил огонь и зажег. Длинное колеблющееся пламя вспыхнуло в остром горлышке, в котором плавала светильня. Они углубились в один из боковых ходов аренария. Прорытый еще древними римлянами, очень широкий и просторный, спускался он в глубину по довольно крутому наклону. Его пересекали другие подземные ходы, служившие работникам для перевозки туфа.

Ювентин вел спутниц по лабиринту. Наконец, остановился перед колодцем и снял деревянную крышку. Пахнуло сыростью. Они спустились осторожно по крутым ступеням.

В самой глубине была небольшая дверь. Ювентин постучался.

Дверь отворилась, и седой монах-привратник впустил их в узкий и высокий подземный ход, прорытый уже не в рассыпчатом, а зернистом туфе, достаточно рыхлом для удобного прокапывания галерей.

Обе стены покрыты были от земли до потолка мраморными досками или тонкими плоскими черепицами, которыми заделывались бесчисленные гробницы.

Иногда встречались им люди с лампадами. При мерцающем свете Анатолий, остановившись на минуту, прочел надпись, вырезанную на одной из плит: «Дорофей, сын Феликса, покоится в месте прохладном, в месте светлом, в месте мирном» — requiscit in loco refrigii, luminis, pacis»; на другой плите: «Братья, не тревожьте сладчайшего сна моего».

Смысл этих надписей был любовный и радостный. «Софрония, — говорилось в одной, — милая, будь вечно живою в Боге» — «Sophronia dulcis, semper vivis Deo», — и немного дальше — «Sophronia, vivis» — «Софрония, ты жива», — как будто писавший окончательно постиг, что смерти нет.

Нигде не говорилось: «он погребен», а только «положен сюда — depositus». Казалось, что тысячи и тысячи людей, поколения за поколениями, лежат здесь, не умершие, а уснувшие легким сном, полные таинственным ожиданием.

В углублениях стен стояли лампады, горевшие недвижным длинным пламенем в спертом воздухе, и красивые амфоры с благовониями. Только запах гнилых костей из щелей гробов напоминал о смерти.

Подземные ходы шли в несколько ярусов, спускаясь все ниже и ниже. Кое-где в потолке виднелось широкое отверстие отдушины — луминария, — выходившей в Кампанию.

Иногда слабый луч месяца, скользя в луминарий, озарял мраморную доску с надписью.

В конце одного хода увидели они могильщика за работою. С веселым лицом, напевая, ударял он железной киркой в зернистый туф, который округлялся и принимал вид свода над его головой.

Вокруг главного надзирателя могильщиков — фóссора, человека в роскошной одежде, с хитрым и жирным лицом,

стояло несколько христиан. Фоссор, получив в наследство целую галерею катакомб, имел право за деньги уступать места, свободные для погребения, в принадлежавшем ему участке; участок был очень выгоден, потому что здесь покоились мощи св. Лаврентия. Могильщик нажил себе состояние. Теперь торговался он с богатым и скупым кожевником Симоном. Арсиноя на минуту остановилась, прислушиваясь.

— А далеко ли место от св. Лаврентия? — спрашивал Симон недоверчиво, думая об огромных деньгах, которые требовал фоссор.

— Не далеко: шесть локтей.

— Вверху или внизу? — не унимался покупщик.

— Одесную, одесную, так — наискосок. Говорю тебе, место отличное, лишнего не беру. Сколько бы ни нагрешил, все отпустится! Так прямо и войдешь со святыми в царствие небесное.

И фоссор привычной рукой стал снимать с него мерку для могилы, как портной для платья. Кожевник убедительно просил устроить ее попросторнее, чтобы лежать было не тесно.

В это время подошла к могильщику бедно одетая старушка:

— Что тебе, бабушка?

— Деньги принесла, добавочные.

— Какие добавочные?

— За прямую могилу.

— А, помню. Что же в кривой не хочешь?

— Не хочу, отец мой,— и без того уже ноют кости...

В катакомбах, особенно поближе к мощам святых, так дорожили каждым свободным уголком, что приходилось устраивать немного искривленные могилы там, где расположение стен не позволяло другого устройства; кривые могилы покупались только бедными.

— Бог весть, думаю, сколько времени лежать до Воскресения,— объяснила старушка.— В кривую попадешь — сначала-то оно, пожалуй, и ничего, а потом, как устанешь, плохо...

Анатолий слушал и восхищался.

— Это гораздо любопытнее, чем таинства Митры,— уверял он Арсиною, с легкомысленной улыбкой.— Жаль, что я раньше не знал. Никогда не видывал я более веселого кладбища!

Они вступили в довольно просторную усыпальницу. Здесь горели бесчисленные лампады. Пресвитер отправлял

службу. Алтарем была верхняя плита гробницы мученика, которая находилась под дугообразным сводом.

Было много молящихся в белых длинным одеждах. Все лица казались радостными.

Мирра стала на колени. Она смотрела со слезами детской любви на изображение Пастыря Доброго на потолке усыпальницы.

Здесь, в катакомбах, возобновлен был давно уже оставленный церковью обычай первых времен христианства: по окончании службы братья и сестры приветствовали друг друга «лобзанием мира». Арсиноя, следуя общему примеру, поцеловала Анатолия.

Потом направились они все четверо из нижних ярусов в верхние, откуда был ход в тайное убежище Ювентина, покинутую языческую гробницу, *колумбарий*, в стороне от Аппиевой дороги.

Здесь, в ожидании корабля, который должен был увезти его в Египет, скрывался он от преследований матери, доносившей на него чиновникам префекта, и жил с богоугодным старцем Дидимом из нижней Фиваиды. Ювентин был в строгом послушании у старца.

Дидим, сидя на корточках в колумбарии, плел из ивовых прутьев корзину. Луч месяца, падая в узкую отдушину, озарял его седые, пушистые кудри и длинную бороду.

Сверху донизу в стенах гробницы были сделаны небольшие углубления, похожие на гнезда в голубятне; в каждом из этих гнезд стояла урна с пеплом усопшего.

Мирра, которую старик очень любил, благоговейно поцеловала его морщинистую руку и попросила, чтобы он рассказал что-нибудь об отцах-пустынниках.

Ничего ей так не нравилось, как эти странные и чудные рассказы. С нежной старческой улыбкой тихонько гладил он Мирру по волосам. Все расположились вокруг старца.

Он рассказывал им легенды о великих отшельниках Фиваиды, Нитрии, Месопотамии. Мирра смотрела на него горящими глазами, прижав к груди свои тонкие пальцы. Улыбка слепого полна была детской нежности, и шелковистые, мягкие седины окружали голову его, как сияние.

Все молчали. Слышался немолчный гул Рима.

Вдруг во внутреннюю дверь колумбария, сообщавшуюся с катакомбами, раздался тихий стук. Ювентин встал, подошел к двери и спросил, не отпирая:

— Кто там?

Ему не ответили; но стук повторился еще более слабый, как будто молящий.

Он осторожно приотворил дверь, отступил — и высокая женщина вошла в колумбарий. Длинная, белая одежда окутывала ее с головы до ног и опускалась на лицо. Она двигалась, как больная или очень старая. Все молча смотрели на вошедшую.

Одним движением руки откинула она длинные складки, свесившиеся на лицо — и Ювентин вскрикнул:

— Мать!

Женщина бросилась к ногам сына и обняла их.

Пряди седых волос, выбившись, падали на лицо, исхудалое, бледное, жалкое, но все еще гордое.

Ювентин обнял голову матери и целовал ее.

— Ювентин! — позвал старец.

Юноша не ответил.

Мать говорила ему быстрым, радостным шепотом, как будто они были одни:

— Я думала, что никогда не увижу тебя, сын мой! Хотела ехать в Александрию — о, я нашла бы тебя и там, в пустыне, но теперь, не правда ли, кончено? Скажи, что ты не уйдешь. Подожди, пока я умру. Потом, как хочешь...

Старец повторил:

— Ювентин, слышишь ли меня?

— Старик,— произнесла женщина, взглянув на слепого,— ты не отнимешь сына у матери! Слушай,— если надо, я отрекусь от веры отцов моих, уверую в Распятого, сделаюсь монахиней...

— Ты не разумеешь закона Христова, женщина! Мать не может быть монахиней, монахиня не может быть матерью.

— Я родила его в муках!..

— Ты любишь не душу, а тело его.

Женщина бросила на Дидима взгляд, полный бесконечной ненависти:

— Будьте же вы прокляты, с вашими хитрыми, лживыми словами! — воскликнула она.— Будьте прокляты, отнимающие детей у матери, соблазняющие невинных, люди в черных одеждах, боящиеся света небесного, слуги Распятого, ненавидящие жизнь, разрушители всего, что в мире есть святого и великого!..

Лицо ее исказилось. Еще крепче прижалась она всем телом своим к ногам сына и проговорила, задыхаясь:

— Я знаю, дитя мое... ты не уйдешь... ты не можешь...

Старец Дидим с посохом в руках стоял у открытой внутренней двери колумбария, той, которая вела в катакомбы.

— Именем Бога живого, повелеваю тебе, сын мой, иди за мною, оставь ее! — произнес он громко и торжественно.

Тогда женщина сама выпустила сына из объятий своих и пролепетала чуть слышно:

— Ну, оставь... иди... если можешь...

Слезы перестали струиться из глаз ее; руки беспомощно упали на колени.

Она ждала.

— Помоги мне, Господи! — прошептал Ювентин, бледный, подымая глаза к небу.

— «Если кто хочет идти за Мною и не возненавидит отца и мать свою, и жену, и детей, и братьев, и сестер, и самую жизнь свою, тот не может быть учеником Моим»,— произнес Дидим и, ощупью войдя в дверь, в последний раз обернулся к послушнику:

— Оставайся в мире, сын мой, и помни: ты отрекся от Христа.

— Отче! Я — с тобой... Господи, вот я! — воскликнул Ювентин и пошел за учителем.

Она не сделала ни одного движения, чтобы остановить его, ни одна черта в ее лице не дрогнула.

Но, когда шаги их умолкли,— без звука, без стона, упала, как подкошенная.

— Отворите! Именем благочестивого императора Констанция — отворите!

То были воины, посланные префектом по доносу Ювентиновой матери, чтобы отыскать мятежных сабеллиан, исповедников Единосущия, врагов императора.

Солдаты ударяли железным ломом в двери колумбария. Здание дрожало. Стеклянные и серебряные урны с пеплом умерших звенели жалобно. Воины уже сорвали половину дверей.

Анатолий, Мирра и Арсиноя бросились во внутренние галереи катакомб. Христиане бегали по узким подземным ходам, как муравьи в разрытом муравейнике, устремляясь к потайным дверям и лестницам, сообщавшимся с каменоломней.

Арсиноя и Мирра не знали в точности расположения катакомб. Они заблудились и попали в самый нижний ярус, находившийся в глубине пятидесяти локтей под землей. Здесь трудно было дышать. Под ногами выступала болотная вода. Изнеможенное пламя лампад тускнело. Зловоние отравляло воздух. Голова у Мирры закружилась; она потеряла сознание.

Анатолий взял ее на руки. Каждое мгновение опасались они натолкнуться на воинов. Была и другая опасность: выходы могли завалить, и они остались бы под землей заживо погребенными.

Наконец Ювентин окликнул их:

— Сюда! Сюда!

Согнувшись, нес он на плечах своих старца Дидима.

Через несколько минут они достигли тайного выхода в каменоломню и оттуда — в Кампанию.

Вернувшись домой, Арсиноя поспешно раздела и уложила в постель Мирру, все еще не приходившую в себя.

В слабом мерцании зари, стоя на коленях, старшая сестра долго целовала неподвижные, худые и желтые, как воск, руки девочки. Странное выражение было на лице спящей. Никогда еще не дышало оно такою непорочной прелестью. Все ее маленькое тело казалось прозрачным и хрупким, как слишком тонкие стенки алебастровой амфоры, изнутри озаренной огнем. Этот огонь должен был потухнуть только с жизнью Мирры.

XVIII

Поздно вечером, в болотистом дремучем лесу, недалеко от Рейна, между военным укреплением Tres Tabernae[1] и римским городом Аргенторатум, недавно завоеванным аламанами, пробирались два заблудившихся воина: один — неуклюжий исполин с волосами огненного цвета и ребячески простодушным лицом, сармат на римской службе, Арагарий, другой — худенький, сморщенный, загорелый сириец, Стромбик.

Среди стволов, покрытых мхом и грибными наростами, было темно; в теплом воздухе падал беззвучный дождь; пахло свежими листьями берез и мокрыми хвойными иглами; где-то вдали куковала кукушка. При каждом шелесте или треске сухих веток Стромбик в ужасе вздрагивал и хватался за руку спутника.

— Дядя, а дядя!

Арагария называл он дядей не по родству, а из дружбы: они были взяты в римское войско с двух противоположных концов мира; северный прожорливый и целомудренный варвар презирал сирийца, трусливого, сладострастного и умеренного в пище и питье, но, издеваясь, жалел его, как ребенка.

[1] Три Таверны (*лат.*).

— Дядя! — захныкал Стромбик еще жалобнее.

— Чего скулишь? Отстань!

— Есть в этом лесу медведи? Как ты думаешь, дядя?

— Есть,— отвечал Арагарий угрюмо.

— А что ежели мы встретим? А?

— Убьем, сдерем кожу, продадим и пропьем.

— Ну, а если не мы — его, а он нас?

— Трусишка! Сейчас видно, что христианин.

— Почему же христианин непременно должен быть трусом? — обиделся Стромбик.

— Да ведь ты сам мне говорил, что в вашей книжке сказано: «ударят тебя в левую щеку — подставь правую».

— Сказано.

— Ну, вот видишь. А ежели так, то и воевать не надо: враг тебя в одну щеку, а ты ему другую. Трусы вы все — вот что!

— Цезарь Юлиан — христианин, а не трус,— защищался Стромбик.

— Знаю, племянничек,— продолжал Арагарий,— что вы умеете прощать врагам, когда дело дойдет до сражения. Эх, мокрые курицы! У тебя и весь живот-то не больше моего кулака. Луковицу съешь — сыт на целый день. Оттого у тебя кровь, как болотная жижа.

— Ах, дядя, дядя,— промолвил Стромбик укоризненно,— зачем ты напомнил о еде! Опять засосало под ложечкой. Миленький, дай головку чесноку: я знаю, у тебя осталась в мешке.

— Если я тебе последнее отдам, завтра мы в этом лесу оба с голоду подохнем.

— Ой, тошно, тошно! Если сейчас не дашь, ослабею, упаду и тебе придется меня на плечах нести.

— Ну тебя к черту,— ешь!

— И хлебца, хлебца! — молил Стромбик.

Арагарий отдал другу последний кусок солдатского сухаря с проклятием. Сам он вчера вечером наелся, по крайней мере, на два дня, свиным салом и бобовою квашнею.

— Тише,— проговорил он, останавливаясь.— Труба! Недалеко от лагеря. Надо держать к северу. Не медведей боюсь,— продолжал Арагарий, задумчиво, немного помолчав,— а центуриона.

Воины прозвали в шутку этого ненавистного центуриона Cedo Alteram — Давай-Новую, потому что он кричал с радостным видом каждый раз, когда в руках его лоза, которою он сек провинившегося солдата, ломалась: Cedo Alteram! Эти два слова сделались кличкою.

— Я уверен,— произнес варвар,— Подай-Новую сделает с моей спиной то же, что дубильщик с бычачьей кожей. Скверно, племянничек, скверно!..

Они отстали от войска, потому что Арагарий, по своему обыкновению, напился пьян до бесчувствия в ограбленном селении, а Стромбика избили: маленький сириец хотел насильно добиться благосклонности красивой франкской девушки; шестнадцатилетняя красавица, дочь убитого варвара, дала ему такие две пощечины, что он упал навзничь,— и потом истоптала его своими белыми могучими ногами. «Это не девка, а дьявол,— рассказывал Стромбик; — я только ущипнул ее, а она мне едва все ребра не переломала».

Звук трубы становился явственнее.

Арагарий нюхал ветер, как ищейка. Потянуло дымом: должно быть, близко были костры римского лагеря.

Сделалось так темно, что они едва различали дорогу; тропинка исчезла в болоте; они прыгали с кочки на кочку. Подымался туман. Вдруг с огромной ели, у которой ветви увешены были мхом, похожим на пряди длинных седых волос, что-то вспорхнуло, с криком и шелестом. Стромбик присел от испуга. То был тетерев.

Они совсем заблудились.

Стромбик влез на дерево.

— Костры к северу. Недалеко. Там большая река.

— Рейн! Рейн! — воскликнул Арагарий.— Идем скорее!

Они начали пробираться между вековыми березами и елями.

— Дядя, тону! — захныкал Стромбик.— Кто-то меня за ноги тащит. Где ты?

Арагарий с большим трудом помог ему выйти из болота и, ругаясь, взял себе на плечи. Сармат ощупал ногами старые полусгнившие бревна гати, проложенной римлянами.

Гать привела их к большой дороге, недавно прорубленной в лесу войсками Севера, полководца Юлиана.

Варвары, чтобы пересечь дорогу, завалили ее, по своему обыкновению, срубленными стволами.

Пришлось перелезать через них; эти огромные беспорядочно наваленные деревья, иногда гнилые, только сверху покрытые мхом и рассыпавшиеся от прикосновения ноги, иногда твердые, вымокшие от дождя и скользкие, затрудняли каждый шаг. И по таким дорогам, под вечным страхом нападения, должно было двигаться тринадцатиты-

сячное войско Юлиана, которого все полководцы императора, кроме Севера, изменнически покинули.

Стромбик хныкал, привередничал и проклинал товарища:

— Не пойду дальше, язычник! Лягу в болото и сдохну; по крайней мере лица твоего окаянного не увижу. У, нехристь! Сейчас видно, что креста на тебе нет. Христианское ли дело,— шляться по таким дорогам ночью? И куда лезем? Прямо под розги богопротивному центуриону. Не пойду я дальше!..

Арагарий потащил его насильно и, как только дорога стала ровнее, опять понес на плечах товарища, который сопротивлялся, ругал и щипал его.

Через некоторое время Стромбик уснул невинным сном на спине «язычника».

В полночь пришли они к воротам римского стана. Все было тихо. Подъемный мост через глубокий ров давно сняли.

Друзьям пришлось ночевать в лесу, у задних «декуманских» ворот.

На заре прозвучала труба. В туманном лесу, пахнувшем гарью, еще пел соловей; он умолк, испуганный воинственным звуком. Арагарий, проснувшись, почувствовал запах горячей солдатской похлебки и разбудил Стромбика. Обоим так хотелось есть, что, несмотря на сучковатую лозу, которой успел вооружиться ненавистный центурион Подай-Новую, вошли они в лагерь и присели к общему котлу.

В главной палатке, у преторианских ворот, цезарь Юлиан бодрствовал.

С того дня, как он в Медиолане наречен был цезарем, благодаря покровительству императрицы Евсевии, с ревностью предавался он военным упражнениям; не только изучал, под руководством вождя Севера, военное искусство, но хотел знать в совершенстве и то, что составляло ремесло простых солдат: под звуки медной трубы, в унылых казармах, на марсовом поле, вместе с новобранцами, по целым дням учился ходить в строю правильным шагом, стрелять из лука и пращи, бегать под тяжестью полного вооружения, перепрыгивать плетни и рвы. Преодолевая монашеское лицемерие, пробуждалась в юноше кровь Константинова рода — целого ряда поколений суровых, упрямых воинов.

— Увы, божественный Ямвлик и Платон, если бы видели вы, что сталось с вашим питомцем! — восклицал он иногда, вытирая пот с лица; и, указывая на тяжелые медные доспехи, говорил учителю:

— Не правда ли, Север, оружие это так же мало пристало мне, мирному ученику философов, как седло корове?

Север, ничего не отвечая, лукаво усмехался: он знал, что эти вздохи и жалобы — притворство; на самом деле цезарь радовался своим быстрым успехам в военной науке.

За несколько месяцев так изменился он, вырос и возмужал, что многие с трудом узнавали в нем прежнего захудалого «маленького грека», как некогда, в насмешку, звали его при дворе Констанция: только глаза Юлиана горели все тем же странным, слишком острым, как будто лихорадочным, огнем, который делал их памятными для всякого, даже после мгновенной встречи.

Он чувствовал себя с каждым днем сильнее, не только телом, но и духом. Первый раз в жизни испытывал счастье простой любви простых людей. Легионерам сначала понравилось то, что настоящий цезарь, двоюродный брат Августа, учится военному ремеслу в казармах, не стыдясь грубой солдатской жизни. Суровые лица старых воинов озарялись нежной улыбкой, когда любовались они возрастающей ловкостью цезаря и, вспоминая собственную молодость, удивлялись быстрым успехам Юлиана. Он подходил, заговаривал с ними, выслушивал рассказы о старых походах, советы, как подвязывать панцирь, чтобы не терли ремни, как ставить ногу, чтобы не уставать при больших переходах. Распространялась молва о том, что император Констанций послал неопытного юношу в Галлию к варварам на смерть, «на убой», чтобы освободиться от соперника,— что полководцы, по наущению придворных евнухов, изменяют цезарю. Это еще усилило любовь солдат к Юлиану.

С осторожной вкрадчивостью, с умением заискивать, которым одарило его монашеское воспитание, делал он все, чтоб укрепить в войсках любовь к себе, вражду к императору. Говорил им о своем брате Констанции, с двусмысленным, лукавым смирением потупляя взоры, принимая вид жертвы.

Пленять, влюблять в себя воинов бесстрашием тем легче было цезарю, что смерть в бою казалась ему завидною, сравнительно с той бесславною казнью, которая постигла брата его,— которую, быть может, и ему готовил Август.

Юлиан устроил свою жизнь по образцу древних римских полководцев; стоическая мудрость евнуха Мардония помогла ему с раннего детства отучиться от роскоши.

Он спал меньше простого солдата, и то не на постели, а на жестком ковре с длинной шерстью — субурре. Первую

часть ночи посвящал отдыху; вторую — делам военным и государственным; третью — музам.

Любимые книги не покидали его в походах. Он вдохновлялся то Марком Аврелием, то Плутархом, то Светонием, то Катоном Цензором. Днем старался исполнить то, о чем мечтал ночью над книгами.

В то памятное утро, перед Аргенторатским сражением, услышав зорю, Юлиан поспешно облекся в полное вооружение и велел привести коня.

Затем удалился в самое скрытое место палатки. Здесь было маленькое изваяние Меркурия с кадуцеем, бога движения, удачи и веселья,— окрыленного, летящего. Юлиан стал перед ним на колени и бросил на жертвенный треножник несколько зерен фимиама. По направлению дыма цезарь, гордившийся познаниями в искусстве прорицателей, старался угадать, счастливый или несчастный день предстоит. Ночью слышал он трижды крик ворона с правой стороны — зловещая примета.

Он был так убежден, что его неожиданные военные удачи в Галлии — дело рук не человеческих, что с каждым днем становился суевернее.

Выходя из шатра, споткнулся о деревянную перекладину, служившую порогом. Лицо его омрачилось. Все предзнаменования были неблагоприятные. Втайне он решил отложить сражение до следующего дня.

Войско выступило. Дорога через лес была трудная; наваленные стволы преграждали ее.

День обещал быть жарким. Римляне сделали только половину пути, и до войска варваров, расположенного на левом берегу Рейна, на большой пустынной равнине близ города Аргенторатума, оставалось еще двадцать одна тысяча шагов,— когда наступил полдень.

Солдаты утомились.

Как только вышли они из лесу, цезарь собрал их и расположил кругами, как зрителей в амфитеатре, так что он сам находился в средоточии кругов, а центурии и когорты расходились от него, как лучи: это был обычный порядок, рассчитанный на то, чтобы наибольшее число людей могло слышать речь полководца.

В простых, кратких словах объяснил он им, что время дня уже позднее, и утомление может помешать успеху, что благоразумнее расположиться лагерем в том месте, которое они заняли, отдохнуть и на следующее утро, со свежими силами, вступить в сражение.

В войске поднялся ропот. Солдаты ударяли копьями в щиты, что было знаком нетерпения,— и требовали криками, чтобы он вел их немедленно в битву. Цезарь по выражению лиц понял, что не должно противиться. Он чувствовал в толпе тот, знакомый ему, грозный трепет, который необходим для побед и, при малейшей неосторожности, может превратиться в возмущение.

Он вскочил на коня и подал знак: войско снова выступило.

Когда послеполуденное солнце начало склоняться, достигли они равнины Аргенторатума. Между невысокими холмами светлел Рейн. К югу чернели покрытые лесом Вогезы. Стрижи носились над поверхностью величественной и пустынной германской реки; ивы наклоняли к ней бледные ветви.

Вдруг, на ближнем холме, появились три всадника: то были варвары.

Римляне остановились и начали строиться в боевой порядок. Юлиан, окруженный шестьюстами закованных в железо всадников — клибанариев, предводительствовал конницей на правом крыле; на левом — старый, опытный полководец Север, которого молодой цезарь слушался во всем, управлял пехотою. Против Юлиана варвары выставили конницу. Во главе был сам аламанский король Хнодомар. Против Севера — молодой Хнодомаров племянник, Агенарик, с пехотой.

Военные рога, медные трубы, загнутые букцины грянули; значки, с именами когорт, пурпурные драконы, римские медные орлы во главе легионов сдвинулись; впереди, со спокойными и суровыми лицами, выступали мерными тяжелыми шагами, от которых земля дрожала и гудела, привыкшие к победам, секироносцы и примопиларии.

Вдруг пехота Севера на левом крыле остановилась. Варвары, спрятавшиеся во рву, неожиданно выскочили из засады и напали на римлян. Юлиан издали увидел смятение и бросился на помощь. Он старался успокоить солдат и обращался то к одной, то к другой когорте, подражая сжатому и сильному слогу Юлия Цезаря. Когда произносил он «exurgamus, viri fortes» [1], или «advenit, socii, justum pugnandi jam tempus» [2],— этот двадцатишестилетний юноша думал с гордостью: «теперь я похож на такого-то или такого древнего героя!» Он был мысленно, и в самом пылу сра-

---

[1] «восстанем, храбрые мужи» *(лат.)*.

[2] «настало, соратники, время боев справедливых» *(лат.)*.

жения окружен книгами, радуясь, что все происходит именно так, как описывают Тит Ливий, Плутарх, Саллюстий. Опытный Север умерял его пыл своим мудрым спокойствием и, давая цезарю некоторую свободу, не выпускал из рук своих главного управления войском.

Засвистели стрелы, варварские копья, бросаемые на длинных арканах, огромные камни из боевых метательных снарядов.

Римляне увидели, наконец, лицом к лицу этих страшных и таинственных людей севера, обитателей дремучих зарейнских лесов, о которых ходило столько невероятных слухов. Здесь были чудовищные вооружения; у некоторых громадные голые спины, вместо одежды, покрыты были медвежьими шкурами, а вместо шлема — над косматой головой возвышалась открытая пасть зверя с белыми клыками; у других над касками торчали рога оленей и быков. Аламаны так презирали смерть, что кидались в битву, совершенно голые, только с мечом и копьем; рыжие волосы их связывались узлом на макушке и ниспадали сзади, на шею, огромным чубом или косою, похожей на гриву; белые усы, выделяясь на красных лицах, висели двумя длинными концами. Многие были так дики, что, не ведая употребления железа, сражались копьями с наконечниками из рыбьей кости, смоченными смертоносным ядом, который делал их опаснее железа: достаточно было одного укола этих страшных игл, чтобы человек умер медленной смертью в невыразимых муках; вместо лат покрыты они были с головы до ног тонкими роговыми слоями из лошадиных копыт, крепко пришитыми к льняной ткани; в таком уборе казались эти неведомые дикари странными чудовищами, покрытыми птичьими перьями и рыбьей чешуей. Тут был и сакс с бледно-голубыми глазами: его не устрашало никакое море, но он боялся земли, по которой ступал; и старый сикамбр: он обстриг себе волосы после поражения в знак горя и теперь снова их отращивал; и герул, с глазами мутно-зелеными, почти такого же цвета, как воды океана, на отдаленном заливе которого он обитал; и бургунд, и батав, и сармат; и еще — безыменные, полузвери, полулюди: ужасные лица их римляне видели только перед смертью.

Примопиларии, соединив щиты, образовали медную сплошную стену, несокрушимую ни для каких ударов, медленно двигавшуюся. Аламаны бросились на нее, с криками, подобными реву медведей. Начался рукопашный бой — грудь с грудью, щит со щитом. Пыль поднялась над равниной, засловяя солнце.

В это мгновение, на правом крыле войска, железная конница клибанариев дрогнула и обратилась в бегство. Она могла растоптать задние легионы. Там, сквозь тучи стрел и копий, на пыльном солнце сверкала огненная головная повязка исполинского короля Хнодомара.

Юлиан прискакал туда вовремя. Он понял хитрость: пехотинцы варваров, нарочно поставленные между конями всадников, подползали под ноги римских коней и распарывали им животы короткими мечами; кони падали и увлекали за собой железных катафрактов, которые не могли подняться, удрученные тяжестью лат.

Юлиан стал поперек дороги, чтобы или остановить бежавшую конницу, или быть ею растоптанным. С конем цезаря столкнулся конь бежавшего трибуна клибанариев. Он узнал Юлиана и остановился, бледнея от стыда и страха. Вся кровь бросилась в лицо Юлиану. Вдруг забыл он свои книжные правила, наклонился, схватил беглеца за горло и закричал голосом, который ему самому показался чужим и диким: «Трус!»

И цезарь повернул его лицом к врагам.

Тогда все катафракты остановились, узнали разорванного в сражениях цезарского пурпурного дракона — и устыдились. В одно мгновение железная громада с грохотом отхлынула и устремилась назад, к варварам.

Все смешалось. Копье ударило Юлиана в грудь; его спас лишь панцирь; стрела просвистела над ухом, так что перьями задела ему щеку.

В это мгновение, на помощь слабевшей коннице, Север послал страшные легионы корнутов и браккатов, полудиких римских союзников. У них был обычай петь военный гимн — баррит, только в последнем смертном ужасе и опьянении битвы.

Корнуты и браккаты затянули песню глухо и жалобно: первые звуки были тихи, как ночной шелест листьев; но мало-помалу песня становилась громче, торжественнее и грознее; наконец, превратилась в неистовый рев, подобный реву разъяренных волн океана, разбивающихся об утесы. Этой песней они опьянили себя до исступления.

Юлиан перестал видеть и понимать: чувствовал только сильную жажду и боль от усталости в правой руке, державшей меч; время для него исчезло. Но Север, не теряя присутствия духа, управлял сражением с мудростью.

С недоумением и отчаянием заметил цезарь огненно-желтую повязку тучного Хнодомара в самой середине,

в сердце войска: варварская конница врезалась в него клином. Юлиан подумал: «Кончено,— погибло все!» Вспомнил зловещие предзнаменования утра и обратился с последней молитвой к богам: «помогите,— ибо если не я, то кто же восстановит на земле вашу власть, олимпийцы?»

В середине войска были старые воины легиона петулантов — «кипящих», названных так за отвагу; Север рассчитывал на них и не ошибся. Один из петулантов воскликнул:

— Viri fortissimi! Мужи храбрейшие! Не выдадим Рима и цезаря. Умрем за Юлиана!

— Да здравствует цезарь Юлиан! За Рим! За Рим!

И старики, поседевшие под знаменами, еще раз пошли на смерть, суровые и спокойные.

Юлиан со слезами восторга бросился к ним, чтобы умереть вместе с ними. И опять почувствовал он, как сила простой любви, сила народа подымает его.

Ужас пронесся над полчищами варваров: они дрогнули и побежали.

И медные орлы легионов с хищными клювами, с распростертыми крыльями, грозно сверкавшими на солнце сквозь пыль, полетели еще раз, возвещая бегущим племенам победу Вечного Города.

Аламаны и франки умирали, сражаясь до последнего вздоха.

Варвар, стоя одним коленом в луже крови, все еще подымал ослабелой рукой притупленный меч или обломок копья; в потухавших глазах не было ни страха, ни отчаяния, а только жажда мести.

Даже те, которых считали убитыми, вставали с земли, полурастоптанные, хватали зубами ноги врагов и впивались в них с такой силой, что римляне волочили их по земле.

Шесть тысяч северных мужей пало на поле сражения, или потонуло в Рейне.

В тот вечер, когда цезарь Юлиан стоял на холме, окруженный, как ореолом, лучами заходящего солнца, привели к нему пойманного на правом берегу короля Хнодомара; он тяжело дышал, тучный, потный и бледный; руки были связаны за спиной; он стал на колени перед своим победителем — и двадцатишестилетний римский цезарь положил свою маленькую руку на косматую рыжую гриву короля-варвара.

Было время жатвы винограда. Целый день звучали песни богу Вакху по веселому побережью Партенопеи.

В любимом загородном месте римлян, Байях близ Неаполя, знаменитых своими целебными серными ваннами, Байях, о которых еще поэты времен Августа пели: «Nullus in orbe locus Baiis praeeucet amoenis» [1],— праздные люди наслаждались природой, такой же ленивой и сладострастной, как сами они.

Ни одна тень монашеского века не легла еще на залитое солнцем побережье между Везувием и Мизенским мысом; христианства не отрицали здесь, но отделывались от него шуткой; блудницы здесь не каялись,— скорее честные женщины стыдились добродетели своей, как устаревшего обычая. Когда долетали сюда слухи о пророчествах сивилл, грозивших кончиной мира, о ханжестве и злодействах Констанция, о персах, надвигавшихся с Востока, о тучах варваров, растущих с севера, о затворниках, потерявших образ человеческий в пустынях Фиваиды,— счастливые обитатели этих мест, закрыв глаза, вдыхали тонкий аромат фалернских гроздий и утешались эпиграммами, во вкусе Тибулла и Проперция, которые посылали друг другу в подарок:

Calet unda, friget aethra,
Simue innatet choreis
Amathusium renidens,
Salis arbitra et vaporis
Flos siderum, Dioné [2].

Что-то старческое и, вместе с тем, ребяческое было на самых веселых лицах этих последних эпикурейцев. Ни свежая соленая вода морских волн, ни кипящие серные струи Байских источников не давали исцеления дряблым, зябким телам этих молодых людей, лысых, беззубых в двадцать лет, состарившихся от разврата своих предков, пресыщенных словесностью, мудростью, женщинами, древними подвигами и новыми пороками, остроумных и бессильных, у которых в жилах была бледная кровь запоздалых поколений.

---

[1] «С Байями место любое красой сравниться не может» *(лат.)*.

[2] Нагревается волна, мерзнут небеса,
Как только поплывут хороводы
В лучах Венеры,
Моря и туманов повелительница,
Цветок небесный, Диона *(лат.)*.

В одном из самых уютных и цветущих уголков, между Байями и Путеоли, среди плоских черных вершин южных сосен, белели мраморные стены виллы.

У открытого окна, выходившего в море, так что из комнаты не было видно ничего, кроме неба и моря, лежала на постели Мирра.

Врачи не понимали ее болезни. Арсиноя, видя, как день ото дня сестра ее чахнет, увезла ее из Рима на берег моря.

Несмотря на болезнь, Мирра, подражая монахиням, соблюдая строгий пост, сама убирала комнату, носила воду, даже пробовала мыть белье и стряпать; долго не соглашалась лечь; проводила ночи в молитвах и бдении. Однажды Арсиноя узнала случайно, что больная носит на голом теле власяницу. Из маленькой спальни своей велела она вынести все, кроме ложа с простым деревянным крестом в изголовьи. Комната с голыми стенами сделалась похожей на келью. Невозможно было бороться с кротким упорством больной.

Скука исчезла из жизни Арсинои, от надежды переходила она к отчаянию, и хотя любила сестру не больше, чем прежде, но только теперь, казалось ей, под страхом вечной разлуки, поняла всю силу этой любви.

Иногда смотрела подолгу на тонкое, исхудалое лицо Мирры, дышавшее неземной прелестью, на маленькое тело ее, сгоравшее от внутреннего жара. Когда больная упорно отказывалась от лекарств и пищи, предписанных врачами, Арсиноя говорила с досадой:

— Разве я не вижу, Мирра? Ты хочешь умереть...

— Не все ли равно, жить или умереть? — отвечала девушка с такой ясностью, что Арсиноя не знала, что ответить.

— Ты не любишь меня! — упрекала она сестру, удерживая слезы обиды.

Но Мирра ласкалась к ней с бесконечной нежностью:

— Ты не знаешь, как я тебя люблю. О, если бы ты только могла!..

Она не договаривала и молча смотрела на нее долгим, пристальным взором, как будто хотела сказать ей что-то и не смела: Арсиноя чувствовала в этом взоре непреклонную мольбу и все-таки не говорила с ней о вере, не имела духа открыть ей свои сомнения, отнять у нее, может быть, безумную надежду.

Мирра ослабевала с каждым днем, таяла, как воск горящей свечи, но становилась,— чем слабее, тем радостнее.

Иногда их посещал Ювентин, который бежал из Рима,

боясь преследований матери, и ждал вместе со старцем Дидимом в Неаполе отплытия корабля в Александрию.

Он читал Евангелие, рассказывал легенды об отцах-пустынниках,— о трех женах, которые много лет, не видя лица человеческого, жили, голые, как в раю, под сенью зеленых ветвей, на дне оврага, на берегу студеного ключа; вечно радостные, днем и ночью славя Бога, питались они плодами, приносимыми птицами; зимой не боялись стужи, летом — зноя; Господь покрывал и грел их Своею благодатью.

С детским весельем слушала Мирра сказание о преподобном Герасиме, который жил во львином логове; лев так подружился с ним, что водил осла его на водопой, лизал ему руки, когда он гладил его по гриве; а после смерти Герасима, зверь долго блуждал, тоскуя, испуская жалобный рев; когда же привели его к могиле святого, обнюхал ее, лег и уже не вставал с нее, не принимая пищи, пока не издох.

Мирру трогало сказание и о другом отшельнике, исцелившем от слепоты щенят гиены, которых мать принесла в своей пасти к ногам его.

Как хотелось ей — туда, в темные, безмолвные пещеры, к этим святым людям! Пустыня казалась ей цветущей, как рай.

Иногда, в жару, томимая жаждою пустыни, следила она за белыми парусами, исчезавшими в море, и протягивала к ним свои руки.— О, если бы могла она полететь за ними, надышаться воздухом пустыни! — Иногда она пробовала встать с постели, уверяя, что ей лучше, что теперь она уже скоро выздоровеет, и втайне надеясь, что ее отпустят, вместе с Дидимом и Ювентином, когда придет Александрийский корабль.

В это время центурион Анатолий жил в Байях.

Он устраивал прогулки на вызолоченных лодках из Авернского озера в залив, с веселыми товарищами и красивыми женщинами; наслаждался видом остроконечных пурпурных парусов на зеркале спящего моря,— переливами вечерних красок на скалистой Капрее и туманной Исхии, похожих на прозрачные аметисты; радовался насмешкам друзей над верою в богов, благоуханию вина, продажным и все-таки сладким лобзаниям блудниц.

Но каждый раз, вступая в монашескую келью Мирры, чувствовал, что и другая половина жизни доступна ему: целомудренная прелесть бледного лица ее трогала его; ему хотелось верить во все, во что она верит; он слушал рассказы Ювентина об отшельниках — и жизнь их казалась ему блаженною.

Однажды вечером уснула Мирра перед открытым окном. Проснувшись, сказала она Ювентину с улыбкой:

— Я видела сон.

— Какой?

— Не помню. Только счастливый.— Как ты думаешь, все ли спасутся?

— Все праведные.

— Праведные, грешные!.. Нет, я думаю,— отвечала Мирра все с той же радостной и задумчивой улыбкой, как будто стараясь припомнить сон,— Ювентин, знаешь, я думаю: все, все спасутся, все до единого — и не будет у Бога ни одного погибшего!

— Так учил Ориген: «Salvator meus laetari non potest donec edo in iniquitate permaneo».— «Спаситель мой не возрадуется, пока я пребуду в погибели». Но это — ересь.

— Да, да, так должно быть,— продолжала Мирра, не слушая.— Я теперь поняла: все спасутся, все до единого! Бог не попустит, чтобы погибла какая-либо тварь.

— И мне иногда хочется думать так,— проговорил Ювентин.— Но я боюсь...

— Не надо бояться: если есть любовь, то нет страха. Я не боюсь.

— А как же — *он?* — спросил Ювентин.

— Кто?

— Кого не должно называть — *непокорный?*

— И *он*, и *он!* — воскликнула Мирра с бесстрашной верой.— Пока останется хоть одна душа, не достигшая спасения, никакое создание не будет блаженно. Если нет предела любви, то может ли быть иначе? Когда соединится все в единой любви,— то все будет в Боге и Бог будет во всем. Милый мой, какая радость — жизнь! Мы этого пока еще не знаем. Но надо все благословить, понимаешь ли ты, брат мой, что значит — все благословить?

— А зло?

— Зла нет, если смерти нет.

В окно доносились веселые песни товарищей Анатолия с пиршественных лодок, блиставших пурпуром и остроконечными парусами на потемневшем вечернем заливе.

Мирра указала на них:

— И это хорошо, и это надо благословить,— молвила она тихо, как будто про себя.

— Языческие песни? — спросил Ювентин с робким недоумением.

Мирра наклонила голову:

— Да, да. Все. Все благо, все свято. Красота — свет Божий. Чего ты боишься, милый? О, какая нужна свобода, чтобы любить. Люби Его и не бойся! Люби все. Ты еще не знаешь, какое счастье — жизнь.

И глубоко вздохнув, как будто в ожидании великого отдыха, она прибавила:

— И какое счастье — смерть.

Это была их последняя беседа. Несколько дней лежала она молча, неподвижно, не открывая глаз; должно быть, очень страдала: тонкие брови иногда трепетно сжимались, но тотчас же выступала прежняя, слабая и кроткая улыбка — и ни один стон, ни одна жалоба не вылетали из уст ее. Раз, в середине ночи, едва слышно позвала она Арсиною, сидевшую рядом. Больная с трудом могла говорить.

— День? — спросила она, не открывая глаз.

— Еще ночь; но скоро утро,— отвечала Арсиноя.

— Я не слышу — кто ты? — проговорила Мирра еще тише.

— Я, Арсиноя.

Больная открыла вдруг глаза и пристально взглянула на сестру.

— А мне показалось,— произнесла она с усилием,— что это не ты, что я — одна.

И медленно, с большим трудом, едва двигаясь, сложила Мирра свои тонкие, прозрачно-бледные руки, ладонь к ладони, с робкой мольбой; концы губ ее дрогнули; брови поднялись.

— Не покидай меня, Арсиноя! Когда умру, не думай, что меня нет...

Сестра наклонилась; но больная была слишком слаба, чтобы обнять ее шею,— попробовала и не могла. Тогда Арсиноя приблизила к ее глазам свою щеку, и та тихонько, пушистыми, длинными ресницами, стала прикасаться к ее лицу, опуская, подымая их, как будто гладила ее: это была обычная у них, еще в детстве придуманная Миррой, ласка; казалось, что на щеке бьется тонкими крыльями бабочка.

Последняя детская ласка эта вдруг напомнила Арсиное всю их жизнь вместе, всю их любовь. Она упала на колени и в первый раз, после многих лет, зарыдала вольно и сладостно; сердце ее, казалось ей, таяло, изливалось в этих слезах.

— Нет, нет, нет! — рыдала она все неудержимее.— Не покину тебя; буду с тобой — всегда, везде!..

Глаза умирающей блеснули радостью; она прошептала:

— Значит — ты?..

— Да, верю!.. Хочу и буду верить! — воскликнула Арсиноя и сама вдруг удивилась этим неожиданным словам: они показались ей чудом, но не обманом, и она уже не хотела взять их назад.

— Пойду в пустыню, Мирра, как ты, вместо тебя! — продолжала она с почти безумным порывом.— И если есть Бог, Он должен сделать так, чтобы смерти не было, чтобы мы были вместе — всегда!

Мирра, слушая сестру, с улыбкой бесконечного успокоения закрыла глаза.

— Теперь хорошо. Я усну,— прошептала она.

И с тех пор уже не открывала глаз, не говорила. Лицо ее было спокойно и строго, как у мертвых. Но она еще дышала несколько дней.

Когда к закрытым губам ее подносили чашу с вином, она глотала несколько капель.

Если же дыхание становилось неровным и тяжелым, Ювентин, наклонившись, вполголоса читал молитву или пел церковный гимн; и Мирра опять начинала дышать тише, ровнее, как будто убаюканная.

Однажды, в ясный вечер, когда солнце превратило Исхию и Капрею в прозрачные аметисты,— неподвижное море сливалось с небом, и первая звезда еще не мерцала, а только предчувствовалась в высоте недосягаемой,— Ювентин запел вечерний гимн над умирающей:

Deus, creator omnium
Polique rector vestiens
Diem decore lumine,
Noctem sopora gratia...
Бог, Творец всего сущего,
Царь небес, одевающий
Дни лучами прекрасными,
Ночи сонною прелестью,
Чтоб возвратить утомленные
Члены труду, после отдыха,
Дух укрепить слабеющий,
Скорбь разрешить боязливую...

Под звуки этой песни Мирра испустила последний вздох. Никто не заметил, как она перестала дышать. Жизнь и смерть были для нее одно и то же: жизнь слилась с вечностью, как теплота вечера — с ночною свежестью.

Арсиноя похоронила сестру в катакомбах и собственной рукой вывела на мраморной плите: «Mirra vivis — Мирра, ты жива».

Она почти не плакала; в душе ее было бесстрастие, презрение к миру и, подобная отчаянию, решимость, если

не поверить в Бога, то, по крайней мере, сделать все, чтобы в Него поверить.

Она хотела, раздав имение, пойти в пустыню.

В тот самый день, как Арсиноя, к негодованию опекуна своего, Гортензия, сказала ему об этом,— получила она загадочное и краткое письмо из Галлии от цезаря Юлиана:

«Юлиан благороднейшей Арсиное — радоваться.

Помнишь ли, что говорили мы с тобой в Афинах, перед изваянием Артемиды-Охотницы? Помнишь ли союз наш? — Сильна моя ненависть, еще сильнее любовь. Может быть, скоро лев сбросит ослиную шкуру. А пока будем чисты, как голуби, мудры, как змеи, по слову Галилеянина».

XX

Придворные сочинители эпиграмм, называвшие некогда Юлиана «victorinus», «победительчик», теперь с удивлением получали известия о победах цезаря в Галлии. Смешное превращалось в страшное. Многие говорили о магии, о таинственных силах, помогающих другу Максима Эфесского.

Юлиан отвоевал и возвратил Империи — Аргенторатум, Брокомагум, Три Таверны, Сализон, Немэт, Вангион, Могунтиак.

Солдаты боготворили его. С каждым шагом все больше убеждался он, что боги Олимпа ему покровительствуют. Но продолжал посещать церкви христианские, и в городе Виэнне, на реке Родане, участвовал нарочно в торжественном богослужении.

В середине декабря победоносный цезарь возвращался, после долгого похода, на зимние квартиры в излюбленный им маленький городок паризиев, на реке Сене, Лютецию-Париж.

Был вечер. Северное небо удивляло жителей юга странным бледно-зеленым отливом. Только что выпавший снег хрустел под ногами воинов.

Париж-Лютеция, расположенный посередине реки на маленьком острове, со всех сторон окружен был водой. Два деревянных моста соединяли город с берегами. Дома были особого галло-римского зодчества, со стеклянными обширными сенями, заменявшими открытые портики южных стран. Столбы дыма из множества труб подымались над городом. Деревья были увешены инеем. В садах,

у стен, обращенных к полдню, как южные зябкие дети, жались редкие, привезенные сюда римлянами, фиговые деревья, тщательно обвитые соломой для предохранения от морозов. В тот год зима стояла суровая, несмотря на западные ветры с океана, приносящие оттепель. Огромные белые льдины, сталкиваясь и с треском ломаясь, плыли по Сене. Римские и греческие воины смотрели на них с удивлением. Юлиан, любуясь на прозрачные, не то голубые, не то зеленые глыбы, сравнивал их с плитами фригийского белого мрамора, слегка подернутого зелеными жилками.

Что-то было во всей печальной, таинственной прелести севера, что пленяло и трогало сердце его, как воспоминание о далекой родине.

Подъехали ко дворцу — огромному зданию, черневшему тяжелыми кирпичными дугами и башнями на вечернем светлом небе.

Юлиан вошел в книгохранилище. Здесь было сыро и холодно. Развели огонь в огромном очаге.

Ему подали несколько писем, полученных в Лютеции, во время его отсутствия; одно — из Малой Азии от Божественного Ямвлика.

Поднялась метель. Ветер выл в трубе очага. Казалось, что в закрытые ставни стучатся. Юлиан прочел письмо Ямвлика. На него пахнуло югом, Элладой; он закрыл глаза, и ему казалось, что мраморные Пропилеи, объятые тьмой, проносятся и тают перед ним, как видения, как золотые облака на небе.

Он вздрогнул и встал. Огонь потух. Мышь грызла пергаментный свиток. Ему захотелось увидеть живое лицо человеческое. Вдруг вспомнил о своей жене, и странная усмешка искривила губы его.

Это была родственница императрицы Евсевии, по имени Елена, которую император насильно выдал замуж за Юлиана, незадолго до его отъезда в Галлию. Он ее не любил; несмотря на то, что со дня их свадьбы прошло более года, почти не видел и не знал ее: она оставалась девственницей. С отроческих лет мечтала Елена сделаться «невестой Христовой»; мысль о браке внушала ей ужас; выйдя замуж, считала себя погибшей. Но потом, видя, что Юлиан не требует супружеских ласк, успокоилась и стала жить во дворце, как монахиня, всегда одинокая, бледная, тихая, закутанная с головы до ног в черные христианские одежды. В своих тайных молитвах дала она обет целомудрия.

Злое любопытство заставило его в ту ночь направиться по темным, пустынным проходам к башне дворца, где жила Елена.

Он открыл дверь, не постучавшись, и вошел в слабо освещенную келью. Девушка стояла на коленях, перед аналоем и большим крестом.

Он подошел к ней, закрывая рукою пламя лампады, и некоторое время смотрел молча. Она так погружена была в молитву, что не заметила его. Он произнес:

— Елена!

Она вскрикнула и обернула к нему бледное лицо.

Он устремил долгий, пристальный взгляд на крест, Евангелие, аналой:

— Все молишься?

— Да, молюсь — и за тебя, боголюбивейший цезарь...

— И за меня? Вот как. Ты считаешь меня великим грешником, Елена?

Она потупила глаза, не отвечая. Он опять усмехнулся все той же странною, тихою усмешкою.

— Не бойся. Говори. Не думаешь ли ты, что я в чем-нибудь особенно грешен?

Он подошел к ней и заглянул ей прямо в глаза. Она произнесла чуть слышно:

— Особенно? Да. Я думаю — не сердись на меня...

— Скажи, в чем. Я покаюсь.

— Не смейся,— промолвила она еще тише и строже, не подымая глаз.— Я дам ответ за душу твою перед Богом.

— Ты — за меня?

— Мы навеки связаны.

— Чем?

— Таинством.

— Церковным браком? Но ведь мы пока чужие, Елена?

— Я боюсь за душу твою, Юлиан,— повторила она, смотря прямо в глаза его своими ясными, невинными глазами.

Положив руку на плечо ее, взглянул он с усмешкой на бескровное лицо монахини. Девственным холодом веяло от этого лица; только нежно-розовые губы очень красивого, маленького рта, полуоткрытого с выражением детского страха и вопроса, странно выделялись на нем.

Он вдруг наклонился и, прежде чем она успела опомниться, поцеловал ее в губы.

Она вскочила, бросилась в противоположный угол кельи и закрыла лицо руками; потом отвела их медленно и, взглянув на него глазами, обезумевшими от страха, вдруг начала торопливо крестить себя и его:

— Прочь, прочь, прочь, Окаянный! Место наше свято! Именем честного Креста заклинаю — сгинь, пропади! Да воскреснет Бог и расточатся враги Его!..

Злость овладела им. Он подошел к двери, запер ее на ключ. Потом снова вернулся к жене:

— Успокойся, Елена. Ты приняла меня за *другого*, но я такой же человек, как ты. Дух плоти и костей не имеет, как видишь у меня. Я муж твой. Церковь Христова благословила наш союз.

Медленно провела она рукой по глазам.

— Прости... Мне почудилось. Ты вошел так внезапно. Мне уже были видения. Он бродит здесь по ночам. Я его видела два раза; он говорил мне о тебе. С тех пор я боюсь. Он говорил, что на лице твоем... зачем ты так смотришь, Юлиан?

Как пойманная птица, дрожала она, прижимаясь к стене. Он подошел и обнял ее.

— Что ты, что ты?.. Оставь!..

Она пробовала закричать, позвать служанку:

— Елевферия! Елевферия!

— Глупая! Разве я не муж твой?..

Она вдруг тихо и беспомощно заплакала:

— Брат мой! этого не должно быть. Я дала обет Богу; я — невеста Христова. Я думала, что ты...

— Невеста римского цезаря не может быть невестой Христовой!

— Юлиан, если веришь в Него...

Он засмеялся.

С последним усилием пыталась она оттолкнуть его:

— Прочь, дьявол, дьявол!.. Зачем Ты покинул меня, Господи?..

Продолжая смеяться, он покрывал ее белую тонкую шею, там, где начинались волосы, злыми, жадными поцелуями.

Ему казалось, что он совершает убийство. Она так ослабела, что едва сопротивлялась ему, но все еще шептала с бесконечной мольбой: «сжалься, сжалься, брат мой!»

Кощунственными руками срывал он черные христианские одежды. Душа его была объята ужасом, но никогда в жизни не испытывал он такого упоения. Вдруг, сквозь разорванную ткань, сверкнула нагота. Тогда, с усмешкой

и вызовом, римский цезарь посмотрел в противоположный угол кельи, где лампада мерцала на молитвенном аналое, перед черным Крестом.

XXI

Прошло более года со времени победы при Аргенторатуме. Юлиан освободил Галлию от варваров.

Ранней весной, еще на зимних квартирах, в Лютеции, получил он важное письмо от императора, привезенное трибуном нотариев, Деценцием.

Каждая победа в Галлии оскорбляла Констанция, была новым ударом его тщеславию: этот мальчишка, эта «болтливая сорока», «обезьяна в пурпуре», смешной «победительчик», к негодованию придворных шутников, превращался в настоящего грозного победителя.

Констанций завидовал Юлиану и в то же время сам терпел поражение за поражением, в азиатских провинциях, от персов.

Он худел, не спал, терял охоту к пище. Два раза делалось у него разлитие желчи. Придворные врачи были в тревоге.

Иногда, в бессонные ночи, с открытыми глазами лежал он на своем великолепном ложе под священной Константиновой Хоругвью, Лабарумом, и думал:

«Евсевия обманула меня. Если бы не она, я исполнил бы совет Павла и Меркурия, придушил бы этого мальчишку, змееныша из дома Флавиев. Глупец! Сам отогрел его на груди своей. И кто знает, может быть, Евсевия была его любовницей!..»

Запоздалая ревность делала зависть его еще более жгучей: отомстить Евсевии он уже не мог — она умерла; вторая супруга его, Фаустина, была глупенькой красивой девочкой, которую он презирал.

Констанций хватался в темноте за жидкие волосы, так тщательно подвиваемые каждое утро цирюльником, и плакал злыми слезами.

Он ли не защищал Церкви, не заботился об искоренении всех ересей? Он ли не строил и не украшал церквей, не творил каждое утро, каждый вечер установленных молитв и коленопреклонений? И что же? Какая награда? Первый раз в жизни владыка земной возмущался против Владыки Небесного. Молитва замирала на устах его.

Чтобы утолить хоть немного свою зависть, решил он прибегнуть к чрезвычайному средству. По всем большим городам Империи разосланы были «триумфальные» пись-

ма, обвитые лаврами, возвещавшие о победах, дарованных Божьей милостью императору Констанцию; письма читались на площадях. Судя по этим письмам, можно было думать, что четыре раза переходил Рейн не Юлиан, а Констанций, который однако, в это же самое время, на другом краю света терпел поражения в бесславных битвах с персами; что не Юлиан был ранен при Аргенторатуме и взял в плен короля Хнодомара, а Констанций; не Юлиан проходил болота и дремучие леса, прорывал дороги, осаждал крепости, терпел голод, жажду, зной, уставал больше простых солдат, спал меньше их, а Констанций. Не упоминалось даже имени Юлиана в этих лавровенчанных посланиях, как будто никакого цезаря вовсе не было. Народ приветствовал победителя Галлии — Констанция, и во всех церквах пресвитеры, епископы, патриархи служили молебны, испрашивая долгоденствия и здравия императору, благодаря Бога за победы над варварами, дарованные Констанцию.

Но зависть, пожиравшая сердце императора, не утолилась.

Тогда задумал он отнять у Юлиана лучший цвет легионов,— незаметно, исподволь обессилить его, как некогда Галла, завлечь тихонько в сети свои и потом уже безоружному нанести последний удар.

С этой целью послан был в Лютецию опытный чиновник, трибун нотариев, Деценций, который должен был немедленно извлечь из цезаревых войск лучшие вспомогательные легионы — герулов, батавов, петулантов, кельтов — и направить их в Азию, к императору; кроме того, предоставлено ему было выбрать из каждого легиона по триста самых храбрых воинов; а трибун Синтула получил приказание, соединив отборных щитоносцев и гентилей, стать во главе их и также вести к императору.

Юлиан, предостерегая Деценция, указывал на опасность бунта среди легионов, состоявших из варваров, которые скорее согласились бы умереть, чем покинуть родину. Деценций не обратил внимания на эти предостережения, сохраняя невозмутимую чиновничью важность на бритом и желтом хитром лице.

Около одного из деревянных мостов, соединявших остров Лютецию с берегом, тянулось длинное здание главных казарм.

Волнение в войске распространялось с утра. Только строгий порядок, введенный Юлианом, еще сдерживал солдат.

Первые когорты петулантов и герулов выступили ночью. Братья их, кельты и батавы, также собирались в путь.

Синтула отдавал приказания уверенным голосом, когда вдруг послышался ропот. Одного непокорного солдата уже засекли розгами до полусмерти. Всюду шнырял Деценций с пером за ухом, с бумагами в руках.

На дворе и на дороге, под вечерним пасмурным небом, стояли крытые полотнами повозки с огромными колесами, для солдатских жен и детей. Женщины причитали, прощаясь с родиной. Иные протягивали руки к дремучим лесам и пустынным равнинам; иные падали на землю и с жалобным воем целовали ее, называли своей матерью, скорбели о том, что кости их сгниют в чужой земле; иные, в покорном и молчаливом горе, завязывали в тряпочку горсть родной земли на память. Тощая сука, с ребрами, выступавшими от худобы, лизала колесную ось, смазанную салом. Вдруг, отойдя в сторону и уткнув морду в пыль, она завыла. Все, обернувшись, вздрогнули. Легионер сердито ударил ее ногой. Поджав хвост, с визгом убежала она в поле, и там, остановившись, завыла еще жалобнее, еще громче. И страшен был в чуткой тишине пасмурного вечера этот протяжный вой.

Сармат Арагарий принадлежал к числу тех, которые должны были покинуть Север. Он прощался со своим верным другом Стромбиком.

— Дядюшка, миленький, на кого ты меня покидаешь!..— хныкал Стромбик, глотая солдатскую похлебку: ему уступил ее Арагарий, который от горя не мог есть; у Стромбика лились слезы в похлебку, но все-таки он ел ее с жадностью.

— Ну, ну, молчи, дурак,— утешал его Арагарий, по своему обыкновению, презрительной и в то же время ласковой руганью.— И без тебя довольно бабьего воя!.. Лучше скажи-ка мне толком — ведь ты из тамошних мест — что за лес в этих странах, дубовый больше, или березовый?

— Что ты, дядюшка? Бог с тобой! Какой там лес? Песок да камень!

— Ну? Куда же от солнца прячутся люди?

— Некуда, дядюшка, и спрятаться. Одно слово — пустыня. Жарко — примерно сказать — как над плитою. И воды нет.

— Как нет воды? Ну, а пиво есть?

— Какое пиво! И не слыхали о пиве.

— Врешь!

— Лопни глаза мои, дядюшка, если во всей Азии, Месопотамии, Сирии найдешь ты хоть один бочонок пива или меда!

— Ну, брат, плохо! Жарко, да еще ни воды, ни пива, ни меда. Гонят нас видно на край света, как быков на убой.

— К черту на рога, дядюшка, прямо к черту на рога.

И Стромбик захныкал еще жалобнее.

В это время послышался далекий шум и гул голосов. Оба друга выбежали из казарм.

На остров Лютецию через пловучий мост бежали толпы солдат. Крики приближались. Тревога охватила казармы. Воины выходили на дорогу, собирались и кричали, несмотря на приказания, угрозы, даже удары центурионов.

— Что случилось? — спрашивал ветеран, который нес в солдатскую поварню вязанку хвороста.

— Еще, говорят, двадцать человек засекли.

— Какой двадцать — сто!

— Всех по очереди сечь будут — такой приказ!

Вдруг в толпу вбежал солдат в разорванной одежде, с бледным, обезумевшим лицом, и закричал:

— Бегите, бегите во дворец! Юлиана зарезали!

Слова эти упали, как искра в сухую солому. Давно тлевшее пламя бунта вспыхнуло неудержимо. Лица сделались зверскими. Никто ничего не понимал, никто никого не слушал. Все вместе кричали:

— Где злодеи?

— Бейте мерзавцев!

— Кого?

— Посланных императора Констанция!

— Долой императора!

— Эх вы, трусы,— такого вождя предали!

Двух первых попавшихся, ни в чем неповинных центурионов повалили на землю, растоптали ногами, хотели разорвать на части. Брызнула кровь, и при виде ее солдаты рассвирепели еще больше.

Толпа, хлынувшая через мост, приближалась к зданию казарм. Вдруг сделался явственным оглушительный крик:

— Слава императору Юлиану, слава Августу Юлиану!

— Убили! Убили!

— Молчите, дураки! Август жив — сами только что видели!

— Цезарь жив?

— Не цезарь,— император!

— Кто же сказал, что убили?

— Где же негодяй?

— Хотели убить!

— Кто хотел?

— Констанций!

— Долой Констанция! Долой проклятых евнухов!

Кто-то на коне проскакал в сумерках так быстро, что едва успели его узнать.

— Деценций! Деценций! Ловите разбойника!

Канцелярское перо все еще торчало у него за ухом, походная чернильница болталась за поясом. Провожаемый хохотом и руганью, он исчез.

Толпа росла. В темноте вечера бунтующее войско грозно волновалось и гудело. Ярость сменилась ребяческим восторгом, когда увидели, что легионы герулов и петулантов, отправленных утром, повернули назад, тоже возмутившись. Многие обнимали земляков, жен и детей, как после долгой разлуки. Иные плакали от радости. Другие, с криком, ударяли мечами в звонкие щиты. Разложили костры. Явились ораторы. Стромбик, бывший в молодости балаганным шутом в Антиохии, почувствовал прилив вдохновения. Товарищи подняли его на руки, и, делая театральные движения руками, он начал: «Nos quidem ad orbis terrarum extrema ut noxii pellimur et damnati,— нас отсылают на край света, как осужденных, как злодеев; семьи наши, которые ценою крови мы выкупили из рабства, снова подпадут под иго аламанов».

Не успел он кончить, как из казарм послышались пронзительные вопли, как будто резали поросенка, и вместе с ними хорошо знакомые солдатам удары лозы по голому телу: воины секли ненавистного центуриона Cedo Alteram. Солдат, бивший своего начальника, отбросил окровавленную лозу и, при всеобщем хохоте, закричал, подражая веселому голосу центуриона: «Давай новую!» — «Cedo Alteram!»

— Во дворец! Во дворец! — загудела толпа.— Провозгласим Юлиана августом, венчаем диадемой!

Все устремились, бросив на дворе полумертвого центуриона, лежавшего в луже крови.— Редкие звезды мерцали сквозь тучи. Сухой, порывистый ветер подымал пыль.

Ворота, двери, ставни дворца были наглухо заперты: здание казалось необитаемым.

Предчувствуя бунт, Юлиан никуда не выходил, почти не показывался солдатам и был занят гаданиями. Два дня, две ночи ждал чудес и явлений.

ICE · IESSE · ET · FLOS
DET · ISAIE · XI

В длинной, белой одежде пифагорейцев, с лампадой в руках, он подымался по узкой лестнице на самую высокую башню дворца. Там уже стоял, наблюдая звезды, в остроконечной, войлочной тиаре, персидский маг, помощник Максима Эфесского, посланный им Юлиану, тот самый Ногодарес, который некогда, в кабачке Сиракса, у подошвы Аргейской горы, предсказал трибуну Скудило его судьбу.

— Ну, что? — спросил Юлиан с тревогою, обозревая темный свод неба.

— Не видно,— отвечал Ногодарес,— облака мешают.

Юлиан сделал рукою нетерпеливое движение:

— Ни одного знамения! Точно небо и земля сговорились...

Промелькнула летучая мышь.

— Смотри, смотри,— может быть, по ее полету ты что-нибудь предскажешь.

Она почти коснулась лица Юлиана холодным, таинственным крылом и скрылась.

— Душа, тебе родная,— прошептал Ногодарес,— помни: сегодня ночью должно совершиться великое...

Послышались крики войска, неясные,— ветер заглушал их.

— Если что-нибудь узнаешь, приходи,— сказал Юлиан и спустился в книгохранилище.

Он начал ходить по огромной зале, из угла в угол, быстрыми неровными шагами. Иногда останавливался, насторожившись. Ему казалось, что кто-то следует за ним, и странный сверхъестественный холод в темноте веял ему в затылок. Он быстро оборачивался — никого не было; только тяжело и смутно волновавшаяся кровь стучала в виски. Опять начинал ходить — и опять казалось ему, что кто-то быстро, быстро шепчет ему на ухо слова, которые не успевает он разобрать.

Вошел слуга с известием, что старик, приехавший из Афин по очень важному делу, желает видеть его. Юлиан, вскрикнув от радости, бросился навстречу. Он думал, что это — Максим, но ошибся: то был великий иерофант Елевсинских таинств, которого он также с нетерпением ждал.

— Отец,— воскликнул цезарь,— спаси меня! Я должен знать волю богов. Пойдем скорее — все готово.

В это мгновение вокруг дворца раздались уже близкие, подобно раскату грома, оглушительные крики войска; старые кирпичные стены дрогнули.

Вбежал трибун придворных щитоносцев, бледный от ужаса:

— Бунт! Солдаты ломают ворота!

Юлиан сделал повелительный знак рукою.

— Не бойтесь! Потом, потом! Не впускать сюда никого!..

И, схватив иерофанта за руку, повлек его по крутой лестнице в темный погреб и запер за собой тяжелую кованую дверь.

В погребе готово было все: светочи, пламя которых отражалось в серебряном изваянии Гелиоса-Митры, бога Солнца; курильницы, священные сосуды с водою, вином и медом для возлияния, с мукою и солью для посыпания жертв; в клетках — различные птицы для гадания: утки, голуби, куры, гуси, орел; белый ягненок, связанный, жалобно блеявший.

— Скорее! Скорее! Я должен знать волю богов,— торопил Юлиан иерофанта, подавая остро отточенный нож.

Запыхавшийся старик совершил наскоро молитвы и возлияния. Заколол ягненка; часть мяса и жира положил на угли жертвенника и с таинственными заклинаниями начал осматривать внутренности; привычными руками вынимал окровавленную печень, сердце, легкие, исследуя их со всех сторон.

— Сильный будет низвержен,— проговорил иерофант, указывая на сердце ягненка, еще теплое.— Страшная смерть...

— Кто? — спрашивал Юлиан.— Я или он?

— Не знаю.

— И ты не знаешь?..

— Цезарь,— произнес старик,— не торопись. Сегодня ночью не решайся ни на что. Подожди до утра: предзнаменования сомнительны — и даже...

Не договорив, принялся он за другую жертву — за гуся, потом за орла. Сверху доносился шум толпы, подобный шуму наводнения. Раздавались удары лома по железным воротам. Юлиан ничего не слышал и с жадным любопытством рассматривал окровавленные внутренности: в почках зарезанной курицы надеялся увидеть тайны богов.

Старый жрец, качая головой, повторил:

— Ни на что не решайся: боги молчат.

— Что это значит? — воскликнул цезарь с негодованием.— Нашли время молчать!..

Вошел Ногодарес, с торжествующим видом:

— Юлиан, радуйся! Эта ночь решит судьбу твою. Спеши, дерзай — иначе будет поздно...

Маг взглянул на иерофанта, иерофант на мага.

— Берегись! — проговорил елевсинский жрец, нахмурившись.

— Дерзай! — молвил Ногодарес.

Юлиан, стоя между ними, смотрел то на того, то на другого в недоумении. Лица обоих авгуров были непроницаемы; они ревновали его друг к другу.

— Что же делать? Что же делать? — прошептал Юлиан.

Вдруг о чем-то вспомнил и обрадовался:

— Подождите, у меня есть древняя сибиллова книга — *О противоречии в ауспициях*. Справимся!

Он побежал наверх в книгохранилище. В одном из проходов встретился ему епископ Дорофей в облачении, с крестом и Св. Дарами.

— Что это? — спросил Юлиан, невольно отступая.

— Св. Тайны умирающей жене твоей, цезарь.

Дорофей пристально взглянул на пифагорейскую одежду Юлиана, на бледное лицо его с горящими глазами и окровавленные руки.

— Твоя супруга,— продолжал епископ,— желала бы видеть тебя перед смертью.

— Хорошо, хорошо — только не сейчас — потом... О, боги! Еще дурное знамение. И в такую минуту. Все, что делает она,— некстати!..

Он вбежал в книгохранилище, начал шарить в пыльных свитках. Вдруг послышалось ему, что чей-то голос явственно прошелестел ему в ухо: «дерзай! дерзай! дерзай!»

— Максим! Ты? — вскрикнул Юлиан и обернулся. В темной комнате не было никого. Сердце его так сильно билось, что он приложил к нему руку; холодный пот выступил на лбу.

— Вот чего я ждал,— проговорил Юлиан.— Это был голос *его*. Теперь иду. Все кончено. Жребий брошен!

Железные ворота рухнули с оглушающим грохотом. Солдаты ворвались в атриум. Слышался рев толпы, подобный реву зверя, и топот бесчисленных ног. Багровый свет факелов блеснул сквозь щели ставней, как зарево. Нельзя было медлить. Юлиан сбросил белую пифагорейскую одежду, облекся в броню, в цезарский палудаментум, шлем, подвязал меч, побежал по главной лестнице к выходным дверям, открыл их и вдруг явился перед войском с торжественно ясным лицом.

Все сомнения исчезли: в действии воля его окрепла; никогда еще в жизни не испытывал он такой внутренней силы, ясности духа и трезвости. Толпа это сразу почувствовала. Бледное лицо его казалось царственным и страшным. Он подал знак рукою — все притихли.

Он говорил: убеждал солдат успокоиться, уверял, что не покинет их, не позволит увести на чужбину, умолит своего «достолюбезного брата», императора Констанция.

— Долой Констанция! — перебили солдаты дружным криком.— Долой братоубийцу! Ты — император, не хотим другого. Слава Юлиану-Августу-Непобедимому!

Он искусно разыграл роль человека, изумленного, даже испуганного: потупил глаза, отвернул лицо в сторону и выставил руки вперед, подняв ладони, как будто отталкивая преступный дар и защищаясь от него. Крики усилились.

— Что вы делаете? — воскликнул Юлиан, с притворным ужасом.— Не губите себя и меня! Неужели думаете, что я могу изменить Благочестивому?..

— Убийца твоего отца, убийца Галла! — кричали солдаты.

— Молчите, молчите! — замахал он руками и вдруг по ступеням лестницы бросился в толпу.— Или вы не знаете? Пред лицом самого Бога клялись мы...

Каждое движение Юлиана было хитрым, глубоким притворством. Солдаты окружили его. Он вырвал меч из ножен, поднял его и направил против собственной груди:

— Мужи храбрейшие! Цезарь умрет скорее, чем изменит...

Они схватили его за руки, насильно отняли меч. Многие падали к ногам его, обнимали их со слезами и прикасались к своей груди обнаженным острием меча.

— Умрем,— кричали они,— умрем за тебя!

Другие протягивали к нему руки, с жалобным воплем:

— Помилуй нас, помилуй нас, отец!

Седые ветераны становились на колени и, хватая руки вождя, как будто желая поцеловать их, вкладывали его пальцы в свой рот, заставляли щупать беззубые десны; они говорили о несказанной усталости, о непосильных трудах, перенесенных за долгую службу; многие снимали платье и показывали ему голое старческое тело, раны, полученные в сражениях, спины с ужасными рубцами от розог.

— Сжалься! Сжалься! Будь нашим августом!

На глазах Юлиана навернулись искренние слезы: он любил эти грубые лица, этот знакомый казарменный воз-

дух, этот необузданный восторг, в котором чувствовал свою силу. Что бунт опасный — заметил он по особому признаку: солдаты не перебивали друг друга, а кричали все сразу, вместе, как будто сговорившись, и так же сразу умолкали: то раздавался дружный крик, то наступала внезапная тишина.

Наконец, как будто неохотно, побежденный насилием, произнес он тихо:

— Братья возлюбленные! Дети мои! Видите — я ваш на жизнь и смерть; не могу ни в чем отказать...

— Венчать его, венчать диадемой! — закричали они, торжествуя.

Но диадемы не было. Находчивый Стромбик предложил:

— Пусть август велит принести одно из жемчужных ожерелий супруги своей.

Юлиан возразил, что женское украшение непристойно и было бы дурным знаком для начала нового правления.

Солдаты не унимались: им непременно нужно было видеть блестящее украшение на голове избранника, чтобы поверить, что он — император.

Тогда грубый легионер сорвал с боевого коня нагрудник из медных блях — фалеру, и предложил венчать августа ею.

Это не понравилось: от кожи нагрудника пахло потом лошадиным.

Все стали нетерпеливо искать другого украшения. Знаменосец легиона петулантов, сармат Арагарий, снял с шеи медную чешуйчатую цепь, присвоенную званию его. Юлиан два раза обернул ее вокруг головы: эта цепь сделала его римским августом.

— На щит, на щит! — кричали солдаты.

Арагарий подставил ему круглый щит, и сотни рук подняли императора. Он увидел море голов в медных шлемах, услышал подобный буре торжественный крик:

— Да здравствует август Юлиан, август Божественный! Divus Augustus!

Ему казалось, что совершается воля рока.

Факелы померкли. На востоке появились бледные полосы. Неуклюжие кирпичные башни дворца чернели угрюмо. Только в одном окне краснел огонь. Юлиан догадался, что это окно тех покоев, где умирала жена его, Елена.

Когда на рассвете утомленное войско утихло, он пошел к ней.

Было поздно. Усопшая лежала на узкой девичьей постели. Все стояли на коленях. Губы ее были строго сжаты. От высохшего монашеского тела веяло целомудренным холодом. Юлиан, без угрызения, но с тяжелым любопытством, посмотрел на бледное, успокоенное лицо жены своей и подумал: «Зачем желала она видеть меня перед смертью? Что хотела, что могла она сказать мне?»

XXII

Император Констанций проводил печальные дни в Антиохии. Все ждали недоброго.

По ночам видел он страшные сны: в опочивальне до зари горели пять или шесть ярких лампад,— и все-таки боялся он мрака. Долгие часы просиживал один, в неподвижной задумчивости, оборачиваясь и вздрагивая от всякого шороха.

Однажды приснился ему отец его, Константин Великий, державший на руках дитя, злое и сильное; Констанций, будто бы, взяв от него ребенка, посадил его на правую руку свою, в левой стараясь удержать огромный стеклянный шар; но злое дитя столкнуло шар — он упал, разбился, и колючие иглы стекла, с невыносимой болью, стали впиваться в тело Констанция — в глаза, в сердце, в мозг — сверкали, звенели, трескались, жгли.

Император проснулся в ужасе, обливаясь холодным потом.

Он стал советоваться с прорицателями, знаменитыми волшебниками, угадчиками снов.

В Антиохию собраны были войска, и делались приготовления к походу против Юлиана. Иногда императором, после долгой неподвижности, овладевала жажда действия. Многие при дворе находили поспешность его неразумной; шепотом поверяли друг другу слухи о новых подозрительных странностях и причудах Кесаря.

Была поздняя осень, когда он выступил из Антиохии.

В полдень, на дороге, в трех тысячах шагах от города, близ деревни, называвшейся Гиппокефаль, увидел император обезглавленный труп неизвестного человека; тело, обращенное к западу, оказалось лежащим по правую руку от Констанция, ехавшего на коне; голова отделена была от туловища. Кесарь побледнел и отвернулся. Никто из приближенных не сказал ни слова, но все подумали, что это дурная примета.

В городе Тарсе Киликийском он почувствовал легкий озноб и слабость, но не обратил на них внимания и даже

с врачами не посоветовался, надеясь, что верховая езда по трудным горным дорогам на солнечном припеке вызовет испарину.

Он направился к небольшому городу, Мопсукренам, расположенному у подножия Тавра,— последней стоянке при выезде из Киликии.

Несколько раз, во время дороги, делалось у него сильное головокружение. Наконец, он должен был сойти с коня и сесть в носилки. Впоследствии евнух Евсевий рассказывал, что, лежа в носилках, император вынимал из-под одежды драгоценный камень с вырезанным на нем изображением покойной императрицы, Евсевии Аврелии, и целовал его с нежностью.

На одном из перекрестков он спросил, куда ведет другой путь; ему отвечали, что это дорога в покинутый дворец каппадокийских царей — Мацеллум.

При этом имени Констанций нахмурился.

В Мопсукрены приехали ввечеру. Он был утомлен и пасмурен.

Только что вошел в приготовленный дом, как один из придворных, по неосторожности, несмотря на запрет Евсевия, сообщил императору, что его ожидают два вестника из западных провинций.

Констанций велел их привести.

Евсевий умолял отложить дело до утра. Но император возразил, что ему лучше,— озноб прошел, и он чувствует теперь только легкую боль в затылке.

Впустили первого вестника, дрожащего и бледного.

— Говори сразу! — воскликнул Констанций, испуганный выражением лица его.

Вестник рассказал о неслыханной дерзости Юлиана: цезарь перед войсками разорвал августейшее письмо; Галлия, Паннония, Аквитания передались ему; изменники выступили против Констанция со всеми легионами, расположенными в этих странах.

Император вскочил, с лицом, искаженным яростью, бросился на вестника, повалил его и схватил за горло:

— Лжешь, лжешь, лжешь, мерзавец! Есть еще Бог, Царь Небесный, покровитель земных царей. Он не допустит,— слышите вы все, изменники,— не допустит Он...

Вдруг ослабел и закрыл глаза рукою. Вестник, ни живой, ни мертвый, успел юркнуть в дверь.

— Завтра,— бормотал Констанций глухо и растерян-

но,— завтра в путь... прямо, через горы... ускоренным ходом, в Константинополь!..

Евсевий, подойдя к нему, склонился раболепно:

— Блаженный Август, Господь даровал тебе, Своему помазаннику, одоление над всеми врагами и супостатами: ты победил буйного Максенция, Констана, Ветраниона, Галла. Ты победишь и богопротивного...

Но Констанций, не слушая, прошептал, качая головой, с бессмысленной улыбкой:

— Значит, нет Бога. Если только все это правда, значит, Бога нет; я — один. Пусть кто-нибудь осмелится сказать, что Он есть, когда творятся такие дела на земле. Я уже давно об этом думал...

Вопросительно обвел он всех мутными глазами и прибавил бессвязно:

— Позвать другого.

К нему приступил врач, придворный щеголь с бритым розовым наглым лицом, с бегающими рысьими глазками, еврей, притворявшийся римским патрицием. Подобострастно заметил он императору, что чрезмерное волнение может быть ему вредно, что необходим отдых. Констанций только отмахнулся от него, как от надоедливой мухи.

Ввели другого вестника. Это был трибун цезарских конюшен, Синтула, бежавший из Лютеции. Он сообщил еще более страшную весть: ворота города Сирмиум открылись перед Юлианом, и жители приняли его радостно, как спасителя отечества; через два дня он должен выйти на большую римскую дорогу в Константинополь.

Последних слов вестника император как будто не расслышал или не понял. Лицо его сделалось странно неподвижным. Он подал знак, чтобы все удалились. Остался Евсевий, с которым хотел он заняться делами.

Через некоторое время, почувствовав утомление, приказал, чтобы отвели его в спальню, и сделал несколько шагов. Но вдруг тихо простонал, поднес обе руки к затылку, как будто почувствовал сильную мгновенную боль, и пошатнулся. Придворные едва успели его поддержать.

Он не потерял сознания: по лицу, по всем движениям, по жилам, напрягавшимся на лбу, заметно было, что он делает неимоверные усилия, чтобы говорить; наконец, произнес медленно, выговаривая каждое слово шепотом, как будто сдавили ему горло:

— Хочу говорить... и не... могу...

То были последние слова его: он лишился языка; удар поразил всю правую сторону тела; правая рука и нога безжизненно повисли.

Его перенесли на постель.

В глазах была тревога и напряженная, непотухавшая мысль. Он усиливался сказать что-то, отдать, может быть, важное приказание, но из губ вырывались неясные звуки, походившие на слабое непрерывное мычание. Никто не мог понять, что он хочет, и больной поочередно обводил всех ясными глазами. Евнухи, придворные, военачальники, рабы толпились вокруг умирающего, хотели и не знали, чем услужить ему в последний раз.

Порою злоба вспыхивала в разумном пристальном взоре; тогда мычание казалось сердитым.

Наконец, Евсевий догадался и принес навощенные дощечки. Радость блеснула в глазах императора. Крепко и неуклюже, как маленькие дети, левою рукой ухватился он за медный стилос. После долгих усилий удалось ему вывести на мягком слое желтого воска несколько каракуль. Придворные с трудом разобрали слово: «креститься».

Он устремил на Евсевия неподвижный взор. Все удивились, что раньше не поняли: императору угодно было креститься перед смертью, так как, по примеру отца своего Константина Равноапостольного, откладывал он великое таинство до последней минуты, веря, что оно может сразу очистить душу от всех грехов — «обелить ее паче снега».

Бросились отыскивать епископа. Оказалось, что в Мопсукренах епископа нет. Позвали арианского пресвитера бедной городской базилики. Это был робкий, забитый человек, с птичьим лицом, острым красным носом, похожим на клюв, и острой бородкой. Когда пришли за ним, отец Нимфидиан — так звали его — приступал к десятому кубку дешевого красного вина и казался слишком веселым. Никак не могли ему втолковать в чем дело; он думал, что над ним смеются. Но когда убедили его, что предстоит крестить императора, он едва не лишился рассудка.

Пресвитер вошел в комнату больного. Император взглянул на бледного, растерянного и дрожащего отца Нимфидиана таким радостным, смиренным взором, каким еще не смотрел ни на одного человека во всю свою жизнь. Поняли, что он боится умереть и торопит совершение таинства.

По городу искали золотой или, по крайней мере, серебряной купели, но не нашли; правда, был роскошный сосуд, с драгоценными каменьями, но весьма подозрительного употребления: предполагали, что он служил для вакхи-

ческих таинств бога Диониса. Предпочли все-таки несомненную христианскую купель, хотя старую, медную, с грубо вдавленными краями.

Купель приставили к ложу; влили теплой воды, причем врач-еврей хотел попробовать ее рукою; император сделал яростное движение и замычал: должно быть, боялся он, что еврей опоганит воду.

С умирающего сняли нижнюю тунику. Сильные молодые щитоносцы легко, как ребенка, подняли его на руки и погрузили в воду.

Теперь он, без всякого умиления, с осунувшимся, безжизненным лицом, смотрел широко открытыми неподвижными глазами на ярко блестевший крест из драгоценных камней над золотой Константиновой хоругвью, Лабарумом; взор был пристальный, бессмысленный, как у грудных детей, когда они смотрят на блестящий предмет и не могут оторвать глаз.

Обряд, по-видимому, не успокоил больного; он как будто забыл о нем. В последний раз воля вспыхнула в глазах его, когда Евсевий опять подал ему дощечки и стилос. Констанций не мог писать — он только вывел первые буквы имени «Юлиан».

Что это значило? Хотел ли он простить врага, или завещал месть?

Он мучился в продолжение трех дней. Придворные шепотом говорили друг другу, что он хочет и не может помереть, что это — особое наказание Божие. Впрочем, все еще, по старой привычке, называли они умирающего «блаженным Августом», «Святостью», «Вечностью».

Должно быть, он страдал. Мычание превратилось в долгий, ни днем, ни ночью не прекращавшийся, хрип. Звуки эти были такие ровные, непрерывные, что, казалось, не могли вылетать из человеческой груди.

Придворные приходили и уходили, ожидая конца.

Только евнух Евсевий ни днем, ни ночью не покидал умирающего.

Сановник августейшей опочивальни лицом и нравом походил на старую, сварливую, злую и хитрую бабу; на совести его было много злодейств: все запутанные нити доносов, предательств, церковных распрей и придворных происков сходились в руках его; — но, может быть, он один во всем дворце любил своего повелителя, как верный раб.

По ночам, когда все засыпали или расходились, утомленные видом слишком долгих страданий, Евсевий не отходил от ложа; поправлял подушку, смачивал засыхавшие

губы больного ледяным напитком; порой становился на колени в ногах императора и, должно быть, молился. Когда никто не видел, Евсевий, тихонько отворачивая край пурпурного одеяла, со слезами целовал жалкие, бледные, окоченелые ноги умирающего Кесаря.

Раз показалось ему, что Констанций заметил эту ласку и отвечал на нее взором: что-то братское и нежное пронеслось между этими людьми — злыми, несчастными и одинокими.

Евсевий закрыл глаза императору и увидал, как на лице его, на котором столько лет было мнимое величие власти, воцарилось истинное величие смерти.

Над Констанцием должны были прозвучать слова, которые, по обычаю, Церковь возглашала перед опусканием в могилу останков римских императоров:

«Восстань, о, царь земли — гряди на зов Царя царей, да судит Он тебя».

XXIII

Недалеко от горных теснин Су́ккос, на границе между Иллирией и Фракией, в буковом лесу, по узкой дороге, ночью, шли два человека. То были император Юлиан и волшебник Максим.

Полная луна сияла в ясном небе и странным светом озаряла осеннее золото и пурпур листьев. Изредка, с шелестом, падал желтый лист. Веяло особенной сыростью, запахом поздней осени, невыразимо сладостным, свежим и, вместе с тем, унылым, напоминающим смерть. Мягкие сухие листья шуршали под ногами путников. Кругом в тихом лесу царило пышное похоронное великолепие.

— Учитель,— проговорил Юлиан,— отчего нет у меня божественной легкости жизни — этого веселья, которое делает такими прекрасными мужей Эллады?

— Ты не эллин!

Юлиан вздохнул.

— Увы! Предки наши — дикие варвары, мидийцы. В жилах моих тяжелая, северная кровь. Я не сын Эллады...

— Друг, Эллады никогда не было,— промолвил Максим, со своей обычной, двусмысленной улыбкой.

— Что это значит?

— Не было той Эллады, которую ты любишь.

— Вера моя тщетна?

— Верить,— отвечал Максим,— можно только в то,

чего нет, но что будет. Твоя Эллада будет, будет царство богоподобных людей.

— Учитель, ты обладаешь могучими чарами — освободи мою душу от страха!

— Перед чем?

— Не знаю... Я с детства боюсь, боюсь всего: жизни, смерти, самого себя, тайны, которая везде,— мрака. У меня была старая няня Лабда, похожая на Парку; она мне рассказывала страшные предания о доме Флавиев: она запугала меня. Глупые бабьи сказки все звучат с тех пор в ушах моих по ночам, когда я один; глупые, страшные сказки погубят меня... Я хочу быть радостным, как древние мужи Эллады,— и не могу! Мне кажется иногда, что я трус.— Учитель! Учитель! спаси меня. Освободи меня от этого вечного мрака и ужаса!

— Пойдем. Я знаю, что тебе нужно,— произнес Максим торжественно.— Я очищу тебя от галилейского тлена, от тени Голгофы лучезарным сиянием Митры; я согрею тебя от воды Крещения горячею кровью Бога-Солнца. О, сын мой, радуйся,— я дам тебе великую свободу и веселье, каких еще ни один человек не имел на земле.

Они вышли из лесу и вступили на узкую каменистую тропинку, высеченную в скале, над пропастью. Внизу шумел поток. Камень иногда срывался из-под ноги и, пробуждая грозное, сонное эхо, падал в бездну. Снега белели на вершине Родопа.

Юлиан и Максим вошли в пещеру. Это был храм Митры, где совершались таинства, воспрещенные римскими законами. Здесь не было роскоши, только в голых каменных стенах изваяны были таинственные знаки Зороастровой мудрости — треугольники, созвездья, крылатые чудовища, переплетающиеся круги. Факелы горели тускло, и жрецы-иерофанты в длинных странных одеждах двигались, как тени.

Юлиана также облекли в олимпийскую столу — одежду с вышитыми индейскими драконами, звездами, солнцами и гиперборейскими грифонами; в правую руку дали ему факел.

Максим предупредил его об установленных обрядных словах, которыми посвящаемый должен отвечать на вопросы иерофанта. Юлиан, приготовляясь к мистерии, выучил ответы наизусть, хотя значение их должно было открыться ему только во время самого таинства.

По ступеням, вырытым в земле, спустились в глубокую и узкую, продолговатую яму; в ней было душно и сыро;

сверху прикрывалась она крепким деревянным помостом, со многими отверстиями, как в решете.

Раздался стук копыт по дереву: жрецы поставили на помост трех черных, трех белых тельцов и одного огненно-рыжего, с позолоченными рогами и копытами. Иерофанты запели гимн. К нему присоединилось жалобное мычание животных, поражаемых двуострыми секирами. Они падали на колени, издыхали, и помост дрожал под их тяжестью. Своды пещеры гудели от рева огнецветного быка, которого жрецы называли богом Митрой.

Кровь, просачиваясь в скважины деревянного решета, падала на Юлиана алой теплой росой.

Это было величайшее из языческих таинств — Тавроболия, заклание быков, посвященных Солнцу.

Юлиан сбросил верхнюю одежду и подставил нижнюю белую тунику, голову, руки, лицо, грудь, все члены под струившуюся кровь, под капли живого страшного дождя.

Тогда Максим, верховный жрец, потрясая факелом, произнес:

— Душа твоя омывается искупительной кровью Бога-Солнца, чистейшею кровью вечно-радостного сердца Бога-Солнца, вечерним и утренним сиянием Бога-Солнца.— Боишься ли ты чего-нибудь, смертный?

— Боюсь жизни,— ответил Юлиан.

— Душа твоя освобождается,— продолжал Максим,— от всякой тени, от всякого ужаса, от всякого рабства вином божественных веселий, красным вином буйных веселий Митры-Диониса.— Боишься ли ты чего-нибудь, смертный?

— Боюсь смерти.

— Душа твоя становится частью Бога-Солнца,— воскликнул иерофант.— Митра неизреченный, неуловимый, усыновляет тебя — кровь от крови, плоть от плоти, дух от духа, свет от света.— Боишься ли ты чего-нибудь, смертный?

— Я ничего не боюсь,— отвечал Юлиан, с ног до головы окровавленный.— Я — как Он.

— Прими же радостный венец,— и Максим бросил ему острием меча на голову аканфовый венок.

— Только Солнце — мой венец!

Растоптал его ногами и, в третий раз, подымая руки к небу, воскликнул:

— Отныне и до смерти, только Солнце — мой венец!

Таинство было кончено. Максим обнял посвященного. На губах старика скользила все та же двусмысленная, неверная улыбка.

Когда они возвращались по лесной дороге, император обратился к волшебнику:

— Максим, мне кажется иногда, что о самом главном ты молчишь...

И он обернул свое лицо, бледное, с красными пятнами таинственной крови, которую, по обычаю, нельзя было стирать.

— Что ты хочешь знать, Юлиан?

— Что будет со мною?

— Ты победишь.

— А Констанций?

— Констанция нет.

— Что ты говоришь?..

— Подожди. Солнце озарит твою славу.

Юлиан не посмел расспрашивать. Они молча вернулись в лагерь.

В палатке Юлиана ожидал вестник из Малой Азии. То был трибун Синтула.

Он стал на колени и поцеловал край императорского полудаментума.

— Слава блаженному августу Юлиану!

— Ты от Констанция, Синтула?

— Констанция нет.

— Как?

Юлиан вздрогнул и взглянул на Максима, сохранявшего невозмутимое спокойствие.

— Изволением Божьего Промысла,— продолжал Синтула,— твой враг скончался в городе Мопсукренах, недалеко от Мацеллума.

На следующий день вечером собраны были войска. Они уже знали о смерти Констанция.

Август Клавдий Флавий Юлиан взошел на обрыв, так что все войска могли его видеть,— без венца, без меча и брони, облеченный только в пурпур с головы до ног; чтобы скрыть следы крови, которую не должно было смывать, пурпур натянут был на голову, падал на лицо. В этой странной одежде походил он скорее на первосвященника, чем на императора.

За ним, по склону Гэма, начинаясь с того обрыва, где он стоял, краснел увядающий лес; над самой головой императора пожелтевший клен в голубых небесах шелестел и блестел, как золотая хоругвь.

До самого края неба распростиралась равнина Фракийская; по ней шла древняя римская дорога, выложенная

широкими плитами белого мрамора,— ровная, залитая солнцем, как будто триумфальная, бежала она до самых волн Пропонтиды, до Константинополя, второго Рима.

Юлиан смотрел на войско. Когда легионы двигались, по медным шлемам, броням и орлам, от заходящего солнца, вспыхивали багровые молнии, концы копий над когортами теплились, как свечи.

Рядом с императором стоял Максим. Наклонившись к уху Юлиана, шепнул ему:

— Смотри, какая слава! Твой час пришел. Не медли!

Он указал на христианское знамя, Лабарум, Священную хоругвь, сделанную для римского воинства по образу того огненного знамени, с надписью *Сим победиши*, которое Константин Равноапостольный видел на небе.

Трубы умолкли. Юлиан произнес громким голосом:

— Дети мои! Труды наши кончены. Благодарите олимпийцев, даровавших нам победу.

Слова эти расслышали только первые ряды войска, где было много христиан; среди них произошло смятение.

— Слышали? Не Господа благодарит, а богов олимпийских,— говорил один солдат.

— Видишь — старик с белой бородой? — указывал другой товарищу.

— Кто это?

— Сам дьявол в образе Максима-волхва: он-то и соблазнил императора.

Но отдельные голоса христианских воинов были только шепотом. Из дальних когорт, стоявших сзади, не расслышавших слов Юлиана, подымался восторженный крик:

— Слава божественному августу, слава, слава!

И все громче и громче, с четырех концов равнины, покрытой легионами, подымался крик:

— Слава! Слава! Слава!

Горы, земля, воздух, лес дрогнули от голоса толпы.

— Смотрите, смотрите, наклоняют Лабарум,— ужасались христиане.

— Что это? Что это?

Древнюю военную хоругвь, одну из тех, которые были освящены Константином Великим,— склонили к ногам императора.

Из лесу вышел солдат-кузнец, с походной жаровней, закоптелыми щипцами и котелком, в котором носили олово; все это, с неизвестной целью, приготовлено было заранее.

Император, бледный, несмотря на отблеск пурпура и солнца, сорвал с древка Лабарума золотой крест и монограмму Христа из драгоценных каменьев. Войско замерло. Жемчужины, изумруды, рубины рассыпались, и тонкий крест, вдавленный в сырую землю, погнулся под сандалией римского Кесаря.

Максим вынул из великолепного ковчежца обернутое в шелковые голубые пелены маленькое серебряное изваяние бога Солнца, Митры-Гелиоса.

Кузнец подошел, в несколько мгновений искусно выправил щипцами погнувшиеся крючки на древке Лабарума и припаял оловом изваяние Митры.

Прежде чем войска опомнились от ужаса, Священная хоругвь Константина зашелестела и взвилась над головой императора, увенчанная кумиром Аполлона.

Старый воин, набожный христианин, отвернулся и закрыл глаза рукою, чтобы не видеть этой мерзости.

— Кощунство! — пролепетал он, бледнея.

— Горе! — шепнул третий на ухо товарищу.— Император отступил от церкви Христовой.

Юлиан стал на колени перед знаменем и, простирая руки к серебряному изваянию, воскликнул:

— Слава непобедимому Солнцу, владыке богов! Ныне поклоняется август вечному Гелиосу, Богу света, Богу разума, Богу веселия и красоты олимпийской!

Последние лучи солнца отразились на беспощадном лике Дельфийского идола; голова его окружена была серебряными острыми лучами; он улыбался.

Легионы безмолвствовали. Наступила такая тишина, что слышно было, как в лесу, шелестя, один за другим, падают мертвые листья.

И в кровавом отблеске вечера, и в багрянице последнего жреца, и в пурпуре увядшего леса — во всем была зловещая, похоронная пышность, великолепие смерти.

Кто-то из солдат, в передних рядах, произнес так явственно, что Юлиан услышал и вздрогнул:

— Антихрист!

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Рядом с конюшнями, в ипподроме Константинополя находилось помещение, вроде уборной, для конюхов, наездниц, мимов и кучеров. Здесь, даже днем, коптели подвешенные к сводам лампады. Удушливый воздух, пропитанный запахом навоза, веял теплотой конюшен.

Когда завеса на дверях откидывалась, врывался ослепительный свет утра. В солнечной дали виднелись пустые скамьи для зрителей, величественная лестница, соединявшая императорскую ложу с внутренними покоями Константинова дворца, каменные стрелы египетских обелисков и, посреди желтого, гладкого песка, исполинский жертвенник из трех перевившихся медных змей: плоские головы их поддерживали дельфийский треножник великолепной работы.

Иногда с арены доносилось хлопанье бича, крики наездников, фырканье разгоряченных коней и шуршание колес по мягкому песку, подобное шуршанию крыльев.

Это была не скачка, а только подготовительное упражнение к настоящим играм, назначенным на ипподроме через несколько дней.

В одном углу конюшни голый атлет, натертый маслом, покрытый гимнастической пылью, с кожаным поясом по бедрам, подымал и опускал железные гири; закидывая курчавую голову, он так выгибал спину, что кости в суставах трещали, лицо синело, и бычачьи жилы напрягались на толстой шее.

Сопутствуемая рабынями, подошла к нему молодая женщина в нарядной утренней столе, натянутой на голову, опущенной складками на тонкое родовитое и уже отцветавшее лицо. Это была усердная христианка, любимая всеми клириками и монахами за щедрые вклады в монастыри, за обильные милостыни,— приезжая из Александрии вдова римского сенатора. Сперва скрывала она свои

похождения, но скоро увидела, что соединять любовь к церкви с любовью к цирку считается новым светским изяществом. Все знали, что Стратоника ненавидит константинопольских щеголей, завитых и нарумяненных, изнеженных, прихотливых, как она сама. Такова была ее природа: она соединяла драгоценнейшие аравийские духи с раздражающей теплотой конюшни и цирка; после горячих слез раскаяния, после потрясающей исповеди искусных духовников, этой маленькой женщине, хрупкой, как вещица, выточенная из слоновой кости, нужны были грубые ласки прославленного конюха.

Стратоника смотрела на упражнения атлета с видом тонкой ценительницы. Сохраняя тупоумную важность на бычачьем лице, гимнаст не обращал на нее внимания. Она что-то шептала рабыне на ухо и с простодушным удивлением, заглядевшись на могучую голую спину атлета, любовалась тем, как страшные геркулесовские мускулы двигаются под жесткой красно-коричневой кожей на огромных плечах, когда, разгибаясь и медленно вбирая воздух в легкие, как в кузнечные мехи, подымал он железные гири над звероподобной, бессмысленно красивой головой.

Занавеска откинулась, толпа зрителей отхлынула, и две молодые каппадокийские кобылы, белая и черная, впорхнули в конюшню, вместе с молодой наездницей, которая ловко, с особенным гортанным криком, перепрыгивала с одной лошади на другую. В последний раз перевернулась она в воздухе и соскочила на землю — такая же крепкая, гладкая, веселая, как ее кобылицы; на голом теле виднелись маленькие капли пота. К ней подскочил с любезностью молодой щегольски одетый иподиакон из базилики св. Апостолов, Зефирин, большой любитель цирка, знаток лошадей и завсегдатай скачек, ставивший огромные заклады за партию «голубых» против «зеленых». У него были сафьянные скрипучие полусапожки на красных каблуках. С подведенными глазами, набеленный и тщательно завитой, Зефирин более походил на молодую девушку, чем на церковнослужителя. За ним стоял раб, нагруженный всевозможными свертками, узелками, ящиками тканей — покупками из модных лавок.

— Кро́кала, вот те самые духи, которые ты третьего дня просила.

С вежливым поклоном подал иподиакон наезднице изящную баночку, запечатанную голубым воском.

— Целое утро бегал по лавкам. Едва нашел. Чистейший нард! Вчера привезли из Апамеи.

— А это что за покупки? — полюбопытствовала Крокала.

— Шелк с модным рисунком — разные дамские безделушки.

— Все для твоей?..

— Да, да, все для моей благочестивой сестры, для набожной матроны Блезиллы. Надо же помогать ближним. Она полагается на мой вкус при выборе тканей. С рассвета бегаю по ее поручениям. Совсем с ног сбился. Но не ропщу,— нет, нет, не ропщу. Блезилла такая, право, добрая, такая, можно сказать, святая женщина!..

— Да, но, к сожалению, старая,— засмеялась Крокала.— Эй, мальчик, вытри поскорее пот с вороной кобылы свежими фиговыми листьями.

— И у старости есть свои преимущества,— возразил иподиакон, самодовольно потирая белые холеные руки с драгоценными перстнями; потом спросил ее шепотом, на ухо:

— Сегодня вечером?..

— Не знаю, право. Может быть... А ты мне хочешь что-нибудь принести?

— Не бойся, Крокала: не приду с пустыми руками. Есть кусочек тирского лилового пурпура. Что за узор, если бы ты знала!

Он зажмурился, поднес к губам два пальца, поцеловал их и причмокнул:

— Ну, просто загляденье!

— Где взял?

— Конечно, в лавке Сирмика у Констанциевых Бань — за кого ты меня принимаешь? — Можно бы сделать из этого длинный тарантинидион. Ты только представь себе, что вышито на подоле! Ну, как ты думаешь, что?

— Почем я знаю. Цветы, звери?..

— Не цветы и не звери, а золотом с разноцветными шелками — вся история циника Диогена, нищего мудреца, жившего в бочке.

— Ах, должно быть, красиво! — воскликнула наездница.— Приходи, приходи непременно. Буду ждать.

Зефирин взглянул на водяные часы — клепсидру, стоявшую в углублении стены, и заторопился.

— Опоздал! Еще забежать к ростовщику по делу матроны, к ювелиру, к патриарху, в церковь, на службу.— Прощай, Крокала!

— Смотри же, не обмани,— закричала она ему вслед и погрозила пальцем: — шалун!

Иподиакон, со своим рабом, нагруженным покупками, исчез, поскрипывая сафьянными полусапожками.

Вбежала толпа конюхов, наездников, танцовщиц, гимнастов, кулачных бойцов, укротителей хищных зверей. С железной сеткой на лице, гладиатор Мирмиллон накаливал на жаровне толстый железный прут для укрощения только что полученного африканского льва; из-за стены слышалось рыканье зверя.

— Доведешь ты меня до гроба, внучка, и себя до вечной погибели.— О-хо-хо, поясница болит! Мочи нет!

— Это ты, дедушка Гнифон? Чего ты все хнычешь? — промолвила Крокала с досадою.

Гнифон был старичок, с хитрыми слезящимися глазками, сверкавшими из-под седых бровей, которые шевелились, как две белые мыши,— с носом темно-сизым, как спелая слива; на ногах у него пестрели заплатанные лидийские штаны; на голове болталась фригийская войлочная шапка, в виде колпака, с перегнутой наперед остроконечной верхушкой и двумя лопастями для ушей.

— За деньгами приплелся? — сердилась Крокала.— Опять пьян!

— Грех тебе так говорить, внучка. Ты за мою душу ответ Богу дашь. Подумай только, до чего ты меня довела! Живу я теперь в предместье Смоковниц, нанимаю подвальчик у делателя идолов. Каждый день вижу, как из мрамора высекает он, прости Господи, образины окаянные. Думаешь, легко это для доброго христианина? А? Утром глаз не продерешь,— уж слышишь: тук, тук, тук,— колотит хозяин молотком по камню — и выходят, одни за другими, гнусные белые черти, проклятые боги — точно смеются надо мной, корчат бесстыдные хари! Как же тут не согрешить, с горя в кабак не зайти да не выпить? О-хо-хо! Господи, помилуй нас грешных! Валяюсь я в скверне языческой, как свинья во гноище. И ведь знаю, все с нас взыщется, все до последнего кадранта. А кто, спрашивается, виноват? Ты! У тебя, внучка, куры денег не клюют, а ты для бедного старика...

— Врешь, Гнифон,— возразила девушка,— вовсе ты не беден, скряга! У тебя под кроватью кубышка...

Гнифон в ужасе замахал руками:

— Молчи, молчи!

— Знаешь ли, куда я иду? — прибавил он, чтобы переменить разговор.

— Должно быть, опять в кабак...

— А вот и не в кабак, кое-куда похуже,— в капище

самого Диониса! Храм, со времени блаженного Константина, завален мусором. А завтра, по августейшему повелению кесаря Юлиана, открывается вновь. Я и нанялся чистить. Знаю, что душу погублю и ввержен буду в геену. А все-таки соблазнился. Потому наг есмь и нищ, и гладен. Поддержки от собственной внучки не имею. Вот до чего дожил!

— Отстань, Гнифон, надоел, вот на — и убирайся. Не смей больше приходить ко мне пьяным!

Она бросила ему несколько мелких монет, потом вскочила на рыжего полудикого иллирийского жеребца и, стоя на спине его, хлопая длинным бичом, снова полетела на ипподром.

Гнифон, указывая на нее и прищелкивая языком от удовольствия, воскликнул гордо:

— Сам своими руками вспоил и вскормил!

Крепкое голое тело наездницы сверкало на утреннем солнце, и развевающиеся длинные волосы были такого же цвета, как шерсть жеребца.

— Эй, Зотик,— крикнул Гнифон старому рабу, подбиравшему навоз в плетеную корзину,— пойдем-ка со мной чистить храм Диониса. Ты в этом деле мастер. Три обола дам.

— Пожалуй, пойдем,— отвечал Зотик,— только вот сейчас я лампадку богине заправлю.

Это была Гиппона, богиня конюхов, конюшен и навоза. Грубо высеченная из дерева, закоптелая, безобразная, похожая на обрубок, стояла она в сыром темном углублении стены. Раб Зотик, выросший среди лошадей, чтил ее свято, молился ей со слезами, украшал ее грубые черные ноги свежими фиалками, верил, что она исцеляет все его недуги, сохранит его в жизни и смерти.

Гнифон и Зотик вышли на площадь — Форум Константина, круглый, с двойными рядами столбов и триумфальными воротами. Посреди площади, на мраморном подножии, возвышался исполинский порфировый столб; на вершине его, на высоте более чем сто двадцать локтей, сверкало бронзовое изваяние Аполлона, произведение Фидия, похищенное из одного города Фригии. Голова древнего бога Солнца была отбита и, с варварским безвкусием, к туловищу эллинского идола приставили голову христианского императора Константина Равноапостольного; чело его окружал венец из золотых лучей; в правой руке Аполлон-Константин держал скипетр, в левой — державу. У подножия колосса виднелась маленькая христианская

часовня, вроде Палладиума. Еще недавно, при Констанции, совершалось в ней богослужение. Христиане оправдывались тем, что в бронзовом туловище Аполлона, в самой груди солнечного бога, заключен талисман, кусок Честнейшего Креста Господня, привезенного св. Еленой из Иерусалима. Император Юлиан закрыл эту часовню.

Зотик и Гнифон вступили в узкую длинную улицу, которая вела прямо к Халкедонским Лестницам, недалеко от гавани. Многие здания еще строились, другие перестраивались, потому что были воздвигнуты, из угоды Константину, строителю города, с такой поспешностью, что обвалились. Внизу сновали прохожие, толпились у лавок покупатели, рабы, носильщики; гремели колесницы. А вверху, на деревянных плотничьих лесах, стучали молотки, скрипели блоки, визжали острые пилы по твердому белому камню; рабочие на веревках подымали огромные бревна или четырехугольные глыбы проконезского, блистающего в лазури, мрамора; пахло сыростью новых домов, невысохшей известкой; на головы сыпалась мелкая белая пыль; и кое-где, среди ослепительно ярких, залитых солнцем, только что выбеленных стен, искрились вдали, в глубине переулков, воздушно-голубые смеющиеся волны Пропонтиды, с парусами, подобными крыльям чаек.

Гнифон услышал мимоходом отрывок из разговора двух рабочих, с ног до головы запачканных алебастровой замазкой, которую месили они в большом чане.

— Зачем ты принял веру галилеян? — спрашивал один.

— Сам посуди,— ответил товарищ,— у христиан не вдвое, а впятеро больше праздников. Никто себе не враг. И тебе советую. С христианами — куда вольнее!

На перекрестке толпа народа прижала Гнифона и Зотика к стене. Посредине улицы столпились колесницы, и не было ни проезда, ни прохода; слышались брань, крики, хлопание бичей, понукание погонщиков. Двадцать пар сильных волов, сгибая головы под ярмом, тащили на огромной повозке с тяжелыми каменными колесами, похожими на жернова, яшмовую колонну. От грохота земля гудела.

— Куда везете? — спросил Гнифон.

— Из базилики св. Павла во храм богини Геры. Христиане похитили эту колонну; теперь возвращают ее на старое место.

Гнифон оглянулся на грязную стену, у которой стоял;

уличные мальчишки из язычников нарисовали на ней углем кощунственную карикатуру на христиан: человека с ослиной головой, распятого на кресте.

Гнифон с негодованием плюнул.

Близ одного многолюдного рынка заметили они на стене изображение Юлиана, со всеми знаками кесарской власти; из облаков спускался к нему крылатый бог Гермес с кадуцеем; картина была новая — краски еще не высохли.

По римскому закону, каждый, кто проходил мимо священного изображения Августа, должен был почтить его склонением головы.

Рыночный надзиратель, агораном, задержал старушку с корзиной свеклы и капусты.

— Я богам не кланяюсь,— плакала старушка.— Еще отец и мать мои были христианами...

— Ты должна была поклониться не богу, а кесарю,— возражал надзиратель.

— Да ведь кесарь вместе с богом. Как же я ему поклонюсь отдельно?

— А мне какое дело! Сказано — кланяйся. И богу поклонишься,— голова не отвалится.

Гнифон потащил Зотика скорее прочь.

— Бесовская хитрость! — ворчал старик.— Либо окаянному Гермесу поклоняйся, либо повинным будь в оскорблении величества. Ни туда, ни сюда. О-хо-хо, антихристовы времена! Воздвигает дьявол бурю гонения лютого. Того и гляди, согрешишь... Смотрю я на тебя, Зотик,— и зависть берет: живешь ты со своей навозной богиней Гиппоной, и горя тебе мало.

Они подошли к Дионисову храму. Рядом с капищем находилась обитель христианских монахов, у которой окна и ворота заперты были наглухо замками и железными засовами, как будто перед нашествием врагов; язычники обвиняли монахов в разграблении и осквернении храма.

Гнифон и Зотик, когда вступили в него,— увидели слесарей, плотников, каменщиков, занятых очисткой и поправкой поврежденных частей здания.

Ломали полусгнившие доски, которыми заколочено было четырехугольное отверстие в крыше. Солнечный луч упал в темный воздух.

— Паутины, смотрите, паутины-то сколько!

Между коринфскими венцами мраморных столбов висели целые сети прозрачной пыльно-серой ткани. Насадили метлы на длинные шесты и начали сметать паутину.

Потревоженная летучая мышь выпорхнула из щели и заметалась, не зная, куда спрятаться от света, тыкаясь во все углы, шурша голыми крыльями.

Зотик разгребал на полу кучи мусора и выносил его в плетеной корзине.

— Вишь ты, проклятые, какой пакости навалили! — ворчал старик себе под нос, браня христиан, осквернителей храма.

Принесли связку тяжелых заржавленных ключей и отперли сокровищницу. Все ценное разграбили монахи; дорогие камни с жертвенных чаш были вынуты; золотые и пурпурные нашивки сорваны с одежд. Когда развернули одну великолепную жреческую ризу, туча золотисто-соломенной моли вылетела из складок. На дне железной курильницы увидел Гнифон горсть пепла — остаток мирры, сожженной, до победы Галилеянина, последним жрецом, во время последнего жертвоприношения. От всей этой священной рухляди — бедных тряпок и сломанных сосудов — веяло запахом смерти, вековою плесенью и еще каким-то нежным, грустным благоуханием — фимиамом обесчещенных богов. Сладкое уныние проникло в сердце Гнифона: он что-то вспомнил и улыбнулся; может быть, вспомнил детство, вкусные ячменные лепешки с медом и тмином, белые полевые маргаритки и желтые одуванчики, которые приносил со своей матерью на скромный алтарь деревенской богини; вспомнил лепетание детских молитв не далекому небесному Богу, а маленьким, земным, лоснящимся от прикосновения рук человеческих, выточенным из простого букового дерева, домашним, родимым Пенатам. И жаль ему стало умерших богов: он тяжело вздохнул. Но тотчас опомнился и прошептал крестясь: «наваждение бесовское!»

Рабочие принесли тяжелую мраморную плиту, древний барельеф, похищенный много лет назад и найденный в соседней лачуге еврейского сапожника. Барельеф, вставленный среди кирпичей, послужил сапожнику для поправки полуразвалившейся кухонной печи. Старая Филумена, жена соседнего суконщика, набожная христианка, ненавидела жену сапожника: проклятая жидовка то и дело пускала осла своего в капустный огород суконщицы. Много лет продолжалась война между соседками. Наконец, христианка победила: по ее указанию, рабочие ворвались в дом сапожника и, чтобы вынуть барельеф из кухонного очага, должны были сломать печь. Это был жестокий удар для сапожницы. Бедная стряпуха, потрясая ухватом, призыва-

ла мщение Иеговы на нечестивых, рвала себе жидкие седые волосы и жалобно выла над опрокинутыми кастрюлями и разрушенным очагом. Жиденята пищали, как птенцы в разоренном гнезде. Но барельеф перенесли все-таки на прежнее место.

Филумена мыла его; он весь почернел от зловонной копоти; жирные струи еврейских похлебок оскверняли белый пентеликонский мрамор. Суконщица усердно терла мокрой тряпкой нежный камень — и мало-помалу, из-под смрадной кухонной сажи, выступали строгие божественные лики древнего изваяния: Дионис, юный, нагой, девственный, полулежа, опустил руку с чашей, как будто утомленный пиршеством; пантера лизала остатки вина; и бог, дарующий всему живому веселье, с благосклонной и мудрой улыбкой, взирал, как силу дикого зверя укрощает святая сила вина.

Каменщики подымали на веревках плиту, чтобы укрепить ее на прежнем месте.

Перед самым кумиром Диониса, на складной деревянной лестнице, стоял золотых дел мастер и в темные глазные впадины на лице бога вставлял два прозрачно-голубых сапфира: то были глаза Диониса.

— Что это? — спросил Гнифон с робким любопытством.

— Разве не видишь? Глаза.

— Так, так... А откуда же эти камешки?

— Из монастыря.

— Да как же монахи позволили?

— Еще бы не позволить! Сам блаженный Август Юлиан повелел. Светлые очи бога служили украшением одежде Распятого. То-то и есть: толкуют о милосердии, о справедливости, а сами же — первые разбойники.— Смотри-ка, камешки точь-в-точь пришлись на старое место!

Прозревший бог взглянул на Гнифона блестящими сапфирными очами. Старик отошел и перекрестился, охваченный ужасом. Раскаяние мучило его. Сметая пыль, по старой привычке, разговаривал он сам с собой:

— Гнифон, Гнифон, жалкий ты человечишка, пес непотребный! Ну что ты с собою сделал на старости лет? За что себя погубил? Попутал Лукавый, соблазнил окаянною модою. И пойдешь ты в огонь вечный, и нет тебе больше спасения. Осквернил ты свое тело и душу, Гнифон, идольскою мерзостью. Лучше бы тебе и света Божьего не видеть!..

— Чего ты ворчишь, дедушка? — спросила его суконщица Филумена.

— Скорбит мое сердце, ох, скорбит!

— Христианин, что ли?

— Какой христианин, хуже всякого жида,— не христианин я, а христопродавец!

Но он все-таки продолжал с усердием сметать пыль.

— А хочешь, я с тебя грех сниму, и не будет на тебе никакой скверны? Я ведь и сама христианка,— а вот не боюсь. Разве пошла бы на такое дело, если бы не знала, как очиститься?

Гнифон посмотрел на нее с недоверием.

Суконщица оглянулась и, убедившись, что их никто не услышит, прошептала с таинственным видом:

— Есть такое средство! Да. Надо тебе сказать, что некий старец святой подарил мне кусочек египетского древа, именуемого персис; растет сие древо в Гермополисе Фиваидском. Когда младенец Иисус с Пресвятою Девою на ослице въезжали в городские ворота, древо персис склонилось перед ними до земли, и с тех пор стало оно чудотворным — исцеляет болящих. От оного древа есть у меня малая щепочка, и от щепочки той отделю я тебе порошинку. Такая в нем благодать, такая благодать, что как положишь на ночь самый маленький кусочек в большой чан воды,— к утру вся вода освятится, и будет в ней сила чудодейственная. Той водицею вымоешься с ног до головы, и мерзости идольской на тебе как не бывало; во всех суставах почувствуешь легкость и чистоту.— И в Писании сказано: очистишься банею водною и убелишься паче снега.

— Благодетельница! — возопил Гнифон.— Спаси меня, окаянного, дай ты мне этого древа!

— Только оно дорогое. Ну, да уж куда ни шло, уступлю тебе за драхму.

— Что ты, мать моя, помилосердствуй! У меня отроду не водилось драхмы. Хочешь за пять оболов?

— Эх, ты, скряга! — с негодованием плюнула суконщица.— Драхмы пожалел. Неужели душа твоя драхмы не стоит?

— Да полно, очищусь ли? — усумнился Гнифон.— Может быть, скверна так прилипла, что уже не отстанет?

— Очистишься! — возразила старуха с несокрушимой уверенностью.— Теперь ты как смрадный пес. А брызнешь на себя святою водицею,— струпья с души твоей спадут, и просияет она чистотою голубиною.

II

Юлиан устроил в Константинополе вакхическое шествие. Он сидел на колеснице, запряженной белыми конями; в одной руке его был золотой тирс, увенчанный кедровою шишкой, символом плодородия, в другой — чаша, обвитая плющом; солнечные лучи, падая на хрустальное дно, отражались ослепительно, и казалось, что чаша до краев полна, как вином, солнечным светом. Рядом с колесницей шли ручные пантеры, присланные ему с острова Серендиба. Вакханки пели, ударяя в тимпаны, потрясая зажженными факелами; сквозь облако дыма видно было, как юноши с приставленными ко лбу козлиными рогами фавнов наливали в чаши вино из кувшинов; они толкали друг друга, смеясь; и часто алая струя, падая мимо кубка на голое круглое плечо вакханки, разлеталась брызгами. На осле ехал толстобрюхий старик, придворный казначей, большой плут и взяточник, изображавший Силена.

Вакханки пели, указывая на молодого императора:

Вакх, ты сидишь окруженный
Облаком вечно блестящим!

Тысячи голосов подхватывали песнь хора из «Антигоны»:

К нам, о, чадо Зевеса!
К нам, о, бог-предводитель
Пламенеющих хоров
Полуночных светил!
С шумом, песнями, криком
И с безумной толпою
Дев, объятых восторгом,
Вакха славящих пляской,—
К нам, о радостный бог!

Вдруг Юлиан услышал смех, женский визг и дребезжащий старческий голос.

— Ах ты, цыпочка моя!..

Это жрец, шаловливый старичок, ущипнул хорошенькую вакханку за голый белый локоть. Юлиан нахмурился и подозвал к себе старого шута. Тот подбежал к нему, подплясывая и прихрамывая.

— Друг мой,— шепнул Юлиан ему на ухо,— сохраняй пристойную важность, как возрасту и сану твоему приличествует.

Но жрец посмотрел на него с таким удивленным выражением, что Юлиан невольно умолк.

— Я человек простой, неученый,— осмелюсь доложить твоему величеству, философию мало разумею. Но богов

чту. Спроси, кого угодно. Во дни лютых гонений христианских остался я верен богам. Ну, уж зато, хэ, хэ, хэ! как увижу хорошенькую девочку,— не могу, вся кровь взыграет! — Я ведь старый козел...

Видя недовольное лицо императора, он вдруг остановился, принял важный вид и сделался еще глупее.

— Кто эта девушка?— спросил Юлиан.

— Та, что несет корзину со священными сосудами на голове?

— Да.

— Гетера из Халкедонского предместья.

— Как? Ужели допустил ты, чтобы блудница касалась нечистыми руками священнейших сосудов бога?

— Но ведь ты же сам, благочестивый Август, повелел устроить шествие. Кого было взять? Все знатные женщины — галилеянки. И ни одна из них не согласилась бы идти полуголой на такое игрище.

— Так, значит,— все они?..

— Нет, нет, как можно! Здесь есть и плясуньи, и комедиантки, и наездницы из ипподрома. Посмотри, какие веселые,— и не стыдятся! Народ это любит. Уж ты мне поверь, старику! Им только этого и нужно... А вот и знатная.

Это была христианка, старая дева, искавшая женихов. На голове ее возвышался парик, в виде шлема *галерион*, из знаменитых в то время германских волос, пересыпанных золотою пудрою; вся, как идол, увешанная драгоценными каменьями, натягивала она тигровую шкуру на свою иссохшую старушечью грудь, бесстыдно набеленную, и улыбалась жеманно.

Юлиан с отвращением всматривался в лица.

Канатные плясуны, пьяные легионеры, продажные женщины, конюхи из цирка, акробаты, кулачные бойцы, мимы — бесновались вокруг него.

Шествие вступило в переулок. Одна из вакханок забежала по дороге в грязную харчевню; оттуда пахнуло тяжелым запахом рыбы, жареной на прогорклом масле. Вакханка вынесла из харчевни на три обола жирных лепешек и начала их есть с жадностью, облизываясь; потом, окончив, вытерла руки о пурпурный шелк одежды, выданной для празднества из придворной сокровищницы.

Хор Софокла надоел. Хриплые голоса затянули площадную песню.

Юлиану все это казалось гадким и глупым сном.

Пьяный кельт споткнулся и упал; товарищи стали его подымать. В толпе изловили двух карманных воришек, которые отлично разыгрывали роль фавнов; воришки защищались; началась драка. Лучше всех вели себя пантеры, и они были красивее всех.

Наконец шествие приблизилось к храму. Юлиан сошел с колесницы.

«Неужели,— подумал он,— предстану я перед жертвенник бога со всей этой сволочью?»

Холод отвращения пробегал по его телу. Он смотрел на зверские лица, одичалые, истощенные развратом, казавшиеся мертвыми сквозь белила и румяна, на жалкую наготу человеческих тел, обезображенных малокровием, золотухой, постами, ужасом христианского ада; воздух лупанаров и кабаков окружал его; в лицо ему веяло, сквозь аромат курений, дыхание черни, пропитанное запахом вяленой рыбы и кислого вина. Просители со всех сторон протягивали к нему папирусные свитки.

— Обещали место конюха,— я отрекся от Христа и не получил!

— Не покидай нас, блаженный кесарь, защити, помилуй! Мы отступили от веры отцов, чтобы тебе угодить. Если покинешь, куда пойдем?

— Попали к черту в лапы! — завопил кто-то в отчаянии.

— Молчи, дурак, чего глотку дерешь!

А хор снова запел:

С шумом, песнями, криком,
И с безумной толпою
Дев, объятых восторгом,
Вакха славящих пляской,—
К нам, о радостный бог!

Юлиан вошел в храм и взглянул на мраморное изваяние Диониса: глаза его отдохнули от человеческого уродства на чистом облике божественного тела.

Он уже не замечал толпы; ему казалось, что он один, как человек, попавший в стадо зверей.

Император приступил к жертвоприношению. Народ смотрел с удивлением, как римский кесарь, Великий Первосвященник, Pontifex Maximus, из усердия делал то, что должны делать слуги и рабы: колол дрова, носил вязанки хвороста на плечах, черпал воду в роднике, чистил жертвенник, выгребал золу, раздувал огонь.

Канатный плясун заметил шепотом на ухо соседу:

— Смотри, как суетится. Любит своих богов!

— Еще бы,— заметил кулачный боец, переодетый в сатира, поправляя козлиные рога на лбу,— иной отца с матерью так не любит, как он — богов.

— Видите, раздувает огонь, щеки надул,— тихонько смеялся другой.— Дуй, дуй, голубчик, ничего не выйдет. Поздно: твой дядюшка Константин потушил!

Пламя вспыхнуло и озарило лицо императора. Обмакнув священное кропило из конских волос в серебряную плоскую чашу, брызнул он в толпу жертвенной водою. Многие поморщились, иные вздрогнули, почувствовав на лице холодные капли.

Когда все обряды были кончены, он вспомнил, что приготовил для народа философскую проповедь.

— Люди! — начал он.— Бог Дионис — великое начало свободы в наших сердцах. Дионис расторгает все цепи земные, смеется над сильными, освобождает рабов.

Но он увидел на лицах такое недоумение, такую скуку, что слова замерли на губах его; в сердце подымалась смертельная тошнота и отвращение.

Он подал знак, чтобы копьеносцы окружили его. Толпа расходилась, недовольная.

— Пойду прямо в церковь и покаюсь! Может быть, простят,— говорил один из фавнов, срывая со злостью приклеенную бороду и рога.

— Не за что было и душу губить! — заметила блудница с негодованием.

— Кому-то душа твоя нужна,— трех оболов за нее не дадут.

— Обманули! — завопил какой-то пьяница.— Только по губам помазали. У, черти окаянные!

В сокровищнице храма император умыл лицо, руки, сбросил великолепный наряд Диониса и оделся в простую свежую белую, как снег, тунику пифагорейцев.

Солнце заходило. Он ожидал, когда стемнеет, чтобы незамеченным вернуться во дворец.

Из задних дверей храма Юлиан вошел в заповедную рощу Диониса. Здесь царствовала тишина; жужжали только пчелы, звенела тонкая струйка ключа.

Послышались шаги. Юлиан обернулся. То был друг его, один из любимых учеников Максима, молодой александрийский врач Орибазий. Они пошли вместе по заросшей тропинке. Солнце пронизывало широкие золотистые листья винограда.

— Посмотри,— сказал Юлиан с улыбкой,— здесь еще жив великий Пан.

Потом он прибавил тише, опуская голову:

— Орибазий, ты видел?..

— Да,— ответил врач,— но, может быть, ты сам виноват, Юлиан? Чего ты хотел?

Император молчал.

Они подошли к обвитой плющом развалине: это был маленький, разрушенный христианами, храм Силена. Обломки валялись в густой траве. Уцелела лишь одна неопрокинутая колонна, с нежной капителью, похожей на белую лилию. Отблеск заходящего солнца потухал на ней.

Они сели на плиты. Благоухали мята, полынь и тмин. Юлиан раздвинул травы и указал на древний сломанный барельеф:

— Орибазий, вот чего я хотел!..

На барельефе была изображена древняя эллинская феория — священное праздничное шествие афинян.

— Вот чего я хотел — этой красоты! Почему, день ото дня, люди становятся все безобразнее? Где они, где эти богоподобные старцы, суровые мужи, гордые отроки, чистые жены в белых развевающихся одеяниях? Где эта сила и радость? Галилеяне! Галилеяне! Что вы сделали?..

Глазами, полными бесконечной грусти и любви, он смотрел на барельеф, раздвинув густые травы.

— Юлиан,— спросил Орибазий тихо,— ты веришь Максиму?

— Верю.

— Во всем?

— Что ты хочешь сказать?

Юлиан поднял на него удивленные глаза.

— Я всегда думал, Юлиан, что ты страдаешь той же самой болезнью, как и враги твои, христиане.

— Какою?

— Верою в чудеса.

Юлиан покачал головой:

— Если нет ни чудес, ни богов, вся моя жизнь безумие.— Но не будем говорить об этом. А за мою любовь к обрядам и гаданиям древности не суди меня слишком строго. Как тебе это объяснить, не знаю. Старые, глупые песни трогают меня до слез. Я люблю вечер больше утра, осень — больше весны. Я люблю все уходящее. Я люблю благоухание умирающих цветов. Что же делать, друг мой? Таким меня создали боги. Мне нужна эта сладкая грусть, этот золотистый и волшебный сумрак. Там, в далекой древности, есть что-то несказанно прекрасное и милое, чего я больше нигде не нахожу. Там — сияние вечернего

солнца на пожелтевшем от старости мраморе. Не отнимай у меня этой безумной любви к тому, чего нет! То, что было, прекраснее всего, что есть. Над моею душою воспоминание имеет большую власть, чем надежда.

Он умолк и задумчиво, с нежной улыбкой, смотрел вдаль, опираясь головой на уцелевшую колонну с нежной капителью, похожей на сломанную белую лилию; на ней уже потух последний луч.

— Ты говоришь, как художник,— ответил Орибазий.— Но грезы поэта опасны, когда судьбы мира в руках его. Тот, кто царствует над людьми, не должен ли быть больше, чем поэт?

— Что может быть больше?

— Создатель новой жизни.

— Новое, новое! — воскликнул Юлиан.— Право, я иногда боюсь вашего нового! Оно кажется мне холодным и жестоким, как смерть. Я говорю тебе, в старом — мое сердце! Галилеяне тоже ищут нового, попирая древние святыни. Верь мне — новое только в старом, но не стареющем, в умершем, но бессмертном, в поруганном — в прекрасном!

Он поднялся во весь рост, с бледным и гордым лицом, с горящими глазами:

— Они думают — Эллада умерла! Вот, со всех концов света, черные монахи, как вороны, слетаются на белое мраморное тело Эллады и жадно клюют его, как падаль, и веселятся, и каркают: — «Эллада умерла!» — Но Эллада не может умереть. Эллада — здесь, в наших сердцах. Эллада — богоподобная красота человека на земле. Она проснется — и горе тогда галилейским воронам!

— Юлиан,— проговорил Орибазий,— мне страшно за тебя: ты хочешь совершить невозможное. Живого тела вороны не клюют, а мертвые не воскресают. Кесарь, что, если чудо не совершится?

— Я ничего не боюсь: гибель моя будет торжеством моим,— воскликнул император с такою радостью, что Орибазий невольно содрогнулся, как будто чудо готово было совершиться.— Слава отверженным, слава побежденным!

— Но перед тем, чтобы погибнуть,— прибавил он с высокомерной улыбкой,— мы еще поборемся! Я хотел бы, чтобы враги мои были достойны моей ненависти, а не презрения. Воистину люблю я врагов моих за то, что могу побеждать их. В сердце моем Дионисова радость. Ныне восстает древний титан и разрывает цепи, и еще раз Прометеев огонь зажигается на земле. Титан — против Гали-

леянина. Вот я иду, чтобы дать людям такую свободу, такое веселие, о каких они и мечтать не дерзали. Галилеянин, царство твое исчезает, как тень. Радуйтесь, племена и народы земные. Я — вестник жизни, я — освободитель, я — Антихрист!

III

В соседнем монастыре, с наглухо запертыми ставнями и воротами, раздавались моления иноков; издали доносился гул вакхического веселья: чтобы заглушить его, монахи соединяли голоса в жалобный вопль.

«Вскую, Боже, отринул еси до конца, разгневася ярость Твоя на овцы пажити Твоея».

«Положил еси нас в пререкание и поношение соседом нашим, в притчу во языцех, в поругание всем человеком».

Новый, неожиданный смысл принимали древние слова пророка Даниила: «Предал еси нас Господь царю отступнику, лукавейшему паче всея земли».

Поздно ночью, когда на улице все утихло, иноки разошлись по кельям.

Брат Парфений не мог уснуть. У него было бледное, ласковое лицо; когда он говорил с людьми,— в больших чистых, как у молодой девушки, глазах его выражалось печальное недоумение; он, впрочем, говорил мало, невнятно, как будто с тяжелым усилием, и притом почти всегда такое детское, неожиданное, что его не могли слушать без улыбки; порой беспричинно смеялся, и когда суровые монахи спрашивали: — «чего зубы скалишь, дьявола тешишь?» — объяснял им робко, что смеется «собственным мыслям»; — это еще более убеждало всех, что он юродивый.

Но брат Парфений обладал великим искусством — расписывал заглавные буквы книг хитрыми узорами. Искусство его доставляло не только деньги, но почет и славу монастырю, даже в отдаленных землях. Сам он этого не знал, и если бы даже мог понять, что значит людская слава, то скорее испугался бы, чем обрадовался.

Живопись, которая иногда стоила ему тяжелого труда, так как мельчайшие подробности доводил он до последних пределов совершенства,— считал не работой, а отдыхом; не говорил: — «я пойду работать»,— а всегда просил настоятеля Памфила, старика, нежно его любившего: «отче, благослови отдохнуть».

Окончив какую-нибудь подробность, тончайший завиток рисунка, хлопал в ладоши и хвалил себя. Так любил уединение и тишину ночи, что научился работать даже при огне; краски выходили странные, но это не вредило сказочным узорам.

В маленькой келейке с нависшими сводами Парфений зажег глиняную лампадку и поставил ее на полку, рядом с баночками, тонкими кистями, ящиками для красок, для киновари, для жидкого серебра и золота. Перекрестился, осторожно обмакнул кисть и начал выводить хвосты двух павлинов на челе заглавного листа; золотые павлины на изумрудном поле пили из бирюзового ключа; они подняли клювы и вытянули шеи, как делают птицы, когда пьют.

Кругом лежали другие пергаментные свитки с недоконченными узорами.

Это был целый мир сверхъестественный: вокруг исписанных страниц обвивались воздушные, волшебные строения, деревья, лозы, животные. Парфений ни о чем не думал, когда создавал их, но ясность и веселие сходили на бледное лицо его. Эллада, Ассирия, Персия, Индия и Византия, и смутные веяния будущих миров — все народы и века простодушно соединялись в монашеском раю, блиставшем переливами драгоценных камней вокруг заглавных букв Священного Писания.

Иоанн Креститель лил воду на голову Христа; а рядом языческий бог Иордан, с наклоненной амфорой, струящей воду, любезно, как древний хозяин этих мест, держал полотенце наготове, дабы предложить его Спасителю после крещения.

Брат Парфений, в простоте сердца, не боялся древних богов; они увеселяли его, казались давно обращенными в христианство. На вершине холмо́в помещал он горного бога в виде нагого юноши; когда же писал переход иудеев через Черное море, женщина с веслом в руке изображала Море, а голый мужчина βυϑος — мужского рода по-гречески — должен был означать Бездну, поглощающую Фараона; на берегу сидела Пустыня, в виде печальной женщины в тунике желто-песочного цвета.

Кое-где — в изогнутой шее коня, в складке длинной одежды, в том, как простодушный горный бог, лежа, опирался на локоть, или бог Иордан подавал Христу полотенце,— сквозило эллинское изящество, красота обнаженного тела.

В ту ночь «игра» не забавляла художника.

Всегда неутомимые пальцы дрожали; на губах не было обычной улыбки.— Он прислушался, открыл ящик в кипарисовом поставце, вынул острое шило для переплетных работ, перекрестился и, заслоняя рукою пламя лампады, тихонько вышел из кельи.

В проходе было тихо и душно; слышалось жужжание мухи, попавшей в паутину.

Парфений спустился в церковь. Единственная лампада мерцала перед старинным двустворчатым образом из слоновой кости. Два крупных продолговатых сапфира в ореоле младенца Иисуса на руках Божьей Матери вынуты были язычниками и возвращены на прежнее место в храм Диониса.

Черные безобразные впадины в слоновой кости, которая от древности слегка тронута была желтизной, казались Парфению язвами в живом теле, и эти кощунственные язвы возмущали сердце художника.— «Господи, помоги!» — прошептал он, касаясь руки младенца Иисуса.

В углу церкви отыскал веревочную лестницу: иноки употребляли ее для зажигания лампад в куполе храма. Он взял эту лестницу и направился в узкий темный проход, кончавшийся наружной дверью. На соломе храпел краснощекий толстый брат-келарь, Хориций.— Парфений проскользнул мимо него, как тень. Замок на двери отомкнулся с певучим звоном. Хориций приподнялся, захлопал глазами и опять повалился на солому.

Парфений перелез через невысокую ограду. Улица глухого предместья была пустынной. На небе сиял полный месяц. Море шумело.

Он подошел к той стороне храма Диониса, где была тень, и закинул вверх веревочную лестницу так, чтобы один конец зацепился за медную акротеру на углу храма. Лестница повисла на поднятой когтистой лапе сфинкса. Монах взлез на крышу.

Где-то очень далеко запели ранние петухи, залаяла собака. Потом опять настала тишина; только море шумело. Он перекинул лестницу и спустился во внутренность храма.

Здесь царствовало безмолвие. Зрачки бога, два прозрачно голубых продолговатых сапфира, сияли страшною жизнью при месячном блеске, прямо устремленные на монаха.

Парфений вздрогнул и перекрестился.

Он взлез на жертвенник. Недавно верховный жрец, Юлиан, раздувал на нем огонь. Ступни Парфения почувствовали теплоту непростывшего пепла. Он вынул из-за

пазухи шило. Очи бога сверкали близко, у самого лица его. Художник увидел беспечную улыбку Диониса, все его мраморное тело, облитое лунным сиянием, и залюбовался на древнего бога.

Потом начал работу, стараясь острием шила вынуть сапфиры. Часто рука его, против воли, щадила нежный мрамор.

Наконец, работа была кончена. Ослепленный Дионис грозно и жалобно взглянул на него черными впадинами глаз. Ужас охватил Парфения: ему показалось, что кто-то подсматривает. Он соскочил с жертвенника, подбежал к веревочной лестнице, вскарабкался, свесил ее на другую сторону, даже не закрепив, как следует, так что, слезая с нижних ступенек, сорвался и упал. Бледный, растрепанный, в запачканной одежде, но все-таки крепко сжимая сапфиры в руке, бросился он, как вор, через улицу к монастырю.

Привратник не просыпался. Парфений, приотворив дверь, проскользнул и вошел в церковь. Взглянув на образ, он успокоился. Попробовал вложить сапфировые очи Диониса в темные впадины: они пришлись как нельзя лучше на старое место и опять затеплились кротко в сиянии младенца Иисуса.

Парфений вернулся в келью, потушил огонь и лег в постель. Вдруг, в темноте, весь съежившись и закрывая лицо руками, засмеялся беззвучным смехом, как нашалившие дети, которые и радуются шалости, и боятся, чтобы старшие не узнали. Он заснул с этим смехом в душе.

Утренние волны Пропонтиды сверкали сквозь решетки маленького окна, когда Парфений проснулся. Голуби на подоконнике, воркуя, хлопали сизыми крыльями. Смех еще оставался в душе его.

Он подошел к рабочему столу и с радостью взглянул на недоконченную маленькую картину в заглавной букве. Это был Рай Божий: Адам и Ева сидели на лугу.

Луч восходящего солнца упал сквозь окно прямо на картину, и она заблестела райской славой — золотом, пурпуром, лазурью.

Парфений, работая, не замечал, что он придает голому телу Адама древнюю олимпийскую прелесть бога Диониса.

IV

Знаменитый софист, придворный учитель красноречия, Гэкеболий начал с низких ступеней восхождение свое по лестнице государственных чинов. Он был служакой при

гиеропольском храме Астарты. Шестнадцати лет, украв несколько драгоценных вещей, бежал из храма в Константинополь, прошел через все мытарства, шлялся по большим дорогам, и с благочестивыми странниками, и с разбойничьей шайкой оскопленных жрецов Диндимены, многогрудой богини, любимицы черни, развозимой по деревням на осле.

Наконец, попал в школу ритора Проэрезия и скоро сам сделался учителем красноречия.

В последние годы Константина Великого, когда христианская вера стала придворной модой, Гэкеболий принял христианство. Люди духовного звания питали к нему особенную склонность; он платил им тем же.

Часто, и всегда вовремя, менял Гэкеболий исповедание веры, смотря по тому, откуда дует ветер: то из арианства переходил в православие, то опять из православия в арианство; и каждый раз такой переход был новой ступенью в лестнице чинов государственных. Лица духовного звания тихонько подталкивали его, и он в свою очередь помогал им карабкаться.

Голова его умащалась сединами; дородность делалась все более приятной; умные речи — все более вкрадчивыми и уветливыми, а щеки украшались старческой свежестью. Глаза были ласковые; но изредка вспыхивала в них злая, пронзительная насмешливость, ум дерзкий и холодный; тогда поспешно опускал он ресницы — и вспыхнувшая искра потухала. Вся наружность знаменитого софиста приобрела оттенок церковного благолепия.

Он был строгим постником и вместе с тем тонким гастрономом: лакомые постные блюда стола его были изысканнее самых роскошных скоромных, так же как монашеские шутки Гэкеболия были острее самых откровенных языческих. На стол подавали у него прохладительное питье из свекловичного сока с пряностями: многие уверяли, что оно вкуснее вина; вместо обыкновенного пшеничного хлеба изобрел он особые постные лепешки из пустынных семян, которыми, по преданию, Св. Пахомий питался в Египте.

Злые языки утверждали, что Гэкеболий — женолюбец. Рассказывали, будто бы однажды молодая женщина призналась на исповеди, что изменила мужу. — «Великий грех! А с кем же, дочь моя?» — спросил ее духовник. — «С Гэкеболием, отец». Лицо священника просветлело: «С Гэкеболием! Ну, это — муж святой и к церкви усердный. Покайся, дочь моя, Господь тебя простит».

При императоре Констанции получил он место придворного ритора с прекрасным жалованьем, сенаторский латиклав и почетную голубую перевязь через плечо — отличие высших чиновников.

Но как раз в то мгновение, когда приготовлялся он сделать последний шаг, разразился неожиданный удар: Констанций умер; на престол вступил Юлиан, ненавистник церкви. Гэкеболий не потерял присутствия духа; он сделал то, что делали другие, но умнее других и главное вовремя — не слишком поздно, не слишком рано.

Однажды Юлиан, еще в первые дни власти, устроил богословское состязание во дворце. Молодой философ и врач, человек, всеми чтимый за свою прямоту и благородство, Цезарий Каппадокийский, брат знаменитого учителя церкви, Василия Великого, выступил защитником христианской веры против императора. Юлиан допускал в таких ученых спорах свободу, любил, чтобы ему самому возражали, забывая придворную чинность.

Спор был жаркий; собрание софистов, риторов, священников, церковных учителей — многолюдное.

Спорящий поддавался, обыкновенно, если не доводам эллинского философа, то величию римского кесаря, Юлиана,— и уступал.

На этот раз дело произошло иначе: Цезарий не уступал. Это был юноша с девичьей прелестью в движениях, с шелковистыми кудрями, с невозмутимой ясностью невинных глаз. Философию Платона называл «хитросплетенною мудростью Змия» и противопоставлял ей небесную мудрость Евангелия. Юлиан хмурил брови, отворачивался, кусал губы и едва сдерживался.

Спор, как все искренние споры, кончился ничем.

Император вышел из собрания, с философскою шуткою, приняв ласковый вид, как бы с легким оттенком всепрощающей грусти,— на самом деле, с жалом в сердце.

В это мгновение подошел к нему придворный ритор, Гэкеболий; Юлиан считал его врагом.

Гэкеболий упал на колени и начал покаянную исповедь: давно уже колебался он, но доводы императора убедили его окончательно; он проклял мрачное галилейское суеверие; сердце его вернулось к воспоминаниям детства, к светлым олимпийским богам.

Император поднял старика, не мог от волнения гово-

рить, только изо всей силы прижал его к своей груди и поцеловал в бритые мягкие щеки, в сочные красные губы.

Он искал глазами Цезария, чтобы насладиться победой.

В продолжение нескольких дней Юлиан не отпускал от себя Гэкеболия, рассказывал кстати и некстати о чудесном обращении, гордился им, как жрец праздничной жертвой, как дитя новой игрушкой.

Он хотел дать ему почетное место при дворе, но Гэкеболий отказался, считая себя недостойным такой почести и намереваясь приготовить душу свою к эллинским добродетелям долгим искусом и покаянием, очистить сердце от нечестия галилейского служением кому-нибудь из древних богов. Юлиан назначил его верховным жрецом Вифинии и Пафлагонии. Лица, носившие этот сан, назывались у язычников «архиереями».

Архиерей Гэкеболий управлял двумя многолюдными азиатскими провинциями и шел по новому пути с таким же успехом, как по старому. Содействовал обращению многих галилеян в эллинскую веру.

Он сделался главным жрецом знаменитого храма финикийской богини Астарты-Атагартис, той самой, которой служил в детстве. Храм был расположен на половине пути между Халкедоном и Никомедией, на высоком уступе, вдающемся в волны Пропонтиды; место называлось Гаргария. Сюда стекались богомольцы со всех концов света, почитатели Афродиты-Астарты, богини смерти и сладострастия.

V

В одной из обширных зал Константинопольского дворца Юлиан занимался государственными делами.

Между порфировых столбов крытого хода сияло бледно-голубое море. Он сидел перед круглым мраморным столом, заваленным папирусными и пергаментными свитками. Скорописцы, наклонив головы, поскрипывали египетскими тростниками — перьями. Лица у чиновников были заспанные; они не привыкли вставать так рано. Немного поодаль, новый архиерей Гэкеболий и чиновник Юний Маврик, придворный щеголь с желчным, сухим и умным лицом, с брезгливыми складками вокруг тонких губ,— разговаривали шепотом.

Юний Маврик, среди всеобщего суеверия, был одним из последних поклонников Лукиана, великого насмешника

Самозатского, творца язвительных диалогов, который издевался надо всеми святынями Олимпа и Голгофы, над всеми преданиями Эллады и Рима.

Ровным голосом диктовал Юлиан послание верховному жрецу Галатии, Арказию:

«Не дозволяй жрецам посещать зрелища, пить в кабаках, заниматься унизительными промыслами; послушных награждай, непослушных наказывай. В каждом городе учреди странноприимные дома, где пользовались бы нашими щедротами не только эллины, но и христиане, и иудеи, и варвары. Для ежегодной раздачи бедным в Галатии назначаем тридцать тысяч мер пшеницы, шестьдесят тысяч ксэстов вина; пятую часть раздавай бедным, живущим при храмах, остальное — странникам и нищим: стыдно лишать эллинов пособий, когда у иудеев нет вовсе нищих, а безбожные галилеяне кормят и своих, и наших, хотя поступают, как люди, обманывающие детей лакомствами: начинают с гостеприимства, с милосердия, с приглашений на вечери любви, называемые у них Тайнами, и, мало-помалу, вовлекая верующих в богопротивное нечестие, кончают постами, бичеваниями, истязаниями плоти, ужасом ада, безумием и лютою смертью; таков обычный путь этих человеконенавистников, именующих себя братолюбцами. Победи их милосердием во имя вечных богов. Объяви по всем городам и селам, что такова моя воля; объясни гражданам, что я готов прийти к ним на помощь во всяком деле, во всякий час. Но если хотят они стяжать особую милость мою,— да преклонят умы и сердца единодушно перед Матерью богов, Диндименою Пессинунтскою,— да воздадут ей честь и славу во веки веков».

Последние слова приписал он собственной рукой.

Между тем подали завтрак — простой пшеничный хлеб, свежие оливки, легкое белое вино. Юлиан пил и ел, не отрываясь от работы; он вдруг обернулся и, указывая на золотую тарелку с оливками, спросил старого любимого раба своего, привезенного из Галлии, который всегда прислуживал ему за столом:

— Зачем золото? Где прежняя, глиняная?

— Прости, государь,— разбилась...

— Вдребезги?

— Нет, только самый край.

— Принеси же.

Раб побежал и принес глиняную тарелку с отбитым краем.

— Ничего, еще долго прослужит,— сказал Юлиан и улыбнулся доброй улыбкой.

— Я заметил, друзья мои, что сломанные вещи служат дольше и лучше новых. Признаюсь, это слабость моя: я привыкаю к старым вещам, в них есть для меня особая прелесть, как в старых друзьях. Я боюсь новизны, ненавижу перемены; старого всегда жаль, даже плохого; старое — уютно и любезно...

Он рассмеялся собственным словам:

— Видите, какие размышления приходят иногда по поводу разбитой глиняной посуды!

Юний Маврик дернул Гэкеболия за край одежды:

— Слышал? Тут вся природа его: одинаково бережет и свои разбитые тарелки, и своих полумертвых богов. Вот что решает судьбы мира!..

Юлиан увлекся; от эдиктов и законов перешел он к замыслам будущего: во всех городах Империи предполагал завести училища, кафедры, чтения, толкования эллинских догматов, установленные образцы молитв, эпитимьи, философские проповеди, убежища для любителей целомудрия, для посвятивших себя размышлениям.

— Каково? — прошептал Маврик на ухо Гэкеболию: — монастыри в честь Афродиты и Аполлона. Час от часу не легче!..

— Да, все это, друзья мои, исполним мы с помощью богов,— заключил император.— Галилеяне желают уверить мир, что им одним принадлежит милосердие; но милосердие принадлежит всем философам, каких бы богов ни чтили они. Я пришел, чтобы проповедовать миру новую любовь, не рабскую и суеверную, а вольную и радостную, как небо олимпийцев!..

Он обвел всех испытующим взглядом. На лицах чиновников не было того, чего он искал.

В залу вошли выборные от христианских учителей риторики и философии. Недавно был объявлен эдикт, воспрещавший галилейским учителям преподавание эллинского красноречия; христианские риторы должны были или отречься от Христа, или покинуть школы.

Со свитком в руках подошел к Августу один из выборных — худенький, растерянный человек, похожий на старого облезлого попугая, в сопровождении двух неуклюжих и краснощеких школьников.

— Помилосердствуй, боголюбивейший!

— Как тебя зовут?

— Папириан, римский гражданин.

— Ну вот, видишь ли, Папириан любезный, я не желаю вам зла. Напротив. Оставайтесь галилеянами.

Старик упал на колени и обнял ноги императора:

— Сорок лет учу грамматике. Не хуже других знаю Гомера и Гесиода...

— О чем ты просишь? — произнес Август, нахмурившись.

— Шесть человек детей, государь,— мал-мала меньше. Не отнимай последнего куска. Ученики любят меня. Расспроси их... Разве я чему-нибудь дурному?..

Папириан не мог продолжать от волнения; он указывал на двух учеников, которые не знали, куда спрятать руки, и стояли, выпучив глаза, сильно и густо краснея.

— Нет, друзья мои! — перебил император тихо и твердо.— Закон справедлив. Я считаю нелепым, чтобы христианские учителя риторики, объясняя Гомера, отвергали тех самых богов, которых чтил Гомер. Если думаете, что наши мудрецы сплетали только басни — ступайте лучше в церкви объяснять Матфея и Луку! Заметьте, галилеяне,— я делаю это для вашего же собственного блага...

В толпе риторов кто-то проворчал себе под нос:

— Для собственного блага поколеем с голоду!

— Вы боитесь осквернить себя жертвенным мясом или жертвенною водою, учители христианские,— продолжал император невозмутимо,— как же не боитесь вы осквернить себя тем, что опаснее всякого мяса и воды,— ложной мудростью? Вы говорите: «блаженны нищие духом». Будьте же нищими духом. Или вы думаете, я не знаю вашего учения? О, знаю лучше, чем кто-либо из вас! Я вижу в галилейских заповедях такие глубины, какие вам не снились. Но каждому свое: оставьте нам нашу суетную мудрость, нашу бедную эллинскую ученость. На что вам эти зараженные источники? У вас есть мудрость высшая. У нас царство земное, у вас — небесное. Подумайте: царство небесное — это не мало для таких смиренных и нестяжательных людей, как вы. Диалектика возбуждает только охоту к вольнодумным ересям. Право!.. Будьте просты, как дети. Не выше ли всех платоновых диалогов благодатное невежество капернаумских рыбаков? Вся мудрость галилеян состоит в одном: веруй! Если бы вы были настоящими христианами, то благословили бы мой закон. Ныне же возмущается в вас не дух, а плоть, для коей грех сладок. Вот все, что я имел вам сказать, и надеюсь, вы извините меня и согласитесь, что римский император больше заботится о спасении ваших душ, чем вы сами.

Он прошел через толпу риторов, спокойный и довольный своею речью.

Папириан по-прежнему, стоя на коленях, рвал свои жидкие седые кудри.

— За что? Матерь Небесная, за что такое попущение?

Оба ученика, видя горе наставника, вытирали выпученные глаза неуклюжими красными кулаками.

VI

Кесарь помнил бесконечные распри православных и ариан, которые происходили на Миланском соборе при Констанции. Он задумал воспользоваться этой враждою для своих целей и решил созвать, подобно своим христианским предшественникам, Константину Великому и Констанцию, церковный собор.

Однажды, в откровенной беседе, объявил удивленным друзьям, что, вместо всяких насилий и гонений, хочет дать галилеянам свободу исповедания, возвратить из ссылки донатистов, семириан, маркионитов, монтанистов, цецилиан и других еретиков, изгнанных постановлениями соборов при Константине и Констанции. Он был уверен, что нет лучшего средства погубить христиан. «Увидите, друзья мои,— говорил император,— когда все они вернутся на свои места,— такая распря возгорится между братолюбцами, что они растерзают друг друга, как хищные звери, и предадут бесславию имя Учителя своего скорее, чем я мог бы этого достигнуть самыми лютыми казнями!»

Во все концы Римской империи разослал он указы и письма, разрешая изгнанным клирикам возвратиться безбоязненно. Объявлялась свобода вероисповедания. Вместе с тем мудрейшие учителя галилейские приглашались ко двору в Константинополь для некоторого совещания по делам церковным. Большая часть приглашенных не ведала в точности ни цели, ни состава, ни полномочий собрания, так как все это было означено в письмах с преднамеренной неясностью. Многие, угадывая хитрость Богоотступника, под предлогом болезни или дальнего расстояния, вовсе не явились на зов.

Утреннее голубое небо казалось темным по сравнению с ослепительно белым мрамором двойного ряда столбов, окружавшего большой двор — Константинов атриум. Белые голуби, с радостным шелковым шелестом крыльев, исчезали в небе, как хлопья снега. Посередине двора, в светлых брызгах фонтана, виднелась Афродита Каллипига;

влажный мрамор серебрился, как живое тело. Монахи, проходя мимо нее, отвертывались и старались не видеть; но она была среди них, лукавая и нежная.

Не без тайного намерения выбрал Юлиан такое странное место для церковного собора. Темные одежды иноков казались здесь еще темнее, истощенные лишениями, озлобленные лица еретиков-изгнанников — еще более скорбными; как черные безобразные тени, скользили они по солнечному мрамору.

Всем было неловко; каждый старался принять вид равнодушный, даже самонадеянный, притворяясь, что не узнает соседа — врага, которому он, или который ему испортил жизнь, а между тем украдкой кидали они друг на друга злые, пытливые взоры.

— Пречистая Матерь Божия! Что же это такое? Куда мы попали? — волновался престарелый дородный епископ себастийский, Евстафий.— Пустите, пустите меня!..

— Тише, друг мой,— уговаривал его начальник придворных копьеносцев, варвар Дагалаиф, вежливо отстраняя от двери.

— Не участник я в соборе еретическом. Пустите!

— По воле всемилостивейшего кесаря, все пришедшие на собор...— возражал Дагалаиф, удерживая епископа с непреклонною лаской.

— Не собор, а вертеп разбойничий! — негодовал Евстафий.

Среди христиан нашлись веселые люди, которые подсмеивались над провинциальной наружностью, одышкой и сильным армянским выговором Евстафия. Он совсем оробел, притих и забился в угол, только повторяя с отчаянием:

— Господи! И за что мне сие?..

Евандр Никомедийский тоже раскаивался, что пришел сюда и привел Дидимова послушника, только что приехавшего в Константинополь, брата Ювентина.

Евандр был великий догматик, человек ума проницательного и глубокого; над книгами потерял здоровье, преждевременно состарился; зрение его ослабело; в близоруких добрых глазах было постоянное выражение усталости. Бесчисленные ереси осаждали ум его, не давали ему покоя, мучили наяву, грезились во сне, но, вместе с тем, привлекали соблазнительными тонкостями и ухищрениями. Он собирал их, в продолжение многих лет, в громадную рукопись под заглавием *Против еретиков* так же усердно, как некоторые любители собирают чудовищные

редкости. Отыскивал с жадностью новые, изобретал несуществующие, и, чем яростнее опровергал, тем более путался в них. Иногда с отчаянием молил у Бога простой веры, но Бог не давал ему простоты. В повседневной жизни был он жалок, доверчив и беспомощен, как дитя. Злым людям ничего не стоило обмануть Евандра: об его рассеянности ходило множество смешных рассказов.

По рассеянности пришел он и в это нелепое собрание, привлекаемый отчасти и надеждою узнать новую ересь. Теперь епископ Евандр все время с досадой морщился и заслонял ладонью слабые глаза от слишком яркого солнца и мрамора. Ему было не по себе; скорее хотелось назад, в полутемную келью, к своим книгам и рукописям. Ювентина не отпускал он от себя и, осмеивая различные ереси, предостерегал от соблазна.

Посередине залы проходил коренастый старик, с широкими скулами, с венцом седых пушистых волос, семидесятилетний епископ Пурпурий, африканец-донатист, возвращенный Юлианом из ссылки.

Ни Константину, ни Констанцию не удалось подавить ересь донатистов. Реки крови проливались из-за того, что пятьдесят лет назад, в Африке рукоположен был неправильно Донат вместо Цецилиана или, наоборот, Цецилиан вместо Доната,— этого хорошенько разобрать никто не мог; но донатисты и цецилиане избивали друг друга, и не предвиделось конца братоубийственной войне, возникшей даже не из-за двух мнений, а из-за двух имен.

Ювентин заметил, как, проходя мимо Пурпурия, один цецилианский епископ задел краем фелони одежду донатиста. Тот отшатнулся и, подняв брезгливо, двумя пальцами, так, чтобы все видели, несколько раз отряхнул в воздухе ткань, оскверненную прикосновением еретика. Евандр рассказал Ювентину, что когда случайно цецилианин заходит в церковь донатистов, они выгоняют его и потом тщательно соленой водой обмывают плиты, на которых он стоял.

За Пурпурием следовал по пятам, как пес, верный телохранитель, полудикий, огромного роста африканец, черный, страшный, с расплюснутым носом, толстыми губами, с дубиною в жилистых руках, дьякон Леóна, принадлежавший к секте самоистязателей. Это были жители гетулийских селений; их называли циркумцеллионами. Бегая с оружием в руках, предлагали они деньги встречным на больших дорогах и грозили: «Убейте нас, или мы вас убьем!» Циркумцеллионы резали, жгли себя, бросались

в воду, во имя Христа; но не вешались, потому что Иуда Искариот повесился. Порой целые толпы их с пением псалмов кидались в пропасти; они утверждали, что самоубийство, во славу Божью, очищает душу от всех грехов. Народ чтил их, как мучеников. Перед смертью предавались наслаждениям — ели, пили, насиловали женщин. Многие не употребляли меча, потому что Христос запретил употреблять меч, зато огромными дубинами, со спокойною совестью, «по Писанию», избивали еретиков и язычников; проливая кровь, возглашали: «Господу хвала!» Этого священного крика мирные жители африканских городов и сел боялись больше, чем трубы врагов и рыканья львиного.

Донатисты считали циркумцеллионов своими воинами и стражами; а так как поселяне гетулийские плохо разумели церковные споры, то богословы-донатисты указывали им, кого именно следует избивать «по Писанию».

Евандр обратил внимание Ювентина на красивого юношу, с лицом нежным и невинным, как у молодой девушки: это был каинит.

«Благословенны, — проповедовали каиниты, — гордые, непокорившиеся братья наши: Каин, Хам, жители Содома и Гоморры — семья Верховной Софии, Сокровенной Мудрости! Придите к нам, все гонимые, все восставшие, все побежденные! Благословен Иуда! Он один из апостолов был причастен Высшему Знанию — Гнозису. Он предал Христа, дабы Христос умер и воскрес, потому что Иуда знал, что смерть Христа спасет мир. Посвященный в нашу мудрость должен преступить все пределы, на все дерзнуть, должен презреть вещество, поправ самый страх к нему, и, отдавшись всем грехам, всем наслаждениям плоти, достигнуть благодатного отвращения к плоти — последней чистоты духовной».

— Смотри, Ювентин, вот человек, который считает себя несравненно выше серафимов и архангелов,— указал Евандр на стройного молодого египтянина, стоявшего в стороне от всех, одетого по последней византийской моде, со множеством драгоценных перстней на холеных, белых руках, с лукавой улыбкой на тонких губах, подкрашенных, как у блудницы; это был Кассиодор валентинианин.

— У православных,— утверждал Кассиодор,— есть душа как у прочих животных, но духа нет. Одни мы, посвященные в тайны Плэрона и Гнозиса, достойны называться людьми; все остальные — свиньи и псы.

Кассиодор внушал ученикам своим:

— Вы должны знать всех, вас не должен знать никто. Перед непосвященными отрекайтесь от Гнозиса, молчите, презирайте доказательства, презирайте исповедание веры и мученичество. Любите безмолвие и тайну. Будьте неуловимы и невидимы для врагов, как силы бесплотные. Обыкновенным христианам нужны добрые дела для спасения. Тем, у кого есть высшее Знание Бога — Гнозис, добрых дел не нужно. Мы сыны света. Они сыны мрака. Мы уже не боимся греха, ибо знаем: телу — телесное, духу — духовное. Мы на такой высоте, что не можем пасть, как бы ни грешили: сердце наше остается чистым во грехе, как золото в грязи.

Подозрительный, косоглазый старичок, с лицом сладострастного фавна, адамит Продик, утверждал, будто бы учение его возрождает в людях первобытную невинность Адама: голые адамиты совершали таинства в церквах, жарко натопленных, как бани, называвшихся Эдемами; подобно прародителям до грехопадения, не стыдились они наготы своей, уверяя, что все мужчины и женщины отличаются у них высшим целомудрием; но чистота этих райских собраний была сомнительна.

На полу, рядом с адамитом Продиком, сидела бледная седовласая женщина, в епископском одеянии, с прекрасным суровым лицом, с веками, полузакрытыми от усталости,— пророчица монтанистов. Желтолицые, изнуренные скопцы благоговейно ухаживали за ней, смотрели на нее томными, влюбленными глазами и называли ее Небесною Голубицею. Изнывая долгие годы от восторгов неосуществимой любви, проповедовали они, что род человеческий должен быть прекращен целомудренным воздержанием. На сожженных равнинах Фригии, близ разрушенного города Пепузы, сидели эти бескровные мечтатели, целыми толпами, неподвижно устремив глаза на черту горизонта, где должен был явиться Спаситель; в туманные вечера, над серой равниной, между тучами, в полосах раскаленного золота, видели славу Господню, Новый Сион, сходящий на землю; годы проходили за годами, и они умирали с надеждою, что Царствие Божие сойдет, наконец, на сожженные развалины Пепузы.

Иногда, приподымая усталые веки, устремляя мутные взоры вдаль, пророчица бормотала по-сирийски:

— Маран ата, Маран ата! — Господь идет, Господь идет!

И бледные скопцы наклонялись к ней, внимая.

Ювентин слушал объяснения Евандра и думал, что все это похоже на бред; сердце его сжималось от горькой жалости.

Наступила тишина. Взоры устремились по одному направлению. На другом конце атриума, на мраморное возвышение взошел кесарь Юлиан. Простая белая хламида древних философов облекала его; лицо было самоуверенно; он хотел придать ему выражение бесстрастное, но в глазах невольно вспыхивала искра злобного веселья.

— Старцы и учители! — обратился он к собранию,— за благо сочли мы оказывать подданным нашим, исповедующим учение Галилеянина Распятого, всевозможное снисхождение и милосердие: должно питать более сострадания, чем ненависти к заблуждающимся, увещаниями приводить к истине упрямых, а отнюдь не ударами, обидами и язвами телесными. Итак, желая восстановить мир всего мира, столь долго нарушаемый распрями церковными, призвал я вас, мудрецы галилейские. Под нашим покровительством и защитой вы явите, надеемся, пример тех высоких добродетелей, кои приличествуют вашему духовному сану, вашей вере и мудрости...

Он говорил заранее приготовленную речь, с плавными движениями, как опытный ритор перед народным собранием. Но в словах, полных благоволения, скрыты были ядовитые жала: между прочим, указал он на то, что еще не забыл о нелепых и унизительных распрях галилеян, которые произошли на знаменитом соборе Миланском, при Констанции; упомянул также с недоброй усмешкой о некоторых дерзких бунтовщиках, которые, жалея, что нельзя более преследовать, мучить и умерщвлять братьев по вере, возмущают народ глупыми баснями, подливают масло в огонь вражды и братоубийственною яростью наполняют мир: сии суть враги рода человеческого, виновники худшего из бедствий — безначалия. И кесарь кончил вдруг свою речь почти явною насмешкою.

— Братьев ваших, изгнанных соборами при Константине и Констанции, возвратили мы из ссылки, желая даровать свободу всем гражданам Римской империи. Живите в мире, галилеяне, по завету вашего Учителя. Для полного же прекращения раздоров поручаем вам, мудрейшие наставники, забыв всякую вражду и воссоединившись в братской любви, прийти к некоторому церковному соглашению, дабы уставить единое и общее для всех исповедание веры. С тем и призвали мы вас сюда, в наш дом, по примеру предшественников наших, Константина и Констанция;

судите и решайте властью, данною вам от церкви. Мы же удаляемся, предоставив вам свободу и ожидая вашего решения.

Прежде чем в собрании кто-нибудь успел опомниться или возразить, Юлиан, окруженный друзьями-философами, вышел из атриума.

Все безмолвствовали; кто-то тяжко вздохнул; в тишине слышен был только радостный шелковый шелест голубиных крыльев в небе и плеск фонтана о мрамор.

Вдруг, на высоких плитах, служивших кесарю трибуной, появился тот самый добродушный старик с провинциальною наружностью, с армянским говором, над которым все недавно смеялись; лицо его было красно; глаза горели. Речь императора оскорбила старого себастийского епископа. Пылая духовной ревностью, выступил Евстафий перед собранием.

— Отцы и братья! — воскликнул он, и в голосе его была такая сила, что никто уже не думал смеяться.— Разойдемся в мире. Кто призвал нас сюда для поругания и соблазна, тот не ведает ни церковных канонов, ни постановлений соборных,— ненавидит самое имя Христово. Не будем же веселить врагов наших, воздержимся от гневного слова. Заклинаю именем Бога Всевышнего, разойдемся, братья, в безмолвии!

Он говорил громким голосом, подняв глаза к хорам, защищенным от солнца алыми завесами: там, в глубине, между колоннами, появился император со своими друзьями-философами. Шепот удивления и ужаса послышался в толпе. Юлиан смотрел прямо в лицо Евстафию. Старик выдержал взор его и не потупился. Император побледнел.

В то же мгновение донатист Пурпурий грубо оттолкнул епископа и занял его место на трибуне.

— Не слушайте! — закричал Пурпурий.— Не расходитесь, да не преступите воли кесаревой. Цецилиане злобствуют за то, что он, избавитель наш...

— Нет, братья!..— порывался Евстафий с мольбою.

— Не братья мы вам,— отыдите, окаянные! Мы — чистая пшеница Божья, вы — сухая солома, назначенная Господом в огонь!

И, указывая на императора-богоотступника, продолжал Пурпурий торжественным певучим голосом, как будто возглашая ему славословие церковное:

— Слава, слава преблагому, премудрому Августу! На аспида и василиска наступиши и попереши льва и змия, яко ангелам своим заповесть ранити тя во всех путях твоих. Слава!

Собрание заволновалось; одни утверждали, что должно последовать совету Евстафия и разойтись, другие требовали слова, не желая потерять единственного в жизни случая высказать свои мысли перед каким бы то ни было собранием. Лица разгорались, голоса становились оглушительными.

— Пусть заглянет теперь в церкви наши кто-нибудь из цецилианских епископов — торжествовал Пурпурий,— возложим мы ему руки на голову, но не для того, чтобы избрать пастырем, а чтобы раздробить череп!

Многие совсем забыли цель собрания, вступая в тонкие богословские споры; зазывали к себе, отбивали друг у друга слушателей, старались обольстить неопытных.

Базилидианин Трифон, приехавший из Египта, окруженный толпою любопытных, показывал амулет из прозрачного хризолита с таинственной надписью: *Абракса.*

— Тот, кто разумеет слово Абракса,— соблазнял Трифон,— получит высшую свободу, сделается бессмертным и, вкушая от всех сладостей греха, будет безгрешен. Абракса выражает буквами число горных небес — 365. Над тремястами шестьюдесятью пятью сферами, над иерархиями эонов, ангелов и архангелов, есть некий Мрак Безыменный, прекраснее всякого света, неподвижный, нерождаемый...

— Мрак безыменный в скудоумной голове твоей! — крикнул арианский епископ, сжимая кулаки и подступая к Трифону.

Гностик тотчас умолк, сложив губы в презрительную усмешку, полузакрыв глаза и подняв указательный палец:

— Премудрость! Премудрость! — произнес он чуть слышно и отошел, точно выскользнул из рук арианина.

Пророчица Пепузская, поддерживаемая влюбленными скопцами, поднявшись во весь рост, страшная, бледная, с растрепанными волосами, с мутными, полоумными взорами, вдохновенно завывала, ничего не видя и не слыша:

— Маран ата! Маран ата! — Господь идет! Господь идет!

Ученики отрока Епифания, не то языческого полубога, не то христианского мученика, обоготворяемого в молельнях Кефалонии, возглашали:

— Братство и равенство! Других законов нет. Разрушайте, разрушайте все! Да будут общими у людей имущество и жены, как трава, как вода, как воздух и солнце!

Офиты, змеепоклонники, подымали медный крест, обвитый прирученной нильскою змейкою:

— Мудрость Змия,— говорили они,— дает людям знание добра и зла. Вот — Спаситель, Офиоморфос — Змеевидный. Не бойтесь,— послушайте его: он не солгал; вкусите от плода запретного — и станете, как боги!

С проворной ловкостью фокусника, высоко подымая прозрачную стеклянную чашу, наполненную водой, маркозианин, надушенный и подвитой щеголь, соблазнитель женщин, приглашал любопытных.

— Смотрите, смотрите! Чудо! Вода закипит и сделается кровью.

Коларбазиане быстро считали по пальцам и доказывали, что все пифагорейские числа, все тайны неба и земли, заключаются в буквах греческого алфавита:

— Альфа, Омега, начало и конец. А между ними — Троица,— бета, гамма, дельта,— Сын, Отец, Дух. Видите, как просто.

Фабиониты, карпократиане-обжоры, барбелониты-развратники проповедовали такие мерзости, что благочестивые люди только отплевывались и затыкали уши. Многие действовали на своих слушателей тою непонятною притягательною силою, которою обладает над умами людей чудовищное и безумное.

Каждый был убежден в своей правоте. И все были против всех.

Даже ничтожная церковь, затерянная в отдаленнейших пустынях Африки,— рогациане, и те уверяли, будто бы Христос, придя на землю, найдет истинное понимание Евангелия только у них, в нескольких селениях Мавритании Кесарийской,— и более нигде в мире.

Евандр Никомедийский, забыв Ювентина, едва успевал записывать в свои восковые дощечки новые незамеченные ереси, увлекаясь, как собиратель редкостей.

А между тем, с верхней мраморной галереи, глазами, полными жадной и утоленной ненависти, смотрел вниз на этих обезумевших людей молодой император, окруженный мудрецами в древних белых одеждах. Здесь были все друзья его: пифагореец Прокл, Нимфидиан, Евгений Приск, Эдезий, престарелый учитель Ямвлик Божественный, благообразный Гэкеболий, архиерей Диндимены; они не смеялись, не шутили и сохраняли совершенное спокойствие, как пристойно мудрецам; лишь изредка на строго сжатых губах выступала улыбка тихой жалости. Это был пир эллинской мудрости. Они смотрели вниз на собор,

как смотрят боги на враждующих людей, любители цирка — на арену, где звери пожирают друг друга. В тени пурпурных завес им было свежо и отрадно.

А внизу галилеяне, обливаясь потом, анафематствовали и проповедовали.

Среди смятения, юный женоподобный каинит, с прекрасным, нежным лицом, с печальными, детски-ясными глазами, успел вскочить на трибуну и воскликнуть таким вдохновенным голосом, что все обернулись и онемели:

— Благословенны непокорившиеся Богу! Благословенны Каин, Хам и Иуда, жители Содома и Гоморры! Благословен отец их, Ангел Бездны и Мрака!

Неистовый африканец Пурпурий, которому уже целый час не давали сказать слова, желая облегчить свое сердце, ринулся на каинита и поднял волосатую жилистую руку, чтобы «заградить уста нечестивому».

Его удержали, стараясь образумить:

— Отче, непристойно!

— Пустите! Пустите! — кричал Пурпурий, вырываясь из рук державших его.— Не потерплю сей мерзости! Вот же тебе, Каиново отродье!

И донатист плюнул в лицо каиниту.

Все смешалось. Началась бы драка, если бы не прибежали копьеносцы. Разнимая христиан, римские воины увещевали их:

— Тише, тише! Во дворце не место. Или мало вам церквей, чтобы драться?

Пурпурия подняли на руки и хотели увлечь.

Он вопил:

— Леона! Дьякон Леона!

Телохранитель растолкал воинов, двух повалил на землю, освободил Пурпурия, и в воздухе, над головами ересиархов, закрутилась и засвистела страшная дубина циркумцеллиона.

— Господу хвала! — ревел африканец, избирая жертву глазами.

Вдруг, в ослабевших руках его, беспомощно опустилась дубина. Все окаменели. В тишине раздался пронзительный крик одного из полоумных скопцов пророчицы Пепузской. Он упал на колени и, с лицом, искаженным ужасом, указывал на трибуну:

— Дьявол, дьявол, дьявол!

На мраморном возвышении, над толпой галилеян, скрестив руки на груди, спокойно и величественно, в древней белой одежде философа, стоял император Юлиан; гла-

за его горели грозным веселием. Многим в эту минуту казался он подобным дьяволу.

— Вот как исполняете вы закон любви, галилеяне! — произнес он среди собрания, пораженного ужасом.— Вижу теперь, что значит ваша любовь. Воистину, хищные звери милосерднее, чем вы, братолюбцы. Скажу словами вашего Учителя: «горе вам, законники, что взяли вы ключ разумения: сами не вошли и входящим воспрепятствовали. Горе вам, книжники и фарисеи!»

Насладившись их томительным молчанием, прибавил он спокойно и медленно:

— Ежели не умеете вы сами управлять собою — то вот я говорю вам, остерегая от худших зол: слушайтесь меня, галилеяне, и покоряйтесь!

VII

Когда Юлиан спускался из Константинова атриума по ступеням широкой лестницы, направляясь для жертвоприношения в маленький, находившийся по соседству с дворцом, храм богини Счастья, Тюхэ,— подошел к нему седовласый, сгорбленный халкедонский епископ, Ма́рис. Глаза у Мариса вытекли от старости; мальчик-поводырь вел слепца за руку.

Лестница выходила на площадь Августейон; внизу собралась толпа. Властным движением руки остановив императора, заговорил епископ старческим голосом, твердым и ясным:

— Внимайте, народы, племена, языки, люди всякого возраста, все, сколько есть теперь и сколько будет на земле! Внимайте мне, Высшие Силы, ангелы, которыми скоро совершено будет истребление Мучителя! Не царь Аммморейский низложится, не Ог, царь Васанский, но Змий, Отступник, Великий Ум, мятежный Ассириянин, общий враг и противник, на земле творивший много неистовств, и в высоту говоривший. Слыши небо и внуши земле! И ты внимай пророчеству моему, кесарь, ибо сам Бог говорит тебе ныне устами моими. Слово Господне сжигает сердце мое — и не могу молчать. Дни твои сочтены. Вот еще немного — и погибнешь, исчезнешь, как прах, взметаемый вихрем, как роса, как свист пущенной стрелы, как удар грома, как быстролетная молния. Источник Кастальский умолкнет навеки,— пройдут и посмеются над ним. Аполлон станет опять безгласным идолом, Дафной — деревом, оплакиваемым в басне,— и порастут могильною тра-

вой низвергнутые храмы. О, мерзость Сеннахеримова! Так вещаем мы, галилеяне, люди презренные, поклоняющиеся Распятому, ученики рыбаков капернаумских и сами — невежды; мы, изнуренные постами, полумертвые, напрасно бодрствующие и пустословящие во время всеночных бдений, и однако же, низлагающие вас: «Где суть книжники, где суть совопросники века сего?» Заимствую сию победную песнь от одного из наших немудрых. Подай сюда свои царские и софистические речи, свои неотразимые силлогизмы и энтимемы! Посмотрим, как и у нас говорят неученые рыбари. Да воспоет со дерзновением Давид, который таинственными камнями низложил надменного Голиафа, победил многих кротостью и духовным сладкозвучием исцелял Саула, мучимого злым духом. Благодарим тебя, Господи! Ныне очищается церковь Твоя гонением. Се, грядет Жених! Мудрые девы, возжгите светильники! Иерея облеките в великий и нескверный хитон,— во Христа, наше одеяние брачное!

Последние слова он произнес нараспев, как слова богослужения. Потрясенная толпа ответила ему гулом одобрения. Кто-то воскликнул.

— Аминь!

Император выслушал до конца длинную речь с невозмутимым хладнокровием, как будто дело шло вовсе не о нем; только в углах губ выступала иногда усмешка.

— Ты кончил, старик? — спросил он спокойно.

— Вот мои руки, мучители! Вяжите! Ведите на смерть! Господи! приемлю венец!

Епископ поднял тусклые слепые глаза к небу.

— Не думаешь ли ты, добрый человек, что я поведу тебя на смерть? — произнес Юлиан.— Ошибаешься. Я отпущу тебя с миром. В душе моей нет злобы против тебя.

— Что это? Что это? О чем он говорит? — спрашивали в толпе.

— Не соблазняй! Не отступлю от Христа! Отыди, враг человеческий! — Палачи, ведите на смерть! Вот я!

— Здесь нет палачей, друг мой. Здесь все такие же добрые люди, как ты. Успокойся! Жизнь скучнее и обыкновеннее, чем ты думаешь. Я слушал тебя с любопытством, как поклонник всякого красноречия, даже галилейского. И чего тут только не было — мерзость Сеннахеримова, и царь Амморейский, и камни Давида, и Голиаф! Нет у вас простоты в речах. Почитайте нашего Демосфена, Платона и в особенности Гомера. Они, в самом деле, просты, как дети, мудры, как боги. Да, поучитесь у них ве-

ликому спокойствию, галилеяне! Бог — не в бурях, а в тишине. Вот и весь мой урок, вот и вся моя месть — так как ты сам требовал мести.

— Да поразит тебя Господь, богохульник!..— начал было опять Марис.

— Господь не сделает меня слепым во гневе, а тебя зрячим,— возразил Август.

— Благодарю Бога моего за слепоту,— воскликнул старик; — не дает она очам моим видеть окаянное лицо Отступника!

— Сколько злобы, сколько злобы в таком дряхлом теле! Говорите вы все о смирении, о любви, галилеяне,— а какая ненависть в каждом вашем слове! — Я только что вышел из собрания, где братья, во имя Бога, готовы были растерзать друг друга, как звери, и вот теперь ты — со своею необузданной речью. За что такая ненависть? Разве и я не брат ваш? О, если бы ты знал, как в это мгновение безмятежно и благосклонно мое сердце! Я желаю тебе всего доброго и молю олимпийцев, да смягчат они твою жестокую, темную и страдающую душу, слепец. Иди же с миром и помни, что не одни галилеяне умеют прощать.

— Не верьте ему, братья! Это хитрость, обольщение Змия! Видел еси, Господи, как Отступник поносит Тебя, Бога Израилева,— да не премолчиши!

Не обращая более внимания на проклятия старика, Юлиан прошел среди народа в своей простой белой одежде, озаренной солнцем, спокойный и мудрый, как один из древних мужей.

VIII

Была бурная ночь. Изредка сияние луны проникало сквозь быстро несущиеся тучи и странно смешивалось с мерцанием молнии. Теплый ветер, пропитанный соленым запахом гнилых водорослей, хлестал иглами косого дождя.

К одинокой развалине на берегу Босфора подъехал всадник. Во времена незапамятные, когда жили здесь троянцы, это укрепление служило сторожевою башнею; теперь остались от нее только груды камней, поросших бурьяном, и полуразрушенные стены. Внизу была маленькая хижина, убежище от ненастья для заблудившихся пастухов и бродяг.

Привязав коня под защитой полуобвалившегося свода и раздвинув колючий репейник, всадник постучался в низенькую дверь:

— Это — я, Мэроэ. Отопри!

Египтянка отворила дверь и впустила его во внутренность башни.

Всадник подошел к тускло горевшему факелу. Свет упал ему в лицо. То был император Юлиан.

Они вышли. Старуха, хорошо знавшая это место, вела его за руку.

Раздвигая жесткие стебли мертвого чертополоха, отыскала низкий вход в расщелине, между скалами. Они спустились по ступеням. Море было близко; грохот прибоя потрясал землю; но каменные стены защищали от ветра. Египтянка выбила огонь.

— Вот, господин мой, лампада и ключ. Поверни его в замке два раза. Дверь в монастырь открыта. Если встретишь привратника — не бойся. Я подкупила. Только смотри, не ошибись: в верхнем проходе тринадцатая келья налево.

Юлиан отпер дверь и долго спускался по крутому наклону с широкими ступенями из древнего плитняка. Скоро подземелье превратилось в такую узкую щель, что два человека, встретившись, не могли бы разойтись. Потайной ход соединял некогда сторожевую башню с укреплением на противоположном берегу залива, а теперь — покинутую развалину с новым христианским монастырем.

Юлиан вышел из подземелья высоко над клокочущим морем, между острыми скалами, изъеденными прибоем, и начал взбираться по узким ступеням, высеченным в скале. Дойдя до самого верха, увидел кирпичную ограду. Она была сложена неровно — многие кирпичи выдавались. Опираясь на них ногой, хватаясь руками, можно было перелезть в крошечный монастырский садик.

Он вступил в опрятный двор. Здесь все дышало спокойствием. Стены были затканы чайными розами. В бурном теплом воздухе цветы пахли сильно и тревожно.

Ставни на одном из нижних окон изнутри не были заперты. Юлиан тихонько отворил их и влез в окно.

В лицо ему дохнул спертый воздух монастыря. Пахло сыростью, ладаном, мышами, лекарственными травами и свежими яблоками, которые запасливые монахини хранили в кладовых.

Император ступил в длинный проход; по обеим сторонам был ряд дверей.

Он сосчитал тринадцатую налево и открыл тихонько. Келья была тускло освещена алебастровым ночником. Повеяло сонной теплотой. Он притаил дыхание.

На низком ложе, с белоснежными покровами, лежала

девушка в монашеской темной тунике. Она, должно быть, уснула во время молитвы, не успев раздеться; тень ресниц падала на бледные щеки; брови сжаты были сурово и величественно, как у мертвых.

Он узнал Арсиною.

Она очень изменилась. Только волосы остались те же: у корней темно-золотистые, на концах — бледно-желтые, как медь в луче солнца.

Ресницы ее дрогнули. Она вздохнула.

Перед глазами его сверкнуло гордое тело амазонки, облитое солнечным светом, ослепительное, как золотистый мрамор Парфенона. И протягивая руки к монахине, спавшей под сенью черного креста, Юлиан прошептал:

— Арсиноя!

Девушка открыла глаза, взглянула на него спокойно, без удивления и страха, как будто знала, что он придет. Но опомнившись, вздрогнула и провела рукой по лицу.

Он подошел к ней:

— Не бойся. Скажи слово — я уйду.

— Зачем ты пришел?

— Я хотел знать, правда ли...

— Юлиан, все равно... Мы не поймем друг друга.

— Правда ли, что ты веришь в Него, Арсиноя?

Она не ответила.

— Помнишь ту ночь в Афинах,— продолжал император,— помнишь, как ты искушала меня, галилейского монаха, так же, как я теперь искушаю тебя? Прежняя гордость и сила в лице твоем, Арсиноя, а не рабское смирение галилеян! Зачем ты лжешь? Сердце так не изменяется. Скажи мне правду.

— Я хочу власти,— проговорила она тихо.

— Власти? Ты еще помнишь союз наш! — воскликнул он радостно.

Она с грустной улыбкой покачала головой:

— О, нет!.. Над людьми — не стоит. Ты сам это знаешь. Я хочу власти над собою.

— И для этого идешь в пустыню?

— Да. И еще — для свободы...

— Арсиноя, ты по-прежнему любишь себя, только себя!

— Я хотела бы любить себя и других, как Он велел. Но не могу: я ненавижу и себя, и других.

— Лучше совсем не жить! — воскликнул Юлиан.

— Надо преодолеть себя,— проговорила она медленно,— надо победить в себе не только отвращение к смерти, но и отвращение к жизни — это гораздо труднее, по-

тому что жизнь страшнее смерти. Но зато, если победишь себя до конца, жизнь и смерть будут равны — и тогда свобода!

Тонкие брови ее сжимались с упрямством неодолимой воли.

Юлиан смотрел на нее с отчаянием.

— Что они сделали с тобой! — произнес он тихо.— Все вы — мучители или мученики. Зачем вы терзаете себя? Разве ты не видишь — в душе твоей нет ничего, кроме злобы и отчаяния...

Она взглянула на него с ненавистью:

— Зачем ты пришел сюда? Я не звала тебя. Уйди. Какое мне дело до того, что ты думаешь? Довольно мне моих собственных мыслей и мук!.. Между нами бездна, которой живые не переступают. Ты говоришь: я не верю. Да, не верю, но хочу верить, слышишь? — хочу и буду. Истерзаю плоть свою, иссушу ее голодом и жаждой, сделаю бесчувственнее мертвых камней. Но главное — разум! Надо умертвить его, потому что он — дьявол. Он соблазнительнее всех желаний: я укрощу его. Это будет последняя победа, величайшая! И тогда свобода. Тогда посмотрим, возмутится ли что-нибудь во мне, скажет ли: не верю.

Она сложила ладони рук и протянула их к небу с безнадежной мольбой:

— Господи, помилуй меня! Где же ты, Господи! Услышь меня и помилуй!

Юлиан бросился перед ней на колени, обвил стан ее руками, насильно привлек к себе на грудь, и глаза его сверкнули победой:

— О, девушка, теперь я вижу — ты не могла уйти от нас, хотела и не могла! Пойдем сейчас, пойдем со мною — и завтра ты будешь супругой римского императора, владычицей мира. Я вошел сюда, как вор, выйду, как царь, со своею добычей. Какая победа над галилеянами!

Лицо Арсинои сделалось печальным и спокойным. Она взглянула на Юлиана с жалостью, не отталкивая его:

— Бедный, бедный, такой же, как я! Сам не знаешь, куда зовешь. И на кого надеешься? Боги твои — мертвецы. От этой заразы, от страшного запаха тлена бегу я в пустыню. Оставь меня. Я не могу тебе ничем помочь. Уйди!

Глаза его вспыхнули гневом и страстью.

Но она произнесла еще спокойнее, с еще большей жалостью, так что сердце его дрогнуло и похолодело, как от смертельной обиды:

— И зачем ты обманываешь себя? Разве ты не такой

же неверующий, погибающий, как все мы? Подумай, что значит твое милосердие, странноприимные дома, проповеди эллинских жрецов. Все это — подражание галилеянам, все это — новое, неизвестное древним мужам, героям Эллады. Юлиан, Юлиан, разве боги твои — прежние олимпийцы, лучезарные, беспощадные — страшные дети небесной лазури, веселящиеся кровью жертв и страданиями смертных? Кровь и страдания людей — нектар и амброзия богов. А твои — соблазненные верой капернаумских рыбаков, слабые, кроткие, больные, умирающие от жалости к людям,— потому что, видишь ли, жалость к людям для богов смертельна!..

Буря утихла. В окно было видно, как между разорванных туч бездонно-глубокое небо сияло зеленой печальною зарею, в которой умирала звезда Афродиты. Император чувствовал тяжелое утомление. Лицо его покрылось мертвенной бледностью. Он делал страшные усилия, чтобы казаться спокойным, но каждое слово Арсинои проникало до самой глубины его сердца и ранило.

— Да,— продолжала она неумолимо,— вы больные, вы слишком слабые для собственной мудрости. Вот ваше проклятие, запоздалые эллины! Нет у вас силы ни в добре, ни во зле. Вы — ни день, ни ночь, ни жизнь, ни смерть. Сердце ваше — и здесь, и там; отплыли от одного берега, не пристали к другому. Верите и не верите, вечно изменяете, вечно колеблетесь, хотите и не можете, потому что не умеете желать. Сильны только те, кто, видя одну истину, слепы для другой. Они вас победят — двойственных, мудрых и слабых...

Юлиан поднял голову с усилием, как будто преодолевая неимоверную тяжесть, и произнес:

— Ты неправа, Арсиноя. Душа моя не знает страха, воля моя непреклонна. Силы рока ведут меня. Если суждено мне умерсть слишком рано, я знаю, смерть моя пред лицом богов будет прекрасной. Прощай! Видишь — я ухожу без гнева, печальный и спокойный, потому что теперь ты для меня, как мертвая.

IX

Над воротами главного здания больницы Аполлона Дальномечущего, для нищих, странников и калек, на мраморном челе ворот вырезана была надпись по-гречески, стих из Гомера:

Все мы от Зевса —
Странники бедные. Мало даю, но с любовью даянье.

Юлиан вступил во внутренние портики; ряд стройных ионических столбов окружал двор; здание было некогда палестрой.

Вечер стоял тихий, безмятежно радостный. Солнце еще не заходило. Но из больничных портиков, из внутренних покоев веяло тяжелым смрадом.

Здесь, в одной куче, валялись дети и старики, христиане и язычники, больные и здоровые, калеки, уроды, расслабленные, хромоногие, покрытые гнойными струпьями, распухшие от водянки, исхудалые от сухотки,— люди с печатью всех пороков и всех страданий на лицах.

Полуголая старуха, в отрепьях, с темным цветом кожи, подобным цвету сухих листьев, чесала себе спину, покрытую язвами, о нежный мрамор ионической колонны.

Посредине двора возвышалось изваяние Аполлона Пифийского с луком в руках и колчаном за спиною.

У самого подножья кумира сидел сморщенный урод, не то дитя, не то старик; обняв колени руками, положив на них подбородок, медленно раскачивался он из стороны в сторону и с тупоумным выражением лица напевал жалобную песенку:

— Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас окаянных!

Явился главный смотритель больницы, Марк Авзоний, бледный и дрожащий.

— Мудрейший и милостивый кесарь, не угодно ли тебе будет пожаловать в мой дом? — Здесь воздух нехороший. И зараза недалеко: отделение прокаженных.

— Ты главный смотритель?

Авзоний, стараясь не дышать, чтобы не заразиться, низко поклонился.

— Раздается ли ежедневно хлеб и вино?

— Все, как повелел блаженный Август.

— Какая грязь!

— Это — галилеяне. Мыться считают грехом: никакими силами не загонишь в баню...

— Вели принести счетные книги,— проговорил Юлиан.

Смотритель упал на колени и пролепетал:

— Государь, все в исправности, но случилось несчастье: книги сгорели...

Император нахмурился.

В это мгновение раздались крики в толпе больных:

— Чудо, чудо! Расслабленный встает!

Юлиан обернулся и увидел, как человек высокого роста, с обезумевшим от радости лицом, с протянутыми к нему

руками, с детскою верою в глазах, вставал с гнилой соломенной подстилки.

— Верую, верую,— проговорил расслабленный.— Ты бог, сошедший на землю! Вот лицо твое, как лицо бога! Прикоснись ко мне, исцели меня, кесарь!

— Чудо, чудо! — торжествовали больные.— Слава императору, слава Аполлону-Исцелителю!

— И ко мне, и ко мне! — взывали другие.— Скажи слово — исцелюсь!

Заходящее солнце проникло в открытые ворота и нежным светом озарило мраморное лицо Аполлона Дальномечущего. Император взглянул на него, и вдруг все, что делалось в больнице, показалось ему кощунством: очи бога не должны были видеть такого уродства. И Юлиану захотелось очистить древнюю палестру, где некогда упражнялись эллины в вольных играх,— от всей этой галилейской и языческой сволочи, от всего этого смрадного человеческого тлена. О, если бы древний бог воскрес,— как засверкали бы очи его, как засвистели бы стрелы, разя этих калек и расслабленных, очищая душный воздух!

Поспешно и молча вышел он из больницы Аполлона, забыв о счетных книгах Авзония. Догадался, что донос верен, что главный смотритель — взяточник, но такая усталость и отвращение овладели сердцем его, что не хватило духу исследовать обман и проверять.

Когда вернулся во дворец, было поздно. Велел никого не принимать и удалился на свое любимое место, высокую площадку между колоннами, над заливом Босфора.

Весь день прошел в скучных мелких делах, в чиновничьих дрязгах, в проверке счетов. Открывалось множество взяток. Император видел, что лучшие друзья обманывают его. Все эти эллинские ученые, поэты, риторы, которым он отдал управление миром, не меньше грабили казну, чем христианские евнухи и епископы во времена Констанция. Странноприимные дома, убежища философов, вроде монастырей, больницы Аполлона и Афродиты были предлогом для наживы ловких людей, тем более что не одним галилеянам, но и язычникам казались они смешной и кощунственной прихотью кесаря.

Он чувствовал, что все тело его ноет от тяжелой, бесплодной усталости. Потушив лампаду, прилег на походное ложе.

— Надо обдумать в тишине, в спокойствии,— говорил он себе, смотря на вечернее небо.

Но думать не хотелось.

Огромная звезда сияла в темнеющем бездонно-глубоком эфире. Юлиан смежил веки, и сквозь ресницы луч ее мерцал, проникая в сердце, как холодная ласка.

Он очнулся и вздрогнул, почувствовав, что кто-то вошел в комнату. Лунный свет падал между колоннами. Высокий старик с длинной, белой, как лунь, бородой, с глубокими темными морщинами, в которых выражалось не страдание, а усилие воли и мысли, стоял над ложем его. Юлиан приподнялся и прошептал:

— Учитель! Это ты?..

— Да, Юлиан, я пришел говорить с тобой наедине.

— Я слушаю.

— Сын мой, ты погибнешь, потому что изменил себе.

— И ты, Максим, и ты против меня!..

— Помни, Юлиан: плоды золотых Гесперид вечно зелены и жестки. Милосердие — мягкость и сладость перезрелых, гниющих плодов. Ты постник, ты целомудрен, ты скорбен, ты милосерд, ты называешь себя врагом христиан, но ты сам — христианин. Скажи мне, чем ты хочешь победить Распятого?

— Силой богов — красотой и весельем.

— Есть ли у тебя сила?

— Есть.

— Такая, чтобы вынести полную истину?

— Да.

— Так знай же — *их* нет.

Юлиан в ужасе заглянул в спокойные, мудрые глаза учителя.

— Про кого ты говоришь: «их нет»? — спросил он дрогнувшим голосом, бледнея.

— Я говорю: нет богов. Ты — один.

Ученик Максима ничего не ответил и опустил голову на грудь.

Глубокая нежность затеплилась в глазах учителя. Он положил руку свою на плечо Юлиану:

— Утешься. Или ты не понял? Я хотел испытать тебя. Боги есть. Видишь, как ты слаб. Ты не можешь быть один. Боги есть — они любят тебя. Только помни: не ты соединишь правду Скованного Титана с правдой Галилеянина Распятого. Хочешь, я скажу тебе, каков будет Он, не пришедший, Неведомый, Примиритель двух миров.

Юлиан молчал, все еще испуганный и бледный.

— Вот Он явится,— продолжал Максим,— как молния из тучи, смертоносный и всеозаряющий. Он будет страшен

и бесстрашен. В нем сольются добро и зло, смирение и гордость, как свет и тень сливаются в утренних сумерках. И люди благословят его не только за милосердие, но и за беспощадность: в ней будет сила и красота богоподобная.

— Учитель,— воскликнул император,— вот, я вижу все это в глазах твоих. Скажи, что ты — Неведомый, и я благословлю тебя и пойду за тобой.

— Нет, сын мой! Я свет от света его, дух от духа его. Но я еще не он. Я надежда, я предвестник.

— Зачем же скрываешься ты от людей? Явись им, чтобы они узнали тебя...

— Время мое не настало,— ответил Максим.— Уже не раз приходил я в мир и еще приду не раз. Люди боятся меня, называют то великим мудрецом, то соблазнителем, то волшебником — Орфеем, Пифагором, Максимом Эфесским. Но я—Безыменный. Я прохожу мимо толпы с немыми устами, с закрытым лицом. Ибо что могу я сказать толпе? Не поймут они и первого слова моего. Тайна любви и свободы моей для них страшнее смерти. Они так далеки от меня, что даже не распинают меня и не побивают каменьями, как своих пророков, а только не узнают. Я живу в гробах и беседую с мертвыми, ухожу на горные вершины и беседую со звездами, ухожу в пустыни и прислушиваюсь, как трава растет, как стонут волны моря, как бьется сердце земли,— подстерегаю, не пришло ли время. Но время еще не пришло,— и я опять ухожу, как тень, с немыми устами и закрытым лицом.

— Не уходи, учитель, не покидай меня!

— Не бойся, Юлиан: я не покину тебя до конца. Я люблю тебя, потому что ты должен погибнуть из-за меня, возлюбленный сын мой,— и нет тебе спасения.—Прежде чем приду я в мир и откроюсь людям, много еще погибнет великих, отверженных, возмутившихся против Бога, с глубоким и двойственным сердцем, соблазненных мудростью моею, отступников, подобных тебе. Люди проклянут тебя, но никогда не забудут, потому что на тебе моя печать, ты создание мое, ты дитя моей мудрости. Люди поздних грядущих веков узнают в тебе меня, в твоем отчаянии мои надежды, и сквозь позор твой мое величие, как солнце сквозь туман.

— О, божественный,— воскликнул Юлиан,— если слова твои ложь, дай мне умереть за эту ложь, потому что она прекраснее истины!

— Некогда я благословил тебя на жизнь и на царство, император Юлиан; ныне благословляю тебя на смерть

и бессмертие. Иди, погибни за Неведомого, за Грядущего, за Антихриста.

С торжественной и тихой улыбкой, как отец, благословляющий сына, старик возложил руки на голову Юлиана, поцеловал его в лоб и сказал:

— Вот опять скрываюсь я в подземный мрак, и никто не узнает меня. Да будет дух мой на тебе!

X

В Великой Антиохии, столице Сирии, в переулке, недалеко от главной улицы Сингон, находились термы, теплые бани. Бани были модные, дорогие. Многие приходили сюда, чтобы услышать последние городские новости.

Между раздевальней и холодильней роскошная зала, вымощенная цветными мраморами и мозаикой, назначена была для потения.

Из соседних зал слышалось непрерывное журчание струй в звонкие купальни, в огромные водоемы, плеск и смех купающихся. Смуглые рабы, голые банщики бегали, суетились, откупоривали сосуды с благовониями. В Антиохии баня была главною радостью жизни — высоким и разнообразным искусством: недаром славилась столица Сирии обилием, вкусом и чистотою воды, такой прозрачной, что наполненная купальня или ведро казались пустыми.

Сквозь млечно-белые пары, подымавшиеся из мраморных отдушин, в зале для потения виднелись красные голые тела. Иные полулежали, другие сидели; некоторых банщики натирали маслом. Все разговаривали и потели, с важным видом. Красота древних изваяний, расставленных по стенам в углублениях, Антиноев и Адонисов, усиливала новое уродство живых человеческих тел.

Из горячей купальни вышел жирный старик, величественной и безобразной наружности, купец Бузирис, державший в руках своих всю торговлю антиохийского хлебного рынка. Стройный молодой человек почтительно поддерживал его под руку. Хотя оба они были голы, но можно было тотчас видеть, кто господин, кто клиент.

— Поддай жару! — проговорил Бузирис повелительным, хрипким голосом: по густоте этого звука легко было заключить, какими миллионами ворочает хлебник.

Открыли два медных крана: горячий пар с шипением вырвался из отдушины и окружил старика белым облаком. Как чудовищный бог в апофеозе, стоял он в этом облаке, сопел, кряхтел от наслаждения и похлопывал жир-

ными ладонями по красному мясистому брюху, звучавшему как барабан.

Бывший смотритель странноприимных домов и больниц Аполлона, чиновник квестуры Марк Авзоний, сидел на корточках; крохотный, худенький, рядом с жирной громадой купца, казался он ощипанным и замороженным цыпленком.

Насмешник Юний Маврик никак не мог вызвать пота на своем жилистом, сухом как палка, костлявом теле, пропитанном желчью.

Гаргилиан лежал, растянувшись на мозаичном полу, дебелый, дряблый, мягкий как студень, огромный как туша борова: пафлагонский раб, задыхаясь от натуги, тер ему пухлую спину мокрой суконкой.

Разбогатевший стихотворец Публий Порфирий Оптатиан с грустной задумчивостью смотрел на свои ноги, изуродованные подагрой.

— Знаете ли, друзья мои, письмо белых быков римскому императору? — спросил поэт.

— Не знаем. Говори.

— Всего одна строчка: «Если ты победишь персов,— мы погибли».

— И все?

— Чего же больше?

Белая туша Гаргилиана затряслась от хохота:

— Клянусь Палладою, коротко, но верно! Если только он вернется победителем из Персии, то принесет в жертву богам такое множество белых быков, что эти животные сделаются большею редкостью, чем египетский Апис. Раб, поясницу! Сильнее!

И туша, медленно перевернувшись на другой бок, шлепнулась с таким звуком, как будто бросили на пол кучу мокрого белья.

— Хэ-хэ-хэ! — засмеялся Юний тоненьким, желчным смехом.— Из Индии, с острова Тапробана, привезли, говорят, несметное множество белых редкостных птиц. А откуда-то из ледяной Скифии — огромных диких лебедей. Все для богов. Откармливает олимпийцев. Отощали, бедненькие, со времен Константина!

— Боги объедаются, а мы постимся. Вот уже три дня, как на рынке ни одного колхидского фазана, ни одной порядочной рыбы,— воскликнул Гаргилиан.

— Молокосос! — заметил хлебный купец отрывисто.

Все обернулись, почтительно умолкнув.

— Молокосос! — повторил Бузирис еще более важным и сиплым голосом.— Если бы вашему римскому кесарю, говорю я, прищемить губки или носик, молоко из них потекло бы, как у сосунка двухнедельного. Хотел сбить цену на хлеб, запретил продавать по той, которую сами назначили, 400 000 мер египетской пшеницы выписал...

— И что же? Сбил?

— А вот, слушайте. Подговорил я купцов; заперли житницы; лучше, думаем, пшеницу сгноим, а не покоримся. Египетский хлеб съели, нашего не даем. Сам заварил, сам расхлебывай!

Бузирис с торжеством хлопнул себя по брюху ладонями.

— Довольно пару. Лей! — приказал купец, и молодой красивый раб, с длинными кудрями, похожий на Антиноя, откупорил над его головой тонкую амфору с драгоценной аравийской кассией. Ароматы полились обильными струями по красному потному телу, и Бузирис растирал густые капли с наслаждением. Потом, умастившись, с важностью вытер толстые пальцы, как о полотенце, о золотистые кудри раба, наклонившего голову.

— Совершенно верно изволила заметить твоя милость,— вставил с поклоном угодливый прихлебатель-клиент,— император Юлиан не что иное, как молокосос. Недавно выпустил он пасквиль на граждан Антиохии под названием *Ненавистник бороды*, в коем на ругань черни ответствует еще более наглой руганью, прямо объявляя: «вы смеетесь над моею грубостью, над моею бородой? Смейтесь сколько угодно! Сам я буду смеяться над собою. Не надо мне ни суда, ни доносов, ни тюрем, ни казней».— Но, спрашивается, достойно ли сие римского кесаря?

— Блаженной памяти император Констанций,— наставительно заметил Бузирис,— не чета был Юлиану: сразу, по одежде, по осанке видно было — кесарь. А этот, прости Господи, выкидыш богов, коротконогая обезьяна, медведь косолапый, шляется по улицам, неумытый, небритый, нечесаный, с чернильными пятнами на пальцах. Смотреть тошно. Книжки, ученость, философия! — Подожди, проучим мы тебя за вольнодумство. С этим шутить нельзя. Народ надо держать вот как! Распустишь,— не соберешь.

Марк Авзоний, до тех пор молчавший, проговорил задумчиво:

— Все можно бы простить, но зачем отнимает он у нас последнюю радость жизни — цирк, сражения гла-

диагоров? Друзья мои, вид крови дает людям блаженство. Это святая радость. Без крови нет веселья, нет величия на земле. Запах крови — запах Рима...

На лице последнего потомка Авзониев вспыхнуло слабое странное чувство. Он вопросительно обвел слушателей простодушными, не то старческими, не то детскими глазами.

Огромная туша Гаргилиана зашевелилась на полу; подняв голову, он уставился на Авзония.

— А ведь хорошо сказано: запах крови — запах Рима! Продолжай, продолжай, Марк, ты сегодня в ударе.

— Я говорю, что чувствую, друзья. Кровь так сладостна людям, что даже христиане не могли без нее обойтись: кровью думают они очистить мир. Юлиан делает ошибку: отнимая у народа цирк, отнимает он веселие крови. Чернь простила бы все, но этого не простит...

Последние слова Марк произнес вдохновенным голосом. Вдруг провел рукой по телу, и лицо его просияло.

— Потеешь? — спросил Гаргилиан с глубоким участием.

— Кажется, потею,— отвечал Авзоний с тихой, восторженной улыбкой.— Три, три скорее спину, пока не простыл,— три!

Он лег. Банщик начал растирать жалкие, бескровные члены его, подернутые синеватой бледностью, как у мертвеца.

Из порфировых углублений, сквозь млечное облако пара, древние эллинские изваяния смотрели на безобразные тела новых людей.

А между тем, в переулке, у входа в термы, собиралась толпа.

Ночью Антиохия блистала огнями, особенно главная улица Сингон, прямая, пересекавшая город, на протяжении 36 стадий, с портиками и двойными колоннадами во всю длину, с роскошными лавками. Перед лестницей бань, озаряя пеструю толпу, пылали уличные светильники, раздуваемые ветром. Смолистая копоть расстилалась клубами с железных подсвечников.

В толпе слышались насмешки над императором. Уличные мальчишки шныряли, выкрикивая насмешливые песенки. Старая поденщица, схватив одного из них и задрав ему рубашонку на голову, ударяла по голому заду звонкой подошвой сандалии, приговаривая:

— Вот тебе, вот тебе! Будешь, чертенок, петь срамные песни!

Смуглолицый мальчик кричал пронзительно.

Другой, вскарабкавшись на спину товарищу, углем чертил карикатуру на белой стене — длиннобородого козла в императорской диадеме. Мальчик постарше, должно быть, школьник, с милым, бойким и плутоватым лицом, выводил под рисунком надпись крупными буквами: «се нечестивый Юлиан».

Стараясь сделать свой голос грубым и страшным, переваливаясь с ноги на ногу, как медведь, он рычал:

Мясник идет,
Мясник идет,
Острый нож иесет,
Бородой трясет,
С шерстью черною,
С шерстью длинною,—
Бородой своей козлиною.

Прохожий, старый человек, в темных одеждах, должно быть, церковник, остановился, послушал мальчика, покачал головой, поднял глаза к небу и обратился к рабу-носильщику:

— Из уст младенца правда исходит. Не лучше ли нам жилось при Каппе и Хи?

— Что это значит: Каппа и Хи?

— Не разумеешь? Греческой буквой Каппа начинается имя Констанций, а Хи первая буква в слове Христос. Ни Констанций, ни Христос, говорю я, не сделали жителям Антиохии никакого зла — не то, что разные проходимцы-философы.

— Что верно, то верно, при Каппе и Хи нам лучше жилось!

Пьяный оборванец, подслушав эту остроту, с торжествующим видом помчался разносить ее по улицам.

— При Каппе и Хи недурно жилось! — кричал он.— Да здравствуют Каппа и Хи!

Шутка облетела всю Антиохию, понравившись черни бессмысленной неопровержимостью.

Еще большее веселье царствовало в кабаке, против бань, принадлежавшем каппадокийскому армянину Сираксу: давно уже перенес он торговлю из окрестностей Цезареи близ Мацеллума в Антиохию.

Из козьих мехов, из огромных глиняных амфор щедро цедилось вино в оловянные кубки. Говорили, как и везде, об императоре. Особенным красноречием отличался маленький сириец-солдат, Стромбик, тот самый, который участвовал в походе цезаря Юлиана против север-

ных варваров Галлии. Рядом с ним был его неизменный спутник и друг, исполинского роста сармат Арагарий.

Стромбик чувствовал себя, как рыба в воде. Больше всего в мире любил он всевозможные бунты и возмущения.

Он собирался произнести речь.

Старуха тряпичница сообщила новость:

— Погибли, погибли мы все до единого. Покарал Господь! Соседка такое сказывала, что сперва не поверили.

— Что же, старушка?.. Расскажи!..

— В Газе, милые, в городе Газе случилось. Напали язычники на женскую обитель. Выволокли монахинь, раздели, привязали к столбам на площади, рассекли тела их, и, обсыпав ячменем трепещущие внутренности, кинули свиньям!

— Я сам видел,— добавил молодой прядильщик с бледным упрямым лицом,— в Гелиополисе Лаванском язычник пожирал сырую печень убитого дьякона.

— Мерзость! — проговорил медник, нахмурившись.

Многие перекрестились.

При помощи Арагария Стромбик вскарабкался на липкий стол с лужей вина и, подражая ораторам, с величественным видом обратился к толпе. Арагарий одобрительно кивал головой и указывал на него с гордостью.

— Граждане! — начал Стромбик,— доколе будем терпеть? Знаете ли вы, что Юлиан поклялся, вернувшись из Персии победителем, собрать святых мужей и бросить их на съедение зверям? Притворы базилик обратит в сеновалы, алтари в конюшни...

В двери кабака вкатился кубарем горбатый старичок, бледный от страха, муж тряпичницы, стекольщик. Он остановился, в отчаянии ударил себя обеими руками по ляжкам, обвел всех глазами и пролепетал:

— Слышали? Вот так штука! Двести мертвых тел в колодцах и водосточных трубах!

— Когда? Где? Каких мертвых тел? Что такое?

— Тише, тише! — замахал руками стекольщик и продолжал таинственным шепотом: — Говорят, Отступник давно уже гадает по внутренностям живых людей о войне с персами...

И он прибавил, задыхаясь от наслаждения:

— В подвалах антиохийского дворца отыскали ящики с костями. Кости-то человечьи! А в городе Каррах, недалеко от Эдессы, нашли в подземном капище труп беременной женщины, подвешенной за волосы — живот распорот,

младенец вынут из чрева: Юлиан гадал по печени неродившегося о будущем — все о проклятой войне с персами, о победе над христианами...

— Эй, Глутурин, правда ли, что в выгребных ямах находят человечьи кости? Ты должен знать,— спросил сапожник.

Глутурин, чистильщик клоак, стоял у дверей, не смея войти, потому что от него дурно пахло. Когда ему предложили вопрос, он, по обыкновению, начал застенчиво улыбаться и моргать воспаленными веками:

— Нет, почтенные,— отвечал он кротко.— Младенцев находили. Еще ослиные и верблюжьи остовы. А человечьих как будто не видать...

Когда Стромбик снова заговорил, чистильщик клоак смотрел на оратора благоговейно и, почесывая голую ногу о косяк двери, слушал с неизъяснимым наслаждением.

— Мужи-братья, отомстим! — восклицал оратор пламенно.— Умрем за свободу, как древние римляне!..

— Чего глотку дерешь? — рассердился вдруг сапожник.— Как до дела, небось, первый улизнешь, а других на смерть посылаешь...

— Трусы вы, трусы! — вмешалась в разговор нарумяненная и набеленная женщина в пестром бедном наряде, уличная блудница, называемая поклонниками попросту Волчихой.

— Знаете ли вы,— продолжала она с негодованием,— что сказали палачам святые мученики Македоний, Феодул и Татиан?

— Не знаем. Говори, Волчиха!

— Сама слышала. В Мирре Фригийской три юноши, Македоний, Феодул и Татиан, ночью вошли в эллинский храм и сокрушили идолов во славу Божью. Проконсул Амахий схватил исповедников и, положив на железные сковороды, велел развести огонь. Они же говорили: «Если ты, Амахий, хочешь испробовать жареного мяса, поворотин нас на другой бок, чтобы мы на твой вкус не показались недопеченными». И все трое засмеялись и плюнули ему в лицо. И многие видели, как ангел слетел с тремя венцами.— Небось, вы бы так не ответили? Только за свою шкуру трястись умеете. Смотреть тошно!

Волчиха отвернулась с презрением.

С улицы долетели крики.

— Уж не идолов ли бьют? — обрадовался стекольщик.

— Граждане, за мною! — размахивал руками Стромбик. Он хотел соскочить со стола, но, поскользнувшись,

грохнулся бы на пол, если бы верный Арагарий не принял его с нежностью в свои объятья.

Все кинулись к дверям. С главной улицы Сингон двигалась огромная толпа и, запрудив тесный переулок, остановилась перед банями.

— Старец Памва, старец Памва! — сообщали друг другу с радостью.— Из пустыни пришел народ обличить, великих низвергнуть, малых спасти!

XI

У старца было грубое, широкоскулое лицо; весь он оброс волосами; вместо туники, облекал его холщовый заплатанный мешок, вместо хламиды — пыльный бараний мех, с куколем для головы; на ходу позвякивал он длинной палкой с острым наконечником. Двадцать лет не мылся Памва, потому что считал опрятность тела греховной, веря, что есть особый дьявол чистоты телесной. В страшной пустыне, Берее Халибонской, на восток от Антиохии, где змеи и скорпионы гнездились на дне выжженных колодцев, жил он в одном из таких колодцев, питаясь в день пятью стеблями особого тростника, мучнистого и сладкого. Едва не умер от изнурения. Тогда ученики стали ему спускать пищу. Он разрешил себе в день половину секстария чечевицы, смоченной водою. Зрение его ослабело, кожа покрылась шелудями. Он прибавил немного масла, но стал обвинять себя в чревоугодии.

Памва узнал от учеников, что овец Христовых гонит лютый волк-Антихрист, император Юлиан, покинул пустыню и пришел в Антиохию укрепить ослабевших в вере.

— Слушайте, слушайте,— старец говорит!

Памва взошел на лестницу перед банями, остановился на мраморной площадке, у подножия светильников, и обвел вокруг себя рукою, указывая народу на языческие храмы, термы, лавки, дворцы, судилища, памятники.

— Не останется камня на камне! Все пройдет, все погибнет. Вспыхнет огонь и пожрет мир. Небеса с шумом совьются, как обугленный свиток. Се — страшный суд Христов, необъятное зрелище! Куда обращу мои взоры? Чем полюбуюсь? Не тем ли, как Афродита, богиня любви, с маленьким сыном Эросом, трепещет в наготе своей перед лицом Распятого? Как Зевс, с потухшими громами, и все олимпийские боги бегут от громов Всевышнего? Торжествуйте, мученики! Веселитесь, гонимые! Где ваши судьи — римские начальники, проконсулы? Вот охвачены

они пламенем сильнее того, на котором жгли христиан. Философы, гордившиеся суетной мудростью, покраснеют от стыда перед учениками своими, пылая в геенне, и уже не помогут им ни силлогизмы Аристотеля, ни доказательства Платона! Завопят трагические актеры, как не вопили ни в одной трагедии Софокла и Эсхила! Запрыгают канатные плясуны на адском огне, с проворством невиданным! Тогда мы, люди грубые и невежественные, содрогнемся от радости и скажем сильным, разумным и гордым: вот, смотрите, Осмеянный, вот Распятый, Сын плотника и поденщицы, вот Царь Иудеи, покрытый багряницей, венчанный терниом! Вот Нарушитель Субботы, Самаритянин, Одержимый бесом! Вот Кого связали вы в претории, Кому плевали в лицо, Кого напоили желчью и уксусом! И услышим мы в ответ вопль и скрежет зубовный, и посмеемся, и насытим сердце наше веселием. Ей, гряди, Господи Иисусе!

Глутурин, чистильщик клоак, упал на колени и, моргая воспаленными веками, как бы видя Христа грядущего, простирал к нему руки. Медник, крепко сжав кулаки, замер, как бык, готовый сделать страшный прыжок. Бледнолицый долговязый прядильщик, дрожа всеми членами, бессмысленно улыбался и бормотал: «Господи, Господи, помилуй!» На грубых лицах бродяг и чернорабочих выражалось злорадное торжество слабых над сильными, рабов над господами. Блудница Волчиха, оскалив зубы, тихонько смеялась, и неукротимая жажда мести сверкала в ее глазах, пьяных и грозных.

Вдруг послышалось бряцание оружия, стройный, тяжкий топот. Из-за угла появились римские воины — ночная стража. Впереди шел префект Востока, Саллюстий Секунд. У него была чиновничья римская голова, четырехугольная, с горбатым орлиным носом, с широким голым черепом, с умным, спокойным и добрым взглядом; простая сенаторская латиклава облекла его; в осанке не было никакой важности, но простота и благородство древнего патриция.

Из-за круглой далекой крыши Пантеона, воздвигнутого Антиохом Селевком, медленно выплывала громадная тускло-багровая луна; зловещие отблески задрожали на медных римских щитах, шлемах и панцирях.

— Разойдитесь, граждане,— обратился Саллюстий к толпе.— Повелением блаженного августа воспрещены ночные собрания на улицах.

Чернь загудела и заволновалась. Ребятишки подняли свист; визгливый дерзкий голосок затянул песенку:

Ку-ку-ре-ку!
Горе бедным петушкам,
Горе беленьким бычкам,
Перебьет их император
В жертву мерзостным богам!

Раздался быстрый грозный лязг железа: римские легионеры, все сразу, вынули мечи из ножен, готовые кинуться в толпу.

Старец Памва застучал железным острием клюки о мраморные плиты и закричал:

— Здравствуй, храброе сатанинское воинство, здравствуй, премудрый начальник римский! Вспомнили, должно быть, старину, когда вы нас жгли, древней философии учили, а мы за вас Богу молились. Ну, что же — добро пожаловать!..

Легионеры подняли мечи. Префект остановил их движением руки.

Он видел, что толпа в его власти.

— Чем вы грозите нам, глупые? — продолжал Памва, обращаясь к Саллюстию.— Что вы можете? Довольно нам одной темной ночи и двух-трех факелов, чтобы отомстить. Вы боитесь аламанов и персов; мы — страшнее аламанов и персов! Мы — всюду, мы — среди вас, бесчисленные, неуловимые! Нет у нас границ, нет отечества; мы признаем одну республику — вселенную! Мы — вчерашние, и уже наполняем мир — наши города, крепости, острова, муниципии, советы, лагери, трибы, декурии, дворцы, сенат, форум,— только храмы еще оставляем вам. О, как истребили бы мы вас, если бы только не наше смирение, не наше милосердие, если бы не хотели мы лучше быть убиваемы, чем убивать! Не надо нам ни меча, ни огня: так много нас, что стоит лишь всем сразу удалиться — и вы погибли, города ваши опустеют, вы ужаснетесь своему одиночеству — молчанию мира; остановится всякая жизнь, пораженная смертью. Помните же: Римская империя сохраняется только нашим христианским терпением!

Все взоры обращены были на Памву: никто не заметил, как человек, в грубой старой хламиде странствующего философа, с желтым исхудалым лицом, с косматыми волосами и длинной черной бородой, окруженный несколькими спутниками, быстро прошел среди римских воинов, почтительно перед ним расступившихся. Он наклонился к префекту Саллюстию и шепнул ему на ухо:

— Зачем медлишь?

— Если подождать,— отвечал Саллюстий,— сами разойдутся. И без того у галилеян слишком много мучени-

ков, чтобы делать новых: они летят на смерть, как пчелы на мед.

Человек в одежде философа, выступив вперед, произнес громким, твердым голосом, как военачальник, привыкший повелевать:

— Разогнать толпу! Схватить мятежников!

Все сразу обернулись. Раздался крик ужаса:

— Август, август Юлиан!

Воины бросились в толпу с обнаженными мечами; повалили старушку тряпичницу. В ногах легионеров барахталась она и визжала. Некоторые бежали. Прежде всех скрылся маленький Стромбик. Произошла свалка. Полетели камни. Медник, защищая Памву, бросил камень в легионера, но попал в стоявшую рядом Волчиху. Она слабо вскрикнула и упала, обливаясь кровью, думая, что умирает мученицей.

Воин схватил Глутурина. Но чистильщик клоак отдался с такой готовностью — доля страдальца, всеми почитаемого, казалась ему раем в сравнении с его обыкновенной жизнью впроголодь,— и от его отрепьев так дурно пахло, что легионер тотчас же с отвращением выпустил пленника.

В середину толпы, с ослом, нагруженным свежей капустой, нечаянно затесался погонщик. Все время, с разинутым ртом, слушал он старца. Заметив опасность, хотел убежать, но осел заупрямился. Напрасно погонщик сзади колотил его палкой и понукал; упершись в землю передними ногами, пригнув уши и подняв хвост, животное издавало оглушительный рев.

И долго этот ослиный рев звучал над толпой, заглушая стоны умирающих, брань солдат, молитвы христиан.

Врач Орибазий, бывший среди спутников Юлиана, подошел к нему:

— Юлиан, что ты делаешь? Достойно ли твоей мудрости?..

Август посмотрел на него так, что он запнулся и умолк.

Юлиан не только изменился, но и постарел в последнее время: на осунувшемся лице его было то жалкое, страшное выражение, которое бывает у людей, одержимых медленной, неисцелимой болезнью или одной всепоглощающей мыслью, близкой к сумасшествию.

В сильных руках он рвал и комкал, сам того не замечая, случайно попавший в них папирусный свиток — свой

собственный указ. Наконец, заглянув прямо в глаза Орибазию, произнес глухим сдавленным шепотом:

— Поди прочь от меня, и все вы подите прочь с вашими советами, глупцы! Я знаю, что делаю. С негодяями, не верующими в богов, нельзя говорить, как с людьми,— надо истреблять их, как хищных зверей... И, наконец, что за беда, если десяток-другой галилеян будут убиты рукой одного эллина?

У Орибазия мелькнула мысль: «Как он похож теперь на своего двоюродного брата Констанция в минуты ярости».

Юлиан закричал толпе голосом, который ему самому казался чужим и страшным:

— Пока еще, милостью богов, я — император, слушайтесь меня, галилеяне! Вы можете смеяться над бородой и одеждой моей, но не над римским законом. Помните: я казню вас не за веру, а за бунт.— В цепи негодяя!

Он указал на Памву дрожащей рукой. Старца схватили два белокурых голубоглазых варвара.

— Лжешь, богохульник! — вопил торжествующий Памва.— За веру Христову казнишь! Зачем же ты не милуешь меня, как некогда Мариса, слепца халкедонского? Зачем, по обычаю своему, не прикрываешь насилие ласкою, уду приманкою? Где твоя философия? Или времена уж не те? Слишком далеко зашел? Братья, убоимся не кесаря римского, а Бога Небесного!..

Теперь никто уж не думал бежать. Страдальцы заражали друг друга бесстрашием. Батавы и кельты ужасались этой готовности умереть, смеющимся, кротким и безумным лицам. Под удары мечей и копий кидались даже дети. Юлиан хотел остановить побоище, но было поздно: «пчелы летели на мед». Он мог только воскликнуть, с отчаянием и презрением:

— Несчастные! Если жизнь вам надоела, разве трудно найти веревки и пропасти!..

А Памва, связанный, поднятый на воздух, кричал еще радостнее:

— Избивайте, избивайте нас, римляне,— да преумножимся! Цепи — наша свобода, слабость — наша сила, победа наша — смерть!

XII

Вниз по течению Оронта, в сорока стадиях от Антиохии, была знаменитая роща Дафны, посвященная богу Аполлону.

Однажды девственная нимфа,— рассказывали поэты,— бежала от преследований Аполлона с берегов Пинея и остановилась на берегах Оронта, изнеможенная, настигаемая богом. Она обратилась с мольбою к матери своей, Латоне, и та, чтобы избавить ее от объятий Солнца, превратила в лавровое дерево — Дафну. С тех пор Аполлон больше всех деревьев любит Дафну, и гордой зеленью лавра, непроницаемой для лучей солнца и все-таки вечно ими ласкаемой, обвивает лиру и кудри свои; Феб посещает место превращения Дафны, густую рощу лавров в долине Оронта, и грустит и вдыхает благовоние темной листвы, согретой, но не побежденной солнцем, таинственной и печальной даже в самый яркий день. Здесь люди воздвигли ему храм и ежегодно празднуют священные торжества — панегирии, в честь бога Солнца.

Юлиан выехал из Антиохии рано поутру, нарочно никого не предупредив: ему хотелось узнать, помнят ли антиохийцы священное празднество Аполлона. По дороге мечтал он о празднестве, ожидая увидеть толпы богомольцев, хоры в честь бога Солнца, возлияния, дым курений, отроков и дев, восходящих по ступеням храма, в белой одежде — символе непорочной юности.

Дорога была трудная. С каменистых равнин Бореи Халибенской дул порывами знойный ветер. Воздух пропитан был едкой гарью лесного пожара, синеватой мглою, расстилавшейся из дремучих теснин горы Казия. Пыль раздражала глаза и горло, хрустела на зубах. Сквозь дымную воспаленную мглу солнечный свет казался мутно-красным, болезненным.

Но только что император вступил в заповедную рощу Аполлона Дафнийского, благоуханная свежесть охватила его. Трудно было поверить, что этот рай находится в нескольких шагах от знойной дороги. Роща имела в окружности восемьдесят стадий. Здесь, под непроницаемыми сводами исполинских лавров, разраставшихся в течение многих столетий, царили вечные сумерки.

Император удивлен был пустынностью: ни богомольцев, ни жертв, ни фимиама — никаких приготовлений к празднику. Он подумал, что народ близ храма, и пошел дальше.

Но с каждым шагом роща становилась пустыннее. Странная тишина не нарушалась ни одним звуком, как на покинутых кладбищах. Даже птицы не пели; они залетали сюда редко: тень лавров была слишком мрачной. Цикада начала было стрекотать в траве, но тотчас умолкла, как

будто испугавшись своего голоса. Только в узкой солнечной полоске полуденные насекомые жужжали слабо и сонно, не смея вылететь из луча в окрестную тень.

Юлиан выходил иногда на более широкие аллеи, между двумя бархатистыми титаническими стенами вековых кипарисов, кидавших черную как уголь, почти ночную тень. Сладким и зловещим ароматом веяло от них.

Кое-где скрытые подземные воды питали мягкий мох. Всюду струились ключи, холодные, как только что растаявший снег, но беззвучные, онемевшие от грусти, как все в этом очарованном лесу.

В одном месте из щели камня, обросшего мхом, медленно сочились светлые капли и падали одна за другой. Но глубокие мхи заглушали их падение; капли были безмолвны, как слезы немой любви.

Попадались целые луга дикорастущих нарциссов, маргариток, лилий. Здесь было много бабочек, но не пестрых, а черных. Луч полуденного солнца с трудом пронизывал лавровую и кипарисовую чащу, делался бледным, почти лунным, траурным и нежным, как будто проникал сквозь черную ткань или дым похоронного факела.

Казалось, Феб навеки побледнел от неутешной скорби о Дафне, которая под самыми жгучими лобзаниями бога, оставалась все такою же темною и непроницаемою, все так же хранила под ветвями своими ночную прохладу и тень. И всюду в роще царили запустение, тишина, сладкая грусть влюбленного бога.

Уже мраморные, величавые ступени и столпы Дафнийского храма, воздвигнутого во времена Диадохов, сверкнули, ослепительно белые среди кипарисов,— а Юлиан все еще не встречал никого.

Наконец, увидел он мальчика лет десяти, который шел по дорожке, густо заросшей гиацинтами. Это было слабое, должно быть, больное, дитя; странно выделялись черные глаза, с голубым сиянием, на бледном лице древней, чисто эллинской прелести; золотые волосы падали мягкими кольцами на тонкую шею, и на висках виднелись голубоватые жилки, как на слишком прозрачных лепестках, выросших в темноте цветов.

— Не знаешь ли, дитя мое, где жрецы и народ? — спросил Юлиан.

Ребенок ничего не ответил, как будто не слышал.

— Послушай, мальчик, не можешь ли провести меня к верховному жрецу Аполлона?

Он тихо покачал головой и улыбнулся.

— Что с тобою? Отчего не отвечаешь?

Тогда маленький красавец указал на свои губы, потом на оба уха, и еще раз, уже не улыбаясь, покачал головой.

Юлиан подумал: «Должно быть, глухонемой от рождения».

Мальчик, приложив палец к бледным губам, смотрел на императора исподлобья.

— Дурное предзнаменование! — прошептал Юлиан.

И ему сделалось почти страшно, в тишине, запустении и сумраке Аполлоновой рощи, с этим глухонемым ребенком, пристально и загадочно смотревшим ему в глаза, прекрасным, как маленький бог.

Наконец, мальчик указал императору на старичка, выходившего из-за деревьев, в заплатанной и запачканной одежде, по которой Юлиан узнал жреца. Сгорбленный, дряхлый, слегка пошатываясь, как человек, сильно выпивший, старичок смеялся и что-то бормотал на ходу. У него был красный нос и гладкая круглая плешь во всю голову, обрамленная мелкими седыми кудерками, такими легкими и пушистыми, что они, почти стоя, окружали его лысину; в подслеповатых, слезящихся глазах светилось лукавство и добродушие. Он нес довольно большую лозниковую корзину.

— Жрец Аполлона? — спросил Юлиан.

— Я самый и есть! Имя мое Горгий. А чего тебе здесь нужно, добрый человек?

— Не можешь ли мне указать, где верховный жрец храма и богомольцы?

Горгий сперва ничего не ответил, только поставил корзину на землю; потом начал усердно растирать себе ладонью голую маковку; наконец, подпер бока обеими руками, склонил голову набок и не без плутовства прищурил левый глаз.

— А почему бы мне самому не быть верховным жрецом Аполлона? — произнес он с расстановкой.— И о каких это богомольцах говоришь ты, сын мой,— да помилуют тебя олимпийцы!

От него разило вином. Юлиан, которому этот верховный жрец казался непристойным, уже собирался сделать строгий выговор.

— Ты, должно быть, пьян, старик!..

Горгий ничуть не смутился, только начал еще усерднее растирать голую маковку и с еще большим плутовством прищурил глаз.

— Пьян — не пьян. Ну, а кубков пять хватил для праздника!.. И то сказать, не с радости, а с горя пьешь. Так-то, сын мой,— да помилуют тебя олимпийцы!.. Ну, а кто же ты сам? Судя по одежде, странствующий философ, или школьный учитель из Антиохии?

Император улыбнулся и кивнул головой. Ему хотелось выспросить жреца.

— Ты угадал. Я учитель.

— Христианин?

— Нет, эллин.

— Ну то-то же, а то много их здесь шляется, безбожников...

— Ты все еще не сказал мне, старик, где народ? Много ли прислано жертв из Антиохии? Готовы ли хоры?

— Жертв? вон чего захотел! — засмеялся старичок и так клюнул носом, что едва не упал.— Ну, брат, этого мы давно уже не видали — со времен Константина!..

Горгий с безнадежностью махнул рукой и свистнул:

— Конечно! Люди забыли богов... Не то что жертв, иногда не бывает у нас и горсти жертвенной муки — лепешку богу испечь — ни зернышка ладана, ни капли масла для лампад: ложись да помирай! — Вот что, сын мой,— да помилуют тебя олимпийцы! Все монахи оттягали. А еще дерутся, с жиру бесятся... Песенка наша спета! Плохие времена... А ты говоришь — не пей. Нельзя с горя не выпить, почтенный. Если бы я не пил, так уж давно бы повесился!..

— Неужели никто из эллинов не пришел к великому празднику? — спросил Юлиан.

— Никто, кроме тебя, сын мой! Я — жрец, ты — народ. Вот и принесем вместе жертву.

— Ты только что сказал, что у тебя нет жертвы.

Горгий с удовольствием поласкал себя по голой маковке.

— Нет чужой, есть своя. Сам позаботился! Три дня мы с Эвфорионом,— он указал на глухонемого мальчика,— голодали, чтобы скопить деньги на жертву Аполлону. Гляди!

Он приподнял лозниковую крышку корзины; связанный гусь высунул голову и загоготал, стараясь вырваться.

— Хэ-хэ-хэ! Чем не жертвочка? — усмехнулся старик с гордостью.— Гусь, хотя не молодой и не жирный, а все-таки птица добрая, священная. Дымок от жареного будет вкусный. Бог и этому должен быть рад, по нынеш-

ним временам!.. До гусей боги лакомы,— прибавил он, сощурив глаз, с лукавым и проницательным видом.

— Давно ли ты жрецом? — спросил Юлиан.

— Давненько. Лет сорок,— может быть, и больше.

— Твой сын? — указал император на Эвфориона, который смотрел все время пристально и задумчиво, как будто желая угадать, о чем они говорят.

— Нет, не сын. Я один — ни детей, ни родных. Эвфорион помощник мой при богослужении.

— Кто же родители?

— Отца не знаю, да и едва ли кто-нибудь знает. А мать — великая сивилла Диотима, много лет жившая при этом храме. Она не говорила ни с кем, не поднимала покрова с лица перед мужами и была целомудренна, как весталка. Когда у нее родился ребенок, мы удивились и не знали, что подумать. Но один мудрый столетний иерофант сказал нам...

При этом Горгий с таинственным видом заслонил ладонью рот и прошептал на ухо Юлиану, как будто мальчик мог услышать:

— Иерофант сказал, что ребенок не сын человека, а бога, сошедшего тайно ночью в объятия сивиллы, когда она спала внутри храма.— Видишь, как он прекрасен?

— Глухонемой — сын бога? — проговорил император с удивлением.

— Что же? — возразил Горгий.— Если бы в такие времена, как наши, сын бога и пророчицы не был глухонемым, он должен бы умереть от скорби. И то видишь, как он худ и бледен...

— Кто знает? — прошептал Юлиан с грустной улыбкой,— может быть, ты прав, старик: в наши дни пророку лучше быть глухонемым...

Вдруг мальчик подошел к Юлиану, быстро схватил его руку и, заглянув ему в глаза глубоким, странным взором, поцеловал ее.

Юлиан вздрогнул.

— Сын мой! — произнес старичок с торжественной и радостной улыбкой,— да помилуют тебя олимпийцы! — ты, должно быть, добрый человек. Мальчик мой никогда не ласкается к злым и нечестивым. От монахов же бегает, как от чумы. Мне кажется, он видит и слышит больше нас с тобой, только не может сказать. Случалось, что я заставал его одного в храме; сидит по целым часам перед изваянием Аполлона и смотрит, как будто беседует с богом...

Лицо Эвфориона омрачилось; он тихонько отошел от них.

Горгий ударил себя по голой маковке с досадой, встряхнулся и проговорил:

— Что это, как я с тобой заболтался! Солнце высоко. Пора жертву приносить. Пойдем.

— Подожди, старик,— молвил император,— я хотел спросить тебя еще об одном: слышал ли ты, что август Юлиан задумал восстановить почитание древних богов?

— Как не слышать! — жрец покачал головой и махнул рукой.— Куда ему, бедняжке!.. Ничего не выйдет. Пустое. Я говорю тебе: кончено!

— Ты веришь в богов,— возразил Юлиан: — разве могут олимпийцы покинуть людей навсегда?

Старик тяжело вздохнул и опустил голову.

— Сын мой,— проговорил он, наконец,— ты молод, хотя уже ранняя седина сверкает в волосах твоих и на лбу морщины; но в те дни, когда мои белые волосы были черными и молодые девушки засматривались на меня, помню, однажды плыли мы на корабле недалеко от Фессалоник и увидели с моря гору Олимп; подошва и середина горы были в тумане, а снежные вершины висели в воздухе и реяли, во славе неба и моря, недосягаемые, лучезарные. И я подумал: вот где живут боги! — и умилился душою. Но на том же корабле был некий старец, злой шутник, который называл себя эпикурейцем. Он указал на гору и молвил: «Друзья, много лет прошло с тех пор, как путешественники взошли на вершину Олимпа. Они увидели, что это самая обыкновенная гора, точь-в-точь такая же, как другие: там нет ничего, кроме снега, льда и камня». Так он молвил, и слово его глубоко запало мне в сердце, и я вспоминаю его всю жизнь...

Император улыбнулся:

— Старик, вера твоя детская. Если нет богов на Олимпе, почему бы не быть им выше, в царстве вечных Идей, в царстве духовного Света?

Горгий еще ниже опустил голову и безнадежно почесал себе маковку.

— Так-то оно так... А все же — кончено. Опустел Олимп!

Юлиан посмотрел на него молча, с удивлением.

— Видишь ли,— продолжал Горгий,— ныне земля рождает людей столь же слабых, как и жестоких; боги, даже гневаясь, могут только смеяться над ними,— истреблять

их не стоит: сами погибнут от болезней, пороков и печалей. Богам стало скучно с людьми — и боги ушли...

— Ты думаешь, Горгий, что род человеческий должен погибнуть?

Жрец покачал головой:

— О-хо-хо, сын мой,— да спасут тебя олимпийцы! — все пошло на убыль, все — на ущерб. Земля стареет. Реки текут медленнее. Цветы весной уже не так благоухают. Недавно рассказывал мне старый корабельщик, что, подъезжая к Сицилии, теперь нельзя уже видеть Этну с моря на таком расстоянии, как прежде: воздух сделался гуще, темнее; солнце потускнело... Кончина мира приближается...

— Скажи мне, Горгий, на твоей памяти были лучшие времена?

Старик оживился, и глаза его загорелись огнем воспоминаний:

— Как приехал я сюда, в первые годы Константина кесаря,— проговорил он радостно,— еще великие панегирии совершались ежегодно в честь Аполлона. Сколько влюбленных юношей и дев собиралось в эту рощу! И как луна сияла, как пахли кипарисы, как пели соловьи! Когда их песни замирали, воздух трепетал от ночных поцелуев и вздохов любви, как от шелеста невидимых крыльев... Вот какие это были времена!

Он умолк в печальном раздумьи.

В это мгновение из-за деревьев явственно донеслись унылые звуки церковного пения.

— Что это? — произнес Юлиан.

— Монахи: каждый день молятся над костями мертвого галилеянина...

— Как, мертвый галилеянин — здесь, в заповедной роще Аполлона?

— Да. Они называют его мучеником Вавилою. Тому уже лет десять, брат императора Юлиана, цезарь Галл, перенес из Антиохии мертвые кости Вавилы в Дафнийскую рощу и построил пышную гробницу. С тех пор умолкли пророчества: храм осквернен, и бог удалился...

— Кощунство! — воскликнул император.

— В этот самый год,— продолжал старик,— у девственной сивиллы Диотимы родился глухонемой сын, что было недобрым знамением. Воды Кастальского источника, заваленные камнем, оскудели и потеряли силу пророческую. Не иссякает один лишь священный родник, называется он Слезы Солнца, видишь там, где теперь сидит мой мальчик. Капля за каплей струится из мшистого камня.

Говорят, что Гелиос плачет о нимфе, превращенной в лавр... Эвфорион проводит здесь целые дни.

Юлиан оглянулся. Перед мшистым камнем мальчик сидел неподвижно и, подставив ладонь, собирал в нее падавшие капли. Луч солнца проник сквозь лавры, и медленные слезы сверкали в нем, чистые, тихие. Тени странно шевелились; и Юлиану вдруг почудилось, что два прозрачных крыла трепещут за спиной мальчика, прекрасного, как бог; он был так бледен, так печален и прекрасен, что император подумал: «это — сам Эрос, маленький, древний бог любви, больной и умирающий в наш век галилейского уныния. Он собирает последние слезы любви, слезы бога о Дафне, погибшей красоте».

Глухонемой сидел неподвижно; большая черная бабочка, нежная и погребальная, опустилась ему на голову. Он ее не почувствовал, не шевельнулся. Зловещей тенью трепетала она над его склоненной головой. А золотые Слезы Солнца, одна за другой, медленно падали в ладонь Эвфориона, и над ним кружились звуки церковного пения, похоронные, безнадежные, раздаваясь все громче и громче.

Вдруг из-за кипарисов послышались другие голоса, вблизи:

— Август здесь!..

— Зачем пойдет он один в Дафну?

— Как же? сегодня великие панегирии Аполлона.— Смотрите, вот он! Юлиан, мы ищем тебя с раннего утра!

Это были греческие софисты, ученые, риторы — обычные спутники Юлиана: и постник неопифагореец Приск из Эпира, и желчный скептик Юний Маврик, и мудрый Саллюстий Секунд, и тщеславнейший из людей, знаменитый антиохийский ритор Либаний.

Август не обратил на них внимания и даже не поздоровался.

— Что с ним? — шепнул Юний на ухо Приску.

— Должно быть, сердится, что к празднику не сделано приготовлений. Забыли мы! Ни одной жертвы...

Юлиан обратился к бывшему христианскому ритору, ныне верховному жрецу Астарты, Гекэболию:

— Пойди в соседнюю часовню и скажи галилеянам, совершающим служение над мертвыми костями, чтобы пришли сюда.

Гекэболий направился к часовне, скрытой деревьями, откуда доносилось пение.

Горгий, держа в руках корзину с гусем, стоял, не двигаясь, с раскрытым ртом, с выпученными глазами. Иногда, в отчаянной решимости, принимался он растирать свою плешь. Ему казалось, что он выпил много вина и все это видит во сне. Холодный пот выступил у него на лбу, когда он вспомнил, что наговорил этому «учителю» об августе Юлиане и о богах. Ноги подкосились от ужаса. Он упал на колени.

— Помилуй, кесарь! Забудь мои дерзкие речи: я не знал...

Один из услужливых философов хотел оттолкнуть старика:

— Убирайся, дурак! Чего лезешь?

Юлиан запретил ему:

— Не оскорбляй жреца! Встань, Горгий! Вот рука моя. Не бойся. Пока я жив, никто ни тебе, ни твоему мальчику не сделает зла. Оба мы пришли на панегирии, оба любим старых богов — будем же друзьями и встретим праздник Солнца радостным сердцем!

Церковное пение умолкло. В кипарисовой аллее показались бледные, испуганные монахи, дьяконы и сам иерей, не успевший снять облачения. Их вел Гекэболий. Пресвитер — толстый человек, с лоснящимся медно-красным лицом, переваливался, пыхтел, отдувался и вытирал пот со лба. Остановившись перед августом, поклонился низко, достав рукою до земли, и сказал, точно пропел, густым приятным голосом, за который его особенно любили прихожане:

— Да помилует человеколюбивейший август недостойных рабов своих!

Поклонился еще ниже, и когда, кряхтя, подымался, два молодых проворных послушника, очень похожих друг на друга, долговязых, с желтыми, как воск, вытянутыми лицами, подсобляли ему с обеих сторон, поддерживая за руки. Один из них забыл положить кадило, и тонкая струйка дыма подымалась с углей. Эвфорион, увидев издали монахов, бросился стремительно бежать. Юлиан сказал:

— Галилеяне! Повелеваю вам очистить священную рощу Аполлона от костей мертвеца — до завтрашней ночи. Насилия делать мы не желаем, но если воля наша не будет исполнена, то мы сами позаботимся о том, чтобы Гелиос избавлен был от кощунственной близости галилейского праха: я пришлю сюда моих воинов, они выроют кости, сожгут и развеют пепел по ветру. Такова наша воля, граждане!

Пресвитер кашлянул тихонько, закрыв рукою рот, и, наконец, смиреннейшим голосом пропел:

— Всемилостивейший кесарь, сие для нас прискорбно, ибо давно уже св. Мощи покоятся здесь по воле цезаря Галла. Но да будет воля твоя: доложу епископу.

В толпе послышался ропот. Мальчишка, спрятавшись в лавровую чащу, затянул было песенку:

Мясник идет,
Мясник идет,
Острый нож несет,
Бородой трясет,
С шерстью черною,
С шерстью длинною,
Бородой своей козлиною,—
Из нее веревки вей!

Но шалуну дали такого подзатыльника, что он убежал с ревом.

Пресвитер, полагая, что следует для благопристойности заступиться за Мощи, опять смиренно кашлянул в руку и начал:

— Ежели мудрости твоей благоугодно утвердить сие по причине идола...

Он поскорее поправился:

— Эллинского бога Гелиоса...

Глаза императора сверкнули:

— Идола! — вот ваше слово. Какими глупцами считаете вы нас, утверждая, что мы боготворим самое вещество кумиров — медь, камень, дерево! Все ваши проповедники желают в этом и других, и нас, и самих себя уверить. Но это — ложь! Мы чтим не мертвый камень, медь или дерево, а дух, живой дух красоты в наших кумирах, образцах чистейшей божеской прелести. Не мы идолопоклонники, а вы, грызущиеся, как звери, из-за «омоузиос» и «омойузиос», из-за одной иоты,— вы, лобызающие гнилые кости преступников, казненных за нарушение римских законов, вы, именующие братоубийцу Констанция «вечностью», «святостью»! Обоготворять прекрасное изваяние Фидия не разумнее ли, чем преклоняться перед двумя деревянными перекладинами, положенными крест-накрест,— позорным орудием пытки? Краснеть ли за вас, или жалеть вас, или ненавидеть? Это — предел безумия и бесславия, что потомки эллинов, читавшие Платона и Гомера, стремятся... куда же? — о мерзость! — к отверженному племени, почти истребленному Веспасианом и Титом,— чтобы обожествить мертвого Иудея!.. И вы еще смеете обвинять нас в идолопоклонстве!

Невозмутимо, то расправляя всей пятерней черно-серебристую мягкую бороду, то вытирая крупные капли пота с широкого лоснящегося лба, пресвитер посматривал на Юлиана искоса, с утомлением и скукой.

Тогда император сказал философу Приску:

— Друг мой, ты знаешь древние обряды эллинов: соверши Делосские таинства, необходимые для очищения храма от кощунственной близости мертвых костей. Вели также поднять камень с Кастальского источника, да возвратится бог в свое жилище, да возобновятся древние пророчества.

Пресвитер заключил беседу нижайшим поклоном, со смирением, в котором чувствовалось неодолимое упрямство.

— Да будет воля твоя, могущественный август! Мы — дети, ты — отец. В Писании сказано: всякая душа властем предержащим да повинуется: несть бо власть, аще не от Бога...

— Лицемеры! — воскликнул император.— Знаю, знаю ваше смирение и послушание. Восстаньте же на меня и боритесь, как люди! Ваше смирение — ваше змеиное жало. Вы уязвляете им тех, перед кем пресмыкаетесь. Хорошо сказал про вас собственный Учитель ваш, Галилеянин: горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь выбеленным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты.— Воистину наполнили вы мир гробами выбеленными и нечистотой! Вы припадаете к мертвым костям и ждете от них спасения; как черви гробовые, питаетесь тленом. Тому ли учил Иисус? Повелел ли ненавидеть братьев, которых называете вы еретиками за то, что они верят не так, как вы? — Да обратится же на вас из уст моих слово Распятого: горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры! Змии, порождения ехидны, как убежите вы от осуждения в геенну?

Он повернулся, чтобы уйти, как вдруг из толпы вышли старичок со старушкой и повалились ему в ноги. Оба в опрятных бедных одеждах, благообразные, удивительно похожие друг на друга, с хорошенькими свежими лицами, в которых было что-то детски-жалобное, с лучистыми добрыми морщинками вокруг подслеповатых глаз, напоминали они Филемона и Бавкиду.

— Защити, кесарь праведный! —заторопился, зашамкал старичок.— Домик есть у нас в предместьи у подошвы Ставрина. Жили мы в нем двадцать лет, людей не обижали. Бога чтили. Вдруг намедни приходят декурионы...

Старичок всплеснул руками в отчаяньи, и старушка всплеснула: она подражала ему невольно каждым движением.

— Декурионы приходят и говорят: домик не ваш.— Как не наш? Господь с вами! Двадцать лет живем.— Живете, да не по закону: земля принадлежит богу Эскулапу, и основание дома сложено из камней храма. Землю вашу отберут и возвратят богу.— Что же это? Смилуйся, отец!..

Старички стояли перед ним на коленях, чистые, кроткие, милые, как дети, и целовали ноги его со слезами. Юлиан заметил на шее старушки янтарный крестик.

— Христиане?

— Да.

— Мне хотелось бы исполнить просьбу вашу. Но что же делать? Земля принадлежит богу. Я, впрочем, велю заплатить вам цену имения.

— Не надо, не надо! — взмолились старички.— Мы не о деньгах: мы к месту привыкли. Там все наше, каждую травку знаем!..

— Там все наше,— как эхо, вторила старушка,— свой виноградник, свои маслины, курочки и коровка, и свинка,— все свое. Там и приступочка, на которой двадцать лет сидим по вечерам, старые кости греем на солнце...

Император, не слушая, обратился к стоявшей поодаль испуганной толпе:

— В последнее время осаждают меня галилеяне просьбами о возвращении церковных земель. Так, валентиане из города Эдессы Озроэнской жалуются на ариан, которые будто бы отняли у них церковные владения. Чтобы прекратить раздор, отдали мы одну часть спорного имущества нашим галльским ветеранам, другую казне. Так поступать намерены и впредь. Вы спросите: по какому праву? Но не говорите ли вы сами, что легче верблюду войти в игольное ушко, чем богатому в царствие Божие. Вот видите ли, а я решил помочь вам исполнить столь трудную заповедь. Как всему миру известно, превозносите вы бедность, галилеяне. За что же ропщете на меня? Отнимая имущество, похищенное вами у собственных братьев, еретиков, или у эллинских святилищ, я только возвращаю вас на путь спасительной бедности, прямо ведущий в царствие небесное...

Недобрая усмешка искривила губы его.

— Беззаконно терпим обиду! — вопили старички.

— Ну, что же, и потерпите! — отвечал Юлиан.— Вы должны радоваться обидам и гонениям, как тому учил Иисус. Что значат эти временные страдания в сравнении с вечным блаженством?..

Старичок не приготовлен был к такому доводу; он растерялся и пролепетал с последней надеждой:

— Мы верные рабы твои, август! Сын мой служит помощником стратега в дальней крепости на римской границе, и начальники довольны им...

— Тоже галилеянин? — перебил Юлиан.

— Да.

— Ну вот, хорошо, что ты сам предупредил: отныне галилеяне, явные враги наши, не должны занимать высших должностей в Империи, особенно военных. Опять и в этом, как во многом другом, более согласен я с вашим Учителем, чем сами вы. Справедливо ли, чтобы суд римским законам творили ученики Того, Кто сказал: «не судите, да не судимы будете», или, чтобы христиане принимали от нас меч для охраны Империи, когда Учитель предостерегает: «взявший меч — от меча погибнет», а в другом месте столь же ясно: «не противься злому насилием!» Вот почему, заботясь о спасении душ галилейских, отнимаем мы у них и римский суд, и римский меч, да вступят они, с тем большею легкостью, беззащитные и безоружные, чуждые всего земного, в царствие небесное!..

С немым внутренним смехом, который теперь один только утолял его ненависть, повернулся он и быстрыми шагами пошел к Аполлонову храму.

Старички всхлипывали, протягивая руки:

— Кесарь, помилуй! Мы не знали... Возьми наш домик, землю, все, что есть у нас,— только сына помилуй!..

Философы хотели войти вместе с императором в двери храма; но он отстранил их движением руки:

— Я пришел на праздник один: один и жертву богу принесу.

— Войдем,— обратился он к жрецу.— Запри двери, чтобы не вошел никто. Procul este profani! Да изыдут неверные!

Перед самым носом друзей-философов двери захлопнулись.

— Неверные! Как вам это нравится? — проговорил Гаргилиан, озадаченный.

Либаний молча пожал плечами и надулся.

Юний Маврик, с таинственным видом, отвел собеседников в угол портика и что-то прошептал, указывая на лоб:

— Понимаете?..

Все удивились.

— Неужели?

Он стал считать по пальцам:

— Бледное лицо, горящие глаза, растрепанные волосы, неровные шаги, бессвязная речь. Далее — чрезмерная раздражительность, жестокосердие. И наконец, эта нелепая война с персами,— клянусь Палладою, да ведь это уже явное безумие!..

Друзья сошлись еще теснее и зашептали, засплетничали радостно.

Саллюстий, стоя поодаль, смотрел на них с брезгливой усмешкой.

Юлиан нашел Эвфориона внутри храма. Мальчик обрадовался ему и часто, во время богослужения, заглядывая императору в глаза, улыбался доверчиво, как будто у них была общая тайна.

Озаренное солнцем, исполинское изваяние Аполлона Дафнийского возвышалось посередине храма: тело — слоновая кость, одежда — золото, как у Фидиева в Олимпии. Бог, слегка наклоняясь, творил из чаши возлияние Матери Земле с мольбой о том, чтобы она возвратила ему Дафнэ.

Налетела легкая тучка, тени задрожали на золотистой от старости слоновой кости, и Юлиану показалось, что бог наклоняется к ним с благосклонной улыбкой, принимая последнюю жертву последних поклонников — дряхлого жреца, императора-богоотступника и глухонемого сына пророчицы.

— Вот моя награда,— молился Юлиан, с детскою радостью,— и не хочу я иной, Аполлон! Благодарю тебя за то, что я проклят и отвержен, как ты; за то, что один я живу и один умираю, как ты. Там, где молится чернь,— бога нет. Ты — здесь, в поруганном храме. О, бог, осмеянный людьми, теперь ты прекраснее, чем в те времена, когда люди поклонялись тебе! В день, и мне назначенный Паркою, дай соединиться с тобою, о, радостный, дай умереть в тебе, о, Солнце,— как на алтаре огонь последней жертвы умирает в сиянии твоем.

Так молился император, и тихие слезы струились по щекам его, тихие капли жертвенной крови падали, как слезы, на потухающие угли алтаря.

XIII

В Дафнийской роще было темно. Знойный ветер гнал тучи. Ни одной капли дождя не падало на землю, сожженную засухой. Лавры трепетали судорожно черными ветками, протянутыми к небу, как молящие руки. Титани-

ческие стены кипарисов шумели, и шум этот был похож на говор гневных стариков.

Два человека осторожно пробирались в темноте, вблизи Аполлонова храма. Низенький,— глаза у него были кошачьи зеленоватые, видевшие ночью,— вел за руку высокого.

— Ой, ой, ой, племянничек! Сломим мы себе шею где-нибудь в овраге...

— Да тут и оврагов нет. Чего трусишь? Совсем бабой стал с тех пор, как крестился!

— Бабой! Сердце мое билось ровно, когда в Гирканийском лесу хаживал я на медведя с рогатиной. Здесь не то! Болтаться нам с тобой бок о бок на одной виселице, племянничек!..

— Ну, ну, молчи, дурак!

Низенький снова потащил высокого, у которого была огромная вязанка соломы за плечами и заступ в руке.

Они подкрались к задней стороне храма.

— Вот здесь! Сначала заступом. А внутреннюю деревянную обшивку руби топором,— прошептал низенький, ощупывая в кустах пролом стены, небрежно заделанный кирпичами.

Удары заступа заглушались шумом ветра в деревьях. Вдруг раздался крик, подобный плачу больного ребенка. Высокий вздрогнул и остановился.

— Что это?

— Сила нечистая! — воскликнул низенький, выпучив от ужаса зеленые кошачьи глаза и вцепившись в одежду товарища.— Ой, ой, не покидай меня, дядюшка!..

— Да это филин. Эк перетрусили!

Огромная ночная птица вспорхнула, шурша крыльями, и понеслась вдаль с долгим плачем.

— Бросим,— сказал высокий.— Все равно не загорится.

— Как может не загореться? Дерево гнилое, сухое, с червоточиной; тронь — рассыплется. От одной искры вспыхнет. Ну, ну, почтенный, руби — не зевай!

И с нетерпением низенький подталкивал высокого.

— Теперь солому в дыру. Вот так, еще, еще! Во славу Отца и Сына и Духа Святого!..

— Да чего ты юлишь, вьешься, как угорь? Чего зубы скалишь? — огрызнулся высокий.

— Хэ, хэ, хэ,— как же не смеяться, дяденька? Теперь и ангелы ликуют в небесах. Только помни, брат: ежели попадемся,— не отрекаться! Мое дело сторона... Веселенький запалим огонечек. Вот огниво — выбивай.

— Убирайся ты к дьяволу! — попробовал оттолкнуть его высокий. — Не обольстишь меня, окаянный змееныш, тьфу! Поджигай сам...

— Эге, на попятный двор?.. Шалишь, брат!

Низенький затрясся от бешенства и вцепился в рыжую бороду гиганта.

— Я первый на тебя донесу! Мне поверят...

— Ну, ну, отстань, чертенок!.. Давай огниво! Делать нечего, надо кончать.

Посыпались искры. Низенький для удобства лег на живот и сделался еще более похожим на змееныша. Огненные струйки побежали по соломе, облитой дегтем. Дым заклубился. Затрещала смола. Вспыхнуло пламя и озарило багровым блеском испуганное лицо исполина Арагария и хитрую обезьяню рожицу маленького Стромбика. Он похож был на уродливого бесенка; хлопал в ладоши, подпрыгивал, смеялся, как пьяный или сумасшедший.

— Все разрушим, все разрушим, во славу Отца и Сына и Духа Святого! Хэ, хэ, хэ! Змейки, змейки-то, как бегают! А?.. Веселенький огонек, дядюшка?

В сладострастном смехе его было вечное зверство людей — восторг разрушения.

Арагарий, указывая в темноту, произнес:

— Слышишь?..

Роща была по-прежнему безлюдной; но в завывании ветра, в шелесте листьев чудился им человеческий шепот и говор. Арагарий вдруг вскочил и бросился бежать.

Стромбик уцепился за край его туники и завизжал пронзительно:

— Дяденька! Дяденька! Возьми меня к себе на плечи. У тебя ноги длинные. А не то, если попадусь — донесу на тебя!..

Арагарий остановился на мгновение.

Стромбик вспрыгнул, как белка, на плечи сармата, и они помчались. Маленький сириец крепко стискивал ему бока дрожащими коленями, обвивал шею руками, чтобы не свалиться. Несмотря на ужас, неудержимо смеялся он безумным смехом, тихонько взвизгивая от шаловливой резвости.

Поджигатели миновали рощу и выбежали в поле, где пыльные тощие колосья приникли к сожженной земле. Между тучами, на краю черного неба, светлела полоса заходящей луны. Ветер свистал пронзительно. Скорчившись на плечах гиганта, маленький Стромбик со своими кошачьими зеленоватыми зрачками походил на злого духа или оборот-

ня, оседлавшего жертву. Суеверный ужас овладел Арагарием: ему вдруг почудилось, что не Стромбик, а сам дьявол, в образе огромной кошки, сидит у него за плечами и царапает ему лицо, и визжит, и хохочет, и гонит его в бездну. Гигант делал отчаянные прыжки, отбиваясь от цепкой ноши; волосы встали у него дыбом, и он завыл от ужаса. Чернея двойною огромною тенью на бледной полосе горизонта, мчались они так, по мертвому полю, с пыльными колосьями, приникшими к сожженной и окаменелой земле.

. . . .

В это время, в опочивальне антиохийского дворца, Юлиан вел тайную беседу с префектом Востока, Саллюстием Секундом.

— Откуда же, милостивый кесарь, достанем мы хлеба для такого войска?

— Я разослал триремы в Сицилию, Египет, Апулию — всюду, где урожай,— ответил император.— Говорю тебе, хлеб будет.

— А деньги? — продолжал Саллюстий.— Не благоразумнее ли отложить до будущего года, подождать?..

Юлиан все время ходил по комнате большими шагами; вдруг остановился перед стариком.

— Подождать! — гневно воскликнул он.— Все вы точно сговорились. Подождать! Как будто я могу теперь ждать, и взвешивать, и колебаться. Разве галилеяне ждут? Пойми же, старик: я должен совершить невозможное, я должен возвратиться из Персии страшным и великим, или совсем не возвращаться. Примиренья больше нет. Середины нет. Что вы говорите мне о благоразумии? Или ты думаешь, Александр Македонский благоразумием победил мир? Разве таким умеренным людям, как ты, не казался сумасшедшим этот безбородый юноша, выступивший с горстью македонцев против владыки Азии? Кто же даровал ему победу?..

— Не знаю,— отвечал префект уклончиво, с легкой усмешкой.— Мне кажется, сам герой...

— Не сам, а боги! — воскликнул Юлиан.— Слышишь, Саллюстий, боги могут и мне даровать победу, еще большую, чем Александру! Я начал в Галлии, кончу в Индии. Я пройду весь мир от заката до восхода солнечного, как великий Македонец, как бог Дионис. Посмотрим, что скажут тогда галилеяне; посмотрим, как ныне издевающиеся над простой одеждой мудреца посмеются над мечом римского кесаря, когда вернется он победителем Азии!..

Глаза его загорелись лихорадочным блеском. Саллюстий хотел что-то сказать, но промолчал. Когда же Юлиан снова принялся ходить по комнате большими беспокойными шагами, префект покачал головой, и жалость засветилась в мудрых глазах старика.

— Войско должно быть готово к походу,— продолжал Юлиан.— Я так хочу, слышишь? Никаких отговорок, никаких промедлений. Тридцать тысяч человек. Армянский царь Арзакий обещал нам союз. Хлеб есть. Чего же больше? Мне нужно знать, что каждое мгновение могу я выступить против персов. От этого зависит не только моя слава, спасение Римской империи, но и победа вечных богов над Галилеянином!..

Широкое окно было открыто. Пыльный жаркий ветер, врываясь в комнату, колебал три тонких огненных языка в лампаде с тремя светильнями. Прорезая мрак неба, падучая звезда сверкнула и потухла. Юлиан вздрогнул: это было зловещее предзнаменование.

Постучали в дверь; послышались голоса.

— Кто там? Войдите,— сказал император.

То были друзья-философы. Впереди шел Либаний; он казался более напыщенным и надутым, чем когда-либо.

— Зачем пришли? — спросил Юлиан холодно.

Либаний стал на колени, сохраняя надменный вид.

— Отпусти меня, август! Долее не могу жить при дворе. Каждый день терплю обиды...

Он долго говорил о каких-то подарках, денежных наградах, которыми его обошли, о неблагодарности, о своих заслугах, о великолепных панегириках, которыми он прославил римского кесаря.

Юлиан, не слушая, смотрел с брезгливою скукою на знаменитого оратора и думал: «Неужели это тот самый Либаний, речами которого я так зачитывался в юности? Какая мелочность! Какое тщеславие!»

Потом все они заговорили сразу: спорили, кричали, обвиняли друг друга в безбожии, в лихоимстве, в разврате, пускали в ход глупейшие сплетни; — это была постыдная домашняя война не мудрецов, а прихлебателей, взбесившихся от жиру, готовых растерзать друг друга от тщеславия, злобы и скуки.

Наконец, император произнес тихим голосом слово, которое заставило их опомниться:

— Учители!

Все сразу умолкли, как испуганное стадо болтливых сорок.

— Учители,— повторил он с горькой усмешкой,— я слушал вас довольно; позвольте и мне рассказать басню.— У одного египетского царя были ручные обезьяны, умевшие плясать военную пиррийскую пляску; их наряжали в шлемы, маски, прятали хвосты под царственный пурпур, и когда они плясали, трудно было поверить, что это не люди. Зрелище нравилось долго. Но однажды кто-то из зрителей бросил на сцену пригоршню орехов. И что же? Актеры разодрали пурпур и маски, обнажили хвосты, стали на четвереньки, завизжали и начали грызться из-за орехов.— Так некоторые люди с важностью исполняют пиррийскую пляску мудрости — до первой подачки. Но стоит бросить пригоршню орехов, и мудрецы превращаются в обезьян: обнажают хвосты, визжат и грызутся. Как вам нравится эта басенка, учители?

Все безмолвствовали.

Вдруг Саллюстий тихонько взял императора за руку и указал в открытое окно.

По черным складкам туч медленно расползалось колеблемое сильным ветром багровое зарево.

— Пожар! Пожар! — заговорили все.

— За рекой,— соображали одни.

— Не за рекой, а в предместье Гарандама! — поправляли другие.

— Нет, нет,— в Гезире, у жидов!

— Не в Гезире и не в Гарандама,— воскликнул кто-то с тем неудержимым весельем, которое овладевает толпою при виде пожара,— а в роще Дафнийской!

— Храм Аполлона! — прошептал император, и вдруг вся кровь прихлынула к сердцу его.

— Галилеяне! — закричал он страшным голосом и кинулся к двери, потом на лестницу.

— Рабы! Скорее! Коня и пятьдесят легионеров!

Через несколько мгновений все было готово. На двор вывели черного жеребца, дрожавшего всем телом, опасного, сердито косившего зрачок, налитый кровью.

Юлиан помчался по улицам Антиохии, в сопровождении пятидесяти легионеров. Толпа в ужасе рассыпалась перед ними. Кого-то сшибли с ног, кого-то задавили. Крики были заглушены громом копыт, бряцанием оружия.

Выехали за город. Больше двух часов длилась скачка. Трое легионеров отстали: кони подохли.

Зарево становилось все ярче. Пахло дымом. Поля с пыльными колосьями озарялись багровым отсветом. Любопытные стремились отовсюду, как ночные бабочки на

огонь; то были жители окрестных деревень и антиохийских предместий. Юлиан заметил радость в голосах и лицах, словно люди эти бежали на праздник.

Огненные языки засверкали, наконец, в клубах густого дыма над черными зубчатыми вершинами Дафнийской рощи.

Император въехал в священную ограду. Здесь бушевала толпа. Многие перекидывались шутками и смеялись. Тихие аллеи, столько лет покинутые всеми, кишели народом. Чернь оскверняла рощу, ломала ветви древних лавров, мутила родники, топтала нежные, сонные цветы. Нарциссы и лилии, умирая, тщетно боролись последней свежестью с удушливым зноем пожара, с дыханием черни.

— Божье чудо! Божье чудо!..— носился над толпою радостный говор.

— Я видел собственными глазами, как молния ударила и зажгла крышу!..

— А вот и не молния,— врешь: утроба земная разверзлась, изрыгнув пламя, внутри капища, под самым кумиром!..

— Еще бы! Какую учинили мерзость! Мощи потревожили! Думали, даром пройдет. Как бы не так! — Вот тебе и храм Аполлона, вот тебе и прорицания вод Кастальских! — Поделом, поделом!..

Юлиан увидел в толпе женщину, полуодетую, растрепанную, должно быть, только что вскочившую с постели. Она тоже любовалась огнем, с радостной и бессмысленной улыбкой, баюкая грудного младенца; слезинки сверкали на его ресницах; он плакал, но затих и с жадностью сосал смуглую, толстую грудь, причмокивая, упершись в нее одной ручкой, протянув другую, пухленькую, с ямочками, к огню, как будто желая достать блестящую, веселую игрушку.

Император остановил коня: дальше нельзя было сделать ни шагу; в лицо веял жар, как из печи. Легионеры ждали приказаний. Но приказывать было нечего: он понял, что храм погиб.

Это было великолепное зрелище. Здание пылало сверху донизу. Внутренняя обшивка, гнилые стены, высохшие балки, сваи, бревна, стропила — все превратилось в раскаленные головни; с треском падали они, и огненными вихрями искры взлетали до неба, которое опускалось все ниже и ниже, зловещее, кровавое; пламя лизало тучи длинными языками, билось по ветру и грохотало, как тяжкая завеса.

Листья лавров корчились от жара, как от боли, и свертывались. Верхушки кипарисов загорались ярким смоляным огнем, как исполинские факелы; белый дым их казался дымом жертвенных курений; капли смолы струились обильно, словно вековые деревья, современники храма, плакали о боге золотыми слезами.

Юлиан смотрел неподвижным взором на огонь. Он хотел что-то приказать легионерам, но только вырвал меч из ножен, вздернул коня на дыбы и прошептал, стиснув зубы в бессильной ярости:

— Мерзавцы, мерзавцы!..

Вдали послышался рев толпы. Он вспомнил, что позади храма — сокровищница с богослужебной утварью, и у него мелькнула мысль, что галилеяне грабят святыню. Он сделал знак и бросился с воинами в ту сторону. На пути их остановило печальное шествие.

Несколько римских стражей, должно быть, только что подоспевших из ближайшего селения Дафнэ, несли на руках носилки.

— Что это? — спросил Юлиан.

— Галилеяне побили камнями жреца Горгия,— отвечали римляне.

— А сокровищница?

— Цела. Жрец заслонил дверь, стоя на пороге, и не дал осквернить святыню. Не сдвинулся с места, пока не свалился, пораженный в голову камнем. Потом убили мальчика. Галилейская чернь, растоптав их, вломилась бы в дверь, но мы пришли и разогнали толпу.

— Жив? — спросил Юлиан.

— Едва дышит.

Император соскочил с коня. Носилки тихонько опустили. Он подошел, наклонился и осторожно откинул край знакомой, запачканной хламиды жреца, покрывавшей оба тела.

На подстилке из свежих лавровых ветвей лежал старик: глаза были закрыты; грудь подымалась медленно. В сердце Юлиана проникла жалость, когда он взглянул на этот красный нос пьяницы, который казался ему недавно таким непристойным,— когда вспомнил тощего гуся в лозниковой корзине, последнюю жертву Аполлону. На пушистых, белых как снег, волосах выступили капли крови, и острые черные листья лавра сплелись венцом над головой жреца.

Рядом, на тех же носилках, покоилось маленькое тело Эвфориона. Лицо, покрытое мертвенной бледностью, было еще прекраснее, чем живое; на спутанных золотистых воло-

сах алели кровавые капли; прислонившись щекою к руке, он как будто дремал легким сном. Юлиан подумал:

«Таким и должен быть Эрос, сын богини любви, побитый камнями галилеян».

И римский император благоговейно опустился на колени перед мучеником олимпийских богов. Несмотря на гибель храма, несмотря на бессмысленное торжество черни, Юлиан чувствовал присутствие Бога в той смерти. Сердце его смягчилось, даже ненависть исчезла. Со слезами умиления наклонился он и поцеловал руку святого старика.

Умирающий открыл глаза:

— Где мальчик? — спросил он тихо.

Юлиан осторожно положил руку его на золотые кудри Эвфориона.

— Здесь — рядом с тобою.

— Жив? — спрашивал Горгий, прикасаясь к волосам ребенка с последнею лаской.

Он был так слаб, что не мог повернуть к нему голову. Юлиан не имел духа открыть истину умирающему. Жрец обратил к императору взор, полный мольбы.

— Кесарь — тебе поручаю его. Не покидай...

— Будь спокоен, я сделаю все, что могу, для твоего мальчика.

Так принял Юлиан на свое попечение того, кому и римский кесарь не мог больше сделать ни добра, ни зла.

Горгий не подымал своей коченеющей руки с кудрей Эвфориона. Вдруг лицо его оживилось, он хотел что-то сказать, но пролепетал бессвязно:

— Вот они! вот они... Я так и знал... Радуйтесь!..

Он взглянул перед собой широко открытыми глазами, вздохнул, остановился на половине вздоха — и взор его померк.

Юлиан закрыл лицо усопшему.

Вдруг торжественные звуки церковного пения грянули. Император оглянулся и увидел: по главной кипарисовой аллее тянулось шествие, несметная толпа — старцы-иереи в золототканых облачениях, усыпанных дорогими камнями, важные дьяконы, с бряцающими кадилами, черные монахи, с восковыми свечами, девы и отроки в одеждах, дети с пальмовыми ветвями; в высоте, над толпою, на великолепной колеснице, сияла рака св. Вавилы; пламя пожара дробилось в ее бледном серебре. Это были Мощи, изгоняемые повелением кесаря из Дафнэ в Антиохию. Изгнание превратилось в победоносное шествие.

«Облако и мрак окрест Его»,— заглушая свист ветра, гул пожара, летела торжествующая песнь галилеян к небу, освещенному заревом.— «Облако и мрак окрест Его».

«Пред Ним идет огонь и вокруг попаляет врагов Его».

«Горы, как воск, тают от лица Господа, от лица Господа всей земли».

И Юлиан побледнел, услышав, какая дерзость и ликование звучали в последнем возгласе:

«Да постыдятся служащие истуканам, хвалящиеся идолами. Поклонитесь пред Ним все боги!»

Он вскочил на коня, обнажил меч и воскликнул:

— Солдаты, за мной!

Хотел броситься в середину толпы, разогнать чернь, опрокинуть раку с мощами и разметать мертвые кости. Но чья-то рука схватила коня его за повод.

— Прочь! — закричал он в ярости и уже поднял меч, чтобы ударить, но в то же мгновение рука его опустилась: пред ним был мудрый старик, с печальным и спокойным лицом, Саллюстий Секунд, вовремя подоспевший из Антиохии.

— Кесарь! Не нападай на безоружных. Опомнись!..

Юлиан вложил меч в ножны.

Медный шлем давил и жег ему голову, как раскаленный. Сорвав его и бросив на землю, он вытер крупные капли пота. Потом один, без воинов, с обнаженной головой, подъехал к толпе и остановил шествие мановением рук.

Все узнали его. Пение умолкло.

— Антиохийцы! — произнес Юлиан почти спокойно, сдерживая себя страшным усилием воли.— Знайте: мятежники и поджигатели Аполлонова храма будут наказаны без пощады. Вы смеетесь над моим милосердием — посмотрим, как посмеетесь вы над моим гневом. Римский август мог бы стереть с лица земли город ваш так, чтобы люди забыли о Великой Антиохии. Но вот, я только ухожу от вас. Я выступаю в поход против персов. Если боги судили мне вернуться победителем,— горе вам, мятежники! Горе Тебе, плотников Сын, Назареянин!..

Он простер меч над толпой.

Вдруг показалось ему, что странный, как будто нечеловеческий, голос проговорил за ним явственно:

— Гроб тебе готовит Назареянин, плотников Сын.

Юлиан вздрогнул, обернулся, но никого не увидел. Он провел рукой по лицу.

— Что это? Или мне почудилось? — сказал он чуть слышно и рассеянно.

В это мгновение, внутри пылавшего храма, раздался оглушительный треск — часть деревянной крыши рухнула прямо на исполинское изваяние Аполлона. Кумир упал с подножья; золотая чаша, которой он творил вечное возлияние Матери-Земле, жалобно зазвенела. Искры огненным снопом взлетели к тучам. Стройная колонна в портике пошатнулась, и коринфская капитель, с нежною прелестью в самом разрушении, как белая лилия с надломленного стебля, склонилась и упала на землю. Юлиану казалось, что весь пылающий храм, обрушившись, задавит его.

А древний псалом Давида, во славу Бога Израилева, возносился к ночному небу торжественно, заглушая рев пожара и падение кумира:

«Да постыдятся служащие истуканам, хвалящиеся идолами. Поклонитесь пред Ним все боги»!

XIV

Юлиан провел зиму в поспешных приготовлениях к походу. В начале весны, 5 марта, выступил он из Антиохии с войском в 65 тысяч человек.

Снег на горах таял. В садах миндальные деревья, голые, лишенные листьев, уже покрылись сквозившим на солнце белым и розовым цветом. Солдаты шли на войну весело, как на праздник.

На Самозатских верфях построен был из громадных кедров, сосен и дубов, срубленных в ущельях Тавра, флот в 1200 кораблей и спущен по Евфрату до города Каллиникэ.

Юлиан быстрыми переходами направился через Гиерополь в Карры и дальше на юг, по самому берегу Евфрата, к персидской границе. На север отправлено было другое, тридцатитысячное войско, под начальством комесов, Прокопия и Себастиана. Соединившись с армянским царем Арзакием, они должны были опустошить Анадиабену, Хилиоком и, пройдя Кордуену, встретиться с главным войском на берегах Тигра, под стенами Ктезифона.

Все до последней мелочи было предусмотрено, взвешено и обдумано императором с любовью. Те, кто понимали этот военный замысел, удивлялись мудрости, величию и простоте его.

В самом начале апреля пришли в Цирцезиум, последнюю римскую крепость, построенную Диоклетианом на границе Месопотамии, при слиянии реки Абора с Евфра-

том. Навели плавучий мост из барок. Юлиан отдал повеление переступить границу на следующее утро.

Поздно вечером, когда все уже было готово, вернулся он в шатер, усталый и веселый, зажег лампаду и хотел приняться за любимую работу, которой ежедневно уделял часть ночного отдыха — обширное философское сочинение: *Против христиан*. Он писал его урывками, под звуки военных труб, лагерных песен и сторожевых перекличек. Юлиана радовала мысль, что он борется с Галилеянином всем, чем только можно бороться: на поле битвы и в книге, римским мечом и эллинской мудростью. Никогда не разлучался он с творениями Святых Отцов, с церковными канонами и символами соборов. На полях очень старых истрепанных свитков Нового Завета, который изучал он с не меньшим усердием, чем Платона и Гомера, рукой императора начертаны были язвительные заметки.

Император снял пыльные доспехи, умылся, сел за походный столик и обмакнул остроконечный тростник в чернильницу, приготовляясь писать. Но уединение его было нарушено: два вестника прибыли в лагерь — один из Италии, другой из Иерусалима. Юлиан выслушал обоих.

Вести были не радостные: землетрясение только что разрушило великолепный город Малой Азии, Никомидию; подземные удары привели в ужас население Константинополя; книги сибилл запрещали переступать римскую границу в течение года.

Вестник из Иерусалима привез письмо от сановника Алипия Антиохийского, которому Юлиан поручил восстановление храма Соломонова. По старинному противоречию, поклонник многобожного Олимпа решил возобновить уничтоженный римлянами храм единому Богу Израиля, дабы пред лицом всех народов и всех веков опровергнуть истину евангельского пророчества: «не останется здесь камня на камне; все будет разрушено». Иудеи с восторгом откликнулись на призыв Юлиана. Отовсюду стекались пожертвования. Замысел постройки был величественный. За работы принялись с поспешностью. Общий надзор поручил Юлиан другу своему, комесу Алипию Антиохийскому, бывшему наместнику Британии.

— Что случилось? — спросил император с тревогой, глядя исподлобья на мрачное лицо вестника и не распечатывая письма.

— Великое несчастье, Август блаженный!

— Говори. Не бойся.

— Пока строители расчищали мусор и сносили древние развалины стен Соломонова храма,— все шло хорошо; но только что приступили к закладке нового здания,— пламя, в виде летающих огненных шаров, вырвалось из подвалов, разбросало камни и опалило рабочих. На следующий день, по повелению благородного Алипия, опять приступили к работам. Чудо повторилось. И еще в третий раз. Христиане торжествуют, эллины в страхе, и ни один рабочий не соглашается сойти в подземелье. От постройки не осталось камня на камне,— все разрушено...

— Лжешь, негодяй! Ты сам, должно быть, галилеянин!..— воскликнул император в ярости, занося руку, чтобы ударить коленопреклоненного вестника.— Глупые бабьи сплетни! Неужели комес Алипий не мог выбрать более разумного вестника?

Поспешно сорвал он печать, развернул и прочел письмо. Вестник был прав: Алипий подтверждал его слова. Юлиан не верил глазам своим: внимательно перечел, приблизил письмо к лампаде. Вдруг лицо его покраснело. Закусив губы до крови, скомкал он и бросил папирус стоявшему рядом врачу Орибазию:

— Прочти,— ты ведь не веришь в чудеса. Или комес Алипий сошел с ума, или... нет — этого быть не может!..

Молодой александрийский ученый поднял и прочел письмо с той спокойной, как будто безучастной, неторопливостью, с которой делал все.

— Никакого чуда нет,— молвил он и обратил на Юлиана ясный взгляд.— Давно уже ученые описали это явление: в подвалах древних зданий, запертых и лишенных притока воздуха в продолжение многих столетий, собираются иногда густые, легко воспламеняющиеся испарения. Довольно спуститься в такое подземелье с горящим факелом, чтобы произошел взрыв; внезапно вспыхнувший огонь убивает неосторожных. Людям невежественным это кажется чудом; но и здесь, как везде, свет знания рассеивает тьму суеверия и дает разуму человеческому свободу.— Все прекрасно, потому что все естественно и согласно с волей природы.

Он спокойно положил письмо на стол, и на тонких, упрямых губах его промелькнула самодовольная улыбка.

— Да, да, конечно,— произнес Юлиан с горькой усмешкой,— надо же чем-нибудь утешаться! Все понятно, все естественно: и землетрясение в Никомидии, и землетрясение в Константинополе, и пророчества книг сибилловых, и засуха в Антиохии, и пожары в Риме, и наводне-

ния в Египте. Все естественно, только странно, что все против меня,— и земля, и небо, и вода, и огонь, и, кажется, сами боги!..

В палатку вошел Саллюстий Секунд.

— Великий август, этрусские гадатели, которых ты велел спросить о воле богов, умоляют тебя помедлить, не переступать границы завтра: вещие куры аруспициев, несмотря ни на какие молитвы, отворачиваются от пищи, сидят нахохлившись и не клюют ячменных зерен — зловещая примета!

Юлиан сдвинул брови гневно. Но вдруг глаза его сверкнули веселостью, и он засмеялся таким неожиданным смехом, что все молча, с удивлением, обратили на него взоры:

— Так вот как! Не клюют? А? Что же нам делать с этими глупыми птицами? Уж не послушать ли их, не вернуться ли назад в Антиохию, на радость и потеху галилеянам? — Знаешь ли что, друг мой, ступай к этрусским гадателям и объяви им волю нашу: бросить в реку всех священных кур,— пусть сперва напьются, может быть, потом и есть захотят!..

— Милостивый август, так ли я понял тебя: неизменно ли твое решение переступить границу завтра утром?

— Да! — и клянусь будущими победами нашими, клянусь величием нашей Империи,— никакие вещие птицы не испугают меня,— ни вода, ни огонь, ни земля, ни небо, ни боги! Поздно. Жребий брошен. Друзья мои, во всей природе есть ли что-нибудь божественнее воли человеческой? Во всех книгах сивилловых есть ли что-нибудь сильнее этих трех слов: *я так хочу?* Больше, чем когда-либо, чувствую тайну судьбы моей. Прежде знамения опутывали меня, как сети, и порабощали; теперь — мне больше нечего терять. Если боги покинут меня, то и я...

Он вдруг оборвал и умолк со странной усмешкой. Потом, когда приближенные удалились, подошел к маленькому серебряному изваянию Меркурия с походным алтарем, намереваясь, по обыкновению, сотворить вечернюю молитву и бросить несколько зерен фимиама; но вдруг отвернулся, все с той же странной усмешкой, отошел, лег на львиную шкуру, которая служила ему постелью, и, погасив лампаду, заснул спокойным, крепким сном, каким люди спят иногда перед большими несчастиями.

Заря чуть брезжила, когда проснулся он, радостный. В лагере слышался шум пробуждения, звучали трубы.

Юлиан сел на коня и помчался к берегу Абора.

Раннее апрельское утро было свежо и почти бездыханно. Сонный ветерок приносил ночную прохладу с великой азиатской реки. По всему широкому весеннему разливу Евфрата, от башен Цирцезиума до римского лагеря, на десять стадий тянулись ряды военных кораблей. Со времен Ксеркса не видано было такого грозного флота.

Солнце первыми лучами брызнуло из-за надгробной пирамиды кесаря Гордиана, победителя персов, умерщвленного некогда на этом самом берегу Филиппом Аравитянином. Край солнца зарделся над тихой пустыней, как раскаленный уголь, и сразу все верхушки корабельных мачт сквозь утреннюю мглу порозовели.

Император подал знак, и восемь пятитысячных человеческих громад мерным шагом, от которого земля дрожала и гудела, сдвинулись. Римское войско стало переходить через мост — границу Персии.

Конь вынес Юлиана на противоположный берег, на высокий песчаный холм — землю врагов.

Во главе Палатинской когорты ехал центурион щитоносцев, Анатолий, поклонник Арсинои.

Анатолий взглянул на императора. В наружности Юлиана произошла перемена: месяц, проведенный на свежем воздухе, в лагерных трудах, был ему полезен: в мужественном воине, с загорелыми щеками, с молодым взором, блиставшим веселостью, трудно было узнать школьного философа с осунувшимся, желтым лицом, с ученой угрюмостью в глазах, с растрепанными волосами и бородой, с растерянной торопливостью в движениях, с чернильными пятнами на пальцах и на цинической тоге,— ритора Юлиана, над которым издевались уличные мальчишки Антиохии.

— Слушайте, слушайте: кесарь говорит.

Все стихло; раздавалось только слабое бряцание оружия, шелест воды под кораблями и шуршание шелковых знамен.

— Воины храбрейшие! — начал Юлиан громким голосом.— Вижу на лицах ваших такую отвагу и мужество, что не могу удержаться от радостного приветствия. Помните, товарищи: судьбы мира в наших руках, мы восстановляем древнее величие Римской империи. Закалите же сердца ваши, будьте готовы на все: нам нет возврата! Я буду во главе, в рядах ваших, конный, пеший, участвуя во всех трудах и опасностях, наравне с последним из вас, потому что с этого дня вы уже не солдаты, не рабы,

а друзья мои, дети мои! Если же изменчивый рок судил мне пасть в борьбе, я счастлив буду тем, что умру за Рим, подобно великим мужам — Сцеволам, Курциям и светлейшим отпрыскам Дециев. Мужайтесь же, товарищи, и помните: побеждают сильные!

Он вынул из ножен и протянул меч, указывая войску на далекий край пустыни.

Солдаты, подняв и сдвинув щиты, воскликнули:

— Слава кесарю победителю!

Боевые корабли рассекли волны реки, римские орлы полетели над когортами, и белый конь понес императора навстречу восходящему солнцу.

Но холодная, синяя тень от пирамиды Гордиана падала на золотистый гладкий песок; скоро Юлиан должен был въехать из утреннего солнца в эту длинную зловещую тень одинокой гробницы.

XV

Войско шло по левому берегу Евфрата.

Равнина, широкая, гладкая, как море, была покрыта серебристой полынью. Деревьев не было видно. Кусты и травы имели ароматический запах. Изредка стадо диких ослов, вздымая пыль, появлялось на краю неба. Пробегали страусы. Жирное, лакомое мясо степной дрофы дымилось за ужином на солдатских кострах. Шутки и песни не умолкали до поздней ночи. Поход казался прогулкой. С воздушной легкостью, почти не касаясь земли, проносились тонконогие газели; у них были грустные, нежные глаза, как у красивых женщин. Воинов, искавших славы, добычи и крови, пустыня встречала безмолвной лаской, звездными ночами, тихими зорями, благовонной мглой, пропитанной запахом горькой полыни.

Они шли все дальше и дальше, не находя врагов.

Но только что проходили,— тишина опять смыкалась над равниной, как вода над утонувшим кораблем, и стебли трав, притоптанные ногами воинов, тихо подымались.

Вдруг пустыня сделалась грозной. Тучи покрыли небо. Хлынул дождь. Молния убила солдата, водившего коней на водопой.

В конце апреля начались жаркие дни. Товарищи завидовали тому из воинов, кто шел в тени, падавшей от верблюда или от нагруженной телеги с полотняным навесом. Люди далекого севера, галлы и скифы, умирали от солнечных ударов. Равнина становилась печальной, голой, кое-

где покрытой только бледными пучками выжженной травы. Ноги утопали в песке.

Налетали внезапные вихри с такой силой, что срывали знамена, палатки; люди и кони валились с ног. Потом опять наступала мертвая тишина, которая напуганному солдату казалась страшнее всякой бури. Шутки и песни умолкли. Но воины шли все дальше и дальше, не находя врагов.

В начале мая вступили в пальмовые рощи Ассирии.

У Мацепракта, где сохранились развалины огромной стены, построенной древнеассирийскими царями, в первый раз увидели врага. Но персы отступили с неожиданной легкостью.

Под тучей стрел римляне перешли через глубокий канал, выложенный вавилонскими кирпичами, называвшийся Нагар-Малка, Река Царей, соединявший Тигр с Евфратом и прорезывавший всю Месопотамию поперек с геометрической правильностью.

Вдруг персы исчезли. Уровень Нагар-Малки начал повышаться; потом, выступив из берегов, вода хлынула на окрестные поля: персы устроили наводнение, отперев запруды и плотины каналов, орошавших сложной сетью рыхлую землю ассирийских полей.

Пехотинцы шли по колено в воде; ноги вязли в липкой глине; целые отряды проваливались в невидимые канавы и ямы; исчезали даже всадники и нагруженные верблюды; надо было ощупывать дорогу шестами.

Поля превратились в озера, пальмовые рощи в острова.

— Куда идем? — роптали малодушные,— на что глядя? Какого еще рожна! Отчего бы сейчас не вернуться к реке, не сесть на корабли? Мы не лягушки, чтобы плавать в лужах.

Юлиан шел пешком, даже в самых трудных местах; собственными руками помогал вытаскивать тяжелые телеги, увязшие в тине, и шутил, показывая солдатам свой императорский пурпур, мокрый, запачканный темно-зеленым илом.

Из пальмовых стволов устроили гати; перекинули плавучие мосты на пузырях.

С наступлением ночи удалось выбраться на сухое место. Измученные солдаты уснули тревожным сном.

Утром увидели крепость Перизабор. Персы издевались над врагами с высоты неприступных башен и стен, увешанных толстыми шершавыми покровами из козьего

меха для защиты от ударов осадных машин. Целый день обменивались метательными снарядами и ругательствами.

В темноте безлунной ночи римляне, сохраняя глубокую тишину, сняли с кораблей и придвинули к стенам катапульты. Рвы наполнили землею.

Посредством одной маллеолы — огненной стрелы, громадной, веретенообразной, начиненной горючим составом из дегтя, серы, масла и горной смолы, удалось поджечь один из этих волосяных щитов на стене крепости. Персы бросились гасить пожар. Пользуясь минутой смятения, император велел подкатить осадную машину — таран: это был ствол сосны, подвешенный на железных цепях к бревенчатой пирамиде; ствол кончался медной бараньей головой. Сотни воинов, с дружным, певучим криком — «раз, два, три», напрягая мускулы на голых смуглых плечах, тянули за толстые веревки из туго скрученных воловьих жил и медленно раскачивали громадную сосну.

Раздался первый удар, подобный удару грома; земля загудела, стены содрогнулись; потом еще и еще; бревно раскачивалось, удары сыпались все чаще; баран как будто свирепел и с упрямою злостью колотил медным лбом об стену. Вдруг послышался треск: целый угол стены обвалился.

Персы бежали с криком.

Юлиан, сверкая шлемом, в облаке пыли, веселый и страшный, как бог войны, устремился в завоеванный город.

Войско пошло дальше. Два дня отдохнуло в тенистых свежих рощах, наслаждаясь кислым прохладительным напитком, вроде вина — из пальмового сока, и ароматными вавилонскими финиками, желтыми и прозрачными, как янтарь.

Потом вышли опять на голую, только уже не песчаную, а каменистую равнину; зной становился все тягостнее; животные и люди умирали; воздух в полдень трепетал и струился над скалами волнообразными раскаленными слоями; по серой пепельной пустыне Тигр извивался лениво, сверкая чешуйчатым серебром, как змея, которая нежится на солнечном припеке.

Наконец, увидели громадную скалу над Тигром, отвесную, розовую, голую, с изломанными колючими остриями: это была вторая крепость, охранявшая Ктезифон, южную столицу Персии,— Маогамалки, еще более неприступная, чем Перизабор, настоящее орлиное гнездо под облаками; шестнадцать башен и двойная стена Маогамалки, как все

древние ассирийские постройки, не боящиеся тысячелетий, сложены были из знаменитых вавилонских кирпичей, высушенных на солнце, скрепленных горной смолою.

Началась осада. Опять утомительно заскрипели деревянные неуклюжие члены баллист, завизжали колеса, рычаги и блоки скорпионов, засвистели огненные маллеолы.

Был час, когда ящерицы спят в расщелинах скал; лучи солнца падали на спины и головы солдат, как подавляющая тяжесть: их блеск был страшен; воины в отчаянии, не слушая начальников, несмотря на опасность, срывали с себя накалившиеся латы и шлемы, предпочитая раны зною. Над темно-бурыми кирпичными башнями и бойницами Маогамалки, из которых сыпались ядовитые стрелы, копья, камни, свинцовые и глиняные ядра, пылающие персидские фаларики, отравлявшие воздух зловонием серы и нефти,— повисло пыльное небо с едва уловимым оттенком лазури, ослепительное, неумолимое, ужасное, как смерть. И небо победило, наконец, вражду людей: осаждающие и осажденные, изнемогая от усталости, прекратили битву.

Наступила тишина, странная в этот яркий полдень, более мертвая, чем в самую глухую ночь.

Римляне не пали духом: после взятия Перизабора они поверили в непобедимость императора Юлиана; сравнивали его с Александром Великим и ждали чудес.

В продолжение нескольких дней, к восточной стороне Маогамалки, где скалы спускались более отлого к равнине, солдаты рыли подкоп; проходя под стенами крепости, оканчивался он внутри города; ширина подземелья в три локтя позволяла двум воинам идти рядом; толстые деревянные подпорки, расставленные на некотором расстоянии одна от другой, поддерживали свод. Землекопы работали весело: после солнца им приятна была подземная сырость и темнота.

— Были мы лягушками, стали кротами,— смеялись они.

Три когорты — маттиарии, лацинарии, викторы — тысяча пятьсот храбрейших воинов, соблюдая тишину, вступили в подземный ход и нетерпеливо ожидали приказания полководцев, чтобы ворваться в город.

На рассвете приступ направлен был нарочно с двух противоположных сторон, дабы рассеять внимание персов.

Юлиан вел солдат по узкой тропинке над крутизной, под градом стрел и камней. «Посмотрим,— думал он, наслаждаясь опасностью,— охранят ли меня боги, будет ли чудо, спасусь ли я и теперь от смерти?»

Неудержимое любопытство, жажда сверхъестественного заставляла его подвергать жизнь опасности,— с вызывающей улыбкой искушать судьбу; и не смерти боялся он, а только проигрыша в этой игре с судьбою.

Солдаты шли за ним, как очарованные, зараженные его безумием.

Персы, смеясь над усилиями осаждающих и воспевая хвалу Сыну Солнца, царю Сапору, кричали римлянам с подоблачных твердынь Маогамалки:

— Юлиан проникнет скорее в чертоги Ормузда, чем в нашу крепость!

В разгаре приступа император шепотом передал приказание полководцам.

Солдаты, притаившиеся в подкопе, вышли внутри города, в подвале одного дома, где старая персиянка булочница месила тесто. Она закричала пронзительно, увидев римских легионеров. Ее убили.

Подкравшись незаметно, кинулись на осажденных с тыла. Персы побросали оружие и рассыпались по улицам Маогамалки. Римляне изнутри отперли ворота, и город был захвачен с двух сторон.

Теперь уже никто не сомневался, что Юлиан, подобно Александру Македонскому, завоюет всю персидскую монархию до Инда.

Войско приближалось к южной столице Персии, Ктезифону. Корабли оставались на Евфрате. Все с той же лихорадочной, почти волшебною, быстротою, которая не давала врагам опомниться, Юлиан возобновил древнее римское сооружение — соединительный канал, прорытый Траяном и Септимием Севером, из предосторожности заваленный персами. Через этот канал флот переведен был в Тигр, немного выше стен Ктезифона. Победитель проник в самое сердце азиатской монархии.

На следующий день вечером Юлиан, собрав военный совет, объявил, что ночью переправит войска на тот берег, к стенам Ктезифона. Дагалаиф, Гормизда, Секундин, Виктор, Саллюстий — все опытные военачальники — пришли в ужас и долго возражали императору, умоляя отказаться от слишком смелого предприятия; указывали на усталость войска, на широту реки, на быстроту течения, на крутизну противоположного берега, на близость Ктезифона и несметного войска царя Сапора, на неизбежность вылазки персов во время переправы. Юлиан ничего не слушал.

— Сколько бы мы ни ждали,— воскликнул он, наконец, с нетерпением,— река не сделается менее широкой, берега менее крутыми; а войско персов с каждым днем увеличивается новыми подкреплениями. Если бы я слушался ваших советов, до сих пор мы сидели бы в Антиохии!

Полководцы вышли от него в смятении.

— Не выдержит,— со вздохом проговорил опытный и хитрый Дагалаиф, варвар, поседевший на римской службе,— помяните мое слово, не выдержит!.. Весел-то — весел, а все-таки в лице у него что-то неладное. Такое выражение видал я у людей, близких к отчаянию, уставших до смерти...

Туманные знойные сумерки слетали на гладь великой реки. Подан был знак; пять военных галер с четырьмястами воинов отчалили; долго слышались взмахи весел; потом все утихло; мгла сделалась непроницаемой. Юлиан с берега смотрел пристально. Он скрывал свое волнение улыбкой. Полководцы перешептывались. Вдруг в темноте блеснул огонь. Все притаили дыхание и обратили взоры на императора. Он понял, что значит этот огонь. Персам удалось поджечь римские корабли огненными снарядами, ловко пущенными с крутого берега.

Он побледнел, но тотчас же оправился и, не давая солдатам времени опомниться, кинулся на первый попавшийся корабль, стоявший у самого берега, и громко закричал, с торжествующим видом обращаясь к войску:

— Победа, победа! Видите — огонь. Они причалили, овладели берегом. Я велел посланной когорте зажечь костры в знак победы. За мной, товарищи!

— Что ты делаешь? — шепнул ему на ухо осторожный Саллюстий.— Мы погибли: ведь это — пожар!..

— Кесарь с ума сошел! — в ужасе молвил на ухо Дагалаифу Гормизда.

Хитрый варвар пожимал плечами в недоумении.

Войско неудержимо стремилось к реке. С восторженным криком: «Победа! победа!», толкая друг друга, обгоняя, падая в воду и, вылезая с веселой руганью, все кинулись на корабли. Несколько мелких барок едва не утопили. Недоставало места на галерах.

Многие всадники кинулись вплавь, разрезая грудью коней быстрое течение. Кельты и батавы, на своих огромных кожаных щитах, вогнутых наподобие маленьких челноков, устремились в темную реку; бесстрашные, плыли они в тумане, и щиты их быстро крутились в водоворо-

тах; но, не замечая опасности, солдаты радостно кричали: «Победа! победа!»

Сила течения была укрощена кораблями, запрудившими реку. Пожар на пяти передовых галерах потушили без труда.

Тогда только поняли отважную, почти безумную хитрость императора. Но солдатам сделалось еще веселее: теперь, когда такую опасность преодолели шутя,— все казалось возможным.

Незадолго перед рассветом овладели римляне высотами противоположного берега. Едва успели освежиться кратким сном, не снимая оружия, как на заре увидели огромное войско, выступившее из стен Ктезифона на равнину перед городом.

Двенадцать часов длилось сражение. Персы дрались с яростью. Войско Юлиана впервые увидело громадных боевых слонов, которые могли растоптать целую когорту, как поле с колосьями.

Победа была такая, какой римляне не одерживали со времен великих императоров — Траяна, Веспасиана, Тита.

Юлиан приносил на солнечном восходе благодарственную жертву богу войны Арею, состоявшую из десяти белых быков совершенной красоты, напоминавших изображения священных тельцов на древних эллинских мраморах. Все были веселы. Только этрусские авгуры, как всегда, сохраняли упрямую и зловещую угрюмость; с каждой победой Юлиана становились они все мрачнее, все безмолвнее.— Подвели первого быка к пылавшему жертвеннику, обвитому лаврами. Бык шел лениво и покорно; — вдруг оступился, упал на колени, с жалобным мычанием, похожим на человеческий голос, от которого у всех мороз пробежал по телу, уткнул морду в пыль и, прежде чем двуострая секира виктимария коснулась его широкого лба,— затрепетал, издыхая. Подвели другого. Он тоже пал мертвым. Потом третий, четвертый. Все подходили к жертвеннику, вялые, слабые, едва державшиеся на ногах, как будто пораженные смертельной болезнью,— и с унылым мычанием издыхали. Ропот ужаса послышался в войске. Это было страшное знаменье.

Некоторые уверяли, будто бы этрусские жрецы нарочно отравили жертвенных быков, чтобы отомстить императору за его презрение к их пророчествам.

Девять быков пало. Десятый вырвался, разорвал путы и с ревом помчался, распространяя смятение в лагере. Он выбежал из ворот, и его не могли поймать.

Жертвоприношение прекратилось. Авгуры злорадствовали.

Когда же попробовали рассечь мертвых быков, Юлиан опытным глазом гадателя увидел во внутренностях несомненные и ужасающие предзнаменования. Он отвернулся. Лицо его покрылось бледностью. Хотел улыбнуться и не мог. Вдруг подошел к пылавшему алтарю и изо всей силы толкнул его ногой. Жертвенник покачнулся, но не упал. Толпа тяжело вздохнула, как один человек. Префект Саллюстий кинулся к императору и шепнул ему на ухо:

— Солдаты смотрят... Лучше прекратить богослужение...

Юлиан отстранил его и еще сильнее ударил ногою алтарь; жертвенник опрокинулся; угли рассыпались; огонь потух, но благовонный дым еще обильнее заклубился.

— Горе, горе! Жертвенник оскверняют! — раздался голос в толпе.

— Говорю тебе, он с ума сошел! — в ужасе пролепетал Гормизда, хватая за руку Дагалаифа.

Этрусские авгуры стояли, по-прежнему тихие, важные, с бесстрастными, точно каменными лицами.

Юлиан поднял руки к небу и воскликнул громким голосом:

— Клянусь вечной радостью, заключенной здесь, в моем сердце, я отрекаюсь от вас, как вы от меня отреклись, покидаю вас, как вы меня покинули, блаженные, бессильные! Я один против вас, олимпийские призраки!..

Сгорбленный, девяностолетний авгур, с длинной белой бородой, с жреческим загнутым посохом, подошел к императору и положил еще твердую сильную руку на плечо его.

— Тише, дитя мое, тише! Если ты постиг тайну,— радуйся молча. Не соблазняй толпы. Тебя слушают те, кому не должно слышать...

Ропот негодования усиливался.

— Он болен,— шептал Гормизда Дагалаифу.— Надо увести его в палатку. А то может кончиться бедою...

К Юлиану подошел врач Орибазий, со своим обычным заботливым видом, осторожно взял его за руку и начал уговаривать:

— Тебе нужен отдых, милостивый август. Ты две ночи не спал. В этих краях — опасные лихорадки. Пойдем в палатку: солнце вредно...

Смятение в войске становилось опасным. Ропот и возгласы сливались в негодующий смутный гул. Никто ничего ясно не понимал, но все чуяли, что происходит недоброе. Одни кричали в суеверном страхе:

— Кощунство! Кощунство! Подымите жертвенник! Чего смотрят жрецы?

Другие отвечали:

— Жрецы отравили кесаря за то, что он не слушал их советов. Бейте жрецов! Они погубят нас!..

Галилеяне, пользуясь удобным случаем, шныряли, суетились со смиреннейшим видом, пересмеивались и перешептывались, выдумывая сплетни, и, как змеи, проснувшиеся от зимней спячки, только что отогретые солнцем,— шипели:

— Разве вы не видите? Это Бог его карает. Страшно впасть в руки Бога живого. Бесы им овладели, бесы помутили ему разум: вот он и восстал на тех самых богов, ради коих отрекся от Единого.

Император, как будто пробуждаясь от сна, обвел всех медленным взором и наконец спросил Орибазия рассеянно:

— Что такое? О чем кричат?.. Да, да,— опрокинутый жертвенник...

Он с грустной усмешкой взглянул на угли фимиама, потухавшие в пыли:

— Знаешь ли, друг мой, ничем нельзя так оскорбить людей, как истиною. Бедные, глупые дети! — Ну что же, пусть покричат, поплачут,— утешатся... Пойдем, Орибазий, пойдем скорее в тень. Ты прав,— должно быть, солнце мне вредно. Глазам больно. Я устал...

Он подошел к своей бедной и жесткой походной постели — львиной шкуре, и упал на нее в изнеможении. Долго лежал так, ничком, стиснув голову ладонями, как бывало в детстве, после тяжкой обиды или горя.

— Тише, тише: кесарь болен,— старались полководцы успокоить солдат.

И солдаты умолкли и замерли.

В лагере, как в комнате больного, наступила тишина, полная ожидания.

Только галилеяне не ждали — суетились, скользили неслышно, всюду проникали, распространяя мрачные слухи и шипели, как змеи, проснувшиеся от зимней спячки, только что отогретые солнцем:

— Разве вы не видите? Это Бог его карает: страшно впасть в руки Бога живого!

XVI

Несколько раз в шатер осторожно заглядывал Орибазий, предлагая больному освежающий напиток. Юлиан отказывался и просил оставить его в покое. Он боялся человеческих лиц, звуков и света. По-прежнему, закрыв глаза, сжимая голову руками, старался ни о чем не думать, забыть, где он и что с ним.

Неестественное напряжение воли, в котором провел он последние три месяца, изменило его, оставив слабым и разбитым, как после долгой болезни.

Он не знал, спит или бодрствует. Картины, повторяясь, цепляясь одна за другую, плыли перед глазами с неудержимой быстротой и мучительной яркостью.

То казалось ему, что он лежит в холодной огромной спальне Мацеллума; дряхлая няня Лабда перекрестила его на ночь,— и фырканье боевых коней, привязанных вблизи палатки, делалось смешным отрывистым храпом старого педагога Мардония; с радостью чувствовал он себя очень маленьким мальчиком, никому неизвестным, далеким от людей, покинутым в горах Каппадокии.

То чудился ему знакомый, тонкий и свежий запах гиацинтов, нежно пригретых мартовским солнцем, в уютном дворике жреца Олимпиодора, милый смех Амариллис под журчание фонтана, звуки медных чашечек игры коттабы и предобеденный крик Диофаны из кухни: «Дети мои, инбирное печенье готово».

Но все исчезало.

И он только слышал, как первые январские мухи, уже радуясь полуденному припеку, жужжат по-весеннему, в углу, защищенном от ветра, на белой солнечной стене у моря; у ног его умирают светло-зеленые волны без пены; с улыбкой смотрит он на паруса, утопающие в бесконечной нежности моря и зимнего солнца; он знает, что в этой блаженной пустыне он один, никто не придет, и, как эти черные веселые мухи на белой стене,— чувствует только невинную радость жизни, солнце и тишину.

Вдруг, очнувшись, вспомнил Юлиан, что он — в глубине Персии, что он — римский император, что на руках его — шестьдесят тысяч солдат, что богов нет, что он опрокинул жертвенник, кощунствуя. Он вздрагивал; озноб пробегал по телу; ему казалось, что он сорвался, падает в бездну, и не за что ухватиться.

Он не мог бы сказать, пролежал ли он в этой полудремоте час или целые сутки.

Но ясно, уже не во сне, а наяву, раздался голос старого верного слуги, осторожно просунувшего голову в дверь:

— Кесарь! Боюсь потревожить, но ослушаться не смею. Ты велел доложить, не медля. В лагерь только что приехал полководец Аринфей...

— Аринфей! — воскликнул Юлиан и вскочил на ноги, пробужденный как ударом грома.— Аринфей! Зови, зови сюда!

Это был один из храбрейших полководцев, посланный с небольшим отрядом разведчиком на север, чтобы узнать, не приближается ли тридцатитысячное вспомогательное войско комесов Прокопия и Себастиана, которым приказано было, с войсками римского союзника, Арзакия, царя армянского, присоединиться к императору под стенами Ктезифона. Юлиан давно ожидал этой помощи: от нее зависела участь главного войска.

— Приведи,— воскликнул император,— приведи его! Скорей! Или нет... Я сам...

Но слабость еще не прошла, несмотря на мгновенное возбуждение; голова закружилась; он закрыл глаза и должен был опереться о полотняную стенку шатра.

— Дай вина, крепкого... с холодной водой.

Старый слуга засуетился, проворно нацедил кубок и подал императору.

Тот выпил медленными глотками все, до последней капли, и вздохнул с облегчением. Потом вышел из палатки.

Был поздний вечер. Далеко, за Евфратом, прошла гроза. Бурный ветер приносил свежую сырость — запах дождя.

Среди черных туч редкие крупные звезды сильно дрожали, как лампадные огни, задуваемые ветром. Из пустыни слышался лай шакалов. Юлиан обнажил грудь, подставил лицо ветру и с наслаждением почувствовал в волосах своих мужественную ласку уходящей бури.

Он улыбнулся, вспомнив свое малодушие; слабость исчезла. Возвращалось приятное напряжение сил душевных, подобное опьянению. Хотелось приказывать, действовать, не спать всю ночь, идти в сражение, играть жизнью и смертью, побеждая опасность. Только изредка легкий озноб пробегал по телу.

Пришел Аринфей.

Вести были плачевные: не было больше надежды на помощь Прокопия и Себастиана; император покинут был

союзниками в неведомой глубине Азии. Носились тревожные слухи об измене, о предательстве хитрого Арзакия.

В это время доложили императору о персидском перебежчике из лагеря Сапора.

Его привели. Перс распростерся перед Юлианом и поцеловал землю; это был урод: бритая голова с отрезанными ушами, с вырванными ноздрями, напоминала мертвый череп; но глаза сверкали умом и решимостью. Он был в драгоценной одежде из огненного согдианского шелка и говорил на ломаном греческом языке; двое рабов сопровождали его.

Перс назвал себя Артабаном, рассказал, что он сатрап, оклеветанный перед Сапором, изуродованный пыткою и бежавший к римлянам, чтобы отомстить царю.

— О, владыка вселенной! — говорил Артабан напыщенно и льстиво,— я отдам тебе Сапора, связанного по рукам и ногам, как жертвенную овцу. Я приведу тебя ночью к лагерю, и ты тихонько, тихонько накроешь царя рукою, возьмешь его, как маленькие дети берут птенцов в ладонь. Только слушай Артабана; Артабан может все; Артабан знает тайны царя...

— Чего хочешь от меня? — спросил Юлиан.

— Великого мщения. Пойдем со мною!

— Куда?

— На север, через пустыню — триста двадцать пять парасангов; потом через горы, на восток, прямо к Сузам и Экбатане.

Перс указывал на горизонт.

— Туда, туда! — повторял он, не сводя глаз с Юлиана.

— Кесарь,— шептал Гормизда на ухо императору,— берегись. У этого человека дурной глаз. Он — колдун, мошенник или — не на ночь будь сказано — что-нибудь еще того похуже. Иногда в здешних краях по ночам творится недоброе... Прогони его, не слушай!..

Император не обратил внимания на слова Гормизды. Он испытывал странное обаяние молящих, пристальных глаз перса.

— Ты точно знаешь путь к Экбатане?

— О, да, да, да! — залепетал тот, смеясь восторженно.— Знаю, еще бы не знать! Каждую былинку в степи, каждый колодец. Артабан знает, о чем поют птицы, слышит, как растет ковыль, как подземные родники текут. Древняя Заратустрова мудрость в сердце Артабана. Он побежит, побежит перед твоим войском, нюхая след, ука-

зывая путь. Верь мне, через двадцать дней вся Персия в руках твоих — до самой Индии, до знойного океана!..

Сердце императора сильно билось.

«Неужели,— думал он,— это и есть то чудо, которого я ждал? Через двадцать дней Персия в моих руках!..»

У него захватывало дух от радости.

— Не гони меня,— шептал урод; — я буду лежать, как собака, у ног твоих. Только что увидел я лицо твое, я полюбил, полюбил тебя, владыка вселенной, больше, чем душу свою, потому что ты — прекрасен! Я хочу, чтобы ты прошел по телу моему и растоптал меня ногами своими, и я буду лизать пыль ног твоих и петь: слава, слава, слава Сыну Солнца, царю Востока и Запада — Юлиану!

Он целовал его ноги; оба раба также упали лицом на землю, повторяя:

— Слава, слава, слава!

— Что же делать с кораблями? — сказал Юлиан задумчиво, как будто про себя.— Покинуть без войска в добычу врагам или остаться при них?..

— Сожги! — шепнул Артабан.

Юлиан вздрогнул и посмотрел ему в лицо пытливо.

— Сжечь? Что ты говоришь?..

Артабан поднял голову и впился глазами в глаза императора:

— Ты боишься — ты?.. Нет, нет, люди боятся, не боги! Сожги, и ты будешь свободен, как ветер: корабли не достанутся в руки врагам, а войско твое увеличится солдатами, приставленными к флоту. Будь велик и бесстрашен до конца! Сожги,— и через десять дней ты у стен Экбатаны, через двадцать — Персия в руках твоих! Ты будешь больше, чем сын Филиппа, победитель Дария. Только сожги корабли и следуй за мной! Или не смеешь?

— А если ты лжешь? Если я читаю в сердце твоем, что ты лжешь? — воскликнул император, одной рукой схватив перса за горло, другой занося над ним короткий меч.

Гормизда вздохнул с облегчением.

Несколько мгновений молча смотрели они друг другу в глаза. Артабан выдержал взгляд императора. Юлиан почувствовал себя еще раз побежденным обаянием этих глаз, умных, дерзких и смиренных.

— Дай мне умереть, дай мне умереть от руки твоей, если не веришь! — повторял перс.

Юлиан вложил меч в ножны.

— Страшно и сладко смотреть в очи твои,— продолжал Артабан.— Вот лицо твое, как лицо бога. Никто еще этого не знает. Я, я один знаю, кто ты... Не отвергай раба твоего, господи!..

— Посмотрим,— проговорил Юлиан задумчиво.— Я ведь и сам давно уже хотел идти в глубину пустыни, искать битвы с царем. Но корабли?..

— О, да,— корабли! — встрепенулся Артабан.— Надо скорее выступить, в эту же ночь, до рассвета, пока темно, чтобы враги из Ктезифона не увидели... Сожжешь?

Юлиан ничего не ответил.

— Уведите и не спускайте глаз с него,— приказал император, указывая воинам на перебежчика.

Возвращаясь в палатку, Юлиан на мгновение остановился у двери и поднял глаза:

— Неужели?.. Так просто, так скоро? Воля моя, как воля богов: не успею подумать — и уже исполняется...

Веселье в душе его росло и подымалось, как буря. С улыбкой приложил он руку к сердцу, так сильно оно билось. Озноб все еще пробегал по спине, и голова немного болела, как будто он весь день провел на слишком ярком солнце.

Призвав к себе в шатер полководца Виктора, старика, слепо преданного, вручил он ему золотой перстень с императорской печатью.

— К начальникам флота, комесам Константину и Люциллиану,— приказал Юлиан.— До рассвета сжечь корабли, кроме пяти больших с хлебом и двенадцати малых для переправочных мостов. Малые взять на подводы. Остальные сжечь. Кто будет противиться, ответит головой. Сохранить все втайне. Ступай.

Он дал ему клочок папируса, быстро написав на нем несколько слов — лаконический приказ начальникам флота.

Виктор, по своему обыкновению, ничему не удивляясь и не возражая, молча, с видом бесстрастного послушания, поцеловал край императорской одежды и пошел исполнять приказание.

Юлиан созвал военный совет, несмотря на поздний час. Полководцы собрались в шатер, мрачные, втайне раздраженные и подозрительные. В кратких словах сообщил он свой план — идти на север, в глубину Персии, по направлению к Экбатане и Сузам, чтобы захватить царя врасплох.

Все восстали, заговорили сразу, почти не скрывая, что замысел этот кажется им безумным. На суровых лицах

старых умных вождей, закаленных в опасностях, выражались утомление, досада, недоверие. Многие возражали с резкостью:

— Куда идем? Зачем?—говорил Саллюстий Секунд.— Подумай, милостивый кесарь: мы завоевали половину Персии; Сапор предлагает тебе такие условия мира, каких цари Азии не предлагали ни одному из римских победителей — ни Помпею Великому, ни Септимию Северу, ни Траяну. Заключим же славный мир, пока не поздно, и вернемся в отечество...

— Солдаты ропщут,— заметил Дагалаиф,— не доводи их до отчаяния. Они устали. Много раненых, много больных. Если ты поведешь их дальше в неведомую пустыню, нельзя отвечать ни за что.— Сжалься! Да и тебе самому пора отдохнуть: ты устал, может быть, больше всех нас...

— Вернемся! — заключили все.— Далее идти — безумие!

В это мгновение послышался глухой, грозный гул за стеною палатки, подобный рокоту далекого прибоя. Юлиан прислушался и тотчас понял, что это — возмущение...

— Вы знаете волю нашу,— проговорил он холодно, указывая полководцам на выход,— она неизменна. Через два часа мы выступаем. Смотрите, чтобы все было готово.

— Блаженный август,— произнес Саллюстий спокойно и почтительно, но слегка дрогнувшим голосом,— я не уйду, не сказав тебе того, что должен сказать. Ты говорил с нами, равными тебе не по власти, но по доблести, не как ученик Сократа и Платона. Мы можем извинить слова твои только минутным раздражением, которое омрачает твой божественный ум...

— Ну, что ж,— воскликнул Юлиан, усмехаясь и бледнея от сдержанной злобы,— тем хуже для вас, друзья мои: значит, вы — в руках безумца! Только что приказал я сжечь корабли — и повеление мое исполняется. Я предвидел ваше благоразумие и отрезал последний путь к отступлению. Да, теперь жизнь ваша — в руках моих, и я заставлю вас поверить в чудо!..

Все онемели: только Саллюстий бросился к Юлиану и схватил его за руку.

— Этого не будет, кесарь, ты не мог!.. Или в самом деле?..

Он не докончил и выпустил руку императора. Все вскочили, прислушиваясь.

Крики воинов за полотняною стеною палатки становились все громче и громче; мятежный гул их приближался, как будто летела буря по верхушкам леса.

— Пусть покричат,— произнес Юлиан спокойно.— Бедные, глупые дети! Куда они хотят уйти от меня? Слышите? Вот зачем я сжег корабли — надежду трусов, убежище ленивых. Теперь нам уже нет возврата. Свершилось. Нам нечего ждать, кроме чуда! Теперь вы связаны со мной на жизнь и смерть. Через двадцать дней Азия — в руках моих. Я окружил вас ужасом и гибелью для того, чтобы вы победили все и сделались подобными мне. Радуйтесь! Я поведу вас, как бог Дионис, через весь мир,— вы победите людей и богов, и сами будете, как боги!..

Едва он произнес последние слова, как по всему войску раздался крик ужаса:

— Горят! Горят!

Полководцы бросились вон из шатра. За ними — Юлиан. Они увидели зарево. Виктор в точности исполнил приказание владыки. Флот охвачен был пламенем. Император любовался им с тихой и странной улыбкой.

— Кесарь! Да помилуют нас боги,— он убежал!..

С этими словами один из центурионов бросился к ногам Юлиана, бледный и дрожащий.

— Убежал? Кто? Что ты говоришь?..

— Артабан, Артабан! Горе нам!.. Он обманул тебя, кесарь!..

— Не может быть!.. А слуги его? — пролепетал император чуть слышно.

— Только что в пытках признались, что Артабан не сатрап, а сборщик податей в Ктезифоне,— продолжал центурион.— Он придумал эту хитрость, чтобы спасти город и предать тебя в руки персов, заманив в пустыню; он знал, что ты сожжешь корабли. И еще сказали они, что Сапор идет с несметным войском...

Император бросился к берегу реки навстречу полководцу Виктору:

— Гасите, гасите, гасите! Скорее!

Но голос его замер, и, взглянув на пылающий флот, он понял, что уже никакие человеческие силы не могут остановить огня, раздуваемого сильным ветром.

В ужасе схватился он за голову и, хотя ни веры, ни молитвы уже не было в сердце, поднял глаза к небу, как будто все искал в нем чего-то.

Там бледные звезды мерцали сквозь зарево.

Войско все грознее волновалось и гудело.

— Персы подожгли! — вопили одни, простирая руки к пылавшим кораблям — своей последней надежде.

— Не персы, а сами полководцы, чтобы заманить нас в пустыню и покинуть! — безумствовали другие.

— Бейте, бейте жрецов! — повторяли третьи.— Жрецы опоили кесаря и лишили его разума!

— Слава августу Юлиану Победителю! — восклицали верные галлы и кельты.— Молчите, изменники! Пока он жив, нам нечего бояться!

Малодушные плакали:

— На родину, на родину! Мы не хотим идти дальше, не хотим в пустыню. Мы не сделаем больше ни шагу, упадем на дороге. Лучше убейте нас!

— Не видать вам родины, как ушей своих! Погибли мы, попали к персам в ловушку!

— Да разве вы не видите? — торжествовали галилеяне.— Бесы им овладели! Нечестивый Юлиан продал им душу свою, и они влекут его на погибель. Куда может привести нас безумец, одержимый бесами?..

А в это время кесарь, ничего не видя и не слыша, как в бреду, шептал про себя с бледной, блуждающей и рассеянной улыбкой:

— Все равно, все равно... Чудо совершится! Не теперь, так потом.— Я верю в чудо!..

XVII

Это был первый ночлег отступления на шестнадцатые календы июня.

Войско отказалось идти дальше. Ни мольбы, ни увещания, ни угрозы императора не помогали. Кельты, скифы, римляне, христиане и язычники, трусливые и храбрые — все отвечали одним криком: «Назад, назад!»

Военачальники тайно злорадствовали; этрусские авгуры явно торжествовали. После сожжения кораблей восстали все. Теперь не только галилеяне, но и поклонники олимпийцев были уверены, что над головой императора тяготеет проклятие, что Евмениды преследуют его. Когда он проходил по лагерю, разговоры умолкали — все боязливо сторонились.

Книги сибилл и Апокалипсис, этрусские авгуры и христианские прозорливцы, боги и ангелы соединились, чтобы погубить Отступника.

Тогда император объявил, что он поведет их на родину через провинцию Кордуэну, по направлению к плодородному Хилиокому. При таком отступлении сохранялась, по крайней мере, надежда соединиться с войсками Прокопия и Себастиана. Юлиан утешал себя мыслью, что он еще не выходит из пределов Персии и, следовательно, может встретиться с главными силами царя Сапора и одержать такую победу, которая все поправит.

Персы более не появлялись. Желая перед решительным нападением истощить римское войско, они подожгли богатые нивы с желтевшим, спелым ячменем и пшеницей, все житницы и сеновалы в селениях.

Солдаты шли по мертвой пустыне, дымившейся от недавнего пожара. Начался голод.

Чтобы увеличить бедствие, персы разрушили плотины каналов и затопили выжженные поля. Им помогали потоки и ручьи, выходившие из берегов вследствие краткого, но сильного летнего таяния снегов на горных вершинах Армении.

Вода быстро высыхала под знойным июньским солнцем. На земле, не простывшей от пожара, оставались лужи с теплою и липкою черною грязью. По вечерам от мокрого угля отделялись удушливые испарения, слащавый запах гнилой гари, который пропитывал все — воздух, воду, даже платье и пищу солдат. Из тлеющих болот подымались тучи насекомых — москитов, ядовитых шершней, оводов и мух. Они носились над вьючными животными, прилипали к пыльной потной коже легионеров. Днем и ночью раздавалось усыпительное жужжание. Лошади бесились, быки вырывались из-под ярма и опрокидывали повозки. После трудного перехода солдаты не могли отдыхать: спасения от насекомых не было даже в палатках; они проникали сквозь щели; надо было закутаться в душное одеяло с головой, чтобы уснуть. От укуса крошечных прозрачных мух навозного грязно-желтого цвета делались опухоли, волдыри, которые сперва чесались, потом болели и, наконец, превращались в страшные гнойные язвы.

В последние дни солнце не выглядывало. Небо покрыто было ровной пеленой белых знойных облаков; но для глаз их неподвижный свет был еще томительнее солнца; небо казалось низким, плотным, удушливым, как в жаркой бане нависший потолок.

Так шли они, исхудалые, слабые, вялым шагом, понуря головы, между небом, беспощадно низким, белым, как известь,— и обугленной черной землей.

Им казалось, что сам Антихрист, человек отверженный Богом, завел их нарочно в это проклятое место, чтобы погубить. Иные роптали, поносили вождей, но бессвязно, точно в бреду. Другие тихонько молились и плакали, как больные дети, прося товарищей о куске хлеба, о глотке вина. Некоторые падали на дороге от слабости.

Император велел раздать голодным последние съестные припасы, которые сберегали для него и для его приближенных.

Сам он довольствовался жидкой мучной похлебкой с маленьким куском сала — такой пищей, от которой отвернулся бы неприхотливый солдат.

Благодаря крайнему воздержанию, чувствовал он все время возбуждение и, вместе с тем, странную легкость в теле, как бы окрыленность: она поддерживала и удесятеряла силы. Старался не думать о том, что будет. Возвратиться в Антиохию или в Тарс побежденным, на позор и насмешки галилеян — одна мысль об этом казалась ему невыносимою.

В ту ночь солдаты отдыхали. Северный ветер разогнал насекомых. Масло, мука и вино, выданные из последних запасов императора, немного утолили голод. Пробуждалась надежда на возвращение. Лагерь уснул глубоким сном.

Юлиан удалился в палатку.

В последнее время он спал как можно меньше, забываясь только перед утром легкой дремотой; если же засыпал совсем, то пробуждался с ужасом в душе, с холодным потом на теле: ему нужна была вся власть сознания, чтобы подавлять этот ужас.

Войдя в шатер, снял он железными щипцами нагар со светильни медной лампады, подвешенной посередине палатки. Кругом были разбросаны пергаментные свитки из походной библиотеки — среди них Евангелие. Он приготовился писать: это была его любимая ночная работа, философское сочинение *Против галилеян*, начатое два с половиной месяца назад, при выступлении в поход.

Он перечитывал рукопись, сидя спиною к двери палатки,— как вдруг услышал шелест. Обернулся, вскрикнул и вскочил на ноги: ему казалось, что он увидел призрак. В дверях стоял отрок в темной бедной тунике из верблюжьего волоса, с пыльным овечьим мехом, перекинутым через плечо,— милостью египетских отшельников, с босыми нежными ногами в пальмовых сандалиях.

Император смотрел и ждал, не в силах произнести ни одного слова. Царствовала тишина, какая бывает только в самый глухой час после полуночи.

— Помнишь,— произнес знакомый голос,— помнишь, Юлиан, как ты приходил ко мне в монастырь? Тогда я тебя оттолкнула, но не могла забыть, потому что мы с тобой навеки близки...

Отрок откинул темный монашеский покров с головы. Юлиан увидел золотые кудри и узнал Арсиною.

— Откуда? Как ты пришла сюда? Почему так одета?..

Он все еще боялся — не призрак ли это, не исчезнет ли она так же внезапно, как явилась.

Арсиноя рассказала ему в немногих словах, что с нею происходило во время их разлуки.— Покинув опекуна Гортензия и раздав почти все имение бедным, жила она долгое время среди галилейских отшельников, к югу от озера Марэотида, между бесплодных гор Ливийских, в страшных пустынях Нитрии и Скетии. Ее сопровождал отрок Ювентин, ученик слепого старца Дидима. Они посетили великих подвижников.

— И что же? — спросил Юлиан, не без тайной боязни,— что же, девушка? Нашла ты у них, чего искала?..

Она покачала головой и молвила с грустью:

— Нет. Только — проблески, только намеки и предзнаменования...

— Говори, говори все! — торопил ее император, и глаза его загорелись надеждою.

— Сумею ли сказать? — начала она медленно.— Видишь ли, друг мой: я искала у них свободы, но и там ее нет...

— Да, да! Не правда ли? — все больше торжествовал Юлиан.— Ведь я же тебе говорил, Арсиноя. Помнишь?..

Она опустилась на походный стул, покрытый леопардовой кожей, и продолжала спокойно, с прежней грустной улыбкой. Он ловил каждое ее слово с восторгом и жадностью . . . .

. . . .

— Скажи, как ты ушла от этих несчастных? — спросил Юлиан.

— У меня тоже было искушение,— ответила она.— Однажды в пустыне, среди камней, я нашла осколок белого, чистого мрамора; подняла его и долго любовалась, как он искрится на солнце, и вдруг вспомнила Афины, свою молодость, искусство, тебя, как будто проснулась — и тогда же решила вернуться в мир, чтобы жить и умереть тем,

чем Бог меня создал — художником. В это время старцу Дидиму приснился вещий сон, будто бы я примирила тебя с Галилеянином...

— С Галилеянином? — тихо повторил Юлиан и его лицо сразу омрачилось, глаза потухли, смех замер на губах.

— Я хотела увидеть тебя,— продолжала Арсиноя,— хотела знать, достиг ли ты истины на пути своем, и куда пришел. Я облеклась в мужскую одежду иноков; мы спустились с братом Ювентином до Александрии по Нилу, на корабле в Селевкию Антиохийскую, с большим сирийским караваном, через Апамею, Эпифанию, Эдессу — до границы; среди многих трудов и опасностей прошли через пустыни Месопотамии, покинутые персами; недалеко от селения Абузата, после победы при Ктезифоне, увидели мы твой лагерь. И вот я здесь.— Ну, а как же ты, Юлиан?..

Он вздохнул, опустил голову на грудь и ничего не ответил.

Потом, взглянув на нее исподлобья быстрым, умоляющим и подозрительным взглядом, спросил:

— Теперь и ты ненавидишь Его, Арсиноя?..

— Нет. За что? — ответила она тихо и просто.— Разве мудрецы Эллады не приближались к тому, о чем говорит Он? Те, кто в пустыне терзают плоть и душу свою,— те далеки от кроткого Сына Марии. Он любил детей, и свободу, и веселие пиршеств, и белые лилии. Он любил жизнь, Юлиан. Только мы ушли от Него, запутались и омрачились духом. Все они называют тебя Отступником. Но сами они — отступники...

Император стоял перед ней на коленях, подняв глаза, полные мольбою; слезы блестели в них и медленно текли по щекам:

— Не надо, не надо,— шептал он,— не говори... Зачем?.. Оставь мне то, что было... Не будь же врагом моим снова!..

— Нет! — воскликнула она с неудержимой силой.— Я должна сказать тебе все. Слушай. Я знаю, ты любишь Его. Молчи,— это так, в этом проклятье твое. На кого ты восстал? Какой ты враг Ему? Когда уста твои проклинают Распятого, сердце твое жаждет Его. Когда ты борешься против имени Его,— ты ближе к духу Его, чем те, кто мертвыми устами повторяет: Господи, Господи! Вот кто враги твои, а не Он. Зачем же ты терзаешь себя больше, чем монахи галилейские?..

Юлиан вскочил бледный; лицо его исказилось, глаза загорелись злобою; он прошептал, задыхаясь:

— Поди прочь, поди прочь от меня! Знаю все ваши хитрости галилейские!..

Арсиноя посмотрела на него с ужасом, как на безумного.

— Юлиан, Юлиан! Что с тобой? Неужели из-за одного имени?

Но он уже овладел собой; глаза померкли, лицо сделалось равнодушным, почти презрительным.

— Уйди, Арсиноя. Забудь все, что я сказал. Ты видишь, мы чужие. Тень Распятого — между нами. Ты не отреклась от него. Кто не враг Ему, не может быть другом моим.

Она упала перед ним на колени:

— Зачем? Зачем? Что ты делаешь? Сжалься над собой, пока не поздно! Вернись,— или ты...

Она не кончила, но он договорил за нее с высокомерной улыбкой:

— Или погибну? Пусть. Я дойду по пути моему до конца,— куда бы ни привел он меня. Если же, как ты говоришь, я был несправедлив к учению галилеян,— вспомни, что я вынес от них!— как бесчисленны, как презренны были враги мои. Однажды воины римские нашли при мне в болотах Месопотамии льва, которого преследовали ядовитые мухи; они лезли ему в пасть, в уши, в ноздри, не давали дышать, облепили очи, и медленно побеждали уколами жал своих львиную силу. Такова моя гибель; такова победа галилеян над римским кесарем!

Девушка все еще протягивала к нему руки, без слов, без надежды, как друг к умершему другу. Но между ними была бездна, которую живые не переступают . . . . .

. . . .

В двадцатых числах июля римское войско, после долгого перехода по выжженной степи, нашло в глубокой долине речки Дурус немного травы, уцелевшей от пожара. Легионеры несказанно обрадовались ей, ложились на землю, вдыхали пахучую сырость и к пыльным лицам, к воспаленным векам прижимали влажные стебли трав.

Рядом было поле спелой пшеницы. Воины собрали хлеб. Три дня продолжался отдых в уютной долине. На утро четвертого, с окрестных холмов, римские стражи заметили облако не то дыма, не то пыли. Одни думали, что это дикие ослы, имеющие обыкновение собираться в стада, чтобы предохранить себя от нападения львов; другие, что

это сарацины, привлеченные слухами об осаде Ктезифона, третьи выражали опасение, не есть ли это главное войско самого царя Сапора.

Император велел трубить сбор.

Когорты в оборонительном порядке, наподобие большого правильного круга, под охраной щитов, сдвинутых и образовавших как бы ряд медных стен, расположились лагерем на берегу ручья.

Завеса дыма или пыли оставалась на краю неба до вечера, и никто не догадывался, что она за собой скрывает.

Ночь была темная, тихая; ни одна звезда не сияла на небе.

Римляне не спали; они стояли вокруг пылающих костров и с молчаливой тревогой ждали утра.

XVIII

На восходе солнца увидели персов. Враги приближались медленно. По словам опытных воинов, их было не менее двухсот тысяч; из-за холмов появлялись непрерывно новые и новые отряды.

Сверкание лат так ослепляло, что даже сквозь густую пыль глаза с трудом выдерживали.

Римляне молча выходили из долины и строились в боевой порядок. Лица были суровы, но не печальны. Опасность заглушила вражду. Взоры обратились опять на императора. Галилеяне и язычники одинаково по выражению лица его угадывали, можно ли надеяться. Лицо кесаря сияло радостью. Он ждал встречи с персами, как чуда, зная, что победа поправит все, даст ему такую славу и силу, что галилеяне признают себя пораженными.

Душное, пыльное утро 22 июля предвещало знойный день. Император не хотел облечься в медную броню. Он остался в легкой шелковой тунике. Полководец Виктор подошел к нему, держа в руках панцирь:

— Кесарь, я видел дурной сон. Не искушай судьбы, одень латы...

Юлиан молча отстранил их рукою.

Старик опустился на колени, подымая легкую броню.

— Одень! Сжалься над рабом твоим! Битва будет опасной.

Юлиан взял круглый щит, перекинул вьющийся пурпур хламиды через плечо и вскочил на коня:

— Оставь меня, старик! Не надо.

И помчался, сверкая на солнце беотийским шлемом с высоким золоченым гребнем.

Виктор, тревожно качая головой, посмотрел ему вслед. Персы приближались. Надо было спешить.

Юлиан расположил войско в особом порядке, в виде изогнутого лунного серпа. Громадный полукруг должен был врезаться двумя остриями в персидское полчище и захватить его с обеих сторон. На правом крыле начальствовал Дагалаиф, на левом Гормизда, в середине Юлиан и Виктор.

Трубы грянули.

Земля заколебалась, загудела под мягкими тяжкими ступнями бегущих персидских слонов; страусовые перья колебались у них на широких лбах; ременными подпругами привязаны были к спинам кожаные башни; из каждой четыре стрелка метали фаларики — снаряды с горящей смолой и паклей.

Римская конница не выдержала первого натиска. С оглушительным ревом, вздернув хоботы, слоны разевали мясистые влажно-розовые пасти, так что воины чувствовали на лицах дыхание чудовищ, рассвирепевших от смеси чистого вина, перца и ладана — особого напитка, которым варвары опьяняли их перед битвами; клыки, выкрашенные киноварью, удлиненные стальными наконечниками, распарывали брюхо коням; хоботы, обвив всадников, подымали их на воздух и ударяли о землю.

В полдневном зное от этих серых колеблющихся туш, с шлепающими складками кожи, отделялся пронзительно едкий запах пота. Лошади трепетали, бились и хрипели, почуяв запах слонов.

Уже одна когорта обратилась в бегство. То были христиане. Юлиан кинулся остановить бегущих и, ударив главного декуриона рукой по лицу, закричал в ярости:

— Трусы! Умеете только молиться!..

Фракийские легковооруженные стрелки и пафлагонские пращники выступили против слонов. За ними шли искусные иллирийские метатели дротиков, налитых свинцом, — *мартиобарбулы*.

Юлиан приказал направить в ноги чудовищ стрелы, камни из пращей, свинцовые дротики. Одна стрела попала в глаз огромному индийскому слону. Он завыл и поднялся на дыбы; подпруги лопнули; седло с кожаной башней сползло, опрокинулось; персидские стрелки выпали, как птенцы из гнезда. Во всем отряде слонов произошло смятение. Раненые в ноги валились, и скоро вокруг них обра-

зовалась целая подвижная гора из нагроможденных туш. Поднятые вверх ступни, окровавленные хоботы, сломанные клыки, опрокинутые башни, полураздавленные кони, раненые, мертвые, персы, римляне — все смешалось.

Наконец, слоны обратились в бегство, ринулись на персов и начали их топтать.

Эта опасность предусмотрена была военной наукой варваров: пример сражения при Низибе показал, что войско может быть истреблено отрядом собственных слонов.

Тогда вожатые длинными серповидными ножами, привязанными к правой руке, изо всей силы стали ударять чудовищ между двумя позвонками спинного хребта, ближайшими к черепу; довольно было одного такого удара, чтобы самое большое и сильное из них пало мертвым.

Когорты мартиобарбулов кинулись вперед, перелезая через туши раненых, преследуя бегущих.

В это время император уже летел на помощь к левому крылу. Здесь наступали персидские *клибанарии* — знаменитый отряд всадников, связанных, спаянных друг с другом звеньями громадной цепи, покрытых с головы до ног гибкой стальной чешуей, неуязвимых, почти бессмертных в бою, подобных изваяниям, вылитым из металла; ранить их можно было только сквозь узкие щели в забралах, оставленные для рта и глаз.

Против клибанариев направил он когорты старых верных друзей своих, батавов и кельтов: они умирали за одну улыбку кесаря, глядя на него восторженными детскими глазами.

На правом крыле в римские когорты врезались колесницы персов, запряженные полосатыми тонконогими зебрами; остроотточенные косы, прикрепленные к осям и к спицам колес, вращались с ужасающей быстротой, одним взмахом отсекая ноги лошадям, головы солдатам, разрезая тела с такой же легкостью, как серп жнеца — тонкие стебли колосьев.

После полудня клибанарии ослабели: латы накалились и жгли.

Юлиан направил на них все силы.

Они дрогнули и пришли в смятение. У императора вырвался крик торжества. Он кинулся вперед, преследуя бегущих, и не заметил, как войско отстало. Кесаря сопровождали немногие телохранители, в том числе полководец Виктор. Старик, раненный в руку, не чувствовал боли; ни на мгновение не покидал он императора и спасал его от смертельной опасности, заслоняя длинным, книзу заост-

ренным, щитом своим. Опытный полководец знал, что приближаться к бегущему войску так же неблагоразумно, как подходить к падающему зданию.

— Что ты делаешь, кесарь,— кричал он Юлиану.— Берегись! Возьми мои латы...

Юлиан, не слушая летел вперед, с поднятыми руками, с открытой грудью,— как будто один, без войска, ужасом лица своего и мановением рук гнал несметных врагов.

На губах его играла улыбка веселья, сквозь тучу пыли, поднятую вихрем, сверкал беотийский шлем, и складки хламиды, развевавшейся по ветру, походили на два исполинских красивых крыла, которые уносили его все дальше и дальше.

Впереди мчался отряд сарацин. Один из наездников обернулся, узнал Юлиана по одежде и указал товарищам с отрывистым гортанным криком, подобным орлиному клекоту:

— *Малэк! Малэк!* — что по-арабски значит: Царь! Царь!

Все обернулись и, не останавливая коней, вскочили на ноги, в своих белых, длинных одеждах, с поднятыми над головами копьями.

Император увидел разбойничье смуглое лицо. Это был почти мальчик. Он скакал во весь опор, на горбу громадного бактрианского верблюда с комками сухой прилипшей грязи, болтавшимися на косматой шерсти под брюхом.

Виктор щитом отразил два сарацинских копья, направленных на императора.

Тогда мальчик на верблюде прицелился и, сверкая хищным взором, от резвости оскалил белые зубы, с радостным криком:

— Малэк! Малэк!

— Как весело ему,— подумал Юлиан,— а мне еще... Он не успел кончить мысли.

Копье свистнуло, задело ему правую руку, слегка оцарапало кожу, скользнуло по ребрам и вонзилось ниже печени.

Он подумал, что рана не тяжелая и, ухватился за двуострый наконечник, чтобы вырвать его, но порезал пальцы. Хлынула кровь.

Юлиан громко вскрикнул, закинув голову, взглянул широко открытыми глазами в бледное, пылающее небо и упал с коня на руки телохранителей.

Виктор поддерживал его. Губы старика дрожали, и помутившимися глазами смотрел он на закрытые очи кесаря.

Отставшие когорты собирались.

XIX

Юлиана перенесли в шатер и положили на походную постель. Он не приходил в себя, только изредка стонал.

Врач Орибазий извлек острие копья из глубокой раны, осмотрел, обмыл ее и сделал перевязку. Виктор взглядом спросил, есть ли надежда. Орибазий грустно покачал головой.

После перевязки Юлиан глубоко вздохнул и открыл глаза.

— Где я?..— с удивлением посмотрел он кругом, как будто пробуждаясь от крепкого сна.

Издалека доносился шум битвы. Вдруг вспомнил он все и с усилием привстал на постели.

— Где конь? Скорее, Виктор!..

Лицо его исказилось от боли. Все кинулись, чтобы поддержать кесаря. Он оттолкнул Виктора и Орибазия.

— Оставьте!.. Я должен быть там, с ними до конца!..

И он медленно встал на ноги. На бледных губах была улыбка, глаза горели:

— Видите — я еще могу... Скорее щит, меч! Коня!..

Душа его боролась с кончиной. Виктор подал ему щит и меч.

Юлиан взял их и, шатаясь, как дети, не научившиеся ходить, сделал два шага.

Рана открылась. Он уронил оружие, упал на руки Орибазия и Виктора и, подняв глаза к небу, воскликнул:

— Кончено... Ты победил, Галилеянин!

И, не сопротивляясь больше, отдался в руки приближенным; его уложили в постель.

— Да, кончено, друзья мои,— повторил он тихо,— я умираю...

Орибазий наклонился, стараясь утешить его, уверяя, что такие раны вылечивают.

— Не обманывай,— возразил Юлиан кротко,— зачем? Я не боюсь...

И прибавил торжественно:

— Я умру смертью мудрых.

К вечеру впал в забытье. Часы проходили за часами. Солнце зашло. Сражение утихло. В палатке зажгли лампаду. Наступала ночь. Он не приходил в себя. Дыхание ослабело. Думали, что он умирает. Наконец, глаза медленно открылись. Пристальный недвижный взор устремлен был в угол палатки; из губ вырывался быстрый, слабый шепот; он бредил:

— Ты?.. Здесь?.. Зачем?.. Все равно — кончено. Поди прочь! Ты ненавидел! Вот чего мы не простим...

Потом пришел в себя ненадолго и спросил Орибазия:

— Который час? Увижу ли солнце?..

И подумав, прибавил, с грустной улыбкой:

— Орибазий, ужели разум так бессилен?.. Знаю — это слабость тела. Кровь, переполняющая мозг, порождает видения. Надо, чтобы разум...

Мысли снова путались, взор становился неподвижным.

— Я не хочу!.. Слышишь? Уйди, Соблазнитель! Не верю... Сократ умер, как бог... Надо, чтобы разум... Виктор! О, Виктор... Что тебе до меня, Галилеянин? Любовь твоя — страшнее смерти. Бремя твое — тягчайшее бремя... Зачем Ты так смотришь?.. Как я любил Тебя, Пастырь Добрый, Тебя одного... Нет, нет! Пронзенные руки и ноги? Кровь? Тьма? Я хочу солнца, солнца!.. Зачем Ты застилаешь солнце?..

Наступил самый тихий и темный час ночи.

Легионы вернулись в лагерь. Победа не радовала их. Несмотря на усталость, почти никто не спал. Ждали известий из императорской палатки. Многие, стоя у потухающих костров и опираясь одной рукой на длинные копья, дремали в изнеможении. Слышно было, как стреноженные лошади, тяжело вздыхая, жуют овес.

Между темными шатрами выступили на краю неба беловатые полосы. Звезды сделались дальше и холоднее. Повеяло сыростью. Сталь копий и медь щитов потускнели от серого, как паутина, налета росы. Пропели петухи этрусских гадателей, вещие птицы, которых жрецы не утопили, несмотря на повеление августа. Тихая грусть была на земле и на небе. Все казалось призрачным — близкое далеким, далекое близким.

У входа в палатку кесаря толпились друзья, военачальники, приближенные; в сумерках казались они друг другу бледными тенями.

В шатре царствовало еще более торжественное безмолвие. С однообразным звоном врач Орибазий толок в медной ступе лекарственные травы для освежающего напитка.

Больной успокоился; бред затих.

На рассвете в последний раз пришел он в себя и спросил с нетерпением:

— Когда же солнце?..

— Через час, — ответил Орибазий, взглянув на уровень воды в стеклянных стенках водяных часов.

— Позовите военачальников,— приказал Юлиан.— Я должен говорить.

— Милостивый кесарь, тебе нужен покой,— заметил врач.

— Все равно. До восхода не умру.— Виктор, выше голову... Так. Хорошо.

Ему рассказали о победе над персами, о бегстве предводителя вражеской конницы, Мерана, с двумя сыновьями царя, о гибели пятидесяти сатрапов. Он не удивился, не обрадовался; лицо его осталось безучастным.

Вошли приближенные: Дагалаиф, Гормизда, Невитта, Аринфей, . Люциллиан, префект Востока — Саллюстий; впереди шел комес Иовиан. Многие, делая предположения о будущем, высказывали желание видеть на престоле этого слабого боязливого человека, никому не опасного. При нем надеялись отдохнуть от тревог слишком бурного царствования. Иовиан обладал искусством угождать всем. Он был высок и благообразен, с лицом незначительным, исчезающим в толпе. Он имел сердце добродетельное и ничтожное.

Здесь же, среди приближенных, находился молодой центурион придворных щитоносцев, будущий историк Аммиан Марцеллин. Все знали, что он ведет дневник похода. Войдя в палатку, Аммиан вынул навощенные дощечки и медный стилос. Он приготовился записывать предсмертную речь императора.

— Подымите завесу,— приказал Юлиан.

Покров на дверях откинули. Все расступились. Утренний холод повеял в лицо умирающему. Дверь выходила на восток. Недалеко был обрыв; ничто не заслоняло неба. Юлиан увидел светлые облака, еще холодные, прозрачные, как лед. Он вздохнул и сказал:

— Так. Хорошо. Погасите лампаду...

Огонь потушили; палатку наполнил сумрак.

Все ждали молча.

— Слушайте, друзья мои,— начал кесарь предсмертную речь; он говорил тихо, но внятно; лицо было спокойно.

Аммиан Марцеллин записывал.

— Слушайте, друзья,— мой час пришел, быть может, слишком ранний: но видите,— я радуюсь, как верный должник, возвращая природе жизнь,— и нет в душе моей ни скорби, ни страха; в ней только тихое веселие мудрых, предчувствие вечного отдыха. Я исполнил долг и, вспоминая прошлое, не раскаиваюсь. В те дни, когда, всеми го-

нимый, ожидал я смерти в пустыне Каппадокии, в замке Мацеллуме, и потом, на вершине величия, под пурпуром римского кесаря,— сохранил я душу мою незапятнанной, стремясь к высоким целям. Если же не исполнил всего, что хотел,— не забывайте, люди, что делами земными управляют силы рока.— Ныне благословляю Вечного за то, что дал Он мне умереть не от медленной болезни, не от руки палача или злодея, а на поле битвы, в цвете юности, среди недоконченных подвигов...

...Расскажите, возлюбленные, врагам и друзьям моим, как умирают эллины, укрепляемые древнею мудростью.

Он умолк. Все опустились на колени. Многие плакали.

— О чем вы, бедные? — спросил Юлиан с улыбкой.— Непристойно плакать о том, кто возвращается на родину... Виктор, утешься!..

Старик хотел ответить, но не мог, закрыл лицо руками и зарыдал еще сильнее.

— Тише, тише,— произнес Юлиан, обращая взор на далекое небо.— Вот оно!..

Облака загорелись. Сумрак в палатке сделался янтарным, теплым. Блеснул первый луч солнца. Умирающий обратил к нему лицо свое.

Тогда префект Востока, Саллюстий Секунд, приблизившись, поцеловал руку Юлиана:

— Блаженный август, кого назначаешь наследником?

— Все равно,— отвечал император.— Судьба решит. Не должно противиться. Пусть галилеяне торжествуют. Мы победим — потом, и — с нами солнце! — Смотрите, вот оно, вот оно!..

Слабый трепет пробежал по всему телу его, и с последним усилием поднял он руки, как будто хотел устремиться навстречу солнцу. Черная кровь хлынула из раны; жилы, напрягаясь, выступили на висках и на шее.

— Пить, пить! — прошептал он, задыхаясь.

Виктор поднес к его губам глубокую чашу, золотую, сиявшую, наполненную до краев чистой родниковой водой. Юлиан смотрел на солнце и медленно, жадными глотками пил воду, прозрачную, холодную, как лед.

Потом голова его откинулась. Из полуоткрытых губ вырвался последний вздох, последний шепот:

— Радуйтесь!.. Смерть — солнце... Я — как ты, о, Гелиос!..

Взор его потух. Виктор закрыл ему глаза.

Лицо императора, в сиянии солнца, было похоже на лицо уснувшего бога.

XX

Прошло три месяца после заключения императором Иовианом мира с персами.

В начале октября римское войско, истощенное голодом и бесконечными переходами по знойной Месопотамии, вернулось в Антиохию.

Во время пути, трибун щитоносцев, Анатолий подружился с молодым историком Аммианом Марцеллином. Друзья решили ехать в Италию, в уединенную виллу около Бай, куда приглашала их Арсиноя, чтобы отдохнуть от трудного похода и полечиться от ран в серных источниках.

Проездом остановились они на несколько дней в Антиохии.

Ожидались великолепные торжества в честь вступления на престол Иовиана и возвращения войска. Мир, заключенный с царем Сапором, был позорным для Империи: пять богатых римских провинций по ту сторону Тигра, в том числе Кордуэна и Регимэна, пятнадцать пограничных крепостей, города Сингара, Кастра-Мауророрум и неприступная древняя твердыня Низиб, выдержавшая три осады, переходили в руки Сапора.

Но галилеяне мало думали о поражении Рима. Когда в Антиохию пришло известие о смерти Юлиана Отступника, запуганные граждане сперва не поверили, боясь, что это сатанинская хитрость, новая сеть для уловления праведных; но поверив, обезумели от радости.

Ранним утром шум праздника, крики народа ворвались сквозь плотно запертые ставни в полутемную спальню Анатолия. Он решил целый день просидеть дома. Ликование черни было ему противно. Старался опять уснуть, но не мог. Странное любопытство овладело им. Он быстро оделся, ничего не сказал Аммиану и вышел на улицу.

Был свежий, но не холодный, солнечный осенний день. Большие круглые облака на темно-голубом небе сливались с белым мрамором бесконечных антиохийских колоннад и портиков. На углах, рынках и форумах шумели фонтаны. В солнечно-пыльной дали улиц видно было, как широкие струи городских водопроводов скрещиваются подвижными хрустальными нитями. Голуби, воркуя, клевали рассыпанный ячмень. Пахло цветами, ладаном из открытых настежь церквей, мокрой пылью. Смуглые девушки, пересмеиваясь, окропляли из прозрачных водоемов корзины бледных октябрьских роз и потом, с радостным пением псалмов, обвивали гирляндами столбы христианских базилик.

Толпа с немолчным гулом и говором наполняла улицы; медленным рядом двигались по великолепной антиохийской мостовой — гордости городского совета декурионов — колесницы и носилки.

Слышались восторженные крики:

— Да здравствует Иовиан август, блаженный, великий!

Иные прибавляли: «победитель», но неуверенно, потому что слово «победитель» слишком отзывалось насмешкой.

Тот самый уличный мальчик, который некогда марал углем на стенах карикатуры Юлиана, хлопал в ладоши, свистел, подпрыгивал, валялся в пыли, как воробей, и выкрикивал пронзительно:

— Погиб, погиб сей дикий вепрь, опустошитель вертограда Божьего!

Он повторял эти слова за старшими.

Сгорбленная старуха в отрепьях, ютившаяся в грязном предместьи, в сырой щели, как мокрица, тоже выползла на солнце, радуясь празднику. Она махала и вопила дребезжащим голосом:

— Погиб Юлиан, погиб злодей!

Веселие праздника отражалось и в широко открытых удивленных глазах грудного ребенка, которого держала на руках смуглая исхудалая поденщица с фабрики пурпура; мать дала ему медовый пирожок; видя пестрые одежды на солнце, он махал с восторгом ручками и вдруг, быстро отвертывая свое пухлое грязное личико, обмазанное медом, плутовато посмеивался, как будто все отлично понимал, только не хотел сказать. А мать думала с гордостью, что умный мальчик разделяет веселие праведных о смерти Отверженного.

Бесконечная грусть была в сердце Анатолия.

Но он шел дальше, увлекаемый все тем же странным любопытством.

По улице Сингон приблизился он к соборной базилике. На паперти, залитой ярким солнцем, была еще большая давка. Он увидел знакомое лицо чиновника квестуры, Марка Авзония, выходившего из базилики в сопровождении двух рабов, которые локтями прочищали путь в толпе.

«Что это? — удивился Анатолий.— Как попал в церковь этот ненавистник галилеян?»

Кресты, шитые золотом, виднелись на лиловой хламиде Авзония и даже на передках кожаных пунцовых туфель.

Юний Маврик, другой знакомый Анатолия, подошел к Авзонию:

— Как поживаешь, достопочтенный? — спросил Маврик, с притворным насмешливым удивлением, осматривая новый христианский наряд чиновника.

Юний был человек свободный, довольно богатый, и переход в христианство не представлял для него особенной выгоды. Внезапному обращению своих друзей-чиновников ничуть не удивлялся он, но ему нравилось при каждой встрече дразнить их расспросами, принимая вид человека оскорблённого, скрывающего свое негодование под личиной насмешки.

Толпа входила в двери церкви. Паперть опустела. Друзья могли беседовать свободно. Анатолий, стоя за колонной, слышал разговор.

— Зачем же не достоял ты до конца службы? — спросил Маврик.

— Сердцебиение. Душно. Что же делать,— не привык...

И прибавил задумчиво:

— Странный слог у этого нового проповедника: гиперболы слишком действуют на меня — точно железом проводит по стеклу... странный слог!

— Это, право, трогательно,— злорадствовал Маврик.— Всему изменил, ото всего отрекся, а хороший слог...

— Нет, нет, я, может быть, еще просто во вкус не вошел,— перебил его, спохватившись, Авзоний.— Ты не думай, пожалуйста, Маврик, я ведь искренне...

Из глубоких носилок медленно вылезла, кряхтя и охая, жирная туша квестора Гаргилиана:

— Кажется, опоздал?.. Ничего,— в притворе постою. Бог есть Дух, обитающий...

— Чудеса! — смеялся Маврик.— Св. Писание в устах Гаргилиана!..

— Христос да помилует тебя, сын мой! — обратился к нему Гаргилиан невозмутимо,— чего это ты все язвишь, все ехидничаешь?

— Опомниться не могу. Столько обращений, столько превращений! Я, например, всегда полагал, что уж твои верования...

— Какой вздор, милый мой! У меня одно верование, что галилейские повара нисколько не хуже эллинских. А постные блюда — объедение. Приходи ужинать, философ! Я тебя скоро обращу в свою веру. Пальчики оближешь.— Не все ли равно, друзья мои, съесть хороший обед в честь бога Меркурия или в честь святого Меркурия.

Предрассудки! Чем, спрашивается, мешает вот эта хорошенькая вещица?

И он указал на скромный янтарный крестик, болтавшийся среди надушенных складок драгоценного аметистового пурпура на его величественном брюхе.

— Смотрите, смотрите: Гекеболий, великий жрец богини Астарты Диндимены — кающийся иерофант в темных галилейских одеждах. О, зачем тебя здесь нет, певец метаморфоз?! — торжествовал Маврик, указывая на благообразного старика, умащенного сединами, с тихой важностью на приятном розовом лице, сидевшего в полузакрытых носилках.

— Что он читает?

— Уж конечно не правила Пессинунтской Богини!

— Смирение-то, святость! Похудел от поста. Смотрите, возводит очи, вздыхает.

— А слышали, как обратился? — спросил квестор с веселой улыбкой.

— Должно быть, пошел к императору Иовиану, как некогда к Юлиану, и покаялся?

— О, нет, все было сделано по-новому. Неожиданно. Покаяние всенародное. Лег на землю в дверях одной базилики, из которой выходил Иовиан, среди толпы народа и закричал громким голосом: «топчите меня, гнусного, топчите соль непотребную!» И со слезами целовал ноги проходящим.

— Да, это по-новому! Ну, и что же, понравилось?

— Еще бы! Говорят, было свидание с императором наедине. О, такие люди не горят, не тонут. Все им в пользу. Скинет старую шкуру — помолодеет. Учитесь, дети мои!

— Ну, а что бы такое он мог сказать императору?

— Мало ли что! — вздохнул Гаргилиан, не без тайной зависти.— Он мог шепнуть: крепче держись христианства, да не останется в мире ни одного язычника: правая вера есть утверждение престола твоего. Теперь перед ним дорога прямая. Куда лучше, чем при Юлиане. Не угонишься. Премудрость!

— Ой, ой, ой, благодетели, заступитесь, помилуйте! Исторгните смиреннейшего раба Цикумбрика из пасти львиной!

— Что с тобой? — спросил Гаргилиан кривоногого чахоточного сапожника с добрым, растерянным лицом, с неуклюже торчавшими клоками седых волос. Его вели два тюремных римских копьеносца.

— В темницу влекут!

— За что?

— За разграбление церкви.

— Как? Неужели ты?..

— Нет, нет, я только в толпе, может быть, раза два крикнул: бей! Это было еще при августе Юлиане. Тогда говорили: кесарю угодно, чтобы мы разрушали галилейские церкви. Мы и разрушали. А теперь донесли, будто я серебряную рипиду из алтаря под полою унес. Я и в церкви-то не был; только с улицы два раза крикнул: бей! Я человек смирный. Лавчонка у меня дрянная, да на людном месте,— если драка, непременно затащат. Разве я для себя? Мне что?.. Я думал, приказано. Ой, защитите, отцы, помилуйте!..

— Да ты кто, христианин или язычник? — спросил Юний.

— Не знаю, благодетели, сам не знаю! До императора Константина приносил я жертвы богам. Потом крестили. При Констанции сделался арианином. Потом эллины вошли в силу, Я — к эллинам. А теперь опять, видно, по-старому. Хочу покаяться, в церковь арианскую вернуться. Да боюсь, как бы не промахнуться. Разрушал я капища идольские, потом восстановлял и вновь разрушал. Все перепуталось! Сам не разберу, что я и что со мной. Покорен властям, а ведь вот никак в истинную веру попасть не могу. Все мимо! Либо рано, либо поздно. Только вижу, нет мне покоя,— или так уж на роду написано? Бьют за Христа, бьют за богов. Деток жаль!.. Ой, защитите, благодетели, освободите Цикумбрика, раба смиреннейшего!

— Не бойся, любезный,— произнес Гаргилиан с улыбкой,— мы тебя освободим. Похлопочем. Ты еще мне такие славные полусапожки сшил, со скрипом.

Цикумбрик упал на колени, простирая с надеждой руки, отягченные цепями.

Немного успокоившись, он взглянул на покровителей робко, исподлобья, и спросил:

— Ну, а как же теперь насчет веры, благодетели?.. Покаяться и уж твердо стоять до конца? Значит, перемены не будет? А то боюсь, что снова...

— Нет, нет, успокойся,— засмеялся Гаргилиан,— теперь уж кончено: перемены не будет!

Анатолий, не замеченный друзьями, вошел в церковь. Ему хотелось послушать знаменитого молодого проповедника Феодорита.

На колеблющихся волнах фимиама голубоватыми снопами дрожали косые лучи солнца, проникая сквозь узкие верхние окна огромного купола, подобного золотому небу, символу миродержавной Церкви Вселенной.

Один луч упал на огненную рыжую бороду проповедника, стоявшего на высоком амвоне. Он поднял исхудалые бледные руки, почти сквозившие, как воск, на солнце; глаза горели радостью; голос гремел.

— Я хочу начертать на позорном столбе повесть о Юлиане злодее, богоотступнике! Да прочтут мою надпись все века и все народы, да ужаснутся справедливости гнева Господня! Поди сюда, поди, мучитель, змий великомудрый! Ныне надругаемся мы над тобою! Соединимся духом, братья, и возликуем, и ударим в тимпаны и воспоем победную песнь Мариам во Израиле о потоплении египтян в Чермном море! Да веселится пустыня и да цветет, яко крин, да веселится Церковь, которая вчера и за день, по-видимому, вдовствовала и сиротствовала!.. Видите: от удовольствия делаюсь, как пьяный, как безумный!.. Какой голос, какой дар слова будет соразмерен чуду сему?.. Где твои жертвы, обряды и таинства, император? Где заклинания и знамения чревовещателей? Где искусство гадать по рассеченным внутренностям живых людей? Где слава Вавилона? Где персы и мидяне? Где боги, тебя сопровождающие, тобой сопровождаемые, твои защитники, Юлиан? Все исчезло, обмануло, рассеялось!

— Ах, душечка, какая борода! — заметила шепотом на ухо подруге престарелая нарумяненная матрона, стоявшая рядом с Анатолием.— Смотри, смотри, золотом отливает!..

— Да, но зубы?..— усомнилась подруга.

— Ну, что же, зубы? При такой бороде...

— Ах, нет, нет, Вероника, как можно, не говори этого! Зубы тоже что-нибудь да значат. Можно ли сравнить брата Феофания?..

Феодорит гремел:

— Сокрушил Господь мышцы беззаконного! Вотще Юлиан возрастил в себе нечестие, подобно тому, как самые злые из пресмыкающихся и зверей собирают яд в своем теле. Бог ожидал, пока выйдет наружу вся злоба его, подобно некоему злокачественному вереду...

— Как бы в цирк не опоздать,— шептал другой сосед Анатолия, ремесленник, на ухо товарищу.— Говорят — медведицы. Из Британии.

— Ну, что ты? Неужели — медведицы?

— Как же! Одну зовут Золотая Искорка, другую Невинность. Человечьим мясом кормят. И еще ведь гладиаторы!..

— Господи Иисусе! Еще гладиаторы! Только бы не прозевать. Все равно, не дождемся конца. Улизнем, брат, поскорее, а то места займут.

Теперь Феодорит прославлял Юлианова предшественника, Констанция, за христианские добродетели, за чистоту нравов, за любовь к родным.

Анатолию сделалось душно в толпе. Он вышел из церкви и с удовольствием вдохнул свежий воздух, не пахнувший ладаном и гарью лампад, взглянул на чистое небо, не заслоненное золоченым куполом.

В притворах разговаривали громко, не стесняясь. В толпе распространилась важная весть: сейчас повезут по улицам в железной клетке двух медведиц в амфитеатр. Услышавшие новость выбегали из церкви стремительно, с озабоченными лицами.

— Что? Как? Не опоздали? Неужели правда — Золотая Искорка больна?

— Вздор! Это у Невинности было ночью расстройство желудка. Объелась. Теперь прошло. Здоровехоньки обе.

— Слава богу, слава богу!

Как ни сладостно было красноречие Феодорита, оно не могло победить соблазна гладиаторских игр и британских медведиц.

Церковь пустела. Анатолий увидел, как со всех концов города, из всех покинутых базилик, по улицам, переулкам и площадям бежали запыхавшиеся люди по направлению к цирку; сшибали друг друга с ног, ругались, давили детей, перескакивали через упавших женщин, роняли сандалии и неслись дальше; на потных красных лицах был такой страх опоздать, как будто дело шло о спасении жизни.

И два нежных имени порхали из уст в уста, как сладкие обещания неведомых радостей:

— Золотая Искорка! Невинность!

Анатолий вошел за толпою в амфитеатр.

По римскому обычаю, велариум, окропленный духами, защищал народ от солнца, распространяя свежие алые сумерки. Многоголовая толпа уже волновалась по нисходящим круглым ступеням.

Перед началом игр в императорскую ложу высшие антиохийские сановники внесли бронзовую статую Иовиана, чтобы народ мог насладиться лицезрением нового кесаря.

В правой руке держал он шар земной, увенчанный крестом. Ослепительный луч солнца проник между пурпурными полотнищами велариума и упал на чело императора; оно засверкало, и толпа увидела на бронзовом плоском лице самодовольную улыбку. Чиновники целовали ноги кумира. Чернь ревела от восторга:

— Слава, слава спасителю отечества, августу Иовиану! Погиб Юлиан, наказан дикий вепрь, опустошитель вертограда Божьего!

Бесчисленные руки махали в воздухе разноцветными платками и поясами.

Чернь приветствовала в Иовиане свое отражение, свой дух, свой образ, воцарившийся в мире.

Издеваясь над усопшим императором, толпа обращалась к нему, как будто он присутствовал в амфитеатре и мог слышать:

— Ну, что, философ? Не помогла тебе мудрость Платона и Хризиппа, не защитили тебя ни Громовержец, ни Феб Дальномечущий! Попал дьяволам в когти,— да растерзают они богохульника! Где твои предсказания, глупый Максим? — Победил Христос и Бог его! Победили мы, смиренные!

Все были уверены, что Юлиан пал от руки христианина, благодарили Бога за «спасительный удар» и прославляли цареубийцу.

Когда же увидели смуглое тело гладиаторов под когтями Золотой Искорки и Невинности,— толпой овладела ярость. Глаза расширялись и не могли насытиться видом крови. На рев звериный народ ответил еще более диким человеческим ревом. Христиане пели хвалу Богу, как будто теперь только увидели торжество своей веры:

— Слава императору, благочестивому Иовиану! Христос победил, Христос победил!..

Анатолий с отвращением чувствовал зловонное дыхание черни — запах людского стада. Зажмурив глаза, стараясь не дышать, выбежал на улицу, вернулся домой, запер двери, плотно закрыл ставни, бросился на постель и так пролежал, не двигаясь, до позднего вечера.

Но от черни не было спасения.

Только что стемнело, вся Антиохия озарилась огнями. На углах базилик и высоких крышах государственных зданий дымились громадные светочи, раздуваемые ветром; на улицах коптили плошки. И в комнату Анатолия сквозь щели ставен проникло зарево огней, зловоние горящего дегтя и сала. Из соседних кабаков слышались пьяные пес-

ни солдат и матросов, хохот, визг, брань уличных блудниц, и надо всем, подобно шуму вод, носилось немолчное славословие Иовиану Спасителю, анафема Юлиану Отступнику.

Анатолий, с горькой усмешкой, подымая руки к небу, воскликнул:

— Воистину, Ты победил, Галилеянин!

XXI

Это была большая торговая трирема с азиатскими коврами и амфорами оливкового масла, совершавшая плавание от Селевкии Антиохийской к берегам Италии. Между островами Эгейского архипелага направлялась она к острову Криту, где должна была взять груз шерсти и высадить нескольких монахов в уединенную обитель на морском берегу. Старцы, находившиеся на передней части палубы, проводили дни в благочестивых беседах, молитвах и обычной монастырской работе — плетении корзин из пальмовых ветвей.

На противоположной стороне, у кормы, украшенной дубовым изваянием Афины Тритониды, под легким навесом из фиолетовой ткани для защиты от солнца, приютились другие путешественники, с которыми монахи не имели общения, как с язычниками: то были Анатолий, Аммиан Марцеллин и Арсиноя.

Был тихий вечер. Гребцы, александрийские невольники, с бритыми головами, мерно опускали и подымали длинные гибкие весла, распевая унылую песню. Солнце заходило за тучи.

Анатолий смотрел на волны и припоминал слова Эсхила о «многосмеющемся море». После суеты, пыли и зноя антиохийских улиц, после зловонного дыхания черни и копоти праздничных плошек, отдыхал он, повторяя:

— Многосмеющееся, прими и очисти душу мою!..

Калимнос, Аморгос, Астифалея, Фера — как видения, один за другим, выплывали перед ними острова, то подымаясь над морем, то вновь исчезая, как будто вокруг горизонта сестры-океаниды плясали свою вечную пляску. Анатолию казалось, что здесь еще не прошли времена Одиссеи.

Спутники не нарушали молчаливых грез его. Каждый был погружен в свое дело. Аммиан приводил в порядок записки о персидском походе, о жизни императора Юлиана, а по вечерам, для отдыха, читал знаменитое творение

христианского учителя, Климента Александрийского,— Стромата, *Пестрый ковер.*

Арсиноя лепила из воска маленькие изваяния, подготовительные опыты для большого, мраморного.

Это было обнаженное тело олимпийского бога, с лицом, полным неземной печали; — Анатолий хотел и все не решался спросить ее: кто это, Дионис или Христос?

Арсиноя давно покинула монашеские одежды. Благочестивые люди отворачивались от нее с презрением, называли Отступницей. Но от преследований избавляло ее славное имя предков и память о щедрых вкладах, которыми некогда почтила она многие христианские обители. Из прежнего богатства ее оставалась небольшая часть, но и этого было довольно, чтобы жить безбедно.

На берегу Неаполитанского залива, недалеко от Бай, сохранилось у нее маленькое поместье с той самой виллой, в которой Мирра провела последние дни свои. Здесь Арсиноя, Анатолий и Марцеллин согласились отдохнуть от последних тревожных годов своей жизни, в сельской тишине и в служении музам.

Бывшая монахиня носила теперь почти такую же одежду, как и до пострижения: простые складки пеплума делали ее снова похожей на древнюю афинскую девушку; но цвет ткани был темный, и бледное золото кудрей только слабо мерцало сквозь такую же темную дымку, накинутую на голову; в тускло-черных, никогда не смеявшихся глазах было строгое, почти суровое спокойствие; только руки, обнаженные по самые плечи, из-под складок пеплума сверкали белизной, когда художница работала, нетерпеливо, точно со злобою, мяла и комкала воск. Анатолий чувствовал смелость и силу в этих белых, как будто злых, руках.

В тот тихий вечер корабль проходил мимо маленького острова.

Никто не знал его имени; издали казался он голым утесом. Чтобы избегнуть подводных камней, корабль должен был пройти очень близко от берега. Здесь, вокруг обрывистого мыса, море было так прозрачно, что можно было видеть на дне серебристо-белый песок с черными пятнами мхов.

Из-за темных скал выступили тихие зеленые лужайки. Там паслись козы и овцы. Посередине мыса рос платан. Анатолий заметил на мшистых корнях его отрока и девушку; то были, дожно быть, дети бедных пастухов. За ними, в кипарисовой роще, белел мраморный Пан с девятиствольною флейтою.

Анатолий обернулся к Арсиное, указывая на этот мирный уголок Эллады. Но слова замерли на губах его: пристально, с улыбкой странного веселья, смотрела художница на вылепленное ею из воска маленькое изваяние — двусмысленный и соблазнительный образ, с прекрасным олимпийским телом, с неземной грустью в лице.

Сердце Анатолия сжалось. Он спросил ее отрывисто, почти злобно, указывая на изваяние:

— Кто это?

Медленно, как будто с усилием, подняла она глаза свои — «такие глаза должны быть у Сибиллы»,— подумал он.

— Ты надеешься, Арсиноя,— продолжал Анатолий,— что люди поймут тебя?

— Не все ли равно? — проговорила она тихо, с печальной улыбкой.

И помолчав,— еще тише, как будто про себя:

— Он должен быть неумолим и страшен, как Митра— Дионис в славе и силе своей, милосерд и кроток как Иисус Галилеянин...

— Что ты говоришь? Разве это может быть вместе?

Солнце опускалось все ниже. Под ним, на краю неба лежала туча. Последние лучи, с грустью и нежностью, озаряли остров. Теперь отрок с девушкой подошли к жертвеннику Пана, чтобы совершить возлияние вечернее.

— Ты думаешь, Арсиноя,— сказал Анатолий,— неведомые братья снова подымут упавшую нить нашей жизни и пойдут по ней дальше? Ты думаешь, не все погибнет в этой варварской тьме, сходящей на Рим и Элладу? О, если бы так, если бы знать, что будущее...

— Да,— воскликнула Арсиноя, и суровые темные глаза ее загорелись вещим огнем.— Будущее в нас — в нашей скорби! Юлиан был прав: в бесславии, в безмолвии, чуждые всем, одинокие, должны мы терпеть до конца; должны спрятать в пепел последнюю искру, чтобы грядущим поколениям было чем зажечь новые светочи. С того, чем мы кончаем, начнут они. Когда-нибудь люди откопают святые кости Эллады, обломки божественного мрамора и снова будут молиться и плакать над ними; отыщут в могилах истлевшие страницы наших книг, и снова будут, как дети, разбирать по складам древние сказания Гомера, мудрость Платона. Тогда воскреснет Эллада — и с нею мы!

— И вместе с нами — наша скорбь! — воскликнул Анатолий.— Зачем? Кто победит в этой борьбе? Когда она кончится? Отвечай, сивилла, если можешь!

Арсиноя молчала, потупив глаза; наконец, взглянула на Аммиана и указала на него Анатолию:

— Вот кто лучше меня ответит тебе. Он так же страдает, как мы. А между тем не утратил ясности духа. Видишь, как спокойно и разумно он слушает.

Аммиан Марцеллин, отложив творения Климента, прислушивался к разговору их молча.

— В самом деле,— обратился к нему Анатолий, со своей обычной, немного легкомысленной улыбкой,— вот уже более четырех месяцев, как мы с тобой друзья, а между тем я до сих пор не знаю, кто ты — христианин или эллин?

— Я и сам не знаю,— ответил Аммиан просто.

— Но как же хочешь ты писать свою Летопись Римской Империи? — допрашивал Анатолий.— Какая-нибудь чаша весов — христианская или эллинская — должна перевесить. Или оставишь ты потомков в недоумении о твоих верованиях?

— Им этого не нужно знать,— ответил историк.— Быть справедливым к тем и другим — вот моя цель. Я любил императора Юлиана; но не опустится и для него в руках моих чаша весов. Пусть в грядущем никто не решит, кем я был,— как я сам не решаю.

Анатолий имел уже случай видеть изящную вежливость Аммиана, его нетщеславную и неподдельную храбрость на войне, спокойную верность в дружбе; теперь он любовался в нем новой чертой — глубокой ясностью ума.

— Да, ты рожден историком, Аммиан, бесстрастным судиею нашего страстного века. Ты примиришь две враждующих мудрости,— проговорила Арсиноя.

— Не я первый,— возразил Аммиан.

Он встал, указывая на пергаментные свитки творений великого христианского учителя:

— Здесь все это есть, и еще многое, лучшее,— чего я не сумею сказать; это *Стромата* Климента Александрийского. Он доказывает, что вся сила Рима, вся мудрость Эллады только путь к учению Христа; только предзнаменования, предчувствия, намеки; широкие ступени, Пропилеи, ведущие в Царствие Божие. Платон — предтеча Иисуса Галилеянина.

Эти последние слова об учении Климента, сказанные Аммианом так просто, поразили Анатолия: как будто вдруг вспомнил он, что все это уже когда-то было, все до последней мелочи: и остров, озаренный вечерним солнцем, и крепкий, приятный запах корабельной смолы, и неожиданные простые слова о Платоне — предтече Иисуса. Ему почудилась широкая лестница, мраморная, белая, залитая солнцем, многоколонная, как Пропилеи в Афинах, ведущая прямо в голубое небо.

Между тем трирема медленно огибала мыс. Кипарисовая роща почти скрылась за утесами. Анатолий кинул последний взгляд на юношу, стоявшего рядом с девушкой перед изваянием Пана; она склонила над жертвенником простую деревянную чашу, принося вечерний дар богу — козье молоко, смешанное с медом; пастух приготовился играть на флейте. Трирема въезжала в открытое море. Все исчезло за выступом берега. Только струйки жертвенного дыма подымались прямо над рощей.

На небе, на земле и на море наступила тишина.

И в тишине вдруг послышались медленные звуки церковного пения: это старцы-отшельники, на передней части корабля, пели хором вечернюю молитву.

В это же мгновение по недвижимой поверхности моря пронеслись иные звуки: мальчик-пастух играл на флейте вечерний гимн богу Пану. Сердце Анатолия дрогнуло от изумления и радости.

— Да будет воля Твоя на земле, как на небе,— пели монахи.

И высоко под самое небо возносились чистые звуки пастушьей свирели, смешиваясь со словами молитвы Господней.

Последний луч солнца потух на камнях блаженного острова. Теперь снова казался он мертвой скалой среди моря. Оба гимна умолкли вместе.

Ветер шумел в снастях. Подымались волны. Гальциона жалобно стонала. Побежали тени от Запада, и море потемнело. Туча росла. Доносились глухо первые раскаты грома. Надвигались ночь и буря.

Но в сердце Анатолия, Аммиана и Арсинои, как незаходящее солнце, уже было великое веселие Возрождения.

II

ВОСКРЕСШИЕ БОГИ

(ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ)

ПЕРВАЯ КНИГА

БЕЛАЯ ДЬЯВОЛИЦА

I

Во Флоренции, рядом с каноникой Орсанмикеле, находились товарные склады цеха красильщиков.

Неуклюжие пристройки, клетки, неровные выступы на косых деревянных подпорах лепились к домам, сходясь вверху черепичными кровлями так близко, что от неба оставалась лишь узкая щель, и на улице, даже днем, было темно. У входа в лавки висели на перекладинах образчики тканей заграничной шерсти, крашенной во Флоренции. В канаве посередине улицы, мощенной плоскими камнями, струились разноцветные жидкости, выливаемые из красильных чанов. Над дверями главных складов — фондаков виднелись щиты с гербом Калималы, цеха красильщиков: в алом поле золотой орел на круглом тюке белой шерсти.

В одном из фондаков сидел, окруженный торговыми записями и толстыми счетными книгами, богатый флорентинский купец, консул благородного искусства Калималы — мессер Чиприано Буонаккорзи.

В холодном свете мартовского дня, в дыхании сырости, веявшей из подвалов, загроможденных товарами, старик зяб и кутался в облезлую беличью шубу с истертыми локтями. Гусиное перо торчало у него за ухом, и слабыми, близорукими, но всевидящими глазами он просматривал, как будто небрежно, на самом деле внимательно, пергаментные листки громадной счетной книги, страницы, разделенные продольными и поперечными графами: справа «дать», слева — «иметь». Записи товаров сделаны были ровным круглым почерком, без прописных букв, без точек и запятых, с цифрами римскими, отнюдь не арабскими, считавшимися легкомысленным новшеством, непристойным для деловых книг. На первой странице было написано большими буквами:

«Во имя Господа нашего Иисуса Христа и Приснодевы Марии счетная книга сия начинается лета от Рождества Христова тысяча четыреста девяносто четвертого».

Окончив просмотр последних записей и тщательно исправив ошибку в числе принятых под залог шерстяного товара лаштов продолговатого стручкового перцу, меккского имбирю и вязок корицы, мессер Чиприано с усталым видом откинулся на спинку стула, закрыл глаза и начал обдумывать деловое письмо, которое предстояло ему послать главному приказчику на суконную ярмарку во Франции, в Монпелье.

Кто-то вошел в лавку. Старик открыл глаза и увидел своего мызника, поселянина Грилло, который снимал у него пахотную землю и виноградники на подгорной вилле Сан-Джервазио, в долине Муньоне.

Грилло кланялся, держа в руках корзину с яйцами, старательно переложенными соломою. У пояса его болтались два живых молоденьких петушка на связанных лапках, хохолками вниз.

— А, Грилло! — молвил Буонаккорзи со свойственной ему любезностью, одинаковой в обращении с малыми и великими.— Как Господь милует? Кажется, нынче весна дружная?

— Нам, старикам, мессере Чиприано, и весна не в радость: кости ноют — в могилу просятся.

— Вот к Светлому празднику,— прибавил он, помолчав,— яичек да петушков вашей милости принес.

Грилло с хитрой ласковостью щурил свои зеленоватые глазки, собирая вокруг них мелкие загорелые морщины, какие бывают у людей, привыкших к солнцу и ветру.

Буонаккорзи, поблагодарив старика, начал расспрашивать о делах.

— Ну, что, готовы ли работники на мызе? Успеем ли кончить до свету?

Грилло тяжело вздохнул и задумался, опираясь на палку, которую держал в руках.

— Все готово, и работников довольно. Только вот что я вам доложу, мессере: не лучше ли подождать?

— Ты же сам, старик, намедни говорил, что ждать нельзя,— может кто-нибудь раньше догадаться.

— Так-то оно так, а все-таки страшно. Грех! Дни нынче святые, постные, а дело наше неладное...

— Ну, грех я на свою душу беру. Не бойся, я тебя не выдам.— Только найдем ли что-нибудь?

— Как не найти! На то приметы есть. Отцы и деды знали о холме за мельницей у Мокрой Лощины. По ночам на Сан-Джиованни огоньки бегают. И то сказать: у нас этой дряни всюду много. Вот, говорят, недавно, как рыли колодец в винограднике у Мариньолы, целого черта вытащили из глины...

— Что ты говоришь? Какого черта?

— Медного, с рогами. Ноги шершавые, козлиные,— на концах копыта. А рыльце забавное,— точно смеется; на одной ноге пляшет, пальцами прищелкивает. От старости весь позеленел, замшился.

— Что же с ним сделали?

— Колокол отлили для новой часовни Архангела Михаила.

Мессер Чиприано едва не рассердился:

— Зачем же ты об этом раньше не сказал мне, Грилло?

— Вы в Сиену по делам уезжали.

— Ну, написал бы. Я бы прислал кого-нибудь. Сам приехал бы, никаких денег не пожалел бы, десять колоколов отлил бы им. Дураки! Колокол — из пляшущего Фавна,— быть может, древнего эллинского ваятеля Скопаса...

— Да, уж подлинно — дураки. Только не извольте гневаться, мессер Чиприано. Они и так наказаны: с тех пор, как новый колокол повесили, два года червь в садах яблоки и вишни ест, да на оливы неурожай. И голос у колокола нехороший.

— Почему же нехороший?

— Как вам сказать? Настоящего звука нет. Сердца христианского не радует. Так что-то болтает без толку. Дело известное: какой же из черта колокол! Не во гнев будь сказано вашей милости, мессере, священник-то, пожалуй, прав: из всей этой нечисти, что выкапывают, ничего доброго не выходит. Тут надо вести дело с осторожностью, с оглядкою. Крестом и молитвою ограждаться, ибо силен дьявол и хитер, собачий сын,— в одно ухо влезет, в другое вылезет! Вот хотя бы с этой мраморной рукой, что в прошлом году Дзакелло у Мельничного Холма вырыл,— попутал нас нечистый, нажили мы с ней беды, не дай Бог,— и вспомнить страшно.

— Расскажи-ка, Грилло, как ты нашел ее?

— Дело было осенью, накануне св. Мартина. Сели мы ужинать, и только что хозяйка поставила на стол тюрю из хлеба,— вбегает в горницу работник, кумов племянник, Закелло. И надо вам сказать, что я в тот вечер в поле

его оставил, у Мельничного Холма, оливковую корчагу выворачивать,— коноплею то место хотел засеять. «Хозяин, а, хозяин!» — лопочет Дзакелло, и лица на нем нет: весь трясется, зуб на зуб не попадает. «Господь с тобой, малый!» — «Недоброе,— говорит,— в поле творится: покойник из-под корчаги вылезает. Если не верите, пойдите, сами посмотрите». Взяли мы фонари и пошли.

Стемнело. Месяц встал из-за рощи. Видим — корчага; рядом земля разрыта, и что-то в ней белеет. Наклонился, смотрю — рука из земли торчит, белая и пальцы красивые, тонкие, как у девушек городских. «Ах, пострел тебя возьми,— думаю,— это что за чертовщина?» Опустил фонарь в яму, чтобы лучше рассмотреть, а рука-то зашевелилась, пальчиками манит. Тут уж я не стерпел, закричал, ноги подкосились. А мона Бонда, бабушка,— она у нас знахарка и повитуха, бодрая, хоть и древняя старушка: «Чего вы все испугались, дураки,— говорит,— разве не видите—рука не живая и не мертвая, а каменная». Ухватилась, дернула и вытащила из земли, как репу. Повыше кисти в суставе рука была сломана. «Бабушка,—кричу,— ой, бабушка, оставь, не тронь, зароем поскорее в землю, а то как бы беды не нажить».— «Нет,— говорит,— так не ладно, а надо сначала в церковь священнику отнести, пусть он заклятие прочтет». Обманула меня старуха: священнику руки не отнесла, а в свой ларь в углу спрятала, где у нее всякая рухлядь — тряпочки, мази, травы и ладанки. Я бранился, чтобы руку отдала, но мона Бонда заупрямилась. И стала с тех пор бабушка чудесные творить исцеления. Заболят ли у кого зубы — идольской рукой прикоснется к щеке, и опухоль опадет. От лихорадки, от живота, от падучей помогала. Ежели корова мучится, не может отелиться, бабушка ей на брюхо каменную руку положит, корова замычит, и смотришь — теленочек уже в соломе копошится.

Молва по окрестным селениям пошла. Много денег в то время набрала старуха. Только проку не вышло. Священник, отец Фаустино, не давал мне спуска: в церковь пойду — он меня на проповеди при всех укоряет, Сыном погибели называл, слугою дьявола, епископу грозил пожаловаться, Св. Причастия лишить. Мальчишки за мною по улице бегали, пальцами указывали: «Вот идет Грилло, сам Грилло колдун, а бабушка у него ведьма, оба душу черту продали». Верите ли, даже по ночам не было покоя: все мраморная рука мерещится, будто бы подбирается, тихонько за шею берет, точно ласкает, пальцы холод-

ные, длинные, а потом как вдруг схватит, стиснет горло, начнет душить,— хочу крикнуть и не могу.

Э, думаю, шутки-то плохи. Встал я раз до свету, и как бабушка на лугу по росе пошла травы собирать, выломал замок у ларя, взял руку и вам отнес. Хотя старьевщик Лотто десять сольдов давал, а от вас получил я только восемь, ну, да для вашей милости мы не то что двух сольди, а живота своего не пожалеем,— пошли вам Господь всякого благовремения, и мадонне Анжелике, и деткам, и внукам вашим.

— Да, судя по всему, что ты рассказываешь, Грилло, мы что-нибудь найдем в Мельничном Холме,— произнес мессер Чиприано в раздумьи.

— Найти-то найдем,— продолжал старик, опять тяжело вздохнув,— только вот как бы отец Фаустино не пронюхал. Ежели узнает — расчешет он мне голову без гребня так, что не поздоровится, да и вам помешает: народ взбунтует, работы кончить не даст. Ну, да Бог милостив. Только уж и вы меня не оставьте, благодетель, замолвите словечко у судьи.

— Это насчет того куска земли, который у тебя мельник хочет оттягать?

— Точно так, мессере. Мельник — жила и пройдоха. Знает, где у черта хвост. Я, видите ли, телку судье подарил, и он ему — телку, да стельную. Во время тяжбы она возьми и отелись. Перехитрил меня, плут. Вот я и боюсь, как бы судья не решил в его пользу, потому что телка-то бычком отелилась на грех. Уж заступитесь, отец родной! Я ведь это только для вашей милости с Мельничным Холмом стараюсь,— ни для кого такого греха на душу не взял бы...

— Будь покоен, Грилло. Судья — мой приятель, и я за тебя похлопочу. А теперь ступай. На кухне тебя накормят и вином угостят. Сегодня ночью мы вместе едем в Сан-Джервазио.

Старик, низко кланяясь, поблагодарил и ушел, а мессер Чиприано удалился в свою маленькую рабочую комнату, рядом с лавкой, куда никто не имел позволения входить.

Здесь, как в музее, расставлены и развешаны были по стенам мраморы и бронзы. Древние монеты и медали красовались на досках, обшитых сукном. Обломки статуй, еще не разобранные, лежали в ящиках. Через свои многочисленные торговые конторы выписывал он древности отовсюду, где можно было их найти: из Афин, Смирны

и Галикарнасса, с Кипра, Левкозии и Родоса, из глубины Египта и Малой Азии.

Оглянув сокровища свои, консул Калималы снова погрузился в строгие, важные мысли о таможенном налоге на шерсть и, все окончательно обдумав, стал сочинять письмо доверенному в Монпелье.

II

В это время, в глубине склада, где тюки товара, наваленные до потолка, и днем освещались только лампадою, мерцавшею перед Мадонной, беседовали трое молодых людей: Доффо, Антонио и Джованни. Доффо, приказчик мессера Буонаккорзи, с рыжими волосами, курносый и добродушно-веселый, записывал в книгу число локтей смеренного сукна. Антонио да Винчи, старообразный юноша, со стеклянными рыбьими глазами, с упрямо торчавшими космами жидких черных волос, проворно мерил ткань флорентинскою мерою — канною. Джованни Бельтраффио, ученик живописи, приехавший из Милана, юноша лет девятнадцати, робкий и застенчивый, с большими, невинными и печальными, серыми глазами, с нерешительным выражением лица, сидел на готовом тюке, закинув ногу на ногу и внимательно слушал.

— Вот до чего, братцы, дожили,— говорил Антонио тихо и злобно: — языческих богов из земли стали выкапывать!

— Шотландской шерсти с ворсом, коричневого — тридцать два локтя, шесть пяденей, восемь унций,— прибавил он, обращаясь к Доффо, и тот записал в товарную книгу. Потом, свернув смеренный кусок, Антонио бросил его сердито, но ловко, так что он попал как раз туда, куда нужно, и, подняв указательный палец с пророческим видом, подражая брату Джироламо Савонароле, воскликнул:

— Gladius Dei super terram cito et velociter! [1] Св. Иоанну на Патмосе было видение: ангел взял дракона, змия древнего, который есть дьявол, и сковал его на тысячу лет, и низверг в бездну, и заключил, и положил над ним печать, дабы не прельщал народы, доколе не кончится тысяча лет, время и полвремени. Ныне сатана освобождается из темницы. Окончилась тысяча лет. Ложные боги, предтечи и слуги Антихриста, выходят из земли, из-под печати ангела, дабы обольщать народы. Горе живущим на земле и на море!..

---

[1] Меч Господень на земле действует быстро и скоро! *(лат.)*

— Желтого, брабантской шерсти, гладкого — семнадцать локтей, четыре пядени, девять онций.

— Как же вы разумеете, Антонио,— произнес Джованни с боязливым и жадным любопытством,— все эти знамения свидетельствуют?..

— Да, да. Не иначе. Бодрствуйте! Время близко. И теперь уже не только древних богов выкапывают, но и новых творят наподобие древних. Нынешние ваятели и живописцы служат Молоху, то есть дьяволу. Из церкви Господней делают храм сатаны. На иконах, под видом мучеников и святых, нечистых богов изображают, коим поклоняются: вместо Иоанна Предтечи — Вакха, вместо Матери Божьей —блудницу Венеру. Сжечь бы такие картины и по ветру пепел развеять!

В тусклых глазах благочестивого приказчика вспыхнул зловещий огонь.

Джованни молчал, не смея возражать, с беспомощным усилием мысли сжимая свои тонкие детские брови.

— Антонио,—молвил он, наконец,—слышал я, будто бы ваш двоюродный брат, мессер Леонардо да Винчи, принимает иногда учеников в свою мастерскую. Я давно хотел...

— Если хочешь,— перебил его Антонио, нахмурившись,— если хочешь, Джованни, погубить душу свою — ступай к мессеру Леонардо.

— Как? Почему?

— Хотя он и брат мне, и старше меня на двадцать лет, но в Писании сказано: еретика, после первого и второго вразумления, отвращайся. Мессер Леонардо — еретик и безбожник. Ум его омрачен сатанинскою гордостью. Посредством математики и черной магии мыслит он проникнуть в тайны природы...

И, подняв глаза к небу, привел он слова Савонаролы из последней проповеди:

— «Мудрость века сего — безумие пред Господом. Знаем мы этих ученых: все грядут в жилище сатаны!»

— А слышали вы, Антонио,— продолжал Джованни еще более робко,— мессер Леонардо теперь здесь, во Флоренции? Только что приехал из Милана.

— Зачем?

— Герцог прислал, чтобы разведать, нельзя ли купить некоторые из картин, принадлежавших покойному Лоренцо Великолепному.

— Здесь, так здесь. Мне все равно,— перебил Антонио, еще усерднее принимаясь отмеривать на канне сукно.

В церквах зазвонили к повечерию. Доффо радостно потянулся и захлопнул книгу. Работа была кончена. Лавки запирались.

Джованни вышел на улицу. Между мокрыми крышами было серое небо с едва уловимым розовым оттенком вечера. В безветренном воздухе сеял мелкий дождь.

Вдруг из открытого окна в соседнем переулке послышалась песня:

O, vaghe montanine e pastorelle.
О, девы гор, о, милые пастушки.

Голос был молодой и звонкий. Джованни догадался, по равномерному звуку подножки, что поет ткачиха за станком.

Заслушался, вспомнил, что теперь весна, и почувствовал, как сердце бьется от беспричинного умиления и грусти.

— Нанна! Нанна! Да где же ты, чертова девка? Оглохла, что ли? Ужинать ступай! Лапша простынет.

Деревянные башмаки — цокколи — бойко застучали по кирпичному полу — и все умолкло.

Джованни стоял еще долго, смотрел на пустое окно, и в ушах его звучал весенний напев, подобный переливам далекой свирели —

O, vaghe montanine e pastorelle.

Потом тихо вздохнул, вошел в дом консула Калималы и, по крутой лестнице с гнилыми, шаткими перилами, изъеденными червоточиной, поднялся в большую комнату, служившую библиотекой, где сидел, согнувшись за письменным поставцом, Джорджо Мерула, придворный летописец миланского герцога.

III

Мерула приехал во Флоренцию, по поручению государя, для покупки редких сочинений из книгохранилища Лоренцо Медичи и, как всегда, остановился в доме друга своего, такого же, как он, любителя древностей, мессера Чиприано Буонаккорзи. С Джованни Бельтраффио ученый историк познакомился случайно на постоялом дворе, по пути из Милана, и, под тем предлогом, что ему, Меруле, нужен хороший писец, а у Джованни почерк красивый и четкий, взял его с собой в дом Чиприано.

Когда Джованни входил в комнату, Мерула тщательно рассматривал истрепанную книгу, похожую на церковный требник или псалтырь. Осторожно проводил влажною

губкою по тонкому пергаменту, самому нежному, из кожи мертворожденного ирландского ягненка,— некоторые строки стирал пемзою, выглаживал лезвием ножа и лощилом, потом опять рассматривал, подымая к свету.

— Миленькие! — бормотал он себе под нос, захлебываясь от умиления.— Ну-ка, выходите, бедные, выходите на свет Божий... Да какие же вы длинные, красивые!

Он прищелкнул двумя пальцами и поднял от работы плешивую голову, с одутловатым лицом, с мягкими, подвижными морщинами, с багрово-сизым носом, с маленькими свинцовыми глазками, полными жизни и неугомонной веселости. Рядом, на подоконнике, стоял глиняный кувшин и кружка. Ученый налил себе вина, выпил, крякнул и хотел опять погрузиться в работу, когда увидел Джованни.

— Здравствуй, монашек! — приветствовал его старик шутливо: монашком называл он Джованни за скромность.— Я по тебе соскучился. Думаю, где пропадает? Уж не влюбился ли, чего доброго? Девочки-то во Флоренции славные. Влюбиться не грех. А я тоже времени даром не теряю. Ты этакой забавной штуки от роду, пожалуй, не видывал. Хочешь покажу? Или нет — еще разболтаешь. Я ведь у жида, старьевщика, за грош купил,— среди хлама нашел. Ну, да уж куда ни шло, тебе одному покажу!

Он поманил его пальцем:

— Сюда, сюда, поближе к свету!

И указал на страницу, покрытую тесными, остроугольными буквами церковного письма. Это были акафисты, молитвы, псалмы с громадными, неуклюжими нотами для пения.

Потом взял у него книгу, открыл на другом месте, поднял к свету, почти в уровень с его глазами,— и Джованни заметил, как там, где Мерула соскоблил церковные буквы, появились иные, почти неуловимые строки, бесцветные отпечатки древнего письма, углубления в пергаменте — не буквы, а только призраки давно исчезнувших букв, бледные и нежные.

— Что? Видишь, видишь? — повторял Мерула с торжеством.— Вот они, голубчики. Говорил я тебе, монашек, веселая штучка!

— Что это? Откуда? — спросил Джованни.

— Сам еще не знаю. Кажется, отрывки из древней антологии. Может быть, и новые, неведомые миру сокровища эллинской музы. А ведь если бы не я, так бы и не увидеть им света Божьего! Пролежали бы до скончания веков под антифонами и покаянными псалмами...

И Мерула объяснил ему, что какой-нибудь средневековый монах-переписчик, желая воспользоваться драгоценным пергаментом, соскоблил древние языческие строки и написал по ним новые.

Солнце, не разрывая дождливой пелены, а только просвечивая, наполнило комнату угасающим розовым отблеском, и в нем углубленные отпечатки, тени древних букв, выступили еще яснее.

— Видишь, видишь, покойники выходят из могил! — повторял Мерула с восторгом.— Кажется, гимн олимпийцам. Вот, смотри, можно прочесть первые строки.

И он перевел ему с греческого:

Слава любезному, пышно-венчанному гроздьями Вакху,
Слава тебе, дальномечущий Феб, сребролукий, ужасный
Бог лепокудрый, убийца сынов Ниобеи.

— А вот и гимн Венере, которой ты так боишься, монашек! Только трудно разобрать...

Слава тебе, златоногая мать Афродита,
Радость богов и людей...

Стих обрывался, исчезая под церковным письмом.

Джованни опустил книгу, и отпечатки букв побледнели, углубления стерлись, утонули в гладкой желтизне пергамента,— тени скрылись. Видны были только ясные, жирные, черные буквы монастырского требника и громадные, крючковатые, неуклюжие ноты покаянного псалма:

«Услышь, Боже, молитву мою, внемли мне и услышь меня. Я стенаю в горести моей и смущаюсь: сердце мое трепещет во мне, и смертные ужасы напали на меня».

Розовый отблеск потух, и в комнате стало темнеть. Мерула налил вина из глиняного кувшина, выпил и предложил собеседнику.

— Ну-ка, братец, за мое здоровье. Vinum super omnia bonum diligamus! [1]

Джованни отказался.

— Ну — Бог с тобой. Так я за тебя выпью.— Да что это ты, монашек, какой сегодня скучный, точно в воду опущенный? Или опять этот святоша Антонио пророчествами напугал? Плюнь ты на них, Джованни, право, плюнь! И чего каркают, ханжи, чтоб им пусто было! — Признавайся, говорил ты с Антонио?

— Говорил.

— О чем?

---

[1] Возлюбим вино превыше всякого блага! *(лат.)*

— Об Антихристе и мессере Леонардо да Винчи...

— Ну, вот! Да ты только и бредишь Леонардо. Околдовал он тебя, что ли? Слушай, брат, выкинь дурь из головы. Оставайся-ка моим секретарем — я тебя живо в люди выведу: латыни научу, законоведом сделаю, оратором или придворным стихотворцем,— разбогатеешь, славы достигнешь. Ну, что такое живопись? Еще философ Сенека называл ее ремеслом, недостойным свободного человека. Посмотри на художников—все люди невежественные, грубые...

— Я слышал,— возразил Джованни,— что мессер Леонардо — великий ученый.

— Ученый? Как бы не так! Да он и по-латыни читать не умеет, Цицерона с Квинтиниалом смешивает, а греческого и не нюхал. Вот так ученый! Курам на смех.

— Говорят,— не унимался Бельтраффио,— что он изобретает чудесные машины и что его наблюдения над природою...

— Машины, наблюдения! Ну, брат, с этим далеко не уйдешь. В моих «Красотах латинского языка» собрано более двух тысяч новых изящнейших оборотов речи. Так знаешь ли ты, чего мне это стоило?.. А хитрые колесики в машинках прилаживать, посматривать, как птицы в небе летают, травы в поле растут — это не наука, а забава, игра для детей!..

Старик помолчал; лицо его сделалось строже. Взяв собеседника за руку, он промолвил с тихою важностью:

— Слушай, Джованни, и намотай себе на ус. Учителя наши — древние греки и римляне. Они сделали все, что люди могут сделать на земле. Нам же остается только следовать за ними и подражать. Ибо сказано: ученик не выше своего учителя.

Он отхлебнул вина, заглянул прямо в глаза Джованни с веселым лукавством, и вдруг мягкие морщины его расплылись в широкую улыбку:

— Эх, молодость, молодость! Гляжу я на тебя, монашек, и завидую. Распуколка весенняя — вот ты кто! Вина не пьет, от женщин бегает. Тихоня, смиренник. А внутри — бес. Я ведь тебя насквозь вижу. Подожди, голубчик, выйдет наружу бес. Сам ты скучный, а с тобой весело. Ты теперь, Джованни, вот как эта книга. Видишь,— сверху псалмы покаянные, а под ними гимн Афродите!

— Стемнело, мессер Джорджо. Не пора ли огонь зажигать?

— Подожди,— ничего. Я в сумерках люблю поболтать, молодость вспомнить...

Язык его тяжелел, речь становилась бессвязной.

— Знаю, друг любезный,— продолжал он,— ты вот смотришь на меня и думаешь: напился, старый хрыч, вздор мелет. А ведь у меня здесь тоже кое-что есть!

Он самодовольно указал пальцем на свой плешивый лоб.

— Хвастать не люблю — ну, а спроси первого школяра: он тебе скажет, превзошел ли кто Мерулу в изяществах латинской речи. Кто открыл Мартиала? — продолжал он, все более увлекаясь,— кто прочел знаменитую надпись на развалинах Тибуртинских ворот? Залезешь, бывало, так высоко, что голова кружится, камень сорвется из-под ноги — едва успеешь за куст уцепиться, чтобы самому не слететь. Целые дни мучишься на припеке, разбираешь древние надписи и списываешь. Пройдут хорошенькие поселянки, хохочут: «Посмотрите-ка, девушки, какой сидит перепел — вон куда забрался, дурак, должно быть, клада ищет!» Полюбезничаешь с ними, пройдут — и опять за работу. Где камни осыпались, под плющом и терновником — там только два слова: gloria Romanorum.

И, как будто вслушиваясь в звуки давно умолкших, великих слов, повторил он глухо и торжественно:

— Gloria Romanorum! Слава римлян! Э, да что вспоминать,— все равно не воротишь,— махнул он рукой и, подымая стакан, хриплым голосом затянул застольный гимн школяров:

Не обмолвлюсь натощак
Ни единой строчкой.
Я всю жизнь ходил в кабак
И умру за бочкой.
Как вино, я песнь люблю
И латинских граций,—
Если ж пью, то и пою
Лучше, чем Гораций.
В сердце буйный хмель шумит,
Dum vinum potamus [1],—
Братья, Вакху пропоем:
Te Deum laudamus! [2]

Закашлялся и не кончил.

В комнате уже было темно. Джованни с трудом различал лицо собеседника.

Дождь пошел сильнее, и слышно было, как частые капли из водосточной трубы падают в лужу.

— Так вот как, монашек,— бормотал Мерула заплетающимся языком.— Что, бишь, я говорил? Жена у ме-

[1] Упиваясь вином (*лат.*).
[2] Тебя, Бога, хвалим! (*лат.*)

ня красавица... Нет, не то. Погоди. Да, да... Помнишь стих:

Tu regere imperio populos, Romane, memento[1].

Слушай, это были исполинские люди. Повелители вселенной!..

Голос его дрогнул, и Джованни показалось, что на глазах мессера Джорджо блеснули слезы.

— Да, исполинские люди! А теперь — стыдно сказать... Хоть бы этот наш герцог миланский, Лодовико Моро. Конечно, я у него на жалованье, историю пишу наподобие Тита Ливия, с Помпеем и Цезарем сравниваю зайца трусливого, выскочку. Но в душе, Джованни, в душе у меня...

По привычке старого придворного он подозрительно оглянулся на дверь, не подслушивает ли кто-нибудь,— и, наклонившись к собеседнику, прошептал ему на ухо:

— В душе старого Мерулы не угасла и никогда не угаснет любовь к свободе. Только ты об этом никому не говори. Времена нынче скверные. Хуже не бывало. И что за людишки — смотреть тошно: плесень, от земли не видать. А ведь тоже нос задирают, с древними равняются! И чем, подумаешь, взяли, чему радуются? Вот, мне один приятель из Греции пишет: недавно на острове Хиосе монастырские прачки по заре, как белье полоскали, на морском берегу настоящего древнего бога нашли, тритона с рыбьим хвостом, с плавниками, в чешуе. Испугались дуры. Подумали — черт, убежали. А потом видят — старый он, слабый, должно быть, больной, лежит ничком на песке, зябнет и спину зеленую чешуйчатую на солнце греет. Голова седая, глаза мутные, как у грудных детей. Расхрабрились, подлые, обступили его с христианскими молитвами, да ну колотить вальками. До смерти избили, как собаку, древнего бога, последнего из могучих богов океана, может быть, внука Посейдонова!..

Старик замолчал, уныло понурив голову, и по щекам его скатились две пьяные слезы от жалости к морскому чуду.

Слуга принес огонь и закрыл ставни. Языческие призраки отлетели.

Позвали ужинать. Но Мерула так отяжелел от вина, что его должны были отвести под руки в постель.

Бельтраффио долго не мог заснуть в ту ночь и, прислушиваясь к безмятежному храпу мессера Джорджо, думал о том, что в последнее время его больше всего занимало,— о Леонардо да Винчи.

[1] Римлянин, помни, что ты управляешь народом *(лат.)*.

IV

Во Флоренцию приехал Джованни из Милана, по поручению дяди своего, Освальда Ингрима, стекольщика, чтобы купить красок, особенно ярких и прозрачных, каких нельзя было достать нигде, кроме Флоренции.

Стекольщик-живописец, родом из Граца, ученик знаменитого страсбургского мастера Иоганна Кирхгейма, Освальд Ингрим, работал над окнами северной ризницы Миланского собора. Джованни, сирота, незаконный сын его брата, каменщика Рейнольда Ингрима, получил имя Бельтраффио от матери своей, уроженки Ломбардии, которая, по словам дяди, была распутной женщиной и вовлекла в погибель отца его.

В доме угрюмого дяди рос он одиноким ребенком. Душу его омрачали бесконечные рассказы Освальда Ингрима о всяких нечистых силах, бесах, ведьмах, колдунах и оборотнях. Особенный ужас внушало мальчику предание, сложенное северными людьми в языческой Италии, о женообразном демоне — так называемой Белобрысой Матери или Белой Дьяволице.

Еще в раннем детстве, когда Джованни плакал ночью в постели, дядя Ингрим пугал его Белой Дьяволицей, и ребенок тотчас утихал, прятал голову под подушку; но сквозь трепет ужаса чувствовал любопытство, желание когда-нибудь увидеть Белобрысую лицом к лицу.

Освальд отдал племянника на выучку монаху-иконописцу, фра Бенедетто.

Это был простодушный и добрый старик. Он учил, приступая к живописи, призывать на помощь всемогущего Бога, возлюбленную заступницу грешных, Деву Марию, св. евангелиста Луку, первого христианского живописца, и всех святых рая; затем украшаться одеянием любви, страха, послушания и терпения; наконец, заправлять темперу для красок на яичном желтке и молочном соку молодых веток смоковницы с водой и вином, приготовлять дощечки для картин из старого фигового или букового дерева, протирая их порошком из жженой кости, причем предпочтительнее употреблять кости из ребер и крыльев кур и каплунов, или ребер и плеч барана.

Это были неисчерпаемые наставления. Джованни знал заранее, с каким пренебрежительным видом фра Бенедетто подымет брови, когда речь зайдет о краске, именуемой драконовой кровью, и непременно скажет: «Оставь ее и не очень печалься о ней; она не может принести тебе

много чести». Он угадывал, что те же слова говорил и учитель фра Бенедетто, и учитель его учителя. Столь же неизменной была улыбка тихой гордости, когда фра Бенедетто поверял ему тайны мастерства, которые казались монаху пределом всех человеческих художеств и хитростей: как, например, для состава промазки при изображении молодых лиц должно брать яйца городских кур, потому что желтки у них светлее, нежели у сельских, которые, вследствие своего красноватого цвета, идут более для изображения старого смуглого тела.

Несмотря на все эти тонкости, фра Бенедетто оставался художником бесхитростным, как младенец. К работе готовился постами и бдениями. Приступая к ней, падал ниц и молился, испрашивая у Господа силы и разума. Каждый раз, как изображал Распятие, лицо его обливалось слезами.

Джованни любил учителя и почитал его величайшим из мастеров. Но в последнее время находило на ученика смущение, когда, объясняя свое единственное правило из анатомии,— что длину мужского тела должно полагать в восемь лиц и две трети лица,— фра Бенедетто прибавлял с тем же пренебрежительным видом, как о драконовой крови,— «что касается до тела женщины, лучше оставить его в стороне, ибо оно не имеет в себе ничего соразмерного». Он был убежден в этом так же непоколебимо, как в том, что у рыб и вообще у всех неразумных животных сверху темный цвет, а снизу светлый; или в том, что у мужчины одним ребром меньше, чем у женщины, так как Бог вынул ребро Адама, чтобы создать Еву.

Однажды понадобилось ему представить четыре стихии посредством аллегорий, обозначив каждую каким-нибудь животным. Фра Бенедетто выбрал крота для земли, рыбу для воды, саламандру для огня и хамелеона для воздуха. Но, полагая, что слово хамелеон есть увеличительное от camelo, которое значит верблюд,— монах в простоте сердца представил стихию воздуха в виде верблюда, который открывает пасть, чтобы лучше дышать. Когда же молодые художники стали смеяться над ним, указывая на ошибку, он терпел насмешки с христианскою кротостью, оставаясь при убеждении, что между верблюдом и хамелеоном нет разницы.

Таковы были и остальные познания благочестивого мастера о природе.

Давно уже в сердце Джованни проникли сомнения, новый мятежный дух, «бес мирского любомудрия», по вы-

ражению монаха. Когда же ученику фра Бенедетто, незадолго до поездки во Флоренцию, случилось увидеть некоторые из рисунков Леонардо да Винчи, эти сомнения нахлынули в душу его с такою силою, что он не мог им противиться.

В ту ночь, лежа рядом с мирно храпевшим мессером Джорджо, в тысячный раз перебирал он в уме своем эти мысли, но чем более углублялся в них, тем более запутывался.

Наконец, решил прибегнуть к помощи небесной и, устремляя взор, полный надежды, в темноту ночи, стал молиться так:

— Господи, помоги мне и не оставь меня! Если мессер Леонардо — человек в самом деле безбожный, и в науке его — грех и соблазн, сделай так, чтобы я о нем больше не думал и о рисунках его позабыл. Избавь меня от искушения, ибо я не хочу согрешить перед Тобою. Но, если можно, угождая Тебе и прославляя имя Твое в благодарном искусстве живописи, знать все, чего фра Бенедетто не знает, и что́ мне так сильно хочется знать,— и анатомию, и перспективу, и прекраснейшие законы света и тени,— тогда, о Господи, дай мне твердую волю, просвети мою душу, чтобы я уже более не сомневался; сделай так, чтобы и мессер Леонардо принял меня в свою мастерскую, и чтобы фра Бенедетто — он такой добрый — простил меня и понял, что я ни в чем перед Тобою не виновен.

После молитвы Джованни почувствовал отраду и успокоился. Мысли его сделались неясными: он вспомнил, как в руках стекольщика раскаленное добела железное острие наждака впивается и, с приятным шипящим звоном, режет стекло; увидел, как из-под струга выходят, извиваясь, гибкие свинцовые полосы, которыми соединяют в рамках отдельные куски раскрашенных стекол. Чей-то голос, похожий на голос дяди, сказал: «зазубрин, побольше зазубрин по краям, тогда стекло крепче держится»,— и все исчезло. Он повернулся на другой бок и заснул.

Джованни увидел сон, который впоследствии часто вспоминал: ему казалось, что он стоит в сумраке громадного собора перед окном с разноцветными стеклами. На них изображена была виноградная жатва таинственной лозы, о которой сказано в Евангелии: «Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой виноградарь». Нагое тело Распятого лежит в точиле, и кровь льется из ран. Папы, кардиналы, императоры собирают ее, наполняют и катят

бочки. Апостолы приносят гроздья; св. Петр топчет их. В глубине пророки, патриархи окапывают лозы или срезают виноград. И с чаном вина проезжает колесница, в которую запряжены евангельские звери — лев, бык, орел; правит же ею ангел св. Матфея. Стекла с подобными изображениями Джованни встречал в мастерской своего дяди. Но нигде не видал таких красок — темных и в то же время ярких, как драгоценные камни. Всего больше наслаждался он алым цветом крови Господней. А из глубины собора долетали слабые, нежные звуки его любимой песни:

O, fior di castitate,
Odorifero giglio,
Con gran soavitate
Sei di color vermiglio,
Цветок целомудрия,
Душистая лилия,
О, полная негою,
Багровая лилия!

Песнь умолкла, стекло потемнело — голос приказчика Антонио да Винчи сказал ему на ухо: «беги, Джованни, беги! *Она* — здесь!» Он хотел спросить «кто?», но понял, что Белобрысая у него за спиною. Повеяло холодом, и вдруг тяжелая рука схватила его за шею сзади и стала душить. Ему казалось, что он умирает.

Он вскрикнул, проснулся и увидел мессера Джорджо, который стоял над ним и стаскивал с него одеяло:

— Вставай, вставай, а то без нас уедут. Давно пора!

— Куда? Что такое? — бормотал Джованни впросонках.

— Разве забыл? На виллу в Сан-Джервазио, раскапывать Мельничный Холм.

— Я не поеду...

— Как не поедешь? Даром я тебя будил, что ли? Нарочно велел черного мула оседлать, чтобы удобнее было ехать вдвоем. Да ну же, вставай, сделай милость, не упрямься! Чего ты боишься, монашек?

— Я не боюсь, но мне просто не хочется...

— Послушай, Джованни: там будет этот твой хваленый мастер, Леонардо да Винчи.

Джованни вскочил и, не возражая более, стал одеваться.

Они вышли на двор.

Все уже было готово к отъезду. Расторопный Грилло давал советы, бегал и суетился. Тронулись в путь.

Несколько человек, знакомых мессера Чиприано, в том числе Леонардо да Винчи, должны были приехать позже другой дорогой, прямо в Сан-Джервазио.

V

Дождь перестал. Северный ветер разогнал тучи. В безлунном небе звезды мигали, как лампадные огни, задуваемые ветром. Смоляные факелы дымились и трещали, разбрасывая искры.

По улице Рикасоли, мимо Сан-Марко, подъехали к зубчатой башне ворот Сан-Галло. Сторожа долго спорили, ругались, не понимая спросонья, в чем дело, и только, благодаря хорошей взятке, согласились выпустить их из города.

Дорога шла узкою, глубокою долиною потока Муньоне. Миновав несколько бедных селений, с такими же тесными улицами, как во Флоренции, с высокими домами, похожими на крепости, сложенными из грубо отесанных камней, путники въехали в оливковую рощу, принадлежавшую поселянам Сан-Джервазио, спешились на перекрестке двух дорог и по винограднику мессера Чиприано подошли к Мельничному Холму.

Здесь ожидали их работники с лопатами и заступами.

За холмом, по ту сторону болота, называвшегося Мокрой Лощиной, неясно белели в темноте между деревьями стены виллы Буонаккорзи. Внизу, на Муньоне, была водяная мельница. Стройные кипарисы чернели на вершине холма.

Грилло указал, где, по его мнению, следует копать. Мерула указывал на другое место, у подошвы холма, где нашли мраморную руку. А старший работник, садовник Строкко, утверждал, что следует рыть внизу, у Мокрой Лощины, так как, по его словам: «всегда нечисть ближе к болоту водится».

Мессер Чиприано велел копать там, где советовал Грилло.

Застучали лопаты. Запахло разрытою землею.

Летучая мышь едва не задела крылом лицо Джованни. Он вздрогнул.

— Не бойся, монашек, не бойся! — ободряя, похлопал его Мерула по плечу.— Никакого черта не найдем! Если бы еще не этот осел Грилло... Слава Богу, мы не на таких раскопках бывали! Вот, например, в Риме, в четыреста пятидесятую олимпиаду,— Мерула, пренебрегая христианским летосчислением, употреблял древнегреческое,— при

папе Иннокентии VIII, на Аппиевой дороге, близ памятника Цецилии Метеллы, в древнем римском саркофаге с надписью: *Юлия, дочь Клавдия*, ломбардские землекопы нашли тело, покрытое воском, девушки лет пятнадцати, как будто спящей. Румянец жизни не сошел с лица. Казалось, что она дышит. Несметная толпа не отходила от гроба. Из далеких стран приезжали взглянуть на нее, ибо Юлия была так прекрасна, что если бы можно было описать прелесть ее, то невидевшие не поверили бы. Папа испугался, узнав, что народ поклоняется мертвой язычнице, и велел ночью тайно похоронить ее у ворот Пинчианских.— Так вот, братец, какие раскопки бывают!

Мерула с презрением взглянул на яму, которая быстро углублялась.

Вдруг лопата одного из работников зазвенела. Все наклонились.

— Кости! — проговорил садовник.— Кладбище сюда в старину доходило.

В Сан-Джервазио послышался унылый, протяжный вой собаки.

«Могилу осквернили,— подумал Джованни.— Ну их совсем! Уйти от греха...»

— Остов лошадиный,— прибавил Строкко злорадно и вышвырнул из ямы полусгнивший продолговатый череп.

— В самом деле, Грилло, ты, кажется, ошибся,— сказал мессер Чиприано.— Не попытаться ли в другом месте?

— Еще бы! Охота дурака слушать,— произнес Мерула и, взяв двух работников, пошел копать внизу, у подошвы холма. Строкко, также назло упрямому Грилло, увел нескольких людей, желая начать поиски в Мокрой Лощине.

Через некоторое время мессер Джорджо воскликнул, торжествуя:

— Вот, вот смотрите! Я знал, где надо рыть!

Все бросились к нему. Но находка оказалась нелюбопытною: осколок мрамора был диким камнем.

Тем не менее никто не возвращался к Грилло, и, чувствуя себя опозоренным, стоя на дне ямы, он, при свете разбитого фонаря, продолжал упорно и безнадежно ковырять землю.

Ветер стих. В воздухе потеплело. Туман поднялся над Мокрою Лощиною. Пахло стоячею водою, желтыми весенними цветами и фиалками. Небо сделалось прозрачнее. Пропели вторые петухи. Ночь была на исходе.

Вдруг из глубины ямы, где находился Грилло, послышался отчаянный вопль:

— Ой, ой, держите, падаю!

Сперва ничего не могли разобрать в темноте, так как фонарь Грилло потух. Только слышно было, как он барахтается, охает и стонет.

Принесли другие фонари и увидели полузасыпанный землей кирпичный свод, как бы крышу тщательно выведенного подземного погреба, которая не выдержала тяжести Грилло и провалилась.

Два молодых сильных работника осторожно слезли в яму.

— Где же ты, Грилло? Давай руку! Или совсем тебя пришибло, бедняга?

Грилло замер, притих и, забыв сильную боль в руке,— он считал ее сломанной, но она была только вывихнута, что-то делал, щупал, ползал и странно копошился в погребе.

Наконец, закричал радостно:

— Идол! Идол! Мессере Чиприано, чудеснейший идол!

— Ну, ну, чего кричишь? — проворчал недоверчиво Строкко.— Опять какой-нибудь череп ослиный.

— Нет, нет! Только рука отбита... А ноги, туловище, грудь — все целехонько,— бормотал Грилло, задыхаясь от восторга.

Подвязав себя веревками под мышки и вокруг стана, чтобы свод не провалился, работники опустились в яму и стали бережно разбирать хрупкие, осыпавшиеся кирпичи, покрытые плесенью.

Джованни, полулежа на земле, смотрел между согнутыми спинами рабочих в глубину погреба, откуда веяло спертой сыростью и могильным холодом.

Когда свод почти разобрали, мессер Чиприано сказал:

— Посторонитесь, дайте взглянуть.

И Джованни увидел на дне ямы, между кирпичными стенами, белое голое тело. Оно лежало, как мертвое в гробу, но казалось не мертвым, а розовым, живым и теплым в колеблющемся отблеске факелов.

— Венера! — прошептал мессер Джорджо благоговейно.— Венера Праксителя! Ну, поздравляю вас, мессере Чиприано. Если бы вам подарили герцогство Миланское да в придачу Геную, вы не могли бы считать себя счастливее!..

Грилло вылез с усилием, и хотя по лицу его, запачканному землею, текла кровь из ссадины на лбу, и он не мог шевельнуть вывихнутой рукой,— в глазах сияла гордость победителя.

Мерула подбежал к нему.

— Грилло, друг ты мой любезный, благодетель! А я-то тебя бранил, дураком называл,— умнейшего из людей!

И, заключив в объятия, поцеловал с нежностью.

— Некогда флорентийский зодчий, Филиппо Брунеллески,— продолжал Мерула,— под своим домом, в таком же точно погребе, нашел мраморную статую бога Меркурия: должно быть, в то время, когда христиане, победив язычников, истребляли идолов, последние поклонники богов, видя совершенства древних статуй и желая спасти их от гибели, прятали изваяния в кирпичные подземелья.

Грилло слушал, блаженно улыбался и не замечал, как пастушья свирель играла в поле, овцы на выгоне блеяли, небо светлело между холмами водянистым светом, и вдалеке, над Флоренцией, нежными голосами перекликались утренние колокола.

— Тише, тише! Правее, вот так. От стены подальше,— приказывал работникам Чиприано.— По пяти серебряных гроссо каждому, если вытащите, не сломав.

Богиня медленно подымалась.

С той же ясною улыбкою, как некогда из пены волн морских, выходила она из мрака земли, из тысячелетней могилы.

Слава тебе, златоногая мать Афродита,
Радость богов и людей! —

приветствовал ее Мерула.

Звезды потухли все, кроме звезды Венеры, игравшей, как алмаз, в сиянии зари. И навстречу ей голова богини поднялась над краем могилы.

Джованни взглянул ей в лицо, освещенное утром, и прошептал, бледнея от ужаса:

Белая Дьяволица!

Вскочил и хотел бежать. Но любопытство победило страх. И если бы ему сказали, что он совершает смертный грех, за который будет осужден на вечную гибель,— не мог бы он оторвать взоров от голого невинного тела, от прекрасного лица ее.

В те времена, когда Афродита была владычицей мира, никто не смотрел на нее с таким благоговейным трепетом.

VI

На маленькой сельской церкви Сан-Джервазио ударили в колокол. Все невольно оглянулись и замерли. Этот звук в затишьи утра похож был на гневный и жалобный крик.

Порой тонкий, дребезжащий колокол замирал, как будто надорвавшись, но тотчас заливался еще громче порывистым, отчаянным звоном.

— Иисусе, помилуй нас! — воскликнул Грилло, хватаясь за голову.— Ведь это священник, отец Фаустино! Смотрите,— толпа на дороге, кричат, увидели нас, руками машут. Сюда бегут... Пропал я, горемычный!..

К Мельничному Холму подъехали новые всадники. То были остальные приглашенные на раскопки. Они опоздали, потому что заблудились.

Бельтраффио мельком взглянул, и как ни был поглощен созерцанием богини, заметил лицо одного из них. Выражение холодного, спокойного внимания и проникновенного любопытства, с которым незнакомец рассматривал Венеру и которое было так противоположно тревоге и смущению самого Джованни,— поразило его. Не подымая глаз, прикованных к статуе, все время чувствовал он за спиной своей человека с необыкновенным лицом.

— Вот что,— произнес мессер Чиприано после некоторого раздумья,— вилла в двух шагах. Ворота крепкие, какую угодно осаду выдержат...

— И то правда! — воскликнул обрадованный Грилло,— ну-ка, братцы, живее, подымайте!

Он заботился об сохранении идола с отеческой нежностью.

Статую благополучно перенесли через Мокрую Лощину.

Едва переступили за порог дома, как на вершине Мельничного Холма появился грозный облик отца Фаустино с поднятыми к небу руками.

Нижняя часть виллы была необитаема. Громадный зал, с выбеленными стенами и сводами, служил складом земледельческих орудий и больших глиняных сосудов для оливкового масла. Пшеничная солома, сваленная в углу, золотистою копною громоздилась до потолка.

На ту солому, смиренное сельское ложе, бережно положили богиню.

Только что все успели войти и запереть ворота, как послышались крики, ругательства и громкий стук в ворота.

— Отоприте, отоприте! — кричал тонким, надтреснутым голосом отец Фаустино.— Именем Бога живого заклинаю, отоприте!..

Мессер Чиприано по внутренней каменной лестнице поднялся к узкому решетчатому окну, находившемуся очень высоко над полом, оглянул толпу, убедился, что она

не велика, и с улыбкой свойственной ему утонченной вежливости начал переговоры.

Священник не унимался и требовал, чтобы отдали идола, которого, по словам его, откопали на кладбищенской земле.

Консул Калималы, решив прибегнуть к военной хитрости, произнес твердо и спокойно:

— Берегитесь! Нарочный послан во Флоренцию к начальнику стражи, и через два часа будет здесь отряд кавалерии: силой никто не войдет в мой дом безнаказанно.

— Ломайте ворота,— воскликнул священник,— не бойтесь! С нами Бог! Рубите!

И, выхватив топор из рук подслеповатого рябого старичка с унылым, кротким лицом и подвязанной щекой, ударил в ворота со всего размаха.

Толпа не последовала за ним.

— Дом[1] Фаустино, а дом Фаустино,— шепелявил кроткий старичок, тихонько трогая его за локоть,— люди мы бедные, денег мотыгою из земли не выкапываем. Засудят — разорят!..

Многие в толпе, заслышав о городских стражниках, думали о том, как бы улизнуть незаметно.

— Конечно, если бы на своей земле, на приходской,— другое дело,— рассуждали одни.

— А где межа-то проходит? Ведь по закону, братцы...

— Что закон? Паутина: муха застрянет, шершень вылетит. Закон для господ не писан,— возражали другие.

— И то правда! Каждый в земле своей владыка.

В то время Джованни по-прежнему глядел на спасенную Венеру.

Луч раннего солнца проник в боковое окно. Мраморное тело, еще не совсем очищенное от земли, искрилось на солнце, словно нежилось и грелось после долгого подземного мрака и холода. Тонкие желтые стебли пшеничной соломы загорались, окружая богиню смиренным и пышным золотым ореолом.

И опять Джованни обратил внимание на незнакомца.

Стоя на коленях, рядом с Венерой, вынул он циркуль, угломер, полукруглую медную дугу, наподобие тех, какие употреблялись в математических приборах, и, с выражением того же упорного, спокойного и проникновенного любопытства в холодных, светло-голубых глазах и тонких,

---

[1] Дом (сокращ. от лат. dominus — господин) — обращение к членам некоторых монашеских орденов.

плотно сжатых губах, начал мерить различные части прекрасного тела, наклоняя голову, так что длинная белокурая борода касалась мрамора.

— Что он делает? Кто это? — думал Джованни с возрастающим удивлением, почти страхом, следя за быстрыми, дерзкими пальцами, которые скользили по членам богини, проникая во все тайны прелести, ощупывая, исследуя неуловимые для глаза выпуклости мрамора.

У ворот виллы толпа поселян с каждым мгновением редела и таяла.

— Стойте, стойте, бездельники, христопродавцы! Стражи городской испугались, а власти антихристовой не боитесь! — вопил священник, простирая к ним руки.— Ipse vero Antichristus opes malorum effodiet et exponet.— Так говорил великий учитель Ансельм Кентерберийский. Effodiet — слышите? — Антихрист выроет древних богов из земли и снова явит их миру...

Но никто уже не слушал.

— И бедовый же у нас отец Фаустино! — покачивал головой благоразумный мельник.— В чем душа держится, а на, поди ты, как расхорохорился! Добро бы клад нашли...

— Идолище-то, говорят, серебряное.

— Какой серебряное! Сам видел: мраморная, вся голая, бесстыдница...

— С такой паскудою, прости Господи, и рук-то марать не стоит!

— Ты куда, Закелло?

— В поле пора.

— Ну, с богом, а я на виноградник.

Вся ярость священника обратилась на прихожан:

— А, вот вы как, псы неверные, хамово отродье! Пастыря покинули! Да знаете ли вы, исчадие сатанинское, что если бы я за вас денно и нощно не молился, не бил себя в грудь, не рыдал и не постился,— давно бы уже все ваше селение окаянное сквозь землю провалилось? Кончено! Уйду от вас, и прах от ног моих отряхну. Проклятье на землю сию! Проклятье на хлеб и воду, и стада, и детей, и внуков ваших! Не отец я вам больше, не пастырь! Анафема!

VII

В тихой глубине виллы, где богиня лежала на золотом соломенном ложе, Джорджо Мерула подошел к незнакомцу, измерявшему статую.

— Божественной пропорции ищете? — молвил ученый с покровительственной усмешкой.— Красоту желаете к математике свести?

Тот молча посмотрел на него, как будто не расслышал вопроса, и опять углубился в работу.

Ножки циркуля складывались и раздвигались, описывая правильные геометрические фигуры. Спокойным, твердым движением приставил он угломер к прекрасным губам Афродиты,— сердце Джованни улыбка этих губ наполняла ужасом,— сосчитал деления и записал в книгу.

— Позвольте полюбопытствовать,— приставал Мерула,— тут сколько делений?

— Прибор неточный,— ответил незнакомец нехотя.— Обыкновенно для измерения пропорций я разделяю человеческое лицо на градусы, доли, секунды и терции. Каждое деление — двенадцатая часть предыдущего.

— Однако! — произнес Мерула.— Мне кажется, что последнее деление — меньше, чем ширина тончайшего волоса. Пять раз двенадцатая часть...

— Терция,— так же нехотя объяснил ему собеседник,— одна сорок восемь тысяч восемьсот двадцать третья часть всего лица.

Мерула поднял брови и усмехнулся:

— Век живи — век учись. Никогда не думал я, что можно дойти до такой точности!

— Чем точнее, тем лучше,— заметил собеседник.

— О, конечно!.. Хотя, знаете ли, в искусстве, в красоте, все эти математические расчеты — градусы, секунды... Я, признаться, не могу поверить, чтобы художник, в порыве восторга, пламенного вдохновения, так сказать, под наитием Бога...

— Да, да, вы правы,— со скучающим видом согласился незнакомец,— а все же любопытно знать...

И, наклонившись, сосчитал по угломеру число делений между началом волос и подбородком.

— Знать! — подумал Джованни.— Разве тут можно знать и мерить? Какое безумие! Или он не чувствует, не понимает?..

Мерула, очевидно желая задеть противника за живое и вызвать на спор, начал говорить о совершенстве древних, о том, что следует им подражать. Но собеседник молчал, и когда Мерула кончил,— произнес с тонкой усмешкой в свою длинную бороду:

— Кто может пить из родника — не станет пить из сосуда.

— Позвольте! — воскликнул ученый.— Если вы и древних считаете водою в сосуде, то где же родник?

— Природа,— ответил незнакомец просто.

И когда Мерула опять заговорил напыщенно и раздражительно,— он уже не спорил и соглашался с уклончивой любезностью. Только скучающий взор холодных глаз становился все равнодушнее.

Наконец, Джорджо умолк, истощив свои доводы. Тогда собеседник указал на некоторые углубления в мраморе: ни в каком свете, ни слабом, ни сильном, нельзя было видеть их глазом,— только ощупью, проводя рукою по гладкой поверхности, можно было чувствовать эти бесконечные тонкости работы. И одним глубоким, чуждым восторга, пытливым взором окинул незнакомец все тело богини.

— А я думал, что он не чувствует! — удивился Джованни.— Но, если чувствует, то как можно мерить, испытывать, разлагать на числа? Кто это?

— Мессере,— прошептал Джованни на ухо старику,— послушайте, мессере Джорджо,— как имя этого человека?

— А, ты здесь, монашек,— произнес Мерула, обернувшись,— я и забыл о тебе. Да ведь это и есть твой любимец. Как же ты не узнал? Это мессер Леонардо да Винчи.

И Мерула познакомил Джованни с художником.

VIII

Они возвращались во Флоренцию.

Леонардо ехал шагом на коне. Бельтраффио шел рядом пешком. Они были одни.

Между отволглыми черными корнями олив зеленела трава с голубыми ирисами, неподвижными на тонких стеблях. Было так тихо, как бывает только ранним утром раннею весною.

— Неужели это он? — думал Джованни, наблюдая и находя в нем каждую мелочь любопытной.

Ему было лет за сорок. Когда он молчал и думал — острые, светло-голубые глаза под нахмуренными бровями смотрели холодно и проницательно. Но во время разговора становились добрыми. Длинная белокурая борода и такие же светлые, густые, вьющиеся волосы придавали ему вид величавый. Лицо полно было тонкою, почти женственною прелестью, и голос, несмотря на большой рост и могучее телосложение, был тонкий, странно высокий,

очень приятный, но не мужественный. Красивая рука,— по тому, как он правил конем, Джованни угадывал, что в ней большая сила,— была нежная, с длинными тонкими пальцами, точно у женщины.

Они подъезжали к стенам города. Сквозь дымку утреннего солнца виднелся купол Собора и башня Палаццо Веккьо.

— Теперь или никогда,— думал Бельтраффио.— Надо решить и сказать, что я хочу поступить к нему в мастерскую.

В это время Леонардо, остановив коня, наблюдал за полетом молодого кречета, который, выслеживая добычу,— утку или цаплю в болотных камышах Муньоне,— кружился в небе плавно и медленно; потом упал стремглав, точно камень, брошенный с высоты, с коротким хищным криком, и скрылся за верхушками деревьев. Леонардо проводил его глазами, не упуская ни одного поворота, движения и взмаха крыльев, открыл привязанную к поясу памятную книжку и стал записывать,— должно быть, наблюдения над полетом птицы.

Бельтраффио, заметив, что карандаш он держал не в правой, а в левой руке, подумал: «левша» — и вспомнил странные слухи, ходившие о нем,— будто бы Леонардо пишет свои сочинения обратным письмом, которое можно прочесть только в зеркале,— не слева направо, как все, а справа налево, как пишут на Востоке. Говорили, что он это делает для того, чтобы скрыть преступные, еретические мысли свои о природе и Боге.

— Теперь или никогда! — снова сказал себе Джованни и вдруг вспомнил суровые слова Антонио да Винчи: «Ступай к нему, если хочешь погубить душу свою: он еретик и безбожник».

Леонардо с улыбкой указал ему на миндальное деревцо: маленькое, слабое, одинокое, росло оно на вершине пригорка и, еще почти голое, зябкое, уже доверчиво и празднично оделось бело-розовым цветом, который сиял, насквозь пронизанный солнцем, и нежился в голубых небесах.

Но Бельтраффио не мог любоваться. На сердце его было тяжело и смутно.

Тогда Леонардо, как будто угадав печаль его, с добрым тихим взором сказал слова, которые Джованни часто вспоминал впоследствии:

— Если хочешь быть художником, оставь всякую печаль и заботу, кроме искусства. Пусть душа твоя будет,

как зеркало, которое отражает все предметы, все движения и цвета, само оставаясь неподвижным и ясным.

Они въехали в городские ворота Флоренции.

IX

Бельтраффио пошел в Собор, где в это утро должен был проповедовать брат Джироламо Савонарола.

Последние звуки органа замирали под гулкими сводами Мариа дель Фьоре. Толпа наполняла церковь душной теплотой, тихим шелестом. Дети, женщины и мужчины отделены были одни от других завесами. Под стрельчатыми арками, уходившими ввысь, было темно и таинственно, как в дремучем лесу. А внизу кое-где лучи солнца, дробясь в темно-ярких стеклах, падали дождем радужных отблесков на живые волны толпы, на серый камень столбов. Над алтарем во мраке краснели огни семисвещников.

Обедня отошла. Толпа ожидала проповедника. Взоры обращены были на высокую деревянную кафедру с витою лестницею, прислоненную к одной из колонн в среднем корабле собора.

Джованни, стоя в толпе, прислушивался к тихим разговорам соседей:

— Скоро ли? — тоскливым голосом спрашивал низкорослый, задыхавшийся в тесноте, человек с бледным, потным лицом и прилипшими ко лбу волосами, перевязанными тонким ремнем,— должно быть, столяр.

— Одному Богу известно,— отвечал котельщик, широкоскулый, краснолицый великан с одышкой.— Есть у него в Сан-Марко некий монашек Маруффи, косноязычный и юродивый. Как тот скажет, что пора,— он и идет. Намедни четыре часа прождали, думали, совсем не будет проповеди, а тут и пришел.

— О, Господи, Господи! — вздохнул столяр,— я ведь с полночи жду. Отощал, в глазах темнеет. Маковой росинки во рту не было. Хоть бы на корточки присесть.

— Говорил я тебе, Дамьяно, что надо загодя прийти. А теперь от кафедры вон как далеко. Ничего не услышим.

— Ну, брат, услышишь, не бойся. Как закричит, загремит,— тут тебе не только глухие, но и мертвые услышат!

— Нынче, говорят, пророчествовать будет?

— Нет,— пока Ноева ковчега не достроит...

— Или не слышали? Кончено все до последней доски. И таинственное дано истолкование: длина ковчега — вера, ширина — любовь, высота — надежда. Поспешайте, сказано, поспешайте в Ковчег Спасения, пока еще двери от-

верзты! Се, время близко, закроются врата; и восплачут многие, что не покаялись, не вошли...

— Сегодня, братцы, о потопе,— семнадцатый стих шестой главы книги Бытия.

— Новое, говорят, было видение о гладе, море и войне.

— Коновал из Валломброзы сказывал,— над селением ночью в небе несметные полчища сражались, слышен был стук мечей и броней...

— А правда ли, добрые люди, будто бы на лике Пресвятой Девы, что в Нунциате дей-Серви, кровавый пот выступил?

— Как же! И у Мадонны на мосту Рубаконте каждую ночь слезы капают из глаз. Тетка Лучия сама видела.

— Не к добру это, ой, не к добру! Господи, помилуй нас грешных...

На половине женщин произошло смятение: упала в обморок старушка, стиснутая толпой. Старались поднять ее и привести в чувство.

— Скоро ли? Мочи моей больше нет! — чуть не плакал тщедушный столяр, вытирая пот с лица.

И вся толпа изнывала в бесконечном ожидании.

Вдруг море голов всколыхнулось. Послышался шепот.

— Идет, идет, идет! — Нет, не он.— Фра Доменико да Пешия.— Он, он! — Идет!

Джованни увидел, как на кафедру медленно взошел и откинул куколь с головы человек в черной и белой доминиканской одежде, подпоясанный веревкой, с лицом исхудалым и желтым, как воск, с толстыми губами, крючковатым носом, низким лбом.

Левую руку, как бы в изнеможении, опустил на кафедру, правую поднял и протянул, сжимая Распятие. И молча, медленным взором горящих глаз обвел толпу.

Наступила такая тишина, что каждый мог слышать удары собственного сердца.

Неподвижные глаза монаха разгорались все ярче, как уголья. Он молчал,— и ожидание становилось невыносимым. Казалось — еще миг, и толпа не выдержит, закричит от ужаса.

Но сделалось еще тише, еще страшнее.

И вдруг в этой мертвой тишине раздался оглушительный, раздирающий, нечеловеческий крик Савонаролы:

— Ecce ego adduco aquas super terram! Се Аз низведу воды на землю!

Дыхание ужаса, от которого волосы дыбом встают на голове, пронеслось над толпой.

Джованни побледнел: ему почудилось, что земля шатается, своды собора сейчас рухнут и раздавят его. Рядом с ним толстый котельщик затрясся, как лист, и застучал зубами. Столяр весь съежился, вобрал голову в плечи, точно под ударом,— сморщил лицо и зажмурил глаза.

То была не проповедь, а бред, который вдруг охватил все эти тысячи народа, и помчал их, как мчит ураган сухие листья.

Джованни слушал, едва понимая. До него долетали отдельные слова:

«Смотрите, смотрите, вот уже небеса почернели. Солнце багрово, как запекшаяся кровь. Бегите! Будет дождь из огня и серы, будет град из раскаленных камней и целых утесов! Fuge, o, Sion, quae habitas apud filiam Babylonis! [1]»

«О, Италия, придут казни за казнями! Казнь войны — за голодом, казнь чумы — за войною! Казнь здесь и там — всюду казни!»

«У вас не хватит живых, чтобы хоронить мертвых! Их будет столько в домах, что могильщики пойдут по улицам и станут кричать: «У кого есть мертвые? и будут наваливать на телеги до самых лошадей, и, сложив их целыми горами, сжигать. И опять пойдут по улицам, крича: «у кого есть мертвые? У кого есть мертвые?» И выйдете вы к ним и скажете: «вот мой сын, вот мой брат, вот мой муж». И пойдут они далее и будут кричать: «нет ли еще мертвецов?»

«О, Флоренция, о, Рим, о, Италия! Прошло время песен и праздников. Вы больны, даже до смерти — Господи, ты свидетель, что я хотел поддержать моим словом эту развалину. Но не могу больше, нет моих сил! Я не хочу больше, я не знаю, что еще говорить. Мне остается только плакать, изойти слезами. Милосердия, милосердия, Господи!.. О, мой бедный народ, о, Флоренция!..»

Он раскрыл объятия и последние слова произнес чуть слышным шепотом. Они пронеслись над толпою и замерли, как шелест ветра в листьях, как вздох бесконечной жалости.

И прижимая помертвелые губы к Распятию, в изнеможении опустился он на колени и зарыдал.

Медленные, тяжкие звуки органа загудели, разрастаясь все шире и необъятнее, все торжественнее и грознее, подобно рокоту ночного океана.

---

[1] Беги, о, Сион, живущий у дщери Вавилонской! (*лат.*)

Кто-то вскрикнул в толпе женщин пронзительным голосом:

— Misericordia!

И тысячи голосов ответили, перекликаясь. Словно колосья в поле под ветром,— волны за волнами, ряды за рядами,— теснясь, давя друг друга, как под грозою овцы в испуганном стаде, они падали на колени. И сливаясь с многоголосым ревом и гулом органа, потрясая землю, каменные столбы и своды собора, вознесся покаянный вопль народа, крик погибающих людей к Богу:

— Misericordia! Misericordia!

Джованни упал, рыдая. Он чувствовал на спине своей тяжесть толстого котельщика, который в тесноте навалился на него, горячо дышал ему в шею и тоже рыдал. Рядом тщедушный столяр странно и беспомощно всхлипывал, точно икал, захлебываясь, как маленькие дети, и кричал пронзительно:

— Милосердия! Милосердия!

Бельтраффио вспомнил свою гордыню и мирское любомудрие, желание уйти от фра Бенедетто и предаться опасной, быть может, богопротивной науке Леонардо, вспомнил и последнюю страшную ночь на Мельничном Холме, воскресшую Венеру, свой грешный восторг перед красотой Белой Дьяволицы — и протягивая руки к небу, таким же отчаянным голосом, как все, возопил:

— Помилуй, Господи! Согрешил я пред Тобою, прости и помилуй!

И в то же мгновение, подняв лицо, мокрое от слез, увидел невдалеке Леонардо да Винчи. Художник стоял, опираясь плечом о колонну, в правой руке держал свою неизменную записную книжку, левой рисовал в ней, иногда вскидывая глаза на кафедру, должно быть, надеясь еще раз увидеть голову проповедника.

Чуждый всем, один в толпе, обуянной ужасом, Леонардо сохранял совершенное спокойствие. В холодных, бледно-голубых глазах его, в тонких губах, плотно сжатых, как у человека, привыкшего к вниманию и точности, была не насмешка, а то самое любопытство, с которым он мерил математическими приборами тело Афродиты.

Слезы на глазах Джованни высохли; молитва замерла на губах.

Выйдя из церкви, он подошел к Леонардо и попросил позволения взглянуть на рисунок. Художник сперва не соглашался; но Джованни настаивал с умоляющим видом.

и, наконец, Леонардо отвел его в сторону и подал ему записную книжку.

Джованни увидел страшную карикатуру.

Это было лицо не Савонаролы, а старого безобразного дьявола в монашеской рясе, похожего на Савонаролу, изможденного самоистязаниями, но не победившего гордыни и похоти. Нижняя челюсть выдавалась вперед, морщины бороздили щеки и шею, отвислую, черную, как на высохшем трупе, вздернутые брови щетинились, и нечеловеческий взор, полный упрямой, почти злобной мольбы, устремлен был в небо. Все темное, ужасное и безумное, что предавало брата Джироламо во власть юродивому, косноязычному ясновидцу Маруффи, было испытано в этом рисунке, обнажено без гнева и жалости, с невозмутимой ясностью знания.

И Джованни вспомнил слова Леонардо:

«Душа художника должна быть подобной зеркалу, которое отражает все предметы, все движения и цвета, само оставаясь неподвижным и ясным».

Ученик фра Бенедетто поднял глаза на Леонардо и почувствовал, что хотя бы ему, Джованни, грозила вечная погибель, хотя бы он убедился, что Леонардо действительно слуга Антихриста,— не может он уйти от него, и неодолимая сила привлекает его к этому человеку: он должен узнать его до конца.

X

Дня через два во Флоренцию, в дом мессера Чиприано Буонаккорзи, в это время занятого неожиданным стечением торговых дел и потому не успевшего перевезти Венеру в город,— прибежал Грилло с горестным известием: приходский священник, отец Фаустино, покинув Сан-Джервазио, отправился в соседнее горное селение Сан-Маурицио, запугал народ небесными карами, собрал ночью отряд поселян, осадил виллу Буонаккорзи, выломал двери, избил садовника Строкко, связал по рукам и ногам приставленных к Венере сторожей; над богиней была прочитана сложенная в древние времена молитва — oratio super offigies vasaque in loco antiquo reperta; в этой молитве над изваяниями и сосудами, находимыми в древних гробницах, служитель церкви просит Бога очистить вырытые из земли предметы от языческой скверны, обратив их на пользу душ христианских во славу Отца, Сына и Духа Святого,— ut omni immunditia depulsa sint fidelibus tius utenda per Cristum Dominum nostrum. Потом

мраморное изваяние разбили, осколки бросили в печь, обожгли, приготовили известь и обмазали ею недавно выведенную стену сельского кладбища.

При этом рассказе старого Грилло, который едва не плакал от жалости к идолу, Джованни почувствовал решимость. В тот же день пошел он к Леонардо и попросил, чтобы художник принял его учеником в свою мастерскую.

И Леонардо принял его.

Немного времени спустя во Флоренцию пришла весть о том, что Карл VIII, христианнейший король Франции, во главе несметного войска, выступил в поход для завоевания Неаполя и Сицилии, быть может, Рима и Флоренции.

Граждане были в ужасе, ибо видели, что пророчества брата Джироламо Савонаролы совершаются — казни идут и меч Божий опускается на Италию.

ВТОРАЯ КНИГА

ECCE DEUS — ECCE HOMO[1]

I

«Если тяжелый орел на крыльях держится в редком воздухе, если большие корабли на парусах движутся по морю,— почему не может и человек, рассекая воздух крыльями, овладеть ветром и подняться на высоту победителем?»

В одной из своих старых тетрадей прочел Леонардо эти слова, написанные пять лет назад. Рядом был рисунок: дышло, с прикрепленным к нему круглым железным стержнем, поддерживало крылья, приводимые в движение веревками.

Теперь машина эта казалась ему неуклюжей и безобразной.

Новый прибор напоминал летучую мышь. Остов крыла состоял из пяти пальцев, как на руке скелета, многоколенчатых, сгибающихся в суставах. Сухожилие из ремней дубленой кожи и шнурков сырого шелка, с рычагом и шайбой, в виде мускула, соединяло пальцы. Крыло поднималось посредством подвижного стержня и шатуна. Накрахмаленная тафта, не пропускавшая воздуха, как перепонка на гусиной лапе, сжималась и распускалась. Четыре крыла ходили крест-накрест, как ноги лошади. Длина их — сорок локтей, высота подъема — восемь. Они откидывались назад, давая ход вперед, и опускались, подымая машину вверх. Человек, стоя, вдевал ноги в стремена, приводившие в движение крылья посредством шнуров, блоков и рычагов. Голова управляла большим рулем с перьями, наподобие птичьего хвоста.

Птица, прежде чем вспорхнуть с земли, для первого размаха крыльев, должна приподняться на лапках: каменный стриж, у которого лапки короткие, положенный на землю, бьется и не может взлететь.

[1] Се Бог — се человек *(лат.)*.

Две тростниковые лесенки заменяли в приборе птичьи лапки.

Леонардо знал по опыту, что совершенное устройство машины сопровождается изяществом и соразмерностью всех частей: уродливый вид необходимых лесенок смущал изобретателя.

Он погрузился в математические выкладки: искал ошибку и не мог найти. Вдруг со злобой зачеркнул страницу, наполненную мелкими тесными рядами цифр, на полях написал: «неверно!» и сбоку прибавил ругательство большими, яростными буквами: «К черту!»

Вычисления становились все запутаннее; неуловимая ошибка разрасталась.

Пламя свечи неровно мигало, раздражая глаз. Кот, успевший выспаться, вспрыгнул на рабочий стол, потянулся, выгнул спину и начал играть лапкою с изъеденным молью чучелом птицы, подвешенным на бечевке к деревянной перекладине,— прибором для определения центра тяжести при изучении полета. Леонардо толкнул кота, так что он едва не упал со стола и жалобно мяукнул.

— Ну, Бог с тобой, ложись, где хочешь,— только не мешай.

Ласково провел рукою по черной шерсти. В ней затрещали искры. Кот поджал бархатные лапки, важно улегся, замурлыкал и устремил на хозяина неподвижные зеленоватые зрачки, полные негой и тайною.

Опять потянулись цифры, скобки, дроби, уравнения, кубические и квадратные корни.

Вторая бессонная ночь пролетала незаметно.

Вернувшись из Флоренции в Милан, Леонардо провел целый месяц, почти никуда не выходя, в работе над летательной машиной.

В открытое окно заглядывали ветки белой акации, иногда роняя на стол нежные, сладко-пахучие цветы. Лунный свет, смягченный дымкой рыжеватых облаков с перламутровым отливом, падал в комнату, смешиваясь с красным светом заплывшей свечи.

Комната была загромождена машинами и приборами по астрономии, физике, химии, механике, анатомии. Колеса, рычаги, пружины, винты, трубы, стержни, дуги, поршни и другие части машин — медные, стальные, железные, стеклянные — как члены чудовищ или громадных насекомых, торчали из мрака, переплетаясь и путаясь. Виднелся водолазный колокол, мерцающий хрусталь оптического прибора, изображавшего глаз в больших размерах, скелет

лошади, чучело крокодила, банка с человеческим зародышем в спирту, похожим на бледную огромную личинку, острые лодкообразные лыжи для хождения по воде, и рядом, должно быть, случайно попавшая сюда из мастерской художника, глиняная головка девушки или ангела с лукавой и грустной улыбкой.

В глубине, в темном зеве плавильной печи с кузнечными мехами, розовели под пеплом угли.

И надо всем от полу до потолка распростирались крылья машины — одно еще голое, другое затянутое перепонкою. Между ними на полу, развалившись и закинув голову, лежал человек, должно быть, уснувший во время работы. В правой руке его была рукоять закоптелого медного черпака, откуда на пол вылилось олово. Одно из крыльев нижним концом тростникового легкого остова касалось груди спящего и от его дыхания тихонько вздрагивало, двигалось, как живое, шуршало о потолок острым верхним концом.

В неверном сиянии луны и свечки машина, с человеком между раскинутыми крыльями, имела вид гигантского нетопыря, готового вспорхнуть и улететь.

II

Луна закатилась. С огородов, окружавших дом Леонардо в предместии Милана между крепостью и монастырем Мария делле Грацие, повеяло запахом овощей и трав — мелиссы, мяты, укропа. В гнезде над окном защебетали ласточки. В сажалке утки брызгались и весело крякали.

Пламя свечи померкло. Рядом, в мастерской, послышались голоса учеников.

Их было двое — Джованни Бельтраффио и Андреа Салаино. Джованни срисовывал анатомический слепок, сидя перед прибором для изучения перспективы — четырехугольной деревянной рамой с веревочной сеткой, которая соответствовала такой же сетке из пересекавшихся линий на бумаге рисовальщика.

Салаино накладывал алебастр на липовую доску для картины. Это был красивый мальчик с невинными глазами и белокурыми локонами, баловень учителя, который писал с него ангелов.

— Как вы думаете, Андреа,— спросил Бельтраффио,— скоро ли мессер Леонардо кончит машину?

— А Бог его знает,— ответил Салаино, насвистывая песенку и поправляя атласные, шитые серебром, отвороты

новых башмаков.— В прошлом году два месяца просидел, и ничего не вышло, кроме смеха. Этот косолапый медведь Зороастро пожелал лететь, во что бы то ни стало. Учитель его отговаривал, но тот заупрямился. И представь, взобрался-таки чудак на крышу, обмотал себя по всему телу связанными, как четки, бычачьими да свиными пузырями, чтобы не разбиться, если упадет,— поднял крылья и сначала вспорхнул, ветром его понесло, что ли, а потом сорвался, полетел вверх ногами — и прямо в навозную кучу. Мягко было, не расшибся, а только все пузыри на нем сразу лопнули, и такой был гром, как от пушечного выстрела,— даже галки на соседней колокольне испугались и улетели. А новый-то наш Икар ногами болтает в воздухе, вылезть не может из навозной кучи!

В мастерскую вошел третий ученик Чезаре да Сесто, человек уже немолодой, с болезненным желчным лицом, с умными и злыми глазами. В одной руке держал он кусок хлеба с ломтем ветчины, в другой — стакан вина.

— Тьфу, кислятина! — плюнул он, поморщившись.— И ветчина, как подошва. Удивляюсь: жалованья две тысячи дукатов в год — и кормит людей такою дрянью!

— Вы бы из другого бочонка, что под лестницей, в чулане,— молвил Салаино.

— Пробовал. Еще хуже. Что это у тебя, опять обновка? — посмотрел Чезаре на щегольской берет Салаино из пунцового бархата.— Ну и хозяйство у нас, нечего сказать. Собачья жизнь! На кухне второй месяц свежего окорока не могут купить. Марко божится, что у самого мастера ни гроша — все на эти крылья окаянные просаживает, в черном теле держит всех,— а деньги-то, вот они где! Любимчиков задаривает! Бархатные шапочки! И как тебе не стыдно, Андреа, от чужих людей подачки принимать? Ведь мессер Леонардо тебе не отец, не брат, и ты уже не маленький...

— Чезаре,— сказал Джованни, чтобы переменить разговор,— намедни вы обещали мне объяснить одно правило перспективы, помните? Учителя мы, видно, не дождемся. Он так занят машиною...

— Да, братцы, погодите,— ужо все в трубу вылетим с этой машиною, чтобы черт ее побрал! А, впрочем, не одно, так другое. Помню, однажды, среди работы над Тайной Вечерей, мастер вдруг увлекся изобретением новой машины для приготовления миланской червеллаты — белой колбасы из мозгов. И голова апостола Иакова Старшего так и осталась неоконченной, ожидая совершенства

колбасного крошила. Лучшую из своих Мадонн забросил он в угол, пока изобретал самовращающийся вертел, чтобы равномерно жарить каплунов и поросят. А это великое открытие щелока из куриного помета для стирки белья! Верите ли,— нет такой глупости, которой бы мессер Леонардо не предался с восторгом, только бы отделаться от живописи!

Лицо Чезаре передернулось судорогою, тонкие губы сложились в злую усмешку.

— И зачем только Бог дает таким людям талант! — прибавил он тихо и яростно.

III

А Леонардо все еще сидел, согнувшись над рабочим столом.

Ласточка влетела в открытое окно и закружилась в комнате, задевая о потолок и стены; наконец попала в крыло летательного прибора, как в западню, и запуталась в сетке веревочных сухожилий своими маленькими живыми крыльями.

Леонардо подошел, освободил пленницу, бережно, так, чтобы не причинить ей боли, взял в руку, поцеловал в шелковисто-черную головку и пустил в окно.

Ласточка взвилась и потонула в небе с радостным криком.

— Как легко, как просто! — подумал он, проводив ее завистливым, печальным взором. Потом с брезгливым чувством взглянул на свою машину, на мрачный остов исполинской летучей мыши.

Человек, спавший на полу, проснулся.

Это был помощник Леонардо, искусный флорентинский механик и кузнец, по имени Зороастро или Астро да Перетола.

Он вскочил, протирая свой единственный глаз: другой — вытек от искры, попавшей в него из пылающего горна во время работы. Неуклюжий великан, с детским простодушным лицом, вечно покрытым сажей и копотью, походил на одноглазого циклопа.

— Проспал! — воскликнул кузнец, в отчаянии хватаясь за голову.— Черт меня побери! — Эх, мастер, как же вы не разбудили? Торопился, думал, к вечеру и левое кончу, чтобы завтра утром лететь...

— Хорошо сделал, что выспался,— молвил Леонардо.— Все равно крылья не годятся.

— Как? Опять не годятся? Ну, нет, мессере, воля ваша, а я этой машины переделывать не стану. Сколько денег, сколько труда! И опять все прахом пойдет! Чего же еще? Чтоб на этаких крыльях да не полететь! Не только человека — слона подымут! Вот увидите, мастер. Дозвольте разок попытаться — ну, хоть над водой,— если упаду, только выкупаюсь, я ведь плаваю, как рыба, ни за что не утону!

Он сложил руки с умоляющим видом.

Леонардо покачал головой.

— Потерпи, друг. Все будет в свое время. Потом...

— Потом! — простонал кузнец, чуть не плача.— Отчего же не теперь? Право же, ну вот, как Бог свят,— полечу!

— Не полетишь, Астро. Тут математика.

— Так я и знал! Ну ее ко всем дьяволам, вашу математику! Только смущает. Сколько лет корпим! Душа изныла. Каждый глупый комар, моль, муха, прости Господи, поганая, навозная, и та летает, а люди, как черви, ползают. Разве это не обида? И чего ждать? Ведь вот они, крылья! Все готово,— кажется, взял бы, благословясь, взмахнул да и полетел,— только меня и видели!

Вдруг он что-то вспомнил, и лицо его просияло.

— Мастер, а, мастер? Что я тебе скажу. Сон-то я какой видел сегодня. Удивительный!

— Опять летал?

— Да. И ведь как! Ты только послушай. Стою будто бы среди толпы в незнакомой горнице. Все на меня смотрят, пальцами указывают, смеются. Ну, думаю, если теперь не полечу — плохо. Подскочил, руками замахал изо всей мочи и стал подыматься. Сперва трудно, словно гора на плечах. А потом все легче да легче,— взвился, едва головой о потолок не стукнулся. И все кричат: смотрите, смотрите — полетел! Я прямо в окно, и все выше да выше, под самое небо,— только ветер в ушах свистит, и весело мне, смеюсь: почему, думаю, прежде не умел летать. Разучился, что ли? Ведь вот как просто! И никакой машины не надо!

IV

Послышались вопли, ругательства, топот быстрых шагов по лестнице. Дверь распахнулась, и в нее вбежал человек с жесткой щетиной огненно-рыжих волос, с красным лицом, покрытым веснушками. Это был ученик Леонардо — Марко д'Оджоне.

Он бранился, бил и тащил за ухо худенького мальчика лет десяти.

— Да пошлет тебе Господь злую Пасху, негодяй! Пятки я тебе сквозь глотку пропущу, мерзавец!

— За что ты его, Марко? — спросил Леонардо.

— Помилуйте, мессер! Две серебряные пряжки стибрил, флоринов десять каждая. Одну успел заложить и деньги в кости проиграл, другую зашил себе в платье, за подкладку — я там и нашел. Как следует хотел оттаскать за вихры, а он мне же руку до крови укусил, чертенок!

И с новой яростью схватил мальчика за волосы.

Леонардо заступился и отнял у него ребенка. Тогда Марко выхватил из кармана связку ключей — он исполнял должность ключника в доме — и крикнул:

— Вот ключи, мессере! С меня довольно! С негодяями и ворами в одном доме я не живу. Или я, или он!

— Ну, успокойся, Марко, успокойся... Я накажу его, как следует.

Из двери мастерской выглядывали подмастерья. Между ними протеснилась толстая женщина — стряпуха Матурина. Только что вернулась она с рынка и держала в руке корзину с луком, рыбою, алыми жирными баклажанами и волокнистыми фэнокки. Увидев маленького преступника, замахала руками и затараторила — точно сухой горох посыпался из дырявого мешка.

Говорил и Чезаре, выражая удивление, что Леонардо терпит в доме этого «язычника», ибо нет такой бесцельной и жестокой шалости, на которую не способен Джакопо: камнем перешиб намедни ногу больному старому Фаджано, дворовому псу, разорил гнездо ласточек над конюшнею, и все знают, что его любимая забава — обрывать бабочкам крылья, любуясь их мучениями.

Джакопо не отходил от учителя, посматривая на врагов исподлобья, как затравленный волчонок. Красивое бледное лицо его было неподвижно. Он не плакал, но, встречая взгляд Леонардо, злые глаза выражали робкую мольбу.

Матурина вопила, требуя, чтобы выпороли, наконец, этого бесенка: иначе он всем на шею сядет, и житья от него не будет.

— Тише, тише! Замолчите, ради Бога,—произнес Леонардо, и на лице его появилось выражение странного малодушия, беспомощной слабости перед семейным бунтом.

Чезаре смеялся и шептал, злорадствуя.

— Смотреть тошно! Мямля! С мальчишкой справиться не может...

Когда наконец все накричались вдоволь и мало-помалу

разошлись, Леонардо подозвал Бельтраффио, сказал ему ласково:

— Джованни, ты еще не видел Тайной Вечери. Я туда иду. Хочешь со мной?

Ученик покраснел от радости.

V

Они вышли на маленький двор. Посередине был колодец. Леонардо умылся. Несмотря на две бессонные ночи, он чувствовал себя свежим и бодрым.

День был туманный, безветренный, с бледным, точно подводным, светом; такие дни художник любил для работы.

Пока они стояли у колодца, подошел Джакопо. В руках держал он самодельную коробочку из древесной коры.

— Мессере Леонардо,— произнес мальчик боязливо,— вот для вас...

Он осторожно приподнял крышку: на дне коробки был громадный паук.

— Едва поймал,— объяснил Джакопо.— В щель между камнями ушел. Три дня просидел. Ядовитый!

Лицо мальчика вдруг оживилось.

— А как мух-то ест!

Он поймал муху и бросил в коробку. Паук кинулся на добычу, схватил ее мохнатыми лапами, и жертва забилась, зажужжала все слабее, все тоньше.

— Сосет, сосет! Смотрите,— шептал мальчик, замирая от наслаждения. Глаза его горели жестоким любопытством, и на губах дрожала неясная улыбка.

Леонардо тоже наклонился, глядя на чудовищное насекомое.

И вдруг Джованни показалось, что у них у обоих в лицах мелькнуло общее выражение, как будто, несмотря на бездну, отделявшую ребенка от художника, они сходились в этом любопытстве к ужасному.

Когда муха была съедена, Джакопо бережно закрыл коробочку и сказал:

— Я к вам на стол отнесу, мессере Леонардо,— может быть, вы еще посмотрите. Он с другими пауками смешно дерется...

Мальчик хотел уйти, но остановился и поднял глаза с умоляющим видом. Углы губ его опустились и дрогнули.

— Мессере,— произнес он тихо и важно,— вы на меня не сердитесь! Ну, что ж,— я и сам уйду, я давно думал, что надо уйти, только не для них — мне все равно, что они говорят,— а для вас. Ведь я знаю, что я вам надоел. Вы один добрый, а они злые, такие же, как я, только притворяются, а я не умею... Я уеду и буду один. Так лучше. Только вы меня все-таки простите...

Слезы заблестели на длинных ресницах мальчика. Он повторил еще тише, потупившись:

— Простите, мессере Леонардо!.. А коробочку я отнесу. Пусть останется вам на память. Паук проживет долго. Я попрошу Астро, чтобы он кормил его...

Леонардо положил руку на голову ребенка.

— Куда ты пойдешь, мальчик? Оставайся. Марко тебя простит, а я не сержусь. Ступай и вперед постарайся не делать зла никому.

Джакопо молча посмотрел на него большими недоумевающими глазами, в которых сияла не благодарность, а изумление, почти страх.

Леонардо ответил ему тихой, доброй улыбкой и погладил по голове с нежностью, как будто угадывая вечную тайну этого сердца, созданного природой злым и невинным во зле.

— Пора,— молвил учитель,— пойдем, Джованни.

Они вышли в калитку и, по безлюдной улице, между заборами садов, огородов и виноградников, направились к монастырю Мария делле Грацие.

VI

Последнее время Бельтраффио был опечален тем, что не мог внести учителю условленной ежемесячной платы в шесть флоринов. Дядя поссорился с ним и не давал ни гроша. Джованни брал деньги у фра Бенедетто, чтобы заплатить за два месяца. Но у монаха больше не было: он отдал ему последние.

Джованни хотел извиниться перед учителем.

— Мессере,— начал он робко, заикаясь и краснея,— сегодня четырнадцатое, а я плачу десятого по условию. Мне очень совестно... Но вот у меня всего только три флорина. Может быть, вы согласитесь подождать. Я скоро достану денег. Мерула обещал мне переписку...

Леонардо посмотрел на него с изумлением:

— Что ты, Джованни? Господь с тобой! Как тебе не стыдно говорить об этом?

По смущенному лицу ученика, по неискусным, жалобным и стыдливым заплатам на старых башмаках с протертыми веревочными швами, по изношенному платью он понял, что Джованни сильно нуждается.

Леонардо нахмурился и заговорил о другом.

Но через некоторое время, с небрежным и как бы рассеянным видом, пошарил в кармане, вынул золотую монету и сказал:

— Джованни, прошу тебя, зайди потом в лавку, купи мне голубой бумаги для рисования, листов двадцать, красного мела пачку да хорьковых кистей. Вот, возьми.

— Здесь дукат. На покупку десять сольди. Я принесу сдачи...

— Ничего не принесешь. Успеешь отдать. Больше о деньгах никогда и думать не смей, слышишь?

Он отвернулся и молвил, указывая на утренние туманные очертания лиственниц, уходивших вдаль длинным рядом по обоим берегам Навильо Гранде, канала, прямого, как стрела.

— Заметил ты, Джованни, как в легком тумане зелень деревьев становится воздушно-голубою, а в густом — бледно-серой.

Он сделал еще несколько замечаний о различии теней, бросаемых облаками на летние, покрытые листвою, и зимние, безлиственные горы.

Потом опять обернулся к ученику и сказал:

— А ведь я знаю, почему ты вообразил, что я скряга. Готов побиться об заклад, что верно угадал. Когда мы с тобой говорили о месячной плате, должно быть, ты заметил, как я расспросил и записал в памятную книжку все до последней мелочи, сколько, когда, от кого. Только, видишь ли? — надо тебе знать, друг мой, что у меня такая привычка, должно быть, от отца моего, нотариуса Пьетро да Винча, самого точного и благоразумного из людей. Мне она впрок не пошла и в делах никакой пользы не приносит. Веришь ли, иногда самому смешно перечитывать — такие пустяки записываю! Могу сказать с точностью, сколько данари стоило перо и бархат для новой шляпы Андреа Салаино, а куда тысячи дукатов уходят, не знаю. Смотри же,— вперед, Джованни, не обращай внимания на эту глупую привычку. Если тебе нужны деньги, бери и верь, что я тебе даю, как отец сыну...

Леонардо взглянул на него с такою улыбкой, что на сердце ученика сразу сделалось легко и радостно.

Указывая спутнику на странную форму одного низкорослого шелковичного дерева в саду, мимо которого они проходили, учитель заметил, что не только у каждого дерева, но и у каждого из листьев — особенная, единственная, более нигде и никогда в природе не повторяющаяся, форма, как у каждого человека — свое лицо.

Джованни подумал, что он говорит о деревьях с той же самой добротою, с которою только что говорил об его горе, как будто это внимание ко всему живому, обращаясь на природу, давало взгляду учителя проницательность ясновидящего.

На низменной, плодородной равнине из-за темнозеленых тутовых деревьев выступила церковь доминиканской обители Мария делле Грацие, кирпичная, розовая, веселая на белом облачном небе, с широким ломбардским куполом, подобным шатру, с лепными украшениями из обожженной глины — создание молодого Браманте.

Они вошли в монастырскую трапезную.

VII

Это была простая длинная зала с голыми выбеленными стенами, с темными деревянными балками потолка, уходившими вглубь. Пахло теплою сыростью, ладаном и застарелым чадом постных блюд. У простенка, ближайшего ко входу, находился небольшой обеденный стол отца-игумена. По обеим сторонам его — длинные узкие столы монахов.

Было так тихо, что слышалось жужжание мухи в окне с пыльно-желтыми гранями стекла. Из монастырской кухни доносился говор, стук железных сковород и кастрюль.

В глубине трапезной, у стены, противоположной столу приора, затянутой серым грубым холстом, возвышались дощатые подмостки.

Джованни догадался, что под этим холстом — произведение, над которым учитель работал уже более двенадцати лет,— Тайная Вечеря.

Леонардо взошел на подмостки, отпер деревянный ящик, где хранились подготовительные рисунки, картоны, кисти и краски, достал маленькую, исчерченную заметками на полях, истрепанную латинскую книгу, подал ее ученику и сказал:

— Прочти тринадцатую главу от Иоанна.

И откинул покрывало.

Когда Джованни взглянул, в первое мгновение ему показалось, что перед ним не живопись на стене, а дейст-

вительная глубина воздуха, продолжение монастырской трапезной — точно другая комната открылась за отдернутой завесою, так что продольные и поперечные балки потолка ушли в нее, суживаясь в отдалении, и свет дневной слился с тихим вечерним светом над голубыми вершинами Сиона, которые виднелись в трех окнах этой новой трапезной, почти такой же простой, как монашеская, только обитой коврами, более уютной и таинственной. Длинный стол, изображенный на картине, похож был на те, за которыми обедали монахи: такая же скатерть с узорными, тонкими полосками, с концами, завязанными в узлы, и четырехугольными, нерасправленными складками, как будто еще немного сырая, только что взятая из монастырской кладовой, такие же стаканы, тарелки, ножи, стеклянные сосуды с вином.

И он прочел в Евангелии:

«Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что возлюбив своих, сущих в мире, до конца возлюбил их.

И во время вечери, когда диавол уже вложил в сердце Иуде Искариоту предать Его,— возмутился духом, и сказал: аминь, аминь, глаголю вам, один из вас предаст меня.

Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком Он говорит.

«Один же из учеников Его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса.

Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит.

Он, припавши к груди Иисуса, сказал ему: «Господи, кто это?»

Иисус ответил: «тот, кому я, омочив хлеб, подам». И омочив хлеб, подал Иуде Симонову Искариоту.

И после сего куска вошел в него сатана».

Джованни поднял глаза на картину.

Лица апостолов дышали такою жизнью, что он как будто слышал их голоса, заглядывал в глубину их сердец, смущенных самым непонятным и страшным из всего, что когда-либо совершалось в мире,— рождением зла, от которого Бог должен умереть.

Особенно поразили Джованни Иуда, Иоанн и Петр. Голова Иуды не была еще написана, только тело, откинутое назад, слегка очерчено: сжимая в судорожных пальцах мошну со сребрениками, нечаянным движением руки опрокинул он солонку — и соль просыпалась.

Петр, в порыве гнева, стремительно вскочил из-за него, правой рукой схватил нож, левую опустил на плечо

Иоанна, как бы вопрошая любимого ученика Иисусова: «кто предатель?» — и старая, серебристо-седая, лучезарно гневная голова его сияла тою огненною ревностью, жаждою подвига, с которою некогда он должен был воскликнуть, поняв неизбежность страданий и смерти Учителя: «Господи, почему я не могу идти за тобою теперь? Я душу мою положу за Тебя».

Ближе всех ко Христу был Иоанн; мягкие как шелк, гладкие вверху, книзу вьющиеся волосы, опущенные веки, отягченные негою сна, покорно сложенные руки, лицо с продолговато-круглым очерком — все дышало в нем небесной тишиной и ясностью. Один из всех учеников, он больше не страдал, не боялся, не гневался. В нем исполнилось слово Учителя: «да будут все едино, как Ты, Отче, во мне и Я в Тебе».

Джованни смотрел и думал:

«Так вот кто Леонардо! А я еще сомневался, едва не поверил клевете. Человек, который создал это,—безбожник? Да кто же из людей ближе ко Христу, чем он!».

Окончив нежными прикосновениями кисти лицо Иоанна и взяв из ящика кусок угля, учитель пытался сделать очерк головы Иисуса.

Но ничего не выходило.

Обдумывая десять лет эту голову, он все еще не умел набросать даже первого очерка.

И теперь, как всегда, перед гладким белым местом в картине, где должен был и не мог явиться лик Господа, художник чувствовал свое бессилие и недоумение.

Отбросив уголь, стер губкою легкий след его и погрузился в одно из тех размышлений перед картиной, которые длились иногда целыми часами.

Джованни взошел на подмостки, тихонько приблизился к нему и увидел, что мрачное, угрюмое, точно постаревшее, лицо Леонардо выражает упорное напряжение мысли, подобное отчаянию. Но, встретив взор ученика, он молвил приветливо:

— Что скажешь, друг?

— Учитель, что я могу сказать? Это —прекрасно, прекраснее всего, что есть в мире. И этого никто из людей не понял, кроме вас. Но лучше не говорить. Я не умею...

Слезы задрожали в голосе его. И он прибавил тихо, как будто с боязнью:

— И вот, что я еще думаю и не понимаю: каким должно быть лицо Иуды среди таких лиц?

Учитель достал из ящика рисунок на клочке бумаги и показал ему.

Это было лицо страшное, но не отталкивающее, даже не злобное — только полное бесконечною скорбью и горечью познания.

Джованни сравнил его с лицом Иоанна.

— Да,— произнес он шепотом,— это он! Тот, о ком сказано: «вошел в него сатана». Он, может быть, знал больше всех, но не принял этого слова: «да будут все едино». Он сам хотел быть один.

В трапезную вошел Чезаре да Сесто с человеком в одежде придворных истопников.

— Наконец-то нашли мы вас! — воскликнул Чезаре.— Всюду ищем... От герцогини по важному делу, мастер!..

— Не угодно ли будет вашей милости пожаловать во дворец? — добавил истопник почтительно.

— Что случилось?

— Беда, мессер Леонардо! В банях трубы не действуют, да еще, как на грех, сегодня утром, только что герцогиня изволила в ванну сесть, а служанка за бельем вышла в соседнюю горницу, ручка на кране с горячей водою сломалась, так что их светлость никак не могли воду остановить. Хорошо, что успели выскочить из ванны. Едва кипятком не обожглись. Очень изволят гневаться: мессер Амброджо да Феррари, управляющий, жалуются, говорят,—неоднократно предупреждали вашу милость о неисправности труб...

— Вздор! — молвил Леонардо.— Видишь, я занят. Ступай к Зороастро. Он в полчаса поправит.

— Никак нет, мессере! Без вас приходить не велено...

Не обращая на него внимания, Леонардо хотел опять приняться за работу. Но, взглянув на пустое место для головы Иисуса, поморщился с досадою, махнул рукой, как бы вдруг поняв, что и на этот раз ничего не выйдет, запер ящик с красками и сошел с подмосток.

— Ну, пойдем, все равно! Приходи за мной на большой двор замка, Джованни. Чезаре тебя проводит. Я буду ждать вас у Коня.

Этот Конь был памятник покойного герцога Франческо Сфорца.

И к изумлению Джованни, не оглянувшись на Тайную Вечерю, как будто радуясь предлогу уйти от работы, учитель пошел с истопником чинить трубы для спуска грязной воды в герцогских банях.

— Что? Насмотреться не можешь? — обратился Чезаре к Бельтраффио.— Пожалуй, оно и вправду удивительно, пока не раскусишь...

— Что ты хочешь сказать?

— Нет, так... Я не буду разуверять тебя. Может быть, и сам увидишь. Ну, а пока — умиляйся...

— Прошу тебя, Чезаре, скажи прямо все, что ты думаешь.

— Изволь. Только, чур, потом не сердись и не пеняй за правду. Впрочем, я знаю все, что ты скажешь, и спорить не буду. Конечно, это — великое произведение. Ни у одного мастера не было такого знания анатомии, перспективы, законов света и тени. Еще бы! Все с природы списано — каждая морщинка в лицах, каждая складка на скатерти. Но духа живого нет. Бога нет и не будет. Все мертво — внутри, в сердце мертво! Ты только вглядись, Джованни, какая геометрическая правильность, какие треугольники: два созерцательных, два деятельных, средоточие во Христе. Вон по правую сторону — созерцательный: совершенное добро — в Иоанне, совершенное зло — в Иуде, различие добра от зла, справедливость — в Петре. А рядом — треугольник деятельный: Андрей, Иаков Младший, Варфоломей. И по левую сторону от центра — опять созерцательный: любовь Филиппа, вера Иакова Старшего, разум Фомы — и снова треугольник деятельный. Геометрия вместо вдохновения, математика вместо красоты! Все обдумано, рассчитано, изжевано разумом до тошноты, испытано до отвращения, взвешено на весах, измерено циркулем. Под святыней — кощунство!

— О, Чезаре! — произнес Джованни с тихим упреком,— как ты мало знаешь учителя! И за что ты так его... не любишь?..

— А ты знаешь и любишь? — быстро обернув к нему лицо, молвил Чезаре с язвительной усмешкой.

В глазах его сверкнула такая неожиданная злоба, что Джованни невольно потупился.

— Ты несправедлив, Чезаре,— прибавил он, помолчав.— Картина не кончена: Христа еще нет.

— Христа нет. А ты уверен, Джованни, что Он будет? Ну, что же, посмотрим! Только помяни мое слово: Тайной Вечери мессер Леонардо не кончит никогда, ни Христа, ни Иуды не напишет. Ибо, видишь ли, друг мой, математикой, знанием, опытом многого достигнешь, но не всего. Тут нужно другое. Тут предел, которого он со всей своей наукой не переступит!

Они вышли из монастыря и направились к замку Кастелло-ди-Порта-Джовиа.

— По крайней мере, в одном, Чезаре, ты наверное ошибаешься,— сказал Бельтраффио,— Иуда уже есть...

— Есть? Где?

— Я видел сам.

— Когда?

— Только что, в монастыре. Он мне показывал рисунок.

— Тебе? Вот как!

Чезаре посмотрел на него и молвил медленно, как будто с усилием:

— Ну и что же, хорошо?..

Джованни молча кивнул головою. Чезаре ничего не ответил и во всю дорогу уже больше не заговаривал, погруженный в задумчивость.

VIII

Они подошли к воротам замка и через Баттипонте, подъемный мост, вступили в башню южной стены, Торре-ди-Филарете, со всех сторон окруженную водою глубоких рвов. Здесь было мрачно, душно, пахло казармою, хлебом и навозом. Эхо под гулкими сводами повторяло разноязычный говор, смех и ругательства наемников.

Чезаре имел пропуск. Но Джованни, как незнакомого, осмотрели подозрительно и записали имя его в караульную книгу.

Через второй подъемный мост, где подвергли их новому осмотру, вступили они на пустынную внутреннюю площадь замка, Пьяцца д'Арме — Марсово Поле.

Прямо перед ними чернела зубчатая башня Бонны Савойской над Мертвым Рвом, Фоссато Морто. Справа был вход в почетный двор, Корте Дукале, слева — в самую неприступную часть замка, крепость Рокетту, настоящее орлиное гнездо.

Посередине площади виднелись деревянные леса, окруженные небольшими пристройками, заборами и навесами из досок, сколоченных на скорую руку, но уже потемневших от старости, кое-где покрытых пятнами желто-серых лишаев.

Над этими заборами и лесами возвышалось глиняное изваяние, называвшееся Колоссом, в двенадцать локтей вышины, конная статуя работы Леонардо.

Гигантский конь из темно-зеленой глины выделялся на облачном небе: он взвился на дыбы, попирая копытами

воина; победитель простирал герцогский жезл. Это был великий кондотьер, Франческо Сфорца, искатель приключений, продавший кровь свою за деньги — полусолдат, полуразбойник. Сын бедного романьольского землепашца, вышел он из народа, сильный, как лев, хитрый, как лиса, достиг вершины власти злодеяниями, подвигами, мудростью—и умер на престоле миланских герцогов.

Луч бледного влажного солнца упал на Колосса.

Джованни прочел в этих жирных морщинах двойного подбородка, в страшных глазах, полных хищною зоркостью, добродушное спокойствие сытого зверя. А на подножии памятника увидел запечатленное в мягкой глине рукой самого Леонардо двустишие:

Expectant animi molemque futuram,
Suspiciunt; fluat aes; vox erit: Ecce Deus![1]

Его поразили два последние слова Ecce Deus! — Се Бог!

— Бог,— повторил Джованни, взглянув на глиняного Колосса и на человеческую жертву, попираемую конем триумфатора, Сфорца-Насильника, и вспомнил безмолвную трапезную в обители Марии Благодатной, голубые вершины Сиона, небесную прелесть лица Иоанна и тишину последней Вечери того Бога, о котором сказано: Ecce homo! — Се человек!

К Джованни подошел Леонардо.

— Я кончил работу. Пойдем. А то опять позовут во дворец: там, кажется, кухонные трубы дымят. Надо улизнуть, пока не заметили.

Джованни стоял молча, потупив глаза; лицо его было бледно.

— Простите, учитель!.. Я думаю и не понимаю, как вы могли создать этого Колосса и Тайную Вечерю вместе, в одно и то же время?

Леонардо посмотрел на него с простодушным удивлением.

— Чего же ты не понимаешь?

— О, мессер Леонардо, разве вы не видите сами? Этого нельзя— вместе...

— Напротив, Джованни. Я думаю, что одно помогает другому: лучшие мысли о Тайной Вечере приходят мне именно здесь, когда я работаю над Колоссом, и, наоборот, там, в монастыре, я люблю обдумывать памятник. Это два близнеца. Я их вместе начал — вместе кончу.

[1] Предчувствуют души грядущее;
Расплавится медь; и голос будет: се Бог! (*лат.*).

— Вместе! Этот человек и Христос? Нет, учитель, не может быть!..— воскликнул Бельтраффио и, не умея лучше выразить своей мысли, но чувствуя, как сердце его возмущается нестерпимым противоречием, он повторял:

— Этого не может быть!..

— Почему не может? — молвил учитель.

Джованни хотел что-то сказать, но, встретив взор спокойных, недоумевающих глаз Леонардо, понял, что нельзя ничего сказать, что все равно — он не поймет.

— Когда я смотрел на Тайную Вечерю,— думал Бельтраффио,— мне казалось, что я узнал его. И вот опять я ничего не знаю. Кто он? Кому из двух сказал он в сердце своем: *Се Бог?* Или Чезаре прав, и в сердце Леонардо нет Бога?

IX

Ночью, когда все в доме спали, Джованни вышел, мучимый бессонницей, на двор и сел у крыльца на скамью под навесом виноградных лоз.

Двор был четырехугольный, с колодцем посередине. Ту сторону, которая была за спиной Джованни, занимала стена дома; против него были конюшни; слева каменная ограда с калиткою, выходившею на большую дорогу к Порта Верчеллина, справа — стена маленького сада, и в ней дверца, всегда запиравшаяся на замок, потому что в глубине сада было отдельное здание, куда хозяин не пускал никого, кроме Астро, и где он часто работал в совершенном уединении.

Ночь была тихая, теплая и сырая; душный туман пропитан мутным лунным светом.

В запертую калитку стены, выходившей на большую дорогу, послышался стук.

Ставня одного из нижних окон открылась, высунулся человек и спросил:

— Мона Кассандра?

— Я. Отопри.

Из дома вышел Астро и отпер.

Во двор вступила женщина, одетая в белое платье, казавшееся на луне зеленоватым, как туман.

Сначала они поговорили у калитки; потом прошли мимо Джованни, не заметив его, окутанного черной тенью от выступа крыльца и виноградных лоз.

Девушка присела на невысокий край колодца.

Лицо у нее было странное, равнодушное и неподвижное, как у древних изваяний: низкий лоб, прямые брови, слишком маленький подбородок и глаза прозрачно-желтые,

как янтарь. Но больше всего поразили Джованни волосы: сухие, пушистые, легкие, точно обладавшие отдельною жизнью,— как змеи Медузы, окружали они голову черным ореолом, от которого лицо казалось еще бледнее, алые губы — ярче, желтые глаза — прозрачнее.

— Ты, значит, тоже слышал, Астро, о брате Анджело? — сказала девушка.

— Да, мона Кассандра. Говорят, он послан папою для искоренения колдовства и всяких ересей. Как послушаешь, что добрые люди сказывают об отцах-инквизиторах, мороз по коже подирает. Не дай Бог попасть им в лапы! Будьте осторожнее. Предупредите вашу тетку...

— Какая она мне тетка!

— Ну, все равно, эту мону Сидонию, у которой вы живете.

— А ты думаешь, кузнец, что мы ведьмы?

— Ничего я не думаю! Мессер Леонардо подробно объяснил и доказал мне, что колдовства нет и быть не может, по законам природы. Мессер Леонардо все знает и ни во что не верит...

— Ни во что не верит,— повторила мона Кассандра,— в черта не верит? А в Бога?

— Не смейтесь. Он человек праведный.

— Я не смеюсь. А только, знаешь ли, Астро, какие бывают забавные случаи? Мне рассказывали, что у одного великого безбожника отцы-инквизиторы нашли договор с дьяволом, в котором этот человек обязывался отрицать, на основании логики и естественных законов, существование ведьм и силу черта, дабы, избавив слуг сатанинских от преследований Святейшей Инквизиции, тем самым укрепить и умножить царство дьявола на земле. Вот почему говорят: быть колдуном — ересь, а не верить в колдовство — дважды ересь. Смотри же, кузнец, не выдавай учителя,— никому не сказывай, что он не верит в черную магию.

Сначала Зороастро смутился от неожиданности, потом стал возражать, оправдывая Леонардо. Но девушка перебила его:

— А что, как у вас летательная машина? Скоро будет готова?

Кузнец махнул рукой.

— Готова, как бы не так! Все сызнова переделывать будем.

— Ах, Астро, Астро! И охота тебе верить вздору! Разве ты не понимаешь, что все эти машины только для отвода глаз? Мессер Леонардо, я полагаю, давно уже летает...

— Как летает?
— Да вот так же, как я.
Он посмотрел на нее в раздумьи.
— Может быть, это вам только снится, мона Кассандра?
— А как же другие видят? Или ты об этом не слышал?
Кузнец в нерешительности почесал у себя за ухом.
— Впрочем, я и забыла,— продолжала она с насмешкою,— вы ведь тут люди ученые, ни в какие чудеса не верите, у вас все механика!
— Ну ее к черту! Вот она мне где, эта механика! — указал кузнец на свой затылок.
Потом, сложив руки с мольбою, воскликнул:
— Мона Кассандра! Вы знаете, я человек верный. Да мне и болтать невыгодно. Того и гляди, брат Анджело самих притянет. Скажите же, сделайте милость, скажите мне все в точности!..
— Что сказать?
— Как вы летаете?
— Вот чего захотел! Ну, нет,— этого я тебе не скажу. Много будешь знать, рано состаришься.
Она помолчала. Потом, заглянув ему прямо в глаза долгим взглядом, прибавила тихо:
— Что тут говорить? Делать надо!
— А что нужно? — спросил он дрогнувшим голосом, немного бледнея.
— Слово знать, и зелье такое есть, чтобы тело мазать.
— У вас есть?
— Есть.
— И слово знаете?
Девушка кивнула головою.
— И полечу?
— Попробуй. Увидишь — это вернее механики!
Единственный глаз кузнеца загорелся огнем безумного желания.
— Мона Кассандра, дайте мне вашего зелья!
Она засмеялась тихим, странным смехом.
— И чудак же ты, Астро! Только что сам называл тайны магии глупыми бреднями, а теперь вдруг поверил...
Астро потупился с унылым, упрямым выражением в лице.
— Я хочу попробовать. Мне ведь все равно — чудом или механикой, только бы лететь! Я больше ждать не могу...

Девушка положила ему руку на плечо.

— Ну, Бог с тобой! Мне тебя жаль. В самом деле, чего доброго, с ума сойдешь, если не полетишь. Уж так и быть, дам я тебе зелья и слово скажу. Только и ты, Астро, сделай то, о чем я тебя попрошу.

— Сделаю, мона Кассандра, сделаю все! Говорите!..

Девушка указала на мокрую черепичную крышу, блестевшую за стеной сада в лунном тумане.

— Пусти меня туда.

Астро нахмурился и покачал головой.

— Нет, нет... Все, что хотите, только не это!

— Почему?

— Я слово дал не пускать никого.

— А сам был?

— Был.

— Что же там такое?

— Да никаких тайн. Право же, мона Кассандра, ничего любопытного: машины, приборы, книги, рукописи, есть и редкие цветы, животные, насекомые — ему путешественники привозят из далеких стран. И еще одно дерево, ядовитое...

— Как ядовитое?..

— Так, для опытов. Он отравил его, изучая действие ядов на растения.

— Прошу тебя, Астро, расскажи мне все, что ты знаешь об этом дереве.

— Да тут и рассказывать нечего. Ранней весною, когда оно было в соку, пробуравил отверстие в стволе до сердцевины и полою, длинною иглою вбрызгивал какую-то жидкость.

— Странные опыты! Какое же это дерево?

— Персиковое.

— Ну, и что же? Плоды налились ядом?

— Нальются, когда созреют.

— И видно, что они отравлены?

— Нет, не видно. Вот почему он и не впускает никого: можно соблазниться красотой плодов, съесть и умереть.

— Ключ у тебя?

— У меня.

— Дай ключ, Астро!

— Что вы, что вы, мона Кассандра! Я поклялся ему...

— Дай ключ! — повторила Кассандра.— Я сделаю так, что ты в эту же ночь полетишь, слышишь,— в эту же ночь! Смотри, вот зелье.

Она вынула из-за пазухи и показала ему стеклянный пузырек, наполненный темною жидкостью, слабо блеснув-

шей в лунном свете, и, приблизив к нему лицо, прошептала вкрадчиво:

— Чего ты боишься, глупый? Сам же говоришь, что нет никаких тайн. Мы только войдем и посмотрим... Ну же, дай ключ!

— Оставьте меня! — проговорил он. — Я все равно не пущу, и зелья мне вашего не надо. Уйдите!

— Трус! — молвила девушка с презрением. — Ты мог бы и не смеешь знать тайны. Теперь я вижу, что он колдун и обманывает тебя, как ребенка...

Он молчал угрюмо, отвернувшись.

Девушка опять подошла к нему:

— Ну, хорошо, Астро, не надо. Я не войду. Только открой дверь и дай посмотреть...

— Не войдете?

— Нет, только открой и покажи.

Он вынул ключ и отпер.

Джованни, тихонько привстав, увидел в глубине маленького сада, окруженного стенами, обыкновенное персиковое дерево. Но в бледном тумане, под мутно-зеленым лунным светом, оно показалось ему зловещим и призрачным.

Стоя у порога, девушка смотрела с жадным любопытством широко открытыми глазами; потом сделала шаг вперед, чтобы войти. Кузнец удержал ее.

Она боролась, скользила между рук, как змея.

Он оттолкнул ее так, что она едва не упала. Но тотчас выпрямилась и посмотрела на него в упор. Бледное, точно мертвое, лицо ее было злобно и страшно: в эту минуту она в самом деле была похожа на ведьму.

Кузнец запер дверь сада и, не прощаясь с моной Кассандрой, вошел в дом.

Она проводила его глазами. Потом быстро прошла мимо Джованни и выскользнула в калитку на большую дорогу к Порта-Верчеллина.

Наступила тишина. Туман еще сгустился. Все исчезало и таяло в нем.

*

Джованни закрыл глаза. Перед ним встало, как в видении, страшное дерево с тяжелыми каплями на мокрых листьях, с ядовитыми плодами в мутно-зеленом лунном свете — и вспомнились ему слова Писания:

«Заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть.

А от дерева познания добра и зла, не ешь от него; ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь».

ТРЕТЬЯ КНИГА

ЯДОВИТЫЕ ПЛОДЫ

I

Герцогиня Беатриче каждую пятницу мыла голову и золотила волосы. После крашения надо было сушить их на солнце.

С этой целью устраивались вышки, окруженные перилами, на крышах домов.

Герцогиня сидела на такой вышке, над громадным загородным дворцом герцогской виллы Сфорцески, терпеливо вынося палящий зной, в то время, когда и работники с волами уходят в тень.

Ее облекала просторная, из белого шелка, накидка без рукавов. На голове была соломенная шляпа — солнцевик, для предохранения лица от загара. Позолоченные волосы, выпущенные из круглого отверстия шляпы, раскинуты были по широким полям. Желтолицая рабыня-черкешенка смачивала волосы губкою, насаженною на острие веретена. Татарка, с узкими косыми щелями глаз, чесала их гребнем из слоновой кости.

Жидкость для золочения приготовлялась из майского сока корней орешника, шафрана, бычачьей желчи, ласточкина помета, серой амбры, жженых медвежьих когтей и ящеричного масла.

Рядом, под наблюдением самой герцогини, на треножнике, с побледневшим от солнца, почти невидимым пламенем, в длинноносой реторте, наподобие тех, которые употреблялись алхимиками, кипела розовая мускатная вода с драгоценной виверрою, адрагантовой камедью и любистоком.

Обе служанки обливались пòтом. Даже комнатная собачка герцогини не находила себе места на знойной вышке, укоризненно щурилась на свою хозяйку, тяжело дышала, высунув язык, и не ворчала, по обыкновению, в ответ

на заигрывания вертлявой мартышки. Обезьяна была довольна жарою так же, как арапчонок, державший зеркало, оправленное в жемчуг и перламутр.

Несмотря на то, что Беатриче постоянно желала придать лицу своему строгость, движениям плавность, которые приличествовали ее сану, трудно было поверить, что ей девятнадцать лет, что у нее двое детей, и что она уже три года замужем. В ребяческой полноте смуглых щек, в невинной складке на тонкой шее под слишком круглым и пухлым подбородком, в толстых губах, сурово сжатых, точно всегда немного надутых и капризных, в узких плечах, в плоской груди, в угловатых, порывистых, иногда почти мальчишеских движениях видна была школьница, избалованная, своенравная, без удержу резвая и самолюбивая. А между тем, в твердых, ясных, как лед, коричневых глазах ее светился расчетливый ум. Самый проницательный из тогдашних государственных людей, посол Венеции, Марино Сануто, в тайных письмах уверял синьорию, что эта девочка в политике — настоящий кремень, что она более себе на уме, чем герцог Лодовико, муж ее, который отлично делает, слушаясь своей жены во всем.

Комнатная собачка сердито и хрипло залаяла.

По крутой лесенке, соединявшей вышку с уборными и гардеробными покоями, взошла, кряхтя и охая, старуха в темном вдовьем платье. Одной рукой перебирала она четки, в другой держала костыль. Морщины лица ее казались бы почтенными, если бы не приторная сладость улыбки, мышиное проворство глаз.

— О-хо-хо, старость не радость! Едва вползла. Господь да пошлет доброго здоровья вашей светлости.

Раболепно приподняв с полу край умывальной накидки, она приложилась к ней губами.

— А, мона Сидония! Ну, что, готово?

Старуха вынула из мешка тщательно завернутую и закупоренную скляночку с мутною, белесоватою жидкостью — молоком ослицы и рыжей козы, настоянным на диком бадьяне, корнях спаржи и луковицах белых лилий.

— Денька два еще надо бы в теплом лошадином навозе продержать. Ну, да все равно — полагаю, и так поспело. Только перед тем, как умываться, велите сквозь войлочное цедило пропустить. Намочите мякоть сдобного хлеба и личико извольте вытирать столько времени, сколько нужно, чтобы три раза прочитать «Верую». Через пять недель всякую смуглоту снимет. И от прыщиков помогает.

— Послушай, старуха,— молвила Беатриче,— может быть в этом умывании опять какая-нибудь гадость, которую ведьмы в черной магии употребляют, вроде змеиного сала, крови удода и порошка лягушек, сушенных на сковороде, как в той мази для вытравливания волос на родинках, которую ты мне намедни приносила. Тогда лучше скажи прямо.

— Нет, нет, ваша светлость! Не верьте тому, что люди болтают. Я работаю начистоту, без обмана. Как кто хочет. Ведь и то сказать, иногда без дряни не обойдешься: вот, например, досточтимая мадонна Анджелика целое прошлое лето псиною мочою голову мыла, чтобы не облысеть, и еще Бога благодарила, что помогло.

Потом, наклонившись к уху герцогини, начала рассказывать последнюю городскую новость о том, как молоденькая жена главного консула соляного приказа, прелестная мадонна Филиберта изменяет мужу и забавляется с приезжим испанским рыцарем.

— Ах ты, старая сводня! — полушутливо пригрозила ей пальцем Беатриче, видимо наслаждаясь сплетнею.— Сама же соблазнила несчастную...

— И, полноте, ваша светлость, какая она несчастная! Поет словно птичка — радуется, каждый день меня благодарит. Воистину, говорит, я только теперь познала, сколь великая существует разница между поцелуями мужа и любовника.

— А грех? Неужели совесть ее не мучит?

— Совесть? Видите ли, ваша светлость: хотя монахи и попы утверждают противное, но я так думаю, что любовный грех — самый естественный из грехов. Достаточно нескольких капель святой воды, чтобы смыть его. К тому же, изменяя супругу, мадонна Филиберта тем самым, как говорится, платит ему пирогом за ватрушку и, если не совершенно заглаживает, то, по крайней мере, весьма облегчает перед Богом его собственные грехи.

— А разве и муж?..

— Наверное не знаю. Но все они на один лад, ибо полагаю, нет на свете такого мужа, который лучше не согласился бы иметь одну руку, чем одну жену.

Герцогиня рассмеялась.

— Ах, мона Сидония, на тебя и сердиться нельзя! Откуда ты берешь такие словечки?

— Да уж верьте старухе — все, что говорю, святая правда! Я ведь тоже в делах совести соломинку от бревна отличить сумею... Всякому овощу свое время. Не утолив-

шись в юности любовью, наша сестра на старости лет мучится таким раскаянием, что оно доводит ее до когтей дьявола.

— Ты рассуждаешь, как магистр богословия!

— Я женщина неученая, но от всего сердца говорю, ваша светлость! Цветущая юность дается в жизни только раз, ибо какому черту, прости Господи, мы, бедные женщины, годны, состарившись? Разве на то, чтобы сторожить золу в камельках. Прогонять нас на кухню мурлыкать с кошками, пересчитывать горшки да противни. Сказано: молодицам покормиться, а старухам подавиться. Красота без любви — все равно, что обедня без «Отче Наш», а ласки мужа унылы, как игры монахинь.

Герцогиня опять рассмеялась.

— Как? Как? Повтори!

Старуха посмотрела на нее внимательно, и, должно быть, рассчитав, что достаточно позабавила пустяками, опять наклонилась к уху ее и зашептала.

Беатриче перестала смеяться.

Она сделала знак. Рабыни удалились. Только арапчонок остался на вышке: он не понимал по-итальянски.

Их окружало тихое небо, бледное, как будто помертвелое от зноя.

— Может быть, вздор? — сказала, наконец, герцогиня.— Мало ли что болтают...

— Нет, синьора! Я сама видела и слышала. Вам и другие скажут.

— Много было народу?

— Тысяч десять: вся площадь перед Павийским замком полна.

— Что же ты слышала?

— Когда мадонна Изабелла вышла на балкон с маленьким Франческо, все замахали руками и шапками, многие плакали. «Да здравствует,— кричали,— Изабелла Арагонская, Джан-Галеаццо, законный государь Милана, и наследник Франческо! Смерть похитителям престола!»...

Беатриче нахмурилась.

— Этими самыми словами?

— Да, и еще хуже...

— Какие? Говори все, не бойся!..

— Кричали — у меня, синьора, язык не поворачивается — кричали: «Смерть ворам!»

Беатриче вздрогнула, но, тотчас преодолев себя, спросила тихо:

— Что же ты слышала еще?

— Право, не знаю, как и передать вашей милости...

— Да ну же, скорее! Я хочу знать все!

— Верите ли, синьора, в толпе говорили, что светлейший герцог Лодовико Моро, опекун и благодетель Джан-Галеаццо, заточил своего племянника в Павийскую крепость, окружив его наемными убийцами и шпионами. Потом стали вопить, требуя, чтобы к ним вышел сам герцог. Но мадонна Изабелла ответила, что он лежит больной...

И мона Сидония опять таинственно зашептала на ухо герцогине.

Сперва Беатриче слушала внимательно; потом обернулась гневно и крикнула:

— С ума ты сошла, старая ведьма! Как ты смеешь! Да я сейчас велю тебя сбросить с этой вышки, так что ворон костей твоих не соберет!..

Угроза не испугала мону Сидонию. Беатриче также скоро успокоилась.

— Я этому и не верю,— молвила она, посмотрев на старуху исподлобья.

Та пожала плечами:

— Воля ваша, а не верить нельзя...

— Изволите ли видеть, вот как это делается,— продолжала она вкрадчиво: — лепят маленькое изваяние из воска, вкладывают ему в правую сторону сердце, в левую — печень ласточки, прокалывают иглою, произнося заклинания, и тот, на кого изваяние похоже, умирает медленною смертью... Тут уж никакие врачи не помогут...

— Молчи,— перебила ее герцогиня,— никогда не смей мне говорить об этом!..

Старуха опять благоговейно поцеловала край умывальной одежды.

— Ваше великолепие! Солнышко вы мое ясное! Слишком люблю я вас — вот и весь мой грех! Верите ли, со слезами молю Господа за ваше здоровье каждый раз, как поют «Magnificat» [1] на повечерии св. Франциска. Люди говорят, будто я ведьма, но, если бы я и продала душу мою дьяволу, то, видит Бог, только для того, чтобы хоть чем-нибудь угодить вашей светлости!

И она прибавила задумчиво:

— Можно и без колдовства.

Герцогиня посмотрела на нее молча, с любопытством.

— Когда я сюда шла по дворцовому саду,— продолжала мона Сидония беспечным голосом,— садовник собирал

[1] «Величит [душа моя Господа]» *(лат.)*.

в корзину отличные персики: должно быть, подарок мессеру Джан-Галеаццо?

И помолчав, прибавила:

— А в саду флорентинского мастера Леонардо да Винчи тоже, говорят, удивительной красоты персики, только ядовитые...

— Как ядовитые?

— Да, да. Мона Кассандра, племянница моя, видела...

Старуха снова зашушукала на ухо Беатриче.

Герцогиня ничего не ответила; выражение глаз ее осталось непроницаемым.

Волосы уже высохли. Она встала, сбросила с плеч накидку и спустилась в гардеробные покои.

Здесь стояли три громадных шкапа. В первом, похожем на великолепную ризницу, развешаны были по порядку восемьдесят четыре платья, которые успела она сшить себе за три года замужества. Одни отличались, вследствие обилия золота и драгоценных камней, такою плотностью, что могли прямо, без поддержки, стоять на полу; другие были прозрачны и легки, как паутина. Во втором находились принадлежности соколиной охоты и лошадиная сбруя. В третьем — духи, воды, полосканья, притиранья, зубные порошки из белого коралла и жемчуга, бесчисленные баночки, колбы, перегонные шлемы, горлянки — целая лаборатория женской алхимии. В комнате стояли также роскошные ящики, покрытые живописью, и кованые сундуки.

Когда служанка отперла один из них, чтобы вынуть свежую рубашку, повеяло благоуханием тонкого камбрейского белья, переложенного лавандовыми пучками и шелковыми подушками с порошком из левантийских ирисов и дамасских роз, сушенных в тени.

Одеваясь, Беатриче беседовала со швеею о выкройке нового платья, только что полученной с гонцом от сестры, маркизы Мантуанской, Изабеллы д'Эсте, тоже великой модницы. Сестры соперничали в нарядах. Беатриче завидовала вкусу Изабеллы и подражала ей. Один из посланников герцогини Миланской тайно извещал ее о всех новинках мантуанского гардероба.

Беатриче надела платье с рисунком, особенно любимым ею за то, что он скрадывал ее маленький рост: ткань состояла из продольных перемежающихся полос зеленого бархата и золотой парчи. Рукава, перевязанные лентами серого шелка, были в обтяжку, с французскими модными прорезами — «окнами», через которые виднелось белоснежное полотно рубашки, все в мелких, пышных сбор-

ках. Волосы украшены были редкой, легкой как дым, золотою сеткою и заплетены в косу. Голову окружала тонкая нить фероньеры с прикрепленным к ней маленьким рубиновым скорпионом.

II

Она привыкла одеваться так долго, что, по выражению герцога, можно было бы за это время снарядить целый торговый корабль в Индию.

Наконец, услышав вдалеке звук рогов и лай борзых, вспомнила, что заказала охоту, и заторопилась. Но, уже готовая, по дороге зашла в покои своих карликов, названные в шутку «жилищем гигантов» и устроенные в подражание таким же игрушечным комнатам во дворце Изабеллы д'Эсте.

Стулья, кровати, утварь, лесенки с широкими низкими ступенями, даже часовня с кукольным алтарем, за которым служил обедню ученый карлик Янаки, в нарочно сшитых для него архиепископских ризах и митре,— все было рассчитано на рост пигмеев.

В «жилище гигантов» всегда был шум, смех, плач, крик разнообразных, порой страшных, голосов, как в зверинце или сумасшедшем доме, ибо здесь копошились, рождались, жили и умирали в душной неопрятной тесноте — мартышки, горбуны, попугаи, арапки, дуры, калмычки, шутихи, кролики, карлики и другие потешные твари, среди которых молодая герцогиня нередко проводила дни, забавляясь, как девочка.

На этот раз, спеша на охоту, зашла она сюда только на минутку, сведать о здоровье маленького арапчонка Троннино, недавно присланного из Венеции. Кожа у Наннино была такой черноты, что, по выражению прежнего владельца его, «лучшего и желать невозможно». Герцогиня играла им, как живою куклою. Арапчонок заболел. И хваленая чернота его оказалась не совсем природною, ибо краска, вроде лака, которая придавала телу его черный блестящий лоск, мало-помалу начала слезать, к великому горю Беатриче.

В последнюю ночь ему сделалось хуже; боялись, что он умрет. Узнав об этом, герцогиня весьма опечалилась, ибо любила его, по старой памяти, даже побледневшего. Она велела как можно скорее крестить арапчонка, чтобы он, по крайней мере, не умер язычником.

Спускаясь, на лестнице встретила она свою любимую дурочку Моргантину, еще не старую, хорошенькую и такую забавную, что, по словам Беатриче, она могла бы рассмешить мертвеца.

Моргантина любила воровать: украдет что-нибудь, спрячет в угол, под сломанную половицу, в мышиную норку, и ходит, довольная; когда же спросят ее с лаской: «Будь доброю, скажи, куда спрятала?» — возьмет за руку, с лукавым видом, поведет и покажет. А если крикнуть: «Ну-ка, речку вброд»,— Моргантина, не стыдясь, подымает платье так высоко, как только может.

Порой находила на нее дурь; тогда по целым дням плакала она о несуществующем ребеночке,— никаких детей у нее не было,— и так всем надоедала, что ее запирали в чулан.

И теперь, сидя в углу лестницы, обняв колени руками и равномерно покачиваясь, Моргантина заливалась горькими слезами.

Беатриче подошла и погладила ее по голове.

— Перестань, будь умницей!

Дурочка, подняв на нее свои голубые детские глаза, завыла еще жалобнее.

— Ой, ой, ой! Отняли у меня родненького! И за что, Господи? Никому он не делал зла. Я им тихо утешалась...

Герцогиня сошла на двор, где ее ждали охотники.

III

Окруженная вершниками, сокольничими, псарями, стремянными, пажами и дамами, она держалась прямо и смело на караковом поджаром берберийском жеребце завода Гонзага не как женщина, а как опытный наездник. «Настоящая королева амазонок!» — с гордостью подумал герцог Моро, вошедший на крытый ход перед дворцом полюбоваться выездом супруги.

За седлом герцогини сидел охотничий леопард в ливрее, шитой золотом, с рыцарскими гербами. На левой руке — белый, как снег, кипрский сокол, подарок султана, сверкал усыпанным изумрудами золотым клобучком. На лапах его звенели бубенцы разнозвучными, переливчатыми звонами, которые помогали находить птицу, когда терялась она в тумане или болотной траве.

Герцогине было весело, хотелось шалить, смеяться, скакать, сломя голову. Оглянувшись с улыбкой на мужа, который успел только крикнуть: «Берегись, лошадь горя-

чая!» — она сделала знак своим спутницам и помчалась вперегонку с ними, сначала по дороге, потом в поле — через канавы, кочки, рвы и плетни.

Доезжачие отстали. Впереди всех неслась Беатриче со своим громадным волкодавом и рядом, на черной испанской кобыле, самая веселая и бесстрашная из фрейлин, мадонна Лукреция Кривелли.

Герцог был втайне неравнодушен к Лукреции. Теперь, любуясь на нее и Беатриче вместе, не мог решить, кто из них ему больше нравится. Но тревогу испытывал за жену. Когда лошади перескакивали через ямы, жмурил глаза, чтобы не видеть; дух у него захватывало.

Он бранил герцогиню за эти шалости, но сердиться не мог: подозревая в себе недостаток телесной отваги, гордился втайне храбростью жены.

Охотники исчезли в лозняке и камышовых зарослях на низменном берегу Тичино, где водились гуси и цапли.

Герцог вернулся в маленькую рабочую комнату — студиоло. Здесь ожидал его для продолжения прерванных занятий главный секретарь, сановник, заведовавший иностранными посольствами, мессер Бартоломео Калко.

IV

Сидя в высоком кресле, Моро тихонько ласкал белой холеной рукой свои гладко бритые щеки и круглый подбородок.

Благообразное лицо его имело тот отпечаток прямодушной откровенности, который приобретают только лица совершенных в лукавстве политиков. Большой орлиный нос с горбинкой, выдающиеся вперед, как будто заостренные, тонко извилистые губы напоминали отца его, великого кондотьера Франческо Сфорца. Но если Франческо, по выражению поэтов, в одно и то же время был львом и лисицею, то сын его унаследовал от отца и приумножил только лисью хитрость без львиного мужества.

Моро носил простое изящное платье бледно-голубого шелка с разводами, модную прическу — гладкую, волосок к волоску, закрывавшую уши и лоб почти до бровей, похожую на густой парик. Золотая плоская цепь висела на груди его. В обращении была равная со всеми утонченная вежливость.

— Имеете ли вы какие-нибудь точные сведения, мессер Бартоломео, о выступлении французского войска из Лиона?

— Никаких, ваша светлость. Каждый вечер говорят — завтра, каждое утро откладывают. Король увлечен не воинственными забавами.

— Как имя первой любовницы?

— Много имен. Вкусы его величества прихотливы и непостоянны.

— Напишите графу Бельджойозо,— молвил герцог,— что я высылаю тридцать... нет, мало, сорок...— пятьдесят тысяч дукатов для новых подарков. Пусть не жалеет. Мы вытащим короля из Лиона золотыми цепями! И знаете ли, Бартоломео,— конечно, это между нами,— не мешало бы послать его величеству портреты некоторых здешних красавиц.— Кстати, письмо готово?

— Готово, синьор.

— Покажи.

Моро с удовольствием потирал мягкие, белые руки. Каждый раз, как он оглядывал громадную паутину своей политики,— испытывал он знакомое сладкое замирание сердца, как перед сложной и опасной игрой. По совести, не считал он себя виновным, призывая чужеземцев, северных варваров на Италию, ибо к этой крайности принуждали его враги, среди которых злейшим была Изабелла Арагонская, супруга Джан-Галеаццо, всенародно обвинившая герцога Лодовико в том, что он похитил престол у племянника. Только тогда, когда отец Изабеллы, король Неаполя, Альфонсо, в отмщение за обиду дочери и зятя, стал грозить Моро войною и низвержением с престола,— всеми покинутый, обратился он к помощи французского короля Карла VIII.

— Неисповедимы пути твои, Господи! — размышлял герцог, пока секретарь доставал из кипы бумаг черновой набросок письма.— Спасение моего государства, Италии, быть может, всей Европы в руках этого жалкого заморыша, сластолюбивого и слабоумного ребенка, христианнейшего короля Франции, перед которым мы, наследники великих Сфорца, должны пресмыкаться, ползать, чуть не сводничать! Но такова политика: с волками жить — по-волчьи выть.

Он перечел письмо: оно показалось ему красноречивым, в особенности ежели принять в расчет пятьдесят тысяч дукатов, высылаемых графу Бельджойозо для подкупа приближенных его величества, и соблазнительные портреты итальянских красавиц.

«Господь да благословит твое крестоносное воинство, Христианнейший,— говорилось, между прочим, в этом по-

слании,— врата Авзонии открыты пред тобой. Не медли же, вступи в них триумфатором, о, новый Ганнибал! Народы Италии алчут приять твое иго сладчайшее, помазанник божий, ожидают тебя, как некогда, по воскресении Господа, патриархи ожидали Его сошествия во ад. С помощью Бога и твоей знаменитой артиллерии ты завоюешь не только Неаполь, Сицилию, но и земли великого Турка, обратишь неверных в христианство, проникнешь в недра Святой Земли, освободишь Иерусалим и Гроб Господень от нечестивых агарян и славным именем твоим наполнишь вселенную».

Горбатый плешивый старичок, с длинным красным носом, заглянул в дверь студиоло. Герцог приветливо улыбнулся ему, приказывая знаком подождать.

Дверь скромно притворилась, и голова исчезла.

Секретарь завел было речь о другом государственном деле, но Моро слушал его рассеянно, поглядывая на дверь.

Мессер Бартоломео понял, что герцог занят посторонними мыслями,— кончил доклад и ушел.

Осторожно оглядываясь, на цыпочках, герцог приблизился к двери.

— Бернардо, а, Бернардо? Это ты?

— Я, ваша светлость!

И придворный стихотворец, Бернардо Беллинчони, с таинственным и подобострастным видом, подскочил и хотел было встать на колени, чтобы поцеловать руку государя, но тот его удержал.

— Ну, что, как?

— Благополучно.

— Родила?

— Сегодня ночью изволили разрешиться от бремени.

— Здорова? Не послать ли врача?

— В здравии совершенном обретаются.

— Слава Богу!

Герцог перекрестился.

— Видел ребенка?

— Как же! Прехорошенький.

— Мальчик или девочка?

— Мальчик. Буян, крикун! Волосики светлые, как у матери, а глазенки так и горят, так и бегают — черные, умные, совсем как у вашей милости. Сейчас видно — царственная кровь! Маленький Геркулес в колыбели. Мадонна Чечилия не нарадуется. Велели спросить, какое вам будет угодно имя.

— Я уже думал,— произнес герцог.— Знаешь, Бернардо, назовем-ка его Чезаре. Как тебе нравится?

— Чезаре? А ведь в самом деле, прекрасное имя, благозвучное, древнее! Да, да, Чезаре Сфорца — имя, достойное героя!

— А что, как муж?

— Яснейший граф Бергамини добр и мил как всегда.

— Превосходный человек! — заметил герцог с убеждением.

— Превосходнейший! — подхватил Беллинчони.— Смею сказать, редких добродетелей человек! Таких людей нынче поискать. Ежели подагра не помешает, граф хотел приехать к ужину, чтоб засвидетельствовать свое почтение вашей светлости.

Графиня Чечилия Бергамини, о которой шла речь, была давнею любовницей Моро. Беатриче, только что выйдя замуж и узнав об этой связи герцога, ревновала его, грозила вернуться в дом отца, феррарского герцога, Эрколе д'Эсте, и Моро вынужден был поклясться торжественно, в присутствии послов, не нарушать супружеской верности, в подтверждение чего выдал Чечилию за старого разорившегося графа Бергамини, человека покладистого, готового на всякие услуги.

Беллинчони, вынув из кармана бумажку, подал ее герцогу.

То был сонет в честь новорожденного — маленький диалог, в котором поэт спрашивал бога солнца, почему он закрывается тучами; солнце отвечало с придворною любезностью, что прячется от стыда и зависти к новому солнцу — сыну Моро и Чечилии.

Герцог благосклонно принял сонет, вынул из кошелька червонец и подал стихотворцу.

— Кстати, Бернардо, ты не забыл, что в субботу день рождения герцогини?

Беллинчони торопливо порылся в прорехе своего платья, полупридворного, полунищенского, служившей ему карманом, извлек оттуда целую кипу грязных бумажек и, среди высокопарных од на смерть охотничьего сокола мадонны Анджелики, на болезнь серой в яблоках венгерской кобылы синьора Паллавичини, отыскал требуемые стихи.

— Целых три, ваша светлость,— на выбор. Клянусь Пегасом, довольны останетесь!

В те времена государи пользовались своими придворными поэтами, как музыкальными инструментами, чтобы петь серенады не только своим возлюбленным, но и своим женам, причем светская мода требовала, чтобы в этих сти-

хах предполагалась между мужем и женой такая же неземная любовь, как между Лаурою и Петраркою.

Моро с любопытством просмотрел стихи: он считал себя тонким ценителем, поэтом в душе, хотя рифмы ему не давались. В первом сонете пришлись ему по вкусу три стиха; муж говорит жене:

И где на землю плюнешь ты,
Там вдруг рождаются цветы,
Как раннею весной — фиалки.

Во втором — поэт, сравнивая мадонну Беатриче с богиней Дианой, уверял, что кабаны и олени испытывают блаженство, умирая от руки такой прекрасной охотницы.

Но более всего понравился его высочеству третий сонет, в котором Данте обращался к Богу с просьбою отпустить его на землю, куда будто бы вернулась Беатриче в образе герцогини Миланской. «О, Юпитер! — восклицал Алигьери,— так как ты опять подарил ее миру, позволь и мне быть с нею, дабы видеть того, кому Беатриче дарует блаженство»,— то есть герцога Лодовико.

Моро милостиво потрепал поэта по плечу и обещал ему сукна на шубу, причем Бернардо сумел выпросить и лисьего меха на воротник, уверяя с жалобными и шутовскими ужимками, что старая шуба его сделалась такою сквозною и прозрачною, «как вермишель, которая сушится на солнце».

— Прошлую зиму,— продолжал он клянчить,— за недостатком дров, я готов был сжечь не только собственную лестницу, но и деревянные башмаки св. Франциска!

Герцог рассмеялся и обещал ему дров.

Тогда, в порыве благодарности, поэт мгновенно сочинил и прочел хвалебное четверостишье:

Когда рабам своим ты обещаешь хлеб,
Небесную, как Бог, ты им даруешь манну,—
Зато все девять муз и сладкозвучный Феб,
О, благородный Мавр [1], поют тебе осанну!

— Ты, кажется, в ударе, Бернардо? Послушай-ка, мне нужно еще одно стихотворение.

— Любовное?

— Да. И страстное.

— Герцогине?

— Нет. Только смотри у меня, не проболтайся!

— О, синьор, вы меня обижаете. Да разве я когда-нибудь?..

---

[1] Мавр (*итал.* Moro) — прозвище герцога Лодовико Сфорца.

— Ну, то-то же.

— Нет, нем, как рыба!

Бернардо таинственно и почтительно заморгал глазами.

— Страстное? Ну, а как? С мольбой или с благодарностью?

— С мольбой.

Поэт глубокомысленно сдвинул брови:

— Замужняя?

— Девушка.

— Так. Надо бы имя.

— Ну вот! Зачем имя?

— Если с мольбою, то не годится без имени.

— Мадонна Лукреция. А готового нет?

— Есть, да лучше бы свеженькое. Позвольте в соседний покой на минутку. Уж чувствую, выйдет недурно: рифмы в голову так и лезут.

Вошел паж и доложил:

— Мессер Леонардо да Винчи.

Захватив перо и бумагу, Беллинчони юркнул в одну дверь, между тем как в другую входил Леонардо.

V

После первых приветствий герцог заговорил с художником о новом громадном канале, Навильо-Сфорцеско, который должен был соединить реку Сезию с Тичино и, разветвляясь в сеть меньших каналов, оросить луга, поля и пастбища Ломеллины.

Леонардо управлял работами по сооружению Навильо, хотя не имел чина герцогского строителя, ни даже придворного живописца, сохраняя, по старой памяти, за один давно уж изобретенный им музыкальный прибор, чин музыканта, что было немногим выше звания таких придворных поэтов, как Беллинчони.

Объяснив с точностью планы и счеты, художник попросил сделать распоряжение о выдаче денег для дальнейших работ.

— Сколько? — спросил герцог.

— За каждую милю по 566, всего 15.187 дукатов,— отвечал Леонардо.

Лодовико поморщился, вспомнив о 50.000, только что назначенных для взяток и подкупа французских вельмож.

— Дорого, мессер Леонардо! Право же, ты разоряешь меня. Все хочешь невозможного. Ведь вот Браманте тоже строитель изрядный, а никогда таких денег не требует.

Леонардо пожал плечами.

— Воля ваша, синьор, поручите Браманте.

— Ну, ну, не сердись. Ты знаешь, я тебя никому в обиду не дам!

Начали торговаться.

— Хорошо, успеем завтра,— заключил герцог, стараясь, по своему обыкновению, затянуть решение дела, и начал перелистывать тетради Леонардо с неоконченными набросками, архитектурными чертежами и замыслами.

На одном рисунке изображена была исполинская гробница — целая искусственная гора, увенчанная многоколонным храмом с круглым отверстием в куполе, как в римском Пантеоне, чтобы озарять внутренние покои усыпальницы, превосходившей великолепием египетские пирамиды. Рядом были точные цифры и подробный план расположения лестниц, ходов, зал, рассчитанных на пятьсот могильных урн.

— Что это? — спросил герцог.— Когда и для кого ты задумал?

— Так, ни для кого. Мечты...

Моро с удивлением посмотрел на него и покачал головою.

— Странные мечты! Мавзолей для олимпийских богов или титанов. Точно во сне или в сказке... А ведь еще математик!

Он заглянул в другой рисунок, план города с двухъярусными улицами — верхними для господ, нижними для рабов, вьючных животных и нечистот, омываемых водой множества труб и каналов,— города, построенного согласно с точным знанием законов природы, но для таких существ, у которых совесть не смущается неравенством, разделением на избранных и отверженных.

— А ведь недурно! — молвил герцог.— И ты полагаешь, можно устроить?

— О, да! — отвечал Леонардо, и лицо его оживилось.— Я давно мечтаю о том, чтобы когда-нибудь вашей светлости угодно было сделать опыт, хотя бы только с одним из предместий Милана. Пять тысяч домов — на тридцать тысяч жителей. И рассеялось бы это множество людей, которые сидят друг у друга на плечах, теснятся в грязи, в духоте, распространяя семена заразы и смерти. Если бы вы исполнили мой план, синьор, это был бы прекраснейший город в мире!..

Художник остановился, заметив, что герцог смеется.

— Чудак ты, забавник, мессер Леонардо! Кажется, дай тебе волю, все бы вверх дном повернул, каких бы только в государстве бед не наделал! Неужели ты не видишь, что самые покорные из рабов взбунтовались бы против твоих двухъярусных улиц, плюнули бы на хваленую чистоту твою, на водосточные трубы и каналы прекраснейшего города в мире,— в старые города свои убежали бы: в грязи, мол, в тесноте, да не в обиде.

— Ну, а здесь что? — спросил он, указывая на другой чертеж.

Леонардо вынужден был объяснить и этот рисунок, оказавшийся планом дома терпимости. Отдельные комнаты, двери и ходы расположены были так, что посетители могли рассчитывать на тайну, не опасаясь встречи друг с другом.

— Вот это дело! — восхитился герцог.— Право, ты не поверишь, как надоели мне жалобы на грабежи и убийства в притонах. А при таком расположении комнат будет порядок и безопасность. Непременно устрою дом по твоему чертежу!

— Однако,— прибавил он, усмехаясь,— ты у меня, я вижу, на все руки мастер, ничем не брезгаешь: мавзолей для богов рядом с домом терпимости!

— Кстати,— продолжал он,— читал я однажды в книге какого-то древнего историка о так называемом ухе тирана Дионисия — слуховой трубе, скрытой в толще стен и устроенной так, что государь может слышать из одного покоя все, что говорится в другом. Как ты полагаешь, нельзя ли устроить ухо Дионисия в моем дворце?

Герцогу сначала было немного совестно; но он тотчас оправился, почувствовал, что художника нечего стыдиться. Не смущаясь, даже не помышляя о том, хорошо или дурно Дионисиево ухо, Леонардо беседовал о нем, как о новом научном приборе, радуясь предлогу исследовать при устройстве этих труб законы движения звуковых волн.

Беллинчони с готовым сонетом заглянул в дверь.

Леонардо простился. Моро пригласил его к ужину.

Когда художник ушел, герцог подозвал поэта и велел читать стихи.

— Саламандра,— говорилось в сонете,— живет в огне, но не большее ли диво то, что в пламенном сердце моем

Холодная, как лед, мадонна обитает,
И лед сей девственный в огне любви не тает?

Особенно нежными показались герцогу последние четыре стиха:

Я лебедем пою, пою и умираю;
Амура я молю: о сжалься, я сгораю!
Но раздувает бог огонь моей души
И говорит, смеясь: слезами потуши!

VI

Перед ужином, в ожидании супруги, которая должна была скоро вернуться с охоты, герцог пошел по хозяйству. Заглянул в конюшню, подобную греческому храму, с колоннадами и портиками; в новую великолепную сыроварню, где отведал джьюнкаты — свежего творожного сыру. Мимо бесконечных сеновалов и погребов прошел на мызу и скотный двор. Здесь каждая подробность радовала сердце хозяина: и звук молочной струи, цедившейся из вымени его любимицы, красно-пегой лангедокской коровы, и материнское хрюканье огромной, подобной горе жира, свиньи, только что опоросившейся, и желтая сливочная пена в ясеневых кадках маслобойни, и медовый запах в переполненных житницах.

На лице Моро появилась улыбка тихого счастья: воистину дом его был, как полная чаша. Он вернулся во дворец и присел отдохнуть в галерее.

Вечерело. Но до заката было еще далеко. С поемных лугов Тичино веяло пряною свежестью.

Герцог окинул взором свои владения: пастбища, нивы, поля, орошаемые сетью каналов и рвов, с правильными насаждениями яблонь, груш, шелковичных деревьев, соединенных висячими гирляндами лоз. От Мортары до Абиатеграссо и далее, до самого края неба, где в тумане белели снега Монте Розы,— великая равнина Ломбардии цвела, как Божий рай.

— Господи,— вздохнул он с умилением и поднял глаза к небу,— благодарю Тебя за все! Чего еще надо? Некогда здесь была пустыня. Я с Леонардо провел эти каналы, оросил эту землю, и ныне каждый колос, каждая былинка благодарит меня, как я благодарю тебя, Господи!

Послышался лай борзых, крики охотников, и над кустами лозняка замелькало красное вабило — чучело с крыльями куропатки для приманки соколов.

Хозяин с главным дворецким обошел накрытый стол, осматривая, все ли в порядке. В залу вошли герцогиня и гости, приглашенные к ужину, среди которых был Леонардо, оставшийся ночевать на вилле.

Прочли молитву и сели за стол.

Подали свежие артишоки, присланные в плетенках ускоренной почтой прямо из Генуи, жирных угрей и карпов мантуанских садков, подарок Изабеллы д'Эсте, и студень из каплуньих грудинок.

Ели тремя пальцами и ножами, без вилок, считавшихся непозволительной роскошью; золотые, с черенками из горного хрусталя, подавались они только дамам для ягод и варенья.

Хлебосольный хозяин усердно потчевал. Ели и пили много, почти до отвала. Изящнейшие дамы и девицы не стыдились голода.

Беатриче сидела рядом с Лукрецией.

Герцог опять залюбовался на обеих: ему было приятно, что они вместе и что жена ухаживает за его возлюбленною, подкладывает ей на тарелку лакомые куски, что-то шепчет на ухо и пожимает руку с порывом той внезапной нежности, похожей на влюбленность, которая иногда овладевает молодыми женщинами.

Говорили об охоте. Беатриче рассказала, как олень едва не выбил ее из седла, выскочив из леса и ударив лошадь рогами.

Смеялись над дурачком Диодою, хвастуном и забиякою, который только что убил вместо кабана домашнюю свинью, нарочно взятую охотниками в лес и пущенную под ноги шуту. Диода рассказывал о своем подвиге и гордился им так, как будто убил Калидонского вепря. Его дразнили и, чтобы уличить в хвастовстве, принесли тушу убитой свиньи. Он притворился взбешенным. На самом деле это был прехитрый плут, игравший выгодную роль дурака: своими рысьими глазками сумел бы он отличить не только домашнюю от дикой свиньи, но и глупую шутку от умной.

Хохот становился все громче. Лица оживлялись и краснели от обильных возлияний. После четвертого блюда молоденькие дамы украдкой, под столом, распустили туго стянутые шнуровки.

Кравчие разносили легкое белое вино и красное, кипрское, густое, подогретое, заправленное фисташками, корицею и гвоздикою.

Когда его высочество требовал вина, стольники торжественно перекликались, как бы священнодействуя, брали кубок с поставца, и главный сенешаль трижды опускал в чашу единороговый талисман на золотой цепи: если вино отравлено, рог должен почернеть и ороситься кровью.

Такие же предохранительные талисманы — жабный камень и змеиный язык — вставлены были в солонку.

Граф Бергамини, муж Чечилии, усаженный хозяином на почетное место, особенно веселый в этот вечер, даже как бы резвый, несмотря на свою старость и подагру, молвил, указывая на единорог:

— Полагаю, ваша светлость, что у самого короля французского нет такого рога. Величина изумительная!

— Ки-хи-ки! Ки-хи-ки! — закричал горбун Янаки, любимый шут герцога, гремя трещоткой — свиным пузырем, наполненным горохом, и позвякивая бубенчиками пестрого колпака с ослиными ушами.

— Батька, а, батька,— обратился он к Моро, указывая на графа Бергамини,— ты ему верь: он во всяких рогах толк разумеет, не только в звериных, но и в человечьих. Ки-хи-ки, ки-хи-ки! У кого коза, у того рога!

Герцог пальцем погрозил шуту.

На хорах грянули серебряные трубы, приветствуя жаркое — громадную кабанью голову, начиненную каштанами, павлина с особою машинкою внутри, распускавшего на блюде хвост и бившего крыльями, и, наконец, величественный торт, в виде крепости, из которого сначала послышались звуки военного рога, а когда разрезали поджаристую корку, выскочил карлик в перьях попугая. Он забегал по столу, его поймали и посадили в золотую клетку, где, подражая знаменитому попугаю кардинала Асканио Сфорца, он стал уморительно выкрикивать «Отче наш».

— Мессере,— обратилась герцогиня к мужу,— какому радостному событию обязаны мы столь неожиданным и великолепным пиршеством?

Моро ничего не ответил, только украдкой любезно переглянулся с графом Бергамини: счастливый муж Чечилии понял, что пиршество устроено в честь новорожденного Чезаре.

Над кабаньей головой просидели без малого час; времени на еду не жалели, памятуя пословицу: за столом не состаришься.

Под конец ужина толстый монах, по имени Таппоне — Крыса, возбудил всеобщее веселье.

Не без хитростей и обманов удалось Миланскому герцогу переманить из Урбино этого знаменитого обжору, из-за которого спорили государи и который будто бы однажды в Риме, к немалому удовольствию его святейшества, сожрал целую треть камлотового епископского подрясника, изрезанную на куски и пропитанную соусом.

По знаку герцога поставили перед фра Таппоне громадный сотейник с бузеккио — требухою, начиненною яблоками айвы. Перекрестившись и засучив рукава, монах принялся уписывать жирную снедь с быстротой и жадностью неимоверною.

— Если бы такой молодец присутствовал при насыщении народа пятью хлебами и двумя рыбами, остатков не хватило бы и на двух собак! — воскликнул Беллинчони.

Гости захохотали. Все эти люди заражены были смехом, который от каждой шутки, как от искры, готов был разразиться оглушительным взрывом.

Только лицо одинокого и молчаливого Леонардо сохраняло выражение покорной скуки: он, впрочем, давно привык к забавам своих покровителей.

Когда на серебряных блюдцах подали золоченые апельсины, наполненные душистой мальвазией, придворный поэт Антонио Камелли да Пистойя, соперник Беллинчони, прочел оду, в которой искусства и науки говорили герцогу: «мы были рабынями, ты пришел и освободил нас; да здравствует Моро!» Четыре стихии — земля, вода, огонь и воздух — пели: «да здравствует тот, кто первый после Бога правит рулем вселенной, колесом фортуны!» Прославлялись также семейная любовь и согласие между дядей Моро и племянником Джан-Галеаццо, причем поэт сравнивал великодушного опекуна с пеликаном, кормящим детей своей собственной плотью и кровью.

VII

После ужина хозяева и гости перешли в сад, называвшийся Раем — Парадизо, правильный, наподобие геометрического чертежа, с подстриженными аллеями буксов, лавров и мирт, с крытыми ходами, лабиринтами, лоджиями и плющевыми беседками. На зеленый луг, обвеваемый свежестью фонтана, принесли ковры и шелковые подушки. Дамы и кавалеры расположились в непринужденной свободе перед маленьким домашним театром.

Сыграли одно действие «Miles Gloriosus»[1] Плавта. Латинские стихи наводили скуку, хотя слушатели из суеверного почтения к древности притворялись внимательными.

Когда представление кончилось, молодые люди отправились на более просторный луг играть в мяч, лапту, жмурки, бегая, ловя друг друга, смеясь как дети, между кустами цветущих роз и апельсинными деревьями. Старшие игра-

[1] «Хвастливый воин» (*лат.*).

ли в кости, в тавлею, в шахматы. Донзеллы, дамы и синьоры, не принимавшие участия в играх, собравшись в тесный круг на мраморных ступенях фонтана, рассказывали по очереди новеллы, как в «Декамероне» Боккаччо.

На соседней лужайке завели хоровод под любимую песню рано умершего Лоренцо Медичи:

Quant'ē bella giovinezza,
Ma si fugge tuttavia;
Chi vuol esse' lieto, sia:
Di doma' non c'ē certezza.
О, как молодость прекрасна,
Но мгновенна! Пой же, смейся,—
Счастлив будь, кто счастья хочет,
И на завтра не надейся.

После пляски дондзелла Диана с бледным и нежным лицом, под тихие звуки виолы, запела унылую жалобу, в которой говорилось о том, сколь великое горе любить, не будучи любимым.

Игры и смех прекратились. Все слушали в глубокой задумчивости. И когда она кончила, долго никто не хотел прерывать тишины. Только фонтан журчал. Последние лучи солнца облили розовым светом черные плоские вершины пиний и высоко взлетавшие брызги фонтана.

Потом опять начались говор, хохот, музыка, и до позднего вечера, пока в темных лаврах не загорелись лучиолы-светляки и в темном небе тонкий серп молодого месяца,— над блаженным Парадизо, в бездыханном сумраке, пропитанном запахом апельсинных цветов, не умолкали звуки хороводной песни:

Счастлив будь, кто счастья хочет,
И на завтра не надейся.

VIII

На одной из четырех башен дворца Моро увидел огонек: главный придворный звездочет Миланского герцога, сенатор и член тайного совета, мессер Амброджо да Розате, засветил одинокую лампаду над своими астрономическими приборами, наблюдая предстоявшее в знаке Водолея соединение Марса, Юпитера и Сатурна, которое должно было иметь великое значение для дома Сфорца.

Герцог что-то вспомнил, простился с мадонной Лукрецией, с которой занят был нежным разговором в уютной беседке, вернулся во дворец, посмотрел на часы, дождался минуты и секунды, назначенной астрологом для приема ревенных пилюль, и, проглотив лекарство, заглянул в свой карманный календарь, в котором прочел следующую памятку:

«5 августа, 10 часов вечера, 8 минут — усерднейшая молитва на коленях, со сложенными руками и взорами, поднятыми к небу».

Герцог поспешил в часовню, чтобы не пропустить мгновения, так как иначе астрологическая молитва утратила бы действие.

В полутемной часовне горела лампада перед образом; герцог любил эту икону, писанную Леонардо да Винчи, изображавшую Чечилию Бергамини под видом Мадонны, благословляющей столиственную розу.

Моро отсчитал восемь минут по маленьким песочным часам, опустился на колени, сложил руки и прочел «Confiteor» [1].

Молился он долго и сладко.

«О, Матерь Божия,— шептал, подняв умиленные взоры,— защити, спаси и помилуй меня, сына моего Максимилиана и новорожденного младенца Чезаре, мою супругу Беатриче и мадонну Чечилию,— а также моего племянника мессера Джан-Галеаццо, ибо,— ты видишь сердце мое, Дева Пречистая,— я не хочу зла моему племяннику, я молюсь за него, хотя, быть может, смерть его избавила бы не только мое государство, но и всю Италию от страшных и непоправимых бедствий».

Тут вспомнил он доказательство своего права на миланский престол, изобретенное законоведами; будто бы старший брат его, отец Джан-Галеаццо, был сыном не герцога, а только военачальника Франческо Сфорца, ибо родился прежде, чем Франческо вступил на престол, тогда как он, Лодовико, родился уже после того и, следовательно, был единственным полноправным наследником.

Но теперь, перед лицом Мадонны, это доказательство представилось ему сомнительным, и он заключил молитву свою так:

— Если же я в чем-нибудь согрешил или согрешу пред Тобою, Ты знаешь, Царица Небесная, что я это делаю не для себя, а для блага моего государства, для блага всей Италии. Будь же заступницей моей перед Богом — и я прославлю имя Твое великолепною постройкою собора Миланского и Чертозы Павийской, и другими многими деяниями!

Окончив молитву, взял свечу и направился в спальную по темным покоям спящего дворца. В одном из них встретился с Лукрецией.

— Сам бог любви благоприятствует мне,— подумал герцог.

---

[1] «Каюсь» (*лат.*).

— Государь!..— воскликнула девушка, подходя к нему. Но голос ее оборвался. Она хотела упасть перед ним на колени; он едва успел удержать ее.

— Смилуйся, государь!..

Она рассказала ему, что брат ее, Маттео Кривелли, главный камерарий монетного двора, человек беспутный, но нежно ею любимый, проиграл в карты большие казенные деньги.

— Успокойтесь, мадонна! Я выручу из беды вашего брата...

Немного помолчав, прибавил с тяжелым вздохом:

— Но согласитесь ли и вы не быть жестокой?..

Она посмотрела на него робкими, детски-ясными и невинными глазами.

— Я не понимаю, синьор?..

Целомудренное удивление сделало ее еще прекраснее.

— Это значит, милая,— пролепетал он страстно и вдруг обнял ее стан сильным, почти грубым движением,— это значит... Да разве ты не видишь, Лукреция, что я люблю тебя?..

— Пустите, пустите! О, синьор, что вы делаете! Мадонна Беатриче...

— Не бойся, она не узнает: я умею хранить тайну...

— Нет, нет, государь,— она так великодушна, так добра ко мне... Ради бога, оставьте, оставьте меня!..

— Я спасу твоего брата, сделаю все, что ты хочешь, буду рабом твоим,— только сжалься!..

И наполовину искренние слезы задрожали в голосе его, когда он зашептал стихи Беллинчони:

Я лебедем пою, пою и умираю,
Амура я молю: о, сжалься, я сгораю!
Но раздувает бог огонь моей души
И говорит, смеясь: слезами потуши!

— Пустите, пустите! — повторяла девушка с отчаянием.

Он наклонился к ней, почувствовал свежесть ее дыхания, запах духов — фиалок с мускусом — и жадно поцеловал ее в губы.

На одно мгновение Лукреция замерла в его объятиях. Потом вскрикнула, вырвалась и убежала.

IX

Войдя в спальную, он увидел, что Беатриче уже погасила огонь и легла в постель — громадное, подобно мавзолею, ложе, стоявшее на возвышении посреди комнаты под шелковым лазурным пологом и серебряными завесами.

Он разделся, приподнял край пышного, как церковная риза, тканного золотом и жемчугом, одеяла, свадебного подарка феррарского герцога,— и лег на свое место, рядом с женой.

— Биче,— произнес он ласковым шепотом,— Биче, ты спишь?

Он хотел ее обнять, но она оттолкнула его.

— За что?

— Оставьте! Я хочу спать...

— За что, скажи только, за что? Биче, дорогая! Если бы ты знала, как я люблю...

— Да, да, знаю, что вы нас любите всех вместе, и меня, и Цецилию, и даже, чего доброго, эту рабыню из Московии, рыжеволосую дуру, которую намедни обнимали в углу моего гардероба...

— Я ведь только в шутку...

— Благодарю за такие шутки!..

— Право же, Биче, последние дни ты со мной так холодна, так сурова! Конечно, я виноват, сознаюсь: это была недостойная прихоть...

— Прихотей у вас много, мессере!

Она повернулась к нему со злобою:

— И как тебе не стыдно! Ну, зачем, зачем ты лжешь? Разве я не знаю тебя, не вижу насквозь? Пожалуйста, не думай, что я ревную. Но я не хочу,— слышишь? — я не хочу быть одной из твоих любовниц!..

— Неправда, Биче, клянусь тебе спасением души моей — никогда никого на земле я так не любил, как тебя!

Она умолкла, с удивлением прислушиваясь не к словам, а к звуку его голоса.

Он, в самом деле, не лгал или, по крайней мере, не совсем лгал: чем больше он ее обманывал, тем больше любил; нежность его как будто разгоралась от стыда, от страха, от угрызения, от жалости и раскаяния.

— Прости, Биче, прости все за то, что я тебя так люблю!..

И они помирились.

Обнимая и не видя ее в темноте, он воображал себе робкие, невинные глаза, запах фиалок с мускусом; воображал, что обнимает другую, и любил обеих вместе: это было преступно и упоительно.

— А, ведь, в самом деле, ты сегодня, точно влюбленный,— прошептала она, уже с тайною гордостью.

— Да, да, милая, веришь ли, я все еще влюблен в тебя, как в первые дни!..

— Что за вздор! — усмехнулась она.— Как тебе не совестно? Лучше бы подумал о деле; ведь он выздоравливает...

— Луиджи Марлиани намедни сказывал мне, что умрет,— произнес герцог.— Ему теперь лучше, но это ненадолго: он умрет, наверное.

— Кто знает? — возразила Беатриче.— За ним так ухаживают... Послушай, Моро, я удивляюсь твоей беззаботности: ты переносишь обиды, как овца, ты говоришь: власть в наших руках. Да не лучше ли вовсе отречься от власти, чем дрожать за нее день и ночь, как ворам, пресмыкаться перед этим ублюдком, королем французским, зависеть от великодушия наглого Альфонсо, заискивать в злой ведьме Арагонской! Говорят, она опять беременна. Новый змееныш в проклятое гнездо! И так всю жизнь, Моро, подумай только, всю жизнь! И ты называешь это: власть в наших руках!..

— Но врачи согласны,— молвил герцог,— что болезнь неисцелима: рано или поздно...

— Да, жди: вот уже десять лет, как он умирает!

Они замолчали.

Вдруг она обвила его руками, прижалась к нему всем телом и что-то прошептала ему на ухо. Он вздрогнул.

— Биче!.. Да сохранит тебя Христос и Матерь Пречистая! Никогда — слышишь? — никогда не говори мне об этом...

— Если боишься,— хочешь, я сама?..

Он не ответил и, немного погодя, спросил:

— О чем ты думаешь?

— О персиках...

— Да. Я велел садовнику послать ему в подарок самых спелых...

— Нет, не о том. Я о персиках мессера Леонардо да Винчи. Ты разве не слышал?

— А что?

— Они — ядовитые...

— Как ядовитые?

— Так. Он отравляет их. Для каких-то опытов. Может быть, колдовство. Мне мона Сидония сказывала. Персики, хоть и отравленные,— красоты удивительной...

Опять оба умолкли и долго лежали так, обнявшись, в тишине, во мраке, думая об одном и том же, каждый прислушиваясь, как сердце у другого бьется все чаще и чаще.

Наконец Моро с отеческою нежностью поцеловал ее в лоб и перекрестил:

— Спи, милая, спи с Богом!

В ту ночь герцогиня видела во сне прекрасные персики на золотом блюде. Она соблазнилась их красотой, взяла один из них и отведала,— он был сочный и душистый. Вдруг чей-то голос прошептал: «яд, яд, яд!» Она испугалась, но уже не могла остановиться, продолжала есть плоды один за другим, и ей казалось, что она умирает, но на сердце у нее становилось все легче, все радостнее.

Герцогу тоже приснился странный сон: будто бы гуляет он по зеленой лужайке у фонтана в Парадизо и видит — вдалеке, в одинаковых белых одеждах, три женщины сидят, обнявшись, как сестры. Подходит к ним и узнает в одной мадонну Беатриче, в другой мадонну Лукрецию, в третьей мадонну Чечилию; и думает с глубоким успокоением: «Ну, слава Богу, наконец-то помирились — и давно бы так!»

X

Башенные часы пробили полночь. Все в доме спали. Только на высоте, над крышею, на деревянных подмостках для золочения волос, сидела карлица Моргантина, убежавшая из чулана, куда ее заперли, и плакала о своем несуществующем ребенке:

— Отняли родненького, убили деточку! И за что, за что, Господи? Никому не делал он зла. Я им тихо утешалась...

Ночь была ясная; воздух так прозрачен, что можно было различить на краю небес, подобные вечным кристаллам, ледяные вершины Монте Роза.

И долго уснувшая вилла оглашалась пронзительным, жалобным воплем полоумной карлицы, словно криком зловещей птицы.

Вдруг она вздохнула, подняла голову, посмотрела в небо и сразу умолкла.

Наступила тишина.

Карлица улыбалась, и голубые звезды мерцали, такие же непонятные и невинные, как ее глаза.

ЧЕТВЕРТАЯ КНИГА

ШАБАШ ВЕДЬМ

I

На пустынной окраине Милана, в предместии Верчельских ворот, там, где на канале Катарана находилась плотина и речная таможня, стоял одинокий ветхий домик с большою, закоптелою и покривившейся трубой, из которой днем и ночью подымался дым.

Домик принадлежал повивальной бабке, моне Сидонии. Верхние покои сдавала она в наем алхимику, мессеру Галеотто Сакробоско; в нижних — жила сама вместе с Кассандрой, дочерью Галеоттова брата, купца Луиджи, знаменитого путешественника, изъездившего Грецию, острова Архипелага, Сирию, Малую Азию, Египет в неустанной погоне за древностями.

Он собирал все, что попадалось под руку: прекрасную статую и кусочек янтаря с мухою, застывшею в нем, и поддельную надпись с могилы Гомера, и подлинную трагедию Эврипида, и ключицу Демосфена.

Одни считали его помешанным, другие — хвастуном и обманщиком, третьи — великим человеком. Воображение его было так напитано язычеством, что, оставаясь до конца дней добрым христианином, Луиджи не на шутку молился «святейшему гению Меркурию» и верил в среду, посвященную крылатому вестнику олимпийцев, как в день особенно счастливый для торговых оборотов. Ни перед какими лишениями и трудами не останавливался он в своих поисках: однажды, сев на корабль и уже отъехав по морю с десяток миль, узнал о любопытной греческой надписи, не прочитанной им, и тотчас вернулся на берег, чтобы списать. Потеряв во время кораблекрушения драгоценное собрание рукописей, поседел от горя. Когда спрашивали его, зачем он разоряет себя, терпит всю жизнь столь великие труды и опасности, отвечал всегда одними и теми же словами:

— Я хочу воскресить мертвых.

В Пелопоннесе, близ пустынных развалин Лакедемона, в окрестностях городка Мистры, встретил девушку, похожую на изваяние древней богини Артемиды, дочь бедного, пившего запоем, сельского дьякона, женился на ней и увез ее в Италию, вместе с новым списком Илиады, обломками мраморной Гекаты и черепками глиняных амфор. Дочери, родившейся у них, Луиджи дал имя Кассандры во славу великой Эсхиловой героини, пленницы Агамемнона, которой он тогда увлекался.

Жена его скоро умерла. Отправляясь в одно из своих многочисленных странствований, оставил он маленькую дочь-сиротку на попечение старому другу, ученому греку из Константинополя, приглашенному в Милан герцогами Сфорца, философу Деметрию Халкондиле.

Семидесятилетний старик, двуличный, лукавый и скрытный, притворяясь пламенным ревнителем церкви христианской, на самом деле, как многие ученые греки в Италии с кардиналом Вессарионом во главе, был приверженцем последнего из учителей древней мудрости, неоплатоника Гемиста Плетона, умершего лет сорок назад в Пелопоннесе, в том самом городе Мистре на развалинах Лакедемона, откуда родом была мать Кассандры. Ученики его верили, что душа великого Платона для проповедования мудрости сошла на землю с Олимпа и воплотилась в Плетоне. Христианские учителя утверждали, что этот философ желает возобновить антихристову ересь императора Юлиана Отступника — поклонение древним олимпийским богам, и что бороться с ним должно отнюдь не учеными доводами и словопрениями, а священной инквизицией и пламенем костров. Приводились точные слова Плетона; за три года до смерти говорил он будто бы ученикам своим: «Немного лет спустя после кончины моей, надо всеми племенами и народами земными воссияет единая истина, и все люди обратятся единым духом в единую веру — unam eandemque religionem universum orbem esse suscepturum». Когда же его спрашивали: «в какую — в Христову или Магометову?» — он отвечал: «ни в ту, ни в другую, но в веру от древнего язычества не отличную — neutram, sed a gentilitate non differentem».

В доме Деметрия Халкондилы маленькую Кассандру воспитали в строгом, хотя и лицемерном, благочестии. Но из подслушанных разговоров ребенок, не понимая философских тонкостей платоновых идей, сплетал себе волшебную сказку о том, как умершие боги Олимпа воскреснут.

Девочка носила на груди подарок отца, талисман от лихорадки, резную печать с изображением бога Диониса. Порой, оставаясь одна, украдкой вынимала она древний камень, смотрела сквозь него на солнце — и в темно-лиловом сиянии прозрачного аметиста выступал перед нею, как видение, обнаженный юноша Вакх с тирсом в одной руке, с виноградной кистью в другой; скачущий барс хотел лизнуть эту кисть языком. И любовью к прекрасному богу полно было сердце ребенка.

Мессер Луиджи, разорившись на древности, умер в нищете, в лачуге пастуха, от гнилой горячки, среди только что открытых им развалин финикийского храма. В это время, после многолетних скитаний в погоне за тайною философского камня, вернулся в Милан алхимик Галеотто Сакробоско, дядя Кассандры, и, поселившись в домике у Верчельских ворот, взял к себе племянницу.

Джованни Бельтраффио помнил подслушанный им разговор моны Кассандры с механиком Зороастро о ядовитом дереве. Потом встречался с нею у Деметрия Халкондилы, где Мерула достал ему переписку. Он слышал от многих, что она — ведьма. Но загадочная прелесть молодой девушки влекла его к ней.

Почти каждый вечер, окончив работу в мастерской Леонардо, отправлялся Джованни к уединенному домику за Верчельскими воротами для свидания с Кассандрой. Они садились на пригорке над водой тихого и темного канала, недалеко от запруды, у полуразвалившейся стены монастыря св. Редегонды, и беседовали подолгу. Чуть видная тропа, заросшая лопухом, бузиной и крапивою, вела на пригорок. Никто сюда не заглядывал.

II

Был душный вечер. Изредка налетал вихрь, подымал белую пыль на дороге, шелестел в деревьях, замирал — и становилось еще тише. Только слышалось глухое, точно подземное, ворчание далекого грома. На этом грозно-торжественном гуле выделялись визгливые звуки дребезжащей лютни, пьяных песен таможенных солдат в соседнем кабачке: было воскресенье.

Порою бледная зарница вспыхивала на небе, и тогда на мгновение выступал из мрака ветхий домик на том берегу, с кирпичною трубою, с клубами черного дыма, валившего из плавильной печи алхимика, долговязый, худощавый пономарь с удочкой на мшистой плотине, прямой ка-

нал с двумя рядами лиственниц и ветл, уходившими вдаль, плоскодонные лагомаджорские барки с глыбами белого мрамора для собора, шедшие на ободранных клячах, и длинная бичева, ударявшая по воде; потом опять сразу все, как видение, исчезало во тьме. Лишь на том берегу краснел огонек алхимика, отражаясь в темных водах Катараны. От запруды веяло запахом теплой воды, увядших папоротников, дегтя и гнилого дерева.

Джованни с Кассандрой сидели на обычном месте, над каналом.

— Скучно! — молвила девушка, потянулась и заломила над головой тонкие белые пальцы.— Каждый день одно и то же. Сегодня, как вчера, завтра, как сегодня; так же глупый, долговязый пономарь удит рыбу на плотине и ничего не может выудить, так же дым валит из трубы лаборатории, где мессер Галеотто ищет золота и ничего не может найти, так же лодки тащатся на ободранных клячах, так же дребезжит заунывная лютня в кабачке. Хоть бы что-нибудь новое! Хоть бы французы пришли и разорили Милан, или пономарь выудил рыбу, или дядя нашел золото... Боже мой, какая скука!

— Да, я знаю,— возразил Джованни,— мне самому иногда бывает так скучно, что хочется умереть. Но фра Бенедетто научил меня прекрасной молитве об избавлении от беса уныния. Хотите, я вам скажу ее?

Девушка покачала головой:

— Нет, Джованни. Я бы и желала порою, но давно уже не умею молиться вашему Богу.

— Нашему? Но разве есть другой Бог, кроме нашего, кроме единого?..

Быстрое пламя зарницы осветило лицо ее: никогда еще оно не казалось ему таким загадочным, унылым и прекрасным.

Она помолчала и провела рукою по черным пушистым волосам.

— Слушай, друг. Это было давно, там, в родной земле моей. Я была ребенком. Однажды отец взял меня с собою в путешествие. Мы посетили развалины древнего храма. Они возвышались на мысе. Кругом было море. Чайки стонали. Волны с шумом разбивались о черные камни, изглоданные соленою влагою, заостренные как иглы. Пена взлетала и падала, стекая по иглам камней шипящей струею. Отец мой читал полустертую надпись на обломке мрамора. Я долго сидела одна на ступенях перед храмом, слушала море и дышала свежестью, смешанной с горьким благоуха-

нием полыни. Потом вошла в покинутый храм. Колонны из пожелтевшего мрамора стояли, почти не тронутые временем, и между ними синее небо казалось темным; там, в высоте, из расщелин камней, росли маки. Было тихо. Только заглушенный гул прибоя наполнял святилище как бы молитвенным пением. Я прислушалась к нему — и вдруг сердце мое дрогнуло. Я упала на колени и стала молиться некогда здесь обитавшему богу, неизвестному и поруганному. Я целовала мраморные плиты, плакала и любила его за то, что больше никто на земле не любит его и не молится ему — за то, что он умер. С тех пор я больше никому никогда уж так не молилась. То был храм Диониса.

— Что вы, что вы, Кассандра! — проговорил Джованни.— Это грех и кощунство! Никакого бога Диониса нет и не было...

— Не было? — повторила девушка с презрительной улыбкой.— А как же святые отцы, которым ты веришь, учат, что изгнанные боги в те времена, как Христос победил, превратились в могущественных демонов? Как же в книге знаменитого астролога Джорджо да Новара есть прорицание, основанное на точных наблюдениях над светилами небесными: соединение планеты Юпитера с Сатурном породило учение Моисеево, с Марсом — халдейское, с солнцем — египетское, с Венерой — Магометово, с Меркурием — Христово, а грядущее соединение с Луной должно породить учение Антихристово,— и тогда умершие боги воскреснут!

Раздался гул приближающегося грома. Зарницы вспыхивали все ярче, озаряя громадную тяжелую тучу, которая ползла медленно. Назойливые звуки лютни по-прежнему дребезжали в душной, грозной тишине.

— О, Кассандра! — воскликнул Бельтраффио, складывая руки с горестной мольбой.— Как же вы не видите — это дьявол искушает вас, чтобы вовлечь в погибель. Будь он проклят, окаянный!..

Девушка быстро обернулась, положила ему обе руки на плечи и прошептала:

— А тебя он разве никогда не искушает? Если ты такой праведный, Джованни, то зачем ушел от учителя своего фра Бенедетто, зачем поступил в мастерскую безбожника Леонардо да Винчи? Зачем ходишь сюда, ко мне? Или ты не знаешь, что я ведьма, а ведьмы — злые, злее самого дьявола? Как же ты не боишься погубить со мной душу свою?..

— С нами сила Господня!..— пролепетал он, вздрогнув.

Она молча приблизилась к нему, вперила в него глаза желтые и прозрачные, как янтарь. Уже не зарница, а молния разрезала тучу и осветила лицо ее, бледное, как лицо той мраморной богини, которая некогда на Мельничном Холме вышла перед Джованни из тысячелетней могилы.

— Она! — подумал он с ужасом.— Белая Дьяволица!

Он сделал усилие, чтобы вскочить, и не мог; чувствовал на щеке своей горячее дыхание и прислушивался к шепоту:

— Хочешь, я скажу тебе все, все до конца, Джованни? Хочешь, милый, полетим со мной туда, где он? Там хорошо, там не скучно. И ничего не стыдно, как во сне, как в раю — там все позволено! Хочешь туда?..

Холодный пот выступил на лбу его; но с любопытством, которое преодолевало ужас, он спросил:

— Куда?..

Почти касаясь его щеки губами, она ответила чуть слышно, как будто вздохнула страстно и томно:

— На шабаш!

Удар уже близкого грома, потрясая небо и землю, загрохотал торжественным полным грозного веселья, подобным смеху невидимых подземных великанов, и медленно замер в бездыханной тишине.

Ни один лист не шелохнулся на деревьях. Звуки дребезжащей лютни оборвались.

И в то же мгновение раздался унылый, мерный звон монастырского колокола, вечерний «Angelus» [1].

Джиованни перекрестился. Девушка встала и молвила:

— Пора домой. Поздно. Видишь, факелы? Это герцог Моро едет к мессеру Галеотто. Я и забыла, что сегодня дядя должен показывать опыт — превращение свинца в золото.

Послышался топот копыт. Всадники вдоль канала от Верчельских ворот направлялись к дому алхимика, который, в ожидании герцога, кончал в лаборатории последние приготовления для предстоящего опыта.

III

Мессер Галеотто всю жизнь провел в поисках философского камня.

Окончив медицинский факультет Болонского университета, поступил учеником — фамулусом к знаменитому в те времена адепту сокровенных знаний, графу Бернардо Тревизано. Потом, в течение пятнадцати лет, искал превраща-

[1] «Ангел [Божий возвестил Марии]» *(лат.)*.

ющего Меркурия во всевозможных веществах — в поваренной соли и нашатыре, в различных металлах, самородном висмуте и мышьяке, в человеческой крови, желчи и волосах, в животных и растениях. Шесть тысяч дукатов отцовского наследия вылетели в трубу плавильной печи. Истратив собственные деньги, принялся за чужие. Заимодавцы посадили его в тюрьму. Он бежал и в течение следующих восьми лет делал опыты над яйцами, извел 20.000 штук. Затем работал с папским протонотарием, маэстро Генрико, над купоросами, заболел от ядовитых испарений, пролежал четырнадцать месяцев, всеми покинутый, и едва не умер. Терпя нищету, унижения, преследования, посетил странствующим лаборантом Испанию, Францию, Австрию, Голландию, северную Африку, Грецию, Палестину и Персию. У короля венгерского пытали его, надеясь выведать тайну превращения. Наконец, уже старый, утомленный, но не разочарованный, вернулся он в Италию, по приглашению герцога Моро, и получил звание придворного алхимика.

Середину лаборатории занимала неуклюжая печь из огнеупорной глины со множеством отделений, заслонок, плавильников и раздувальных мехов. В одном углу, под слоем пыли, валялись закоптелые выгарки, подобные застывшей лаве.

Рабочий стол загромождали сложные приборы: кубы, перегонные шлемы, химические приемники, реторты, воронки, ступы, колбы со стеклянными пузырями, длинными горлами, змеевидные трубки, громадные бутыли и крошечные баночки. Острый запах отделялся от ядовитых солей, щелоков, кислот. Целый таинственный мир заключен был в металлах — семь богов Олимпа, семь планет небесных: в золоте — Солнце, Луна — в серебре, в меди — Венера, в железе — Марс, в свинце — Сатурн, в олове — Юпитер, и в живой, блистающей ртути — вечно подвижной Меркурий. Здесь были вещества с именами варварскими, внушавшими страх непосвященным: киноварный Месяц, волчье Молоко, медный Ахиллес, астерит, андродама, анагаллис, рапонтикум, аристолохия. Драгоценная капля многолетним трудом добытой Львиной Крови, которая исцеляет все недуги и дает вечную молодость,— алела, как рубин.

Алхимик сидел за рабочим столом. Худощавый, маленький, сморщенный, как старый гриб, но все еще неугомонно-бойкий, мессер Галеотто, подпирая голову обеими руками, внимательно смотрел на колбу, которая с тихим звоном закипала и бурлила на голубоватом жидком пламе-

ни спирта. То было Масло Венеры — Oleum Veneris, цвета прозрачно-зеленого, как смарагд. Свеча, горевшая рядом, кидала сквозь колбу изумрудный отблеск на пергамент открытого ветхого фолианта, сочинение арабского алхимика Джабира Абдаллы.

Услышав на лестнице шаги и голоса, Галеотто встал, оглянул лабораторию,— все ли в порядке,— сделал знак слуге, молчаливому фамулусу, чтобы он подложил углей в плавильную печь, и пошел встречать гостей.

IV

Общество было веселое, только что после ужина с мальвазией. В свите герцога — главный придворный врач Марлиани, человек с большими сведениями в алхимии, и Леонардо да Винчи.

Дамы вошли — и тихая келья ученого наполнилась запахом духов, шелковым шелестом платьев, легкомысленным женским говором и смехом — словно птичьим гомоном.

Одна задела рукавом и уронила стеклянную реторту.

— Ничего, синьора, не беспокойтесь! — молвил Галеотто с любезностью.— Я подберу осколки, чтобы вы не обрезали ножку.

Другая взяла в руку закоптелый кусок железного выгарка, запачкала светлую, надушенную фиалками, перчатку, и ловкий кавалер, тихонько пожимая маленькую ручку, старался кружевным платком отчистить пятно.

Белокурая шаловливая дондзелла Диана, замирая от веселого страха, прикоснулась к чашке, наполненной ртутью, пролила две-три капли на стол и, когда они покатились блестящими шариками, вскрикнула:

— Смотрите, смотрите, синьоры, чудеса: жидкое серебро — само бегает, живое!

И чуть не прыгала от радости, хлопая в ладоши.

— Правда ли, что мы увидим черта в алхимическом огне, когда свинец будет превращаться в золото? — спросила хорошенькая, плутоватая Филиберта, жена старого консула соляного приказа.— Как вы полагаете, мессер, не грех ли присутствовать при таких опытах?

Филиберта была очень набожной, и про нее рассказывали, что любовнику она позволяет все, кроме поцелуя в губы, полагая, что целомудрие не совсем нарушено, пока остаются невинными уста, которыми она клялась пред алтарем в супружеской верности.

Алхимик подошел к Леонардо и шепнул ему на ухо:

— Мессере, верьте, я умею ценить посещение такого человека, как вы...

Он крепко пожал ему руку. Леонардо хотел возразить, но старик перебил его, закивав головой:

— О, разумеется!.. Тайна для них! Но мы-то ведь друг друга понимаем?..

Потом с приветливой улыбкой обратился к гостям:

— С позволения моего покровителя, светлейшего герцога, так же, как этих дам, моих прелестных владычиц, приступаю к опыту божественной метаморфозы. Внимание, синьоры!

Для того, чтобы не могло возникнуть никаких сомнений в достоверности опыта, он показал тигель — плавильный сосуд с толстыми стенками из огнеупорной глины, попросил, чтобы каждый из присутствующих осмотрел его, ощупал, постучал пальцами в дно и убедился, что в нем нет никакого обмана, причем объяснил, что алхимики иногда скрывают золото в плавильных сосудах с двойным дном, из которых верхнее от сильного жара трескается и обнажает золото. Куски олова, угля, раздувальные мехи, палки для размешивания застывающих окалин металла и остальные предметы, в которых могло или, по-видимому, даже вовсе не могло быть спрятано золото, были также тщательно осмотрены.

Потом нарезал олово на малые куски, положил его в тигель и поставил в устье печи на пылающие угли. Молчаливый, косоглазый фамулус, с таким бледным, мертвенным и угрюмым лицом, что одна дама чуть не упала в обморок, приняв его в темноте за дьявола, начал работать громадными раздувальными мехами. Угли разгорались под шумной струей ветра.

Галеотто занимал гостей разговором. Между прочим возбудил всеобщую веселость, назвав алхимию casta meretrix, целомудренною блудницею, которая имеет много поклонников, всех обманывает, всем кажется доступной, но до сих пор еще не бывала ни в чьих объятиях, in nullos unquam pervenit amplexus.

Придворный врач Марлиани, человек тучный и неуклюжий, с обрюзглым, умным и важным лицом, сердито морщился, внимая болтовне алхимика, потирал свой лоб, наконец не выдержал и произнес:

— Мессере, не пора ли за дело? Олово кипит.

Галеотто достал синюю бумажку и развернул ее бережно. В ней оказался порошок светло-желтого, лимонного цвета, жирный, блестевший, как стекло, натолченное крупно,

пахнувший жженою морскою солью: то была заветная тинктура, неоценимое сокровище алхимиков, чудотворный камень мудрецов, lapis philosophorum.

Острием ножа отделил он едва заметную крупинку, не более репного семени, завернул в белый пчелиный воск, скатал шарик и бросил в кипящее олово.

— Какую силу полагаете вы в тинктуре? — сказал Марлиани.

— Одна часть на 2.820 частей превращаемого металла,— ответил Галеотто.— Конечно, тинктура еще несовершенна, но я думаю, что в скором времени достигну силы единицы на миллион. Довольно будет взять порошинку весом с просяное зерно, растворить в бочке воды, зачерпнуть скорлупой лесного ореха и брызнуть на виноградник, чтобы уже в мае появились спелые гроздья! Mara tingerem si Mercurius esset! Я превратил бы в золото море, если бы ртути было достаточно!

Марлиани пожал плечами: хвастовство мессера Галеотто бесило его. Он стал доказывать невозможность превращения доводами схоластики и силлогизмами Аристотеля. Алхимик улыбнулся.

— Погодите, domine magister, сейчас я представлю силлогизм, который вам будет нелегко опровергнуть.

Он бросил на угли горсть белого порошка. Облака дыма наполнили лабораторию. С шипением и треском вспыхнуло пламя, разноцветное, как радуга, то голубое, то зеленое, то красное.

В толпе зрителей произошло смятение. Впоследствии мадонна Филиберта рассказывала, что в багровом пламени видела дьявольскую рожу. Алхимик длинным чугунным крючком приподнял крышу на тигеле, раскаленную добела: олово бурлило, пенилось и клокотало. Тигель снова закрыли. Мех засвистел, засопел — и когда минут десять спустя в олово погрузили тонкий железный прут, все увидели, что на конце его повисла желтая капля.

— Готово! — произнес алхимик.

Глиняный плавильник достали из печи, дали ему остынуть, разбили и, звеня и сверкая, перед толпой, онемевшей от изумления, выпал слиток золота.

Алхимик указал на него и, обращаясь к Марлиани, произнес торжественно:

— Solve mihi hunc syllogismum! Разреши мне этот силлогизм!

— Неслыханно... невероятно... против всех законов природы и логики! — пролепетал Марлиани, в смущении разводя руками.

Лицо мессера Галеотто было бледно; глаза горели. Он поднял их к небу и воскликнул:

— Laudetur Deus in aeternum, qui partem suae infinitae potentiae nobis, suis adjectissimus creaturis, communicavit. Amen! — Слава Вышнему Богу, который нам, недостойнейшим тварям Своим, дарует часть бесконечного могущества Своего. Аминь!

При испытании золота на смоченном селитренною кислотою пробирном камне осталась желтая, блестящая полоска: оно оказалось чище самого тонкого венгерского и арабского.

Все окружили старика, поздравляли, пожимали ему руки.

Герцог Моро отвел его в сторону:

— Будешь ли ты мне служить верой и правдой?

— Я хотел бы иметь больше, чем одну жизнь, чтоб посвятить их все на служение вашей светлости! — отвечал алхимик.

— Смотри же, Галеотто, чтобы никто из других государей...

— Ваше высочество, если кто-нибудь узнает, велите повесить меня, как собаку!

И, помолчав, с подобострастным поклоном прибавил:

— Если бы только я мог получить...

— Как? Опять?

— О, последний раз, видит Бог, последний!..

— Сколько?

— Пять тысяч дукатов.

Герцог подумал, выторговал одну тысячу и согласился. Было поздно, мадонна Беатриче могла обеспокоиться. Собрались уезжать. Хозяин, провожая гостей, каждому поднес на память кусочек нового золота. Леонардо остался.

V

Когда гости уехали, Галеотто подошел к нему и сказал:

— Учитель, как вам понравился опыт?

— Золото было в палках,— отвечал Леонардо спокойно.

— В каких палках?.. Что вы хотите сказать, мессере?

— В палках, которыми вы мешали олово: я видел все.

— Вы сами осматривали их...

— Нет, не те...

— Как не те? Позвольте...

— Я же говорю вам, что видел все,— повторил Леонардо с улыбкой.— Не отпирайтесь, Галеотто. Золото спря-

тано было внутри выдолбленных палок, и когда деревянные концы их обгорели, оно выпало в тигель.

У старика подкосились ноги; на лице его было выражение покорное и жалкое, как у пойманного вора.

Леонардо подошел и положил ему руку на плечо.

— Не бойтесь, никто не узнает. Я не скажу.

Галеотто схватил его руку и с усилием проговорил:

— Правда, не скажете?..

— Нет. Я не желаю вам зла. Только зачем вы?..

— О, мессер Леонардо! — воскликнул Галеотто, и сразу после безмерного отчаяния такая же безмерная надежда вспыхнула в глазах его.— Клянусь Богом, если и вышло так, как будто я обманываю, то ведь это на время, на самое короткое время и для блага герцога, для торжества науки, потому что я ведь нашел, я в самом деле нашел камень мудрецов! Пока-то еще у меня его нет, но можно сказать, что оно уже есть, все равно, что есть, ибо я путь нашел, а вы знаете, в этом деле главное — путь. Еще три-четыре опыта, и кончено! Что же было делать, учитель? Неужели такой маленькой лжи не стоит открытие величайшей истины?..

— Что это с вами, мессер Галеотто, точно в жмурки играем,— молвил Леонардо, пожимая плечами.— Вы знаете так же хорошо, как я, что превращение металлов — вздор, что камня мудрецов нет и быть не может. Алхимия, некромантия, черная магия так же как все прочие науки, не основанные на точном опыте и математике,— обман или безумие, раздуваемое ветром, знамя шарлатанов, за которым следует глупая чернь...

Алхимик продолжал смотреть на Леонардо ясными и удивленными глазами. Вдруг склонил голову набок, лукаво прищурил один глаз и засмеялся:

— А вот это уже и нехорошо, учитель, право нехорошо! Разве я не посвященный, что ли? Как будто мы не знаем, что вы — величайший алхимик, обладатель сокровеннейших тайн природы, новый Гермес Тресмегист и Прометей!

— Я?

— Ну да, вы, конечно.

— Шутник вы, мессер Галеотто!

— Нет, это вы шутник, мессер Леонардо! Ай, ай, ай, какой же вы притворщик! Видал я на своем веку алхимиков, ревнивых к тайне науки, но такого еще никогда!

Леонардо внимательно посмотрел на него, хотел рассердиться и не мог.

— Так, значит, вы в самом деле,— произнес он с невольной улыбкой,— вы, в самом деле, верите?..

— Верю ли! — воскликнул Галеотто.— Да знаете ли вы, мессере, что если бы сам Бог сошел ко мне сейчас и сказал: Галеотто, камня мудрецов нет,— я ответил бы ему: Господи, как то, что Ты создал меня,— истинно, что камень есть и что я его найду!

Леонардо более не возражал, не возмущался и слушал с любопытством.

Когда зашла речь о помощи дьявола в сокровенных науках, алхимик с презрительной усмешкой заметил, что дьявол есть самое бедное создание во всей природе и что нет ни единого существа в мире более слабого, чем он. Старик верил только в могущество человеческого разума и утверждал, что для науки все возможно.

Потом вдруг, как будто вспомнил что-то забавное и милое, спросил, часто ли видит Леонардо стихийных духов; когда же собеседник признался, что он еще ни разу их не видел, Галеотто опять не поверил и с удовольствием подробно объяснил, что у Саламандры тело продолговатое, пальца полтора в длину, пятнистое, тонкое и жесткое, а у Сильфиды — прозрачно-голубое, как небо, и воздушное. Рассказал о нимфах, ундинах, живущих в воде, подземных гномах и пигмеях, растительных дурдалах и редких диемеях, обитателях драгоценных камней.

— Я вам и передать не могу,— заключил он свой рассказ,— какие они добрые!..

— Почему же стихийные духи являются не всем, а только избранным?

— Как можно всем? Они боятся грубых людей,— развратников, пьяниц, обжор. Любят детскую простоту и невинность. Они только там, где нет злобы и хитрости. Иначе становятся пугливыми, как лесные звери, и прячутся от взоров человека в родную стихию.

Лицо старика озарилось мечтательной, нежной улыбкой.

«Какой странный, жалкий и милый человек!» — подумал Леонардо, уже не чувствуя негодования на алхимические бредни, стараясь говорить с ним бережно, как с ребенком, готовый притвориться обладателем каких угодно тайн, только бы не огорчить мессера Галеотто.

Они расстались друзьями.

Когда Леонардо уехал, алхимик погрузился в новый опыт с Маслом Венеры.

VI

В то время перед громадным очагом, в нижней горнице, находившейся под лабораторией, сидела хозяйка, мона Сидония, и Кассандра.

Над вязанкой пылающего хвороста висел чугунный котел, в котором варилась похлебка с чесноком и репою на ужин. Однообразным движением сморщенных пальцев старуха вытягивала из кудели и сучила нить, то подымая, то опуская быстро вращавшееся веретено. Кассандра глядела на пряху и думала: опять все то же, опять сегодня, как вчера, завтра, как сегодня; сверчок поет, скребется мышь, жужжит веретено, трещат сухие стебли горицы, пахнет чесноком и репою; опять старуха теми же словами попрекает, точно пилит тупою пилою: она, мона Сидония, бедная женщина, хотя люди болтают, что кубышка с деньгами зарыта у нее в винограднике. Но это вздор. Мессер Галеотто разоряет ее. Оба, дядя и племянница, сидят у нее на шее, прости Господи! Она держит и кормит их только по доброте сердца. Но Кассандра уже не маленькая: надо подумать о будущем. Дядя умрет и оставит ее нищею. Отчего бы ей не выйти замуж за богатого лошадиного барышника из Абиатеграссо, который давно сватается? Правда, он уже не молод, зато человек рассудительный, богобоязненный; у него лабаз, мельница, оливковый сад с новым точилом. Господь посылает ей счастье. За чем же дело стало? Какого ей рожна?

Мона Кассандра слушала, и тяжелая скука подкатывалась комом к горлу, душила, сжимала виски, так что хотелось плакать, кричать от скуки, как от боли.

Старуха вынула из котелка дымящуюся репу, проколола острой деревянной палочкой, очистила ножом, облила густым, алым виноградным морсом и начала есть, чавкая беззубым ртом.

Молодая девушка привычным движением, с видом покорного отчаяния, потянулась и заломила над головой тонкие, бледные пальцы.

Когда, после ужина, сонная пряха, как унылая парка, закивала головой, и глаза ее начали слипаться, скрипучий голос сделался ленивым, болтовня о лошадином барышнике бессвязной,— Кассандра вынула украдкой из-под одежды подарок отца, мессера Луиджи, талисман, висевший на тонком шнурке, драгоценный камень, согретый телом ее, подняла его перед глазами так, чтобы пламя очага просвечивало, и стала смотреть на изображение Вакха: в темно-лило-

вом сиянии аметиста выступал перед нею, как видение, обнаженный юноша Вакх с тирсом в одной руке, с виноградной кистью в другой; скачущий барс хотел лизнуть эту кисть языком. И любовью к прекрасному богу полно было сердце Кассандры.

Она тяжело вздохнула, спрятала талисман и молвила робко:

— Мона Сидония, сегодня ночью в Барко ди Феррара и в Беневенте собираются... Тетушка! Добрая, милая! Мы и плясать не будем — только взглянем и сейчас назад. Я сделаю все, что хотите, подарок у барышника выманю — только полетим, полетим сегодня, сейчас!..

В глазах ее сверкнуло безумное желание. Старуха посмотрела на нее, и вдруг синеватые, морщинистые губы ее широко осклабились, открывая единственный, желтый зуб, похожий на клык; лицо сделалось страшным и веселым.

— Хочется? — молвила она,— очень, а? Во вкус вошла? Вишь, бедовая девка! Каждую бы ночь летала, не удержишь! Помни же, Кассандра: грех на твоей душе. У меня сегодня и в мыслях не было. Я только для тебя...

Не торопясь, обошла она горницу, закрыла наглухо ставни, заткнула щели тряпицами, заперла двери на ключ, залила водою золу в очаге, засветила огарок черного волшебного сала и вынула из железного рундучка глиняный горшок с остро пахучей мазью. Притворялась медлительной и благоразумной. Но руки у нее дрожали, как у пьяной, маленькие глазки то становились мутными и шалыми, то вспыхивали, как уголья, от вожделения. Кассандра вытащила на середину горницы два больших корыта, употребляемых для закваски хлебного теста.

Окончив приготовления, мона Сидония разделась донага, поставила горшок между корытами, села в одно из них верхом на помело и стала натирать себя по всему телу жирною, зеленоватою мазью из горшка. Пронзительный запах наполнил горницу. Это снадобье для полета ведьм приготовлялось из ядовитого латука, болотного сельдерея, болиголова, паслена, корней мандрагоры, снотворного мака, белены, змеиной крови и жира некрещеных, колдуньями замученных детей.

Кассандра отвернулась, чтобы не видеть уродства голого тела старухи. В последнее мгновение, когда уже было близко и неминуемо то, чего ей так хотелось,— в глубине ее сердца поднялось омерзение.

— Ну, ну, чего копаешься? — проворчала старая ведьма, сидя в корыте на корточках.— Сама же торопила, а теперь кочевряжишься. Я одна не полечу. Раздевайся!

— Сейчас. Потушите огонь, мона Сидония. Я не могу при свете...

— Вишь, скромница! А на Горе-то, небось, не стыдишься?..

Она задула огарок, сотворив в угоду дьяволу принятое ведьмами кощунственное крестное знамение левою рукою Молодая девушка разделась, только нижней сорочки не сняла; потом стала на колени в корыто и начала поспешно натираться мазью.

В темноте слышалось бормотание старухи — бессмысленные, отрывочные слова заклинаний:

— Emen Hetan, Emen Hetan, Палуд, Баальберит, Астарот, помогите! Agora, agora, Patrica — помогите!

Жадно вдыхала Кассандра крепкий запах волшебного зелья. Кожа на теле горела, голова кружилась. Сладостный холод пробегал по спине. Красные и зеленые круги, сливаясь, поплыли перед глазами, и, как будто издалека, вдруг донесся пронзительный, торжествующий крик моны Сидонии:

— Гарр! Гарр! Снизу вверх, не задевая!

VII

Из трубы очага вылетела Кассандра, сидя верхом на черном козле с мягкою шерстью, приятною для голых ног. Восторг наполнял ее душу, и, задыхаясь, она кричала, визжала, как ласточка, утопающая в небе:

— Гарр! Гарр! Снизу вверх, не задевая! Летим! Летим!

Нагая, простоволосая, безобразная тетка Сидония мчалась рядом, верхом на помеле.

Летели так быстро, что рассекаемый воздух свистел в ушах, как ураган.

— К северу! К северу! — кричала старуха, направляя свое помело, как послушного коня.

Кассандра упивалась полетом.

«А механик-то наш, бедный Леонардо да Винчи со своими летательными машинами!» — вспомнила она вдруг — и ей сделалось еще веселее.

То подымалась в высоту: черные тучи громоздились под нею, и в них трепетали голубые молнии. Вверху было ясное небо с полным месяцем, громадным, ослепительным,

круглым, как мельничный жернов, и таким близким, что казалось, можно было рукою прикоснуться к нему.

То снова вниз направляла козла, ухватив его за крутые рога, и летела стремглав, как сорвавшийся камень, в бездну.

— Куда? Куда? Шею сломаешь! Взбесилась ты, чертова девка? — вопила тетка Сидония, едва поспевая за ней.

И они уже мчались так близко к земле, что сонные травы в болоте шуршали, блуждающие огни освещали им путь, голубые гнилушки мерцали, филин, выпь, козодой жалобно перекликались в дремучем лесу.

Перелетели через вершины Альп, сверкавшие на луне прозрачными глыбами льда, и опустились к поверхности моря. Кассандра, зачерпнув воды рукою, подбрасывала ее вверх и любовалась сапфирными брызгами.

С каждым мигом полет становился быстрее. Попадались все чаще попутчики: седой, косматый колдун в ушате, веселый каноник, толстобрюхий, румянорожий, как Силен, на кочерге, белокурая девочка лет десяти, с невинным лицом, с голубыми глазами, на венике, молодая, голая, рыжая ведьма-людоедка на хрюкающем борове, и множество других.

— Откуда, сестрицы? — крикнула тетка Сидония.

— Из Эллады, с острова Кандии!

Другие голоса отвечали:

— Из Валенции. С Брокена. Из Салагуцци под Мирандолой. Из Беневента, из Норчии.

— Куда?

— В Битерн! В Битерн! Там празднует свадьбу Великий Козел — el Boch de Biterne. Летите, летите! Собирайтесь на вечерю!

Теперь уже целою стаей, как вороны, неслись они над печальной равниной.

В тумане луна казалась багровой. Вдали затеплился крест одинокого сельского храма. Рыжая, та, что скакала верхом на свинье, с визгом подлетела к церкви, сорвала большой колокол, швырнула его со всего размаха в болото и, когда он шлепнулся в лужу с жалобным звоном, захохотала, точно залаяла. Белокурая девочка на венике захлопала в ладоши с шаловливою резвостью.

VIII

Луна спряталась за тучи. При свете крученых из воска, зеленых факелов, с пламенем ярким и синим, как молния, на белоснежном, меловом плоскогории ползали, бегали, пе-

сплетались и расходились огромные, черные, как уголь, тени пляшущих ведьм.

— Гарр! Гарр! Шабаш, шабаш! Справа налево, справа налево!

Вокруг Ночного Козла, Hyrcus Nocturnus, восседавшего на скале, тысячи за тысячами проносились как черные гнилые листья осени — без конца, без начала.

— Гарр! Гарр! Славьте Ночного Козла! El Boch de Biterne! El Boch de Biterne! Кончились все наши бедствия! Радуйтесь!

Тонко и сипло пищали волынки из выдолбленных мертвых костей; и барабан, натянутый кожею висельников, ударяемый волчьим хвостом, мерно и глухо гудел, рокотал: «туп, туп, туп». В исполинских котлах закипала ужасная снедь, несказанно-лакомая, хотя и не соленая, ибо здешний Хозяин ненавидел соль.

В укромных местечках заводились любовные шашни — дочерей с отцами, братьев с сестрами, черного кота-оборотня, жеманного, зеленоглазого, с маленькой, тонкой и бледной, как лилия, покорною девочкой,— безликого, серого, как паук, шершавого инкуба с бесстыдно оскалившей зубы монахиней. Всюду копошились мерзостные пары.

Белотелая, жирная ведьма великанша с глупым и добрым лицом, с материнской улыбкой кормила двух новорожденных бесенят: прожорливые сосунки жадно припали к ее отвислым грудям и, громко чмокая, глотали молоко.

Трехлетние дети, еще не принимавшие участия в шабаше, скромно пасли на окраине поля стадо бугорчатых жаб с колокольчиками, одетых в пышные попонки из кардинальского пурпура, откормленных святым Причастием.

— Пойдем плясать,— нетерпеливо тащила Кассандру тетка Сидония.

— Лошадиный барышник увидит! — молвила девушка, смеясь.

— Пес его заешь, лошадиного барышника! — отвечала старуха.

И обе пустились в пляску, которая закружила, понесла их, как буря, с гулом, воем, визгом, ревом и хохотом.

— Гарр! Гарр! Справа налево! Справа налево!

Чьи-то длинные, мокрые, словно моржовые, усы сзади кололи шею Кассандре; чей-то тонкий, твердый хвост щекотал ее спереди; кто-то ущипнул больно и бесстыдно; кто-то укусил, прошептал ей на ухо чудовищную ласку. Но она

не противилась: чем хуже — тем лучше, чем страшнее — тем упоительнее.

Вдруг все мгновенно остановились, как вкопанные, окаменели и замерли.

От черного престола, где восседал Неведомый, окруженный ужасом, послышался глухой голос, подобный гулу землетрясения:

— Примите дары мои,— кроткие силу мою, смиренные гордость мою, нищие духом знание мое, скорбные сердцем радость мою,— примите!

Благолепный седобородый старик, один из верховных членов Святейшей Инквизиции, патриарх колдунов, служивший черную мессу, торжественно провозгласил:

— Sanctificetur nomen tuum per universum mundum, et libera nos ab omni malo [1].— Поклонитесь, поклонитесь, верные!

Все пали ниц, и, подражая церковному пению, грянул кощунственный хор:

— Credo in Deum, patrem Luciferum qui creavit coelum et terram. Et in filium ejus Belzebul [2].

Когда последние звуки умолкли и опять наступила тишина, раздался тот же голос, подобный гулу землетрясения:

— Приведите невесту мою неневестную, голубицу мою непорочную!

Первосвященник вопросил:

— Как имя невесты твоей, голубицы твоей непорочной?

— Мадонна Кассандра! Мадонна Кассандра! — прогудело в ответ.

Услышав имя свое, ведьма почувствовала, как в жилах ее леденеет кровь, волосы встают дыбом на голове.

— Мадонна Кассандра! Мадонна Кассандра! — пронеслось над толпой.— Где она? Где владычица наша? Ave, archisponsa Cassandra! [3]

Она закрыла лицо руками, хотела бежать — но костяные пальцы, когти, щупальцы, хоботы, шершавые паучьи лапы протянулись, схватили ее, сорвали рубашку и голую, дрожащую повлекли к престолу.

Козлиным смрадом и холодом смерти пахнуло ей в лицо. Она потупила глаза, чтобы не видеть.

Тогда сидевший на престоле молвил:

— Приди!

---

[1] Да святится имя твое во всем мире и избавь нас от всякого зла *(лат.)*.

[2] Верую в Бога — отца Люцифера, сотворившего небо и землю. И в сына его Вельзевула *(лат.)*.

[3] Радуйся, владычица Кассандра! *(лат.)*

Она еще ниже опустила голову и увидела у самых ног своих огненный крест, сиявший во мраке.

Она сделала последнее усилие, победила омерзение, ступила шаг и подняла глаза свои на того, кто встал перед нею.

И чудо совершилось.

Козлиная шкура упала с него, как чешуя со змеи, и древний олимпийский бог Дионис предстал перед моной Кассандрой, с улыбкой вечного веселья на устах, с поднятым тирсом в одной руке, с виноградною кистью в другой; пантера прыгала, стараясь лизнуть эту кисть языком.

И в то же мгновение дьявольский шабаш превратился в божественную оргию Вакха: старые ведьмы — в юных менад, чудовищные демоны — в козлоногих сатиров; и там, где были мертвые глыбы меловых утесов, вознеслись колоннады из белого мрамора, освещенного солнцем; между ними вдали засверкало лазурное море, и Кассандра увидела в облаках весь лучезарный сонм богов Эллады.

Сатиры, вакханки, ударяя в тимпаны, поражая себя ножами в сосцы, выжимая алый сок винограда в золотые кратеры и смешивая его с собственной кровью, плясали, кружились и пели:

— Слава, слава Дионису! Воскресли великие боги! Слава воскресшим богам!

Обнаженный юноша Вакх открыл объятья Кассандре, и голос его подобен был грому, потрясающему небо и землю:

— Приди, приди, невеста моя, голубица моя непорочная!

Кассандра упала в объятия бога.

IX

Послышался утренний крик петуха. Запахло туманом и едкою, дымною сыростью. Откуда-то, из бесконечной дали, донесся благовест колокола. От этого звука на горе произошло великое смятение; вакханки опять превратились в чудовищных ведьм, козлоногие фавны в уродливых дьяволов и бог Дионис в Ночного Козла — в смрадного Hircus Nocturnus.

— Домой, домой! Бегите, спасайтесь!

— Кочергу мою украли! — с отчаянием вопил толстобрюхий каноник Силен и метался, как угорелый.

— Боров, боров, ко мне! — кликала рыжая голая, пожимаясь от утренней сырости, кашляя.

Заходящий месяц выплыл из-за туч, и в его багровом отблеске, взвиваясь рой за роем, перетрусившие ведьмы, как черные мухи, разлетались с Меловой Горы.

— Гарр! Гарр! Снизу вверх, не задевая! Спасайтесь, бегите!

Ночной Козел заблеял жалобно и провалился сквозь землю, распространяя зловоние удушливой серы.

Гудел церковный благовест.

X

Кассандра очнулась на полу темной горницы в домике у Верчельских ворот.

Ее тошнило, как с похмелья. Голова была точно свинцом налита. Тело разбито усталостью.

Колокол св. Редегонды звенел уныло. Сквозь этот звон раздавался упорный, должно быть, уже давний стук в наружную дверь. Кассандра прислушалась и узнала голос жениха своего, лошадиного барышника из Абиатеграссо.

— Отоприте! Отоприте! Мона Сидония! Мона Кассандра! Оглохли вы, что ли? Как собака, промок. Не возвращаться же назад по этой чертовой слякоти!

Девушка встала с усилием, подошла к окну, наглухо закрытому ставнями, вынула паклю, которою тетка Сидония тщательно заткнула щели. Свет печального утра упал синеватой полоской, озаряя голую старую ведьму, спавшую мертвым сном на полу рядом с опрокинутой квашнею. Кассандра заглянула в щель.

День был ненастный. Дождь лил как из ведра. Перед дверями дома за мутной сеткой дождя виднелся влюбленный барышник; рядом стоял, низко понурив голову, вислоухий крошечный ослик, запряженный в повозку. Из нее выставил морду теленок со связанными ногами, издавая мычание.

Барышник, не унимаясь, стучал в дверь.

Кассандра ждала, чем это кончится.

Наконец, ставня наверху, в одном из окон лаборатории стукнула. Выглянул старый алхимик, не выспавшийся, со взъерошенными волосами, с угрюмым и злым лицом, какое бывало у него в те мгновения, когда, пробуждаясь от грез, начинал он сознавать, что свинец не может превратиться в золото.

— Кто стучит? — молвил он, высовываясь из окна.— Чего тебе нужно? Рехнулся ты, что ли, старый хрыч? Да пошлет тебе Господь безвремения! Разве не видишь — все в доме спят. Убирайся!

— Мессер Галеотто! Помилуйте, за что же вы ругаетесь? Я по важному делу, насчет племянницы вашей. Вот и теленочка молочного в подарочек...

— К черту! — закричал Галеотто с яростью.— Убирайся, негодяй, со своим теленком к черту под хвост!

И ставня захлопнулась. Озадаченный барышник на минуту притих. Но тотчас, опомнившись, с удвоенной силой принялся стучать кулаками, как будто хотел выломать дверь.

Ослик еще ниже понурил голову. Дождевые струйки медленно стекали по его безнадежно виссвшим мокрым ушам.

— Господи, какая скука! — прошептала мона Кассандра и закрыла глаза.

Ей припомнилось веселие шабаша, превращение Ночного Козла в Диониса, воскресение великих богов, и она подумала:

— Во сне это было или наяву? Должно быть, во сне. А вот то, что теперь — наяву. После воскресенья — понедельник...

— Отоприте! Отоприте! — вопил барышник уже осипшим, отчаянным голосом.

Тяжелые капли из водосточной трубы однозвучно шлепались в грязную лужу. Теленок жалобно мычал. Монастырский колокол звенел уныло.

ПЯТАЯ КНИГА

ДА БУДЕТ ВОЛЯ ТВОЯ

I

Миланский гражданин башмачник Ко́рболо, вернувшись ночью домой навеселе, получил от жены, по собственному выражению, больше ударов, чем нужно для того, чтобы ленивый осел дошел от Милана до Рима. Поутру, когда отправилась она к соседке своей, лоскутнице, отведать мильяччи — студня из свиной крови, Корболо ощупал в мошне несколько утаенных от супруги монет, оставил лавчонку на попечение подмастерья и пошел опохмелиться.

Засунув руки в карманы истертых штанов, выступал он ленивой походкой по извилистому темному переулку, такому тесному, что всадник, встретившись с пешим, должен был задеть его носком или шпорой. Пахло чадом оливкового масла, тухлыми яйцами, кислым вином и плесенью погребов.

Насвистывая песенку, поглядывая вверх на узкую полосу темно-синего неба между высокими домами, на пронизанные утренним солнцем пестрые лохмотья, развешанные хозяйками на веревках через улицу, Корболо утешал себя мудрою пословицей, которой, впрочем, сам никогда не приводил в исполнение:

«Всякая женщина, злая и добрая, в палке нуждается».

Для сокращения пути прошел он через собор.

Здесь была вечная суета, как на рынке. Из одной двери в другую, несмотря на пению, проходило множество людей, даже с мулами и лошадьми.

Патеры служили молебны гнусливыми голосами; слышался шепот в исповедальнях; горели лампады на алтарях. А рядом уличные мальчишки играли в чехарду, собаки обнюхивались, толкались ободранные нищие.

Корболо остановился на минуту в толпе ротозеев, с лукавым и добродушным удовольствием прислушиваясь к перебранке двух монахов.

Брат Чипполо, босоногий францисканец, низенький, рыжий, с веселым лицом, круглым и масленым, как пышка, доказывал противнику своему, доминиканцу, брату Тимотео, что Франциск, будучи подобен Христу в сорока отношениях, занял место, оставшееся на небе свободным после падения Люцифера, и что сама Божья Матерь не могла отличить его стигматов от крестных ран Иисусовых.

Угрюмый, высокий и бледнолицый брат Тимотео противопоставлял язвам Серафимского угодника язвы св. Катерины, у которой на лбу был кровавый след тернового венца, чего у св. Франциска не было.

Корболо должен был прищурить глаза от солнца, выйдя из тени собора на площадь Аренго, самое бойкое место в Милане, загроможденное лавками мелких торговцев, рыбников, лоскутников и зеленщиц, таким множеством ящиков, навесов и лотков, что между ними едва оставался узкий проход. С незапамятных времен угнездились они на этой площади перед собором, и никакие законы и пени не могли прогнать их отсюда.

«Салат из Валтеллины, лимоны, померанцы, артишоки, спаржа, спаржа хорошая!» — зазывали покупателей зеленщицы. Лоскутницы торговались и кудахтали, как наседки.

Маленький упрямый ослик, исчезавший под горою желтого и синего винограда, апельсинов, баклажанов, свеклы, цветной капусты, фенноки и лука, ревел раздирающим голосом: ио, ио, ио! Сзади погонщик звонко хлопал его дубиною по облезлым бокам и понукал отрывистым гортанным криком: арри! арри!

Вереница слепых с посохами и поводырем пела жалобную «Intemerata».

Уличный шарлатан-зубодер, с ожерельем зубов на выдровой шапке, с быстрыми и ловкими движениями фокусника, стоя позади человека, сидевшего на земле, и сжимая ему голову коленями, выдергивал зуб громадными щипцами.

Мальчишки показывали жиду свиное ухо и пускали траттолу-волчок под ноги прохожих. Самый отчаянный из шалунов, черномазый, курносый Фарфаниккио, принес мышеловку, выпустил мышь и начал охотиться за нею с метлою в руках, с пронзительным гиком и свистом: «Вот она, вот она!» Убегая от погони, мышь бросилась под широчайшие юбки мирно вязавшей чулок толстогрудой, дебелой зеленщицы Барбаччи. Она вскочила, завизжала, как ошпаренная, и, при общем хохоте, подняла платье, стараясь вытряхнуть мышь.

— Погоди, возьму булыжник, разобью тебе обезьянью башку, негодяй! — кричала в бешенстве.

Фарфаниккио издали показывал язык и прыгал от восторга.

На шум обернулся носильщик с громадною свиною тушей на голове. Лошадь доктора, мессера Габбадео, испугалась, шарахнулась, понесла, задела и уронила целую груду кухонной посуды в лавчонке торговца старым железом. Уполовники, сковороды, кастрюли, терки, котлы посыпались с оглушительным грохотом. Перетрусивший мессер Габбадео скакал, отпустив поводья и вопил: «Стой, стой, чертова перечница!»

Собаки лаяли. Любопытные лица высовывались из окон.

Хохот, ругань, визг, свист, человеческий крик и ослиный рев стояли над площадью.

Любуясь на это зрелище, башмачник думал с кроткой улыбкой:

«А славно было бы жить на свете, если б не жены, которые едят мужей своих, как ржавчина ест железо!»

Заслонив глаза от солнца ладонью, взглянул он вверх на исполинское неоконченное строение, окруженное плотничьими лесами. То был собор, воздвигаемый народом во славу Рождества Богородицы.

Малые и великие принимали участие в созидании храма. Королева Кипрская прислала драгоценные воздýхи, тканные золотом; бедная старушка-лоскутница Катерина положила на главный алтарь, как приношение Деве Марии, не думая о холоде предстоящей зимы, ветхую единственную шубенку свою, ценой в двадцать сольдов.

Корболо, с детства привыкший следить за постройкой, в это утро заметил новую башню и обрадовался ей.

Каменщики стучали молотками. С выгрузной пристани в Лагетто у Сан-Стефано, неподалеку от Оспедале Маджоре, где причаливали барки, подвозились огромные искрящиеся глыбы белого мрамора из Лагомаджорских каменоломен. Лебедки скрипели и скрежетали цепями. Железные пилы визжали, распиливая мрамор. Рабочие ползали по лесам, как муравьи.

И великое здание росло, высилось бесчисленным множеством сталактитоподобных стрельчатых игл, колоколен и башен из чистого белого мрамора, в голубых небесах,— вечная хвала народа Деве Марии Рождающейся.

II

Корболо спустился по крутым ступеням в прохладный, сводчатый, установленный винными бочками, погреб немца-харчевника Тибальдо.

Вежливо поздоровался с гостями, подсел к знакомому лудильщику Скарабулло, спросил себе кружку вина и горячих миланских пирожков с тмином — офэлэтт, не спеша отхлебнул, закусил и сказал:

— Если хочешь быть умным, Скарабулло, никогда не женись!

— Почему?

— Видишь ли, друг,— продолжал башмачник глубокомысленно,— жениться все равно, что запустить руку в мешок со змеями, чтобы вынуть угря. Лучше иметь подагру, чем жену, Скарабулло!

За столиком рядом, краснобай и балагур, златошвей Маскарелло рассказывал голодным оборванцам чудеса о неведомой земле Берлинцоне, блаженном крае, именуемом Живи-Лакомо, где виноградные лозы подвязываются сосисками, гусь идет за грош да еще с гусенком в придачу. Есть там гора из тертого сыру, на которой живут люди и ничем другим не занимаются, как только готовят макароны и клецки, варят их в отваре из каплунов и бросают вниз. Кто больше поймает, у того больше бывает. И поблизости течет река из верначчио — лучшего вина никто не пивал, и нет в нем ни капли воды.

В погреб вбежал маленький человек, золотушный, с глазами подслеповатыми, как у щенка, не совсем прозревшего,— Горгольо, выдувальщик стекла, большой сплетник и любитель новостей.

— Синьоры,— приподымая запыленную дырявую шляпу и вытирая пот с лица, объявил он торжественно,— синьоры, я только что от французов!

— Что ты говоришь, Горгольо? Разве они уже здесь?

— Как же, — в Павии... Фу, дайте дух перевести, запыхался. Бежал, сломя голову. Что, думаю, если кто-нибудь раньше меня поспеет...

— Вот тебе кружка, пей и рассказывай: что за народ французы?

— Бедовый, братцы, народ, не клади им пальца в рот. Люди буйные, дикие, иноплеменные, богопротивные, звероподобные — одно слово, варвары! Пищали и аркебузы восьмилоктевые, ужевицы медные, бомбарды чугунные с ядрами каменными, кони, как чудища морские,— лютые, с ушами, с хвостами обрезанными.

— А много ли их? — спросил Мазо.

— Тьмы тем! Как саранча, всю равнину кругом обложили, конца краю не видать. Послал нам Господь за грехи черную немочь, северных дьяволов!

— Что же ты бранишь их, Горгольо,— заметил Маскарелло,— ведь они нам друзья и союзники?

— Союзники! Держи карман! Этакий друг хуже врага,— купит рога, а съест быка.

— Ну, ну, не растарабарывай, говори толком: чем французы нам враги? — допрашивал Мазо.

— А тем и враги, что нивы наши топчут, деревья рубят, скотину уводят, поселян грабят, женщин насилуют. Король-то французский плюгавый — в чем душа держится, а на женщин лих. Есть у него книга с портретами голых итальянских красавиц. Ежели, говорят они, Бог нам поможет,— от Милана до Неаполя ни одной девушки невинной не оставим.

— Негодяи! — воскликнул Скарабулло, со всего размаха ударяя кулаком по столу так, что бутылки и стаканы зазвенели.

— Моро-то наш на задних лапках под французскую дудку пляшет,— продолжал Горгольо.— Они нас и за людей не считают.— Все вы, говорят, воры и убийцы. Собственного законного герцога ядом извели, отрока невинного уморили. Бог вас за это наказывает и землю вашу нам передает.— Мы-то их, братцы, от доброго сердца потчуем, а они угощение наше лошадям отведать дают: нет ли, мол, в пище того яда, которым герцога отравили?

— Врешь, Горгольо!

— Лопни глаза мои, отсохни язык! И послушайте-ка, мессеры, как они еще похваляются: завоюем, говорят, сначала все народы Италии, все моря и земли покорим, великого Турку полоним, Константинополь возьмем, на Масличной Горе в Иерусалиме крест водрузим, а потом опять к вам вернемся. И тогда суд Божий совершим над вами. И если вы нам не покоритесь, самое имя ваше сотрем с лица земли.

— Плохо, братцы,— молвил златошвей Маскарелло,— ой, плохо! Такого еще никогда не бывало...

Все притихли.

Брат Тимотео, тот самый монах, что спорил в соборе с братом Чипполо, воскликнул торжественно, воздевая руки к небу:

— Слово великого пророка Божьего, Джироламо Савонаролы: се грядет муж, который завоюет Италию, не вы-

нимая меча из ножен. О, Флоренция! о, Рим!, о, Милан! — время песен и праздников миновало. Покайтесь! Покайтесь! Кровь герцога Джан-Галеаццо, кровь Авеля, убитого Каином, вопиет о мщении к Господу!

III

— Французы! Французы! Смотрите! — указывал Горгольо на двух солдат, входивших в погреб.

Один — гасконец, стройный молодой человек с рыжими усиками, с красивым и наглым лицом, был сержант французской конницы, по имени Бонивар. Товарищ его — пикардиец, пушкарь Гро-Гильош, толстый, приземистый старик с бычьей шеей, с лицом, налитым кровью, с выпуклыми рачьими глазами и медною серьгой в ухе. Оба навеселе.

— Найдем ли мы, наконец, в этом анафемском городе кружку доброго вина? — хлопая по плечу Гро-Гильоша, молвил сержант.— От ломбардской кислятины горло дерет, как от уксуса!

Бонивар с брезгливым, скучающим видом развалился за одним из столиков, высокомерно поглядывая на прочих посетителей, постучал оловянной кружкой и крикнул на ломаном итальянском языке:

— Белого, сухого, самого старого! Соленой червеллаты на закуску.

— Да, братец,— вздохнул Гро-Гильош,— как вспомнишь родное бургонское или драгоценное бом, золотистое, точно волосы моей Лизон,— сердце от тоски защемит! И то сказать: каков народ, таково вино. Выпьем-ка, дружище, за милую Францию!

Du grand Dieu soit mauldit à outrance,
Qui mal vouldroit au royaume de France! [1]

— О чем они? — шепнул Скарабулло на ухо Горгольо.

— Привередничают, наши вина бранят, свои похваливают.

— Вишь, хорохорятся петухи французские! — проворчал, нахмурившись, лудильщик.— Зудит у меня рука, ой, зудит проучить их, как следует!

Тибальдо, хозяин-немец, с толстым брюхом, на тонких ножках, с громадной связкой ключей за широким кожаным поясом, нацедил из бочки полбренты и подал французам в запотевшем от холода глиняном кувшине, недоверчиво посматривая на чужеземных гостей.

---

[1] Да будет беспощадно проклят Богом тот, кто пожелает зла французскому королевству! *(франц.)*

Бонивар одним духом выпил кружку вина, которое показалось ему превосходным, плюнул и выразил на лице своем отвращение.

Мимо него прошла дочь хозяина, Лотта, миловидная белокурая девушка, с такими же добрыми голубыми глазами, как у Тибальдо.

Гасконец лукаво подмигнул товарищу и с ухарством закрутил свой рыжий ус; потом, выпив еще, затянул солдатскую песенку о Карле VIII:

Charles fera si grandes battailles,
Qu'il conquerra les Itailles,
En Jerusalem entrera
Et mont des Oliviers montera[1].

Гро-Гильош подпевал сиплым голосом.

Когда Лотта, возвращаясь, опять проходила мимо них, скромно потупив глаза, сержант обнял ее стан, желая посадить девушку к себе на колени.

Она оттолкнула его, вырвалась и убежала. Он вскочил, поймал ее и поцеловал в щеку губами, мокрыми от вина.

Девушка вскрикнула, уронила на пол глиняный кувшин, который разбился вдребезги, и, обернувшись, со всего размаха ударила француза по лицу так, что тот на мгновение опешил.

Гости захохотали.

— Ай да девка! — воскликнул златошвей,— клянусь святым Джервазио, от роду не видывал я такой здоровенной пощечины! Вот так утешила!

— Ну ее, брось, не связывайся! — удерживал Гро-Гильош Бонивара.

Гасконец не слушал. Хмель сразу ударил ему в голову. Он засмеялся насильственным смехом и крикнул:

— Подожди же, красавица,— теперь уж я не в щеку, а прямо в губы!

Бросился за нею, опрокинул стол, догнал и хотел поцеловать. Но могучая рука лудильщика Скарабулло схватила его сзади за шиворот.

— Ах ты, собачий сын, французская твоя рожа бесстыжая! — кричал Скарабулло, встряхивая Бонивара и сдавливая ему шею все крепче.— Погоди, намну я тебе бока, будешь помнить, как оскорблять миланских девушек!..

— Прочь, негодяй! Да здравствует Франция! — завопил в свою очередь рассвирепевший Гро-Гильош.

[1] В великих битвах
Карл завоюет всю Италию,
Войдет в Иерусалим
И поднимется на Масличную гору *(франц.)*.

Он замахнулся шпагой и вонзил бы ее в спину лудильщику, если бы Маскарелло, Горгольо, Мазо и другие собутыльники не подскочили и не удержали его за руки.

Между опрокинутыми столами, скамейками, бочонками, черепками разбитых кувшинов и лужами вина произошла свалка.

Увидев кровь, оголенные шпаги и ножи, испуганный Тибальдо выскочил из погреба и закричал на всю площадь:

— Смертоубийство! Французы грабят!

Ударили в рыночный колокол. Ему ответил другой, на Бролетто. Осторожные купцы запирали лавки. Лоскутницы и овощницы уносили лотки с товарами.

— Святые угодники, заступники наши, Протазио, Джервазио! — голосила Барбачча.

— Что там такое? Пожар, что ли?

— Бейте, бейте французов!..

Маленький Фарфаниккио прыгал от восторга, свистел и визжал пронзительно:

— Бейте, бейте французов!

Появились городские стражники — берровьеры с аркебузами и алебардами.

Они подоспели вовремя, чтобы предупредить убийство и вырвать из рук черни Бонивара и Гро-Гильоша. Забирая кого попало, схватили и башмачника Корболо.

Жена, прибежавшая на шум, всплеснула руками и завыла:

— Смилуйтесь, отпустите муженька моего, отдайте его мне! Я уж с ним расправлюсь по-свойски, вперед в уличную свалку не полезет! Право же, синьоры, этот дурак и веревки не стоит, на которой его повесят!

Корболо печально и стыдливо потупил глаза, притворяясь, что не слышит угроз жены, и спрятался от нее за спину городских стражников.

IV

Над лесами неоконченного собора, по узкой веревочной лестнице влезал на одну из тонких колоколен, недалеко от главного купола, молодой каменщик с маленьким изваянием св. великомученицы Екатерины, которое надо было прикрепить на самом конце стрельчатой башни.

Кругом подымались, как будто реяли сталактитоподобные, остроконечные башни, иглы, ползучие арки, каменное кружево из небывалых цветов, побегов и листьев, бес-

численные пророки, мученики, ангелы, смеющиеся рожи дьяволов, чудовищные птицы, сирены, гарпии, драконы с колючими крыльями, с разинутыми пастями, на концах водосточных труб. Все это — из чистого мрамора, ослепительно белого, с тенями голубыми, как дым,— походило на громадный зимний лес, покрытый сверкающим инеем.

Было тихо. Только ласточки с криком проносились над головой каменщика. Шум толпы на площади долетал к нему, как слабый шелест муравейника. На краю бесконечной зеленой Ломбардии сияли снежные громады Альп, такие же острые, белые, как вершины собора. Порой снизу чудились отзвуки органа, как бы молитвенные вздохи из внутренности храма, из глубины его каменного сердца — и тогда казалось, что все великое здание живет, дышит, растет и возносится к небу, как вечная хвала Марии Рождающейся, как радостный гимн всех веков и народов Деве Пречистой, Жене, облеченной в солнце.

Вдруг шум на площади усилился. Послышался набат.

Каменщик остановился, посмотрел вниз, и голова его закружилась, в глазах потемнело: ему казалось, что исполинское здание шатается под ним, тонкая башня, на которую он взлезал, гнется, как тростник.

— Кончено, падаю! — подумал он с ужасом.— Господи, прими душу мою!

С последним отчаянным усилием уцепился за веревочную ступень, закрыл глаза и прошептал:

— Ave, dolce Maria, di grazia piena! [1]

Ему стало легче.

С высоты повеяло прохладным дуновением.

Он перевел дыхание, собрал силы и продолжал путь, не слушая более земных голосов, подымаясь все выше и выше к тихому, чистому небу, повторяя с великою радостью:

— Ave, dolce Maria, di grazia piena.

В это время по мраморной широкой почти плоской крыше собора проходили члены строительного совета, зодчие итальянские и чужеземные, приглашенные герцогом для совещания о тибурио — главной башне над куполом храма.

Среди них был Леонардо да Винчи. Он предложил свой замысел, но члены совета отвергли его, как слишком смелый, необычайный и вольнодумный, противоречащий преданиям церковного зодчества.

Спорили и не могли придти к соглашению. Одни доказывали, что внутренние столбы недостаточны прочны.

---

[1] Радуйся, благодатная Мария! *(итал.)*

«Если бы,— говорили они — тибурио и башни были окончены, то скоро здание рухнуло бы, так как постройка начата людьми невежественными». По мнению других, собор простоит вечность.

Леонардо по обыкновению, не принимая участия в споре, стоял, одинокий и молчаливый, в стороне.

Один из рабочих подошел к нему и подал письмо.

— Мессере, внизу на площади ожидает вашей милости верховой из Павии.

Художник распечатал письмо и прочел:

«Леонардо, приезжай поскорее. Мне нужно тебя видеть. Герцог Джан-Галеаццо. 14 октября».

Он извинился перед членами совета, сошел на площадь, сел на коня и отправился в Кастелло ди Павия, замок, который был в нескольких часах езды от Милана.

V

Каштаны, вязы и клены громадного парка сияли на солнце золотом и пурпуром осени. Порхая как бабочки, падали мертвые листья. В заросших травою фонтанах не била вода. В запущенных цветниках увядали астры.

Подходя к замку, Леонардо увидел карлика. Это был старый шут Джан-Галеаццо, оставшийся верным своему господину, когда все прочие слуги покинули умирающего герцога.

Узнав Леонардо, ковыляя и подпрыгивая, карлик побежал ему навстречу.

— Как здоровье герцога? — спросил художник.

Тот ничего не ответил, только безнадежно махнул рукою.

Леонардо пошел было главной аллеей.

— Нет, нет, не сюда! — остановил его карлик.— Тут могут увидеть. Их светлость просили, чтобы тайно... А то, если герцогиня Изабелла узнает,— пожалуй не пустят. Мы лучше обходцем, боковой дорожкою...

Войдя в угловую башню, поднялись по лестнице и миновали несколько мрачных покоев, должно быть, некогда великолепных, теперь необитаемых. Обои из кордуанской златотисненой кожи содраны были со стен; герцогское седалище под шелковым навесом заткано паутиною. Сквозь окна с разбитыми стеклами ветер осенних ночей занес из парка желтые листья.

— Злодеи, грабители! — ворчал себе под нос карлик, указывая спутнику на следы запустения.— Верите ли, глаза бы не смотрели на то, что здесь творится! Убежал бы на край света, если бы не герцог, за которым и ухаживать-

то некому, кроме меня, старого урода... Сюда, сюда пожалуйте.

Притворив дверь, он впустил Леонардо в пропитанную запахом лекарств душную темную комнату.

VI

Кровопускание, согласно с правилами врачебного искусства, делали при свечах и закрытых ставнях. Помощник цирюльника держал медный таз, в который стекала кровь. Сам брадобрей, скромный старичок, засучив рукава, производил надрез вены. Врач, «мастер физики», с глубокомысленным лицом, в очках, в докторском наплечнике из темно-лилового бархата на беличьем меху, не принимая участия в работе цирульника,— прикосновение к хирургическим орудиям считалось унизительным для достоинства врача,— только наблюдал.

— Перед ночью снова извольте пустить кровь,— сказал он повелительно, когда рука была перевязана, и больного уложили на подушки.

— Domine magister,— произнес брадобрей учтиво и робко,— не лучше ли подождать? Как бы чрезмерная потеря крови...

Врач посмотрел на него с презрительной усмешкой:

— Постыдитесь, любезнейший! Пора бы вам знать, что из двадцати четырех фунтов крови, находящихся в человеческом теле, можно выпустить двадцать, без всякой опасности для жизни и здоровья. Чем больше берете испортившейся воды из колодца, тем больше остается свежей. Я пускал кровь грудным младенцам, не жалея, и, благодаря Богу, всегда помогало.

Леонардо, слушавший этот разговор внимательно, хотел возразить, но подумал, что спорить с врачами столь же бесполезно, как с алхимиками.

Доктор и цирульник удалились. Карлик поправил подушки и окутал ноги больного одеялом.

Леонардо оглянул комнату. Над постелью висела клетка с маленьким зеленым попутаем. На круглом столике валялись карты, игральные кости, стоял стеклянный сосуд, наполненный водой, с золотыми рыбками. В ногах у герцога спала, свернувшись, белая собачка. Все это были последние забавы, которые верный слуга придумывал для развлечения своего господина.

— Отправил письмо? — проговорил герцог, не открывая глаз.

— Ах, ваша светлость,— заторопился карлик,— мы-то ждем, думаем, вы спите. Ведь мессер Леонардо здесь...

— Здесь?

Больной с радостной улыбкой сделал усилие, чтобы приподняться.

— Учитель, наконец-то! Я боялся, что ты не приедешь ..

Он взял художника за руку, и прекрасное, совсем молодое лицо Джан-Галеаццо,— ему было двадцать четыре года,— оживилось бледным румянцем.

Карлик вышел из комнаты, чтобы сторожить у двери.

— Друг мой,— продолжал больной,— ты конечно слышал?..

— О чем, ваша светлость?

— Не знаешь? Ну, если так, то и вспоминать не надо. А впрочем, все равно, скажу: вместе посмеемся. Они говорят...

Он остановился, посмотрел ему прямо в глаза и докончил с тихой усмешкой:

— Они говорят, что ты — мой убийца.

Леонардо подумал, что больной бредит.

— Да, да, не правда ли, какое безумие? Ты мой убийца!..— повторил герцог.— Недели три назад мой дядя Моро и Беатриче прислали мне в подарок корзину персиков. Мадонна Изабелла уверена, что с тех пор как я отведал этих плодов, мне сделалось хуже, что я умираю от медленного яда, и будто бы в саду твоем есть такое дерево...

— Правда,— молвил Леонардо,— у меня есть такое дерево.

— Что ты говоришь?.. Неужели?..

— Нет, Бог спас меня, если только плоды, в самом деле, из моего сада. Теперь я понимаю, откуда эти слухи: изучая действие ядов, я хотел отравить персиковое дерево. Я сказал моему ученику Зороастро да Перетола, что персики отравлены. Но опыт не удался. Плоды безвредны. Должно быть, ученик поторопился и сообщил кому-нибудь...

— Я так и знал,— воскликнул герцог радостно,— никто не виноват в моей смерти! А между тем все они друг друга подозревают, ненавидят, боятся... О, если бы можно было сказать им все, как мы с тобой теперь говорим! Дядя считает себя моим убийцей, а я знаю, что он добрый, только слабый и робкий. Да и зачем бы ему убивать меня? Я сам готов отдать ему власть. Ничего мне не нужно... Я ушел бы от них, жил бы на свободе, в уединении, с друзьями. Сделался бы монахом или твоим учеником, Леонардо. Но никто не хотел поверить, что я в самом деле не жа-

лею власти... И зачем, Боже мой, зачем они теперь это сделали? Не меня, себя они отравили невинными плодами твоего невинного дерева, бедные, слепые... Я прежде думал, что я несчастен, потому что должен умереть. Но теперь я понял все, учитель. Я больше ничего не хочу, ничего не боюсь. Мне хорошо, спокойно и так отрадно, как будто в знойный день я сбросил с себя пыльную одежду и вхожу в чистую, холодную воду. О, друг мой, я не умею сказать, но ты понимаешь, о чем я говорю? Ты ведь сам такой...

Леонардо молча, с тихою улыбкою, пожал ему руку.

— Я знал,— продолжал больной еще радостнее,— я знал, что ты поймешь меня... Помнишь, ты сказал мне однажды, что созерцание вечных законов механики, естественной необходимости учит людей великому смирению и спокойствию? Тогда я не понял. Но теперь, в болезни, в одиночестве, в бреду, как часто вспоминал я тебя, твое лицо, твой голос, каждое слово твое, учитель! Знаешь ли, мне иногда кажется: разными путями мы пришли с тобой к одному, ты — в жизни, я — в смерти...

Двери открылись, вбежал карлик с испуганным видом и объявил:

— Мона Друда!

Леонардо хотел уйти, но герцог его удержал.

В комнату вошла старая няня Джан-Галеаццо, держа в руках небольшую склянку с желтоватой мутной жидкостью — скорпионовою мазью.

В середине лета, когда солнце — в созвездии Пса, ловили скорпионов, опускали их живыми в столетнее оливковое масло с крестовиком, матридатом и змеевиком, отстаивали на солнце в течение пятидесяти дней и каждый вечер мазали больному под мышками, виски, живот и грудь около сердца. Знахарки утверждали, что нет лучшего лекарства не только против всех ядов, но и против колдовства, наваждения и порчи.

Старуха, увидев Леонардо, сидевшего на краю постели, остановилась, побледнела, и руки ее так затряслись, что она едва не выронила склянки.

— С нами сила Господня! Матерь пресвятая Богородица!..

Крестясь, бормоча молитвы, пятилась она к двери и, выйдя из комнаты, побежала так поспешно, как только позволяли ей старые ноги, к своей госпоже, мадонне Изабелле, сообщить страшную весть.

Мона Друда была уверена, что злодей Моро и его приспешник Леонардо извели герцога, если не ядом, то

глазом, порчею, вынутым следом или какими-либо другими бесовскими чарами.

Герцогиня молилась в часовне, стоя на коленях пред образом.

Когда мона Друда доложила ей, что у герцога — Леонардо, она вскочила и воскликнула:

— Не может быть! Кто его пустил?..

— Кто пустил? — пробормотала старуха, покачав головой.— Верите ли, ваша светлость, и ума не приложу, откуда он взялся, окаянный! Точно из земли вырос или в трубу влетел, прости Господи! Дело, видно, нечистое. Я уже давно докладывала вашей светлости...

В часовню вошел паж и почтительно преклонил колено:

— Светлейшая мадонна, угодно ли будет вам и вашему супругу принять его величество, христианнейшего короля Франции?

VII

Карл VIII остановился в нижних покоях Павийского замка, роскошно убранных для него герцогом Лодовико Моро.

Отдыхая после обеда, король слушал чтение только что по его заказу переведенной с латинского на французский язык, довольно безграмотной книги: «Чудеса Города Рима — Mirabilia Urbus Romae».

Одинокий, запуганный отцом своим, болезненный ребенок, Карл, проведя печальные годы в пустынном замке Амбуаз, воспитывался на рыцарских романах, которые окончательно вскружили ему и без того уже слабую голову. Очутившись на престоле Франции и вообразив себя героем сказочных подвигов, во вкусе тех, какие повествуются о странствующих рыцарях Круглого Стола, Ланселоте и Тристане, двадцатилетний мальчик, неопытный и застенчивый, добрый и взбалмошный, задумал исполнить на деле то, что вычитал из книг. «Сын бога Марса, потомок Юлия Цезаря», по выражению придворных летописцев, спустился он в Ломбардию, во главе громадного войска, для завоевания Неаполя, Сицилии, Константинополя, Иерусалима, для низвержения Великого Турка, совершенного искоренения ереси Магометовой и освобождения Гроба Господня от ига неверных.

Слушая «Чудеса Рима» с простодушным доверием, король предвкушал славу, которую приобретет завоеванием столь великого города.

Мысли его путались. Он чувствовал боль под ложечкой и тяжесть в голове от вчерашнего, слишком веселого ужина с миланскими дамами. Лицо одной из них, Лукреции Кривелли, всю ночь снилось ему.

Карл VIII ростом был мал и лицом уродлив. Ноги имел кривые, тонкие, как спицы, плечи узкие, одно выше другого, впалую грудь, непомерно большой крючковатый нос, волосы редкие, бледно-рыжие, странный желтоватый пух вместо усов и бороды. В руках и в лице судорожное подергивание. Вечно открытые, как у маленьких детей, толстые губы, вздернутые брови, громадные белесоватые и близорукие глаза навыкате придавали ему выражение унылое, рассеянное и, вместе с тем, напряженное, какое бывает у людей слабых умом. Речь была невнятной и отрывочной. Рассказывали, будто бы король родился шестипалым, и для того, чтобы это скрыть, ввел при дворе безобразную моду широких, закругленных, наподобие лошадиных копыт, мягких туфель из черного бархата.

— Тибо, а, Тибо,— обратился он к придворному валедешамбру, прерывая чтение, со своим обычным рассеянным видом, заикаясь и не находя нужных слов,— мне, братец, того... как будто пить хочется. А? Изжога, что ли? Принеси-ка вина, Тибо...

Вошел кардинал Бриссоне и доложил, что герцог ожидает короля.

— А? А? Что такое? Герцог?.. Ну, сейчас. Только выпью...

Карл взял кубок, поданный придворным.

Бриссоне остановил короля и спросил Тибо:

— Наше?

— Нет, монсиньор,— из здешнего погреба. У нас все вышло.

Кардинал выплеснул вино.

— Простите, ваше величество. Здешние вина могут быть вредными для вашего здоровья. Тибо, вели кравчему сбегать в лагерь и принести бочонок из походного погреба.

— Почему? А? Что, что такое?..— бормотал король в недоумении.

Кардинал шепнул ему на ухо, что опасается отравы, ибо от людей, которые уморили законного государя своего, можно ожидать всякого предательства, и, хотя нет явных улик, осторожность не мешает.

— Э, вздор! Зачем? Хочется пить,— молвил Карл, подергивая плечом с досадой, но покорился.

Герольды побежали вперед.

Четыре пажа подняли над королем великолепный балдахин из голубого шелка, затканный серебряными французскими лилиями, сенешаль накинул ему на плечи мантию с горностаевой оторочкой, с вышитыми по красному бархату золотыми пчелами и рыцарским девизом: «Король пчел не имеет жала — Le roi des abeilles n'a pas d'aiguillon»,— и по мрачным запустелым покоям Павийского замка направилось шествие в комнаты умирающего.

Проходя мимо часовни, Карл увидел герцогиню Изабеллу. Почтительно снял берет, хотел подойти и, по старозаветному обычаю Франции, поцеловать даму в уста, назвав ее «милой сестрицей».

Но герцогиня подошла к нему сама и бросилась к его ногам.

— Государь,— начала она заранее приготовленную речь,— сжалься над нами! Бог тебя наградит. Защити невинных, рыцарь великодушный! Моро отнял у нас все, похитил престол, отравил супруга моего, законного герцога миланского, Джан-Галеаццо. В собственном доме своем окружены мы убийцами...

Карл плохо понимал и почти не слушал того, что она говорила.

— А? А? Что такое? — лепетал он, точно спросонок, судорожно подергивая плечом и заикаясь.— Ну, ну, не надо... Прошу вас... не надо же, сестрица... Встаньте, встаньте!

Но она не вставала, ловила его руки, целовала их, хотела обнять его колени и, наконец, заплакав, воскликнула с непритворным отчаянием:

— Если и вы меня покинете, государь, я наложу на себя руки!..

Король окончательно смутился, и лицо его болезненно сморщилось, как будто он сам готов был заплакать.

— Ну, вот, вот!.. Боже мой... я не могу... Бриссоне... пожалуйста... я не знаю... скажи ей...

Ему хотелось убежать; она не пробуждала в нем никакого сострадания, ибо в самом унижении, в отчаянии была слишком горда и прекрасна, похожа на величавую героиню трагедии.

— Яснейшая мадонна, успокойтесь. Его величество сделает все, что можно, для вас и для вашего супруга, мессира Жан-Галеасса,— молвил кардинал вежливо и холодно, с оттенком покровительства, произнося имя герцога по-французски.

Герцогиня оглянулась на Бриссоне, внимательно по-

смотрела в лицо королю и вдруг, как будто теперь только поняла, с кем говорит, умолкла.

Уродливый, смешной и жалкий, стоял он перед ней с открытыми, как у маленьких детей, толстыми губами, с бессмысленной, напряженной и растерянной улыбкой, выкатив огромные белесоватые глаза.

«Я — у ног этого заморыша, слабоумца, я — внучка Фердинанда Арагонского!»

Встала; бледные щеки ее вспыхнули. Король чувствовал, что необходимо сказать что-то, как-нибудь выйти из молчания. Он сделал отчаянное усилие, задергал плечом, заморгал глазами и, пролепетав только свое обычное: «А? А? Что такое?»—заикнулся, безнадежно махнул рукой и умолк.

Герцогиня смерила его глазами с нескрываемым презрением. Карл опустил голову, уничтоженный.

— Бриссоне, пойдем, пойдем... что ли... А?..

Пажи распахнули двери. Карл вошел в комнату герцога.

Ставни были открыты. Тихий свет осеннего вечера падал в окно сквозь высокие золотые вершины парка.

Король подошел к постели больного, назвал его двоюродным братцем — mon cousin и спросил о здоровье.

Джан-Галеаццо ответил с такою приветливою улыбкою, что Карлу тотчас сделалось легче, смущение прошло, и он мало-помалу успокоился.

— Господь да пошлет победу вашему величеству, государь! — сказал, между прочим, герцог.— Когда вы будете в Иерусалиме, у Гроба Господня, помолитесь и за мою бедную душу, ибо к тому времени я...

— Ах, нет, нет, братец, как можно, что вы это? зачем? — перебил его король.— Бог милостив. Вы поправитесь... Мы еще вместе в поход пойдем, с нечестивыми турками повоюем, вот помяните слово мое! А? Что?..

Джан-Галеаццо покачал головой:

— Нет, куда уж мне!

И, посмотрев прямо в глаза королю глубоким испытующим взором, прибавил:

— Когда я умру, государь, не покиньте моего мальчика, Франческо, а также Изабеллу: она несчастная,— нет у нее никого на свете...

— Ах ты, Господи, Господи! — воскликнул Карл в неожиданном, сильном волнении; толстые губы его дрогнули, углы их опустились, и, словно внезапным внутренним светом, лицо озарилось необычайной добротою.

Он быстро наклонился к больному и, обняв его с порывистою нежностью, пролепетал:

— Братец мой, миленький!.. Бедный ты мой, бедненький!..

Оба улыбнулись друг другу, как жалкие больные дети,— и губы их соединились в братском поцелуе.

Выйдя из комнаты герцога, король подозвал кардинала:

— Бриссоне, а, Бриссоне... знаешь, надо как-нибудь... того... а? заступиться... Нельзя так, нельзя... Я — рыцарь... Надо защитить... слышишь?

— Ваше величество,— ответил кардинал уклончиво,— он все равно умрет. Да и чем могли бы мы помочь? Только себе повредим: герцог Моро — наш союзник...

— Герцог Моро — злодей, вот что — да, человекоубийца! — воскликнул король, и глаза его сверкнули разумным гневом.

— Что же делать? — молвил Бриссоне, пожимая плечами, с тонкой, снисходительной усмешкой.— Герцог Моро не хуже, не лучше других. Политика, государь! Все мы люди, все человеки...

Кравчий поднес королю кубок французского вина. Карл выпил его с жадностью. Вино оживило его и рассеяло мрачные мысли.

Вместе с кравчим вошел вельможа от герцога с приглашением на ужин. Король отказался. Посланный умолял; но, видя, что просьбы не действуют, подошел к Тибо и шепнул ему что-то на ухо. Тот кивнул головой в знак согласия и, в свою очередь, шепнул королю:

— Ваше величество, мадонна Лукреция...

— А? Что?.. Что такое?.. Какая Лукреция?

— Та, с которой вы изволили танцевать на вчерашнем балу.

— Ах, да, как же, как же... Помню... Мадонна Лукреция... Прехорошенькая!.. Ты говоришь, будет на ужине?

— Будет непременно и умоляет ваше величество...

— Умоляет... Вот как! Ну что же, Тибо? А? Как ты полагаешь? Я, пожалуй... Все равно... Куда ни шло!.. Завтра в поход... В последний раз... Поблагодарите герцога, мессир,— обратился он к посланному,— и скажите, что я того... а?.. пожалуй...

Король отвел Тибо в сторону:

— Послушай, кто такая эта мадонна Лукреция?

— Любовница Моро, ваше величество.

— Любовница Моро, вот как! Жаль...

— Сир, только словечко,— и все мигом устроим. Если угодно, сегодня же.

— Нет, нет! Как можно?.. Я гость...

— Моро будет польщен, государь. Вы здешних людишек не знаете...

— Ну, все равно, все равно. Как хочешь. Твое дело...

— Да уж будьте спокойны, ваше величество. Только словечко.

— Не спрашивай... Не люблю... Сказал — твое дело... Ничего не знаю... Как хочешь...

Тибо молча и низко поклонился.

Сходя с лестницы, король опять нахмурился и с беспомощным усилием мысли потер себе лоб:

— Бриссоне, а, Бриссоне... Как ты думаешь?.. Что бишь я хотел сказать?.. Ах, да, да... Заступиться... Невинный... Обида... Так нельзя. Я — рыцарь!..

— Сир, оставьте эту заботу, право же: нам теперь не до него. Лучше потом, когда мы вернемся из похода, победив турок, завоевав Иерусалим.

— Да, да, Иерусалим! — пробормотал король, и глаза его расширились, на губах выступила бледная и неясная мечтательная улыбка.

— Рука Господня ведет ваше величество к победам,— продолжал Бриссоне,— перст Божий указует путь крестоносному воинству.

— Перст Божий! Перст Божий! — повторил Карл VIII торжественно, подымая глаза к небу.

VIII

Восемь дней спустя молодой герцог скончался.

Перед смертью он молил жену о свидании с Леонардо. Она отказала ему: мона Друда уверила Изабеллу, что порченые всегда испытывают неодолимое и пагубное для них желание видеть того, кто навел на них порчу. Старуха усердно мазала больного скорпионовой мазью, врачи до конца мучили его кровопусканиями.

Он умер тихо.

— Да будет воля Твоя!—было последними словами его.

Моро велел перенести из Павии в Милан и выставить в соборе тело усопшего.

Вельможи собрались в Миланский замок. Лодовико, уверяя, что безвременная кончина племянника причиняет ему неимоверную скорбь, предложил объявить герцогом маленького Франческо, сына Джан-Галеаццо, законного наследника. Все воспротивились и, утверждая, что не следует доверять несовершеннолетнему столь великой власти, от имени народа упрашивали Моро принять герцогский жезл.

Он лицемерно отказывался; наконец, как бы поневоле уступил мольбам.

Принесли пышное одеяние из золотой парчи; новый герцог облекся в него, сел на коня и поехал в церковь Сант-Амброджо, окруженный толпою приверженцев, оглашавших воздух криками: «да здравствует Моро, да здравствует герцог!» — при звуке труб, пушечных выстрелах, звоне колоколов и безмолвии народа.

На Торговой площади с лоджии дельи-Озии, на южной стороне дворца Ратуши, в присутствии старейшин, консулов, именитых граждан и синдиков, прочитана была герольдом «привилегия», дарованная герцогу Моро вечным Августом Священной Римской Империи, Максимилианом:

«Maximilianus divina favente clementia Romanorum Rex semper Augustus — все области, земли, города, селения, замки и крепости, горы, пастбища и равнины, леса, луга, пустоши, реки, озера, охоты, рыбные ловли, солончаки, руды, владения вассалов, маркизов, графов, баронов, монастыри, церкви, приходы — всех и все даруем тебе, Лодовико Сфорца, и наследникам твоим, утверждаем, назначаем, возвышаем, избираем тебя и сыновей твоих и внуков, и правнуков в самодержавные власти Ломбардии до скончания веков».

Через несколько дней объявлено было торжественное перенесение в собор величайшей святыни Милана, одного из тех гвоздей, коими распят был Господь на кресте.

Моро надеялся угодить народу и укрепить свою власть этим празднеством.

IX

Ночью, на площади Аренго, перед винным погребом Тибальдо, собралась толпа. Здесь был Скарабулло лудильщик, златошвей Маскарелло, скорняк Мазо, башмачник Корболо и выдувальщик стекла Горгольо.

Посредине толпы, стоя на бочонке, доминиканец фра Тимотео проповедовал:

— Братья, когда св. Елена под капищем богини Венеры обрела живоносное Древо Креста и прочие орудия страстей Господних, зарытые в землю язычниками,— император Константин, взяв единый от святейших и страшных гвоздей сих, велел кузнецам заделать его в удила боевого коня своего, да исполнится слово пророка Захарии: «будет сущее над конскою уздою святыня Господу». И сия неизреченная святыня даровала ему победу над врагами и супостатами Римской Империи. По смерти кесаря гвоздь был

утрачен и через долгое время найден великим святителем, Амвросием Медиоланским в городе Риме, в лавке некоего Паолино, торговца старым железом, перевезен в Милан, и с той поры наш город обладает самым драгоценным и святейшим из гвоздей — тем, коим пронзена правая длань всемогущего Бога на Древе Спасения. Точная мера длины его — пять онций с половиной. Будучи длиннее и толще римского, имеет он и острие, тогда как римский притуплен. В течение трех часов находился наш гвоздь во длани Спасителя, как это доказывает ученый падре Алессио многими тончайшими силлогизмами.

Фра Тимотео остановился на мгновение, потом воскликнул громким голосом, воздевая руки к небу:

— Ныне же, возлюбленные мои, совершается великое непотребство: Моро, злодей, человекоубийца, похититель престола, соблазняя народ нечестивыми праздниками, святейшим гвоздем укрепляет свой шаткий престол!

Толпа зашумела.

— И знаете ли вы, братья мои,— продолжал монах,— кому поручил он устройство машины для вознесения гвоздя в главном куполе собора над алтарем?

— Кому?

— Флорентинцу Леонардо да Винчи!

— Леонардо? Кто такой? — спрашивали одни.

— Знаем,— отвечали другие,— тот самый, что молодого герцога плодами отравил...

— Колдун, еретик, безбожник!

— А как же слышал я, братцы,— робко заступился Корболо,— будто бы этот мессер Леонардо человек добрый? Зла никому не делает, не только людей, но и всякую тварь милует...

— Молчи, Корболо! Чего вздор мелешь?

— Разве может быть добрым колдун?

— О, чада мои,— объяснил фра Тимотео,— некогда скажут люди и о великом Обольстителе, о Грядущем во тьме: «он добр, он благ, он совершенен»,— ибо лик его подобен лику Христа, и дан ему будет голос уветливый, сладостный, как звук цевницы. И многих соблазнит милосердием лукавым. И созовет с четырех ветров неба племена и народы, как созывает куропатка обманчивым криком в гнездо свое чужой выводок. Бодрствуйте же, братья мои! Се ангел мрака князь мира сего, именуемый Антихристом, приидет в образе человеческом: флорентинец Леонардо — слуга и предтеча Антихриста!

Выдувальщик стекла Горгольо, который ничего не слыхивал о Леонардо, молвил с уверенностью:

— Истинно так! Он душу дьяволу продал и собственной кровью договор подписал.

— Заступись, Матерь Пречистая, и помилуй! — верещала торговка Барбачча.— Намедни сказывала девка Стамма — в судомойках она у палача тюремного — будто бы мертвые тела этот самый Леонардо, не к ночи будь помянут, с виселиц ворует, ножами режет, потрошит, кишки выматывает...

— Ну, это не твоего ума дела, Барбачча,— заметил с важностью Корболо,— это наука, именуемая анатомией...

— Машину, говорят, изобрел, чтобы по воздуху летать на птичьих крыльях,— сообщил златошвей Маскарелло.

— Древний крылатый змий Велиар восстает на Бога,— пояснил опять фра Тимотео.— Симон Волхв тоже поднялся на воздух, но был низвержен апостолом Павлом.

— По морю ходит, как по суху,— объявил Скарабулло: — «Господь, мол, ходил по воде, и я пойду»,— вот как богохульствует!

— В стеклянном колоколе на дно моря опускается,— добавил скорняк Мазо.

— И, братцы, не верьте! На что ему колокол? Обернется рыбой и плавает, обернется птицей и летает! — решил Горгольо.

— Вишь ты, оборотень окаянный, чтоб ему издохнуть!

— И чего отцы инквизиторы смотрят? На костер бы!

— Кол ему осиновый в горло!

— Увы, увы! Горе нам, возлюбленные! — возопил фра Тимотео.— Святейший гвоздь, святейший гвоздь — у Леонардо!

— Не быть тому! -- закричал Скарабулло, сжимая кулаки,— умрем, а не дадим святыни на поругание. Отнимем гвоздь у безбожника!

— Отомстим за гвоздь! Отомстим за убитого герцога!

— Куда вы, братцы? — всплеснул руками башмачник.— Сейчас обход ночной стражи. Капитан Джустиции...

— К черту капитана Джустиции! Ступай под юбку к жене своей, Корболо, ежели трусишь!

Вооруженная палками, кольями, бердышами, камнями, с криком и бранью, двинулась толпа по улицам.

Впереди шел монах, держа распятие в руках, и пел псалом:

«Да воскреснет Бог и да расточатся враги Его, и да бегут от лица Его ненавидящие Его».

«Как исчезает дым, да исчезнут, как воск от огня, так нечестивые да погибнут от лица Господня».

Смоляные факелы дымились и трещали. В их багровом отблеске бледнел опрокинутый серп одинокого месяца. Меркли тихие звезды.

X

Леонардо работал в своей мастерской над машиной для подъема святейшего гвоздя. Зороастро делал круглый ящик со стеклами и золотыми лучами, в котором должна была храниться святыня. В темном углу мастерской сидел Джованни Бельтраффио, изредка поглядывая на учителя.

Погруженный в исследование вопроса о передаче силы посредством блоков и рычагов, Леонардо забыл машину.

Только что кончил он сложное вычисление. Внутренняя необходимость разума — закон математики оправдывал внешнюю необходимость природы — закон механики: две великие тайны сливались в одну, еще большую.

— Никогда не изобретут люди,— думал он с тихой улыбкой,— ничего столь простого и прекрасного, как явление природы. Божественная необходимость принуждает законами своими вытекать из причины следствие кратчайшим путем.

В душе его было знакомое чувство благоговейного изумления перед бездною, в которую он заглядывал,— чувство, не похожее ни на одно из других доступных людям чувств.

На полях, рядом с чертежом подъемной машины для святейшего гвоздя, рядом с цифрами и вычислениями, написал он слова, которые в сердце его звучали, как молитва.

«О дивная справедливость Твоя, первый Двигатель! Ты не пожелал лишить никакую силу порядка и качества необходимых действий, ибо, ежели должно ей подвинуть тело на сто локтей, и на пути встречается преграда, Ты повелел, чтобы сила удара произвела новое движение, получая замену непройденного пути, различными толчками и сотрясениями,— о, божественная необходимость Твоя, первый Двигатель!»

Раздался громкий стук в наружную дверь дома, пение псалмов, брань и вопль разъяренной толпы.

Джованни и Зороастро побежали узнать, что случилось.

Стряпуха Матурина, только что вскочившая с постели, полуодетая, растрепанная, бросилась в комнату с криком:

— Разбойники! Разбойники! Помогите! Матерь Пресвятая, помилуй нас!..

Вошел Марко д'Оджоне с аркебузом в руках и поспешно запер ставни на окнах.

— Что это, Марко? — спросил Леонардо.

— Не знаю. Какие-то негодяи ломятся в дом. Должно быть, монахи взбунтовали чернь.

— Чего они хотят?

— Черт их разберет, сволочь полоумную! Святейшего гвоздя требуют.

— У меня его нет: он в ризнице у архиепископа Арчимбольдо.

— Я и то говорил. Не слушают, беснуются. Вашу милость отравителем герцога Джан-Галеаццо называют, колдуном и безбожником.

Крики на улице усиливались:

— Отоприте! Отоприте! Или гнездо ваше проклятое спалим! Подождите, доберемся до шкуры твоей, Леонардо, Антихрист окаянный!

— Да воскреснет Бог и да расточатся враги его! — возглашал фра Тимотео, и с пением его сливался пронзительный свист шалуна Фарфаниккио.

В мастерскую вбежал маленький слуга Джакопо, вскочил на подоконник, отворил ставню и хотел выпрыгнуть на двор, но Леонардо удержал его за край платья.

— Куда ты?

— За беровьеррами: стража капитана Джустиции в этот час неподалеку проходит.

— Что ты? Бог с тобою, Джакопо, тебя поймают и убьют.

— Не поймают! Я через стену к тетке Трулле в огород, потом в канаву с лопухом, и задворками... А если и убьют, лучше пусть меня, чем вас!

Оглянувшись на Леонардо с нежной и храброй улыбкой, мальчик вырвался из рук его, выскочил в окно, крикнул со двора: «выручу, не бойтесь!» — и захлопнул ставню.

— Шалун, бесенок,— покачала головой Матурина,— а вот в беде-то пригодился. И вправду, пожалуй, выручит...

Зазвенели разбитые стекла в одном из верхних окон.

Стряпуха жалобно вскрикнула, всплеснула руками, выбежала из комнаты, нащупала в темноте крутую лестницу погреба, скатилась по ней и, как потом сама рассказывала, залезла в пустую винную бочку, где и просидела бы до утра, если бы ее не вытащили.

Марко побежал наверх запирать ставни.

Джованни вернулся в мастерскую, хотел опять сесть в свой угол, с бледным, убитым и ко всему равнодушным лицом, но посмотрел на Леонардо, подошел и вдруг упал перед ним на колени.

— Что с тобой? О чем ты, Джованни?

— Они говорят, учитель... Я знаю, это неправда... Я не верю... Но скажите... ради Бога, скажите мне сами!..

И не кончил, задыхаясь от волнения.

— Ты сомневаешься,— молвил Леонардо с печальной усмешкой,— правду ли они говорят, что я убийца?

— Одно слово, только слово, учитель, из ваших уст!..

— Что я могу тебе сказать, друг мой? И зачем? Все равно ты не поверишь, если мог усомниться...

— О, мессер Леонардо! — воскликнул Джованни.— Я так измучился, я не знаю, что со мной... я с ума схожу, учитель... Помогите! Сжальтесь! Я больше не могу... Скажите, что это неправда!..

Леонардо молчал.

Потом, отвернувшись, молвил дрогнувшим голосом:

— И ты с ними, и ты против меня!..

Послышались такие удары, что весь дом задрожал: лудильщик Скарабулло рубил дверь топором.

Леонардо прислушался к воплям черни, и сердце его сжалось от знакомой тихой грусти, от чувства беспредельного одиночества.

Он опустил голову; глаза его упали на строки, только что им написанные:

«О дивная справедливость твоя, первый Двигатель!»

«Так,— подумал он,— все благо, все от Тебя!»

Он улыбнулся и с великой покорностью повторил слова умирающего герцога Джан-Галеаццо:

«Да будет воля Твоя на земле, как на небе».

ШЕСТАЯ КНИГА

ДНЕВНИК ДЖОВАННИ БЕЛЬТРАФФИО

Я поступил в ученики к флорентинскому мастеру Леонардо да Винчи 25 марта 1494 года.

Вот порядок учения: перспектива, размеры и пропорции человеческого тела, по образцам хороших мастеров, рисование с натуры.

* * *

Сегодня товарищ мой Марко д'Оджоне дал мне книгу о перспективе, записанную со слов учителя. Начинается так:

«Наибольшую радость телу дает свет солнца; наибольшую радость духу — ясность математической истины. Вот почему науку о перспективе, в которой созерцание светлой линии — величайшая отрада глаз — соединяется с ясностью математики — величайшею отрадой ума,— должно предпочитать всем остальным человеческим исследованиям и наукам. Да просветит же меня сказавший о Себе: «Я есмь Свет истинный», и да поможет изложить науку о перспективе, науку о Свете. И я разделяю эту книгу на три части: первая — уменьшение вдали объема предметов, вторая — уменьшение ясности цвета, третья — уменьшение ясности очертаний».

* * *

Мастер заботится обо мне, как о родном: узнав, что я беден, не захотел принять условленной ежемесячной платы.

* * *

Учитель сказал:

— Когда ты овладеешь перспективой и будешь знать наизусть пропорции человеческого тела, наблюдай усерд-

но во время прогулок движения людей — как стоят они, ходят, разговаривают и спорят, хохочут и дерутся, какие при этом лица у них и у тех зрителей, которые желают разнять их, и тех, которые молча наблюдают; все это отмечай и зарисовывай карандашом, как можно скорее, в маленькую книжку из цветной бумаги, которую неотлучно имей при себе, когда же наполнится она, заменяй другою, а старую откладывай и береги. Помни, что не следует уничтожать и стирать эти рисунки, но хранить, ибо движения тел так бесконечны в природе, что никакая человеческая память не может их удержать. Вот почему смотри на эти наброски, как на своих лучших наставников и учителей.

Я завел себе такую книжку и каждый вечер записываю слышанные в течение дня достопамятные слова учителя.

* * *

Сегодня встретил в переулке лоскутниц, недалеко от собора, дядю моего, стекольного мастера Освальда Ингрима. Он сказал мне, что отрекается от меня, что я погубил душу свою, поселившись в доме безбожника и еретика Леонардо. Теперь я совсем один: нет у меня никого на свете — ни родных, ни друзей — кроме учителя. Я повторяю прекрасную молитву Леонардо: «да просветит меня Господь, Свет мира, и да поможет изучить перспективу, науку о свете Его». Неужели это слова безбожника?

* * *

Как бы ни было мне тяжело, стоит взглянуть на лицо его, чтобы на душе сделалось легче и радостнее. Какие у него глаза — ясные, бледно-голубые и холодные, точно лед; какой тихий, приятный голос, какая улыбка! Самые злые, упрямые люди не могут противиться вкрадчивым словам его, если он желает склонить их на «да» или «нет». Я часто подолгу смотрю на него, как он сидит за рабочим столом, погруженный в задумчивость, и привычным медленным движением тонких пальцев перебирает, разглаживает длинную, вьющуюся и мягкую, как шелк девичьих кудрей, золотистую бороду. Ежели с кем-нибудь говорит, то обыкновенно прищуривает один глаз с немного лукавым, насмешливым и добрым выражением: кажется тогда, взор его из-под густых нависших бровей проникает в самую душу.

* * *

Одевается просто; не терпит пестроты в нарядах и новых мод. Не любит никаких духов. Но белье у него из тонкого реннского полотна, всегда белое, как снег. Черный бархатный берет без всяких украшений, медалей и перьев. Поверх черного камзола — длинный до колен темно-красный плащ с прямыми складками, старинного покроя. Движения плавны и спокойны. Несмотря на скромное платье, всегда, где бы ни был он, среди вельмож или в толпе народа, у него такой вид, что нельзя не заметить его: не похож ни на кого.

* * *

Все умеет, знает все: отличный стрелок из лука и арбалета, наездник, пловец, мастер фехтования. Однажды видел я его в состязании с первыми силачами народа: игра состояла в том, что подбрасывали в церкви маленькую монету так, чтобы она коснулась самой середины купола. Мессер Леонардо победил всех ловкостью и силой.

Он левша. Но левою рукою, с виду нежной и тонкой, как у молодой женщины, сгибает железные подковы, перекручивает язык медного колокола и ею же, рисуя лицо прекрасной девушки, наводит прозрачные тени прикосновениями угля или карандаша, легкими, как трепетания крыльев бабочки.

* * *

Сегодня после обеда кончил при мне рисунок, который изображает склоненную голову Девы Марии, внимающей благовестию Архангела. Из-под головной повязки, украшенной жемчугом и двумя голубиными крыльями, стыдливо играя с веянием ангельских крыл, выбиваются пряди волос, заплетенных, как у флорентинских девушек, в прическу, по виду небрежную, на самом деле,— искусную. Красота этих вьющихся кудрей пленяет, как странная музыка. И тайна глаз ее, которая как будто просвечивает сквозь опущенные веки с густой тенью ресниц, похожа на тайну подводных цветов, видимых сквозь прозрачные волны, но недосягаемых.

Вдруг в мастерскую вбежал маленький слуга Джакопо и, прыгая, хлопая в ладоши, закричал:

— Уроды! Уроды! Мессер Леонардо, ступайте скорее на кухню! Я привел вам таких красавчиков, что останетесь довольны!

— Откуда? — спросил учитель.

— С паперти у Сант-Амброджо. Нищие из Бергамо. Я сказал, что вы угостите их ужином, если они позволят снять с себя портреты.

— Пусть подождут. Я сейчас кончу рисунок.

— Нет, мастер, они ждать не будут: назад в Бергамо до ночи торопятся. Да вы только взгляните — не пожалеете! Стоит, право же, стоит! Вы себе представить не можете, что за чудовища!

Покинув неоконченный рисунок Девы Марии, учитель пошел в кухню. Я за ним.

Мы увидели двух чинно сидевших на лавке братьев-стариков, толстых, точно водянкою раздутых, с отвратительными, отвислыми опухолями громадных зобов на шее — болезнью, обычною среди обитателей Бергамских гор,— и жену одного из них, сморщенную, худенькую старушонку, по имени Паучиха, вполне достойную этого имени.

Лицо Джакопо сияло гордостью:

— Ну, вот, видите,— шептал он,— я же говорил, что вам понравится! Я уж знаю, что нужно...

Леонардо подсел к уродам, велел подать вина, стал их потчевать, любезно расспрашивать, смешить глупыми побасенками. Сперва они дичились, поглядывали недоверчиво, должно быть, не понимая, зачем их сюда привели. Но когда он рассказал им площадную новеллу о мертвом жиде, изрезанном на мелкие куски своим соотечественником, чтобы избежать закона, воспрещавшего погребение жидов на земле города Болоньи, замаринованном в бочку с медом и ароматами, отправленном в Венецию с товарами на корабле и нечаянно съеденном одним флорентинским путешественником-христианином,— Паучиху стал разбирать смех. Скоро все трое, опьянев, захохотали с отвратительными ужимками. Я в смущении потупил глаза и отвернулся, чтобы не видеть. Но Леонардо смотрел на них с глубоким, жадным любопытством, как ученый, который делает опыт. Когда уродство их достигло высшей степени, взял бумагу и начал рисовать эти мерзостные рожи тем самым карандашом, с той же любовью, с которой только что рисовал божественную улыбку Девы Марии.

Вечером показывал мне множество карикатур не только людей, но и животных — страшные лица, похожие на те, что преследуют больных в бреду. В зверском мелькает человеческое, в человеческом зверское, одно переходит в другое легко и естественно, до ужаса. Я запомнил морду

дикобраза с колючими ощетинившимися иглами, с отвислою нижнею губою, болтающеюся, мягкою и тонкою, как тряпка, обнажившею в гнусной человеческой улыбке продолговатые, как миндалины, белые зубы. Я также никогда не забуду лица старухи с волосами, вздернутыми кверху в дикую, безумную прическу, с жидкою косичкою сзади, с гигантским лысым лбом, расплющенным носом, крохотным, как бородавка, и чудовищно толстыми губами, напоминавшими те дряблые, осклизлые грибы, которые растут на гнилых пнях. И всего ужаснее то, что эти уроды кажутся знакомыми, как будто где-то уже видел их, и что-то есть в них соблазнительное, что отталкивает и в то же время притягивает, как бездна. Смотришь, ужасаешься — и нельзя оторвать от них глаз так же, как от божественной улыбки Девы Марии.

И там, и здесь — удивление, как перед чудом.

* * *

Чезаре да Сесто рассказывает, что Леонардо, встретив где-нибудь в толпе на улице любопытного урода, в течение целого дня может следовать за ним и наблюдать, стараясь запомнить лицо его. Великое уродство в людях, говорит учитель, так же редко и необычайно, как великая прелесть: только среднее — обычно.

Он изобрел странный способ запоминать человеческие лица. Полагает, что носы у людей бывают трех родов: или прямые, или с горбинкой, или с выемкой. Прямые могут быть или короткими, или длинными, с концами тупыми или острыми. Горбина находится или вверху носа, или внизу, или посередине — и так далее для каждой части лица. Все эти бесчисленные подразделения, роды и виды, отмеченные цифрами, заносятся в особую разграфленную книжку. Когда художник где-нибудь на прогулке встречает лицо, которое желает запомнить, ему стоит лишь отметить значком соответствующий род носа, лба, глаз, подбородка и, таким образом, посредством ряда цифр закрепляется в памяти как бы мгновенный снимок с живого лица. На свободе, вернувшись домой, соединяет эти части в один образ.

Придумал также маленькую ложечку для безукоризненно точного, математического измерения количества краски при изображении постепенных, глазом едва уловимых, переходов света в тень и тени в свет. Если, например, для того, чтобы получить определенную степень гу-

стоты тени, нужно взять десять ложечек черной краски, то для получения следующей степени должно взять одиннадцать, потом двенадцать, тринадцать и так далее. Каждый раз, зачерпнув краски, срезывают горку, сравнивают ее стеклянным наугольником: так на рынке равняют меру, насыпанную зерном.

* * *

Марко д'Оджоне — самый прилежный и добросовестный из учеников Леонардо. Работает, как волк, выполняет с точностью все правила учителя; но, по-видимому, чем больше старается, тем меньше успевает. Марко упрям: что̀ забрал себе в голову, и гвоздем не вышибешь. Убежден, что «терпение и труд все перетрут»,— и не теряет надежды сделаться великим художником. Больше всех нас радуется изобретениям учителя, которые сводят искусство к механике. Намедни, захватив с собой книжечку с цифрами для запоминания лиц, отправился на площадь Бролетто, выбрал лица в толпе и отметил их значками в таблице. Но когда вернулся домой, сколько ни бился, никак не мог соединить отдельные части в живое лицо. Такое же горе вышло у него с ложечкой для измерения черной краски: несмотря на то, что он в своей работе соблюдает математическую точность, тени остаются непрозрачными и неестественными, так же, как лица деревянными и лишенными всякой прелести. Марко объясняет это тем, что не выполнил всех правил учителя, и удваивает усердие. А Чезаре да Сесто злорадствует.

— Добрейший Марко,— говорит он,— истинный мученик искусства! Пример его доказывает, что все эти хваленые правила, и ложечки, и таблицы для носов ни к черту не годятся. Мало знать, как рождаются дети, для того, чтобы родить. Леонардо только себя и других обманывает: говорит одно, делает другое. Когда пишет, не думает ни о каких правилах, а только следует вдохновению. Но ему недостаточно быть великим художником, он хочет быть и великим ученым, хочет примирить искусство и науку, вдохновение и математику. Я, впрочем, боюсь, что, погнавшись за двумя зайцами, ни одного не поймает!

Быть может, в словах Чезаре есть доля правды. Но за что он так не любит учителя? Леонардо прощает ему все, охотно выслушивает его злые, насмешливые речи, ценит ум его и никогда не сердится.

* * *

Я наблюдаю, как он работает над Тайной Вечерей. Рано поутру, только что солнце встанет, уходит из дому, отправляется в монастырскую трапезную и в течение целого дня, пока не стемнеет, пишет, не выпуская кисти из рук, забывая о пище и питье. А то проходит неделя, другая — не дотрагивается до кистей; но каждый день простаивает два, три часа на подмостках перед картиной, рассматривая и обсуждая то, что сделано; иногда в полдень, в самую жару, бросая начатое дело, по опустевшим улицам, не выбирая теневой стороны, как будто увлекаемый невидимой силой, бежит в монастырь, взлезает на подмостки, делает два, три мазка и тотчас уходит.

* * *

Все эти дни работал над головой апостола Иоанна. Сегодня должен был кончить. Но, к удивлению моему, остался дома и с утра, вместе с маленьким Джьякопо, занялся наблюдением над полетом шмелей, ос и мух. Так погружен в изучение устройства их тела и крыльев, словно от этого зависят судьбы мира. Обрадовался, как Бог весть чему, когда нашел, что задние лапки служат мухам вместо руля. По мнению учителя, это чрезвычайно полезно и важно для изобретения летательной машины. Может быть. Но все же обидно, что голова апостола Иоанна покинута для исследования мушиных лапок.

* * *

Сегодня новое горе. Мухи забыты, как и Тайная Вечеря. Сочиняет сложный, тонкий узор для герба несуществующей, но предполагаемой герцогом, миланской академии живописи — четырехугольник из переплетенных, без конца, без начала, свивающихся веревочных узлов, которые окружают латинскую надпись: Leonardi Vinci Academia. Так поглощен отделкой узора, как будто ничего более в мире не существует, кроме этой трудной и бесполезной игры Кажется, никакие силы не могли бы его оторвать от нее. Я не вытерпел и решился напомнить о неоконченной голове апостола Иоанна. Он пожал плечами и, не подымая глаз от веревочных узлов, процедил сквозь зубы:

— Не уйдет, успеем.

Я иногда понимаю злобу Чезаре.

* * *

Герцог Моро поручил ему устройство во дворце слуховых труб, скрытых в толще стен, так называемого Дионисиева уха, которое позволяет государю подслушивать из одного покоя то, что говорится в другом. Сначала мастер с большим увлечением принялся за проведение труб. Но скоро, по обыкновению, охладел и стал откладывать под разными предлогами. Герцог торопит и сердится. Сегодня поутру несколько раз присылали из дворца. Но учитель занят новым делом, которое кажется ему не менее важным, чем устройство Дионисиева уха,— опытами над растениями: обрезав корни у тыквы и оставив один маленький корешок, обильно питает его водой. К немалой радости его, тыква не засохла, и мать, как он выражается, благополучно выкормила всех своих детей — около шестидесяти длинных тыкв. С каким терпением, с какой любовью следил он за жизнью этого растения! Сегодня до зари просидел на огородной грядке, наблюдая, как широкие листья пьют ночную росу. «Земля,— говорит он,— поит растения влагой, небо росой, а солнце дает им душу», ибо он полагает, что не только у человека, но и у животных, даже у растений есть душа — мнение, которое фра Бенедетто считает весьма еретическим.

* * *

Любит всех животных. Иногда целыми днями наблюдает и рисует кошек, изучает их нравы и привычки: как они играют, дерутся, спят, умывают морду лапками, ловят мышей, выгибают спину и ерошатся на собак. Или с таким же любопытством смотрит сквозь стенки большого стеклянного сосуда на рыб, слизняков, волосатиков, каракатиц и всяких других водяных животных. Лицо его выражает глубокое, тихое удовлетворение, когда они дерутся и пожирают друг друга.

* * *

Сразу тысячи дел. Не кончив одного, берется за другое. Впрочем, каждое из дел похоже на игру, каждая игра — на дело. Разнообразен и непостоянен. Чезаре говорит, что скорее потекут реки вспять, чем Леонардо сосредоточится на одном каком-нибудь замысле и доведет его до конца. Называет учителя самым великим из беспутных людей, уверяя, что из всех необъятных трудов его не выйдет никакого толку. Леонардо, будто бы, написал сто два-

дцать книг «О природе — Delle Cose Naturali». Но все это случайные отрывки, отдельные заметки, разрозненные клочки бумаги — более пяти тысяч листков в таком страшном беспорядке, что сам он иногда не может разобраться, ищет какой-нибудь нужной заметки и не находит.

* * *

Какое у него неутолимое любопытство, какой добрый, вещий глаз для природы! Как он умеет замечать незаметное! Всюду удивляется радостно и жадно, как дети, как первые люди в раю.

Иногда о самом будничном такое слово скажет, что потом, хоть сто лет живи, не забудешь — прилипнет к памяти и не отвяжется.

Намедни, войдя в мою келью, учитель сказал: «Джованни, обратил ли ты внимание на то, что маленькие комнаты сосредоточивают ум, а большие — возбуждают его к деятельности?»

Или еще: «В тенистом дожде очертания предметов кажутся яснее, чем в солнечном».

А вот из вчерашнего делового разговора с литейным мастером о каких-то заказанных ему герцогом военных орудиях: «Взрыв пороха, сжатого между тарелью бомбарды и ядром, действует, как человек, который, упершись задом в стену, изо всей силы толкал бы перед собой руками тяжесть».

Говоря однажды об отвлеченной механике, сказал: «Сила всегда желает победить свою причину и, победив, умереть. Удар — сын Движения, внук Силы, а общий прадед — Вес».

В споре с одним архитектором воскликнул с нетерпением: «Как же вы не понимаете, мессере? Это ясно, как день. Ну, что такое арка? Арка не что иное, как сила, рождаемая двумя соединенными и противоположными слабостями». Архитектор даже рот разинул от удивления. А для меня все в их разговоре сразу сделалось ясным, как будто в темную комнату свечку внесли.

* * *

Опять два дня работы над головою апостола Иоанна.

Но, увы, что-то потеряно в бесконечной возне с мушиными крыльями, тыквою, кошками, Дионисиевым ухом,

узором из веревочных узлов и тому подобными важными делами. Опять не кончил, бросил и, по выражению Чезаре, весь ушел в геометрию, как улитка в свою раковину, полный отвращения к живописи. Говорит, будто бы самый запах красок, вид кистей и полотна ему противны.

Вот так мы и живем, по прихоти случая, изо дня в день, предавшись воле Божьей. Сидим у моря и ждем погоды. Хорошо, что еще до летательной машины не дошло, а то пиши пропало — так зароется в механику, что только мы его и видали!

* * *

Я заметил, что всякий раз, как после долгих отговорок, сомнений и колебаний он приступает, наконец, к работе, берет кисть в руки,— чувство, подобное страху, овладевает им. Всегда недоволен тем, что сделал. В созданиях, которые кажутся другим пределом совершенства, замечает ошибки. Стремится все к высшему, к недосягаемому, к тому, чего рука человеческая, как бы ни было искусство ее бесконечно, выразить не может. Вот почему почти никогда не кончает.

* * *

Приходил сегодня жид-барышник продавать лошадей. Мастер хотел купить гнедого жеребца. Жид начал его уговаривать, чтобы купил вместе с жеребцом кобылу, и так умолял, настаивал, егозил и божился, что Леонардо, который любит лошадей и знает в них толк, наконец, рассмеялся, махнул рукою, взял кобылу и позволил себя обмануть, чтобы только от жида отделаться. Я смотрел, слушал и недоумевал.

— Чему ты удивляешься? — объяснил мне потом Чезаре.— Так всегда: первый встречный может сесть ему на шею. Ни в чем нельзя на него положиться. Ничего твердо решить не умеет. Все надвое — и нашим, и вашим, и да, и нет. Куда ветер подует. Никакой крепости, никакого мужества. Весь мягкий, зыбкий, податливый, точно без костей, точно расслабленный, несмотря на всю свою силу. Играя, железные подковы гнет, рычаги придумывает, чтобы крестильницу Сан-Джованни на воздух поднять, как воробьиное гнездо, а для настоящего дела, где воля нужна,— соломинки не подымет, божьей коровки обидеть не посмеет!..

Чезаре еще долго бранился, явно преувеличивал и даже клеветал. Но я чувствовал, что в словах его с ложью смешана правда.

* * *

Заболел Андреа Салаино. Учитель ухаживает за ним, ночей не спит, просиживая у изголовья. Но о лекарствах слышать не хочет. Марко д'Оджоне тайно принес больному каких-то пилюль. Леонардо нашел их и выбросил в окно.

Когда же сам Андреа заикнулся, что хорошо бы пустить кровь,— он знает одного цирульника, который отлично открывает жилы,— учитель не на шутку рассердился, обругал всех докторов нехорошими словами и, между прочим, сказал:

— Советую тебе думать не о том, как лечиться, а как сохранить здоровье, чего ты достигнешь тем лучше, чем более будешь остерегаться врачей, лекарства которых подобны нелепым составам алхимиков.

И прибавил с веселой, простодушно-лукавой усмешкой:

— Еще бы им, обманщикам, не богатеть, когда всякий только для того и старается накопить побольше денег, чтобы отдать их врачам, разрушителям человеческой жизни!

* * *

Учитель забавляет больного смешными рассказами, баснями, загадками, до которых Салаино большой охотник. Я смотрю, слушаю и дивлюсь на учителя. Какой он веселый!

Вот для примера некоторые из этих загадок:

«Люди будут жестко бить то, что есть причина их жизни.— Молотьба хлеба.

«Леса произведут на свет детей, которым суждено истреблять своих родителей.— Ручки топоров.

«Шкуры звериные заставят людей выйти из молчания, клясться и кричать.— Игра в кожаные мячики».

После долгих часов, проведенных в изобретении военных орудий, в математических выкладках или работе над Тайною Вечерей, утешается этими загадками, как ребенок. Записывает их в рабочих тетрадях рядом с набросками великих будущих произведений или только что открытыми законами природы.

* * *

Сочинил и нарисовал в прославление щедрости герцога странную, сложную аллегорию, на которую потратил немало труда: в образе фортуны, Моро принимает под свою защиту отрока, убегающего от страшной Парки Бедности, с лицом Паучихи, покрывает его мантией и золотым ски-

петром грозит чудовищной богине. Герцог доволен рисунком и хочет, чтобы Леонардо исполнил его красками на одной из стен дворца. Эти аллегории вошли в моду при дворе. Кажется, они имеют больший успех, чем все остальные произведения учителя. Дамы, рыцари, вельможи пристают к нему, добиваются какой-нибудь замысловатой аллегорической картинки.

Для одной из двух главных наложниц герцога, графини Чечилии Бергамини, сочинил аллегорию Зависти: дряхлая старуха с отвислыми сосцами, покрытая леопардовой шкурой, с колчаном ядовитых языков за плечами, едет верхом на человеческом остове, держа в руке кубок, наполненный змеями.

Пришлось ему сочинить и другую аллегорию, тоже Зависти, для другой наложницы, Лукреции Кривелли, чтобы она не обиделась: ветвь орешника бьют палками и потрясают тогда именно, как доводит она плоды свои до совершенной зрелости. Рядом надпись: за благодеяния.

Наконец, и для супруги герцога, светлейшей мадонны Беатриче, надо было выдумать аллегорию Неблагодарности: человек при восходящем солнце гасит свечу, которая служила ему ночью.

Теперь бедному мастеру ни днем, ни ночью нет покоя: заказы, просьбы, записочки дам сыплются на него; не знает, как отделаться.

Чезаре злится: «Все эти глупые рыцарские девизы, слащавые аллегории пристали разве какому-нибудь придворному блюдолизу, а не такому художнику, как Леонардо. Срам!» Я думаю, что он не прав. Учитель вовсе не помышляет о чести. Аллегориями забавляется он точно так же, как игрою в загадки и математическими истинами, божественной улыбкою Марии Девы и узором из веревочных узлов.

* * *

Он задумал и давно уже начал, но, по своему обыкновению, не кончил и Бог весть когда кончит *«Книгу о живописи»* — Trattato della Pittura. В последнее время много занимаясь со мною воздушною и линейной перспективою, светом и тенью, приводил из книги выдержки и отдельные мысли об искусстве. Я записываю здесь то, что запомнил.

Господь да наградит учителя за любовь и мудрость, с коими руководствует он меня на всех высоких путях этой

благороднейшей науки! Пусть же те, кому попадутся в руки эти листки, помянут в молитве душу смиренного раба Божьего, недостойного ученика, Джованни Бельтраффио, и душу великого мастера, флорентинца Леонардо да Винчи.

* * *

Учитель говорит: «Все прекрасное умирает в человеке, но не в искусстве».

* * *

«Тот, кто презирает живопись, презирает философское и утонченное созерцание мира, ибо живопись есть законная дочь или, лучше сказать, внучка природы. Все, что есть, родилось от природы, и родило в свою очередь науку о живописи. Вот почему говорю я, что живопись внучка природы и родственница Бога. Кто хулит живопись, тот хулит природу».

* * *

«Живописец должен быть всеобъемлющ. О, художник, твое разнообразие да будет столь же бесконечно, как явления природы. Продолжая то, что начал Бог, стремись умножить не дела рук человеческих, но вечные создания Бога. Никому никогда не подражай. Пусть будет каждое твое произведение как бы новым явлением природы».

* * *

«Для того, кто владеет первыми, общими законами естественных явлений, для того, кто *знает*,— легко быть всеобъемлющим, ибо, по строению своему, все тела, как человека, так и животных, сходствуют».

* * *

«Берегись, чтобы алчность к приобретению золота не заглушила в тебе любви к искусству. Помни, что приобретение славы есть нечто большее, чем слава приобретения. Память о богатых погибает вместе с ними; память о мудрых никогда не исчезнет, ибо мудрость и наука суть законные дети своих родителей, а не побочные, как деньги. Люби славу и не бойся бедности. Подумай, как много великих философов, рожденных в богатстве, обрекали себя на добровольную нищету, дабы не осквернить души своей богатством».

* * *

«Наука молодит душу, уменьшает горечь старости. Собирай же мудрость, собирай сладкую пищу для старости».

* * *

«Я знаю таких живописцев, которые бесстыдно, на потеху черни, размалевывают картины свои золотом и лазурью, утверждая с высокомерной наглостью, что могли бы работать не хуже других мастеров, если бы им больше платили. О, глупцы! Кто же мешает им сделать что-нибудь прекрасное и объявить: вот эта картина в такую-то цену, эта дешевле, а эта совсем рыночная,— доказав таким образом, что они умеют работать на всякую цену».

* * *

«Нередко алчность к деньгам унижает и хороших мастеров до ремесла. Так, мой земляк и товарищ, флорентинец Перуджино дошел до такой поспешности в исполнении заказов, что однажды ответил с подмостков жене своей, которая звала его обедать: «подавай суп, а я пока напишу еще одного святого».

* * *

«Малого достигает художник, не сомневающийся. Благо тебе, если твое произведение выше, плохо, если оно наравне, но величайшее бедствие, если оно ниже, чем ты его ценишь, что бывает с теми, кто удивляется, как это Бог им помог сделать так хорошо».

* * *

«Терпеливо выслушивай мнения всех о твоей картине, взвешивай и рассуждай, правы ли те, кто укоряет тебя и находят ошибки; если да — исправь, если нет — сделай вид, что не слышал, и только людям, достойным внимания, доказывай, что они ошибаются.

Суждение врага нередко правдивее и полезнее, чем суждение друга. Ненависть в людях почти всегда глубже любви. Взор ненавидящего проницательнее взора любящего. Истинный друг все равно, что ты сам. Враг не похож на тебя,— вот в чем сила его. Ненависть освещает многое, скрытое от любви. Помни это и не презирай хулы врагов».

* * *

«Яркие краски пленяют толпу. Но истинный художник не толпе угождает, а избранным. Гордость и цель его не в блистающих красках, а в том, чтобы совершилось

в картине подобное чуду: чтобы тень и свет сделали в ней плоское выпуклым. Кто, презирая тень, жертвует ею для красок,— похож на болтуна, который жертвует смыслом речи для пустых и громких слов».

* * *

«Больше всего берегись грубых очертаний. Да будут края твоих теней на молодом и нежном теле не мертвыми, не каменными, но легкими, неуловимыми и прозрачными, как воздух, ибо само тело человеческое прозрачно, в чем можешь убедиться, если через пальцы посмотришь на солнце. Слишком яркий свет не дает прекрасных теней. Бойся яркого света. В сумерки, или в туманные дни, когда солнце в облаках, заметь, какая нежность и прелесть на лицах мужчин и женщин, проходящих по тенистым улицам между темными стенами домов. Это самый совершенный свет. Пусть же тень твоя, мало-помалу исчезая в свете, тает, как дым, как звуки тихой музыки. Помни: между светом и мраком есть нечто среднее, двойственное, одинаково причастное и тому, и другому, как бы светлая тень или темный свет. Ищи его, художник: в нем тайна пленительной прелести!»

Так он сказал и, подняв руку, как бы желая запечатлеть эти слова в нашей памяти, повторил с неизъяснимым выражением:

— Берегитесь грубого и резкого. Пусть тени ваши тают, как дым, как звуки дальней музыки!

Чезаре, внимательно слушавший, усмехнулся, поднял глаза на Леонардо и что-то хотел возразить, но промолчал.

* * *

Спустя немного, говоря уже о другом, учитель сказал:

— Ложь так презренна, что, превознося величие Бога, унижает Его; истина так прекрасна, что, восхваляя самые малые вещи, облагораживает их. Между истиной и ложью такая же разница, как между мраком и светом.

Чезаре, что-то вспомнив, посмотрел на него испытующим взором.

— Такая же разница, как между мраком и светом? — повторил он.— Но не вы ли сами, учитель, только что утверждали, что между мраком и светом есть нечто среднее, двойственное, одинаково причастное и тому, и другому, как бы светлая тень или темный свет? Значит,— и между истиной и ложью?.. но нет, этого быть не мо-

жет... Право же, мастер, ваше сравнение порождает в уме моем великий соблазн, ибо художник, ищущий тайны пленительной прелести в слиянии тени и света, чего доброго, спросит, не сливается ли истина с ложью так же, как свет с тенью...

Леонардо сперва нахмурился, как будто был удивлен, даже разгневан словами ученика, но потом рассмеялся и ответил:

— Не искушай меня. Отыди, сатана!

Я ожидал другого ответа, и думаю, что слова Чезаре достойны были большего, чем легкомысленная шутка. По крайней мере, во мне возбудили они много мучительных мыслей.

* * *

Сегодня вечером я видел, как, стоя под дождем в тесном, грязном и вонючем переулке, внимательно рассматривал он каменную, по-видимому, ничем не любопытную стену с пятнами сырости. Это продолжалось долго. Мальчишки указывали на него пальцами и смеялись. Я спросил, что он нашел в этой стене.

— Посмотри, Джованни, какое великолепное чудовище — химера с разинутой пастью; а вот рядом — ангел с нежным лицом и развевающимися локонами, который убегает от чудовища. Прихоть случая создала здесь образы, достойные великого мастера.

Он обвел пальцем очертания пятен, и в самом деле, к изумлению моему, я увидел в них то, о чем он говорил.

— Может быть, многие сочтут это изображение нелепым,— продолжал учитель,— но я, по собственному опыту, знаю, как оно полезно для возбуждения ума к открытиям и замыслам. Нередко на стенах, в смешении разных камней, в трещинах, в узорах плесени на стоячей воде, в потухающих углях, подернутых пеплом, в очертаниях облаков случалось мне находить подобие прекраснейших местностей с горами, скалами, реками, долинами и деревьями, также чудесные битвы, странные лица, полные неизъяснимой прелести, любопытных дьяволов, чудовищ и многие другие удивительные образы. Я выбирал из них то, что нужно, и доканчивал. Так, вслушиваясь в дальний звон колоколов, ты можешь в их смешанном гуле найти по желанию всякое имя и слово, о котором думаешь.

* * *

Сравнивает морщины, образуемые мускулами лица, во время плача и смеха. В глазах, во рту, в щеках нет никакого различия. Только брови плачущий подымает вверх и соединяет, лоб собирается в складки, и углы рта опускаются; между тем, как смеющийся широко раздвигает брови и подымает углы рта.

В заключение сказал:

— Старайся быть спокойным зрителем того, как люди смеются и плачут, ненавидят и любят, бледнеют от ужаса и кричат от боли; смотри, учись, исследуй, наблюдай, чтобы познать выражение всех человеческих чувств.

Чезаре сказывал мне, что мастер любит провожать осужденных на смертную казнь, наблюдая в их лицах все степени муки и ужаса, возбуждая в самих палачах удивление своим любопытством, следя за последними содроганиями мускулов, когда несчастные умирают.

— Ты и представить себе не можешь, Джованни, что это за человек! — прибавил Чезаре с горькой усмешкой.— Червяка подымет с дороги и посадит на листок, чтобы не раздавить ногой,—а когда найдет на него такой стих,— кажется, если бы родная мать плакала, он только наблюдал бы, как сдвигаются брови, морщится кожа на лбу и опускаются углы рта.

* * *

Учитель сказал: «учись у глухонемых выразительным движениям».

* * *

«Когда ты наблюдаешь людей, старайся, чтобы они не замечали, что ты смотришь на них: тогда их движения, их смех и плач естественнее».

* * *

«Разнообразие человеческих движений так же беспредельно, как разнообразие человеческих чувств. Высшая цель художника заключается в том, чтобы выразить в лице и в движениях тела страсть души».

«Помни,— в лицах, тобою изображенных, должна быть такая сила чувства, чтобы зрителю казалось, что картина твоя может заставить мертвых смеяться и плакать.

Когда художник изображает что-нибудь страшное, скорбное или смешное,— чувство, испытываемое зрителем,

должно побуждать его к таким телодвижениям, чтобы казалось, будто бы он сам принимает участие в изображенных действиях; если же это не достигнуто,— знай, художник, что все твои усилия тщетны».

* * *

«Мастер, у которого руки узловатые, костлявые, охотно изображает людей с такими же узловатыми, костлявыми руками, и это повторяется для каждой части тела, ибо всякому человеку нравятся лица и тела, сходные с его собственным лицом и телом. Вот почему, если художник некрасив, он выбирает для своих изображений лица тоже некрасивые, и наоборот. Берегись, чтобы женщины и мужчины, тобой изображаемые, не казались сестрами и братьями-близнецами, ни по красоте, ни по уродству — недостаток, свойственный многим итальянским художникам. Ибо в живописи нет более опасной и предательской ошибки, как подражание собственному телу. Я думаю, что это происходит оттого, что душа есть художница своего тела: некогда создала она и вылепила его, по образу и подобию своему; и теперь, когда опять ей нужно, при помощи кисти и красок, создать новое тело, всего охотнее повторяет образ, в который уже раз воплотилась».

* * *

«Заботиться о том, чтобы произведение твое не отталкивало зрителя, как человека, только что вставшего с постели, холодный зимний воздух, а привлекало бы и пленяло душу его, подобно тому, как спящего из постели выманивает приятная свежесть летнего утра».

* * *

Вот история живописи, рассказанная учителем в немногих словах:

«После римлян, когда живописцы стали подражать друг другу, искусство пришло в упадок, длившийся много веков. Но явился Джотто флорентинец, который, не довольствуясь подражанием учителю своему, Чимабуэ, рожденный в горах и пустынях, обитаемых лишь козами и другими подобными животными, и будучи побуждаем к искусству природой, начал рисовать на камнях движения коз, которых пас, и всех животных, которые обитали в стране его, и, наконец, посредством долгой науки, превзошел не только всех учителей своего времени, но и про-

шлых веков. После Джотто искусство живописи снова пришло в упадок, потому что каждый стал подражать готовым образцам. Это продолжалось целые столетия, пока Томмазо флорентинец, по прозвищу Мазаччо, не доказал своими совершенными созданиями, до какой степени даром тратят силы те, кто берет за образец что бы то ни было, кроме самой природы — учительницы всех учителей».

* * *

«Первым произведением живописи была черта, обведенная вокруг тени человека, брошенной солнцем на стену».

* * *

Говоря о том, как следует художнику сочинять замыслы картин, учитель рассказал нам для примера задуманное им изображение потопа.

«Пучины и водовороты, озаренные молниями. Ветви громадных дубов, с людьми, прицепившимися к ним, уносимые смерчем. Воды, усеянные обломками домашней утвари, на которых спасаются люди. Стада четвероногих, окруженные водою, на высоких плоскогорьях, одни кладут ноги на спины другим, давят и топчут друг друга. В толпе людей, защищающих, с оружием в руках, последний клочок земли от хищных зверей, одни ломают руки, грызут их, так что кровь течет, другие затыкают уши, чтобы не слышать грохота громов, или же, не довольствуясь тем, что закрыли глаза, кладут еще руку на руку, прижимая их к векам, чтобы не видеть грозящей смерти. Иные убивают себя, удушаясь, закалываясь мечами, бросаясь в пучину с утесов, и матери, проклиная Бога, хватают детей, чтобы размозжить им голову о камни. Разложившиеся трупы всплывают на поверхность, сталкиваясь и ударяя друг друга, как мячики, надутые воздухом, отскакивают. Птицы садятся на них или, в изнеможении падая, опускаются на живых людей и зверей, не находя другого места для отдыха».

От Салаино и Марко узнал я, что Леонардо в течение многих лет расспрашивал путешественников и всех, кто когда-либо видел смерчи, наводнения, ураганы, обвалы, землетрясения,— узнавая точные подробности и терпеливо, как ученый, собирая черту за чертой, наблюдение за наблюдением, чтобы составить замысел картины, которой, быть может, никогда не исполнить. Помню, слушая рассказ о потопе, я испытывал то же, что бывало при виде

дьявольских рож и чудовищ в рисунках его,— ужас, который притягивает.

И вот еще что меня удивило: рассказывая страшный замысел, художник казался спокойным и безучастным.

Говоря о блесках молний, отражаемых водою, заметил: «их должно быть больше на дальних, меньше — на ближних к зрителю волнах, как того требует закон отражения света на гладких поверхностях».

Говоря о мертвых телах, которые сталкиваются в водоворотах, прибавил: «изображая эти удары и столкновения, не забывай закона механики, по которому угол падения равен углу отражения».

Я невольно улыбнулся и подумал: «вот он весь — в этом напоминании!»

* * *

Учитель сказал:

— Не опыт, отец всех искусств и наук, обманывает людей, а воображение, которое обещает им то, чего опыт дать не может. Невинен опыт, но наши суетные и безумные желания преступны. Отличая ложь от истины, опыт учит стремиться к возможному и не надеяться, по незнанию, на то, чего достигнуть нельзя, чтобы не пришлось, обманувшись в надежде, предаться отчаянию.

Когда мы остались наедине, Чезаре напомнил мне эти слова и сказал, брезгливо поморщившись:

— Опять ложь и притворство!

— В чем же теперь-то солгал он, Чезаре? — спросил я с удивлением.— Мне кажется, что учитель...

— Не стремиться к невозможному, не желать недостижимого! — продолжал он, не слушая меня.— Чего доброго, кто-нибудь поверит ему на слово. Только, нет, не на таких дураков напал: не ему бы слушать! Я его насквозь вижу...

— Что же ты видишь, Чезаре?

— А то, что сам он всю жизнь только и стремился к невозможному, только и желал недостижимого. Ну, скажи на милость: изобретать такие машины, чтобы люди как птицы летали по воздуху, как рыбы под водой плавали,— разве это не значит стремиться к невозможному? А ужас потопа, а небывалые чудовища в пятнах сырости, в облаках, небывалая прелесть божественных лиц, подобных ангельским видениям,— откуда он все это берет,— ужели из опыта, из математической таблички носов и ложечки для измерения красок?.. Зачем же обманывает себя и других, зачем лжет? Механика нужна ему для чуда,— чтобы на

крыльях взлететь к небесам, чтобы, владея силами естественными, устремить их к тому, что сверх и против естества человеческого, сверх и против закона природы — все равно к Богу или к дьяволу, только бы к неиспытанному, к невозможному! Ибо верить-то он, пожалуй, не верит, но любопытствует,— чем меньше верит, тем больше любопытствует: это в нем, как похоть неугасимая, как уголь раскаленный, которого нельзя ничем залить — никаким знанием, никаким опытом!..

Слова Чезаре наполнили душу мою смятением и страхом. Все эти последние дни думаю о них, хочу и не могу забыть.

Сегодня, как будто отвечая на мои сомнения, учитель сказал:

— Малое знание дает людям гордыню, великое — дает смирение: так пустые колосья подымают к небу надменные головы, а полные зерном склоняют их долу, к земле, своей матери.

— Как же, учитель,— возразил Чезаре со своей обыкновенной язвительно-испытующей усмешкой,— как же говорят, будто бы великое знание, которым обладал светлейший из херувимов, Люцифер, внушило ему не смирение, а гордыню, за которую он и был низвергнут в преисподнюю?

Леонардо ничего не ответил, но, немного помолчав, рассказал нам басню:

«Однажды капля водяная задумала подняться к небу. При помощи огня взлетела она тонким паром. Но, достигнув высоты, встретила разреженный, холодный воздух, сжалась, отяжелела — и гордость ее превратилась в ужас. Капля упала дождем. Сухая земля выпила ее. И долго вода, заключенная в подземной темнице, должна была каяться в грехе своем».

* * *

Кажется, чем больше с ним живешь, тем меньше знаешь его.

Сегодня опять забавлялся, как мальчик. И что за шутки! Сидел я вечером у себя наверху, читал перед сном любимую свою книгу — «Цветочки св. Франциска». Вдруг по всему дому раздался вопль нашей стряпухи Матурины:

— Пожар! Пожар! Помогите! Горим!..

Я бросился вниз и перетрусил, увидев густой дым, наполнявший мастерскую. Озаряемый отблеском синего пла-

мени, подобного молнии, учитель стоял в облаках дыма, как некий древний маг, и с веселой улыбкой смотрел на Матурину, бледную от ужаса, махавшую руками, и на Марко, который прибежал с двумя ведрами воды и вылил бы их на стол, не щадя ни рисунков, ни рукописей, если бы учитель не остановил его, крикнув, что все это шутка. Тогда мы увидели, что дым и пламя подымаются от белого порошка с ладаном и колофонием на раскаленной медной сковородке,— состава, изобретенного им для устройства увеселительных пожаров. Не знаю, кто был в большем восторге от шалости — неизменный товарищ всех его игр, маленький плут Джакопо, или сам Леонардо. Как он смеялся над страхом Матурины и над спасительными ведрами Марко! Видит Бог, кто так смеется, не может быть злым человеком.

Но среди веселья и хохота, не преминул записать сделанное им на лице Матурины наблюдение над складками кожи и морщинами, которые производит ужас в человеческих лицах.

* * *

Почти никогда не говорит о женщинах. Только раз сказал, что люди поступают с ними так же беззаконно, как с животными. Впрочем, над модною платоническою любовью смеется. Одному влюбленному юноше, который читал слезливый сонет во вкусе Петрарки,—ответил тремя, должно быть, единственными, сочиненными им, стихами, ибо он весьма плохой стихотворец:

S'el Petrarcha amò si forte il lauro,—
E perchè gli è bon fralla salsiccia e tordo.
I'non posso di lor ciancie far tesauro.

«Ежели Петрарка так сильно любил лавр — Лауру, это, вероятно, потому, что лавровый лист хорошая приправа к сосискам и жареным дроздам. Я же не могу благоговеть перед такими глупостями».

Чезаре уверяет, будто бы в течение всей своей жизни Леонардо так занят был механикой и геометрией, что не имел времени любить, но, впрочем, он едва ли совершенный девственник, ибо, уж конечно, должен был, хотя бы раз, соединиться с женщиной, не для наслаждения, как обыкновенные смертные, а из любопытства, для научных наблюдений по анатомии, исследуя таинство любви так же бесстрастно, с математической точностью, как все другие явления природы.

* * *

Мне кажется порою, что не следовало бы мне никогда говорить о нем с Чезаре. Мы точно подслушиваем, подсматриваем, как шпионы. Чезаре каждый раз испытывает злую радость, когда удается ему бросить новую тень на учителя. И что ему нужно от меня, зачем отравляет он душу мою? Мы теперь часто ходим в маленький скверный кабачок у речной Катаранской таможни, за Верчельской заставой. Целыми часами, за полбрентой дешевого кислого вина беседуем под ругань лодочников, играющих в засаленные карты, и совещаемся, как предатели.

Сегодня Чезаре спросил меня, знаю ли я, что во Флоренции Леонардо был обвинен в содомии. Я ушам своим не поверил, подумал, что Чезаре пьян или бредит. Но он мне подробно и точно объяснил.

В 1476 году,— Леонардо было в то время 24 года, а его учителю, знаменитому флорентинскому мастеру, Андреа Вероккьо, 40 лет,— безымянный донос на Леонардо и Вероккьо с обвинением в мужеложестве опущен был в один из тех круглых деревянных ящиков, называемых «барабанами» — tamburi, которые вывешиваются на колоннах в главных флорентинских церквах, преимущественно в соборе Марии дель Фьоре. 9-го апреля того же года ночные и монастырские надзиратели—Ufficiali di notte e monasteri—разобрали дело и оправдали обвиненных, но под условием, чтобы донос повторился — assoluti cum conditione, ut retamburentur; а после нового обвинения, 9-го июня Леонардо и Вероккьо были окончательно оправданы. Более никому ничего неизвестно. Вскоре после того Леонардо, навсегда покинув мастерскую Вероккьо и Флоренцию, переселился в Милан.

— О, конечно, гнусная клевета! — прибавил Чезаре с насмешливой искрой в глазах.— Хотя ты еще не знаешь, друг мой Джованни, какими противоречиями полно его сердце. Это, видишь ли, лабиринт, в котором сам черт ногу сломит. Загадок и тайн не оберешься! С одной стороны, пожалуй, как будто бы и девственник, ну, а с другой...

Я вдруг почувствовал, как вся кровь прилила к моему сердцу...— вскочил и крикнул:

— Как ты смеешь, подлый человек?!

— Что ты? Помилуй... Ну, ну, не буду! Успокойся. Я, право, не думал, что ты этому придаешь такое значение...

— Чему придаю значение? Чему? Говори, говори все! Не лукавь, не виляй!..

— Э, вздор! Зачем горячишься? Стоит ли таким друзьям, как мы, ссориться из-за пустяков? Выпьем-ка за твое здоровье! In vino veritas...[1]

И мы пили, и продолжали разговор.

Нет, нет, довольно! Забыть скорее! Кончено! Не буду больше никогда говорить с ним об учителе. Он враг не только ему, но и мне. Он злой человек.

Гадко мне — не знаю, от вина ли, выпитого в проклятом кабачке, или оттого, что мы там говорили. Стыдно подумать, какую подлую радость могут находить люди, унижая великого.

* * *

Учитель сказал:

— Художник, сила твоя в одиночестве. Когда ты один, ты весь принадлежишь себе; когда же ты хотя бы с одним товарищем, ты себе принадлежишь только наполовину или еще менее, сообразно с нескромностью друга. Имея несколько друзей, ты еще глубже впадаешь в то же бедствие. А если ты скажешь: я отойду от вас и буду один, чтобы свободнее предаваться созерцанию природы,— я говорю тебе: это едва ли удастся, потому что ты не будешь в силах не развлекаться и не прислушиваться к болтовне. Ты будешь плохим товарищем и еще худшим работником, ибо никто не может служить двум господам. И если ты возразишь: я отойду так далеко, чтобы вовсе не слышать их разговора,— я скажу тебе: они сочтут тебя за сумасшедшего — и все-таки ты останешься один. Но, если непременно хочешь иметь друзей, пусть это будут живописцы и ученики твоей мастерской. Всякая иная дружба опасна. Помни, художник, сила твоя — в одиночестве.

* * *

Теперь я понимаю, почему Леонардо удаляется от женщин: для великого созерцания нужна ему великая свобода.

* * *

Андреа Салаино иногда горько жалуется на скуку, и нашу однообразную и уединенную жизнь, уверяя, будто бы ученики других мастеров живут куда веселее. Как молодая девушка, любит он обновки и горюет, что показы-

---

[1] Истина в вине... (*лат.*).

вать их некому. Ему хотелось бы праздников, шума, блеска, толпы и влюбленных взоров.

Сегодня учитель, выслушав упреки и жалобы своего баловня, обычным движением руки начал гладить его длинные, мягкие кудри и ответил ему с доброй усмешкой:

— Не горюй, мальчик: я обещаю тебя взять на следующий праздник в замок. А теперь, хочешь, расскажу басенку?

— Расскажите, учитель! — обрадовался Андреа и сел у ног Леонардо.

— На высоком месте, над большою дорогою, там, где кончался оградою сад, лежал камень, окруженный деревьями, мохом, цветами и травами. Однажды, когда он увидел множество камней внизу, на большой дороге, захотелось ему к ним, и он сказал себе: «какая мне радость в этих изнеженных недолговечных цветах и травах? Я желал бы жить среди ближних и братьев моих, среди себе подобных камней!» — и скатился на большую дорогу к тем, кого называл своими ближними и братьями. Но здесь колеса тяжелых повозок стали давить его, копыта ослов, мулов и гвоздями подкованные сапоги прохожих топтать. Когда же порою удавалось ему немного подняться, и он мечтал вздохнуть свободнее, липкая грязь или кал животных покрывали его. Печально смотрел он на прежнее место свое, уединенное убежище в саду, и оно казалось ему раем.— Так бывает с теми, Андреа, кто покидает тихое созерцание и погружается в страсти толпы, полные вечного зла.

* * *

Учитель не позволяет, чтобы причинялся какой-либо вред животным тварям, даже растениям. Механик Зороастро да Перетола рассказывал мне, что Леонардо с юных лет не ест мяса и говорит, что придет время, когда все люди, подобно ему, будут довольствоваться растительной пищей, полагая убийство животных столь же преступным, как убийство человека.

Проходя однажды мимо мясной лавки на Меркато Нуово и с отвращением указывая на туши телят, овец, быков и свиней на распорках, он сказал мне:

— Да, воистину человек есть царь животных, или, лучше сказать, царь зверей, потому что зверство его величайшее.

И помолчав, прибавил с тихою грустью:

— Мы делаем нашу жизнь из чужих смертей! Люди и звери суть вечные пристанища мертвецов, могилы один для другого...

— Таков закон природы, чью благость и мудрость вы же сами, учитель, так прославляете,— возразил Чезаре.— Я удивляюсь, зачем воздержанием от мяса нарушаете вы этот естественный закон, повелевающий всем тварям пожирать друг друга.

Леонардо посмотрел на него и ответил спокойно:

— Природа, находя бесконечную радость в изобретении новых форм, в созидании новых жизней и производя их с большею скоростью, чем время может истребить, устроила так, чтобы одни твари, питаясь другими, очищали место для грядущих поколений. Вот почему нередко посылает она заразы и поветрия туда, где чрезмерно размножились твари, в особенности люди, у которых избыток рождений не уравновешен смертями, ибо остальные звери не пожирают их

* * *

Так Леонардо, хотя с великим спокойствием разума объясняет естественные законы, не возмущаясь и не сетуя, но сам поступает по иному закону, воздерживаясь от употребления в пищу всего, что имеет в себе жизнь.

Вчера ночью долго читал я книгу, с которой никогда не расстаюсь — «Цветочки св. Франциска». Франциск, так же как Леонардо, миловал тварей. Иногда, вместо молитвы, прославляя мудрость Божью, целыми часами на пчельнике, среди ульев, наблюдал, как пчелы лепят восковые кельи и наполняют их медом. Однажды, на пустынной горе, проповедовал птицам слово Господне; они сидели у ног его рядами и слушали; когда же он кончил, встрепенулись, захлопали крыльями и, открывая клювы, начали ласкаться головками о ризы Франциска, как бы желая сказать ему, что поняли проповедь; он благословил их, и они улетели с радостными криками.

Долго читал я. Потом уснул. Казалось, этот сон был полон тихим веянием голубиных крыл.

Проснулся рано. Солнце только что встало. Все в доме еще спали. Я пошел на двор, чтобы умыться студеной водою из колодца. Было тихо. Звук дальних колоколов походил на жужжание пчел. Пахло дымной свежестью. Вдруг услышал я, как бы из сна моего, трепетание бесчисленных крыл. Поднял глаза и увидел мессера Леонардо на лестнице высокой голубятни.

С волосами, пронизанными солнцем, окружавшими голову его, как сияние, стоял он в небесах, одинокий и радостный. Стая белых голубей, воркуя, теснилась у ног его. Порхали вокруг него, доверчиво садились ему на плечи, на руки, на голову. Он ласкал их и кормил изо рта. Потом взмахнул руками, точно благословил,— и голуби взвились, зашелестели шелковым шелестом крыльев, полетели, как белые хлопья снега, тая в лазури небес. Он проводил их нежной улыбкой.

И я подумал, что Леонардо похож на св. Франциска, друга всех животных тварей, который называл ветер братом своим, воду — сестрою, землю — матерью.

* * *

Да простит мне Бог, опять я не вытерпел: опять пошли мы с Чезаре в проклятый кабачок. Я заговорил о милосердии учителя.

— Уж не о том ли ты, Джованни, что мессер Леонардо мяса не вкушает, Божьими травками питается?

— А если бы и о том, Чезаре? Я знаю...

— Ничего ты не знаешь! Мессер Леонардо делает это вовсе не от доброты, а только забавляется, как и всем остальным,— юродствует...

— Как юродствует? Что ты говоришь?..

Он засмеялся с притворною веселостью:

— Ну, ну, хорошо! Спорить не будем. А лучше погоди, вот ужо, как придем домой, я покажу тебе некоторые любопытные рисуночки нашего мастера.

Вернувшись, мы потихоньку, точно воры, прокрались в мастерскую учителя. Его там не было. Чезаре пошарил, вынул тетрадь из-под груды книг на рабочем столе и начал мне показывать рисунки. Я знал, что делаю нехорошо, но не имел силы противиться и смотрел с любопытством.

Это были изображения огромных бомбард, разрывных ядер, многоствольных пушек и других военных машин, исполненные с такою же воздушною нежностью теней и света, как лица самых прекрасных из его Мадонн. Помню одну бомбу величиною в половину локтя, называемую фрагиликою, устройство которой объяснил мне Чезаре: вылита она из бронзы, внутренняя полость набита пенькою с гипсом и рыбьим клеем, шерстяными пострижками, дегтем, серою, и, наподобие лабиринта, переплетаются в ней медные трубы, обмотанные крепчайшими воловьими жилами, начиненными порохом и пулями. Устья труб расположены вин-

тообразно на поверхности бомбы. Через них вылетает огонь при взрыве, и фрагилика вертится, прыгает с неимоверной скоростью, как исполинский волчок, выхаркивая огненные снопы. Рядом, на полях, рукою Леонардо было написано: «это — бомба самого прекрасного и полезного устройства. Зажигается через столько времени после пушечного выстрела, сколько нужно, чтобы прочесть «Ave Maria» [1].

— «Ave Maria»...— повторил Чезаре.— Как тебе это нравится, друг? Неожиданное употребление христианской молитвы. И затейник же мессер Леонардо! «Ave Maria» — рядом с этаким чудовищем! Чего только не придумает... А кстати, знаешь ли, как он войну называет?

— Как?

— «Pazzia bestialissima — самая зверская глупость». Не правда ли, недурное словечко в устах изобретателя таких машин?

Он перевернул лист и показал мне изображение боевой колесницы с громадными железными косами. На всем скаку врезается она во вражье войско. Огромные стальные серпообразные острые, как бритвы лезвия, подобные лапам исполинского паука, вращаясь в воздухе, должно быть, с пронзительным свистом, визгом и скрипом зубчатых колес, разбрасывая клочья мяса и брызги крови, рассекают людей пополам. Кругом валяются отрезанные ноги, руки, головы, разрубленные туловища.

Помню также другой рисунок: на дворе арсенала рои нагих работников, похожих на демонов, подымают громадную пушку с грозно зияющим жерлом, напрягая могучие мышцы в неимоверном усилии, цепляясь, упираясь ногами и руками в рычаги исполинского ворота, соединенного канатами с подъемной машиной. Другие подкатывают ось на двух колесах. Ужасом веяло на меня от этих гроздий голых тел, висящих в воздухе. Это казалось оружейною палатою дьяволов, кузницею ада.

— Ну, что? Правду я тебе говорил, Джованни,— молвил Чезаре,— прелюбопытные рисуночки? Вот он, блаженный муж, который тварей милует, от мяса не вкушает, червяка с дороги подымает, чтобы прохожие ногой не растоптали! И то, и другое вместе. Сегодня кромешник, завтра угодник. Янус двуликий: одно лицо к Христу, другое к Антихристу. Поди, разбери, какое истинное, какое ложное?!. Или оба истинные?.. И ведь все это — с легким сердцем, с тайной пленительной прелести, как будто шутя да играя!

[1] «Богородица, Дево, радуйся» (*лат.*).

Я слушал молча; холод, подобный холоду смерти, пробегал у меня по сердцу.

— Что с тобой, Джованни? — заметил Чезаре.— Лица на тебе нет, бедненький! Слишком ты все это к сердцу принимаешь, друг мой... Погоди, стерпится, слюбится. Привыкнешь,— ничему удивляться не будешь, как я.— А теперь вернемся-ка в погреб Золотой Черепахи да выпьем снова.

Dum vivum, potamus,
Богу Вакху пропоем:
Te Deum laudamus!

Я ничего не ответил, закрыл лицо руками и убежал от него.

* * *

Как? Один человек — и тот, кто благословляет голубей с невинной улыбкой, подобно св. Франциску,— и тот, в кузнице ада, изобретатель железного чудовища с окровавленными паучьими лапами,— один человек? Нет, быть этого не может, нельзя этого вынести! Лучше все, только не это! Лучше — безбожник, чем слуга Бога и дьявола вместе, лик Христа и Сфорцы Насильника вместе!

* * *

Сегодня Марко д'Оджоне сказал:

— Мессер Леонардо, многие обвиняют тебя и нас, учеников твоих, в том, что мы слишком редко ходим в церковь и в праздники работаем, как в будни.

— Пусть ханжи говорят, что угодно,— отвечал Леонардо.— Да не смущается сердце ваше, друзья мои! Изучать явления природы есть Господу угодное дело. Это все равно, что молиться. Познавая законы естественные, мы тем самым прославляем первого Изобретателя, Художника вселенной и учимся любить Его, ибо великая любовь к Богу проистекает из великого познания. Кто мало знает, тот мало любит. Если же ты любишь Творца за временные милости, которых ждешь от Него, а не за вечную благость и силу Его,— ты подобен псу, который виляет хвостом и лижет хозяину руку в надежде лакомой подачки. Подумай, насколько бы сильнее любил пес господина своего, постигнув душу и разум его. Помните же, дети мои: любовь есть дочь познания; любовь тем пламеннее, чем познание точнее. И в Евангелии сказано: будьте мудры как змеи и просты как голуби.

— Можно ли соединить мудрость змия с простотою голубя? — возразил Чезаре.— Мне кажется, надо выбрать одно из двух...

— Нет, вместе! — молвил Леонардо.— Вместе,— одно без другого невозможно: совершенное знание и совершенная любовь — одно и то же.

* * *

Сегодня, читая апостола Павла, я нашел в восьмой главе «Первого Послания к Коринфянам» следующие слова: «Знание надмевает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него».

Апостол утверждает: познание из любви; а Леонардо — любовь из познания. Кто прав? Я этого не могу решить и не могу жить, не решив.

* * *

Кажется мне, что я заблудился в извилинах страшного лабиринта. Кричу, взываю — и нет мне отклика. Чем дальше иду, тем больше путаюсь. Где я? Что со мною будет, ежели и ты меня покинешь, Господи?

* * *

О, фра Бенедетто, как бы мне хотелось вернуться в тихую келью твою, рассказать тебе всю мою муку, припасть к твоей груди, чтобы ты пожалел меня, снял с души моей эту тяжесть, отче возлюбленный, овечка моя смиренная, исполнившая Христову заповедь: блаженны нищие духом.

Сегодня новое несчастье.

Придворный летописец, мессер Джорджо Мерула, и старый друг его, поэт Бернардо Беллинчони, вели беседу наедине в пустынной зале дворца. Дело происходило после ужина. Мерула был навеселе и, по своему обыкновению, хвастая вольнолюбивыми мечтами, презрением к ничтожным государям нашего века, непочтительно отозвался о герцоге Моро и, разбирая один из сонетов Беллинчони, в котором прославляются благодеяния, будто бы оказанные герцогом Джан-Галеаццо, назвал Моро убийцей, отравителем законного герцога. Благодаря искусству, с которым устроены были трубы Дионисиева уха, герцог из дальнего покоя услышал разговор, велел схватить Мерулу и посадить в тюремный подвал под главным крепостным рвом Редефоссо, окружающим замок.

Что-то думает об этом Леонардо, который устраивал Дионисиево ухо, не помышляя о зле и добре, изучая любопытные законы, «шутя да играя», по выражению Чезаре,— так же, как он делает все: изобретает чудовищные военные машины, разрывные бомбы, железных пауков, рассекающих одним взмахом громадных лап с полсотни людей?

* * *

Апостол говорит: «от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос».

Из такого ли знания проистекает любовь? Или знание и любовь не одно и то же?

* * *

Порою лицо учителя так ясно и невинно, полно такой голубиной чистотою, что я все готов простить, всему поверить,— и снова отдать ему душу мою. Но вдруг в непонятных изгибах тонких губ мелькает выражение, от которого мне становится страшно, как будто я заглядываю сквозь прозрачную глубину в подводные пропасти. И опять мне кажется, что есть в душе его тайна, и я вспоминаю одну из его загадок:

«Величайшие реки текут под землею».

* * *

Умер герцог Джан-Галеаццо.

Говорят,— о, видит Бог, рука едва подымается написать это слово, и я ему не верю! — говорят, Леонардо — убийца: он, будто бы, отравил герцога плодами ядовитого дерева.

Помню, как механик Зороастро да Перетола показывал моне Кассандре это проклятое дерево. Лучше бы мне никогда не видать его! Вот и теперь — оно чудится мне, каким было в ту ночь, в мутно-зеленом лунном тумане, с каплями яда на мокрых листьях, с тихо зреющими плодами, окруженное смертью и ужасом. И опять звучат в ушах моих слова Писания: «от Древа Познания добра и зла, не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертию умрешь».

О, горе, горе мне, окаянному! Некогда в сладостной келье отца моего Бенедетто, в невинной простоте я был, как первый человек в раю. Но согрешил, предал душу мою искушениям мудрого Змия, вкусил от Древа Познания — и се открылись глаза мои, и увидел я добро и зло, свет и тень, Бога и дьявола; и еще увидел я, что есмь наг и сир, и нищ — и смертью душа моя умирает.

* * *

Из преисподней вопию к Тебе, Господи, внемли гласу моления моего, услышь и помилуй меня! Как разбойник на кресте исповедую имя Твое: помяни меня, Господи, когда приидешь во Царствие Твое!

* * *

Леонардо снова начал лик Христа.

* * *

Герцог поручил ему устройство машины для подъема Святейшего Гвоздя.

С математической точностью он взвесил на весах орудие Страстей Господних, как обломок старого железа — столько-то унций, столько-то гран — и святыня для него только цифра между цифрами, только часть между частями подъемной машины — веревками, колесами, рычагами и блоками!

* * *

Апостол говорит: «Дети, наступает последнее время. И как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много Антихристов, то мы познаем из того, что наступает последнее время».

* * *

Ночью толпа народа, окружив наш дом, требовала Святейшего Гвоздя и кричала: «Колдун, безбожник, отравитель герцога, Антихрист!»

Леонардо слушал вопли черни без гнева. Когда Марко хотел стрелять из аркебуза, запретил ему. Лицо учителя было спокойно и непроницаемо, как всегда.

Я упал к ногам его и молил сказать мне хотя бы одно слово, чтобы рассеять мои сомнения. Свидетельствуюсь Богом живым — я поверил бы! Но он не хотел или не мог мне сказать ничего.

Маленький Джекопо, выскользнув из дома, обежал толпу, через несколько улиц встретил обход стражи, всадников капитана Джустиции, привел их к дому — и в то самое мгновение, когда сломанные двери уже валились под напором толпы, солдаты ударили на нее с тылу. Бунтовщики разбежались. Джакопо ранен камнем в голову, едва не убит.

* * *

Сегодня я был в соборе на празднике Святейшего Гвоздя.

Подняли его в мгновение, определенное астрологами. Машина Леонардо действовала как нельзя лучше. Ни веревок, ни блоков не было видно. Казалось, что круглый сосуд с хрустальными стенками и золотыми лучами, в который заключен Гвоздь, возносится сам собою, в облаках фимиама, подобно восходящему солнцу. Это было чудо механики. Грянул хор:

Confixa Clavic viscera,
Tendens manus vestigia,
Redemptionis gratia
Hic immolata est Hostia [1].

И ковчег остановился в темной арке над главным алтарем собора, окруженный пятью неугасимыми лампадами.

Архиепископ возгласил:

— O, Crux benedicta, quae sola fuisti digna portare Regem coelorum et Dominum. Alleluia!

Народ упал на колени, повторяя за ним: Аллилуйя!

И похититель престола, убийца Моро со слезами поднял руки к Святейшему Гвоздю.

Потом угощали народ вином, тушами быков, пятью тысячами мер гороха и двумястами пудов сала. Чернь, забыв убитого герцога, объедаясь и пьянствуя, вопила: «Да здравствует Моро! Да здравствует Гвоздь!»

Беллинчони сочинял гекзаметры, в которых говорится, что под кротким владычеством августа, богами любимого Моро, воссияет миру из древнего железного Гвоздя новый Век Золотой.

Выходя из собора, герцог подошел к Леонардо, обнял его, поцеловал, называя своим Архимедом, поблагодарил за дивное устройство подъемной машины и обещал ему пожаловать чистокровную берберийскую кобылу из собственного конного завода на вилле Сфорцеске, с двумя тысячами имперских дукатов; потом снисходительно потрепал по плечу, сказал, что теперь мастер может кончить на свободе лик Христа в Тайной Вечери.

Я понял слово Писания: «человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих».

Не могу я больше терпеть! Погибаю, с ума схожу от этих двоящихся мыслей, от лика Антихриста сквозь лик Христа. Зачем Ты покинул меня, Господи?

* * *

Надо бежать, пока еще не поздно.

---

[1] Чрево рассечено,
Ступня до руки достает —
Жертву здесь принесли
Искупления ради (*лат.*).

* * *

Я встал ночью, связал платье, белье и книги в походный узел, взял дорожную палку, в темноте ощупью спустился вниз, в мастерскую, положил на стол тридцать флоринов, плату за последние шесть месяцев учения — чтобы выручить их, я продал кольцо с изумрудом, подарок матери,— и ни с кем не простившись — все еще спали,— ушел из дома Леонардо навеки.

* * *

Фра Бенедетто сказал мне, что с тех пор, как я покинул его, он каждую ночь молится обо мне, и было ему видение о том, что Бог возвратит меня на путь спасения.

Фра Бенедетто идет во Флоренцию для свидания с больным своим братом, доминиканцем в монастыре Сан-Марко, где настоятелем Джироламо Савонарола.

* * *

Хвала и благодарение Тебе, Господи! Ты извлек меня из тени смертной, из пасти адовой.

Ныне отрекаюсь от мудрости века сего, запечатленной печатью Змия Седмиглавого, Зверя, грядущего во тьме, именуемого Антихристом.

Отрекаюсь от плодов ядовитого Древа Познания, от гордыни суетного разума, от богопротивной науки, коей отец есть Дьявол.

Отрекаюсь от всякого соблазна языческой прелести.

Отрекаюсь от всего, что не воля Твоя, не слава Твоя, не мудрость Твоя, Христе Боже мой!

Просвети душу мою светом единым Твоим, избавь от проклятых двоящихся мыслей, утверди шаги мои на путях Твоих, да не колеблются стопы мои, укрой меня под сенью крыл Твоих!

Хвали, душа моя, Господа! Буду восхвалять Господа, доколе жив, буду петь Богу моему, доколе есмь!

* * *

Через два дня мы с фра Бенедетто едем во Флоренцию. С благословения отца моего хочу быть послушником в обители Сан-Марко у великого избранника Господня, фра Джироламо Савонаролы.— Бог спас меня!..

Этими словами кончался дневник Джованни Бельтраффио.

СЕДЬМАЯ КНИГА

СОЖЖЕНИЕ СУЕТ

I

Прошло более года с тех пор, как Бельтраффио поступил послушником в обитель Сан-Марко.

Однажды, после полудня, в конце карнавала тысяча четыреста девяносто шестого года, Джироламо Савонарола, сидя за рабочим столом в своей келье, записывал недавно бывшее ему от Бога видение Двух Крестов над городом Римом: черного в смертоносном вихре, с надписью: Крест Гнева Господня, и сияющего в лазури, с надписью: Крест Милосердия Господня.

Он чувствовал усталость и лихорадочный озноб. Отложив перо, опустил голову на руки, закрыл глаза и стал припоминать то, что слышал в это утро о жизни папы Александра VI Борджа от смиренного фра Паоло, монаха, посланного в Рим для разведок и только что вернувшегося во Флоренцию.

Как видения Апокалипсиса, проносились перед ним чудовищные образы: багряный Бык из родословного щита Борджа, подобие древнего египетского Аписа, Золотой Телец, предносимый римскому первосвященнику, вместо кроткого Агнца Господня; бесстыдные игрища ночью, после пира в залах Ватикана, перед Святейшим Отцом, его родною дочерью и толпой кардиналов; прекрасная Джулия Фарнезе, юная наложница шестидесятилетнего папы, изображаемая на иконах в образе Матери Божьей; двое старших сыновей Александра, дон-Чезаре, кардинал Валенсии, и дон-Джованни, знаменосец римской церкви, ненавидящие друг друга до каинова братоубийства из-за нечистой похоти к сестре своей Лукреции.

И Джироламо содрогнулся, вспомнив то, о чем фра Паоло едва осмелился шепнуть ему на ухо — кровосмеси-

тельную похоть отца к дочери, старого папы к мадонне Лукреции.

— Нет, нет, видит Бог, не верю — клевета... этого быть не может! — повторял он и втайне чувствовал, что все может быть в страшном гнезде Борджа.

Холодный пот выступил на лбу монаха. Он бросился на колени пред Распятием.

Раздался тихий стук в дверь кельи.

— Кто там?

— Я, отче!

Джироламо узнал по голосу помощника и верного друга своего, брата Доминико Буонвичини.

— Достопочтенный Ричардо Бекки, доверенный папы, испрашивает позволения говорить с тобой.

— Хорошо, пусть подождет. Пошли ко мне брата Сильвестро.

Сильвестро Маруффи был слабоумный монах, страдавший падучей. Джироламо считал его избранным сосудом благодати Божьей, любил и боялся, толкуя видения Сильвестро, по всем правилам утонченной схоластики великого Ангела Школы, Фомы Аквината, при помощи хитроумных доводов, логических посылок, энтимем, апофтегм и силлогизмов и находя пророческий смысл в том, что казалось другим бессмысленным лепетанием юродивого. Маруффи не выказывал уважения к своему настоятелю: нередко поносил его, ругал при всех, даже бил. Джироламо принимал обиды эти со смирением и слушался его во всем. Если народ флорентинский был во власти Джироламо, то он в свою очередь был в руках слабоумного Маруффи.

Войдя в келью, брат Сильвестро уселся на пол в углу и, почесывая красные голые ноги, замурлыкал однообразную песенку. Выражение тупое и унылое было на веснушчатом лице его с острым, как шило, носиком, отвислою нижнею губою и слезящимися глазами мутно-зеленого бутылочного цвета.

— Брат, — молвил Джироламо, — из Рима от папы приехал посол. Скажи, принять ли его и что ему ответить? Не было ли тебе какого видения или гласа?

Маруффи состроил шутовскую рожу, залаял собакою и захрюкал свиньею: он имел дар подражать в совершенстве голосам животных.

— Братец милый, — упрашивал его Савонарола, — будь добрым, молви словечко! Душа моя тоскует смертельно. Помолись Богу, да ниспошлет Он тебе духа пророческого...

Юродивый высунул язык; лицо его исказилось.

— Ну, чего ты, чего лезешь ко мне, свистун окаянный, перепел безмозглый, баранья твоя голова! У, чтоб тебе крысы нос отъели! — крикнул он с неожиданною злобою.— Сам заварил, сам и расхлебывай. Я тебе не пророк, не советчик!

Потом взглянул на Савонаролу исподлобья, вздохну и продолжал другим, более тихим, ласковым голосом.

— Жалко мне тебя, братец, ой, жалко глупенького!.. И почему ты знаешь, что видения мои от Бога, а не от дьявола?

Умолк, смежил веки, и лицо его сделалось неподвижным, как бы мертвым. Савонарола, думая, что это видение,— замер в благоговейном ожидании. Но Маруффи открыл глаза, медленно повернул голову, точно прислушиваясь, посмотрел в окно и с доброй, светлой, почти разумной улыбкой проговорил:

— Птички, слышишь, птички! Небось теперь и травка в поле, и желтые цветики. Эх, брат Джироламо, довольно ты здесь намутил, гордыню свою потешил, беса порадовал,— будет! Надо же и о Боге подумать. Пойдем-ка мы с тобой от мира окаянного в пустыню любезную.

И запел приятным тихим голосом, покачиваясь:

В леса пойдем зеленые,
В неведомый приют,
Где бьют ключи студеные
Да иволги поют.

Вдруг вскочил — железные вериги звякнули — подбежал к Савонароле, схватил его за руку и прошептал, как будто задыхаясь от ярости:

— Видел, видел, видел!.. У, чертов сын, ослиная твоя голова, чтоб тебе крысы нос отъели,— видел!..

— Говори, братец, говори же скорей...

— Огонь! огонь! — произнес Маруффи.

— Ну, ну, что же далее?

— Огонь костра,— продолжал Сильвестро,— и в нем человека!..

— Кого? — спросил Джироламо.

Маруффи кивнул головой, но ответил не вдруг: сначала вперил в Савонаролу свои пронзительные зеленые глазки и засмеялся тихим смехом, как сумасшедший, потом наклонился и шепнул ему на ухо:

— Тебя!

Джироламо вздрогнул и отшатнулся.

Маруффи встал, вышел из кельи и удалился, позвякивая веригами, напевая песенку:

Пойдем в леса зеленые,
В неведомый приют,
Где бьют ключи студеные
Да иволги поют.

Опомнившись, Джироламо велел позвать доверенного папы, Ричардо Бекки.

II

Шурша длинным, похожим на рясу, шелковым платьем модного цвета мартовской фиалки, с откидными венецианскими рукавами, с опушкой из черно-бурого лисьего меха, распространяя веяние мускусной амбры,— в келью Савонаролы вошел скриптор святейшей апостолической канцелярии. Мессер Ричардо Бекки обладал той елейностью в движениях, в умной и величаво-ласковой улыбке, в ясных, почти простодушных глазах, в любезных смеющихся ямочках свежих, гладко выбритых щек, которая свойственна вельможам римского двора.

Он попросил благословения, выгибая спину с полупридворною ловкостью, поцеловал исхудалую руку приора Сан-Марко и заговорил по-латыни, с изящными цицероновскими оборотами речи, с длинными, плавно развивающимися предложениями.

Начав издалека, тем, что в правилах ораторского искусства называется исканием благоволения, упомянул о славе флорентинского проповедника; затем перешел к делу: святейший отец, справедливо разгневанный упорными отказами брата Джироламо явиться в Рим, но пылая ревностью ко благу церкви, к совершенному единению верных во Христе, к миру всего мира и желая не смерти, а спасения грешника, изъявляет отеческую готовность, в случае раскаяния Савонаролы, вернуть ему свою милость.

Монах поднял глаза и тихо сказал:

— Мессере, как вы полагаете, святейший отец верует в Бога?

Ричардо не ответил, как будто не расслышал или нарочно пропустил мимо ушей неприличный вопрос, и, опять заговорив о деле, намекнул, что высший чин духовной иерархии — красная кардинальская шапка — ожидает брата Джироламо в случае покорности, и, быстро наклонившись к монаху, дотронувшись пальцем до руки его, прибавил с вкрадчивой улыбкой:

— Словечко, отец Джироламо, только словечко — и красная шапка за вами!

Савонарола устремил на собеседника неподвижные глаза и проговорил:

— А что, ежели я, мессере, не покорюсь — не замолчу? Что, ежели безрассудный монах отвергнет честь римского пурпура, не польстится на красную шапку, не перестанет лаять, охраняя дом Господа своего, как верный пес, которому рта не заткнешь никакою подачкою?

Ричардо с любопытством посмотрел на него, слегка поморщился, поднял брови, задумчиво полюбовался на свои ногти, гладкие и продолговатые, как миндалины, и поправил перстни. Потом неторопливо вынул из кармана, развернул и подал приору готовое к подписи и приложению великой печати Рыбаря отлучение от церкви брата Джироламо Савонаролы, где, между прочим, папа называл его сыном погибели и презреннейшим насекомым — nequissimus omnipedo.

— Ждете ответа? — молвил монах, прочитав.

Скриптор молча склонил голову.

Савонарола поднялся во весь рост и швырнул папскую буллу к ногам посла.

— Вот мой ответ! Ступайте в Рим и скажите, что я принимаю вызов на поединок с папой Антихристом. Посмотрим — он меня или я его отлучу от церкви!

Дверь кельи тихонько отворилась, и брат Доминико заглянул в нее. Услышав громкий голос приора, он прибежал узнать, что случилось. У входа столпились монахи.

Ричардо уже несколько раз оглядывался на дверь и, наконец, заметил вежливо:

— Смею напомнить, брат Джироламо: я уполномочен лишь к тайному свиданию...

Савонарола подошел к двери и открыл ее настежь.

— Слушайте — воскликнул он.— Слушайте все, ибо не вам одним, братья, но всему народу Флоренции объявляю я об этом гнусном торге — о выборе между отлучением от церкви и кардинальским пурпуром!

Впалые глаза его под низким лбом горели, как уголья; безобразная нижняя челюсть, дрожа, выступала вперед.

— Се, время настало! Пойду я на вас, кардиналы и прелаты римские, как на язычников! Поверну ключ в замке, отопру мерзостный ларчик — и выйдет такое зловоние из вашего Рима, что люди задохнутся. Скажу такие слова, от которых вы побледнеете, и мир содрогнется в своих основаниях, и церковь Божия, убитая вами, услышит мой голос. Лазарь, изыде! — и встанет и выйдет из

гроба... Ни ваших митр, ни кардинальских шапок не надо мне! Единую красную шапку смерти, кровавый венец твоих мучеников даруй мне, Господи!

Он упал на колени, рыдая, протягивая бледные руки к Распятию.

Ричардо, пользуясь минутой смятения, ловко выскользнул из кельи и поспешно удалился.

III

В толпе монахов, внимавших брату Джироламо, был послушник Джованни Бельтраффио.

Когда братья стали расходиться, сошел и он по лестнице на главный монастырский двор и сел на свое любимое место, в длинном крытом ходе, где всегда в это время бывало тихо и пустынно.

Между белыми стенами обители росли лавры, кипарисы и куст дамасских роз, под тенью которого брат Джироламо любил проповедовать: предание гласило, что ангелы ночью поливают эти розы.

Послушник открыл «Послания апостола Павла к Коринфянам» и прочел:

«Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую; не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской».

Встал и начал ходить по галерее, припоминая все свои мысли и чувства за последний год, проведенный в обители Сан-Марко.

В первое время вкушал он великую сладость духовную среди учеников Савонаролы. Иногда поутру уводил их отец Джироламо за стены города. Крутою тропинкою, которая вела как будто прямо в небо, подымались они на высоты Фьезоле, откуда между холмами, в Долине Арно, видна была Флоренция. На зеленой лужайке, где было много фиалок, ландышей, ирисов и, разогретые солнцем, стволы молодых кипарисов точили смолу,— садился приор. Монахи ложились у ног его на траву, плели венки, вели беседы, плясали, резвились, как дети, пока другие играли на скрипках, альтах и виолах, похожих на те, с которыми фра Беато изображает хоры ангелов.

Савонарола не учил их, не проповедовал, только говорил им ласковые речи, сам играл и смеялся, как дитя. Джованни смотрел на улыбку, озарявшую лицо его,— и ему казалось, что в пустынной роще, полной музыки и пения, на вершине Фьезоле, окруженной голубыми небесами, подобны они Божьим ангелам в раю.

Савонарола подходил к обрыву и с любовью смотрел на Флоренцию, окутанную дымкой утра, как мать на спящего младенца. Снизу доносился первый звон колоколов, точно сонный детский лепет.

А в летние ночи, когда светляки летали, как тихие свечи невидимых ангелов, под благовонной кущей дамасских роз на дворе Сан-Марко, рассказывал он братьям о кровавых стигматах, язвах небесной любви на теле св. Катерины Сиенской, подобных ранам Господа, благоуханных, как розы.

Дай мне болью ран упиться,
Крестной мукой насладиться —
Мукой Сына Твоего!

пели монахи, и Джованни хотелось, чтобы с ним повторилось чудо, о котором говорил Савонарола,— чтобы огненные лучи, выйдя из чаши со Святыми Дарами, выжгли в теле его, как раскаленное железо, крестные раны.

Gesù, Gesù, amore! [1]

вздыхал он, изнемогая от неги.

Однажды Савонарола послал его, так же как он делал это с другими послушниками, ухаживать за тяжело больным на вилле Карреджи, находившейся в двух милях от Флоренции, на полуденном склоне холмов Учелатойо,— той самой вилле, где подолгу живал и умер Лоренцо Медичи. В одном из покоев дворца, пустынных и безмолвных, освещенных слабым, как бы могильным, светом сквозь щели запертых ставен, увидел Джованни картину Сандро Боттичелли — рождение богини Венеры. Вся голая, белая, словно водяная лилия — влажная, как будто пахнущая соленою свежестью моря, скользила она по волнам, стоя на жемчужной раковине. Золотые тяжелые пряди волос вились, как змеи. Стыдливым движением руки прижимала их к чреслам, закрывая наготу свою, и прекрасное тело дышало соблазном греха, между тем как невинные губы, детские очи полны были святою грустью.

Лицо богини казалось Джованни знакомым. Он долго смотрел на нее и вдруг вспомнил, что такое же точно лицо, такие же детские очи, как будто заплаканные, такие же невинные губы, с выражением неземной печали, он видел на другой картине того же Сандро Боттичелли — у Матери Господа. Невыразимое смущение наполнило душу его. Он потупил глаза и ушел из виллы.

[1] Иисус, Иисус, любовь! (*итал.*).

Спускаясь во Флоренцию по узкому переулку, заметил в углублении стены ветхое Распятие, встал перед ним на колени и начал молиться, чтобы отогнать искушение. За стеною в саду, должно быть, под сенью тех же роз, прозвучала мандолина; кто-то вскрикнул, чей-то голос произнес пугливым шепотом:

— Нет, нет, оставь...

— Милая,— ответил другой голос,— любовь, любовь моя! Amore!

Лютня упала, струны зазвенели, и послышался звук поцелуя.

Джованни вскочил, повторяя: Gesù! Gesù! — и не смея прибавить — Amore.

— И здесь,— подумал он,— здесь — *она*. В лице Мадонны, в словах святого гимна, в благоухании роз, осеняющих Распятие!..

Закрыл лицо руками и стал уходить, как будто убегая от невидимой погони.

Вернувшись в обитель, пошел к Савонароле и рассказал ему все. Приор дал обычный совет бороться с дьяволом оружием поста и молитвы. Когда же послушник хотел объяснить, что не дьявол любострастия плотского искушает его, а демон духовной языческой прелести,— монах не понял, сперва удивился, потом заметил строго, что в ложных богах нет ничего, кроме нечистой похоти и гордыни, которые всегда безобразны, ибо красота заключается только в христианских добродетелях.

Джованни ушел от него неутешенный. С того дня приступил к нему бес уныния и возмущения.

Однажды случилось ему слушать, как брат Джироламо, говоря о живописи, требовал, чтобы всякая картина приносила пользу, поучала и назидала людей в душеспасительных помыслах: истребив рукой палача соблазнительные изображения, флорентинцы совершили бы дело, угодное Богу.

Так же монах судил о науке. «Глупец тот,— говорил он,— кто воображает, будто бы логика и философия подтверждают истины веры. Разве сильный свет нуждается в слабом, мудрость Господня — в мудрости человеческой? Разве апостолы и мученики знали логику и философию? Неграмотная старуха, усердно молящаяся перед иконою,— ближе к познанию Бога, чем все мудрецы и ученые. Не спасет их логика и философия в день Страшного Суда! Гомер и Вергилий, Платон и Аристотель,— все идут в жилище сатаны! Подобно сиренам —

Пленяя коварными песнями уши,
Ведут они к вечной погибели души.

Наука дает людям вместо хлеба камень. Посмотрите на тех, кои следуют учениям мира сего: сердца у них каменные».

«Кто мало знает, тот мало любит. Великая любовь есть дочь великого познания»,— только теперь чувствовал Джованни всю глубину этих слов и, слушая проклятия монаха соблазнам искусства и науки, вспоминал разумные беседы Леонардо, спокойное лицо его, холодные как небо глаза, улыбку, полную пленительной мудрости. Он не забыл о страшных плодах ядовитого дерева, о железном пауке, о Дионисиевом ухе, о подъемной машине для Святейшего Гвоздя, о лике Антихриста под ликом Христа. Но ему казалось, что не понял он учителя до конца, не разгадал последней тайны сердца его, не распутал того первоначального узла, в котором сходятся все нити, разрешаются все противоречия.

Так вспоминал Джованни последний год своей жизни в обители Сан-Марко. И между тем как в глубоком раздумье ходил взад и вперед по стемневшей галерее,— наступил вечер, раздался тихий звон «Ave Maria», и черной вереницей прошли монахи в церковь.

Джованни не последовал за ними, сел на прежнее место, снова открыл книгу «Посланий» апостола Павла и, помраченный лукавыми наущениями дьявола, великого логика, переделал в уме своем слова Писания так:

«Не можете *не* пить из чаши Господней и чаши бесовской. Не можете *не* быть участниками в трапезе Господней и трапезе бесовской».

Горько усмехнувшись, поднял глаза к небу, где увидел вечернюю звезду, подобную светильнику прекраснейшего из ангелов тьмы, Люцифера — Светоносящего.

И пришло ему на память предание, слышанное им от одного ученого монаха, принятое великим Оригеном, возобновленное флорентинцем Маттео Пальмьери в поэме «Город Жизни»,— будто бы в те времена, когда дьявол боролся с Богом, среди небожителей были такие, которые, не желая примкнуть ни к воинству Бога, ни к воинству дьявола, остались чуждыми Тому и другому, одинокими зрителями поединка,— о них же Данте сказал:

Angeli che non furon ribelli,
Ne por fideli a Dio, ma per sé foro.
Ангелы, кои не были ни мятежными,
Ни покорными Богу,— но были сами за себя.

Свободные и печальные духи — ни злые, ни добрые, ни темные, ни светлые, причастные злу и добру, тени и свету — изгнаны были Верховным Правосудием в долину земную, среднюю между небом и адом, в долину сумерек, подобных им самим, где стали человеками.

— И как знать,— продолжал Джованни вслух свои грешные мысли,— как знать,— может быть, в этом нет зла ,может быть, следует пить во славу Единого из обеих чаш вместе?

И почудилось ему, что это не он сказал, а кто-то другой, наклонившись и сзади дыша на него холодным ласковым дыханием, шепнул ему на ухо: «вместе, вместе!»

Он вскочил в ужасе, оглянулся и, хотя никого не было в пустынной галерее, затканной паутиною сумерек, начал креститься, дрожа и бледнея; потом бросился бежать вон из крытого хода через двор и только в церкви, где горели свечи и монахи пели вечерню, остановился, перевел дыхание, упал на каменные плиты и стал молиться:

— Господи, спаси меня, избавь от этих двоящихся мыслей! Не хочу я двух чаш! Единой чаши Твоей, единой истины Твоей жаждет душа моя, Господи!

Но Божья благодать, подобная росе, освежающей пыльные травы, не смягчила ему сердца.

Вернувшись в келью, он лег.

К утру приснился ему сон: будто бы с моной Кассандрой, сидя верхом на черном козле, летят они по воздуху. «На шабаш! На шабаш!» — шепчет ведьма, обернув к нему лицо свое, бледное, как мрамор, с губами, алыми, как кровь, глазами прозрачными, как янтарь. И он узнает богиню земной любви с неземною печалью в глазах — Белую Дьяволицу. Полный месяц озаряет голое тело, от которого пахнет так сладко и страшно, что зубы стучат у него: он обнимает ее, прижимается к ней. «Amore! Amore!» — лепечет она и смеется,— и черный мех козла углубляется под ними, как мягкое знойное ложе. И кажется ему, что это — смерть.

IV

Джованни проснулся от солнца, колокольного звона и детских голосов. Сошел на двор и увидел толпу людей в одинаковых белых одеждах, с масличными ветками и маленькими алыми крестами. То было Священное Воинство детей-инквизиторов, учрежденное Савонаролою для наблюдения за чистотою нравов во Флоренции.

Джованни вошел в толпу и прислушался к разговорам.

— Донос, что ли? — с начальнической важностью спрашивал «капитан», худенький четырнадцатилетний мальчик другого, плутоватого, шустрого, рыжего и косоглазого, с оттопыренными ушами.

— Так точно, мессер Федериджи,— донос! — отвечал тот, вытягиваясь в струнку, как солдат, и почтительно поглядывая на капитана.

— Знаю. Тетка в кости играла?

— Никак нет, ваша милость,— не тетка, а мачеха, и не в кости...

— Ах да,— поправился Федериджи,— это Липпина тетка в прошлую субботу кости метала и богохульствовала. Что же у тебя?

— У меня, мессере, мачеха... накажи ее Бог...

— Не мямли, любезный! Некогда. Хлопот полон рот...

— Слушаю, мессере. Так вот, изволите ли видеть,— мачеха с дружком своим, монахом, заповедный бочонок красного вина из отцовского погреба выпили, когда отец на ярмарку в Мариньолу уезжал. И посоветовал ей монах сходить к Мадонне, что на мосту Рубаконте, свечку поставить да помолиться, чтобы отец не вспомнил о заповедном бочонке. Она так и сделала, и когда отец, вернувшись, ничего не заметил,— на радостях подвесила к изваянию Девы Марии бочонок из воска, точь-в-точь такой, каким монаха учествовала,— в благодарность за то, что Матерь Божья помогла ей мужа обмануть.

— Грех, большой грех! — объявил Федериджи, нахмурившись.— А как же ты об этом узнал, Пиппо?

— У конюха выведал, а конюху рассказала мачехина девка татарка, а девке татарке...

— Местожительство? — перебил капитан строго.

— У Святой Аннунциаты шорная лавка Лоренцетто.

— Хорошо,— заключил Федериджи.— Сегодня же следствие нарядим.

Хорошенький мальчик, совсем крошечный, лет шести, прислонившись к стене в углу двора, горько плакал.

— О чем ты? — спросил его другой, постарше.

— Остригли!.. Остригли!.. Я бы не пошел, кабы знал, что стригут!..

Он провел рукой по своим белокурым волосам, изуродованным ножницами монастырского цирюльника, который стриг в скобку всех новобранцев, поступавших в Священное Воинство.

— Ах, Лука, Лука,— укоризненно покачал головой старший мальчик,— какие у тебя грешные мысли! Хоть бы о святых мучениках вспомнил: когда язычники отсекали им руки и ноги, они славили Бога. А ты и волос пожалел.

Лука перестал плакать, пораженный примером святых мучеников. Но вдруг лицо его исказилось от ужаса, и он завыл еще громче, должно быть, вообразив, что и ему во славу Божью монахи обрежут ноги и руки.

— Послушайте,— обратилась к Джованни старая, толстая, красная от волнения горожанка,— не можете ли вы мне указать, где тут мальчик один, черненький с голубыми глазками?

— Как его зовут?

— Дино, Дино дель Гарбо...

— В каком отряде?

— Ах, Боже мой, я право не знаю!.. Целый день ищу, бегаю, спрашиваю, толку не добьюсь. Голова кругом идет...

— Сын ваш?

— Племянник. Мальчик тихий, скромный, прекрасно учился... И вдруг какие-то сорванцы сманили в это ужасное Воинство. Подумайте только,— ребенок нежный, слабенький, а здесь, говорят, камнями дерутся...

И тетка опять заохала, застонала.

— Сами виноваты! — обратился к ней пожилой почтенный гражданин в одежде старинного покроя.— Драли бы ребятишек, как следует,— дурь в головы не полезла бы! А то — виданное ли дело? — монахи да дети государством править вздумали. Яйца курицу учат. Воистину никогда еще на свете не бывало такой глупости!

— Именно, именно, яйца курицу учат! — подхватила тетка.— Монахи говорят — будет рай на земле. Я не знаю, что будет, но пока — ад кромешный. В каждом доме — слезы, ссоры, крики...

— Слышали? — продолжала она, с таинственным видом наклоняясь к уху собеседника: — намедни в соборе перед всем народом брат Джироламо,— отцы и матери,— говорит,— отсылайте ваших сыновей и дочерей хоть на край света, они ко мне отовсюду вернутся, они — мои...

Старый гражданин кинулся в толпу детей.

— А, дьяволенок, попался! — крикнул он, схватив одного мальчика за ухо.— Ну, погоди же, покажу я тебе, как из дому бегать, со сволочью связываться, отца не слушаться!..

— Отца небесного должны мы слушаться более, чем земного,— произнес мальчик тихим, твердым голосом.

— Ой, берегись, Доффо! Лучше не выводи меня из терпения... Ступай, ступай домой — чего уперся!

— Оставьте меня, батюшка. Я не пойду...

— Не пойдешь?

— Нет.

— Так вот же тебе!

Отец ударил его по лицу.

Доффо не двинулся — даже побледневшие губы его не дрогнули. Он только поднял глаза к небу.

— Тише, тише, мессере! Детей обижать не дозволено,— подоспели городские стражи, назначенные Синьорией для охраны Священного Воинства.

— Прочь, негодяи! — кричал старик в ярости.

Солдаты отнимали у него сына; отец ругался и не пускал его.

— Дино! Дино! — взвизгнула тетка, увидав вдали своего племянника, и устремилась к нему. Но стражи удержали ее.

— Пустите, пустите! Господи, да что же это такое! — вопила она.— Дино! Мальчик мой! Дино!

В это мгновение ряды Священного Воинства заколыхались. Бесчисленные маленькие руки замахали алыми крестами, оливковыми ветками, и, приветствуя выходившего на двор Савонаролу, запели звонкие детские голоса:

«Lumen ad revelationem gentium et gloriam plebis Israel».

«Свет к просвещению языков, ко славе народа Израилева».

Девочки обступили монаха, бросали в него желтыми весенними цветами, розовыми подснежниками и темными фиалками; становясь на колени, обнимали и целовали ему ноги.

Облитый лучами солнца, молча, с нежной улыбкой, благословил он детей.

— Да здравствует Христос, король Флоренции! Да здравствует Мария Дева, наша королева! — кричали дети.

— Стройся! Вперед! — отдавали приказание маленькие военачальники.

Грянула музыка, зашелестели знамена, и полки сдвинулись.

На площади Синьории, перед Палаццо Веккьо, назначено было Сожжение сует, Bruciamento della vanità. Священное Воинство должно было в последний раз обойти дозором Флоренцию для сбора «сует и анафем».

V

Когда двор опустел, Джованни увидел мессера Чиприано Буонаккорзи, консула искусства Калималы, владельца товарных фондаков близ Орсанмикеле, любителя древностей, в земле которого у Сан-Джервазио, на Мельничном Холме, найдено было древнее изваяние богини Венеры.

Джованни подошел к нему. Они разговорились. Мессер Чиприано рассказал, что на днях во Флоренцию приехал из Милана Леонардо да Винчи с поручением от герцога скупать произведения художеств из дворцов, опустошаемых Священным Воинством. С этой же целью прибыл Джорджо Мерула, просидевший в тюрьме два месяца, освобожденный и помилованный герцогом, отчасти по ходатайству Леонардо.

Купец попросил Джованни проводить его к настоятелю, и они вместе направились в келью Савонаролы.

Стоя в дверях, Бельтраффио слышал беседу консула Калималы с приором Сан-Марко.

Мессер Чиприано предложил купить за двадцать две тысячи флоринов все книги, картины, статуи и прочие сокровища искусств, которые в этот день должны были погибнуть на костре.

Приор отказал.

Купец подумал, подумал и накинул еще восемь тысяч.

Монах на этот раз даже не ответил; лицо его было сурово и неподвижно.

Тогда Чиприано пожевал ввалившимся беззубым ртом, запахнул полы истертой лисьей шубейки на зябких коленях, вздохнул, прищурил слабые глаза и молвил своим приятным, всегда ровным и тихим голосом:

— Отец Джироламо, я разорю себя, отдам вам все, что есть у меня — сорок тысяч флоринов.

Савонарола поднял на него глаза и спросил:

— Если вы себя разоряете и нет вам корысти в этом деле, о чем вы хлопочете?

— Я родился во Флоренции и люблю эту землю,— отвечал купец с простотою,— не хотелось бы мне, чтобы чужеземцы могли сказать, что мы, подобно варварам, сжигаем невинные произведения мудрецов и художников.

Монах посмотрел на него с удивлением и молвил:

— О, сын мой, если бы любил ты свое отечество небесное так же, как земное!.. Но утешься: на костре погибнет достойное гибели, ибо злое и порочное не может быть

прекрасным, по свидетельству ваших же хваленых мудрецов.

— Уверены ли вы, отец,— сказал Чиприано,— что дети всегда без ошибки могут отличить доброе от злого в произведениях искусства и науки?

— Из уст младенцев правда исходит,— возразил монах.— Ежели не обратитесь и не станете как дети, не можете войти в царство небесное. Погублю мудрость мудрецов, разум разумных отвергну, говорит Господь. Денно и нощно молюсь я о малых сих, дабы то, чего умом не поймут они в суетах искусства и науки, открылось им свыше, благодатью Духа Святого.

— Умоляю вас, подумайте,— заключил консул, вставая.— Быть может, некоторая часть...

— Не тратьте даром слов, мессере! — остановил его брат Джироламо.— Решение мое неизменно.

Чиприано снова, пожевав своими бледными старушечьими губами, пробормотал себе что-то под нос. Савонарола услышал только последнее слово:

— Безумие...

— Безумие! — подхватил он, и глаза его вспыхнули.— Ну, а разве Золотой Телец Борджа, предносимый в кощунственных празднествах папе,— не безумие? Разве Святейший Гвоздь, поднятый во славу Господа на дьявольской машине похитителем престола, убийцей Моро,— не безумие? Вы пляшете вокруг Золотого Тельца, безумствуете во славу бога вашего Маммона. Дайте же и нам, худоумным, побезумствовать, поюродствовать во славу нашего Бога, Христа Распятого! Вы издеваетесь над монахами, плясавшими пред Крестом на площади. Погодите, то ли еще будет! Посмотрим, что скажете вы, разумники, когда заставлю я не только монахов, но весь народ флорентинский, детей и взрослых, стариков и женщин, в ярости Богу угодной, плясать вокруг таинственного Древа Спасения, как некогда Давид плясал перед Ковчегом Завета в древней Скинии Бога Всевышнего!

VI

Джованни, выйдя из кельи Савонаролы, отправился на площадь Синьории.

На Виа Ларга встретил он Священное Воинство. Дети остановили двух черных невольников с паланкином, в котором лежала роскошно одетая женщина. Белая собачка спала у нее на коленях. Зеленый попугай и мартышка си-

дели на жердочке. За носилками следовали слуги и телохранители.

То была кортиджана, недавно приехавшая из Венеции, Лена Гриффа, из разряда тех, которых правители Яснейшей республики называли с почтительною вежливостью «puttana onesta», «meretrix onesta», «благородная, честная блудница», или с ласковою шутливостью — «mammola», «девушка». В знаменитом, изданном для удобства путешественников «Catalogo di tutte le puttane del bordello con il lor prezzo» — «Каталоге всех блудниц в домах терпимости с их ценами», против имени Лены Гриффы, напечатанного крупными буквами, отдельно от других, на самом почетном месте, стояла цена — четыре дуката, а за святые ночи, кануны праздников, цена двойная — «из почтения к Матери Господа».

Развалившись на подушках, с видом Клеопатры или царицы Савской, мона Лена читала записку влюбленного в нее молодого епископа, с приложенным сонетом, который кончался такими стихами:

Когда пленительным речам твоим я внемлю,
О, Лена дивная, то, покидая землю,
Возносится мой дух к божественным красам
Платоновых идей и к вечным небесам.

Кортиджана обдумывала ответный сонет. Рифмами владела она в совершенстве и недаром говаривала, что если бы это зависело от нее, она, конечно, проводила бы все свое время «в академиях добродетельных мужей».

Священное Воинство окружило носилки. Предводитель одного из отрядов, Доффо, выступил, поднял над головой алый крест и воскликнул торжественно:

— Именем Иисуса, короля Флоренции, и Марии Девы, нашей королевы, повелеваем тебе снять сии греховные украшения, суеты и анафемы. Ежели ты этого не сделаешь, да поразит тебя болезнь!

Собачка проснулась и залаяла; мартышка зашипела; попугай захлопал крыльями, выкрикивая стих, которому научила его хозяйка:

Amore a nullo amato amar perdona[1].

Лена собиралась сделать знак телохранителям, чтобы разогнали они толпу,— когда взор ее упал на Доффо. Она поманила его пальцем.

Мальчик подошел, потупив глаза.

---

[1] Любовь не полюбить никому не позволит (*итал.*).

— Долой, долой наряды! — кричали дети. — Долой суеты и анафемы!

— Какой хорошенький! — тихо произнесла Лена, не обращая внимания на крики толпы. — Послушайте, мой маленький Адонис, я, конечно, с радостью отдала бы все эти тряпки, чтобы сделать вам удовольствие, — но вот в чем беда: они не мои, а взяты напрокат у жида. Имущество такой неверной собаки едва ли может быть приношением, угодным Иисусу и Деве Марии.

Доффо поднял на нее глаза. Мона Лена, с едва заметной усмешкой кивнув головой, как будто подтверждая его тайную мысль, проговорила другим голосом, с певучим и нежным венецианским говором:

— В переулке Бочаров у Санта Тринитà. Спроси кортиджану Лену из Венеции. Буду ждать...

Доффо оглянулся и увидел, что товарищи, увлеченные бросанием камней и перебранкой с вышедшей из-за угла шайкой противников Савонаролы, так называемых «бешеных» — «аррабиати», не обращали более внимания на кортиджану. Он хотел им крикнуть, чтобы они напали на нее, но вдруг смутился и покраснел.

Лена засмеялась, показывая между красными губами острые белые зубы. Сквозь образ Клеопатры и царицы Савской мелькнула в ней венецианская «маммола» — шаловливая и задорная уличная девочка.

Негры подняли носилки, и кортиджана продолжала путь безмятежно. Собачка опять уснула на ее коленях, попугай нахохлился, и только неугомонная мартышка, строя уморительные рожи, старалась лапкою поймать карандаш, которым вельможная блудница выводила первый стих ответного сонета епископу:

Любовь моя чиста, как вздохи серафимов.

Доффо, уже без прежней удали, во главе своего отряда, всходил по лестнице чертогов Медичи.

VII

В темных покоях, где все дышало величием прошлого, дети охвачены были робостью.

Но открыли ставни. Загремели трубы. Застучали барабаны. И с радостным криком, смехом и пением псалмов рассыпались маленькие инквизиторы по залам, творя суд Божий над соблазнами искусства и науки, отыскивая и хватая «суеты и анафемы», по наитию Духа Святого.

Джованни следил за их работой.

Наморщив лоб, заложив руки за спину, с медлительною важностью, как судьи, расхаживали дети среди изваяний великих мужей, философов и героев языческой древности.

— Пифагор, Анаксимен, Гераклит, Платон, Марк Аврелий, Эпиктет,— читал по складам один из мальчиков латинские надписи на подножиях мраморных и медных изваяний.

— Эпиктет! — остановил его Федериджи, насупив брови с видом знатока.— Это и есть тот самый еретик, который утверждал, что все наслаждения позволены и что Бога нет. Вот кого бы сжечь! Жаль, мраморный...

— Ничего,— молвил бойкий, косоглазый Пиппо,— мы его все-таки попотчуем!

— Это не тот! — воскликнул Джованни.— Вы смешали Эпиктета с Эпикуром...

Но было поздно: Пиппо размахнулся, ударил молотком и так ловко отбил нос мудрецу, что мальчики захохотали.

— Э, все равно, Эпиктет, Эпикур — два сапога пара: «Все пойдут в жилище дьявола!» — повторил он любимую поговорку Савонаролы.

Перед картиной Боттичелли заспорили: Доффо уверял, будто бы она соблазнительная, так как изображает голого юношу Вакха, пронзенного стрелами бога любви; но Федериджи, соперничавший с Доффо в умении отличать «суеты и анафемы», подошел, взглянул и объявил, что это вовсе не Вакх.

— А кто же, по-твоему? — спросил Доффо.

— Кто! Еще спрашивает! Как же вы, братцы, не видите? Св. Первомученик Стефан!

Дети в недоумении стояли перед загадочною картиной: если это был, в самом деле, святой, почему же голое тело его дышало такою языческою прелестью, почему выражение муки в лице было похоже на сладострастную негу?

— Не слушайте, братцы,— закричал Доффо,— это мерзостный Вакх!

— Врешь, богохульник! — воскликнул Федериджи, поднимая крест, как оружие.

Мальчики бросились друг на друга; товарищи едва успели их разнять. Картина осталась под сомнением.

В это время неугомонный Пиппо вместе с Лука, который давно уже утешился и перестал хныкать о своих остриженных кудрях,— ибо никогда еще, казалось ему, не участвовал он в таких веселых шалостях,— забрались в маленький темный покой. Здесь, у окна, на высокой под-

ставке, стояла одна из тех ваз, которые изготовляются венецианскими стекольными заводами Мурано. Задетая лучом сквозь щель закрытых ставень, вся она искрилась в темноте огнями разноцветных стекол, как драгоценными каменьями, подобная волшебному огромному цветку.

Пиппо взобрался на стол, тихонько, на цыпочках,— точно ваза была живая и могла убежать,— подкрался, плутовато высунул кончик языка, поднял брови над косыми глазами и толкнул ее пальцем. Ваза качнулась, как нежный цветок, упала, засверкала, зазвенела жалобным звоном, разбилась — и потухла. Пиппо прыгал, как бесенок, ловко подкидывая вверх и подхватывая на лету алый крест. Лука, с широко открытыми глазами, горевшими восторгом разрушения, тоже скакал, визжал и хлопал в ладоши.

Услышав издали радостные крики товарищей, вернулись они в большую залу.

Здесь Федериджи нашел чулан со множеством ящиков, наполненных такими «суетами», каких даже самые опытные из детей никогда не видывали. То были маски и наряды для тех карнавальных шествий, аллегорических триумфов, которые любил устраивать Лоренцо Медичи Великолепный. Дети столпились у входа в чулан. При свете сильного огарка выходили перед ними картонные чудовищные морды фавнов, стеклянный виноград вакханок, колчан и крылья Амура, кадуцей Меркурия, трезубец Нептуна и, наконец, при взрыве общего хохота, появились деревянные, позолоченные, покрытые паутиною, молнии Громовержца и жалкое, изъеденное молью, чучело олимпийского орла, с общипанным хвостом, с клочками войлока, торчавшего из продырявленного брюха.

Вдруг из пышного белокурого парика, вероятно, служившего Венере, выскочила крыса. Девочки завизжали. Самая маленькая, вспрыгнув на стул, брезгливо подняла платьице выше колен.

Над толпой повеяло холодом ужаса и отвращения к этой языческой рухляди, к могильному праху умерших богов. Тени летучих мышей, испуганных шумом и светом, бившихся о потолок, казались нечистыми духами.

Прибежал Доффо и объявил, что наверху есть еще одна запертая комната: у дверей сторожит маленький, сердитый, красноносый и плешивый старичок, ругается и никого не пускает.

Отправились на разведку. В старичке, охранявшем две-

ри таинственной комнаты, Джованни узнал своего друга, мессера Джорджо Мерулу, великого книголюбца.

— Давай ключ! — крикнул ему Доффо.

— А кто вам сказал, что ключ у меня?

— Дворцовый сторож сказал.

— Ступайте, ступайте с Богом!

— Ой, старик, берегись! Повыдергаем мы тебе последние волосы!

Доффо подал знак. Мессер Джорджо стал перед дверями, собираясь защитить их грудью. Дети напали на него, повалили, избили крестами, обшарили ему карманы, отыскали ключ и отперли дверь. Это была маленькая рабочая комната с драгоценным книгохранилищем.

— Вот здесь, здесь,— указывал Мерула,— в этом углу все, что вам надо. На верхние полки не лазайте: там ничего нет.

Но инквизиторы не слушали его. Все, что попадалось им под руку — особенно книги в роскошных переплетах — швыряли они в кучу. Потом открыли настежь окна, чтобы выбрасывать толстые фолианты прямо на улицу, где стояла повозка, нагруженная «суетами и анафемами». Тибулл, Гораций, Овидий, Апулей, Аристофан — редкие списки, единственные издания — мелькали перед глазами Мерулы.

Джованни заметил, что старик успел выудить из кучи и ловко спрятал за пазуху маленький томик: это была книга Марцеллина, с повествованием о жизни императора Юлиана Отступника.

Увидев на полу список трагедий Софокла на шелковистом пергаменте, с тончайшими заглавными рисунками, он бросился к ней с жадностью, схватил ее и взмолился жалобно:

— Деточки! Милые! Пощадите Софокла! Это самый невинный из поэтов! Не троньте, не троньте!..

С отчаянием прижимал он книгу к груди; но, чувствуя, как рвутся нежные, словно живые, листы, заплакал, застонал, точно от боли,— отпустил ее и закричал в бессильной ярости:

— Да знаете ли, подлые щенки, что каждый стих этого поэта бо́льшая святыня перед Богом, чем все пророчества вашего полоумного Джироламо!..

— Молчи, старик, ежели не хочешь, чтобы мы и тебя вместе с твоими поэтами за окно выбросили!

И снова напав на старика, взашей вытолкали его из книгохранилища.

Мерула упал на грудь Джованни.

— Уйдем, уйдем отсюда скорее! Не хочу я видеть этого злодейства!..

Они вышли из дворца и мимо Марии дель Фьоре направились на площадь Синьории.

VIII

Перед темною, стройною башнею Палаццо Веккьо, рядом с лоджией Орканьи, готов был костер, в тридцать локтей вышины, сто двадцать ширины — восьмигранная пирамида, сколоченная из досок, с пятнадцатью ступенями. На первой нижней ступени собраны были шутовские маски, наряды, парики, искусственные бороды и множество других принадлежностей карнавала; на следующих трех — вольнодумные книги, начиная от Анакреона и Овидия, кончая «Декамероном» Боккаччо и «Морганте» Пульчи; над книгами — женские уборы: мази, духи, зеркала, пуховки, напилки для ногтей, щипцы для подвивания, щипчики для выдергивания волос; еще выше — ноты, лютни, мандолины, карты, шахматы, кегли, мячики — все игры, которыми люди радуют беса; потом — соблазнительные картины, рисунки, портреты красивых женщин; наконец на самом верху пирамиды — лики языческих богов, героев и философов из крашеного воска и дерева. Надо всем возвышалось громадное чучело — изображение дьявола, родоначальника «сует и анафем», начиненное серой и порохом, чудовищно размалеванное, мохнатое, козлоногое, похожее на древнего бога Пана.

Вечерело. Воздух был холоден, звонок и чист. В небе затеплились первые звезды. Толпа на площади шелестела и двигалась с благоговейным шепотом, как в церкви. Раздавались духовные гимны — laudi spirituali — учеников Савонаролы, так называемых «плакс». Рифмы, напев и размер остались прежними, карнавальными; но слова переделаны были на новый лад. Джованни прислушивался, и диким казалось ему противоречие унылого смысла с веселым напевом.

Tre di fede e seu d'amore...
To tre once almen di speme,
Взяв три унции любви,
Веры — три и шесть — надежды,
Две — раскаянья, смешай
И поставь в огонь молитвы;
Три часа держи в огне,
Прибавляй духовной скорби,
Сокрушения, смиренья,
Сколько нужно, для того,
Чтобы вышла мудрость Божья.

Под Кровлею Пизанцев человек в железных очках, с кожаным передником, с ремешком на жидких, прямых, смазанных маслом, косицах волос, с корявыми, мозолистыми руками, проповедовал перед толпою ремесленников, по-видимому, таких же «плакс», как и он.

— Я — Руберто, ни сэр, ни мессер, а попросту портной флорентинский,— говорил он, ударяя себя в грудь кулаком,— объявляю вам, братья мои, что Иисус, король Флоренции, во многих видениях изъяснил мне с точностью новое, угодное Богу, правление и законодательство. Желаете ли вы, чтобы не было ни бедных, ни богатых, ни малых, ни великих,— чтобы все были равны?

— Желаем, желаем! Говори, Руберто, как это сделать?

— Если имеете веру, сделать легко. Раз, два — и готово! Первое,— он загнул большой палец левой руки указательным правой,— подоходный налог, именуемый лестничною десятиною. Второе,— он загнул еще один палец,— всенародный боговдохновенный Парламенто...

Потом остановился, снял очки, протер их, надел, неторопливо откашлялся и однообразным шепелявым голосом, с упрямым и смиренным самодовольством на тупом лице, начал изъяснять, в чем заключается лестничная десятина и боговдохновенный Парламенто.

Джованни слушал, слушал — и тоска взяла его. Он отошел на другой конец площади.

Здесь, в вечерних сумерках, монахи двигались, как тени, занятые последними приготовлениями. К брату Доминико Буонвиччини, главному распорядителю, подошел человек на костылях, еще нестарый, но, должно быть, разбитый параличом, с дрожащими руками и ногами, с неподымавшимися веками; по лицу его пробегала судорога, подобная трепетанию крыльев подстреленной птицы. Он подал монаху большой сверток.

— Что это? — спросил Доминико.— Опять рисунки?

— Анатомия. Я и забыл о них. Да вчера во сне слышу голос: у тебя над мастерскою, Сандро, на чердаке, в сундуках, есть еще «суеты и анафемы»,— встал, пошел и отыскал вот эти рисунки голых тел.

Монах взял сверток и молвил с веселой, почти игривой улыбкой:

— А славный мы огонек запалим, мессер Филипепи!

Тот посмотрел на пирамиду «сует и анафем».

— О, Господи, Господи, помилуй нас, грешных! — вздохнул он.— Если бы не брат Джироламо, так бы и по-

мерли без покаяния, не очистившись. Да и теперь еще кто знает, спасемся ли, успеем ли отмолить?..

Он перекрестился и забормотал молитвы, перебирая четки.

— Кто это? — спросил Джованни стоявшего рядом монаха.

— Сандро Боттичелли, сын дубильщика Мариано Филипепи,— ответил тот.

IX

Когда совсем стемнело, над толпой пронесся шепот: «Идут, идут!»

В молчании, в сумраке, без гимнов, без факелов, в длинных белых одеждах, дети-инквизиторы шли, неся на руках изваяние Младенца Иисуса; одною рукою он указывал на терновый венец на своей голове, другою — благословлял народ. За ними шли монахи, клир, гонфалоньеры, члены Совета Восьмидесяти, каноники, доктора и магистры богословия, рыцари Капитана Барджелло, трубачи и булавоносцы.

На площади сделалось тихо, как перед смертной казнью.

На Рингьеру — каменный помост перед старым Дворцом — взошел Савонарола, высоко поднял Распятие и произнес торжественным громким голосом:

— Во имя Отца и Сына и Духа Святого — зажигайте!

Четыре монаха подошли к пирамиде, с горящими смоляными факелами, и подожгли ее с четырех концов.

Пламя затрещало; повалил сперва серый, потом черный дым. Трубачи затрубили. Монахи грянули: «Тебя Бога хвалим». Дети звонкими голосами подхватили:

«Lumen ad revelationem gentium et gloriam plebis Israel!».

На башне Старого Дворца ударили в колокол, и могучему медному гулу его ответили колокола на всех церквах Флоренции.

Пламя разгоралось все ярче. Нежные, словно живые, листы древних пергаментных книг коробились и тлели. С нижней ступени, где лежали карнавальные маски, взвилась и полетела пылающим клубом накладная борода. Толпа радостно ухнула и загоготала.

Одни молились, другие плакали; иные смеялись, прыгая, махая руками и шапками; иные пророчествовали.

— Пойте, пойте Господу новую песнь! — выкрикивал хромой сапожник с полоумными глазами.— Рухнет все,

братья мои, сгорит, сгорит до тла, как эти суеты и анафемы в огне очистительном,— все, все, все — церковь, законы, правления, власти, искусства, науки,— не останется камня на камне — и будет новое небо, новая земля! И отрет Бог всякую слезу с очей наших, и смерти не будет,— ни плача, ни скорби, ни болезни! Ей, гряди, Господи Иисусе!

Молодая беременная женщина, с худым страдальческим лицом, должно быть, жена бедного ремесленника, упала на колени и, протягивая руки к пламени костра,— как будто видела в нем самого Христа,— надрываясь, всхлипывая, подобно кликуше, вопила:

— Ей, гряди, Господи Иисусе! Аминь! Аминь! Гряди!

X

Джованни смотрел на озаренную, но еще не тронутую пламенем картину; то было создание Леонардо да Винчи.

Над вечерними водами горных озер стояла голая белая Леда; исполинский лебедь крылом охватил ее стан, выгибая длинную шею, наполняя пустынное небо и землю криком торжествующей любви; в ногах ее, среди водяных растений, животных и насекомых, среди прозябающих семян, личинок и зародышей, в теплом сумраке, в душной сырости, копошились новорожденные близнецы — полубоги-полузвери — Кастор и Поллукс, только что вылупившись из разбитой скорлупы огромного яйца. И Леда, вся, до последних сокровенных складок тела, обнаженная, любовалась на детей своих, обнимая шею лебедя с целомудренной и сладострастной улыбкой.

Джованни следил, как пламя подходит к ней все ближе и ближе,— и сердце его замирало от ужаса.

В это время монахи водрузили черный крест посередине площади, потом, взявшись за руки, образовали три круга во славу Троицы и, знаменуя духовное веселие верных о сожжении «сует и анафем», начали пляску, сперва медленно, потом все быстрее, быстрее, наконец, помчались вихрем, с песнею:

Ognun' grida, com'io grido,
Sempre pazzo, pazzo, pazzo! [1]
Пред Господом смиритесь,
Пляшите, не стыдитесь.
Как царь Давид плясал,
Подымем наши ряски,—

[1] Всяк кричи, как я кричу,
Вечно безумный, безумный, безумный! *(итал.)*.

Смотрите, чтоб в пляске
Никто не отставал.
Опьяненные любовью
К истекающему кровью
Сыну Бога на кресте,
Дики, радостны и шумны,—
Мы безумны, мы безумны,
Мы безумны во Христе!

У тех, кто смотрел, голова кружилась, ноги и руки сами собою подергивались — и вдруг, сорвавшись с места, дети, старики, женщины пускались в пляску. Плешивый, угреватый и тощий монах, похожий на старого фавна, сделав неловкий прыжок, поскользнулся, упал и разбил себе голову до крови: едва успели его вытащить из толпы — а то растоптали бы до смерти.

Багровый мерцающий отблеск огня озарял искаженные лица. Громадную тень кидало Распятие — неподвижное средоточие вертящихся кругов.

Мы крестнками машем
И пляшем, пляшем, пляшем,
Как царь Давид плясал.
Несемся друг за другом
Все кругом, кругом, кругом,
Справляя карнавал.
Попирая мудрость века
И гордыню человека,
Мы, как дети, в простоте
Будем Божьими шутами,
Дурачками, дурачками,
Дурачками во Христе!

Пламя, охватывая Леду, лизало красным языком голое белое тело, которое сделалось розовым, точно живым — еще более таинственным и прекрасным.

Джованни смотрел на нее, дрожа и бледнея.

Леда улыбнулась ему последней улыбкой, вспыхнула, растаяла в огне, как облако в лучах зари,— и скрылась навеки.

Громадное чучело беса на вершине костра запылало. Брюхо его, начиненное порохом, лопнуло с оглушительным треском. Огненный столб взвился до небес. Чудовище медленно покачнулось на пламенном троне, поникло, рухнуло и рассыпалось тлеющим жаром углей.

Снова грянули трубы и литавры. Ударили во все колокола. И толпа завыла неистовым, победным воем, как будто сам дьявол погиб в огне священного костра с неправдой, мукой и злом всего мира.

Джованни схватился за голову и хотел бежать. Чья-то рука опустилась на плечо его, и, оглянувшись, он увидел спокойное лицо учителя.

Леонардо взял его за руку и вывел из толпы.

XI

С площади, покрытой клубами смрадного дыма, освещенной заревом потухающего костра, вышли они через темный переулок на берег Арно.

Здесь было тихо и пустынно; только волны журчали. Лунный серп озарял спокойные вершины холмов, посеребренных инеем. Звезды мерцали строгими и нежными лучами.

— Зачем ты ушел от меня, Джованни? — произнес Леонардо.

Ученик поднял взор, хотел что-то сказать, но голос его пресекся, губы дрогнули, и он заплакал.

— Простите, учитель!..

— Ты предо мною ни в чем не виноват,— возразил художник.

— Я сам не знал, что делаю,— продолжал Бельтраффио.— Как мог я, о, Господи, как мог уйти от вас?..

Он хотел было рассказать свое безумие, свою муку, свои страшные двоящиеся мысли о чаше Господней и чаше бесовской, о Христе и Антихристе, но почувствовал опять, как тогда, перед памятником Сфорца, что Леонардо не поймет его,— и только с безнадежною мольбою смотрел в глаза его, ясные, тихие и чуждые, как звезды.

Учитель не расспрашивал его, словно все угадал, и с улыбкой бесконечной жалости, положив ему руку на голову, сказал:

— Господь тебе да поможет, мальчик мой бедный! Ты знаешь, что я всегда любил тебя, как сына. Если хочешь снова быть учеником моим, я приму тебя с радостью.

И как будто про себя, с тою особою загадочною и стыдливою краткостью, с которою обыкновенно выражал свои тайные мысли,— прибавил чуть слышно:

— Чем больше чувства, тем больше муки. Великое мученичество!

Звон колоколов, песни монахов, крики безумной толпы слышались издали — но уже не нарушали безмолвия, которое окружало учителя и ученика.

ВОСЬМАЯ КНИГА

ЗОЛОТОЙ ВЕК

I

В конце тысяча четыреста девяносто шестого года миланская герцогиня Беатриче писала сестре своей Изабелле, супруге маркиза Франческо Гонзаго, повелителя Мантуи:

«Яснейшая мадонна, сестрица наша возлюбленная, я и мой муж, синьор Лодовико, желаем здравствовать вам и знаменитейшему синьору Франческо.

Согласно просьбе вашей, посылаю портрет сына моего Массимильяно. Только, пожалуйста, не думайте, что он такой маленький. Хотели точную мерку снять, дабы послать вашей синьории, но побоялись: няня говорит, что это вредит росту. А растет он удивительно: ежели несколько дней не вижу его, потом, как взгляну, кажется, так вырос, что остаюсь чрезмерно довольной и утешенной.

А у нас большое горе: умер дурачок Наннино. Вы его знали и тоже любили, а потому поймете, что, утратив всякую иную вещь, я надеялась бы заменить ее, но для замены нашего Наннино ничего бы не могла создать сама природа, которая истощила в нем все силы, соединив в одном существе для потехи государей редчайшую глупость с прелестнейшим уродством. Поэт Беллинчони в надгробных стихах говорит, что ежели душа его на небе, то он смешит весь рай, если же в аду, то Цербер «молчит и радуется». Мы похоронили его в нашем склепе в Мария делле Грацие рядом с моим любимым охотничьим ястребом и незабвенною сукою Путтиною, дабы и после смерти нашей не расставаться с такою приятною вещью. Я плакала две ночи, а синьор Лодовико, чтобы утешить меня, обещал мне подарить к Рождеству великолепное серебряное седалище для облегчения желудка, с изображением битвы Кентавров и Лапитов. Внутри сосуд из чистого золота, а балда-

хин из кармазинного бархата с вышитыми герцогскими гербами, и все точь-в-точь, как у великой герцогини Лорренской. Такого седалища нет, говорят, не только ни у одной из итальянских государынь, но даже у самого папы, императора и Великого Турка. Оно прекраснее, чем знаменитое седалище Базада, описанное в эпиграммах Марциала. Мерула сочинил гекзаметры, которые начинаются так:

Quis cameram hanc supero dignam esse tonate Principe.
Трон сей достоин всевышнего, в небе гремящего бога.

Синьор Лодовико хотел, чтобы флорентинский художник Леонардо да Винчи устроил в этом седалище машину с музыкой наподобие маленького органа, но Леонардо отказался под тем предлогом, что слишком занят Колоссом и Тайной Вечерей.

Вы просите, милая сестрица, чтобы я прислала вам на время этого мастера. С удовольствием исполнила бы вашу просьбу и отослала бы его вам навсегда, не только на время. Но синьор Лодовико, не знаю почему, благоволит к нему чрезмерно и ни за что не желает расстаться с ним. Впрочем, не особенно жалейте о нем, ибо сей Леонардо предан алхимии, магии, механике и тому подобным бредням гораздо более, чем живописи, и отличается такой медленностью в исполнении заказов, что ангела может вывести из терпения. К тому же, как я слышала, он еретик и безбожник.

Недавно мы охотились на волков. Ездить верхом не позволяют мне, так как я уже пятый месяц беременна. Я смотрела на охоту, стоя на высоких запятках повозки, нарочно для меня устроенных, похожих на церковную кафедру. Впрочем, это была не забава, а мука: когда волк в лес убежал, я чуть не плакала. О, будь я сама на лошади, не упустила бы — шею сломала бы, а догнала бы зверя!

Помните, сестрица, как мы с вами скакали? Еще донзелла Пентезилая в ров упала, чуть себе голову до смерти не расшибла. А охота на вепрей в Куснаго, а мячик, а рыбная ловля... То-то было славное время!

Теперь утешаемся, как можем. В карты играем. Катаемся на коньках. Этому занятию выучил нас молодой вельможа из Фландрии. Зима стоит лютая: не только все пруды, даже реки замерзли. На катке дворцового парка Леонардо вылепил прекраснейшую Леду с лебедем из снега, белого и твердого как мрамор. Жаль, что растает весной.

Ну, а как поживаете вы, любезная сестрица? Удалась ли порода кошек с длинною шерстью? Если будет котенок

рыжий с голубыми глазами, пришлите вместе с обещанною арапкою. А я вам щенят подарю от Шелковинки.

Не забудьте, пожалуйста, не забудьте, мадонна, прислать выкройку голубой атласной душегрейки, что с косым воротом на собольей опушке. Я просила о ней в прошлом письме. Отправьте как можно скорее, лучше всего завтра же на заре с верховым.

Пришлите также склянку вашего превосходного умывания от прыщиков и заморского дерева для полировки ногтей.

Что — памятник Вергилия, сего сладкозвучного лебедя Мантуанских озер? Ежели бронзы не хватит, мы вам пришлем две старые бомбарды из отличной меди.

Астрологи наши предсказывают войну и жаркое лето: собаки будут беситься, а государи гневаться. Что говорит ваш астролог? Чужому всегда больше веришь, чем своему.

Посылаю для славнейшего супруга вашего, синьора Франческо, рецепт от французской болезни, составленный нашим придворным врачом Луиджи Марлиани. Говорят, помогает. Ртутные втирания должно делать поутру, натощак, в нечетные дни месяца, после новолуния. Я слышала, что приключается сия болезнь ни от чего другого, как от зловредного соединения некоторых планет, особливо Меркурия с Венерою.

Я и синьор Лодовико поручаем себя милостивому вниманию вашему, возлюбленная сестрица, и вашего супруга, знаменитейшего маркиза Франческо.

Беатриче Сфорца».

II

Несмотря на видимое простодушие, в этом послании было притворство и политика. Герцогиня скрывала от сестры свои домашние заботы. Мира и согласия, которые можно было предположить, судя по письму, не было между супругами. Леонардо ненавидела она не за ересь и безбожие, а за то, что некогда, по заказу герцога, написал он портрет Чечилии Бергамини, ее злейшей соперницы, знаменитой наложницы Моро. В последнее время подозревала еще другую любовную связь мужа — с одной из ее придворных дамиджелл — мадонною Лукрецией.

В те дни герцог Миланский достиг высоты могущества. Сын Франческо Сфорца, отважного романьольского наемника, полусолдата, полуразбойника, мечтал он сделаться самодержавным владыкой объединенной Италии.

«Папа — мой духовник, император — мой полководец, город Венеция — мой казначей, король французский — мой гонец»,— хвастал Моро.

«Ludovicus Maria Sfortia, Anglus dux Mediolani» [1] — подписывался он, производя свой род от славного героя Энеева спутника, Англа Троянского. Колосс, изваянный Леонардо, памятник отца его, с надписью: *Esse Deus! Се Бог!* — свидетельствовал также о божественном величии Сфорца.

Но, вопреки наружному благополучию, тайная тревога и страх мучили герцога. Он знал, что народ не любит его и считает похитителем престола. Однажды, на площади Аренго, увидев издали вдову покойного герцога Джан-Галеаццо с ее первенцем Франческо, толпа закричала: «Да здравствует законный герцог Франческо!»

Ему было восемь лет. Он отличался умом и красотою. По словам венецианского посла Марино Савуто, «народ желал его себе в государи, как Бога».

Беатриче и Моро видели, что смерть Джан-Галеаццо обманула их — не сделала законными государями. И в этом ребенке вставала из гроба тень умершего герцога.

В Милане говорили о таинственных предзнаменованиях. Рассказывали, будто бы ночью над башнями замка являются огни, подобные зареву пожара, и в покоях дворца раздаются страшные стоны. Вспоминали, как у Джан-Галеаццо, когда он лежал в гробу, левый глаз не закрывался, что предвещало скорую кончину одного из его ближайших родственников. У мадонны дель Альбере трепетали веки. Корова, принадлежавшая одной старушке за Тичинскими воротами, отелилась двухголовым теленком. Герцогиня упала в обморок в пустынной зале Рокетты, испуганная привидением, и потом не хотела об этом говорить ни с кем, даже с мужем.

С некоторых пор почти совершенно утратила она шаловливую резвость, которая так нравилась в ней герцогу, и с недобрыми предчувствиями ожидала родов.

III

Однажды, декабрьским вечером, когда снежные хлопья устилали улицы города, углубляя безмолвие сумерек, Моро сидел в маленьком палаццо, который подарил своей новой любовнице, мадонне Лукреции Кривелли.

---

[1] Лодовико-Мария Сфорца, Англ, герцог Миланский (*лат.*).

Огонь пылал в очаге, озаряя створы лакированных дверей с мозаичным набором, изображавшим перспективы древних римских зданий,— лепной решетчатый переплет потолка, украшенный золотом, стены, покрытые кордуанскими кожаными златотиснеными обоями, высокие кресла и рундуки из черного дерева, круглый стол с темнозеленою бархатною скатертью, с открытым романом Боярдо, свитками нот, перламутровою мандолиною и граненым кувшином Бальнеа Апонитана — целебной воды, входившей в моду у знатных дам. На стене висел портрет Лукреции, кисти Леонардо.

Над камином в глиняных изваяниях Карадоссо порхающие птицы клевали виноград, и крылатые голые дети — не то христианские ангелы, не то языческие амуры — плясали, играя святейшими орудиями страстей Господних — гвоздями, копьем, тростью, губкою и терниями; они казались живыми в розовом отблеске пламени.

Вьюга выла в трубе очага. Но в изящном рабочем покое — студиоло все дышало уютною негою.

Мадонна Лукреция сидела на бархатной подушке у ног Моро. Лицо ее было печально. Он ласково пенял ей за то, что она давно не посещает герцогини Беатриче.

— Ваша светлость,— молвила девушка, потупив глаза,— умоляю вас, не принуждайте меня: я не умею лгать...

— Помилуй, да разве это значит лгать? — удивился Моро.— Мы только скрываем. Не хранил ли сам Громовержец любовных тайн своих от ревнивой супруги? А Тезей, а Федра и Медея — все герои, все боги древности? Можем ли мы, слабые смертные, противиться власти бога любви? К тому же тайное зло не лучше ли явного? Ибо, скрывая грех, мы избавляем ближних от соблазна, как того требует христианское милосердие. А если нет соблазна и есть милосердие, то нет зла, или почти нет...

Он усмехнулся своей хитрой усмешкой. Лукреция покачала головой и посмотрела ему прямо в глаза, немного исподлобья — строгими, важными, как у детей, и невинными глазами.

— Вы знаете, государь, как я счастлива вашей любовью. Но мне иногда хотелось бы лучше умереть, чем обманывать мадонну Беатриче, которая любит меня, как родную...

— Полно, полно, дитя мое! — молвил герцог и привлек ее к себе на колени, одной рукой обвив ее стан, другой лаская черные блестящие волосы с гладкими начесами на уши, с нитью фероньеры, на которой посередине лба блестела алмазная искра. Опустив длинные, пушистые ресни-

цы — без упоения, без страсти, вся холодная и чистая — отдавалась она его ласкам.

— О, если бы ты знала, как я люблю тебя, мою тихую, смиренную — тебя одну! — шептал он, с жадностью вдыхая знакомый аромат фиалок и мускуса.

Дверь открылась, и, прежде чем герцог успел выпустить девушку из объятий, в комнату вбежала испуганная служанка.

— Мадонна, мадонна,— бормотала она, задыхаясь,— там, внизу, у ворот... о, Господи, помилуй нас, грешных...

— Да ну же, говори толком,— произнес герцог,— кто у ворот?

— Герцогиня Беатриче!

Моро побледнел.

— Ключ! Ключ от других дверей! Я задним ходом через двор. Да где же ключ? Скорее!..

— Кавальеры яснейшей мадонны стоят и у заднего хода! — в отчаянии всплеснула руками служанка.— Весь дом окружен...

— Западня! — произнес герцог, хватаясь за голову.— И откуда она узнала? Кто мог ей сказать?

— Никто, как мона Сидония! — подхватила служанка.— Недаром проклятая ведьма шляется к нам со своими снадобьями и притираниями. Говорила я вам, синьора, берегитесь...

— Что делать, Боже мой, что делать? — лепетал герцог, бледнея.

С улицы слышался громкий стук в наружные двери дома. Служанка бросилась на лестницу.

— Спрячь, спрячь меня, Лукреция!

— Ваша светлость,— возразила девушка,— мадонна Беатриче, если подозревает, велит весь дом обыскать. Не лучше ли вам прямо выйти к ней?

— Нет, нет, Боже сохрани, что ты говоришь, Лукреция! Выйти к ней! Ты не знаешь, что это за женщина! О, Господи, страшно подумать, что из всего этого может произойти... Ведь она беременна!.. Да спрячь же меня, спрячь!..

— Право, не знаю куда...

— Все равно, куда хочешь, только поскорее!

Герцог дрожал и в это мгновение похож был скорее на пойманного вора, чем на потомка баснословного героя, Англа Троянского, Энеева спутника.

Лукреция провела его через спальню в уборную и спрятала в один из тех больших, вделанных в стену шкапов,

белых, с тонкими, золотыми узорами в древнем вкусе, которые служили «гвардаробами» — одеждохранилищами знатных дам.

Он притаился в углу между платьями.

— Как глупо! — думал.— Боже мой, как глупо! Точно в смешных побасенках Франко Сакетти или Боккаччо.

Но ему было не до смеха. Он вынул из-за пазухи маленькую ладанку, с мощами св. Христофора, и другую, точно такую же, с модным в те времена талисманом — кусочком египетской мумии. Ладанки были так похожи, что в темноте и второпях не мог он отличить одну от другой и, на всякий случай, стал целовать обе вместе, крестясь и творя молитву.

Вдруг, услышав голоса жены и любовницы, входивших в уборную, похолодел от ужаса. Они беседовали дружески, как ни в чем не бывало. Он догадался, что Лукреция показывает герцогине свой новый дом по ее настоянию. Должно быть, Беатриче не имела явных улик и не хотела обнаружить подозрений.

То был поединок женской хитрости.

— Здесь тоже платья? — спросила Беатриче равнодушным голосом, подходя к шкапу, в котором стоял Моро ни жив, ни мертв.

— Домашние, старые. Угодно взглянуть вашей светлости? — молвила Лукреция.

И приотворила дверцы.

— Послушайте, душечка,— продолжала герцогиня,— а где же то, которое, помните, мне так понравилось? Вы были в нем у Паллавичини на летнем балу. Все такие червячки, червячки, знаете — золотые по темно-синему морелло — блестят, как ночью светлячки.

— Не помню что-то,— произнесла Лукреция спокойно.— Ах, да, да, здесь,— спохватилась она,— должно быть, вот в этом шкапу.

И, не притворив дверец шкапа, в котором находился Моро, отошла с герцогиней к соседней гвардаробе.

— А еще говорила, что лгать не умеет! — подумал он с восхищением.— Какое присутствие духа! Женщины — вот у кого бы нам, государям, поучиться политике!

Беатриче и Лукреция удалились из уборной.

Моро вздохнул свободнее, хотя все еще судорожно сжимал в руке обе ладанки — с мощами и мумией.

— Двести имперских дукатов в обитель Марии делле Грацие, Пречистой Заступнице — на елей и на свечи, сже-

ли обойдется благополучно! — шептал он с пламенною верою.

Прибежала служанка, открыла шкап, с почтительно лукавым видом выпустила герцога и объявила, что опасность миновала — светлейшая герцогиня изволила уехать, милостиво простившись с мадонною Лукрецией.

Он перекрестился набожно, вернулся в студиоло, выпил для подкрепления стакан воды Бальнеа Апонитана, взглянул на Лукрецию, которая сидела, как прежде, у камина, опустив голову, закрыв лицо руками, — и улыбнулся.

Потом тихими, лисьими шагами подкрался к ней сзади, наклонился и обнял.

Девушка вздрогнула.

— Оставьте меня, оставьте, уйдите! О, как вы можете после того, что было!..

Но герцог, не слушая, молча покрывал лицо ее, шею, волосы жадными поцелуями. Никогда еще не казалась она ему такой прекрасной: как будто женская ложь, которую он только что видел в ней, окружила ее новою прелестью.

Она боролась, но слабела и, наконец, закрыв глаза, с беспомощной улыбкой, медленно отдала ему свои губы.

Декабрьская вьюга выла в трубе очага, между тем как в розовом отблеске пламени вереница смеющихся голых детей под виноградной кущей Вакха плясала, играя святейшими орудиями Страстей Господних.

IV

В первый день нового тысяча четыреста девяносто седьмого года назначен был в замке бал.

Три месяца длились приготовления, в которых участвовали Браманте, Карадоссо, Леонардо да Винчи.

К пяти часам после полудня гости начали съезжаться во дворец. Приглашенных было более двух тысяч.

Метель занесла все дороги и улицы. На мрачном небе белели под снежными сугробами зубчатые стены, бойницы, каменные выступы для пушечных жерл. На дворе, у пылающих костров, грелись, весело гутоpя, конюхи, скороходы, стремянные, вершники и носильщики паланкинов. У входа в Палаццо Дукале и далее, у железных опускных ворот во внутренний двор маленького замка Рокетты, раззолоченные, неуклюжие повозки, рыдваны и колымаги, запряженные цугом, теснились, высаживая синьор и кавалеров, закутанных в драгоценные московские меха. Обледенелые окна сияли праздничными огнями.

Вступая в прихожую, гости следовали между двумя длинными рядами герцогских телохранителей — турецких мамелюков, греческих страдиотов, шотландских арбалетчиков и швейцарских ландскнехтов, закованных в латы с тяжелыми алебардами. Впереди стояли стройные пажи, миловидные, как девушки, в одинаковых, отороченных лебяжьим пухом, двуцветных ливреях: правая половина — розового бархата, левая — голубого атласа, с вытканными на груди серебряными геральдическими знаками дома Сфорца Висконти; одежда прилегала к телу так плотно, что обозначала все его изгибы, и только спереди из-под пояса выступала короткими, тесными, трубчатыми складками. В руках держали они зажженные свечи, длинные, наподобие церковных, из красного и желтого воска.

Когда гость входил в приемную, герольд с двумя трубачами выкликал имя.

Открывался ряд громадных ослепительно освещенных зал: «зала белых голубок по красному полю», «зала золотая» — с изображением герцогской охоты, «червчатая» — вся сверху донизу обтянутая атласом, с вышитыми золотом пламенеющими головнями и ведрами, обозначавшими самодержавную власть миланских герцогов, которые, по своему желанию, могут раздувать огонь войны и гасить его водою мира. В изящной маленькой «черной зале», построенной Браманте, служившей дамскою уборной, на сводах и стенах виднелись неоконченные фрески Леонардо.

Нарядная толпа гудела, подобно пчелиному рою. Одежды отличались многоцветною яркостью и безмерною, нередко безвкусною роскошью. В этой пестроте, в неуважительном к обычаям предков, порою шутовском и уродливом смешении разноязычных мод один сатирик видел «предзнаменование нашествия иноплеменных — грядущего рабства Италии».

Ткани женских платьев, с прямыми, тяжелыми складками, не гнущимися, вследствие обилия золота и драгоценных камней, напоминали церковные ризы и были столь прочны, что передавались по наследству от прабабушек правнучкам. Глубокие вырезы обнажали плечи и грудь. Волосы, покрытые спереди золотою сеткою, заплетались, по ломбардскому обычаю, у замужних, так же как у девушек, в тугую косу, удлиненную до пола искусственными волосами и лентами. Мода требовала, чтобы брови были едва очерчены: женщины, обладавшие густыми бровями, выщипывали их особыми стальными щипчиками. Обходиться без румян и белил считалось непристойностью. Ду-

хи употреблялись крепкие, тяжелые — мускус, амбра, виверра, кипрский порошок с пронзительным одуряющим запахом.

В толпе попадались молодые девушки и женщины с особенною прелестью, которая нигде не встречается, кроме Ломбардии, — с теми воздушными тенями, тающими, как дым, на бледной матовой коже, на нежных, мягких округлостях лица, которые любил изображать Леонардо да Винчи.

Мадонну Виоланту Борромео, черноокую, чернокудрую, с понятною для всех побеждающею красотою, называли царицей бала. Мотыльки, обжигающие крылья о пламя свечи — предостережение влюбленным, — вытканы были золотом по темно-пунцовому бархату ее платья.

Но не мадонна Виоланта привлекала внимание избранных, а дондзелла Диана Паллавичини, с глазами холодными и прозрачными, как лед, волосами серыми, как пепел, с равнодушною улыбкой и говором медлительным, как звук виолы. Ее облекала простая одежда из белой струистой камки с длинными шелковыми лентами, тускло-зелеными, как водоросли. Окруженная блеском и шумом, казалась она чуждой всему, одинокою и печальною, как бледные водяные цветы, которые спят под луной в заглохших прудах.

Грянули трубы, литавры, — и гости направились в большую «залу для игры в мяч», находившуюся в Рокетте. Под голубым, усеянным золотыми звездами, сводом крестообразные перекладины с восковыми свечами горели огненными гроздьями. С балкона, служившего хорами, свешивались шелковые ковры с гирляндами лавров, плюща и можжевельника.

В час, минуту и секунду, назначенные астрологами, — ибо герцог шагу не делал, по выражению одного посла, рубашки не переменял, жены не целовал, не сообразуясь с положением звезд, — в залу вошли Моро и Беатриче, в царственных мантиях из золотой парчи, подбитых горностаем, с длинными шлейфами, которые несли бароны, камерьеры, спендиторы и чамбелланы. На груди герцога в пряжке сиял рубин неимоверной величины, похищенный им у Джан-Галеаццо.

Беатриче похудела и подурнела. Странно было видеть живот беременной женщины у этой девочки, казавшейся почти ребенком, — с плоскою грудью и резкими мальчишескими движениями.

Моро подал знак. Главный сенешаль поднял жезл, на хорах заиграла музыка — и гости стали садиться за пиршественные столы.

V

Произошло замешательство. Посол великого князя московского, Данило Мамыров, не пожелал сесть ниже посла Яснейшей республики Сан-Марко. Мамырова стали уговаривать. Но упрямый старик, никого не слушая, стоял на своем: «не сяду — зазорно мне сие!»

Любопытные и насмешливые взгляды обращались на него отовсюду.

— Что такое? Опять с московитами неприятности? Дикий народ! Лезут на первые места — знать ничего не хотят. Никуда их приглашать нельзя. Варвары! А язык-то — слышите? — совсем турецкий. Зверское племя!..

Юркий и вертлявый мантуанец Бокалино, толмач, подскочил к Мамырову:

— Мессер Даниеле, мессер Даниеле,— залепетал он на ломаном русском языке, с подобострастными ужимками и поклонами,— не можно, не можно! Сесть надо. Обычай в Милане. Спорить не хорошо. Дука сердится.

Подошел к старику и молодой спутник его, Никита Карачаров, тоже дьяк посольского приказа.

— Данило Кузьмич, батюшка, не изволь серчать! В чужой монастырь со своим уставом не ходят. Люди иноземные, обычаев наших не ведают. Долго ли до греха? Еще выведут! Сраму наживем...

— Молчи, Никита, молчи! Млад ты учить меня, старика. Знаю, что делаю. Не быть тому вовеки! Не сяду ниже посла венецейского. Сие для чести нашей посольской поруха великая. Сказано: всякий посол лицо носит и речи говорит государя своего. А наш государь православный, самодержавный, всея Руси...

— Мессер Даниеле, о, мессер Даниеле! — егозил толмач Бокалино.

— Отстань! Чего латошишь, обезьянья твоя рожа басурманская? Сказано, не сяду — и не сяду!

Под нахмуренными бровями маленькие медвежьи глазки Мамырова сверкали гневом, гордостью и непобедимым упрямством. Усыпанный изумрудами набалдашник посоха дрожал в крепко сжатых пальцах. Видно было, что никакие силы не принудят его уступить.

Моро подозвал к себе посла Венеции, с обаятельною любезностью, на которую был мастер, извинился, обещал ему свое благоволение и попросил, как о личном для себя одолжении, пересесть на другое место, во избежание спо-

ров и пререканий, уверяя, что нелепому честолюбию этих варваров никто не придает значения. На самом деле, герцог весьма дорожил милостью «великого герцога Розийского» — «gran duca di Rosia», надеясь при помощи его заключить выгодный договор с турецким султаном.

Венецианец, взглянув на Мамырова с тонкой усмешкой и презрительно пожав плечами, заметил, что его высочество прав — подобные споры о местах недостойны людей, просвещенных светом «человечности» — humanità,— и сел на указанное место.

Данило́ Кузьмич не понял речи соперника. Но, если бы и понял, не смутился бы и продолжал считать правым себя, ибо знал, что десять лет назад, в 1487 году, на торжественном выходе папы Иннокентия VIII, московские послы Димитрий и Мануил Ралевы, на ступенях апостольского трона, заняли места, наиболее почетные после римских сенаторов, представителей древнего миродержавного города. Недаром, в послании бывшего киевского митрополита Саввы Спиридона, великий князь московский уже объявлен был единственным наследником двуглавого орла Византии, объединившего под сенью крыл своих Восток и Запад, так как Господь Вседержитель,— сказано было в послании,— низвергнув за ереси оба Рима, ветхий и новый, воздвиг третий, таинственный Град, дабы излить на него всю славу, всю силу и благодать Свою, третий полуночный Рим — православную Москву,— а четвертого Рима не будет вовеки.

Не обращая внимания на враждебные взоры, самодовольно поглаживая длинную седую бороду, поправляя пояс на толстом животе и соболью шубу пунцового бархата, грузно и важно кряхтя, опустился Данило Кузьмич на отвоеванное место. Чувство темное и пьяное, как хмель, наполняло ему душу.

Никита вместе с толмачом Бокалино сели на нижнем конце стола, рядом с Леонардо да Винчи.

Хвастливый мантуанец рассказывал о чудесах, виденных им в Московии, смешивая быль с небылицею. Художник, надеясь получить более точные сведения от самого Карачарова, обратился к нему через переводчика и стал расспрашивать о далекой стране, которая возбуждала любопытство Леонардо, как все безмерное и загадочное,— о ее бесконечных равнинах, лютых морозах, могучих реках и лесах, о приливе в Гиперборейском океане и Гирканийском море, о Северном сиянии, так же как о друзьях своих, поселившихся в Москве: ломбардском художнике

Пьетро Антонио Солари, который участвовал в постройке Грановитой Палаты, и зодчем Аристотеле Фиоравенти из Болоньи, украсившем площадь Кремля великолепными зданиями.

— Мессере,— обратилась к толмачу сидевшая рядом бойкая, любопытная и плутоватая дондзелла Эрмеллина,— я слышала, будто бы эту удивительную страну потому называют Розия, что там растет много роз. Правда ли это?

Бокалино рассмеялся и уверил дондзеллу, что это вздор, что в Розии, несмотря на ее имя, меньше роз, чем в какой-либо иной стране, и в доказательство привел итальянскую новеллу о русском холоде.

Некоторые купцы из города Флоренции приехали в Польшу. Далее в Розию не пустили их, потому что в это время польский король вел войну с великим герцогом Московии. Флорентинцы, желая купить соболей, пригласили русских купцов на берег Борисфена, отделяющего обе страны. Опасаясь быть взятыми в плен, московиты стали на одном берегу, итальянцы на другом, и начали громко перекликаться через реку, торгуясь. Но стужа была так сильна, что слова, не достигая противоположного берега, замерзали в воздухе. Тогда находчивые ляхи разложили большой костер посредине реки, в том месте, куда по расчету слова доходили еще не замерзшими. Лед, твердый, как мрамор, мог выдержать какое угодно пламя. И вот, когда зажгли огонь, слова, в продолжение целого часа остававшиеся в воздухе неподвижными, обледенелыми, начали таять, струиться с тихим журчанием, подобно вешней капле, и, наконец, были услышаны флорентинцами явственно, несмотря на то, что московиты давно удалились с противоположного берега.

Рассказ всем пришелся по вкусу. Взоры дам, полные сострадательного любопытства, обратились на Никиту Карачарова, обитателя столь злополучной, Богом проклятой земли.

В это время сам Никита, остолбенев от удивления, смотрел на невиданное зрелище — громадное блюдо с голою Андромедою, из нежных каплуньих грудинок, прикованною к скале из творожного сыру, и освободителем ее, крылатым Персеем, из телятины.

Во время мясной части пира все было червленое, золотое, во время рыбной — стало серебряным, соответственно водной стихии. Подали посеребренные хлебы, посеребренные салатные лимоны в чашках, и, наконец, на блюде

между гигантскими осетрами, миногами и стерлядями появилась Амфитрита из белого мяса угрей в перламутровой колеснице, влекомой дельфинами над голубовато-зеленым, как морские волны, трепетным студнем, изнутри освещенным огнями.

Затем потянулись нескончаемые сладости — изваяния из марципанов, фисташек, кедровых орехов, миндаля и жженого сахару, исполненные по рисункам Браманте, Карадоссо и Леонардо,— Геркулес, добывающий золотые яблоки Гесперид, басня Ипполита с Федрою, Вакха с Ариадною, Юпитера с Данаею — весь Олимп воскресших богов.

Никита с детским любопытством глядел на эти чудеса, между тем как Данило Кузьмич, теряя охоту к еде при виде голых бесстыдных богинь,— ворчал себе под нос:

— Антихристова мерзость! Погань языческая!

VI

Начался бал. Тогдашние пляски — Венера и Завр, Жестокая Участь, Купидон — отличались медлительностью, так как платья дам, длинные и тяжелые, не позволяли быстрых движений. Дамы и кавалеры сходились, расходились, с неторопливою важностью, с жеманными поклонами, томными вздохами и сладкими улыбками. Женщины должны были выступать, как павы, плыть, как лебедки. И музыка была тихая, нежная, почти унылая, полная страстным томлением, как песни Петрарки.

Главный полководец Моро, молодой синьор Галеаццо Сансеварино, изысканный щеголь, весь в белом, с откидными рукавами на розовой подкладке, с алмазами на белых туфлях, с красивым, вялым, испитым и женоподобным лицом, очаровывал дам. Одобрительный шепот пробегал в толпе, когда во время танца Жестокая Участь, роняя, как будто нечаянно, на самом деле нарочно, туфлю с ноги или накидку с плеча, продолжал он скользить и кружиться по зале с той «скучающею небрежностью», которая считалась признаком высшего изящества.

Данило Мамыров смотрел, смотрел на него и плюнул:

— Ах, ты шут гороховый!

Герцогиня любила танцы. Но в тот вечер на сердце у нее было тяжело и смутно. Лишь давняя привычка к лицемерию помогала ей разыгрывать роль гостеприимной хозяйки — отвечать на поздравления с новым годом, на приторные любезности вельмож. Порою казалось ей, что она не вынесет — убежит или заплачет.

Не находя себе места, блуждая по многолюдным залам, зашла она в маленький дальний покой, где у весело пылавшего камина разговаривали в тесном кружке молодые дамы и синьоры.

Спросила, о чем они беседуют.

— О платонической любви, ваша светлость,— отвечала одна из дам.— Мессер Антонниотто Фрегозо доказывает, что женщина может целовать в губы мужчину, не нарушая целомудрия, если он любит ее небесною любовью.

— Как же вы это доказываете, мессер Антонниотто? — молвила герцогиня, рассеянно щуря глаза.

— С позволения вашей светлости я утверждаю, что уста — орудие речи — служат вратами души, и когда они соединяются в лобзании платоническом, души любовников устремляются к устам, как бы к естественному выходу своему. Вот почему Платон не возбраняет поцелуя, а царь Соломон в «Песни Песней», прообразуя таинственное слияние души человеческой с Богом, говорит: лобзай меня лобзанием уст твоих.

— Извините, мессере,— перебил его один из слушателей, старый барон, сельский рыцарь с честным и грубым лицом,— может быть, я этих тонкостей не разумею, но неужели полагаете вы, что муж, застав жену свою в объятиях любовника, должен терпеть?..

— Конечно,— возразил придворный философ,— сообразно с мудростью духовной любви...

— А как же брак?..

— Ах, Боже мой! Да мы о любви говорим, а не о браке! — перебила хорошенькая мадонна Фиордализа, нетерпеливо пожимая ослепительными голыми плечами.

— Но ведь и брак, мадонна, по всем законам человеческим...— начал было рыцарь.

— Законы! — презрительно сморщила Фиордализа свои алые губки.— Как можете вы, мессере, в такой возвышенной беседе упоминать о законах человеческих — жалких созданиях черни, превращающих святые имена любовника и возлюбленной в столь грубые слова, как муж и жена?

Барон только руками развел.

А мессер Фрегозо, не обращая на него внимания, продолжал свою речь о тайнах небесной любви.

Беатриче знала, что при дворе в большой моде непристойнейший сонет этого самого мессера Антонниотто Фрегозо, посвященный красивому отроку и начинавшийся так:

Ошибся царь богов, похитив Ганимеда...

Герцогине сделалось скучно.

Она потихоньку удалилась и перешла в соседнюю залу.

Здесь читал стихи приезжий из Рима знаменитый стихотворец Серафино д'Аквила, по прозвищу Единственный — Unico, маленький, худенький, тщательно вымытый, выбритый, завитой и надушенный человечек с розовым младенческим личиком, томной улыбкой, скверными зубами и маслеными глазками, в которых сквозь вечную слезу восторга мелькала порой плутоватая хитрость.

Увидев среди дам, окружавших поэта, Лукрецию, Беатриче смутилась, чуть-чуть побледнела, но тотчас оправилась, подошла к ней с обычною ласкою и поцеловала.

В это время появилась в дверях полная, пестро одетая, сильно нарумяненная, уже не молодая и некрасивая дама, державшая платок у носа.

— Что это, мадонна Диониджа? Не ушиблись ли вы? — спросила ее дондзелла Эрмеллина с лукавым участием.

Диониджа объяснила, что во время танцев, должно быть от жары и усталости, кровь пошла у нее из носу.

— Вот случай, на который даже мессер Унико едва ли сумел бы сочинить любовные стихи,— заметил один из придворных.

Унико вскочил, выставил одну ногу вперед, задумчиво провел рукой по волосам, закинул голову и поднял глаза к потолку.

— Тише, тише,— благоговейно зашушукали дамы,— мессер Унико сочиняет! Ваше высочество, пожалуйте сюда, здесь лучше слышно.

Дондзелла Эрмеллина, взяв лютню, потихоньку перебирала струны, и под эти звуки поэт торжественно глухим, замирающим голосом чревовещателя проговорил сонет.

Амур, тронутый мольбами влюбленного, направил стрелу в сердце жестокой; но, так как на глазах бога повязка,— промахнулся; и вместо сердца —

Стрела пронзила носик нежный —
И вот в платочек белоснежный
Росою алой льется кровь.

Дамы захлопали в ладоши.

— Прелестно, прелестно, неподражаемо! Какая быстрота! Какая легкость! О, это не чета нашему Беллинчони, который целыми днями потеет над каждым сонетом. Ах, душечка, верите ли, когда он поднял глаза к небу, я почувствовала — точно ветер на лице, что-то сверхъестественное — даже страшно стало...

— Мессер Унико, не хотите ли рейнского? — суетилась одна.

— Мессер Унико, прохладительные лепешечки с мятой,— предлагала другая.

Его усаживали в кресло, обмахивали веерами.

Он млел, таял и жмурил глаза, как сытый кот.

Потом прочел другой сонет в честь герцогини, в котором говорилось, что снег, пристыженный белизной ее кожи, задумал коварную месть, превратился в лед, и потому-то недавно, выйдя прогуляться во двор замка, она поскользнулась и едва не упала.

Прочел также стихи, посвященные красавице, у которой не хватало переднего зуба: то была хитрость Амура, который, обитая во рту ее, пользуется этой щелкою, как бойницею, чтобы метать свои стрелы.

— Гений! — взвизгнула одна из дам.— Имя Унико в потомстве будет рядом с именем Данте!

— Выше Данте! — подхватила другая.— Разве можно у Данте научиться таким любовным тонкостям, как у нашего Унико?

— Мадонны,— возразил поэт со скромностью,— вы преувеличиваете. Есть и у Данте большие достоинства. Впрочем, каждому свое. Что касается меня, то за ваши рукоплескания я отдал бы свою славу Данте.

— Унико! Унико! — вздыхали поклонницы, изнемогая от восторга.

Когда Серафино начал новый сонет, где описывалось, как, во время пожара в доме его возлюбленной, не могли потушить огонь, потому что сбежавшиеся люди должны были заливать водою пламя собственных сердец, зажженное взорами красавицы,— Беатриче, наконец, не вытерпела и ушла.

Она вернулась в главные залы, велела своему пажу Ричардетто, преданному и даже, как порой казалось ей, влюбленному в нее мальчику, идти наверх, ожидать с факелом у дверей спальни, и, поспешно пройдя несколько ярко освещенных многолюдных комнат, вступила в пустынную, отдаленную галерею, где только стражи дремали, склонившись на копья; — отперла железную дверцу, поднялась по темной витой лестнице в громадный сводчатый зал, служивший герцогскою спальнею, находившейся в четырехугольной северной башне замка; подошла со свечою к небольшому, вделанному в толщу каменной стены, дубовому ларцу, где хранились важные бумаги и тайные письма герцога, вложила ключ, украденный у мужа,

в замочную скважину, хотела повернуть, но почувствовала, что замок сломан, распахнула медные створы, увидела пустые полки и догадалась, что Моро, заметив пропажу ключа, спрятал письма в другое место.

Остановилась в недоумении.

За окнами веяли снежные хлопья, как белые призраки. Ветер шумел — то выл, то плакал. И древнее, страшное, вечное, знакомое сердцу напоминали эти голоса ночного ветра.

Взоры герцогини упали на чугунную заслонку, закрывавшую круглое отверстие Дионисиева уха — слуховой трубы, проведенной Леонардо в герцогскую спальню из нижних покоев дворца. Она подошла к отверстию и, сняв с него тяжелую крышку, прислушалась: волны звуков долетели до нее, подобные шуму далекого моря, который слышится в раковинах; с говором, с шелестом праздничной толпы, с нежными вздохами музыки сливался вой и свист ночного ветра.

Вдруг почудилось ей, что не там, внизу, а над самым ухом ее кто-то прошептал:

«Беллинчони... Беллинчони»...

Она вскрикнула и побледнела.

«Беллинчони!.. Как же я сама не догадалась? Да, да конечно! Вот от кого я узнаю все... К нему! Только как бы не заметили?.. Будут искать... Все равно! Я хочу знать, я больше не могу терпеть этой лжи!»

Она вспомнила, что Беллинчони, отговорившись болезнью, не приехал на бал, сообразила, что в этот час он почти наверное дома, один, и кликнула пажа Ричардетто, который стоял у дверей.

— Вели двум скороходам с носилками ждать меня внизу, в парке, у потайных ворот замка. Только смотри, если хочешь угодить мне, чтобы никто об этом не знал — слышишь? — никто!

Дала ему поцеловать свою руку. Мальчик бросился исполнять приказание.

Беатриче вернулась в опочивальню, накинула на плечи шубу, надела черную шелковую маску и через несколько минут уже сидела в носилках, направлявшихся к Тичинским воротам, где жил Беллинчони.

VII

Поэт называл свой ветхий, полуразвалившийся домик «лягушечьей норою». Он получал довольно много подарков, но вел беспутную жизнь, пропивал или проигрывал

все, что имел, и потому бедность, по собственному выражению Бернардо, преследовала его, «как нелюбимая, но верная жена».

Лежа на сломанной трехногой кровати, с поленом вместо четвертой ноги, с дырявым и тонким, как блин, тюфяком, допивая третий горшок дрянного кислого вина, сочинял он надгробную надпись для любимой собаки мадонны Чечилии. Поэт наблюдал, как потухают последние угли в камине, тщетно стараясь согреться, натягивал на свои тонкие журавлиные ноги изъеденную молью беличью шубенку, вместо одеяла, слушал завывание вьюги и думал о холоде предстоявшей ночи.

На придворный бал, где должны были представить сочиненную им в честь герцогини аллегорию «Рай», не пошел он, вовсе не потому что был болен,— хотя, в самом деле, уже давно хворал и так был худ, что, по словам его, «можно было, рассматривая тело его, изучать анатомию всех человеческих мускулов, жил и костей». Но будь он даже при последнем издыхании, все-таки потащился бы на праздник. Действительной причиной его отсутствия была зависть: лучше согласился бы он замерзнуть в своей конуре, чем видеть торжество соперника, наглого плута и пройдохи, мессера Унико, который нелепыми виршами успел вскружить головы светским дурам.

При одной мысли об Унико вся желчь приливала к сердцу Беллинчони. Он сжимал кулаки и вскакивал с постели. Но в комнате было так холодно, что тотчас же снова благоразумно ложился в постель, дрожал, кашлял и кутался.

— Негодяи! — ругался он.— Четыре сонета о дровах, да еще с какими рифмами — и ни щепки!.. Пожалуй, чернила замерзнут — нечем будет писать. Не затопить ли перилами от лестницы? Все равно, порядочные люди не ходят ко мне, а если жид-ростовщик свихнет себе шею — не велика беда.

Но лестницы он пожалел. Взоры его обратились на толстое полено, служившее четвертой ногой хромому ложу. Остановился в минутном раздумьи: что лучше — дрожать всю ночь от холода или спать на шатающемся ложе?

Вьюга завыла в оконную щель, заплакала, захохотала, как ведьма, в трубе очага. С отчаянной решимостью выхватил Бернардо полено из-под кровати, разрубил на щепки и стал бросать в камин. Пламя вспыхнуло, озаряя печальную келью. Он присел на корточки и протянул посиневшие руки к огню, последнему другу одиноких поэтов.

— Собачья жизнь! — размышлял Беллинчони.— А ведь чем я, подумаешь, хуже других? Не о моем ли

прапращуре, знаменитом флорентинце, в те времена, как о доме Сфорца и помину еще не было, божественный Данте сложил этот стих:

Bellincion' Berti vid'io andar cinto
Di cuòio e d'osso?[1]

— Небось, в Милане, когда я приехал, придворные лизоблюды страмботто от сонета отличить не умели. Кто, как не я, научил их изяществам новой поэзии? Не с моей ли легкой руки ключ Гиппокрены разлился в целое море и грозит наводнением? Теперь, кажется, и в Большом Канале кастальские воды текут... И вот награда! Подохну, как пес в конуре на соломе!.. Впавшего в бедность поэта никто не узнает, точно лицо его скрыто под маскою, изуродовано оспой...

Он прочел стихи из своего послания к герцогу Моро:

Иного я всю жизнь не слыхивал ответа,
Как «с Богом прочь ступай, все заняты места».
Что делать? Песенка моя, должно быть, спета.
Уж я и не прошу о колпаке шута,—
Но хоть на мельницу принять вели поэта,
О, щедрый государь, как вьючного скота.

И с горькою усмешкою опустил свою лысую голову. Долговязый, тощий, с красным длинным носом, на корточках перед огнем, он походил на больную зябнущую птицу.

Внизу в двери дома послышался стук, потом сонная ругань сварливой, опухшей от водянки, старухи, его единственной прислужницы, и шлепанье деревянных башмаков ее по кирпичному полу.

— Кой черт? — удивился Бернардо.— Уж не жид ли опять за процентами? У, нехристи окаянные! И ночью не дадут покоя...

Скрипнули ступени лестницы. Дверь отворилась, и в комнату вошла женщина в собольей шубе, в шелковой черной маске.

Бернардо вскочил и уставился на нее.

Она молча приблизилась к стулу.

— Осторожнее, мадонна,— предупредил хозяин,— спинка сломана.

И со светскою любезностью прибавил:

— Какому доброму гению обязан я счастьем видеть знаменитейшую синьору в смиренном жилище моем?

«Должно быть, заказчица. Какой-нибудь любовный мадригалишко,— подумал он.— Ну, что ж, и то хлеб! Хоть

---

[1] Я Беллинчони Берти увидел
В кожаном поясе с костями (*итал.*).

на дрова. Только странно, как это одна, в такой час?.. А, впрочем, имя мое тоже, видно, что-нибудь да значит. Мало ли неведомых поклонниц!»

Оживился, подбежал к очагу и великодушно бросил в огонь последнюю щепку.

Дама сняла маску.

— Это я, Бернардо.

Он вскрикнул, отступил и, чтобы не упасть, должен был схватиться рукой за дверную притолоку.

— Иисусе, Дева Пречистая! — пролепетал, выпучив глаза.— Ваша светлость... яснейшая герцогиня...

— Бернардо, ты можешь сослужить мне великую службу,— сказала Беатриче и потом спросила, оглядываясь: — никто не услышит?

— Будьте покойны, ваше высочество, никто,— кроме крыс да мышей!

— Послушай,— продолжала Беатриче медленно, устремив на него проницательный взор,— я знаю, ты писал для мадонны Лукреции любовные стихи. У тебя должны быть письма герцога с поручениями и заказами.

Он побледнел и молча смотрел на нее, расширив глаза, в оцепенении.

— Не бойся,— прибавила она,— никто не узнает. Даю тебе слово, я сумею наградить тебя, если ты исполнишь просьбу мою. Я озолочу тебя, Бернардо!

— Ваше высочество,— с усилием произнес он коснеющим языком,— не верьте... это клевета... никаких писем... как перед Богом...

Глаза ее сверкнули гневом; тонкие брови сдвинулись. Она встала и, не отводя от него тяжелого, пристального взора, подошла к нему.

— Не лги! Я знаю все. Отдай мне письма герцога, если жизнь тебе дорога,— слышишь, отдай! Берегись, Бернардо! Люди мои ждут внизу. Я с тобой не шутить пришла!..

Он упал перед нею на колени:

— Воля ваша, синьора! Нет у меня никаких писем...

— Нет? — повторила она, наклоняясь и заглядывая ему в глаза,— нет, говоришь ты?..

— Нет...

— Погоди же, сводник проклятый, заставлю я тебя всю правду сказать. Собственными руками задушу, мерзавец!..— крикнула она в бешенстве и, в самом деле, вцепилась ему в горло своими нежными пальцами с такою силою, что он задохся и жилы налились у него на лбу. Не сопротивляясь, опустив руки, только беспомощно моргая

глазами, сделался он еще более похожим на жалкую, больную птицу.

«Убьет, как Бог свят, убьет,— думал Бернардо.— Ну, что же, пусть... А герцога я не выдам».

Беллинчони был всю жизнь придворным шутом, беспутным бродягою, продажным стихокропателем, но никогда не был изменником. В жилах его текла благородная кровь, более чистая, чем у романьольских наемников, выскочек Сфорца, и теперь он готов был это доказать:

Bellincion' Berti vid'io andar cinto
Di cuòio e d'osso.

Герцогиня опомнилась; с отвращением выпустила из рук своих горло поэта, оттолкнула его, подошла к столу и, схватив маленькую, с продавленными боками, с нагоревшею светильнею, оловянную лампаду, направилась к двери соседней комнаты. Она уже раньше заметила ее и догадалась, что это студиоло — рабочая келья поэта.

Бернардо вскочил и, став перед дверью, хотел преградить ей путь. Но герцогиня молча смерила его таким взглядом, что он съежился, сгорбился и отступил.

Она вошла в обитель нищенской музы. Здесь пахло плесенью книг. На голых стенах с облупленною штукатуркою темнели пятна сырости. Разбитое стекло заиндевелого окошка заткнуто было тряпьем. На письменном наклонном поставце, забрызганном чернилами, с гусиными перьями, общипанными и обглоданными во время искания рифм, валялись бумаги, должно быть, черновые наброски стихов.

Поставив лампаду на полку и не обращая внимания на хозяина, Беатриче стала рыться в листках.

Здесь было множество сонетов придворным казначеям, ключникам, стольникам, кравчим, с шутовскими жалобами, с мольбами о деньгах, дровах, вине, теплой одежде, съестных припасах. В одном из них выпрашивал поэт у мессера Паллавичини к празднику Всех Святых жареного гуся, начиненного айвою. В другом, озаглавленном «От Моро к Чечилии», сравнивая герцога с Юпитером, герцогиню с Юноною, рассказывал, как однажды Моро, отправившись на свидание с любовницей и по дороге застигнутый бурею, должен был вернуться домой, потому что «ревнивая Юнона, догадавшись об измене мужа, сорвала диадему с головы своей и рассыпала жемчуг с небес, подобно бурному дождю и граду».

Вдруг под кипою бумаг заметила она изящную шкатулку из черного дерева, открыла ее и увидела тщательно перевязанную пачку писем.

Бернардо, следивший за нею, всплеснул руками в ужасе. Герцогиня взглянула на него, потом на письма, прочла имя Лукреции, узнала почерк Моро и поняла, что это, наконец, то, чего она искала — письма герцога, черновые наброски любовных стихов, заказанных им для Лукреции; — схватила пачку, сунула ее себе за платье на грудь молча, бросив поэту, как подачку собаке, кошелек с червонцами, вышла.

Он слышал, как она сходила по лестнице, как захлопнулась дверь, и долго стоял среди комнаты, точно громом пораженный. Пол, казалось ему, шатается под ним, как палуба во время качки.

Наконец, в изнеможении, повалился на свое трехногое хромающее ложе и заснул мертвым сном.

VIII

Герцогиня вернулась в замок.

Заметив ее отсутствие, гости перешептывались, спрашивали, что случилось. Герцог тревожился.

Войдя в залу, она приблизилась к нему с немного бледным лицом и сказала, что, почувствовав усталость после пира, удалилась во внутренние покои, чтобы отдохнуть.

— Биче,— молвил герцог, взяв ее руку, холодную и чуть-чуть задрожавшую в руке его,— если тебе нездоровится, скажи, ради Бога! Не забывай, что ты беременна. Хочешь, отложим до завтра вторую часть праздника? Я ведь и затеял-то все только для тебя, дорогая...

— Нет, не надо,— возразила герцогиня.— Пожалуйста, не беспокойся, Вико. Я давно не чувствовала себя так хорошо, как сегодня... так весело... Я хочу видеть «Рай». Я и плясать еще буду!..

— Ну, слава Богу, милая, слава Богу! — успокоился Моро, целуя с почтительной нежностью руку жены.

Гости снова перешли в большую «залу для игры в мяч», где для представления «Рая» Беллинчони воздвигнута была машина, изобретенная придворным механиком Леонардо да Винчи.

Когда уселись по местам и потушили огни, раздался голос Леонардо:

— Готово!

Вспыхнула пороховая нить, и в темноте, как ледяные прозрачные солнца, засияли хрустальные шары, расположенные кругообразно, наполненные водою и освещенные изнутри множеством ярких огней, переливавшихся радугой.

— Посмотрите,— указывала соседке на художника донзелла Эрмеллина,— посмотрите, какое лицо,— настоящий маг! Чего доброго, весь замок подымет на воздух, как в сказке!

— С огнем играть не следует! Долго ли до пожара,— молвила соседка.

В машине за хрустальными шарами спрятаны были черные круглые ящики. Из одного ящика появился ангел с белыми крыльями, возвестил начало представления и, произнося один из стихов пролога —

Великий Царь Свои вращает сферы,—

указал на герцога, давая понять, что Моро управляет подданными с такою же мудростью, как Бог небесными сферами.

И в то же мгновение шары стали двигаться, вращаясь вокруг оси машины под странные, тихие, необычайно приятные звуки, как будто хрустальные сферы, цепляясь одна за другую, звенели таинственной музыкой, о которой повествуют пифагорейцы. Особые, изобретенные Леонардо, стеклянные колокола, ударяемые клавишами, производили эти звуки.

Планеты остановились, и над каждой из них, по очереди, стали появляться соответственные боги — Юпитер, Аполлон, Меркурий, Марс, Диана, Венера, Сатурн, обращаясь с приветствием к Беатриче.

Меркурий произнес:

О, ты, затмившая все древние светила,
О, солнце для живых, о, зеркало небес!
Ты красотой своей Отца богов пленила,
Лампада из лампад и чудо из чудес!

Венера склонила колени пред герцогинею:

Все прелести мои ты обратила в прах,
Уже назвать себя Венерою не смею,
И, побежденная звезда в твоих лучах,
О, солнце новое, от зависти бледнею!

Диана просила Юпитера:

Отдай меня, отец, отдай меня в рабыни
Богине всех богинь, миланской герцогине!

Сатурн, ломая смертоносную косу, восклицал:

И будет жизнь твоя блаженна и безбурна,
И Век твой Золотой, как древний Век Сатурна.

В заключение Юпитер представил ее высочеству трех эллинских Граций, семь христианских Добродетелей, и весь этот Олимп, или рай, под сенью белых ангельских

крыл и креста, унизанного огнями зеленых лампад, символами надежды, снова начал вертеться, причем все боги и богини запели гимн во славу Беатриче, под музыку хрустальных сфер и рукоплескания зрителей.

— Послушайте,— сказала герцогиня сидевшему рядом вельможе Гаспаре Висконти,— отчего же нет здесь Юноны, ревнивой супруги Юпитера, «срывающей головную повязку с кудрей своих, чтобы рассыпать жемчуг на землю, подобно дождю и граду»?

Услышав эти слова, герцог быстро обернулся и посмотрел на нее. Она засмеялась таким странным насильственным смехом, что мгновенный холод пробежал по сердцу Моро. Но, тотчас же овладев собою, заговорила о другом, только крепче прижала под одеждой на груди своей пачку писем.

Предвкушаемая месть опьяняла ее, делала сильной, спокойной, почти веселой.

Гости перешли в другую залу, где ожидало их новое зрелище: запряженные неграми, леопардами, грифонами, кентаврами и драконами, триумфальные колесницы Нумы Помпилия, Цезаря, Августа, Траяна с аллегорическими картинами и надписями, гласившими о том, что все эти герои — предтечи Моро; в заключение появилась колесница, влекомая единорогами, с огромным глобусом, подобием звездной сферы, на котором лежал воин в железных ржавых латах. Золотое голое дитя с ветвью шелковицы, по-итальянски *моро*, выходило из трещины в латах воина, что означало смерть старого, Железного, и рождение нового, Золотого Века, благодаря мудрому правлению Моро. К общему удивлению, золотое изваяние оказалось живым ребенком. Мальчик, вследствие густой позолоты, покрывавшей тело его, чувствовал себя нехорошо. В испуганных глазах его блестели слезы.

Дрожащим, заунывным голосом начал он приветствие герцогу с постоянно возвращавшимся, однозвучным, почти зловещим припевом:

Скоро к вам, о люди, скоро,
С обновленной красотой,
Я вернусь по воле Моро,
Беспечальный Век Златой.

Вокруг колесницы Золотого Века возобновился бал.

Нескончаемое приветствие надоело всем. Его перестали слушать. А мальчик, стоя на вышке, все еще лепетал золотыми коснеющими губами, с безнадежным и покорным видом:

Я вернусь по воле Моро,
Беспечальный Век Златой.

Беатриче танцевала с Гаспаре Висконти. Порой судорога смеха и рыданий сжимала ей горло. С нестерпимой болью стучала кровь в виски. В глазах темнело. Но лицо казалось беспечным. Она улыбалась.

Окончив пляску, вышла из праздничной толпы и вновь незаметно удалилась.

IX

Герцогиня прошла в уединенную башню Сокровищницы. Сюда никто не входил, кроме нее и герцога.

Взяв свечу у пажа Ричардетто, велела ему ожидать у входа и вступила в высокую залу, где было темно и холодно, как в погребе, села, вынула пачку писем, развязала, положила на стол и уже хотела читать, как вдруг, с пронзительным визгом, свистом и гулом, ветер ворвался в трубу очага, пронесся по всей башне, завыл, зашуршал и едва не задул свечу. Потом сразу наступила тишина. И ей казалось, что она различает звуки дальней бальной музыки и еще другие, чуть слышные голоса, звон железных оков — внизу, в подземелье, где была тюрьма.

И в то же мгновение почувствовала, что за нею, в темном углу, кто-то стоит. Знакомый ужас охватил ее. Она знала, что не надо смотреть, но не выдержала и оглянулась. В углу стоял тот, кого она видела уже раз,— длинный, черный, чернее мрака, закутанный, с поникшей головою, с монашеским куколем, опущенным так, что лица не было видно. Она хотела крикнуть, позвать Ричардетто, но голос ее замер. Вскочила, чтобы бежать,— ноги у нее подкосились. Упала на колени и прошептала:

— Ты... ты опять... зачем?..

Он медленно поднял голову.

И она увидела не мертвое, не страшное лицо покойного герцога Джан-Галеаццо и услышала голос его:

— Прости... бедная, бедная...

Он сделал к ней шаг, и в лицо ей пахнуло нездешним холодом.

Она закричала пронзительным, нечеловеческим криком и лишилась сознания.

Ричардетто, услышав этот крик, прибежал и увидел ее, лежавшую на полу, без чувств.

Он бросился бежать по темным галереям, кое-где освещенным тусклыми фонарями часовых, затем по ярким, многолюдным залам, отыскивая герцога, с воплем безумного ужаса:

— Помогите! Помогите!

Была полночь. На балу царствовала увлекательная веселость. Только что начали модную пляску, во время которой кавалеры и дамы проходили вереницею под аркою «верных любовников». Человек, изображавший Гения любви, с длинною трубою, находился на вершине арки; у подножия стояли судьи. Когда приближались «верные любовники», гений приветствовал их нежною музыкою, судьи принимали с радостью. Неверные же тщетно старались пройти сквозь волшебную арку: труба оглушала их страшными звуками; судьи встречали бурею конфетти, и несчастные под градом насмешек должны были обращаться в бегство.

Герцог только что прошел сквозь арку, сопровождаемый самыми тихими, сладостными звуками трубы, подобными пастушьей свирели или воркованию горлиц,— как вернейший из верных любовников.

В это мгновение толпа расступилась. В залу вбежал Ричардетто с отчаянным воплем:

— Помогите! Помогите!

Увидев герцога, он кинулся к нему:

— Ваше высочество, герцогине дурно... Скорее... Помогите!

— Дурно?.. Опять!..

Герцог схватился за голову.

— Где? Где? Да говори же толком!..

— В башне Сокровищницы...

Моро пустился бежать так быстро, что золотая чешуйчатая цепь на груди его звякала, пышная гладкая цаццера — прическа, похожая на парик, странно подскакивала на голове.

Гений на арке «верных любовников», все еще продолжавший трубить, наконец заметил, что внизу неладно, и умолк.

Многие побежали за герцогом, и вдруг вся блестящая толпа всколыхнулась, ринулась к дверям, как стадо баранов, обуянное ужасом. Арку повалили и растоптали. Трубач, едва успев соскочить, вывихнул себе ногу.

Кто-то крикнул:

— Пожар!

— Ну, вот, говорила я, что с огнем играть не следует! — всплеснув руками, воскликнула дама, не одобрявшая хрустальных шаров Леонардо.

Другая взвизгнула, приготовляясь упасть в обморок.

— Успокойтесь, пожара нет,— уверяли одни.
— Что же такое? — спрашивали другие.
— Герцогиня больна!..
— Умирает! Отравили! — решил кто-то из придворных по внезапному наитию и тотчас же сам поверил своей выдумке.
— Не может быть! Герцогиня только что была здесь... танцевала...
— Разве вы не слышали? Вдова покойного герцога Джан-Галеаццо, Изабелла Арагонская, из мести за мужа... медленным ядом...
— С нами сила Господня!
Из соседней залы долетали звуки музыки.
Там ничего не знали. В танце «Венера и Завр» дамы с любезной улыбкой водили своих кавалеров на золотых цепях, как узников, и когда они с томными вздохами падали ниц,— ставили им ногу на спину, как победительницы.
Вбежал камерьере, замахал руками и крикнул музыкантам:
— Тише, тише! Герцогиня больна...
Все обернулись на крик. Музыка стихла. Одна лишь виола, на которой играл тугой на ухо, подслеповатый старичок, долго еще заливалась в безмолвии жалобно-трепетным звуком.
Служители поспешно пронесли кровать, узкую, длинную, с жестким тюфяком, с двумя поперечными брусьями для головы, двумя колками по обеим сторонам для рук и перекладиною для ног родильницы, сохранявшуюся с незапамятных времен в гардеробных покоях дворца и служившую для родов всем государыням дома Сфорца. Странной и зловещей казалась среди бала, в блеске праздничных огней, над толпой разряженных дам, эта родильная кровать.
Все переглянулись и поняли.
— Ежели от испуга или падения,— заметила пожилая дама,— следовало бы немедленно проглотить белок сырого яйца с мелко нарезанными кусочками алого шелка.
Другая уверяла, что красный шелк тут ни при чем, а надо съесть зародыши семи куриных яиц в желтке восьмого.
В это время Ричардетто, войдя в одну из верхних зал, услышал за дверями соседней комнаты такой страшный вопль, что остановился в недоумении и спросил, указывая на дверь, одну из женщин, проходивших с корзинами белья, грелками и сосудами горячей воды:
— Что это?

Она не ответила.

Другая, старая, должно быть, повивальная бабка, посмотрела на него строго и проговорила:

— Ступай, ступай с Богом! Чего торчишь на дороге — только мешаешь. Не место здесь мальчишкам.

Дверь на мгновение приотворилась, и Ричардетто увидел в глубине комнаты, среди беспорядка сорванных одежд и белья, лицо той, которую любил безнадежною детскою любовью,— красное, потное, с прядями волос, прилипших ко лбу, с раскрытым ртом, откуда вылетал нескончаемый вопль. Мальчик побледнел и закрыл лицо руками.

Рядом с ним разговаривали шепотом разные кумушки, нянюшки, лекарки, знахарки, повитухи. У каждой было свое средство. Одна предлагала обернуть правую ногу родильницы змеиной кожей; другая — посадить ее на чугунный котел с кипятком; третья — подвязать к животу ее шапку супруга; четвертая — дать водки, настоенной на отростках оленьих рогов и кошенильном семени.

— Орлиный камень под правую мышку, магнитный — под левую,— шамкала древняя, сморщенная старушонка, хлопотавшая больше всех,— это, мать моя, первое дело! Орлиный камень либо изумруд.

Из дверей выбежал герцог и упал на стул, сжимая голову руками, всхлипывая, как ребенок:

— Господи! Господи! Не могу больше... не могу... Биче, Биче... Из-за меня, окаянного!..

Он вспомнил, как только что, увидев его, герцогиня закричала с неистовой злобой: «Прочь! прочь! Ступай к своей Лукреции!..»

Хлопотливая старушонка подошла к нему с оловянною тарелочкой:

— Откушать извольте, ваше высочество...

— Что это?

— Волчье мясо. Примета есть: как волчьего мяса отведает муж, родильнице легче. Волчье мясо, отец ты мой, первое дело!

Герцог с покорным и бессмысленным видом старался проглотить кусочек жесткого, черного мяса, который застрял у него в горле.

Старуха, наклонившись над ним, бормотала:

Отче наш, иже еси.
Семь волков, одна волчиха.
На земли и небеси.
Взвейся, ветер, наше лихо
В чисто поле унеси.

«Свят, свят, свят — во имя Троицы единосущной и безначальной. Крепко слово наше. Аминь!»

Из комнаты больной вышел главный придворный медик Луиджи Марлиани в сопровождении других врачей.

Герцог бросился к ним.

— Ну, что? Как?..

Они молчали.

— Ваша светлость,— произнес наконец Луиджи,— все меры приняты. Будем надеяться, что Господь в своем милосердии...

Герцог схватил его за руку.

— Нет, нет... Есть же какое-нибудь средство... Так нельзя... Ради Бога... Ну, сделайте же, сделайте что-нибудь!..

Врачи переглянулись, как авгуры, чувствуя, что надо его успокоить.

Марлиани, строго нахмурив брови, сказал по-латыни молодому врачу с румяным и наглым лицом:

— Три унции отвара из речных улиток с мушкатным орехом и красным толченым кораллом.

— Может быть, кровопускание? — заметил старичок с робким и добрым лицом.

— Кровопускание? Я уже думал,— продолжал Марлиани: — к несчастью, Марс — в созвездии Рака в четвертом доме Солнца. К тому же влияние нечетного дня...

Старичок смиренно вздохнул и притих.

— Как полагаете вы, учитель,— обратился к Марлиани другой врач, краснощекий, развязный, с непобедимо веселыми и равнодушными глазами,— не прибавить ли к отвару из улиток мартовского коровьего помета?

— Да,— задумчиво согласился Луиджи, потирая себе переносицу,— коровьего помета,— да, да, конечно!

— О, Господи! Господи! — простонал герцог.

— Ваше высочество,— обратился к нему Марлиани,— успокойтесь, могу вас уверить, что все, предписываемое наукой...

— К черту науку! — вдруг, не выдержав, накинулся на него герцог, с яростью сжимая кулаки.— Она умирает, умирает, слышите! А вы тут с отваром из улиток, с коровьим пометом!.. Негодяи!.. Вздернуть бы вас всех на виселицу!..

И в смертельной тоске заметался он по комнате, прислушиваясь к неумолкавшему воплю.

Вдруг взор его упал на Леонардо. Он отвел его в сторону:

— Послушай,— забормотал герцог, точно в бреду, видимо сам едва помня, что говорит,— послушай, Леонардо, ты стоишь больше, чем все они вместе. Я знаю, ты обладаешь великими тайнами... Нет, нет, не возражай... Я знаю... Ах, Боже мой, Боже мой, этот крик!.. Что я хотел сказать? Да, да,— помоги мне, друг мой, помоги, сделай что-нибудь!.. Я душу отдам, только бы помочь ей хоть ненадолго, только бы этого крика не слышать!..

Леонардо хотел ответить; но герцог, уже забыв о нем, кинулся навстречу капелланам и монахам, входившим в комнату.

— Наконец-то! Слава Богу! Что у вас?

— Частицы мощей преподобного Амброджо, Пояс родопомощницы св. Маргариты, честнейший Зуб св. Христофора, Волос Девы Марии.

— Хорошо, хорошо, ступайте, молитесь!

Моро хотел войти с ними в комнату больной, но в это мгновение крик превратился в такой ужасающий визг и рев, что, заткнув уши, он бросился бежать. Миновав несколько темных зал, остановился в часовне, слабо освещенной лампадами, и упал на колени перед иконою.

— Согрешил я, Матерь Божия, согрешил, окаянный, невинного отрока погубил, законного государя моего Джан-Галеаццо! Но ты, Милосердная, Заступница единая, услышь молитву мою и помилуй! Все отдам, все отмолю, только спаси ее, возьми душу мою за нее!

Обрывки нелепых мыслей теснились в голове его, мешая молиться: он вспомнил рассказ, над которым недавно смеялся,— о том, как один корабельщик, погибая во время бури, обещал Марии Деве свечу величиною с мачту корабля; когда же товарищ спросил его, откуда возьмет он воска для такой свечи, тот ответил: молчи, только бы спастись нам теперь, а потом будет время подумать; к тому же, я надеюсь, что Мадонна удовольствуется меньшею свечою.

— О чем это я, Боже мой! — опомнился герцог,— с ума схожу, что ли?..

Он сделал усилие, чтобы собрать мысли, и начал снова молиться.

Но яркие хрустальные шары, похожие на ледяные прозрачные солнца, поплыли, закружились перед ним, послышалась тихая музыка, вместе с назойливым припевом золотого мальчика:

Скоро к вам, о люди, скоро
Я вернусь по воле Моро.

Потом все исчезло.

Когда он проснулся, ему казалось, что прошло не более двух-трех минут; но, выйдя из часовни, увидел он в окнах, занесенных вьюгою, серый свет зимнего утра.

X

Моро вернулся в залы Рокетты. Здесь всюду была тишина. Навстречу ему попалась женщина, несшая короб с пеленками. Она подошла и сказала:

— Разрешиться изволили.

— Жива? — пролепетал он, бледнея.

— Слава Богу! Но ребеночек умер. Очень ослабели. Желают вас видеть — пожалуйте.

Он вошел в комнату и увидел на подушках крошечное, как у маленькой девочки, с громадными впадинами глаз, точно затканными паутиной, спокойное, странно знакомое и чужое лицо. Он подошел к ней и наклонился.

— Пошли за Изабеллой... скорее,— произнесла она шепотом.

Герцог отдал приказание. Через несколько минут высокая стройная женщина с печальным суровым лицом, герцогиня Изабелла Арагонская, вдова Джан-Галеаццо, вошла в комнату и приблизилась к умирающей. Все удивились, кроме духовника и Моро, ставших поодаль.

Некоторое время обе женщины разговаривали шепотом. Потом Изабелла поцеловала Беатриче со словами последнего прощения и, опустившись на колени, закрыв лицо руками, стала молиться.

Беатриче снова подозвала к себе мужа.

— Вико, прости. Не плачь. Помни... я всегда с тобою... Я знаю, что ты меня одну...

Она не договорила. Но он понял, что она хотела сказать: ты меня одну любил.

Она посмотрела на него ясным, как будто бесконечно далеким взором и прошептала:

— Поцелуй.

Моро коснулся губами лба ее. Она хотела что-то сказать, не могла и только вздохнула чуть слышно:

— В губы.

Монах стал читать отходную. Приближенные вернулись в комнату.

Герцог, не отрывая своих губ от прощального поцелуя,

чувствовал, как уста ее холодеют,— и в этом последнем поцелуе принял последний вздох своей подруги.

— Скончалась,— молвил Марлиани.

Все перекрестились и стали на колени. Моро медленно приподнялся. Лицо его было неподвижно. Оно выражало не скорбь, а страшное, неимоверное напряжение. Он дышал тяжко и часто, как будто через силу подымался на гору. Вдруг неестественно и странно взмахнул сразу обеими руками, вскрикнул: «Биче!» — и упал на мертвое тело.

Из всех, кто там был, один Леонардо сохранил спокойствие. Глубоким испытующим взором следил он за герцогом.

В такие минуты любопытство художника превозмогало в нем все. Выражение великого страдания в человеческих лицах, в движениях тела наблюдал он как редкий необычайный опыт, как новое прекрасное явление природы. Ни одна морщина, ни один трепет мускула не ускользали от его бесстрастного всевидящего взора.

Ему хотелось как можно скорее зарисовать в памятную книжку лицо Моро, искаженное отчаянием. Он сошел в пустынные нижние покои дворца.

Здесь догорающие свечи коптили, роняя капли воска на пол. В одной из зал перешагнул он через опрокинутую, измятую арку «верных любовников». В холодном свете утра зловещими и жалкими казались пышные аллегории, прославлявшие Моро и Беатриче — триумфальные колесницы Нумы Помпилия, Августа, Траяна, Золотого Века.

Он подошел к потухшему камину, оглянулся и, удостоверившись, что в зале нет никого, вынул записную книжку, карандаш и начал рисовать, как вдруг заметил в углу камина мальчика, служившего изваянием Золотого Века. Он спал, окоченелый от холода, скорчившись, съежившись, охватив руками колени, опустив на них голову. Последнее дыхание стынущего пепла не могло согреть его голого золотого тела.

Леонардо тихонько дотронулся до плеча его. Ребенок не поднял головы, только жалобно и глухо простонал. Художник взял его на руки.

Мальчик открыл большие, черно-синие как фиалки, испуганные глаза и заплакал:

— Домой, домой!..

— Где ты живешь? Как твое имя? — спросил Леонардо.

— Липпи,— ответил мальчик.— Домой, домой! Ой, тошно мне, холодно...

Веки его сомкнулись; он залепетал в бреду:

Скоро к вам, о люди, скоро,
С обновленной красотой,
Я вернусь по воле Моро,
Беспечальный Век Златой.

Сняв с плеч своих накидку, Леонардо завернул в нее ребенка, положил на кресло, вышел в переднюю, растолкал храпевших на полу, напившихся во время суматохи слуг и узнал от одного из них, что Липпи — сын бедного старого вдовца, пекаря на улице Бролетто Ново, который за двадцать скуди отдал ребенка для представления триумфа, хотя добрые люди предупреждали отца, что мальчик может умереть от позолоты.

Художник отыскал свой теплый зимний плащ, надел его, вернулся к Липпи, бережно закутал его в шубу и вышел из дворца, намереваясь зайти в аптеку купить нужных снадобий, отмыть позолоту с тела ребенка и отнести его домой.

Вдруг вспомнил о начатом рисунке, о любопытном выражении отчаяния в лице Моро.

«Ничего,— подумал,— не забуду. Главное — морщины над высоко поднятыми бровями и странная, светлая, как будто восторженная, улыбка на губах, та самая, которая делает сходным в человеческих лицах выражения величайшего страдания и величайшего блаженства — двух миров, по свидетельству Платона, разделенных в основаниях, вершинами сросшихся».

Он почувствовал, что мальчик дрожит от озноба.

«Наш Век Золотой»,— подумал художник с печальной усмешкой.

— Бедная ты моя птичка! — прошептал он с бесконечной жалостью и, закутав теплее, прижал к своей груди так нежно и ласково, что больному ребенку приснилось, что покойная мать ласкает его и баюкает.

XI

Герцогиня Беатриче умерла во вторник, 2 января 1497 года, в 6 часов утра.

Более суток провел герцог у тела жены, не слушая никаких утешений, отказываясь от сна и пищи. Приближенные опасались, что он сойдет с ума.

Утром в четверг, потребовав бумаги и чернил, написал Изабелле д'Эсте, сестре покойной герцогини, письмо, в котором, извещая о смерти Беатриче, говорил между прочим:

«Легче было бы нам самим умереть. Просим вас, не присылайте никого для утешения, дабы не возобновлять нашей скорби».

В тот же день, около полудня, уступая мольбам приближенных, согласился принять немного пищи; но сесть за стол не хотел и ел с голой доски, которую держал перед ним Ричардетто.

Сначала заботы о похоронах герцог предоставил главному секретарю, Бартоломео Калько. Но, назначая порядок шествия, чего никто не мог сделать, кроме него, мало-помалу увлекся и с такою же любовью, как некогда великолепный новогодний праздник Золотого Века, начал устраивать похороны. Хлопотал, входил во все мелочи, с точностью определял вес огромных свечей из белого и желтого воска, число локтей золотой парчи, черного и кармазинного бархата для каждого из алтарных покровов, количество мелкой монеты, гороху и сала для раздачи бедным на поминовение усопшей. Выбирая сукно для траурных одежд придворных служителей, не преминул пощупать ткань и приблизить к свету, дабы удостовериться в ее добротности. Заказал и для себя из грубого шероховатого сукна особое торжественное облачение «великого траура» с нарочитыми прорехами, которое имело вид одежды, разодранной в порыве отчаяния.

Похороны назначены были в пятницу, поздно вечером. Во главе погребального шествия выступали скороходы, булавоносцы, герольды, трубившие в длинные серебряные трубы с подвешенными к ним знаменами из черного шелка, барабанщики, бившие дробь похоронного марша, рыцари с опущенными забралами, с траурными хоругвями, на конях, облеченных в попоны из черного бархата с белыми крестами, монахи всех монастырей и каноник Милана с горящими шестифунтовыми свечами, архиепископ Милана с причтом и клиром. За громадною колесницею с катафалком из серебряной парчи, с четырьмя серебряными ангелами и герцогскою короною, шел Моро в сопровождении брата своего, кардинала Асканио, послов цезарского величества, Испании, Неаполя, Венеции, Флоренции; далее — члены тайного совета, придворные, доктора и магистры Павийского университета, именитые купцы, по двенадцати выборных от каждых из Ворот Милана, и несметная толпа народа.

Шествие было так длинно, что хвост его еще не выходил из крепости, когда голова уже вступала в церковь Марии делле Грацие.

Через несколько дней герцог украсил могилу мертворожденного младенца Леоне великолепной надписью. Он сочинил ее сам по-итальянски, Мерула перевел на латинский язык:

«Несчастное дитя, я умер прежде, чем увидел свет, еще несчастнее тем, что, умирая, отнял жизнь у матери, у отца — супругу. В столь горькой судьбе мне отрада лишь то, что произвели меня на свет родители богоподобные — Лудовикус и Беатрикс, медиоланские герцоги. 1497 год, третьи ноны января».

Долго любовался Моро этою надписью, вырезанной золотыми буквами на плите черного мрамора, над маленькою гробницею Леоне, находившегося в том же монастыре Марии делле Грацие, где покоилась Беатриче. Он разделял простодушное восхищение каменщика, который, кончив работу, отошел, посмотрел издали, склонив голову набок, и, закрыв один глаз, прищелкнул языком от удовольствия:

— Не могилка — игрушечка!

Было морозное солнечное утро. Снег на крышах домов сиял белизной в голубых небесах. В хрустальном воздухе веяло тою свежестью, подобной запаху ландышей, которая кажется благоуханием снега.

Прямо с мороза и солнца, точно в склеп, вошел Леонардо в темную душную комнату, обтянутую черною тафтою, с закрытыми ставнями и погребальными свечами. В первые дни после похорон герцог никуда не выходил из этой мрачной кельи.

Поговорив с художником о Тайной Вечере, которая должна была прославить место вечного упокоения Беатриче, он сказал ему:

— Я слышал, Леонардо, что ты взял на свое попечение мальчика, который представлял рождение Золотого Века на этом злополучном празднике. Как его здоровье?

— Ваше высочество, он умер в самый день похорон ее светлости.

— Умер! — удивился и в то же время как бы обрадовался герцог.— Умер... Как это странно!..

Он опустил голову и тяжело вздохнул. Потом вдруг обнял Леонардо:

— Да, да... Именно так и должно было случиться! Умер наш Век Золотой, умер вместе с моей ненаглядною! Похоронили мы его вместе с Беатриче, ибо не хотел и не мог он ее пережить! Не правда ли, друг мой, какое вещее совпадение, какая прекрасная аллегория!

XII

Целый год прошел в глубоком трауре. Герцог не снимал черной одежды с нарочитыми прорехами и, не садясь за стол, ел с доски, которую перед ним держали придворные.

«После смерти герцогини,— писал в своих донесениях Марино Сануто, посол Венеции,— Моро сделался набожным, присутствует на всех церковных службах, постится, живет в целомудрии,— так, по крайней мере, говорят,— и в помыслах своих имеет страх Божий».

Днем в государственных делах герцог забывался порою, хотя и в этих занятиях недоставало ему Беатриче. Зато ночью тоска грызла его. Часто видел он ее во сне шестнадцатилетнею девочкою, какою вышла она замуж — своенравною, резвою, как школьница, худенькою, смуглою, похожею на мальчика, столь дикою, что, бывало, пряталась в гвардаробные шкапы, чтобы не являться на торжественные выходы, столь девственной, что в течение трех месяцев после свадьбы все еще оборонялась от его любовных нападений ногтями и зубами, как амазонка.

В ночь, за пять дней до первой годовщины смерти ее, Беатриче приснилась ему, какой он видел ее однажды во время рыбной ловли на берегу большого, тихого пруда, в ее любимом имении Куснаго. Улов был счастливый: ведра наполнились рыбой доверху. Она придумала забаву: засучив рукава, брала рыбу из влажных сетей и бросала пригоршнями в воду, смеясь и любуясь радостью освобожденных пленниц, их беглым чешуйчатым блеском в прозрачной волне. Скользкие окуни, язи, лещи трепетали в голых руках ее, брызги горели на солнце алмазами, горели глаза и смуглые щеки его милой девочки.

Проснувшись, почувствовал, что подушка смочена слезами.

Утром пошел в монастырь делле Грацие, помолился над гробом жены, откушал с приором и долго беседовал с ним о вопросе, который в те времена волновал богословов Италии,— о непорочном зачатии Девы Марии. Когда стемнело, прямо из монастыря отправился к мадонне Лукреции.

Несмотря на печаль о жене и на «страх Божий», не только не покинул он своих любовниц, но привязался к ним еще более. В последнее время мадонна Лукреция и графиня Чечилия сблизились. Имея славу «ученой героини», «новой Сафо», Чечилия была простою и доброю женщиной, хотя несколько восторженной. После смерти Беат-

риче представился ей удобный случай для одного из тех вычитанных в рыцарских романах подвигов любви, о которых она давно мечтала. Она решила соединить любовь свою с любовью молодой соперницы, чтобы утешить герцога. Лукреция сперва дичилась и ревновала герцога, но «ученая героиня» обезоружила ее своим великодушием. Волей-неволей Лукреция должна была предаться этой странной женской дружбе.

Летом 1497 года родился у нее сын от Моро. Графиня Чечилия пожелала быть крестной матерью и с преувеличенной нежностью — хотя у нее были собственные дети от герцога — стала нянчиться с ребенком, «своим внучком», как она его называла. Так исполнилась заветная мечта Моро: любовницы его подружились. Он заказал придворному стихотворцу сонет, где Чечилия и Лукреция сравнивались с вечернею и утреннею зарею, а сам он, неутешный вдовец, между обеими лучезарными богинями,— с темною ночью, навеки далекой от солнца,— с Беатриче.

Войдя в знакомый уютный покой палаццо Кривелли, увидел он обеих женщин, сидевших рядом у очага. Так же как и все придворные дамы, они были в трауре.

— Как здоровье вашего высочества? — обратилась к нему Чечилия — «вечерняя заря», непохожая на «утреннюю», хотя столь же прекрасная, с матово-белою кожею, с огненно-рыжим цветом волос, с нежными, зелеными глазами, прозрачными, как тихие воды горных озер.

В последнее время герцог привык жаловаться на свое здоровье. В тот вечер чувствовал себя не хуже, чем всегда. Но, по обыкновению, принял томный вид, тяжело вздохнул и сказал:

— Сами посудите, мадонна, какое может быть мое здоровье! Только об одном и думаю, как бы поскорее лечь в могилу рядом с моей голубкой...

— Ах, нет, нет, ваша светлость, не говорите так! — воскликнула Чечилия, всплеснув руками.— Это большой грех. Как можно? Если бы мадонна Беатриче слышала вас!.. Всякое горе от Бога, и мы должны принимать с благодарностью...

— Конечно,— согласился Моро.— Я не ропщу. Боже меня сохрани! Я знаю, что Господь заботится о нас более, чем мы сами. Блаженны плачущие, ибо утешатся.

И крепко пожимая обеими руками руки своих любовниц, он поднял глаза к потолку.

— Да наградит вас Господь, мои милые, за то, что вы не покинули несчастного вдовца!

Вытер глаза платком и вынул из кармана траурного платья две бумаги. Одна из них была дарственная запись, коей герцог жертвовал громадные земли виллы Сфорцески у Виджевано Павийскому монастырю делле Грацие.

— Ваше высочество,— изумилась графиня,— кажется, вы так любили эту землю?

— Землю! — горько усмехнулся Моро.— Увы, мадонна, я разлюбил не только эту землю. Да и много ли надо человеку земли?..

Видя, что он опять хочет говорить о смерти, графиня с ласковым укором положила ему на губы свою розовую руку.

— А что же в другой? — спросила она с любопытством.

Лицо его просветлело; прежняя, веселая и лукавая улыбка заиграла на губах.

Он прочел им другую грамоту, тоже дарственную запись с перечнем земель, лугов, рощ, селений, охот, садков, хозяйственных зданий и прочих угодий, коими жаловал герцог мадонну Лукрецию Кривелли и незаконного сына своего, Джан-Паоло. Здесь была упомянута и любимая покойной Беатриче вилла Куснаго, которая славилась рыбной ловлей.

Голосом, дрожавшим от умиления, прочел Моро последние слова грамоты:

«Женщина сия, в дивных и редких узах любви, явила нам совершенную преданность и выказала столь возвышенные чувства, что часто в приятном с нею общении безмерную обретали мы сладость и великое облегчение от наших забот».

Чечилия радостно захлопала в ладоши и кинулась на шею подруге со слезами материнской нежности.

— Видишь, сестричка: говорила я тебе, что сердце у него золотое! Теперь мой маленький внучек Паоло богатейший из наследников Милана!

— Какое у нас число? — спросил Моро.

— Двадцать восьмое декабря, ваша светлость,— ответила Чечилия.

— Двадцать восьмое! — повторил он задумчиво.

Это был тот самый день, тот самый час, в который ровно год назад покойная герцогиня явилась в палаццо Кривелли и чуть не застала врасплох мужа с любовницей.

Он оглянулся. Все в этой комнате было по-прежнему: так же светло и уютно, так же зимний ветер выл в тру-

бе; так же пылал веселый огонь в камине, и над ним плясала вереница голых глиняных амуров, играя орудиями Страстей Господних. И на круглом столике, крытом зеленою скатертью, стоял тот же граненый кувшин Бальнеа Апонитана, лежали те же ноты и мандолина. Двери были так же открыты в спальню и далее, в уборную, где виднелся тот самый гвардаробный шкап, в котором герцог спрятался от жены.

Чего бы, казалось ему, не дал он в это мгновение, чтобы вновь послышался внизу страшный стук молотка в двери дома, чтобы вбежала испуганная служанка с криком: «Мадонна Беатриче!» — чтобы хоть минутку постоять, как тогда, подрожать в гвардаробном шкапу, словно пойманному вору, слыша вдали грозный голос своей ненаглядной девочки. Увы, не быть, не быть тому вовеки!

Моро опустил голову на грудь, и слезы полились по щекам его.

— Ах, Боже мой! Вот видишь, опять плачет,— засуетилась графиня Чечилия.— Да ну же, приласкайся ты к нему как следует, поцелуй его, утешь. Как тебе не стыдно!

Она тихонько толкала соперницу в объятия своего любовника.

Лукреция давно уже испытывала от этой неестественной дружбы с графинею чувство, подобное тошноте, как от приторных духов. Ей хотелось встать и уйти. Она потупила глаза и покраснела. Тем не менее должна была взять герцога за руку. Он улыбнулся ей сквозь слезы и приложил ее руку к своему сердцу.

Чечилия взяла мандолину с круглого столика и, приняв то самое положение, в котором двенадцать лет назад изобразил ее Леонардо в знаменитом портрете новой Сафо,— запела песню Петрарки о небесном видении Лауры:

Levommi il mio pensier in parte ov'era
Quella ch'io cerco e non ritrovo in terra.
Я устремляю мои мысли к жилищу той,
Кого ищу и найти не могу на земле.
Среди блаженных, в третьем круге неба,
Я увидал ее вновь более прекрасной и менее гордой.
Взяв за руку меня, она сказала: «В этой сфере
Ты будешь вновь со мной уже навеки.
Я — та, что на земле с тобою враждовала
И раньше вечера окончила мой день».

Герцог вынул платок и с мечтательною томностью закатил глаза. Несколько раз повторил он последнюю строчку, всхлипывая и простирая руки, как бы к пролетавшему видению:

И раньше вечера окончила мой день!

— Голубка моя!.. Да, да, раньше вечера!.. Знаете ли, мадонны, мне кажется, она смотрит с небес и благословляет нас троих... О, Биче, Биче!..

Он тихо склонился на плечо Лукреции, зарыдал и в то же время обнял ее стан и хотел привлечь к себе. Она противилась; ей было стыдно. Он поцеловал ее украдкою в шею. Заметив это зорким материнским оком, Чечилия встала, указывая Лукреции на Моро, как сестра, поручающая подруге тяжело больного брата,— вышла на цыпочках не в спальню, а в противоположный покой и заперла за собою дверь. «Вечерняя заря» не ревновала к «утренней», ибо знала по давнему опыту, что очередь за нею и что герцогу, после черных волос, покажутся еще прелестнее огненно-рыжие.

Моро оглянулся, обнял Лукрецию сильным, почти грубым движением и посадил к себе на колени. Слезы о покойной жене еще не высохли на глазах его, и на тонких, извилистых губах уже бродила шаловливая, откровенная улыбка.

— Точно монашенка — вся в черном! — смеялся он, покрывая ее шею поцелуями.— Ведь вот простенькое платьице, а как тебе к лицу. Это, должно быть, от черного кажется шейка такою белою?..

Он расстегивал агатовые пуговицы на ее груди, и вдруг блеснула нагота между складками траурного платья еще более ослепительная. Лукреция закрыла лицо руками.

А над весело пылавшим камином в глиняных изваяниях Карадоссо голые амуры или ангелы продолжали свою вечную пляску, играя орудиями Страстей Господних — гвоздями, молотом, клещами, копьем,— и казалось, что в мерцающем розовом отблеске пламени они лукаво перемигиваются, перешептываются, выглядывая из-под виноградной кущи Вакха на герцога Моро с мадонной Лукрецией, и что толстые, круглые щеки их готовы лопнуть от смеха.

А издалека доносились томные вздохи мандолины и пение графини Чечилии:

Ivi fra lor, che il terzo cerchio serra,
La rividi, più bella e meno altera.
Там, среди блаженных, в третьем круге неба,
Я увидел ее вновь более прекрасной и менее гордой.

И маленькие древние боги, слушая стихи Петрарки — песню новой небесной любви — хохотали, как безумные.

ДЕВЯТАЯ КНИГА

ДВОЙНИКИ

I

— Изволите ли видеть, вот здесь, на карте, в Индейском океане, к западу от острова Тапробана,— надпись: *морские чуда сирены*. Кристофоро Коломбо рассказывал мне, что весьма удивился, доехав до этого места и не найдя сирен... Чему вы улыбаетесь?

— Нет, ничего, Гвидо. Продолжайте, я слушаю.

— Да уж знаю, знаю... Вы полагаете, мессер Леонардо, что сирен вовсе нет. Ну, а что сказали бы вы о скиаподах, укрывающихся от солнца под тенью собственной ступни, как под зонтиком, или о пигмеях, с такими громадными ушами, что одно служит им подстилкою, другое одеялом? Или о дереве, приносящем вместо плодов яйца, из которых выходят птенцы в желтом пуху, наподобие утят — мясо их имеет рыбий вкус, так что и в постные дни может быть употребляемо? Или об острове, на котором корабельщики, высадившись, разложили костер, сварили ужин, а потом увидели, что это не остров, а кит, о чем передавал мне старый моряк в Лиссабоне, человек трезвый, клявшийся кровью и плотью Господней в истине слов своих?

Этот разговор происходил пять лет спустя после открытия Нового Света, на Вербной неделе, 6 апреля 1498 года во Флоренции, недалеко от Старого Рынка, на улице Меховщиков, в комнате над кладовыми торгового дома Помпео Берарди, который, имея товарные склады в Севилье, заведовал постройкой кораблей, отправлявшихся в земли, открытые Колумбом. Мессер Гвидо Берарди, племянник Помпео, с детства питал великую страсть к мореплаванию и намеревался принять участие в путешествии Васко да Гама, когда заболел появившеюся в те времена страшною болезнью, названной итальянцами французскою,

французами — итальянскою, поляками — немецкою, московитянами — польскою, а турками — христианскою. Тщетно лечился он у всех докторов и подвешивал восковые приапы ко всем чудотворным иконам. Разбитый параличом, осужденный на вечную неподвижность, он сохранял деятельную живость ума и, слушая рассказы моряков, просиживая ночи над книгами и картами, в мечтах переплывал океаны открывал неведомые земли.

Мореходные снаряды — медные экваториальные круги, кадраны, секстанты, астролябии, компасы, звездные сферы делали комнату похожей на каюту корабля. В дверях, открытых на балкон — флорентинскую лоджию, темнело прозрачное небо апрельского вечера. Пламя лампады порой колебалось от ветра. Снизу из товарных складов поднимался запах чужеземных пряностей — индейского перца, имбиря, корицы, мускатного ореха и гвоздики.

— Так-то, мессер Леонардо! — заключил Гвидо, потирая рукою больные закутанные ноги.— Недаром сказано: вера горами двигает. Если бы Коломбо сомневался, как вы, ничего бы он не сделал. А согласитесь, стоит поседеть в тридцать лет от безмерных страданий, чтобы совершить такое открытие — местоположение рая земного!

— Рая? — удивился Леонардо.— Что вы разумеете, Гвидо?

— Как? Вы и этого не знаете? Неужели же вы не слыхали о наблюдениях мессера Коломбо над Полярной звездой у Азорских островов, которыми доказал он, что земля имеет вид не шара, не яблока, как полагали доныне, а груши с отростком или припухлостью, наподобие сосца женской груди? На этом-то сосце — горе, столь высокой, что вершина ее упирается в лунную сферу небес,— находится рай...

— Но, Гвидо, это противоречит всем выводам науки...

— Науки! — презрительно пожав плечами, перебил его собеседник.— Знаете ли, мессере, что говорит Коломбо о науке? Я приведу вам собственные слова его из «Книги пророчеств» — «Libro de las profecías»: «Отнюдь не математика, не карты географов, не доводы разума помогли мне сделать то, что я сделал, а единственно — пророчество Исайи о новом небе и новой земле».

Гвидо умолк. У него начиналась обычная боль в суставах. По просьбе хозяина Леонардо кликнул слуг, которые унесли больного в спальню.

Оставшись один, художник стал проверять математические выкладки Колумба в исследованиях движения Поляр-

ной звезды у Азорских островов и нашел в них столь грубые ошибки, что глазам своим не поверил.

— Какое невежество! — удивлялся он.— Точно в темноте нечаянно наткнулся на новый мир и сам не видит, как слепой,— не знает, что открыл; думает — Китай, Офир Соломона, рай земной. Так и умрет, не узнав.

Он перечитал то первое письмо, от 29 апреля 1493 года, в котором Колумб возвещал Европе о своем открытии: «Письмо Христофора Коломба, коему век наш многим обязан, об островах Индейских над Гангом, недавно открытых».

Всю ночь просидел Леонардо над вычислениями и картами. Порой выходил на открытую лоджию, смотрел на звезды и, думая о пророке Новой Земли и Нового Неба — этом странном мечтателе, с умом и сердцем ребенка, невольно сравнивал судьбу его со своею:

— Как мало он знал, как много сделал! А я со всеми знаниями моими — неподвижен, точно этот Берарди, разбитый параличом: всю жизнь стремлюсь к неведомым мирам и шагу к ним не сделал. Вера, говорят они. Но разве совершенная вера и совершенное знание не одно и то же? Разве глаза мои не дальше видят, чем глаза Колумба, слепого пророка?.. Или таков удел человеческий: надо быть зрячим, чтобы знать, слепым, чтобы делать?

II

Леонардо не заметил, как ночь прошла. Звезды потухли. Розовый свет озарил черепичные выступы кровель и деревянные косые перекладины в стенах ветхих кирпичных домов. На улице послышался шелест и говор толпы.

В дверь постучались. Он отпер. Вошел Джованни и напомнил учителю, что в этот день — Вербную Субботу — назначен «огненный поединок».

— Что за поединок? — спросил Леонардо.

— Фра Доминико за брата Джироламо Савонаролу и фра Джульяно Рондинелли за врагов его войдут в огонь костра, и тот, кто останется невредим, докажет свою правоту перед Богом,— объяснил Бельтраффио.

— Ну, что же... Ступай, Джованни. Желаю тебе любопытного зрелища.

— А разве вы не пойдете?

— Нет,— видишь, я занят.

Ученик хотел проститься, но, сделав над собой усилие, сказал:

— По дороге сюда встретил я мессера Паоло Соменци. Он обещал зайти за нами и провести нас на лучшее место, откуда видно все. Жаль, что вам некогда. А я думал... может быть... Знаете, мастер?.. Поединок назначен в полдень. Если бы вы к тому времени кончили работу, мы еще успели бы?..

Леонардо улыбнулся.

— А тебе так хочется, чтобы и я увидел это чудо?

Джованни потупил глаза.

— Ну, да уж нечего делать — пойду. Бог с тобою!

В назначенное время вернулся Бельтраффио к учителю вместе с Паоло Соменци, подвижным, вертлявым, точно ртутью налитым, человеком, главным флорентинским шпионом герцога Моро, злейшего врага Савонаролы.

— Что это, мессер Леонардо? Правда ли, будто бы вы не желаете сопутствовать нам? — заговорил Паоло неприятным крикливым голосом, с шутовскими ужимками и кривляниями.— Помилуйте! Кому же, как не вам, любителю естественных наук, присутствовать при этом физическом опыте?

— Неужели позволят им войти в огонь? — молвил Леонардо.

— Как вам сказать? Ежели дело дойдет до того,— конечно, фра Доминико и перед огнем не отступит. Да и не он один. Две с половиной тысячи граждан, богатых и бедных, ученых и невежд, женщин и детей, объявили вчера в обители Сан-Марко, что желают участвовать в поединке. Такая, доложу вам, бессмыслица, что и у разумных людей голова идет кругом. Философы-то наши, вольнодумцы, и те боятся: а ну, как один из монахов возьмет да и не сгорит? Нет, мессере, вы только представьте себе лица благочестивых «плакс», когда оба сгорят!

— Не может быть, чтобы Савонарола верил,— произнес Леонардо в раздумьи, как будто про себя.

— Он-то, пожалуй, и не верит,— возразил Соменци,— или, по крайней мере, не совсем верит. И рад бы на попятный двор, да поздно. На свою голову разлакомил чернь. У них, у всех теперь слюнки текут — подавай им чудо, и конец! Ибо тут, мессере, тоже математика, и не менее любопытная, чем ваша: ежели есть Бог, то отчего бы не сделать Ему чуда, так чтобы дважды два было не четыре, а пять, по молитве верных, к посрамлению безбожных вольнодумцев — таких, как мы с вами?

— Ну, что же, пойдем, кажется, пора? — сказал Леонардо, с нескрываемым отвращением взглянув на Паоло.

— Пора, пора!—засуетился тот.—Еще одно только словечко. Механику-то с чудом, думаете, кто подвел? Я! Вот мне и хочется, мессер Леонардо, чтобы вы ее оценили — ибо, если не вы, то кто же?..

— Почему именно я? — произнес художник с брезгливостью.

— Будто бы не понимаете? Я человек простой, сами видите, душа нараспашку. Ну и ведь тоже отчасти философ. Знаю, чего стоят бредни, которыми монахи нас пугают. Мы с вами, мессер Леонардо, в этом деле сообщники. Вот почему, говорю я, на нашей улице праздник. Да здравствует разум, да здравствует наука, ибо есть ли Бог или нет Его,— дважды два все-таки четыре!

Они вышли втроем. По улицам двигалась толпа. В лицах было выражение праздничного ожидания и любопытства, которое Леонардо уже заметил в лице Джованни.

На улице Чулочников, перед Орсанмикеле, там, где стояло в углублении стены бронзовое изваяние Андреа Вероккьо — апостол Фома, влагающий персты свои в язвы Господа,— была особенная давка. Одни читали по складам, другие слушали и толковали вывешенные на стене, отпечатанные большими красными буквами, восемь богословских тезисов, истину коих должен был подтвердить или опровергнуть огненный поединок:

I. Церковь Господня обновится.

II. Бог ее покарает.

III. Бог ее обновит.

IV. После кары Флоренция также обновится и возвеличится над всеми народами.

V. Неверные обратятся.

VI. Все это исполнится немедленно.

VII. Отлучение Савонаролы от Церкви папою Александром VI недействительно.

VIII. Не приемлющие отлучения сего не согрешают.

Теснимые толпою, Леонардо, Джованни и Паоло остановились, прислушиваясь к разговорам.

— Так-то оно так, а все же, братцы, страшно,— говорил старый ремесленник,— как бы греха не вышло?

— Какой же может быть грех, Филиппо? — возразил молодой подмастерье, с легкомысленной и самонадеянной усмешкой.— Я полагаю, никакого греха тут быть не может...

— Соблазн, друг ты мой,— настаивал Филиппо.— Чуда просим, а достойны ли мы чуда? Сказано: Господа Бога твоего не искушай.

— Молчи, старик. Чего каркаешь? Кто веру имеет с горчичное зерно и велит горе сдвинуться,— будет по слову его. Не может Бог не сделать чуда, ежели веруем!

— Не может! Не может! — подхватили голоса в толпе.

— А кто, братцы, первый в огонь войдет, фра Доминико или фра Джироламо?

— Вместе.

— Нет, фра Джироламо только молиться будет, а сам не войдет.

— Как не войдет? Кому же и входить, если не ему? Сперва Доминико, а потом и Джироламо, ну, а за ними и мы сподобимся, грешные,— все, кто в монастыре Сан-Марко записались.

— А правда ли, будто отец Джироламо воскресит мертвеца?

— Правда! Сперва огненное чудо, а потом воскресение мертвого. Я сам читал письмо его к папе. Пусть, говорит, противника назначат: к могиле оба подойдем и скажем по очереди: встань! По чьему велению мертвый встанет из гроба, тот и есть пророк, а другой — обманщик.

— Погодите, братцы, то ли еще будет! Веру имейте и Сына Человеческого узрите во плоти, грядущего на облаках. Такие знамения пойдут, такие чудеса, каких и древле не бывало!

— Аминь! Аминь! — раздавалось в толпе, и лица бледнели, глаза загорались безумным огнем.

Толпа сдвинулась, увлекая их. В последний раз оглянулся Джованни на изваяние Вероккьо. И ему почудилось в нежной, лукавой и бесстрашно любопытной улыбке Фомы Неверного, влагающего пальцы в язвы Господа, сходство с улыбкой Леонардо.

III

Подходя к площади Синьории, попали они в такую давку, что Паоло вынужден был обратиться с просьбой к проезжавшему всаднику городского ополчения, чтобы он провел их к Рингьере — каменному помосту перед Ратушей, где были места для послов и знатных граждан.

Никогда, казалось Джованни, не видел он такой толпы. Не только вся площадь, но и лоджии, башни, окна, кровли домов кишели народом. Цепляясь за вбитые в стену железные подсвечники факелов, за решетки, кровельные выступы домов и водосточные трубы, люди висели,

точно реяли, в головокружительной высоте. Дрались из-за мест. Кто-то упал и разбился до смерти.

Улицы заставлены были рогатками с цепями — кроме трех, где стояли городские стражники, пропускавшие поодиночке только мужчин, взрослых и безоружных.

Паоло, указав спутникам на костер, объяснил устройство «машины». От подножья Рингьеры, где находился Марцокко — геральдический бронзовый лев города Флоренции, по направлению к черепичному навесу — Крыше Пизанцев, разложен был костер, узкий, длинный, с проходом для испытуемых — тропинкой, мощенной камнем, глиной и песком, между двумя стенами дров, обмазанных дегтем и обсыпанных порохом.

Из улицы Векереккиа вышли францисканцы, враги Савонаролы, потом — доминиканцы. Фра Джироламо в белой шелковой рясе с блистающей на солнце дароносицей в руках и фра Доминико в огненно-красной бархатной одежде заключали шествие.

«Воздайте славу Богу,— пели доминиканцы,— величие Его над Израилем и могущество Его на облаках. Страшен Ты, Боже, во Святилище Твоем».

И подхватывая песнь монахов, толпа ответила им потрясающим криком:

— Осанна! Осанна! Благословен Грядый во имя Господне!

Враги Савонаролы заняли соседнюю с Ратушей, ученики его — другую половину Лоджии Орканьи, разделенной для этого случая надвое дощатою перегородкою.

Все было готово; оставалось зажечь костер и войти в него.

Каждый раз, как из Палаццо Веккьо выходили комиссары, устроители поединка, толпа замирала. Но, подбежав к фра Доминико и о чем-то с ним пошептавшись, возвращались они во Дворец. Фра Джульяно Рондинелли скрылся.

Недоумение, напряжение становились невыносимыми. Иные приподымались на цыпочках, вытягивали шеи, чтобы лучше видеть; иные, крестясь и перебирая четки, молились простодушною, детскою молитвою, повторяя все одно и то же: «сделай чудо, сделай чудо, сделай чудо, Господи!»

Было тихо и душно. Раскаты грома, слышные с утра, приближались. Солнце жгло.

На Рингьеру из Палаццо Веккьо вышло несколько знатных граждан, членов Совета, в длинных одеждах из темно-красного сукна, похожих на древнеримские тоги.

— Синьоры! Синьоры! — хлопотал старичок в круглых очках, с гусиным пером за ухом, должно быть, секретарь Совета.— Заседание не кончено. Пожалуйте, голоса собирают...

— Ну их к черту, провались они со своими голосами! — воскликнул один из граждан.— Довольно с меня! Уши вянут от глупостей.

— И чего ждут? — заметил другой.— Если они так желают сгореть, пустить их в огонь — и дело с концом!

— Помилуйте, смертоубийство...

— Пустяки! Подумаешь, какое горе, что на свете меньше будет двумя дураками!

— Вы говорите, сгорят. Но надо, чтобы по всем правилам Церкви, по канонам сгорели — вот в чем суть! Это дело тонкое, богословское...

— А если богословское, отправить к папе...

— При чем тут папа и не папа, монахи и не монахи? О народе, синьоры, должны мы подумать. Ежели бы можно было восстановить спокойствие в городе этою мерою, то, конечно, следовало бы отправить не только в огонь, но и в воду, воздух, землю всех попов и монахов!

— Достаточно — в воду. Мой совет: приготовить чан с водой и окунуть в него обоих монахов. Кто выйдет сух из воды, тот и прав. По крайней мере, безопасно!

— Слышали, синьоры? — подобострастно хихикая, вмешался Паоло.— Бедняга-то наш, фра Джульяно Рондинелли так перетрусил, что заболел расстройством желудка. Кровь пустили, чтобы не умер от страха.

— Вы все шутите, мессеры,— молвил важный старик с умным и грустным лицом,— а я, когда слышу такие речи от первых людей моего народа, не знаю, что лучше — жить или умереть. Ибо воистину руки опустились бы у предков наших, основателей этого города, если бы могли они предвидеть, что потомки их дойдут до такого позора!..

Комиссары продолжали шмыгать из Ратуши в лоджию, из лоджии в Ратушу, и, казалось, переговорам конца не будет.

Францисканцы утверждали, что Савонарола заколдовал рясу Доминико. Он снял ее. Но чары могли быть и в нижнем платье. Тот пошел во дворец и, раздевшись донага, облекся в платье другого монаха. Ему запретили приближаться к брату Джироламо, чтобы тот не заколдовал его снова. Потребовали также, чтобы он оставил крест, который держал в руках. Доминико согласился, но сказал, что войдет в костер не иначе, как со Св. Дарами. Тогда

францисканцы объявили, что ученики Савонаролы хотят сжечь Плоть и Кровь Господню. Напрасно Доминико и Джироламо доказывали, что Св. Причастие не может сгореть, что в огне погибнет только преходящий *модус*, а не вечная *субстанция*. Начался схоластический спор.

В толпе послышался ропот.

В то же время небо покрывалось тучами.

Вдруг из-за Палаццо Веккьо, из Львиной улицы — Виа деи Леони, где содержались в каменном логове львы, геральдические звери Флоренции, раздалось протяжное голодное рыканье. Должно быть, в тот день, в суматохе приготовлений, забыли их накормить.

Казалось, что медный Марцокко, возмущенный позором своего народа, рычит от ярости.

И на звериный рев толпа откликнулась еще более страшным голодным, человеческим ревом:

— Скорее, скорее! В огонь! Фра Джироламо! Чуда! Чуда! Чуда!

Савонарола, молившийся перед Чашей с Дарами, как будто очнулся, подошел к самому краю лоджии и прежним властным движением поднял руки, повелевая народу молчать.

Но народ не замолчал.

В задних рядах, под Крышею Пизанцев, среди шайки «бешеных», кто-то крикнул:

— Струсил!

И по всей толпе пронесся этот крик.

На задние ряды напирала железная конница «аррабиати». Они хотели, протеснившись к лоджии, напасть на Савонаролу и убить его в свалке.

— Бей, бей, бей проклятых святош! — послышались неистовые вопли.

Перед Джованни замелькали зверские лица. Он зажмурил глаза, чтобы не видеть, думая, что брата Джироламо сейчас схватят и растерзают.

Но в это мгновение грянул гром, небо вспыхнуло молнией, и хлынул дождь, такой, какого давно не видали во Флоренции.

Он длился недолго. Но когда стих, нечего было думать об огненном поединке: из прохода между двумя стенами дров, как из водосточного желоба, струился бурный поток.

— Ай да монахи! — смеялись в толпе.— Шли в огонь, попали в воду. Вот так чудо!

Отряд воинов провожал Савонаролу сквозь разъяренную толпу.

После бури наступило тихое ненастье.

Сердце Бельтраффио сжалось, когда увидел он, как, под медленным серым дождем, брат Джироламо шел торопливым, падающим шагом, сгорбившись, опустив куколь на глаза, в белой одежде, забрызганной уличной грязью.

Леонардо взглянул на бледное лицо Джованни и, взяв его за руку, опять, как во время Сожжения Сует, вывел из толпы.

IV

На следующий день, в той же комнате в доме Берарди, похожей на каюту корабля, доказывал художник мессеру Гвидо нелепость мнения Колумба о местоположении Рая на сосце грушевидной земли.

Тот сначала слушал внимательно, возражал и спорил; потом вдруг затих и опечалился, как будто обиделся на Леонардо за истину.

Немного погодя, жалуясь на боль в ногах, Гвидо велел унести себя в спальню.

«Зачем я огорчил его? — подумал художник.— Не истина нужна ему, так же как ученикам Савонаролы, а чудо».

В одной из рабочих тетрадей, которые он перелистывал, на глаза ему попались строки, писанные в памятный день, когда чернь ломилась в дом его, требуя Святейшего Гвоздя:

«О, дивная справедливость Твоя, Первый Двигатель! Ты не пожелал лишить никакую силу порядка и качества необходимых действий: ибо, если должно ей подвинуть тело на сто локтей и на пути встречается преграда, Ты повелел, чтобы сила удара произвела новое движение, получая замену непройденного пути различными толчками и сотрясениями. О, божественная необходимость Твоя, Первый Двигатель,— так принуждаешь Ты своими законами все последствия вытекать кратчайшим путем из причины. Вот чудо!»

И вспомнив о Тайной Вечере, о лике Христа, которого он все еще искал и не находил, художник почувствовал, что между этими словами о Первом Двигателе, о божественной необходимости и совершенною мудростью Того, Кто сказал: «один из вас предаст Меня» — должна быть связь.

Вечером пришел к нему Джованни и рассказал о событиях дня.

Синьория повелела брату Джироламо и Доминико покинуть город. Узнав, что они медлят, «бешеные», с оружием, с пушками и несметной толпой народа, окружили обитель Сан-Марко и ворвались в церковь, где монахи служили вечерню. Они защищались, нанося удары горячими свечами, подсвечниками, деревянными и медными распятиями. В клубах порохового дыма, в зареве пожара, казались они смешными, как разъяренные голуби, страшными, как дьяволы. Один взобрался на крышу церкви и бросал оттуда камни. Другой вскочил на алтарь и, стоя под Распятием, стрелял из аркебузы, выкрикивая после каждого выстрела: «Слава Господу!»

Монастырь взяли приступом. Братья молили Савонаролу бежать. Но он предался в руки врагов вместе с Доминико. Их повели в тюрьму.

Стражи Синьории напрасно хотели или делали вид, что хотят охранить их от оскорблений толпы.

Одни ударяли брата Джироламо сзади по щекам и гнусили, подражая церковному пению «плакс»:

— Прореки, прореки, ну-ка, Божий человек, кто ударил, прореки!

Другие ползали в ногах его, на четвереньках, как будто искали чего-то в грязи и хрюкали: «Ключика, ключика! Не видал ли кто Джироламова ключика?» — намекая на часто упоминавшийся в проповедях его «ключик», которым грозил он отпереть тайники римских мерзостей.

Дети, бывшие солдаты Священного Воинства маленьких инквизиторов, кидали в него гнилыми яблоками, тухлыми яйцами.

Те, кому не удалось пробраться сквозь толпу, вопили издали, повторяя все одни и те же бранные слова, как будто не могли ими насытиться:

— Трус! Трус! Трус! Иуда! Предатель! Содомит! Колдун! Антихрист!

Джованни проводил его до дверей тюрьмы в Палаццо Веккьо. На прощание, когда брат Джироламо переступал порог темницы, из которой должен был выйти на смертную казнь, один весельчак поддал ему коленом в зад и крикнул:

— Вот откуда выходили у него пророчества!

На следующее утро Леонардо с Джованни выехали из Флоренции.

Тотчас по приезде в Милан погрузился художник в работу, которую откладывал в течение восемнадцати лет,— над ликом Господним в Тайной Вечере.

V

В самый день неудавшегося огненного поединка, канун Вербного Воскресенья, 7-го апреля 1498 г. скоропостижно умер король Франции Карл VIII.

Весть о его кончине ужаснула Моро, ибо на престол должен был вступить под именем Людовика XII злейший недруг дома Сфорца, герцог Орлеанский. Внук Валентины Висконти, дочери первого миланского герцога, считал он себя единственным законным наследником Ломбардии и намеревался отвоевать ее, разорив дотла «разбойничье гнездо Сфорца».

Еще до смерти Карла VIII в Милане при дворе Моро происходил «ученый поединок», который так понравился герцогу, что через два месяца назначен был второй. Многие полагали, что он отменит это состязание ввиду предстоявшей войны, но ошиблись, ибо Моро, искушенный в притворстве, счел для себя выгодным показать врагам, что мало заботится о них, что под кроткою державою Сфорца более, чем когда-либо, процветают в Ломбардии возрожденные искусства и науки, «плоды золотого мира», что престол его охраняется не только оружием, но и славою просвещеннейшего из государей Италии, покровителя муз.

В Рокетте, в «большой зале для игры в мяч», собрались доктора, деканы, магистры Павийского университета, в красных четырехугольных шапках, в шелковых пунцовых наплечниках, подбитых горностаем, с фиолетовыми замшевыми перчатками и шитыми золотом мошнами у пояса. Придворные дамы — в роскошных бальных нарядах. В ногах у Моро, по обеим сторонам его трона, сидели мадонна Лукреция и графиня Чечилия.

Заседание открылось речью Джорджо Мерулы, который, сравнивая герцога с Периклом, Эпаминондом, Сципионом, Катоном, Августом, Меценатом, Траяном, Титом и множеством других великих людей, доказывал, что новые Афины — Милан превзошли древние.

Затем начался богословский спор о непорочном зачатии Девы Марии; медицинский — по вопросам:

«Красивые женщины плодороднее ли некрасивых? Естественно ли было исцеление Товия рыбною желчью? Есть ли женщина несовершенное создание природы? В какой внутренней части тела образовалась вода, вытекшая из раны Господа, когда на кресте Он пронзен был копьем? Женщина сладострастнее ли мужчины?»

Следовало состязание философское о том, многообразна ли первично-первая материя или едина?

— Что значит сия апофтегма? — спрашивал старичок с ядовитой беззубой усмешкой, с глазами мутными, как у грудных детей, великий доктор схоластики, сбивая с толку своих противников и устанавливая такое тонкое отличие *quidditas* от *habitus*[1], что никто не мог его понять.

— Первично-первая материя,— доказывал другой,— не есть ни субстанция, ни акцидент. Но поколику под всяким актом разумеется или акцидент, или субстанция, потолику первично-первая материя не есть акт.

— Я утверждаю,— восклицал третий,— что всякая созданная субстанция, духовная или телесная, причастна материи.

Старый доктор схоластики только покачивал головой, точно заранее знал все, что возразят ему противники, и мог разрушить софизмы их одним дуновением, как паутину.

— Скажем так,— объяснял четвертый,— мир есть дерево: корни — первая материя, листья — акцидент, ветви — субстанции, цвет — разумная душа, плод — ангельская природа, Бог — садовник.

— Первично-первая материя едина,— выкрикивал пятый, никого не слушая,— вторично-первая двойственна, третично-первая множественна. И все стремятся к единству. Omnia unitatem appetunt.

Леонардо слушал, как всегда, молчаливый и одинокий; порой тонкая усмешка скользила по его губам.

После перерыва математик, францисканский монах фра Лука Паччоли, показал хрустальные изображения многогранников — полиэдров, излагая пифагорейское учение о пяти первозданных правильных телах, из коих будто бы возникла вселенная, и прочел стихи, которыми эти тела сами себя прославляют:

Науки плод сладчайший и прелестный
Всех побуждал издревле мудрецов
Искать причины нашей неизвестной.
Мы красотой сияем бестелесной.
Мы — первое начало всех миров,
И нашею гармонией чудесной
Платон пленялся, Пифагор, Евклид.
Предвечную мы наполняем Сферу,
Такой имея совершенный вид,
Что всем телам даем закон и меру.

VI

Графиня Чечилия, указывая на Леонардо, шепнула что-то герцогу. Тот подозвал его и просил принять участие в поединке.

---

[1] сущности от внешнего (*лат.*).

— Мессере,— приступила к нему сама графиня,— будьте любезны...

— Видишь, дамы просят,— молвил герцог.— Не скромничай. Ну, что тебе стоит? Расскажи нам что-нибудь позабавнее. Я ведь знаю, ум у тебя всегда полон чудеснейшими химерами...

— Ваше высочество, увольте. Я бы рад, мадонна Чечилия, но, право же, не могу, не умею...

Леонардо не притворялся. Он в самом деле не любил и не умел говорить перед толпою. Между словом и мыслью его была вечная преграда. Ему казалось, что всякое слово преувеличивает или не договаривает, изменяет и лжет. Отмечая свои наблюдения в дневниках, он постоянно переделывал, перечеркивал и поправлял. Даже в разговоре запинался, путался, обрывал — искал и не находил слов. Ораторов, писателей называл болтунами, щелкоперами, а между тем, втайне, завидовал им. Округленная плавность речи, иногда у самых ничтожных людей, внушала ему досаду, смешанную с простодушным восхищением: «дает же Бог людям такое искусство!» — думал он.

Но чем усерднее отказывался Леонардо, тем более настаивали дамы.

— Мессере,— щебетали они хором, окружив его,— пожалуйста! Мы все, видите, все умоляем вас. Ну расскажите же, расскажите нам что-нибудь хорошенькое!..

— О том, как люди будут летать,— предложила дондзелла Фиордализа.

— Лучше о магии,— подхватила дондзелла Эрмеллина,— о черной магии. Это так любопытно! Некромантия — как мертвецов из могил вызывают...

— Помилуйте, мадонна, могу вас уверить, я никогда мертвецов не вызывал...

— Ну, все равно, о чем-нибудь другом. Только пострашнее — и без математики...

Леонардо не умел отказывать, кто и о чем бы его ни просил.

— Я, право, не знаю, мадонны...— проговорил он в смущении.

— Согласен! Согласен! — захлопала в ладоши Эрмеллина.— Мессер Леонардо будет говорить. Слушайте!

— Что такое? А? Кто? — спрашивал выживший из ума от старости, тугой на ухо, декан богословского факультета.

— Леонардо! — крикнул ему сосед, молодой магистр медицины.

— О Леонардо Пизано, математике, что ли?

— Нет, сам Леонардо да Винчи.

— Да Винчи? Доктор или магистр?

— Не доктор и не магистр, даже не бакалавр, а так, просто художник Леонардо, тот, что Тайную Вечерю написал.

— Художник? О живописи?

— Кажется, по естественным наукам...

— По естественным наукам? Да разве ныне художники учеными стали? Леонардо?.. Что-то не слыхал... Какие же у него сочинения?

— Никаких. Он не издает.

— Не издает?

— Говорят, все левою рукою пишет,— вмешался другой сосед,— тайным письмом, так, чтобы нельзя было разобрать.

— Чтобы нельзя было разобрать? Левою рукою? — с возрастающим изумлением повторял декан.— Да это, мессеры, должно быть, что-нибудь смешное. А? Для отдыха от занятий, я так полагаю, для развлечения герцога и прекраснейших синьор?

— Может быть, и смешное. Вот посмотрим...

— Ну, то-то. Вы бы так и сказали... Конечно, люди придворные: нельзя не повеселиться. Ну, да и забавный народ эти художники — умеют потешить! Вот Буффальмако, шут, говорят, был тоже и весельчак хоть куда... Ну, послушаем, послушаем, какой такой Леонардо!

Он протер очки, чтобы лучше видеть предстоявшее зрелище.

С последней мольбой взглянул Леонардо на герцога. Тот, улыбаясь, хмурился. Графиня Чечилия грозила пальчиком.

— Пожалуй, рассердятся,— подумал художник.— Скоро надо просить о выдаче бронзы для Коня... Э, все равно, куда ни шло — расскажу им первое, что в голову взбредет,— только бы отвязаться!

С отчаянною решимостью он взошел на кафедру и оглянул ученое собрание.

— Я должен предупредить ваши милости,— начал он, заикаясь и краснея, как школьник.— Для меня неожиданно... Только по настоянию герцога... То есть, я хочу сказать... мне кажется... ну, словом — я буду говорить о раковинах.

Он стал рассказывать об окаменелых морских животных, отпечатках водорослей и кораллов, находимых в пеще-

рах и горах, вдали от моря,— свидетелях того, как с незапамятной древности лицо земли изменялось — там, где ныне суша и горы, было дно океана. Вода, двигатель природы — ее *возница* — создает и разрушает горы. Приближаясь к средине морей, берега растут, и внутренние, средиземные моря постепенно обнажают дно, оставляя лишь русло единой реки, впадающей в океан. Так По, высушив Ломбардию, впоследствии сделает то же со всей Адриатикой. Нил, превратив Средиземное море в песчаные холмы и равнины, подобные Египту и Ливии, будет впадать в океан за Гибралтаром.

— Я уверен,— заключил Леонардо,— что исследование окаменелых животных и растений, которым доныне ученые пренебрегали, даст начало новой науке о земле, об ее прошлом и будущем.

Мысли его были так ясны, точны, полны, несмотря на видимую скромность, непоколебимой верою в знание, так не похожи на туманные пифагорейские бредни Паччоли, на мертвую схоластику ученых докторов, что, когда он умолк, на лицах выразилось недоумение: как быть? что делать? хвалить или смеяться? новая ли это наука, или самонадеянный лепет невежды?

— Мы очень бы желали, мой Леонардо,— сказал герцог со снисходительной улыбкой, как взрослые говорят с детьми,— мы очень бы желали, чтобы пророчество твое исполнилось, чтобы Адриатическое море высохло, и венецианцы, наши враги, остались на лагунах своих, как раки на мели!

Все почтительно и вместе с тем преувеличенно засмеялись. Направление было дано — и придворные флюгера повернулись по ветру. Ректор Павийского университета, Габриеле Пировано, серебристо-седой, благообразный старик, с величественным и ничтожным лицом, произнес, отражая в учтиво-осторожной, плоской улыбке своей снисходительную шутливость герцога:

— Сообщенные вами сведения очень любопытны, мессер Леонардо. Но я позволю себе заметить: не проще ли объяснить происхождение этих маленьких ракушек — случайной, забавной, можно сказать, очаровательной, но совершенно невинной игры природы, на коей вы желаете основать целую науку,— не проще ли, говорю я, объяснить их происхождение, как и раньше это делали,— всемирным потопом?

— Да, да, потоп,— подхватил Леонардо, уже без всякого смущения, с непринужденностью, которая многим по-

казалась чересчур вольной, даже дерзкой,— я знаю, все говорят: потоп. Только объяснение это никуда не годится. Посудите сами: уровень воды во время потопа, по словам того, кто измерял его, был на десять локтей выше высочайших гор. Следовательно, раковины, носимые бурными волнами, должны были бы опуститься сверху, непременно сверху, мессер Габриеле, а не сбоку, не у подножия гор, но внутри подземных пещер, и притом — в беспорядке, по прихоти волн, а не на одном и том же уровне, не последовательными слоями, как мы это наблюдаем. И ведь заметьте,— вот что любопытно! — те животные, которые водятся стадами — слизняки, каракатицы, устрицы — так и лежат вместе; а живущие в одиночку лежат порознь, точь-в-точь, как мы это можем видеть и ныне на морских берегах. Я сам много раз наблюдал расположение окаменелых раковин в Тоскане, в Ломбардии, в Пьемонте. Если же вы скажете, что они занесены не волнами потопа, а сами мало-помалу поднялись за водой, по мере того, как она прибывала, то и это возражение очень легко опровергнуть, ибо раковина — животное столь же или даже еще более медлительное, чем улитка. Никогда не плавает она, а только ползает по песку и камням посредством движения створ, и самое большее, что может сделать в день такого пути,— три, четыре локтя. Как же, скажите на милость, как же вы хотите, мессер Габриеле, чтобы в течение сорока дней, которые длился потоп, по свидетельству Моисея, проползла она 250 миль, отделяющих холмы Монферато от берегов Адриатики? Утверждать это посмеет лишь тот, кто, пренебрегая опытом и наблюдением, судит о природе по книгам, по измышлениям болтунов-словесников и ни разу не полюбопытствовал собственными глазами взглянуть на то, о чем говорит!

Наступило неловкое молчание. Все чувствовали, что возражение ректора слабо и что не он на Леонардо, а скорее Леонардо на него имеет право смотреть как учитель на ученика.

Наконец, придворный астролог, любимец Моро, мессер Амброджо да Розате, предложил, ссылаясь на Плиния Натуралиста, другое объяснение: окаменелости, имеющие только вид морских животных, образовались в недрах земли магическим действием звезд.

При слове «магический» покорная скучающая усмешка заиграла на губах Леонардо.

— Как же, мессер Амброджо,— возразил он,— объясните вы то, что влияние одних и тех же звезд, на одном

и том же месте образовало животных не только различных пород, но и различных возрастов, ибо я открыл, что по разрезу раковин, так же, как по рогам быков и овец, по разрубленным стволам деревьев, можно с точностью определить число не только лет, но и месяцев их жизни? Как объясните вы, что одни из них цельные, другие сломанные, третьи с песком, илом, клешнями крабов, с рыбьими костями и зубами, с крупным щебнем, подобным тому, какой встречается на морских берегах, из камешков, округленных волнами? А нежные отпечатки листьев на скалах высочайших гор? А водоросли, прилипшие к раковинам, окаменелые, слитые в один комок? Откуда все это? От влияния звезд? Но ведь, ежели так рассуждать, мессере, то я полагаю, во всей природе не найдется ни одного явления, которого бы нельзя было объяснить магическим влиянием звезд — и тогда все науки, кроме астрологии, тщетны...

Старый доктор схоластики попросил слова и, когда ему дали его, заметил, что спор ведется неправильно, ибо одно из двух: или вопрос об ископаемых животных принадлежит низшему, «механическому» знанию, чуждому метафизики, и тогда говорить о нем нечего, так как не затем они сюда собирались, чтобы состязаться о предметах нефилософских; или же относится он к истинному высшему знанию — к диалектике; в таком случае и рассуждать о нем должно по правилам диалектики, возвысив помыслы к чистому умозрению.

— Знаю,— проговорил Леонардо с еще более покорным и скучающим видом,— знаю, что вы хотите сказать, мессере. Я тоже много думал об этом. Только все это не так!

— Не так? — усмехнулся старик и весь точно налился ядом.— А ежели не так, мессере, просветите нас, будьте добрым, научите, что же, по-вашему, так?

— Ах нет, я вовсе не хотел... Уверяю вас... Я только о раковинах... Я, видите ли, думаю... Словом, нет высших и низших знаний, а есть одно, вытекающее из опыта...

— Из опыта? Вот как! Ну, а как же, позвольте вас спросить, как же метафизика Аристотеля, Платона, Плотина — всех древних философов, которые рассуждали о Боге, о духе, о сущностях,— неужели все это?..

— Да, все это не наука,— возразил Леонардо спокойно.— Я признаю величие древних, но не в этом. В науке пошли они ложным путем. Хотели познать недоступное знанию, а доступное презрели. Запутали себя и других на много веков. Ибо, рассуждая о предметах недоказуемых, не

могут люди прийти к соглашению. Там, где разумных доводов нет, они заменяются криками. Но кто знает, тому кричать не нужно. Слово истины едино, и когда оно сказано, все крики спорящих должны умолкнуть; если же они продолжаются, значит, нет еще истины. Разве в математике спорят о том, дважды три — шесть или пять? Равна ли сумма углов в треугольнике двум прямым или не равна? Не исчезает ли здесь всякое противоречие перед истиной, так что служители ее могут наслаждаться ею в мире, чего никогда не бывает в мнимых, софистических науках?..

Он хотел что-то прибавить, но, взглянув на лицо противника, умолк.

— Ну, вот мы и договорились, мессер Леонардо! — еще язвительнее усмехнулся доктор схоластики.— Я, впрочем, знал, что мы с вами поймем друг друга. Одного я в толк не возьму,— вы уж меня, старика, извините. Как же так? Неужели все наши познания о душе, о Боге, о загробной жизни, естественному опыту не подлежащие, «недоказуемые», как вы сами изволили выразиться, но подтверждаемые непреложным свидетельством Священного Писания?..

— Я этого не говорю,— остановил его Леонардо, нахмурившись.— Я оставляю вне спора книги боговдохновенные, ибо они суть высшая истина...

Ему не дали кончить. Произошло смятение. Одни кричали, другие смеялись, третьи, вскакивая с мест, обращались к нему с гневными лицами, четвертые, презрительно пожимая плечами, отвертывались.

— Довольно! Довольно! — Дайте возразить, мессеры! — Да что же тут возражать, помилуйте! — Бессмыслица! — Я прошу слова! — Платон и Аристотель! — Все-то дело выеденного яйца не стоит! — Как же позволяют? Истины святой нашей матери церкви! — Ересь, ересь! Безбожие...

Леонардо молчал. Лицо его было тихо и грустно. Он видел свое одиночество среди этих людей, считавших себя служителями знания; видел непереступную бездну, отделявшую его от них, и чувствовал досаду не на противников, а на себя за то, что не сумел замолчать вовремя, уклониться от спора; за то, что еще раз, наперекор бесчисленным опытам, соблазнился надеждой, будто бы достаточно открыть людям истину, чтобы они ее приняли.

Герцог с вельможами и придворными дамами, давно уже ничего не понимая, все же следил за спором с большим удовольствием.

— Славно! — радовался он, потирая руки.— Настоящее сражение! Смотрите, мадонна Чечилия, сейчас подерутся! Вон старичок из кожи лезет, весь трясется, кулаками грозит, шапку сорвал и махает. А черненький-то, черненький за ним — пена у рта! И ведь из-за чего? Из-за каких-то окаменелых раковин. Удивительный народ эти ученые! Беда с ними, право. А наш-то Леонардо, каков! Еще тихоней прикидывался...

И все смеялись, любуясь на поединок ученых, как на бой петухов.

— Пойду-ка я спасать моего Леонардо,— молвил герцог,— а то его красные колпаки совсем заклюют!..

Он вошел в толпу ожесточенных противников, и они умолкли, расступились перед ним, как будто успокоительный елей пролился в бурное море: достаточно было одной улыбки Моро, чтобы примирить физику с метафизикой.

Приглашая гостей ужинать, он прибавил с любезностью:

— Ну, синьоры, поспорили, погорячились и довольно! Надо и силы подкрепить. Милости просим! Я полагаю, мои вареные животные из Адриатического моря,— благо оно еще не высохло,— возбудят меньше споров, чем окаменелые животные мессера Леонардо.

VII

За ужином Лука Паччоли, сидевший рядом с Леонардо, шепнул ему на ухо:

— Не сердитесь, друг мой, что я промолчал, когда на вас напали: они не так поняли; а, в сущности, вы могли бы с ними сговориться, ибо одно другому не мешает — только крайностей не надо ни в чем, и все можно примирить, все соединить...

— Я с вами совершенно согласен, фра Лука,— сказал Леонардо.

— Ну, вот, вот. Так-то лучше! В мире да в согласии. А то, помилуйте, говорю я, зачем же ссориться? Хороша метафизика, хороша и математика. Всем хватит места. Вы нам, а мы вам. Не так ли, дражайший?

— Именно так, фра Лука.

— Ну и прекрасно, и прекрасно! Значит, никаких недоразумений быть не может? Вы нам, а мы вам...

«Ласковый теленок двух маток сосет»,— подумал художник, глядя на хитрое, с мышиной юркостью в глазах,

умное лицо монаха-математика, умевшего примирить Пифагора с Фомой Аквинатом.

— За ваше здоровье, учитель! — поднимая кубок и наклоняясь к нему, с видом сообщника, молвил другой сосед, алхимик Галеотто Сакробоско.— Ловко же вы их, черт побери, на удочку поддели! Тончайшая аллегория!

— Какая аллегория?

— Ну, вот опять! Нехорошо, мессере! Со мной-то уж, кажется, нечего хитрить. Слава Богу — посвященные! Друг друга не выдадим...

Старик лукаво подмигнул.

— Какая аллегория, спрашиваете вы, а вот какая: суша — сера, солнце — соль, воды океана, покрывавшие некогда вершины гор,— ртуть, живая влага Меркурия. Что? Разве не так?

— Так, мессер Галеотто, именно так! — рассмеялся Леонардо.— Вы удивительно верно поняли мою аллегорию!

— Понял, видите? И мы, значит, кое-что разумеем! А раковины окаменелые — это и есть камень мудрецов, великая тайна алхимиков, образуемая соединением солнца — соли, суши — серы и влаги — Меркурия. Божественное превращение металлов!

Подняв указательный палец и облезлые брови, опаленные огнем алхимических горнов, старик залился своим добрым, детски-простодушным смехом:

— А ученые-то наши, красные колпаки, так ничего и не поняли! Ну, выпьемте же за ваше здоровье, мессер Леонардо, и за процветание матери нашей Алхимии!

— С удовольствием, мессер Галеотто! Я теперь вижу, что от вас, в самом деле, не спрячешься, и даю слово, что впредь уже никогда не буду хитрить.

После ужина гости разошлись. Только маленькое, избранное общество герцог пригласил в прохладный, уютный покой, куда принесли вина и плодов.

— Ах, прелесть, прелесть! — восхищалась дондзелла Эрмеллина.— Я бы никогда не поверила, что это так забавно. Признаться, думала — скука. А ведь вот лучше всяких балов! Я с удовольствием каждый день присутствовала бы на таких ученых поединках. Как они рассердились на Леонардо, как закричали! Жаль, не дали ему кончить. Мне так хотелось, чтобы он рассказал что-нибудь о своем колдовстве, о некромантии...

— Не знаю, правда ли, может быть, так только болтают,— произнес один старый вельможа,— будто бы Леонар-

до столь еретические мнения составил в уме своем, что и в Бога не верует. Предавшись наукам естественным, полагает он, что куда лучше быть философом, чем христианином...

— Вздор! — решил герцог.— Я его знаю. Золотое сердце. Храбрится только на словах, а на деле блохи не обидит. Говорят, опасный человек. Помилуйте, нашли кого бояться! Отцы-инквизиторы могут кричать, сколько душе их угодно, я никому моего Леонардо в обиду не дам!

— И потомство,— с почтительным поклоном молвил Бальдассаре Кастильоне, изящный вельможа Урбинского двора, приехавший гостить в Милан,— потомство будет благодарно вашему высочеству за то, что вы сохранили столь необычайного, можно сказать, единственного в мире художника. А все-таки жаль, что он пренебрегает искусством, наполняя свой ум такими странными мечтаниями, такими чудовищными химерами...

— Ваша правда, мессер Бальдассаре,— согласился Моро.— Сколько раз говорил я ему: брось ты свою философию! Ну, да ведь знаете, такой уж народ художники. Ничего не поделаешь. С них и требовать нельзя. Чудаки!

— Совершенно верно изволили выразиться, ваша светлость! — подхватил другой вельможа, главный комиссар соляных налогов, которому давно уже хотелось что-то рассказать о Леонардо.— Именно чудаки! Такое, знаете ли, иной раз подумают, что только диву даешься. Прихожу я как-то намедни в его мастерскую — рисуночек нужен был аллегорический для свадебного ящика. Что, говорю, мастер дома? — Нет, ушел, очень занят и заказов не принимает.— А чем же, спрашиваю, занят? — Измеряет тяжесть воздуха.— Я тогда подумал: смеются они надо мной. А потом встречаю самого Леонардо.— Что, правда, мессере, будто вы тяжесть воздуха измеряете? — Правда, говорит,— и на меня же, как на дурака, посмотрел. Тяжесть воздуха! Как вам это нравится, мадонны? Сколько фунтов, сколько гран в зефире весеннем!..

— Это еще что! — заметил молодой камерьере с прилично тупым и самодовольным лицом.— А вот я слышал, он лодку такую изобрел, что против течения ходит без весел!

— Без весел? Сама собою?..

— Да, на колесах, силою пара.

— Лодка на колесах! Должно быть, вы это только что сами придумали...

— Честью могу вас уверить, мадонна Чечилия, я слышал от фра Лука Паччоли, который видел рисунок машины. Леонардо полагает, что в паре такая сила, что можно ею двигать не только лодки, но и целые корабли.

— Ну, вот, вот видите, говорила я — это и есть черная магия, некромантия! — воскликнула дондзелла Эрмеллина.

— Да уж чудак, чудак, нечего греха таить,— заключил герцог с добродушною усмешкою.— А все-таки люблю я его: с ним весело, никогда не соскучишься!

VIII

Возвращаясь домой, Леонардо шел тихою улицей предместья Верчельских ворот. По краям ее козы щипали траву. Загорелый мальчик в лохмотьях хворостиною гнал стадо гусей. Вечер был ясный. Только на севере, над невидимыми Альпами, громоздились тяжкие, точно каменные, тучи, окаймленные золотом, и между ними, в бледном небе, горела одинокая звезда.

Вспоминая два поединка, которых был он свидетелем,— поединок чуда во Флоренции, поединок знания в Милане,— Леонардо думал о том, как они различны и вместе с тем похожи — точно двойники.

На каменной лестнице, прилепленной снаружи к ветхому домику, девочка лет шести ела ржаную лепешку с печеною луковицей.

Он остановился и поманил ее. Она посмотрела на него со страхом; потом, видимо доверившись улыбке его, сама улыбнулась и сошла, тихонько ступая коричневыми босыми ножками по ступеням, облитым кухонными помоями с яичными и раковыми скорлупами. Он вынул из кармана тщательно завернутый в бумагу, обсахаренный и позолоченный померанец, одно из тех лакомств, какие подавались при дворе: часто брал он их со стола и носил в кармане, чтобы раздавать уличным детям во время прогулок.

— Золотой! — прошептала девочка.— Золотой мячик!

— Не мячик, а яблоко. Вот попробуй: внутри сладкое.

Не решаясь отведать, она разглядывала невиданное лакомство с безмолвным восхищением.

— Как тебя зовут? — спросил Леонардо.

— Майя.

— А знаешь ли, Майя, как петух, козел и осел пошли рыбу ловить?

— Не знаю.

— Хочешь расскажу?

Он гладил ее по спутанным мягким волосам своей нежной, точно у молодой девушки, длинной и тонкой рукой.

— Ну, пойдем, сядем. Постой-ка, были у меня еще анисовые лепешки. А то, я вижу, Майя, ты золотого яблока не будешь есть.

Он стал искать в кармане.

На крыльце показалась молодая женщина. Она посмотрела на Леонардо и Майю, кивнула приветливо головой и села за прялку.

Вслед за ней вышла из дома сгорбленная старушка, с такими же ясными глазами, как у Майи,— верно, бабушка.

Она посмотрела тоже на Леонардо и вдруг, как будто узнав его, всплеснула руками, наклонилась к пряхе и что-то сказала ей на ухо; та вскочила и крикнула:

— Майя, Майя! Иди скорее!..

Девочка медлила.

— Да ступай же, негодница! Вот погоди, ужо я тебя!..

Испуганная Майя взбежала по лестнице. Бабушка вырвала у нее золотое яблоко и швырнула его через стену на соседний двор, где хрюкали свиньи. Девочка заплакала. Но старуха что-то шепнула ей, указывая на Леонардо. Майя тотчас притихла и посмотрела на него широко открытыми глазами, полными ужаса.

Леонардо отвернулся, опустил голову и молча быстро пошел прочь.

Он понял, что старуха знала его в лицо, слышала, будто бы он колдун, и подумала, что он может сглазить Майю.

Он уходил от них, точно убегал, в таком смущении, что продолжал искать в кармане уже ненужных анисовых лепешек, улыбаясь растерянной, виноватою улыбкою.

Перед этими испуганными, невинными глазами ребенка он чувствовал себя более одиноким, чем перед толпой народа, желавшего убить его, как безбожника, чем перед собранием ученых, смеявшихся над истиной, как над лепетом безумца; он чувствовал себя таким же далеким от людей, как одинокая вечерняя звезда в безнадежно-ясном небе.

Вернувшись домой, вошел в рабочую комнату. Со своими пыльными книгами и научными приборами она показалась ему мрачною, как тюрьма. Он сел за стол, зажег свечу, взял одну из тетрадей и погрузился в недавно начатое исследование законов движения тел по наклонным плоскостям.

Математика, так же как музыка, имела власть успокаивать его. И в этот вечер дала она сердцу его знакомую отраду.

Окончив вычисление, вынул он дневник из потайного ящика в столе и левою рукою, обратным письмом, которое можно было прочесть только в зеркале, записал мысли, внушенные ему поединком ученых:

«Книжники и словесники, ученики Аристотеля, вороны в павлиньих перьях, глашатаи и повторители чужих дел, презирают меня, изобретателя. Но я мог бы им ответить, как Марий римским патрициям: украшаясь чужими делами, не хотите вы оставить мне плода моих собственных.

Между испытателями природы и подражателями древних такая же разница, как между предметом и его отражением в зеркале.

Они думают, что, не будучи словесником подобно им, я не имею права писать и говорить о науке, ибо не могу выражать моих мыслей, как должно. Они не знают, что сила моя не в словах, а в опыте, учителе всех, кто хорошо писал.

Не желая и не умея, как они, ссылаться на книги древних, я сошлюсь на то, что правдивее книг,— на опыт, учителя всех учителей».

Свеча горела тускло. Единственный друг бессонных ночей его, кот, вскочив на стол, равнодушно ласкался, мурлыкая. Одинокая звезда сквозь стекла пыльных окон казалась теперь еще дальше, еще безнадежнее. Он взглянул на нее и вспомнил глаза Майи, устремленные на него с бесконечным ужасом, но не опечалился: он снова был ясен и тверд в своем одиночестве.

Только в сокровенной глубине его сердца, которой он сам не знал, как теплый ключ под корою льда на дне замерзшей реки, кипела непонятная горечь, подобная угрызению, точно в самом деле он в чем-то виноват был перед Майей,— хотел себя простить и не мог.

IX

На следующее утро собирался Леонардо в монастырь делле Грацие для работы над ликом Господним.

Механик Астро ждал на крыльце с тетрадями, кистями и ящиками красок. Выйдя на двор, художник увидел конюха Настаджо, который, стоя под навесом, усердно чистил скребницей серую в яблоках кобылу.

— Что Джаннино? — спросил Леонардо.

Джанино было имя одной из его любимых лошадей.

— Ничего,— небрежно ответил конюх.— Пегий хромает.

— Пегий! — с досадой произнес Леонардо.— Давно ли?

— Четвертый день.

Не глядя на хозяина, молча и сердито продолжал Настаджо тереть зад лошади с такой силой, что она переминалась с ноги на ногу.

Леонардо пожелал видеть пегого. Настаджо повел его в конюшню.

Когда Джованни Бельтраффио вышел на двор, чтобы умыться свежей водой из колодца, он услыхал пронзительный, визгливый, точно женский, голос, каким Леонардо кричал в тех припадках мгновенного, сильного, но никому не страшного гнева, которые иногда бывали у него.

— Кто, кто, говори, болван, пьяная твоя рожа, кто просил тебя лошадей лечить у коновала?

— Помилуйте, мессере, разве можно больной лошади не лечить?

— Лечить! Ты думаешь, ослиная твоя голова, этим вонючим снадобьем?..

— Не снадобьем, а слово есть такое — заговор. Вы этого дела не разумеете — оттого и сердитесь...

— Убирайся ты к черту со своими заговорами! Ну куда ему, неучу, живодеру, лечить, когда он о строении тела, об анатомии не слыхивал?

Настаджо поднял свои заплывшие ленивые глаза, посмотрел исподлобья на хозяина и молвил с видом бесконечного презрения:

— Анатомия!

— Негодяй!.. Вон, вон из дому моего!..

Конюх и бровью не повел: по давнему опыту знал он, что, когда вспышка минутного гнева пройдет, хозяин будет заискивать в нем, только бы он остался, ибо ценил в нем великого знатока и любителя лошадей.

— Я и то хотел просить расчета,— проговорил Настаджо.— Три месяца жалованья за вашею милостью. А что касается сена, вины моей нет. Марко на овес денег не выдает.

— Это еще что такое? Как он смеет не давать, когда я велел?

Конюх пожал плечами, отвернулся, показывая, что не желает более разговаривать, деловито крякнул и снова

принялся чистить лошадь, с таким видом, как будто хотел выместить на ней свою злобу.

Джованни слушал, с любопытно-веселой улыбкой, вытирая полотенцем лицо, красное от холодной воды.

— Ну что же, мастер? Пойдем, что ли? — спросил Астро, которому надоело ждать.

— Погоди,— молвил Леонардо,— я должен спросить Марко об овсе. Правду ли говорит этот мошенник?..

Он вошел в дом. Джованни последовал за ним.

Марко работал в мастерской. Как всегда, исполняя правила учителя с математическою точностью, отмеривал он черную краску для теней крохотной, свинцовой ложечкой, то и дело справляясь с бумажкой, исписанной цифрами. Капли пота выступали на лбу его; жилы вздулись на шее. Он тяжело дышал, точно вскатывал камень на гору. Крепко сжатые губы, сгорбленная спина, упрямо торчавший рыжий хохол и красные руки, с корявыми, толстыми пальцами, как будто говорили: терпение и труд все перетрут.

— Ах, мессер Леонардо, вы еще не ушли. Пожалуйста, не можете ли проверить это вычисление? Я, кажется, запутался...

— Хорошо, Марко. Потом. А я вот о чем хотел тебя спросить. Правда ли, что ты денег не выдаешь на овес лошадям?

— Не выдаю.

— Как же так, друг мой? Ведь я говорил тебе,— продолжал художник, все более робким и нерешительным взором поглядывая на строгое лицо домоправителя,— я говорил тебе, Марко, непременно выдавай на овес лошадям. Разве ты не помнишь?..

— Помню. Да денег нет.

— Ну вот, вот, я так и знал,— опять денег нет! Помилуй, Марко, сам посуди, разве могут быть лошади без овса?

Марко ничего не ответил, только сердито отбросил кисть.

Джованни следил, как изменяются выражения их лиц: теперь учитель похож был на ученика, ученик на учителя.

— Послушайте, мастер,— произнес Марко,— вы меня просили, чтобы я взял на себя хозяйство и не беспокоил вас. Зачем же вы снова начинаете об этом?

— Марко! — с упреком воскликнул Леонардо.— Марко, да ведь я еще на прошлой неделе дал тебе тридцать флоринов...

— Тридцать флоринов! Из них, считайте-ка, четыре в долг Паччоли, два этому попрошайке, Галеотто Сакробоско, пять палачу, который трупы с виселиц ворует для вашей анатомии, три на починку стекол да печей в теплице, где у вас гады и рыбы, целых шесть золотых дукатов за этого дьявола полосатого...

— Ты хочешь сказать за жирафа?

— Ну да, за жирафа. Самим есть нечего, а эту проклятую тварь откармливаем! И ведь все равно, что вы с ним ни делайте, подохнет...

— Ничего, Марко, пусть подохнет,— кротко заметил Леонардо,— я его анатомировать буду. Шейные позвонки у него любопытные...

— Шейные позвонки! Эх, мастер, мастер, если бы не все эти прихоти — лошади, трупы, жирафы, рыбы и прочие гады,— жили бы мы припеваючи, никому не кланялись. Не лучше ли кусок насущного хлеба?

— Насущный хлеб! Да как будто я чего-нибудь требую для себя, кроме насущного хлеба? Впрочем, я знаю, Марко, ты бы очень рад был, если бы подохли все мои животные, которых я, с таким трудом, за такие деньги, приобретаю, которые мне так необходимы, что ты себе и вообразить не можешь. Тебе бы только на своем поставить!..

Беспомощная обида зазвучала в голосе учителя.

Марко угрюмо молчал, потупив глаза.

— И что же это такое?— продолжал Леонардо.— Что, говорю я, будет с нами, Марко? Овса нет! Шутка ли сказать? Вот до чего дошло! Никогда еще с нами такого не бывало!..

— Всегда было и будет,— возразил Марко.— И чего вы хотите? Вот уже более года, как мы ни гроша от герцога не получаем. Амброджо Феррари каждый день вам обещает — завтра да завтра, а видно, только смеется...

— Смеется! — воскликнул Леонардо.— Ну нет, погоди, я ему покажу, как надо мною смеяться! Я герцогу пожалуюсь, вот что! Я этого мерзавца Амброджо в бараний рог согну, да пошлет ему Господь злую Пасху!..

Марко только рукой махнул, как бы желая сказать, что уж если кто кого согнет в бараний рог, то, конечно, не Леонардо герцогского казначея.

— Бросьте, учитель, бросьте, право! — молвил он, и вдруг в жестких, угловатых чертах лица его мелькнуло выражение доброе, нежное и покровительственное.— Бог

милостив, как-нибудь вывернемся. Если уж вы непременно хотите,— ну, я, пожалуй, устрою, чтобы и на овес лошадям хватало...

Он знал, что для этого ему придется брать часть собственных денег, которые посылал он своей больной старухе-матери.

— Какой тут овес! — воскликнул Леонардо и в изнеможении опустился на стул.

Глаза его замигали, сузились, как от сильного холодного ветра.

— Послушай, Марко. Я ведь тебе еще об этом не говорил. Мне в будущем месяце непременно нужно восемьдесят дукатов, потому что я — видишь ли? — занял... Э, да не смотри ты на меня такими глазами...

— У кого заняли?

— У менялы Арнольдо.

Марко отчаянно всплеснул руками; рыжий хохол его так и затрясся.

— У менялы Арнольдо! Ну, поздравляю, нечего сказать,—удружили! Да знаете ли вы, что это такая бестия, что хуже всякого жида и мавра. Креста на нем нет! Ах, учитель, учитель, что вы наделали! И как же вы мне не сказали?..

Леонардо опустил голову.

— Деньги, Марко, до зарезу нужны были. Уж ты на меня не сердись...

И немного помолчав, прибавил с боязливым и жалобным видом:

— Принеси-ка счета, Марко. Может быть, что-нибудь и придумаем?..

Марко был убежден, что ничего они не придумают, но так как иначе нельзя было успокоить учителя, как истощив до конца его внезапную и мимолетную тревогу, покорно пошел за счетами.

Увидав их издали, Леонардо болезненно сморщился и с таким выражением взглянул на знакомую толстую книгу в зеленом переплете, с каким человек смотрит на собственную зияющую рану.

Они погрузились в вычисления, в которых великий математик делал ошибки в сложении и вычитании. Порой вдруг вспоминал о потерянном счете нескольких тысяч дукатов, искал его, рылся в шкатулках, ящиках, пыльных кипах бумаг, но, вместо того, находил ненужные, грошовые, старательно, собственною рукою переписанные счета, например, за плащ Салаино:

Серебряной парчи	15 лир	4 сольди
Алого бархата на отделку	9 „	
Шнурков	—	9 сольди
Пуговиц	—	12 „

Злобно рвал их и бросал клочки под стол, ругаясь.

Джованни наблюдал за выражением человеческой слабости в лице учителя и, вспоминая слова одного из поклонников Леонардо: «новый бог Гермес Трисмегист соединился в нем с новым титаном Прометеем»,— думал с улыбкою:

«Вот он — не бог, не титан, а такой же, как все, человек. И чего я боялся его? О, бедный, милый!»

X

Прошло два дня, и случилось то, что предвидел Марко: Леонардо так забыл о деньгах, как будто никогда не думал о них. Уже на следующий день попросил три флорина для покупки допотопной окаменелости с таким беззаботным видом, что Марко не имел духу огорчить его отказом и дал ему три флорина из собственных денег, отложенных для матери.

Казначей, несмотря на просьбы Леонардо, все еще не заплатил жалованья: в это время сам герцог нуждался в деньгах для громадных приготовлений к войне с Францией.

Леонардо занимал у всех, у кого можно было занять, даже у собственных учеников.

И памятника Сфорца не давал ему окончить герцог. Глиняное изваяние, форма с железным остовом, запруда для жидкого металла, горн, плавильные печи — все было готово. Но когда художник представил счет за бронзу, Моро испугался, даже разгневался и отказал ему в свидании.

В двадцатых числах ноября 1498 года, доведенный нуждой до последней крайности, написал он письмо герцогу. В бумагах Леонардо остался черновой набросок этого письма — отрывочного, бессвязного, похожего на лепет человека, одолеваемого стыдом, не умеющего просить:

«Синьор, зная, что ум Вашего Высочества поглощен более важными делами, но, вместе с тем, боясь, чтобы молчание мое не было причиной гнева Всемилостивейшего Покровителя моего, дерзаю напомнить о моих маленьких нуждах и об искусствах, осужденных на безмолвие...

...В течение двух лет не получаю жалованья...

...Другие лица, находящиеся на службе Вашей Светлости, имея посторонние доходы, могут ждать, но я, с моим

искусством, которое, впрочем, желал бы покинуть для более выгодного...

...Жизнь моя к услугам Вашего Высочества, и я нахожусь в постоянной готовности повиноваться...

...О памятнике ничего не говорю, ибо знаю времена...

...Прискорбно мне, что вследствие необходимости зарабатывать себе пропитание, я вынужден прерывать работу и заниматься пустяками. Я должен был кормить 6 человек в продолжение 56 месяцев, а у меня было только 50 дукатов...

...Недоумеваю, на что бы я мог употребить мои силы...

...Думать о славе или о хлебе насущном?..»

XI

Однажды в ноябре, вечером, после дня, проведенного в хлопотах у щедрого вельможи Гаспаре Висконти, у менялы Арнольдо, у палача, который требовал денег за два трупа беременных женщин, грозя доносом Святейшей Инквизиции в случае неуплаты, Леонардо усталый вернулся домой и сначала прошел в кухню, чтобы высушить платье, потом, взяв ключ у Астро, направился в рабочую комнату; но подойдя к ней, услышал за дверями разговор.

«Двери заперты,— подумал он.— Что это значит? Уж не воры ли?»

Прислушался, узнал голоса учеников, Джованни, Чезаре, и догадался, что они рассматривают тайные бумаги его, которых он никому никогда не показывал. Хотел отпереть дверь, но вдруг представилось ему, какими глазами, застигнутые врасплох, они посмотрят на него, и ему сделалось стыдно за них. Крадучись на цыпочках, краснея и озираясь, как виноватый, отошел от двери и, пройдя мастерскую, с другого конца ее, притворным громким голосом, так, чтобы они не могли не услышать, крикнул:

— Астро! Астро! Дай свечу! Куда вы все запропастились? Андреа, Марко, Джованни, Чезаре!

Голоса в рабочей комнате умолкли. Что-то зазвенело, как будто упавшее стекло разбилось. Стукнула рама. Он все еще прислушивался, не решаясь войти. В душе его была не злоба, не горе, а скука и отвращение.

Он не ошибся: забравшись в комнату через окно со двора, Джованни и Чезаре рылись в ящиках рабочего стола его, рассматривая тайные бумаги, рисунки, дневники.

Бельтраффио с бледным лицом держал зеркало. Чезаре, наклонившись, читал по отражению в зеркале обратное письмо Леонардо:

— «Laude del Sole» — «Хвала Солнцу».

— «Я не могу не упрекнуть Эпикура, утверждавшего, будто бы величина солнца в действительности такова, какой она кажется; удивляюсь Сократу, который, унижая столь великое светило, говорил, будто бы оно лишь раскаленный камень. И я хотел бы иметь слова достаточно сильные для порицания тех, кто обоготворение Человека предпочитает обоготворению Солнца»...

— Пропустить? — спросил Чезаре.

— Нет, прошу тебя,— молвил Джованни,— читай все до конца.

— «Поклоняющиеся богам в образах человеческих,— продолжал Чезаре,— весьма заблуждаются, ибо человек, даже если бы он был величиною с шар земной, казался бы менее самой ничтожной планеты, едва заметной точки во вселенной. К тому же все люди подвержены тлению»...

— Странно! — удивился Чезаре.— Как же так? Солнцу поклоняется, а Того, Кто смертью смерть победил, точно не бывало!..

Он перевернул страницу.

— А вот еще,— слушай.

— «Во всех концах Европы будут плакать о смерти Человека, умершего в Азии».

— Понимаешь?

— Нет,— прошептал Джованни.

— Страстная Пятница,— объяснил Чезаре.

— «О, математики,— читал он далее,— пролейте же свет на это безумие. Дух не может быть без тела, и там, где нет плоти, крови, костей, языка и мускулов,— не может быть ни голоса, ни движения».— Тут нельзя разобрать, зачеркнуто. А вот конец: — «Что же касается до всех других определений духа, я предоставляю их святым отцам, учителям народа, знающим по наитию свыше тайны природы».

— Гм, не поздоровилось бы мессеру Леонардо, если бы эти бумажки попали в руки святых отцов-инквизиторов... А вот опять пророчество:

— «Ничего не делая, презирая бедность и работу, люди будут жить в роскоши в зданиях, подобных дворцам, приобретая сокровища видимые ценою невидимых и уверяя, что это лучший способ быть угодным Богу».

— Индульгенции! — разгадал Чезаре.— А ведь на Савонаролу похоже! Папе камень в огород...

— «Умершие за тысячу лет будут кормить живых».

— Вот уж этого не понимаю. Что-то мудрено... А впро-

чем,— да, да, конечно! «Умершие за тысячу лет» — мученики и святые, именем которых монахи собирают деньги.

— «Говорить будут с теми, кто, имея уши, не слышит, зажигать лампады перед теми, кто, имея очи, не видит».— Иконы.

— «Женщины станут признаваться мужчинам во всех своих похотях, в тайных постыдных делах».— Исповедь.— Как тебе нравится, Джованни? А? Удивительный человек! Ну, подумай только, для кого измышляет он эти загадки? И ведь злобы настоящей нет в них. Так только — забава, игра в кощунство!..

Перевернув еще несколько листков, он прочел:

— «Многие, торгуя мнимыми чудесами, обманывают бессмысленную чернь, и тех, кто разоблачает обманы их,— казнят». Это, должно быть, об огненном поединке брата Джироламо и о науке, которая разрушает веру в чудеса.

Отложил тетрадь и взглянул на Джованни.

— Будет, что ли? Каких еще доказательств? Кажется, ясно?..

Бельтраффио покачал головой.

— Нет, Чезаре, это все не то... О, если бы найти такое место, где он говорит прямо!..

— Прямо? Ну, нет, брат, этого не жди! Такая уж природа: все — надвое, все лукавит да виляет, как женщина. Недаром любит загадки. Поди-ка, слови его! Да он и сам себя не знает. Сам для себя — величайшая загадка!

«Чезаре прав,— подумал Джованни.— Лучше явное кощунство, чем эти насмешки, эта улыбка Фомы неверного, влагающего пальцы в язвы Господа»...

Чезаре указал ему на рисунок оранжевым карандашом на синей бумаге — маленький, затерянный среди машин и вычислений, изображавший Деву Марию с Младенцем в пустыне; сидя на камне, чертила Она пальцем на песке треугольники, круги и другие фигуры: Матерь Господа учила Сына геометрии — источнику всякого знания.

Долго рассматривал Джованни странный рисунок. Ему захотелось прочесть надпись под ним. Он приблизил зеркало. Чезаре взглянул на отражение и едва успел разобрать три первые слова: «Необходимость — вечная наставница»,— как из мастерской послышался голос Леонардо:

— Астро! Астро! Дай свечу! Куда вы все запропастились? Андреа, Марко, Джованни, Чезаре!

Джованни вздрогнул, побледнел и выронил зеркало. Оно разбилось.

— Дурная примета! — усмехнулся Чезаре.

Как пойманные воры, заторопились они, сунули бумаги в ящик, подобрали осколки зеркала, открыли окно, вскочили на подоконник и слезли на двор, цепляясь за водосточную трубу и толстые ветви обвивавших стену дома виноградных лоз. Чезаре сорвался, упал и едва не вывихнул ногу.

XII

В этот вечер Леонардо не находил обычной отрады в математике. То вставал и ходил по комнате, то садился, начинал рисунок и тотчас же бросал его; в душе его была неясная тревога, как будто он должен был что-то решить и не мог. Мысль упорно возвращалась к одному.

Он думал о том, как Джованни Бельтраффио бежал к Савонароле, потом опять вернулся и на время как будто успокоился, всецело предавшись искусству. Но, после злополучного огненного поединка и особенно с того дня, как в Милан пришла весть о гибели пророка,— сделался еще более жалким, потерянным.

Учитель видел, как он страдает, хочет и не может уйти от него, угадывал борьбу, происходившую в сердце ученика, слишком глубоком, чтобы не чувствовать,— слишком слабом, чтобы победить свои собственные противоречия. Иногда казалось Леонардо, что надо оттолкнуть Джованни от себя, прогнать, чтобы спасти, но сделать это не хватало духу.

— Если бы я знал, чем помочь ему,— думал художник.

Он усмехнулся горькой усмешкой.

— Сглазил я, испортил его! Должно быть, правду люди говорят: дурной глаз у меня...

Поднявшись по крутым ступеням темной лестницы, постучался в дверь и, когда ему не ответили, приотворил ее. В тесной келье был сумрак. Слышалось, как дождь стучит по крыше и шумит осенний ветер. Лампада мерцала в углу перед Мадонной. Черное Распятие висело на белой стене. Бельтраффио лежал на постели ничком, одетый, неловко свернувшись, как больные дети, поджав колени и спрятав лицо в подушку.

— Джованни, ты спишь? — сказал учитель.

Бельтраффио вскочил, слабо вскрикнул и посмотрел на Леонардо безумными, широко открытыми глазами, выставив руки вперед, с выражением того бесконечного ужаса, который был в глазах Майи.

— Что с тобой, Джованни? Это я...

Бельтраффио как будто очнулся и медленно провел рукой по глазам:

— Ах, это вы, мессер Леонардо... А мне показалось... Я видел страшный сон...

— Так это *вы*,— посмотрел он на него исподлобья, пристально, словно все еще не доверяя.

Учитель присел на край постели и положил ему на лоб свою руку.

— У тебя жар. Ты болен. Зачем ты не сказал мне?..

Джованни отвернулся было, но вдруг опять посмотрел на Леонардо,— углы губ его опустились, дрогнули, и, сложив руки с мольбой, он прошептал:

— Учитель, прогоните меня!.. А то я сам не уйду, а мне у вас оставаться нельзя, потому что я... да, да... я перед вами подлый человек... изменник!..

Леонардо обнял и привлек его к себе.

— Что ты, мальчик мой? Господь с тобою! Разве я не вижу, как ты мучишься? Если ты думаешь, что в чем-нибудь виноват передо мною, я прощаю тебе все: может быть, и ты когда-нибудь простишь меня...

Джованни тихо поднял на него большие, удивленные глаза и вдруг, с неудержимым порывом, прижался к нему, спрятал лицо свое на груди его, в мягкой, как шелк, бороде.

— Если я когда-нибудь,— лепетал он сквозь рыдания, которые потрясали все его тело,— если я уйду от вас, учитель, не думайте, что я вас не люблю! Я и сам не знаю, что со мной... Такие у меня страшные мысли, точно я с ума схожу... Бог меня покинул... О, только не думайте,— нет, я люблю вас больше всего на свете, больше, чем отца моего фра Бенедетто! Никто не может вас так любить, как я!..

Леонардо, с тихою улыбкою, гладил его по голове, по щекам, мокрым от слез, и утешал, как ребенка:

— Ну, полно, полно, перестань! Разве я не знаю, что ты меня любишь, мальчик мой бедный, глупенький... А ведь это опять, должно быть, Чезаре наговорил тебе? — прибавил он.— И зачем ты слушаешь его? Он умный и тоже бедный — любит меня, хотя думает, что ненавидит. Он не понимает многого...

Джованни вдруг затих, перестал плакать, заглянул в глаза учителя странным, испытующим взором и покачал головой:

— Нет,— произнес он медленно, как бы с трудом, выговаривая слова,— нет, не Чезаре. Я сам... и не я, а *Он*...

— Кто он? — спросил учитель.

Джованни крепче прижался к нему; глаза его опять расширились от ужаса.

— Не надо,— проговорил он чуть слышно,— прошу вас... не надо о *Нем*...

Леонардо почувствовал, как он дрожит в его объятиях.

— Послушай, дитя мое,— произнес он тем строгим, ласковым и немного притворным голосом, которым врачи говорят с больными,— я вижу, у тебя есть что-то на сердце. Ты должен сказать мне все. Я хочу знать все, Джованни, слышишь? Тогда и тебе будет легче.

И, подумав, прибавил:

— Скажи мне, о ком ты сейчас говорил?

Джованни боязливо оглянулся, приблизил губы свои к самому уху Леонардо и прошептал задыхающимся шепотом:

— О вашем двойнике.

— О моем двойнике? Что это значит? Ты видел во сне?

— Нет, наяву...

Леонардо посмотрел на него пристально, и на одно мгновение показалось ему, что Джованни бредит.

— Ведь вы, мессер Леонардо, ко мне сюда не заходили третьего дня, во вторник, ночью?

— Не заходил. Но разве ты сам не помнишь?

— Нет, я-то помню... Ну, так вот, видите, учитель,— теперь значит, уже наверное, это был *он!*..

— Да откуда ты взял, что у меня двойник? Как это случилось?

Леонардо чувствовал, что самому Джованни хочется рассказать, и надеялся, что признание облегчит его.

— Как случилось? А вот как. Пришел *он* ко мне так же, как вы сегодня, в этот самый час, и тоже сел на край постели, как вы теперь сидите, и все говорил и делал, как вы, и лицо у него, как ваше лицо, только в зеркале. *Он* не левша. И сейчас же я подумал, что, может быть, это — не вы; и *он* знал, что я это думаю, но виду не подал,— притворился, будто мы оба ничего не знаем. Только, уходя, обернулся ко мне и говорит: «А ты, Джованни, никогда не видел моего двойника? Если увидишь, не бойся». Тут я все понял...

— И ты до сих пор веришь, Джованни?

— Как же не верить, когда я видел *его*, вот как вас теперь вижу?.. И *он* говорил со мной...

— О чем?

Джованни закрыл лицо руками.

— Лучше скажи,— произнес Леонардо,— а то будешь думать и мучиться.

— Нехорошее,— молвил Бельтраффио и с безнадежною мольбою взглянул на учителя,— ужасное говорил *он!* Будто бы все в мире — одна механика, будто бы все — как этот страшный паук, с вертящимися лапами, который *он*... то есть, нет, не *он*, а вы — изобрели...

— Какой паук? Ах, да, да, помню. Ты видел у меня рисунок военной машины?..

— И еще говорил *он*,— продолжал Джованни,— будто бы то самое, что люди называют Богом, есть вечная сила, которою движется страшный паук, со своими железными, окровавленными лапами, и что *ему* все равно — правда или неправда, добро или зло, жизнь или смерть. И нельзя *его* умолить, потому что *он* — как математика: дважды два не может быть пять...

— Ну, хорошо, хорошо. Не мучь себя. Довольно. Я уж знаю...

— Нет, мессер Леонардо, погодите, вы еще не знаете всего. Вы только послушайте, учитель! *Он* говорил, что и Христос напрасно пришел — умер и не воскрес, смертью смерть не победил — истлел в гробу. И когда он это сказал, я заплакал. *Он* меня пожалел и стал утешать: не плачь, говорит, мальчик мой бедный, глупенький,— нет Христа, но есть любовь; великая любовь — дочь великого познания; кто знает все, тот любит все.— Видите, вашими, все вашими словами! — Прежде, говорит, была любовь от слабости, чуда и незнания, а теперь — от силы, истины и познания, ибо змий не солгал: вкусите от древа познания и будете как боги. И после этих слов *его* я понял, что *он* — от дьявола, и проклял *его*, и *он* ушел, но сказал, что вернется...

Леонардо слушал с таким любопытством, как будто это был уже не бред больного. Он чувствовал, как взор Джованни, теперь почти спокойный, обличительный, проникает в самую тайную глубину сердца его.

— И всего страшнее,— прошептал ученик, медленным движением отстраняясь от учителя и глядя на него в упор остановившимся, пронзительным взором,— всего отвратительнее было то, что *он* улыбался, когда все это мне говорил, улыбался, ну да, да... совсем, как вы теперь... как вы!..

Лицо Джованни вдруг побелело, перекосилось, и, оттолкнув Леонардо, он закричал диким, сумасшедшим криком:

— Ты... ты... опять!.. Притворился... Именем Бога... сгинь, сгинь, пропади, окаянный!..

Учитель встал и молвил, посмотрев на него властным взором:

— Бог с тобою, Джованни! Я вижу, что, в самом деле, лучше тебе уйти от меня. Помнишь, сказано в Писании: боящийся в любви не совершен. Если бы ты любил меня совершенною любовью, то не боялся бы — понял бы, что все это — бред и безумие, что я не такой, как думают люди, что нет у меня двойника, что я, может быть, верую во Христа моего и Спасителя более тех, кто называет меня слугою Антихриста. Прости, Джованни! Господь да сохранит тебя. Не бойся,— двойник Леонардо к тебе уже никогда не вернется...

Голос его дрогнул от бесконечной, безгневной печали. Он встал, чтобы уйти.

«Так ли это? Правду ли я ему говорю?» — подумал он и в то же мгновение почувствовал, что, если ложь необходима, чтобы спасти его,— он готов солгать.

Бельтраффио упал на колени, целуя руки учителя.

— Нет, нет, я не буду!.. Я знаю, что это безумие... Я верю вам... Вот увидите, я прогоню от себя эти страшные мысли... только простите, простите, учитель, не покидайте меня!..

Леонардо взглянул на него с неизъяснимою жалостью и, наклонившись, поцеловал в голову.

— Ну, смотри же, помни, Джованни,— ты мне обещал.

— А теперь,— прибавил уже обычным спокойным голосом,— пойдем скорее вниз. Здесь холодно. Я больше не пущу тебя сюда, пока ты совсем не поправишься. Кстати, есть у меня спешная работа: ты мне поможешь.

XIII

Он повел его в спальню, рядом с мастерскою, раздул огонь в очаге и, когда пламя затрещало, озаряя комнату уютным светом, сказал, что ему нужно приготовить доску для картины.

Леонардо надеялся, что работа успокоит больного.

Так и случилось. Мало-помалу Джованни увлекся. С видом сосредоточенным, как будто это было самое любопытное и важное дело, помогал учителю пропитывать доску ядовитым раствором для предохранения от червоточины — водкою с двусернистым мышьяком и сулемою.

Потом стали они наводить первый слой паволоки, заделывая пазы и щели алебастром, кипарисовым лаком, мастикою, ровняя шероховатости плоским железным скребком. Дело, как всегда, спорилось, кипело и казалось игрою в руках Леонардо. В то же время давал он советы, учил, как вязать кисти, начиная от самых толстых, жестких, из свиной щетины в свинцовой оправе, кончая самыми тонкими и мягкими, из беличьих волос, вставленных в гусиное перо; или, как для того, чтобы протрава скорее сохла, следует прибавлять к ней венецианской яри с красной железистой охрой.

По комнате распространился приятный, напоминавший о работе, летуче-свежий запах скипидара и мастики. Джованни изо всей силы втирал в доску замшевою тряпочкою горячее льняное масло. Ему сделалось жарко. Озноб совсем прошел.

На минуту остановившись, чтобы перевести дух, с раскрасневшимся лицом, оглянулся на учителя.

— Ну, ну, скорее, не зевай! — торопил Леонардо.— Простынет, так не впитается.

И, выгнув спину, расставив ноги, плотно сжав губы, Джованни с новым усердием продолжал работу.

— Что, как ты себя чувствуешь? — спросил Леонардо.

— Хорошо,— ответил Джованни с веселой улыбкой.

Собрались и другие ученики в этот теплый, светлый угол громадного кирпичного, покрытого бархатисто-черной сажей, ломбардского очага, откуда приятно было слушать вой ветра и шум дождя. Пришел озябший, но, как всегда, беспечный Андреа Салаино, одноглазый циклоп кузнец, Зороастро да Перетола, Джакопо и Марко д'Оджоне. Лишь Чезаре да Сесто, по обыкновению, не было в их дружеском кружке.

Отложив доску, чтобы дать ей просохнуть, Леонардо показал им лучший способ добывания чистого масла для красок. Принесли большое глиняное блюдо, где отстоявшееся тесто орехов, моченных в шести переменах воды, выделило белый сок, с густым, всплывшим на поверхности, слоем янтарного жира. Взяв хлопчатой бумаги и скрутив из нее длинные косицы, наподобие лампадных светилен, одним концом опустил он их в блюдо, другим — в жестяную воронку, вставленную в горлышко стеклянного сосуда. Впитываясь в хлопчатую бумагу, масло стекало в сосуд золотисто-прозрачными каплями.

— Смотрите, смотрите,— восхищался Марко,— какое чистое! А у меня всегда муть, сколько ни процеживаю.

— Должно быть, ты верхней кожицы с орехов не снимаешь,— заметил Леонардо,— она потом на полотне выступает, и краски от нее чернеют.

— Слышите? — торжествовал Марко.— Величайшее произведение искусства от этакой дряни — от ореховой шелухи погибнуть может! А вы еще смеетесь, когда я говорю, что правила должно соблюдать с математическою точностью...

Ученики, внимательно следившие за приготовлением масла, в то же время болтали и шалили. Несмотря на поздний час, спать никому не хотелось, и, не слушая ворчания Марко, дрожавшего над каждым поленом, то и дело подбрасывали дров. Как иногда бывает в таких неурочных собраниях, всеми овладела безотчетная веселость.

— Давайте рассказывать сказки! — предложил Салаино и первый представил в лицах новеллу о священнике, который в Страстную субботу ходил по домам и, зайдя в мастерскую живописца, окропил святой водою картины. «Зачем ты это сделал?» — спросил его художник.— «Затем, что желаю тебе добра, ибо сказано: сторицею воздастся вам свыше за доброе дело». Живописец промолчал; но когда патер ушел, подстерег его, вылил ему на голову из окна чан холодной воды и крикнул: «вот тебе сторицею свыше за добро, которое ты мне сделал, испортив мои картины!»

Посыпались новеллы за новеллами, выдумки за выдумками — одна нелепее другой. Все утешались несказанно, но более всех Леонардо.

Джованни любил наблюдать, как он смеется: в это время глаза его суживались, делались как щелки, лицо принимало выражение детски-простодушное, и, мотая головою, вытирая слезы, проступавшие на глазах, заливался он странным для его большого роста и могущественного телосложения, тонким смехом, в котором звучали те же визгливые женские ноты, как и в гневных криках его.

Около полуночи почувствовали голод. Нельзя было лечь, не закусив, тем более, что и поужинали впроголодь, ибо Марко держал их в черном теле.

Астро принес все, что было в кладовой: скудные остатки окорока, сыра, десятка четыре маслин и краюху черствого пшеничного хлеба; вина не было.

— Наклонял ли ты бочку, как следует? — спрашивали его товарищи.

— Да уж наклонял, небось, во все стороны поворачивал: ни капли.

— Ах, Марко, Марко, что же ты с нами делаешь! Как же быть без вина?

— Ну, вот, наладили — Марко да Марко. Я-то чем виноват, коли денег нет?

— Деньги есть, и вино будет! — крикнул Джакопо, подбросив на ладони золотую монету.

— Откуда у тебя, чертенок? Опять украл! Погоди, выдеру я тебя за уши! — погрозил ему пальцем Леонардо.

— Да нет же, мастер, не украл, ей-Богу. Чтоб мне на этом месте провалиться, отсохни язык мой, если я в кости не выиграл!

— Ну, смотри. коли воровским вином нас угостишь...

Сбегав в соседний погребок Зеленого Орла, еще не запертый, так как всю ночь гуляли в нем швейцарские наемники, Джакопо вернулся с двумя оловянными кружками.

От вина сделалось еще веселее. Мальчик разливал его, подобно Ганимеду, высоко держа сосуд, так что красное пенилось розовою, белое — золотистою пеною, и в восхищении при мысли, что он угощает на свои деньги, шалил, дурачился, прыгал, неестественно хриплым голосом, в подражание пьяным гулякам, напевал то удалую песенку монаха-расстриги:

К черту рясу, куколь, четки!
Хи-хи-хи, да ха-ха-ха —
Ой, вы девушки красотки,
Долго ль с вами до греха!

то важный гимн из латинской шутовской Обедни Вакху, сочиненной школярами-бродягами:

Те, кто воду пьет с вином,
Вымокнут, — и верьте,
В пасти ада над огнем
Высушат их черти.

Никогда, казалось Джованни, не едал и не пивал он так вкусно, как за этой нищенской трапезой Леонардо, с окаменелым сыром, черствым хлебом и подозрительным, быть может, воровским вином Джакопо.

Пили за здоровье учителя, за славу его мастерской, за избавление от бедности и друг за друга.

В заключение Леонардо, оглянув учеников, сказал с улыбкой:

— Я слышал, друзья мои, что св. Франциск Ассизский называл уныние худшим из пороков и утверждал, что, если кто желает угодить Богу, тот должен быть всег-

да веселым. Выпьемте же за мудрость Франциска — за вечное веселье в Боге.

Все немного удивились, но Джованни понял, что хотел сказать учитель.

— Эх, мастер,— укоризненно покачал головою Астро,— веселье, говорите вы; — да какое же может быть веселье, пока мы по земле козявками ползаем, как черви могильные? Пусть другие пьют за что угодно, а я — за крылья человеческие, за летательную машину! Как взовьются крылатые люди под облака — тут только и начнется веселье. И чтоб черт побрал всякую тяжесть — законы механики, которые мешают нам...

— Ну, нет, брат, без механики далеко не улетишь! — остановил его учитель, смеясь.

Когда все разошлись, Леонардо не отпустил Джованни наверх; помог ему устроить постель у себя в спальне, поближе к потухающим ласковым углям камина, и, отыскав небольшой рисунок, сделанный цветными карандашами, подал ученику.

Лицо юноши, изображенное на рисунке, казалось Джованни таким знакомым, что он сначала принял его за портрет: было сходство и с братом Джироламо Савонаролой,— только, должно быть, в ранние годы юности, и с шестнадцатилетним сыном богатого миланского ростовщика, ненавидимого всеми, старого жида Барукко — болезненным, мечтательным отроком, погруженным в тайную мудрость Кабалы, воспитанником раввинов, по словам их, будущим светилом Синагоги.

Но, когда Бельтраффио внимательнее вгляделся в этого еврейского мальчика, с густыми рыжеватыми волосами, низким лбом, толстыми губами,— он узнал Христа, не так, как узнают Его на иконах, а как будто сам видел, забыл и теперь вдруг вспомнил Его.

В голове, склоненной, как цветок на слишком слабом стебле, в младенчески-невинном взоре опущенных глаз было предчувствие той последней скорби на горе Елеонской, когда Он, ужасаясь и тоскуя, сказал ученикам своим: «душа моя скорбит смертельно»,— и отошел на вержение камня, пал на лицо Свое и говорил: «Авва Отче! все возможно Тебе. Пронеси чашу сию мимо Меня. Впрочем, не Моя воля, но Твоя да будет». И еще второй и третий раз говорил: «Отче Мой, если не может чаша сия миновать Меня, чтобы Мне не пить ее, да будет воля Твоя». И находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его подобен каплям крови, падающим на землю.

«О чем Он молился? — подумал Джованни. — Как же просил, чтобы не было того, что не могло не быть, что было Его собственной волею, — для чего Он в мир пришел? Неужели и Он изнемогал, как я, и Он до кровавого пота боролся с теми же страшными двоящимися мыслями?»

— Ну, что? — спросил Леонардо, вернувшись в комнату, из которой вышел ненадолго. — Да ты, кажется, опять?..

— Нет, нет, учитель! О, если бы вы знали, как мне хорошо и спокойно... Теперь все прошло...

— И слава Богу, Джованни! Я ведь говорил, что пройдет. Смотри же, чтобы больше никогда не возвращалось...

— Не вернется, не бойтесь! Теперь я вижу, — он указал на рисунок, — я вижу, что вы так его любите, как никто из людей...

— И если ваш двойник, — прибавил он, — опять придет ко мне, я знаю, чем прогнать его: я только напомню ему об этом рисунке.

XIV

Джованни слышал от Чезаре, что Леонардо оканчивает лик Господень в Тайной Вечере, и ему хотелось увидеть его. Много раз просил он об этом учителя; тот все обещал, но откладывал.

Наконец, однажды утром, повел его в трапезную Марии делле Грацие и на месте, столь ему знакомом, которое оставалось пустым в течение шестнадцати лет, между Иоанном и Иаковом Заведеевым, в четырехугольнике открытого окна, на тихой дали вечереющего неба и холмов Сиона, увидел он лик Господа.

Спустя несколько дней, вечером, глухими пустырями, по берегу Кантаранского канала, возвращался Джованни домой от алхимика Галеотто Сакробоско: учитель послал его к нему за редкой книгой, сочинением по математике.

После ветра и оттепели сделалось тихо и морозно. Лужи в грязных колеях дороги подернулись иглами хрупкого льда. Низкие тучи как будто цеплялись за голые лиловые верхушки лиственниц с растрепанными галочьими гнездами. Быстро темнело. Только по самому краю неба тянулась длинная медно-желтая полоса унылого заката. Вода в незамерзшем канале, тихая, тяжкая, черная, как чугун, казалась бездонно-глубокою.

Джованни, хотя самому себе не признавался в этих мыслях и гнал их прочь с последним усилием разума, думал о двух Леонардовых изображениях лика Господня. Стоило ему закрыть глаза, чтобы оба они вместе стали перед ним, как живые: один — родной, полный человеческою немощью, лик Того, Кто на горе Елеонской скорбел до кровавого пота и молился детскою молитвою о чуде; другой — нечеловечески спокойный, мудрый, чуждый и страшный.

И Джованни думал о том, что, может быть, в своем неразрешимом противоречии — оба они истинны.

Мысли его путались, как в бреду. Голова горела. Он сел на камень над водой узкого черного канала, в изнеможении склонился и опустил голову на руки.

— Что ты здесь делаешь? Точно тень влюбленного на берегу Ахерона,— молвил насмешливый голос. Он почувствовал руку на плече своем, вздрогнул, обернулся и увидел Чезаре.

В зимних сумерках, пыльно-серых, как паутина, под голыми лилово-черными лиственницами с растрепанными галочьими гнездами,— длинный, тощий, с длинным бледно-серым больным лицом, закутанный в серый плащ, сам Чезаре казался похожим на зловещий призрак.

Джованни встал, и они молча продолжали путь; только сухие листья шуршали под ногами.

— Знает он, что мы намедни рылись в его бумагах? — спросил, наконец, Чезаре.

— Знает,— ответил Джованни.

— И, конечно, не сердится. Я так и думал. Всепрощение! — рассмеялся Чезаре злобным, насильственным смехом.

Опять замолчали. Ворон, хрипло каркнув, перелетел через канал.

— Чезаре,— произнес Джованни тихо,— видел ты лик Господень в Тайной Вечере?

— Видел.

— Ну, что?.. как?

Чезаре быстро обернулся к нему.

— А тебе как? — спросил он.

— Я не знаю... Мне, видишь ли, кажется...

— Говори прямо: не нравится, что ли?..

— Нет. Но я не знаю. Мне приходит на ум, что, может быть, это — не Христос...

— Не Христос? А кто же?

Джованни не ответил, только замедлил шаг и опустил голову.

— Послушай,— продолжал он в глубоком раздумье,— видел ли ты другой рисунок, тоже для головы Христа, цветными карандашами, где Он изображен почти ребенком?

— Знаю, еврейским мальчиком, рыжим, с толстыми губами, с низким лбом — лицо как у этого жиденка, сына старого Барукко. Ну, так что же? Тебе Тот больше нравится?

— Нет... А только я думаю, как Они непохожи друг на друга, эти два Христа!

— Непохожи? — удивился Чезаре.— Помилуй, да это одно лицо! В Тайной Вечере Он старше лет на пятнадцать...

— А впрочем,— прибавил он,— может быть, ты и прав. Но если это даже два Христа, все-таки Они похожи друг на друга, как двойники.

— Двойники! — повторил Джованни, вздрогнув, и остановился.— Как ты это сказал, Чезаре,— двойники?

— Ну, да. Чего же ты так испугался? Разве ты сам этого не заметил?

Опять пошли, молча.

— Чезаре! — воскликнул вдруг Бельтраффио, с неудержимым порывом,— как же ты не видишь? Неужели Тот, всемогущий и всезнающий, Кого изобразил учитель в Тайной Вечере, неужели мог Он тосковать на горе Елеонской, на вержении камня, до кровавого пота, и молиться нашей человеческою молитвою, как молятся дети,— о чуде: «пусть не будет того, для чего Я в мир пришел,— чего, Я знаю, не может не быть. Авва Отче, пронеси чашу сию мимо Меня». Но ведь в этой молитве — все, все, слышишь, Чезаре? — и нет без нее Христа, и я не отдам ее ни за какую мудрость! Кто не молился этою молитвою, тот не был человеком, тот не страдал, не умирал, как мы!..

— Так вот ты о чем,— медленно произнес Чезаре.— А ведь и в самом деле... Да, да, я понимаю тебя! О, конечно, тот Христос, в Тайной Вечере, *так* молиться не мог...

Совсем стемнело. Джованни с трудом различал лицо своего спутника: ему казалось, что оно странно изменилось.

Вдруг Чезаре остановился, поднял руку и произнес глухим, торжественным голосом:

— Ты хочешь знать, кого изобразил он, ежели не Того, Кто молился на горе Елеонской,— не твоего Христоса? Слушай: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничего не начало быть, что начало быть. И Слово стало плотию». Слышишь,— разум Бога — Слово стало плотию. Среди учеников Своих, которые, слыша из уст Его: «один из вас предаст Меня»,— скорбят, негодуют, ужасаются,— Он спокоен, Он всем равно близок и чужд — Иоанну, возлежащему на груди Его, Иуде, предающему Его,— потому что нет для Него более зла и добра, жизни и смерти, любви и ненависти, а есть только воля Отца — вечная необходимость: «не Моя, но Твоя да будет воля»,— ведь это сказал и Твой, и Тот, Кто молился на горе Елеонской, на вержении камня о невозможном чуде. Вот почему говорю я: Они двойники. «Чувства принадлежат земле; разум — вне чувств, когда созерцает», ты помнишь? — это слова Леонардо. В лицах и движениях апостолов, величайших людей, изобразил он все чувства земные; но Тот, Кто сказал: «Я победил мир», «Я и Отец — одно»,— разум созерцающий — вне чувств. Помнишь и эти другие слова Леонардо о законах механики: «О, дивная справедливость Твоя, Первый Двигатель!» Христос его есть Первый Двигатель, который, будучи началом и средоточием всякого движения,— сам неподвижен; Христос его есть вечная необходимость, сама себя в человеке познавшая и возлюбившая, как божественную справедливость, как волю Отца: «Отче праведный! и мир Тебя не познал, а Я познал Тебя. И Я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которою Ты возлюбил Меня, в них будет». Слышишь: любовь — от познания. «Великая любовь есть дочь великого познания». Леонардо, один из людей, понял это слово Господа и воплотил его во Христе своем, который «любит все, потому что знает все».

Чезаре умолк, и долго шли они в бездыханной тишине сгущавшихся морозных сумерек.

— Помнишь, Чезаре,— произнес, наконец, Джованни,— три года назад шли мы с тобой, точно так же как теперь, предместьем Верчельских ворот и спорили о Тайной Вечере? Ты тогда смеялся над учителем, говорил, что никогда не кончить ему лика Господня, а я возражал. Теперь ты за него — против меня. Знаешь ли, я бы ни за что не поверил, что ты, именно ты, можешь так говорить о нем!..

Джованни хотел заглянуть в лицо спутнику, но Чезаре поспешно отвернулся.

— Я рад,— заключил Бельтраффио,— что ты любишь его, да, любишь, Чезаре, может быть, сильнее, чем я,— хочешь ненавидеть — и любишь!..

Товарищ медленно обернул к нему лицо свое, бледное, искаженное.

— А ты что думал? Люблю! Мне ли не любить его? Хочу ненавидеть, а должен любить, ибо того, что он сделал в Тайной Вечере, никто, быть может он и сам, не понимает, как я — я, злейший враг его!..

И опять засмеялся он своим насильственным смехом:

— А ведь вот, подумаешь, не странно ли сердце человеческое создано? Если уж на то пошло, я, пожалуй, скажу тебе правду, Джованни: я все-таки не люблю его, еще более не люблю его, чем тогда!..

— За что?

— А хотя бы за то, что я желаю быть самим собою,— слышишь? — последним из последних, но все же не ухом, не глазом, не пальцем от ноги его! Ученики Леонардо — цыплята в орлином гнезде! Правила науки, ложечки для измерения красок, таблички для носов — пусть этим утешается Марко! Посмотрел бы я, как сам Леонардо со всеми своими правилами создал бы лик Господень! О, конечно, он учит нас, цыплят своих, летать по-орлиному — от доброго сердца, ибо жалеет нас, так же, как слепых щенят дворовой суки, и хромую клячу, и преступника, которого провожает на смертную казнь, чтобы наблюдать за содроганиями мускулов в лице его, и стрекозку осеннюю с крылышками окоченелыми. Избыток благости своей, как солнце, на все изливает... Только видишь ли, друг, у каждого свой вкус: одному приятно быть замерзшей стрекозкой или червяком, которого учитель, подобно Св. Франциску, с дороги подняв, на зеленый лист кладет, чтобы прохожие ногой не раздавили. Ну, а другому... знаешь, Джованни, лучше бы уж он меня попросту, не мудрствуя, раздавил!..

— Чезаре,— произнес Джованни,— если это так, зачем же ты не уходишь от него?..

— А ты зачем не уходишь? Крылья опалил, как мотылек на свече, а вьешься — лезешь в огонь. Ну, так вот, может быть, и я в том же огне хочу сгореть. А впрочем, кто знает? Есть у меня и надежда...

— Какая?

— О, самая пустая, пожалуй, безумная! А все-таки, нет-нет, да и подумаешь: что если придет другой, на него непохожий и равный ему, не Перуджино, не Боргоньоне, не

Боттичелли, ни даже великий Мантенья,— я знаю цену учителю: никто из них ему не страшен,— но еще неведомый? Мне бы только взглянуть на славу другого, только бы напомнить мессеру Леонардо, что и такие насекомые, из милости не раздавленные, как я, могут ему предпочесть другого и уязвить, ибо, несмотря на овечью шкуру, несмотря на жалость и всепрощение, гордыня-то в нем всетаки дьявольская!..

Чезаре не кончил, оборвал, и Джованни почувствовал, что он схватил его за руку дрожащею рукою.

— Я знаю,— произнес Чезаре уже другим, почти робким и молящим, голосом,— я знаю, никогда бы тебе самому это в голову не пришло. Кто сказал тебе, что я люблю его?..

— Он сам,— ответил Бельтраффио.

— Сам? Вот что! — произнес Чезаре в невыразимом смущении.— Так, значит, он думает...

Голос его пресекся.

Они посмотрели друг другу в глаза и вдруг оба поняли, что им более не о чем говорить, что каждый слишком погружен в свои собственные мысли и муки.

Молча, не простившись, расстались они на ближайшем перекрестке.

Джованни продолжал свой путь неверным шагом, опустив голову, ничего не видя, не помня, куда идет, глухими пустырями, между голых лиственниц, по берегу прямого, длинного канала, с тихою, тяжкою, чугунно-черною водою, где ни одна звезда не отражалась,— повторяя с безумным остановившимся взором:

— Двойники... двойники...

XV

В начале марта 1499 года Леонардо неожиданно получил из герцогского казначейства задержанное за два года жалованье.

В это время ходили слухи, будто бы Моро, пораженный известием о заключении против него тройственного союза Венеции, папы и короля, намеревался, при первом появлении французского войска в Ломбардии, бежать в Германию к императору. Желая упрочить за собой верность подданных во время своего отсутствия, герцог облегчал налоги и подати, расплачивался с должниками, осыпал приближенных подарками.

Немного времени спустя удостоился Леонардо нового знака герцогской милости:

«Лудовик Мариа Сфортиа, герцог Медиолана, Леонардуса Квинтия флорентинца, художника знаменитейшего, шестнадцатью пертик земли с виноградником, приобретенным у монастыря Св. Виктора, именуемым Подгородным, что у Верчельских ворот, жалует»,— сказано было в дарственной записи.

Художник пошел благодарить герцога. Свидание назначено было вечером. Но ждать пришлось до поздней ночи, так как Моро завален был делами. Весь день провел он в скучных разговорах с казначеями и секретарями, в проверке счетов за военные припасы, ядра, пушки, порох, в распутывании старых, в изобретении новых узлов той бесконечной сети обманов и предательств, которые нравились ему, когда он был в ней хозяином, как паук в паутине, и в которой теперь он чувствовал себя, как пойманная муха.

Окончив дела, пошел в галерею Браманте, над одним из рвов Миланского замка.

Ночь была тихая. Порой лишь слышались звуки трубы, протяжный оклик часовых, железный скрежет ржавой цепи подъемного моста.

Паж Ричардетто принес два факела, вставил их в чугунные подсвечники, вбитые в стену, и подал герцогу золотое блюдце с мелко нарезанным хлебом. Из-за угла, во рву, по черному зеркалу вод, привлекаемые светом факелов, выплыли белые лебеди. Облокотившись на перила, он бросал кусочки хлеба в воду и любовался, как они ловили их, беззвучно рассекая грудью водное стекло.

Маркиза Изабелла д'Эсте, сестра покойной Беатриче, прислала в подарок этих лебедей из Мантуи, с тихих плоскобережных заводей Минчо, обильных камышами и плакучими ивами,— давнишнего приюта лебединых стай.

Моро всегда любил их: но в последнее время еще больше пристрастился к ним и каждый вечер кормил их из собственных рук, что было для него единственным отдыхом от мучительных дум о делах, о войне, о политике, о своих и чужих предательствах. Лебеди напоминали ему детство, когда он так же кормил их, бывало, на сонных, поросших зеленой ряской, прудах Виджевано.

Но здесь, во рву Миланского замка, меж грозными бойницами, башнями, пороховыми складами, пирамидами ядер и жерлами пушек — тихие, чистые, белые, в голубовато-серебряном лунном тумане — казались они еще прекрас-

нее. Гладь воды, отразившая небо, под ними была почти невидимой, и, качаясь, скользили они, как видения, со всех сторон окруженные звездами, полные тайны, между двумя небесами — небом вверху и небом внизу — одинаково чуждые и близкие обоим.

За спиною герцога маленькая дверца скрипнула, и высунулась голова камерьере Пустерла. Почтительно согнувшись, подошел он к Моро и подал бумагу.

— Что это? — спросил герцог.

— От главного казначея, мессера Боргонцо Ботто, счет за военные припасы, порох и ядра. Очень извиняются, что принуждены беспокоить. Но обоз в Мортару выезжает на рассвете...

Моро схватил бумагу, скомкал и швырнул ее прочь:

— Сколько раз говорил я тебе, чтобы ни с какими делами не лезть ко мне после ужина! О, Господи, кажется, скоро и ночью в постели не дадут покоя!..

Камерьере, не разгибая спины, пятясь к двери задом, произнес шепотом так, чтобы герцог мог не расслышать, если не захочет:

— Мессер Леонардо.

— Ах, да, Леонардо. Зачем ты давно не напомнил? Проси.

И, снова обернувшись к лебедям, подумал:

— Леонардо не помешает.

На желтом, обрюзгшем лице Моро, с тонкими, хитрыми и хищными губами, выступила добрая улыбка.

Когда в галерею вошел художник, герцог, продолжая кидать кусочки хлеба, перевел на него ту самую улыбку, с которой смотрел на лебедей.

Леонардо хотел преклонить колено, но герцог удержал его и поцеловал в голову.

— Здравствуй. Давно мы с тобой не видались. Как поживаешь, друг?

— Я должен благодарить вашу светлость...

— Э, полно! Таких ли даров ты достоин? Вот ужо дай срок, я сумею наградить тебя по заслугам.

Вступив в беседу с художником, он расспрашивал его о последних работах, изобретениях и замыслах, нарочно таких, которые казались герцогу самыми невозможными, сказочными,— о подводном колоколе, лыжах для хождения по морю, как посуху, о человеческих крыльях. Когда же Леонардо наводил речь на дела — укрепления замка, Канал Мартезану, отливку памятника,— тотчас уклонялся от разговора с брезгливым скучающим видом.

Вдруг, о чем-то задумавшись, как это последнее время с ним часто бывало, умолк и понурил голову с таким отчужденным, сосредоточенным выражением, точно забыл о собеседнике.

Леонардо стал прощаться.

— Ну, с Богом, с Богом! — кивнул ему головою герцог рассеянно. Но когда художник был уже в дверях, окликнул его, подошел, положил ему обе руки на плечи и заглянул в глаза печальным долгим взором.

— Прощай,— молвил он, и голос его дрогнул,— прощай, мой Леонардо! Кто знает, свидимся ли еще наедине?..

— Ваше высочество покидаете нас?

Моро тяжело вздохнул и ничего не ответил.

— Так-то, друг,— продолжал он, помолчав.— Вот ведь шестнадцать лет прожили вместе, и ничего я от тебя, кроме хорошего, ну, да и ты от меня, кажется, дурного не видал. Пусть люди говорят, что угодно,— а в будущих веках, кто назовет Леонардо, тот и герцога Моро помянет добром!

Художник, не любивший чувствительных излияний, проговорил единственные слова, которые хранил в своей памяти для тех случаев, когда требовалось от него придворное красноречие:

— Синьор, я бы хотел иметь больше, чем одну жизнь, чтобы отдать их все на служение вашей светлости.

— Верю,— произнес Моро.— Когда-нибудь и ты вспомнишь обо мне и пожалеешь...

Не кончил, всхлипнул, крепко обнял и поцеловал его.

— Ну, дай тебе Бог, дай тебе Бог!..

Когда Леонардо удалился, Моро долго еще сидел в галерее Браманте, любуясь лебедями, и в душе его было чувство, которого не сумел бы он выразить словами. Ему казалось, что, в темной, может быть, преступной жизни его, Леонардо был подобен этим белым лебедям, в черной воде, во рву Миланской Крепости, меж грязными бойницами, башнями, пороховыми складами, пирамидами ядер и жерлами пушек,— такой же бесполезный и прекрасный, такой же чистый и девственный.

В безмолвии ночи слышалось только падение медленных капель смолы с догорающих факелов. В их розовом свете, сливавшемся со светом голубой луны, плавно качаясь, дремали, полные тайны, окруженные звездами, как видения, между двумя небесами — небом вверху и небом внизу, одинаково чуждые и близкие обоим, лебеди со своими двойниками в темном зеркале вод.

XVI

От герцога, несмотря на поздний час ночи, Леонардо пошел в монастырь Сан-Франческо, где находился больной ученик его, Джованни Бельтраффио. Четыре месяца назад, вскоре после разговора с Чезаре о двух изображениях лика Господня, заболел он горячкою.

То было в двадцатых числах декабря 1498 года. Однажды, навестив прежнего учителя своего, фра Бенедетто, Джованни застал у него гостя из Флоренции, доминиканского монаха фра Паоло. По просьбе Бенедетто и Джованни он рассказал им о смерти Савонаролы.

Казнь была назначена на 23 мая 1498 года, в девять часов утра, на площади Синьории, перед палаццо Веккио, там же, где происходили сожжение сует и огненный поединок.

В конце длинных мостков был разложен костер; над ним стояла виселица — толстое бревно, вбитое в землю, с поперечною перекладиною, с тремя петлями и железными цепями. Вопреки усилиям плотников, долго возившихся с поперечной перекладиною, то укорачивавших, то удлинявших ее, виселица имела вид Креста.

Такая же несметная толпа, как в день поединка, кишела на площади, в окнах, лоджиях и на крышах домов.

Из дверей палаццо вышли осужденные: Джироламо Савонарола, Доминико Буонвиничи и Сильвестро Маруффи.

Сделав несколько шагов по мосткам, остановились перед трибуной епископа Вазонского, посланника папы Александра VI. Епископ встал, взял брата Джироламо за руку и проговорил слова отлучения нетвердым голосом, не подымая глаз на Савонаролу, который смотрел ему прямо в лицо. Последние слова произнес неверно:

— Separo te ab Ecclesia militante atque triumphante. Отлучаю тебя от Церкви воинствующей и торжествующей.

— Militante, non triumphante, hoc enim tum non est. От воинствующей, не торжествующей, сие не во власти твоей,— поправил его Савонарола.

С отлученных сорвали одежды, оставили их полунагими, в исподних рубахах,— и они продолжали путь, еще дважды останавливаясь перед трибуною апостолических комиссаров, которые прочли решение церковного суда, и перед трибуною Восьми Мужей Флорентинской республики, объявивших смертный приговор от лица народа.

Во время этого последнего пути фра Сильвестро едва не упал, оступившись; Доминико и Савонарола тоже спот-

кнулись: впоследствии оказалось, что уличные шалуны, солдаты бывшего Священного Воинства маленьких инквизиторов, забравшись под мостки, просунули колья между досками, чтобы ранить ноги шедшим на смертную казнь.

Фра Сильвестро Маруффи, юродивый, первый должен был взойти на виселицу. Сохраняя бессмысленный вид, как будто не сознавая, что с ним происходит, взобрался он по ступеням. Но когда палач накинул ему петлю на шею, уцепился за лестницу, поднял глаза к небу и воскликнул:

— В руки Твои, Господи, предаю дух мой!

Потом сам, без помощи палача, разумным, бесстрашным движением соскочил с лестницы.

Фра Доминико, ожидая очереди, переминался с ноги на ногу, в радостном нетерпении, и, когда ему подали знак, устремился к виселице, с такою улыбкою, как будто шел прямо в рай.

Труп Сильвестро висел на одном конце перекладины, на другом — Доминико. Среднее место ожидало Савонаролу.

Взойдя по лестнице, остановился он, опустил глаза и взглянул на толпу.

Наступила тишина, точно такая же, как бывало в соборе Марии дель Фьоре перед проповедью. Но когда продел он голову в петлю, кто-то крикнул:

— Сделай чудо, пророк!

Никто не понял, была ли это насмешка, или крик безумной веры.

Палач столкнул его с лестницы.

Старичок-ремесленник, с кротким, набожным лицом, в течение нескольких часов стороживший у костра,— только что брат Джироламо повис, поспешно перекрестился и сунул горящий факел в дрова, с теми самыми словами, с которыми некогда Савонарола зажег костер сует и анафем:

— Во имя Отца, и Сына, и Духа Святого!

Пламя вспыхнуло. Но ветер отклонил его в сторону. Толпа всколыхнулась. Давя друг друга, люди побежали, объятые ужасом. Послышались крики:

— Чудо! Чудо! Чудо! Не горят!

Ветер стих. Пламя вновь поднялось и охватило трупы. Веревка, которой связаны были руки брата Джироламо, истлела,— они развязались, упали, как будто зашевелились в огне, и многим почудилось, что он в последний раз благословил народ.

Когда костер потух и остались только обугленные кости да клочья мяса на железных цепях, ученики Савонаролы протеснились к виселице, желая собрать останки мучени-

ков. Стражи отогнали их, свалили пепел на телегу и отвезли на Понте Веккьо, чтобы бросить в реку. Но по дороге «плаксы» успели похитить щепотки пепла и частицы будто бы не сгоревшего сердца Савонаролы.

Окончив рассказ, фра Паоло показал своим слушателям ладанку с пеплом. Фра Бенедетто долго целовал ее и обливал слезами.

Оба монаха пошли ко всенощной. Джованни остался один.

Вернувшись, они нашли его лежащим в беспамятстве на полу перед Распятием; в окоченелых пальцах сжимал он ладанку.

В течение трех месяцев Джованни был между жизнью и смертью. Фра Бенедетто ни на минуту не отходил от него.

Часто, в безмолвии ночей, сидя у изголовья больного и прислушиваясь к бреду его, ужасался.

Джованни бредил Савонаролою, Леонардо да Винчи и Божьей Матерью, которая, чертя пальцем на песке пустыни геометрические фигуры, учит Младенца Христа законам вечной необходимости.

«О чем Ты молишься? — повторял больной с невыразимой тоской.— Или не знаешь, что нет чуда, не может чаша сия пройти мимо Тебя, так же как не может не быть прямая кратчайшим расстоянием между двумя точками!»

Его мучило также другое видение — два лика Господня, противоположные и подобные, как двойники: один, полный человеческим страданием и немощью,— лик Того, Кто на вержении камня молился о чуде; другой лик страшного, чуждого, всемогущего и всезнающего, Слова, ставшего плотью,— Первого Двигателя. Они обращены были друг к другу, как в поединке два вечных противника. И между тем, как Джованни вглядывался в них,— лик смиренного, скорбного темнел, искажался, превращаясь в демона, которого некогда Леонардо изобразил в карикатуре на Савонаролу, и, обличая Двойника своего, называл его Антихристом . . . .

. . . .

Фра Бенедетто спас жизнь Бельтраффио. В начале июня 1499 года, когда он поправился настолько, что мог ходить,— несмотря на все мольбы и увещания монаха, вернулся Джованни в мастерскую Леонардо.

В конце июля того же года войско французского короля Людовика XII, под начальством сеньоров Обиньи, Луи Люксембурга и Джан-Джакопо Тривульцио, перевалив через Альпы, вступило в Ломбардию.

СОДЕРЖАНИЕ

О. Н. Михайлов. Пленник культуры (О Д. С. Мережковском и его романах) 3

ХРИСТОС И АНТИХРИСТ. *Трилогия*

I. Смерть богов (Юлиан Отступник) 27

II. Воскресшие боги (Леонардо да Винчи). *(Книги первая — девятая)* 309

Дмитрий Сергеевич МЕРЕЖКОВСКИЙ

Собрание сочинений
в четырех томах

Том I

Редактор тома
Е. Н. Любимова

Оформление художника
А. И. Неровного

Технический редактор
В. Н. Веселовская

ИБ 2234

Сдано в набор 4.07.—30.08.89. Подписано к печати 10.11.89. Формат 84×108 1/32. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Академическая». Печать высокая. Усл. печ. л. 31,61. Усл. кр.-отт. 32,98. Уч.-изд. л. 34,89.
Тираж 1 700 000 экз. (7-й завод: 1 400 001—1 700 000).
Заказ № 211. Цена 3 р. 30 к.

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типографии имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865 ГСП, Москва, А-137. ул. «Правды», 24.
Отпечатано в типографии издательства «Советская Сибирь». 630048, г. Новосибирск, 48, ул. Немировича-Данченко, 104.

Индекс 70655